

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

при ближайшемъ участіи :

**Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева**

LVIII

1935
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. В. Сирингъ. — ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ.	5
2. М. Осоргинъ. — ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИКЪ.	57
3. Г. Глазаноу. — ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВІЯ.	107
4. Н. Берберова. -- АККОМПАНИАТОРИША.	155
5. Алла Головкина. — СТИХОТВОРЕНІЕ	219
6. Довидъ Кнута. — ПОРТРЕТЪ -- ПРОГУЛКА. (Стих.).	220
7. Б. Поплавскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ --	221
8. М. Цыбасева. — ПАМЯТИ Н. П. ГРОНСКАГО (Стих.).	222
9. Эмилия Шаховская. — МАРТЬ (Стих)	224
10. А. Штейгеръ. СТИХОТВОРЕНІЕ	225
11. В. Ходасевичъ. АГЛАЯ ДАВИДОВА И ЕЯ ДОЧЕРИ	227
12. В. Маяковъ. ИЗЪ ПРОШЛАГО	258
13. И. Солоневичъ. -- ВЪ ДЕРЕВНЬ	274
14. Д. Мережковский. -- КОММУНИЗМЪ БОЖЕСТВЕННЫИ.	310
15. Г. Адамовичъ. КОММЕНТАРИИ	319
16. П. Биккили. — КРИЗИСЪ ИСТОРИИ	323
17. В. Рудневъ. — НАРОДНЫИ ВОЖДЬ	336
18. Я. Паноушекъ. -- ЭДУАРДЪ БЕНЕШЪ.	344
19. С. Гессенъ. — ПРАВА ДЕМОКРАТИИ	361
20. М. Вишнякъ. КУЛЬТЪ ГЕРОЕВЪ	378
21. Ст. Ивановичъ. — ИЗЪ РАЗМЫШЛЕНІЯ О РЕВОЛЮЦИИ	396
22. Е. Юрьевскій. -- СССР НА ПУТЯХЪ ЭВОЛЮЦИИ	416

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

23. Г. Федотовъ. — ЗАЧѢМЪ МЫ ЗДѢСЬ?	433
24. М. Алдановъ. — НОВЫЯ ПИСЬМА НАПОЛЕОНА	445
25. М. Цетлякъ. — О СОВРЕМЕННОИ ЭМИГРАНТСКОИ ПОЭЗИИ.	452
26. В. Вейдле. -- МЕХАНИЗАЦИЯ БЕЗСОЗНАТЕЛЬНОГО	461
27. К. Гулякевичъ. — ПРОФЕССОРЪ Г. ВЕРНЕРЪ	469

28. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

П. Башмаки. — И. Букинъ: Собр. сочиненій. Т. IV.	471
Антонъ Крайній. — Донъ Аминадо: Нескучный Садъ.	472
М. Цетаниъ. — Мих. Осоргинъ: Книга о концахъ.	474
К. Мочульский. — Ю. Терапиано: Безсонница. Стихи.	476
Мих. Ос. — Лесняк: Лесной шум.	477
З. Гиппиусъ. — Е. Бакунина: Любовь къ шестерымъ.	478
Н. Кузьманъ. — Мод. Гофманъ: Египетскія ночи.	479
П. Башмаки. — Н. Метнеръ: Муза и Мода.	480
И. Кузьманъ. — Boris Unbehauen: La langue russe au XVI ^e siècle (1500-1650).	483
П. Милоковъ. — Д. М. Одинець: Возникновеніе государ- ственнаго строя у восточныхъ славянъ.	484
М. Вишнякъ. — С. М. Дубновъ: Воспоминанія и размышленія.	487
В. Рудневъ. — Виктор Чернов: Рожденіе революц. России.	490
В. Р. — В. Іаха-Ronikier: The red Executioner Dzerzinski.	493
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ».	494

Приглашеніе на казню

«Comme un fou se croit Dieu nous
nous croyons mortels».

Delalande, Discours sur les ombres.

§ 1.

Сообразно съ закономъ, Цинциннату Ц. объявили смертный приговоръ шопотомъ. Всѣ встали, обмѣниваясь улыбками. Съдой судья, припавъ къ его уху, подышавъ, сообщивъ, медленно отодвинулся, какъ будто отлипалъ. Засимъ Цинцинната отвезли обратно въ крѣпость. Дорога обвивалась вокругъ ея скалистаго подножья и уходила подъ ворота: змѣя въ разсѣлину. Былъ спокоенъ: однако его поддерживали во время путешествія по длиннымъ коридорамъ, ибо онъ невѣрно ставилъ ноги, вродѣ ребенка, только что научившагося ступать, или точно куда проваливался, какъ человѣкъ, во снѣ увидѣвшій, что идетъ по водѣ, но вдругъ усомнившійся: да можно ли? Тюремщикъ Родіонъ долго отпиралъ дверь цинциннатовой камеры, — не тотъ ключъ, — всегдашняя возня. Дверь наконецъ уступила. Тамъ, на койкѣ, уже ждалъ адвокатъ, — сидѣлъ, погруженный по плечи въ раздумье, безъ фрака (забытаго на вѣнскомъ стулѣ въ залѣ суда, — былъ жаркій, насквозь синий день), и нетерпѣливо вскочилъ, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоровъ. Пускай одиночество въ камерѣ съ глазкомъ подобно ладѣ, дающей течь. Все равно, — онъ заявилъ, что хочетъ остаться одинъ, и, поклонившись, всѣ вышли.

Итакъ — подбираемся къ концу. Правая, еще непочатая часть развернутаго романа, которую мы, посреди лякомаго чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, вѣрная толщина), вдругъ, ни съ того ни съ сего, оказалась со-всѣмъ тощей: нѣсколько минутъ скорого, уже подъ гору чтенья — и... ужасно! Куча черешень, красно и клейко чернѣвшая передъ нами, обратилась внезапно въ отдѣльныя ягоды: вонъ та, со шрамомъ, подгнила, а эта сморщилась, сохнись-вокругъ кости (самая же послѣдняя непременно — тверденькая, недоспѣлая). Ужасно! Цинциннать снялъ шелковую безрукавку, надѣлъ халатъ и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камерѣ. На столѣ бѣлѣлъ чистый листъ бумаги, и, выдѣляясь на этой бѣлизнѣ, лежалъ изумительно очиненный карандашъ, длинный какъ жизнь любого человѣка, кромѣ Цинцинната, и съ эбеновымъ блескомъ на каждой изъ шести граней. Просвѣщенный потомокъ указательнаго перста. Цинциннать написалъ: «и все-таки я сравнительно. Вѣдь этотъ финалъ я предчувствовала этотъ финалъ». Родіонъ, стоя за дверью въ суровымъ шкиперскимъ вниманіемъ глядѣлъ въ глазокъ. Цинциннать ощущала холодокъ у себя въ затылкѣ. Онъ вычеркнулъ написанное и началъ тихо тушевать, причемъ получился зачаточный орнаментъ, который постепенно разросся и свернулся въ бараній рогъ. Ужасно! Родіонъ смотрѣлъ въ голубой глазокъ на поднимавшійся и падавшій горизонтъ. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло потъ, все потемнѣло, онъ чувствовалъ ко-ревекъ cadaго волоска. Пробили часы — четыре или пять разъ, и казематный отгулъ ихъ, перегулъ и загулокъ вели себя подобающимъ образомъ. Работая лапами, спустился на ниткѣ паукъ съ потолка, — официальный другъ заключенныхъ. Но никто въ стѣну не стучалъ, такъ какъ Цинциннать былъ пока что единственнымъ арестантомъ (на такую громадную крѣпость!).

Спустя нѣкоторое время, тюремщикъ Родіонъ вошелъ

и ему предложилъ туръ вальса. Цинциннатъ согласился. Они закужились. Бренчали у Родіона ключи на кожаномъ поясѣ, отъ него пахло мужикомъ, табакомъ, чеснокомъ, и онъ напѣвалъ, пыхтя въ рыжую бороду, и скрипѣли ржавые суставы (не тѣ годы, увы, опухъ, одышка). Ихъ вынесло въ коридоръ. Цинциннатъ былъ гораздо меньше своего кавалера. Цинциннатъ былъ легокъ какъ листъ. Вѣтеръ вальса пушылъ свѣтлые концы его длинныхъ, но жидкихъ усомъ, а большіе, прозрачные глаза косили, какъ у всѣхъ пугливыхъ танцоровъ. Да, онъ былъ очень малъ для взрослога мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмутъ. У сгиба коридора стоялъ другой стражникъ, безъ имени, подъ ружьемъ, въ песьей маскѣ съ марлевой пастью. Описавъ около него кругъ, они плавно вернулись въ камеру, и тутъ Цинциннатъ пожалѣлъ, что такъ кратко было дружеское пожатіе обморока.

Опять съ банальной унылостью пробили часы. Время шло въ арифметической прогрессіи: восемь. Уродливое окошко оказалось доступнымъ закату; сбоку по стѣнѣ пролегалъ пламенистый параллелограмъ. Камера наполнилась до верху масломъ сумерекъ, содержащихъ необыкновенные пигменты. Такъ, спрашивается: что это справа отъ двери — картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, какихъ уже не бываетъ? (На самомъ дѣлѣ это висѣлъ пергаментный листъ съ подробными, въ двѣ колонны, «правилами для заключенныхъ»; загнувшійся уголъ, красныя заглавныя буквы, заставки, древній гербъ города, — а именно: доменная печь съ крыльями, — и давали нужный матеріалъ вечернему отблеску). Мебель въ камерѣ была представлена столомъ, стуломъ, койкой. Уже давно принесенный обѣдъ (харчи смертникамъ полагались директорскіе) стлалъ на цинковомъ подносѣ. Стемнѣло совсѣмъ. Вдругъ разлился золотой, крѣпко настоенный электрической свѣтъ.

Цинциннатъ спустилъ ноги съ койки. Въ головѣ, отъ затылка къ виску, по діагонали, покатился кегельный

шаръ, замеръ и поѣхалъ обратно. Между тѣмъ дверь отворилась, и вошелъ директоръ тюрьмы.

Онъ былъ какъ всегда въ сюртукѣ, держался отменно прямо, выпятивъ грудь, одну руку засунувъ за бортъ, а другую заложивъ за спину. Идеальный парикъ, черный какъ смоль, съ восковымъ проборомъ, гладко облегалъ черепъ. Его безъ любви выбранное лицо, съ жирными желтыми щеками и нѣсколько устарѣлой системой морщинъ, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги въ столчатыхъ панталонахъ, онъ прошагалъ между стѣной и столомъ, почти дошелъ до койки, — но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчезъ, растворившись въ воздухѣ. Черезъ минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомымъ на этотъ разъ скрежетаніемъ, — и, какъ всегда въ сюртукѣ, выпятивъ грудь, вошелъ онъ же.

«Узнавъ изъ достовѣрнаго источника, что нынче рѣшилась ваша судьба, — началъ онъ сдобнымъ басомъ, — я почелъ своимъ долгомъ, сударь мой — »

Цинциннатъ сказалъ: «Любезность. Вы. Очень». (Это еще нужно разставить.)

«Вы очень любезны», — сказалъ, прочистивъ горло, какой-то добавочный Цинциннатъ.

«Помилуйте, — воскликнулъ директоръ, не замѣчая безтактности слова. — Помилуйте! Долгъ. Я всегда. А вотъ почему, смѣю спросить, вы не притронулись къ пищѣ?»

Директоръ снялъ крышку и поднесъ къ своему чуткому носу миску съ застывшимъ рагу. Двумя пальцами взявъ картофелину и сгальъ мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другомъ блюдѣ.

«Не знаю, какія еще вамъ нужны кушанья», — проговорилъ онъ недовольно и, треща манжетами, сѣлъ за столъ, чтобы удобнѣе было ѣсть пудингъ-кабинетъ.

Цинциннать сказалъ: «Я хотѣлъ бы все-таки знать, долго ли теперь».

«Превосходный сабайонъ! Вы хотѣли бы все-таки знать, долго ли теперь. Къ сожалѣнію, я самъ не знаю. Меня извѣщаютъ всегда въ послѣдній моментъ, я много разъ жаловался, могу вамъ показать всю эту переписку, если васъ интересуеть».

«Такъ что можетъ быть въ ближайшее утро?» — спросилъ Цинциннать.

«Если васъ интересуеть, — сказала директоръ. — Да, просто очень вкусно и сытно, вотъ что я вамъ доложу. А теперь, pour la digestion, позвольте предложить вамъ папиросу. Не бойтесь, это въ крайнемъ случаѣ только предпослѣдняя», — добавилъ онъ находчиво.

«Я спрашиваю, — сказала Цинциннать, — я спрашиваю не изъ любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но увѣряю васъ... Пускай не справляюсь съ ознобомъ и такъ далѣе, — это ничего. Всадникъ не отвѣчаетъ за дрожь коня. Я хочу знать когда — вотъ почему: смертный приговоръ возмѣщается точнымъ знаніемъ смертнаго часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляютъ въ томъ невѣдѣніи, которое могутъ выносить только живущіе на волѣ. И еще: въ головѣ у меня множество начатыхъ и въ разное время прерванныхъ работъ... Заниматься ими я просто не стану, если срокъ до казни все равно недостаточенъ для ихъ стройнаго завершенія. Вотъ почему — »

«Ахъ, пожалуйста, не надо бормотать, — нервно сказала директоръ. — Это, во-первыхъ, противъ правилъ, а, во-вторыхъ, — говорю вамъ русскимъ языкомъ и повторяю: не знаю. Все, что могу вамъ сообщить, это, что со дня на день ожидается пріѣздъ вашего суженаго, — а онъ, когда пріѣдетъ, да отдохнетъ, да свыкнется съ обстановкой, еще долженъ будетъ испытать инструментъ, если, однако, не привезетъ своего, что весьма и весьма вѣроятно. Табакъ-то не крѣиковать?»

«Нѣтъ, — отвѣтилъ Цинциннать, разсѣянно посмотрѣвъ на свою папиросу. — Но только мнѣ кажется, что по закону — ну не вы, такъ управляющій городомъ обя-занъ — »

«Потолковали, и будетъ, — сказала директоръ; — я собственно здѣсь не для выслушиванія жалобъ, а для того...» Онъ, мигая, полѣзъ въ одинъ карманъ, въ другой; наконецъ изъ-за пазухи вытащилъ линованный листокъ, явно вырванный изъ школьной тетради.

«Пепельницы тутъ нѣтъ, — замѣтилъ онъ, поводя папиросой, — что-жъ давайте утопимъ въ остаткѣ этого соуса... Такъ-съ. Свѣтъ, пожалуй, чуточку рѣзеть. Можетъ быть, если... Ну да ужъ ничего, сойдетъ».

Онъ развернулъ листокъ и, не надѣвая роговыхъ очковъ, а только держа ихъ передъ глазами, отчетливо началъ читать:

«Узникъ! Въ этотъ торжественный часъ, когда всѣ взоры — » «Я думаю, намъ лучше встать», — озабоченно прервалъ онъ самого себя и поднялся со стула. Цинциннать встала тоже.

«Узникъ! Въ этотъ торжественный часъ, когда всѣ взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуютъ, и ты готовишься къ тѣмъ произвольнымъ тѣлодвиженіямъ, которыя непосредственно слѣдуютъ за отсѣченіемъ головы, я обращаюсь къ тебѣ съ напутственнымъ словомъ. Мнѣ выпало на долю, — и этого я не забуду никогда —, обставить твое житье въ темницѣ всѣми тѣми многочисленными удобствами, которыя дозволяетъ законъ. Посему я счастливъ буду удѣлить всевозможное вниманіе всякому изъявленію твоей благодарности, но желательно въ письменной формѣ и на одной сторонѣ листа».

«Вотъ, — сказала директоръ, складывая очки. — Это все. Я васъ больше не удерживаю. Извѣстите, если что понадобится».

Онъ сѣлъ къ столу и началъ быстро писать, тѣмъ показывая, что аудіенція кончена. Цинциннать вышла.

Въ коридорѣ на стѣнѣ дремала тѣнь Родіона, сгорбившись на тѣневомъ табуретѣ, — и лишь мелькомъ, съ краю, вспыхнуло нѣсколько рыжихъ волосковъ. Далѣе, у загиба стѣны, другой стражникъ, снявъ свою форменную маску, утиралъ рукавомъ лицо. Цинциннатъ началъ спускаться по лѣстницѣ. Каменные ступени были склизки и узки, съ неосязаемой спиралью призрачныхъ перилъ. Дойдя до низу, онъ пошелъ опять коридорами. Дверь съ надписью на зеркальный выворотъ: «канцелярія» — была отпахнута; луна сверкала на чернильницѣ, а какая-то подъ столомъ мусорная корзинка неистово шеберстила и хлопотала: должно быть въ нее свалилась мышь. Миновавъ еще много дверей, Цинциннатъ споткнулся, подпрыгнулъ и очутился въ небольшомъ дворѣ, полномъ разныхъ частей разобранной луны. Пароль въ эту ночь былъ: молчаніе, — и солдатъ у воротъ отозвался молчаніемъ на молчаніе Цинцинната, пропуская его, и у всѣхъ прочихъ воротъ было тоже. Оставивъ за собой туманную громаду крѣпости, онъ заскользилъ внизъ по крутому, росистому дерну, попалъ на пенельную тропу между скалъ, пересѣкъ дважды, трижды извивы главной дороги, которая, наконецъ стряхнувъ послѣднюю тѣнь крѣпости, полилась прямою, вольною, — и по узорному мосту черезъ высохшую рѣчку Цинциннатъ вошелъ въ городъ. Поднявшись на изволокъ и повернувъ направо по Садовой, онъ пронесся вдоль сѣдыхъ цвѣтушихъ кустовъ. Гдѣ-то мелькнуло освѣщенное окно; за какой-то оградой собака громыхнула цѣпью, но не залаяла. Вѣтерокъ дѣлалъ все, что могъ, чтобы освѣжить бѣглецу голую шею. Изрѣдка наплывъ благоуханія говорилъ о близости Тамариныхъ Садовъ. Какъ онъ зналъ эти сады! Тамъ, когда Марфишка была невѣстой и боялась лягушекъ, майскихъ жуковъ... Тамъ, гдѣ, бывало, когда все становилось невтерпежъ и можно было одному, съ кашей во рту изъ разжеванной сирени, со слезами... Зеленое, муравчатое Тамъ, тамошніе холмы, томленіе прудовъ, тамтатамъ далекаго оркестра... Онъ

повернулъ по Матюхинской мимо развалинъ древней фабрики, гордости города, мимо шепчущихъ липъ, мимо празднично настроенныхъ бѣлыхъ дачъ телеграфныхъ служащихъ, вѣчно справляющихъ чьи-нибудь именины, и вышелъ на Телеграфную. Оттуда шла въ гору узкая улочка, и опять сдержанно зашумѣли липы. Двое мужчинъ тихо бесѣдовали во мракѣ сквера на подразумѣваемой скамейкѣ. «А вѣдь онъ ошибается», — сказалъ одинъ. Другой отвѣчалъ неразборчиво, и оба вродѣ какъ бы вздохнули, естественно смѣшиваясь съ шелестомъ листвы. Цинциннать выбѣжалъ на круглую площадку, гдѣ луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снѣговую бабу, — голова кубомъ, слѣпившіяся ноги, — и, пробѣжавъ еще нѣсколько шаговъ, оказался на своей улицѣ. Справа, на стѣнахъ одинаковыхъ домовъ неодинаково игралъ лунный рисунокъ вѣтокъ, такъ что только по выраженію тѣней, по складкѣ на переносицѣ между оконъ, Цинциннать и узналъ свой домъ. Въ верхнемъ этажѣ окно Марфиньки было темно, но открыто. Дѣти должно-быть спали на горбоносомъ балконѣ: тамъ бѣлѣлось что-то. Цинциннать взбѣжалъ на крыльцо, толкнулъ дверь и вошелъ въ свою освѣщенную камеру. Обернулся, но былъ уже запертъ. Ужасно! На столѣ блестѣлъ карандашъ. Паукъ сидѣлъ на желтой стѣнѣ.

«Потушите!» — крикнулъ Цинциннать.

Наблюдавшій за нимъ въ глазокъ выключилъ свѣтъ. Темнота и тишина начали соединяться; но вмѣшались часы, пробили одиннадцать, подумали и пробили еще одинъ разъ, а Цинциннать лежалъ навзничъ и смотрѣлъ въ темноту, гдѣ тихо разсыпались свѣтлыя точки, постепенно исчезая. Совершилось полное сліяніе темноты и тишины. Вотъ тогда, только тогда (то-есть лежа навзничъ на тюремной койкѣ, за полночь, послѣ ужаснаго, ужаснаго, я просто не могу тебѣ объяснить какого ужаснаго дня) Цинциннать Ц. ясно оцѣнилъ свое положеніе. ,

Сначала на черномъ бархатѣ, какимъ по ночамъ обло-

жены съ исподу вѣки, появилось, какъ медальонъ, лицо Марфиньки: кукольный румянецъ, блестящій лобъ съ дѣтской выпуклостью, рѣдкія брови вверхъ, высоко надъ круглыми, карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой, сливочной бѣлизны, шеѣ, была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась съ темнотой. Такой онъ увидѣлъ ее нынче среди публики, когда его подвели къ свѣже покрашенной скамьѣ подсудимыхъ, на которую онъ сѣсть не рѣшился, а стоялъ рядомъ, и все-таки измаралъ въ изумрудное руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцевъ, оставшіеся на спинкѣ скамьи. Онъ видѣлъ ихъ напряженные лбы, онъ видѣлъ ярковытнныя панталоны щеголей, ручныя зеркала и переливчатыя шали щеголихъ, — но лица были неясны, — одна только круглоглазая Марфинька изъ всѣхъ зрителей и запомнилась ему. Адвокатъ и прокуроръ, оба крашенные и очень похожіе другъ на друга (законъ требовалъ, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили съ виртуозной скоростью тѣ пять тысячъ словъ, которыя полагались каждому. Они говорили попеременно, и судья, слѣдя за мгновенными репликами, вправо, влѣво моталъ головой, и равномерно мотались всѣ головы, — и только одна Марфинька, слегка повернувшись, неподвижно, какъ удивленное дитя, уставилась на Цинциннату, стоявшаго рядомъ съ ярко зеленой садовой скамьей. Адвокатъ, сторонникъ классической декапитациі, выигралъ безъ труда противъ затѣйника прокурора, и судья синтезировалъ дѣло.

Обрывки этихъ рѣчей, въ которыхъ, какъ пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Цинциннаты въ ухахъ, и шумъ крови превращался въ рукоплесканія, а медальонное лицо Марфиньки все оставалось въ полѣ его зрѣнія и потухло только тогда, когда судья, — приблизившись вплотную, такъ что можно было различить на его круп-

номъ, смугломъ носу расширенныя поры, одна изъ которыхъ, на самой дулѣ, выпустила одинокій, но длинный волосъ, — произнесъ сырымъ шопотомъ: «съ любезнаго разрѣшенія публики, вамъ надѣнуть красной цилиндръ», — выработанная закономъ подставная фраза, истинное значеніе коей зналъ всякій школьникъ.

«А я вѣдь сработанъ такъ тщательно, — думалъ Цинциннатъ, плача во мракѣ. — Изгибъ моего позвоночника высчитанъ такъ хорошо, такъ таинственно. Я чувствую въ икрахъ такъ много туго накрученныхъ верстъ, которыя могъ бы въ жизни еще пробѣжать. Моя голова такъ удобна...»

Часы пробили неизвѣстно къ чему относившуюся половину.

§ 2.

Утреннія газеты, которыя съ чашкой тепловатаго шоколада принесъ ему Родіонъ, — мѣстный листокъ «Доброе Утренко» и болѣе серьезный органъ «Голосъ Публики», — какъ всегда кишѣли цвѣтными снимками. Въ первой онъ нашель фасадъ своего дома: дѣти глядятъ съ балкона, тещъ глядитъ изъ кухоннаго окна, фотографъ глядитъ изъ окна Марфиньки; во второй — знакомый видъ изъ этого окна на палисадникъ съ яблонью, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающаго фасадъ. Онъ нашель, кромѣ того, самого себя на двухъ снимкахъ, изображающихъ его въ кроткой юности.

Цинциннатъ родился отъ безвѣстнаго прохожаго и дѣтство провелъ въ большомъ общежитіи за Стропью (только уже на третьемъ десяткѣ онъ познакомился мимоходомъ со щечбучею, щупленькой, еще такой молодой на видъ Цециліей Ц., зачавшей его ночью на Прудахъ, когда была совсѣмъ дѣвочкой). Съ раннихъ лѣтъ, чудомъ смекнувъ опасность, Цинциннатъ бдительно изощрялся въ томъ, чтобы скрыть нѣкоторую свою особость. Чужихъ лучей не пропуская, а потому, въ состояніи по-

коя, производя диковинное впечатлѣніе одинокаго темнаго препятствія въ этомъ мірѣ прозрачныхъ другъ для дружки душъ, онъ научился все-таки притворяться сквозистымъ, для чего прибѣгалъ къ сложной системѣ какъ-бы оптическихъ обмановъ, но стоило на мгновеніе забыть-ся, не совсѣмъ такъ внимательно слѣдить за собой, за поворотами хитро освѣщенныхъ плоскостей души, какъ сразу поднималась тревога. Въ разгарѣ общихъ игръ сверстники вдругъ отъ него отпадали, словно почувъ, что ясность его взгляда да голубизна висковъ — лукавый отводъ, и что въ дѣйствительности Цинциннатъ непроницаемъ. Случалось, учитель среди наступившаго молчанія, въ досадливомъ недоумѣніи, собравъ и наморщивъ всѣ запасы кожи около глазъ, долго глядѣлъ на него и наконецъ спрашивалъ: «Да что съ тобой, Цинциннатъ?» Тогда Цинциннатъ бралъ себя въ руки и, прижавъ къ груди, относилъ въ безопасное мѣсто.

Съ теченіемъ времени безопасныхъ мѣстъ становилось все меньше, всюду проникало ласковое солнце публичныхъ заботъ, и было такъ устроено окошечко въ двери, что не существовало во всей камерѣ ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не могъ бы взглядомъ проткнуть. Поэтому Цинциннатъ не сгребъ нестрыхъ газетъ въ комъ, не швырнулъ, — какъ сдѣлалъ его призракъ (призракъ, сопровождающій каждого изъ насъ — и тебя, и меня, и вотъ его, — дѣлающій то, что въ давнее мгновеніе хотѣлось бы сдѣлать, а нельзя...). Цинциннатъ спокойно отложилъ газеты и допилъ шоколадъ. Коричневая лѣпка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губѣ въ сморщенную дрянь. Затѣмъ Цинциннатъ надѣлъ черныя халатъ, слишкомъ для него длинныя, черныя туфли съ помпонами, черную ермолку, — и заходилъ по камерѣ, какъ ходилъ каждое утро, съ перваго дня заключенія.

Дѣтство на загородныхъ газонахъ. Играли въ мячъ, въ синицу, въ карамору, въ чехарду, въ малину, въ тычь...

Онъ былъ легокъ и ловокъ, но съ нимъ не любили играть. Зимю городскіе скаты гладко затягивались снѣгомъ, и какъ же славно было мчаться внизъ на «стеклянныхъ» сабуровскихъ санкахъ... Какъ быстро наступала ночь, когда съ катанья возвращались домой... Какія звѣзды, — какая мысль и грусть наверху, — а внизу ничего не знаютъ. Въ морозномъ металлическомъ мракѣ желтымъ и краснымъ свѣтомъ горѣли съѣдобныя окна; женщины въ лисьихъ шубкахъ поверхъ шелковыхъ платьевъ перебѣгали черезъ улицу изъ дома въ домъ; электрическія вагонетки, возбуждая на мигъ сіяющую вьюгу, проносились по запыленнымъ рельсамъ.

Голосокъ: «Аркадій Ильичъ, посмотрите на Цинциннату...»

Онъ не сердился на доносчиковъ, но тѣ умножались и, мужая, становились страшны. Въ сущности темный для нихъ, какъ будто былъ вырѣзанъ изъ кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннатъ поворачивался туда-сюда, ловя лучи, съ панической поспѣшностью стараясь такъ стать, чтобы казаться свѣтопроводнымъ. Окружающіе понимали другъ друга съ полуслова, — ибо не было у нихъ такихъ словъ, которыя бы кончались какъ-нибудь неожиданно, на ижицу, что-ли, обращаясь въ пращу или птицу, съ удивительными послѣдствіями. Въ пыльномъ маленькомъ музеѣ, на Второмъ Бульварѣ, куда его водили въ дѣтствѣ, и куда онъ самъ потомъ водилъ питомцевъ, были собраны рѣдкія, прекрасныя вещи, — но каждая была для всѣхъ горожанъ кромѣ него такъ же ограничена и прозрачна, какъ и они сами другъ для друга. То, что не названо, — не существуетъ. Къ сожалѣнію, все было названо.

«Бытіе безымянное, существенность безпредметная...» — прочелъ Цинциннатъ на стѣнѣ тамъ, гдѣ дверь, отпахиваясь, прикрывала стѣну.

«Вѣчные именинники, мнѣ вас — » — написано было въ другомъ мѣстѣ.

Лѣвѣе, почеркомъ стремительнымъ и чистымъ, безъ единой лишней линіи: «Обратите вниманіе, что когда они съ вами говорят — » — дальше, увы, было стерто.

Рядомъ — корявыми дѣтскими буквами: «Писателей буду штрафовать» — и подпись: директоръ тюрьмы.

Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смѣрьте до смерти, — потомъ будетъ поздно».

«Меня во всякомъ случаѣ смѣрили, — сказала Цинциннать, тронувшись опять въ путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стѣнамъ. — Какъ мнѣ, однако, не хочется умирать! Душа зарылась въ подушку. Охъ, не хочется! Холодно будетъ выльзать изъ теплаго тѣла. Не хочется, погодите, дайте еще подремать».

Двѣнадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать лѣтъ было Цинциннату, когда онъ началъ работать въ мастерской игрушекъ, куда былъ опредѣленъ по причинѣ малаго роста. Но вечерамъ же упивался старинными книгами подъ лѣнивый, илѣнительный плескъ мелкой волны, въ пловучей библіотекѣ имени д-ра Синеокова, уютношаго какъ разъ въ томъ мѣстѣ городской рѣчки. Бормотаніе цѣпей, плескъ, оранжевые абажурчики на галлерейкѣ, плескъ, липкая отъ луны водная гладь, — и вдали, въ черной наутинѣ высокаго моста, пробѣгающіе огоньки. Но потомъ цѣнные волюмы начали портиться отъ сырости, такъ что въ концѣ концовъ пришлось рѣчку осушить, отвѣдя всю воду въ Строль посредствомъ специально прорытаго канала.

Работая въ мастерской, онъ долго бился надъ затѣйливыми пустяками, занимался изготовленіемъ мягкихъ куколъ для школьницъ, — тутъ былъ и маленькій волосатый Пушкинъ въ бекешѣ, и похожій на крысу Гоголь въ цвѣтнстомъ жилетѣ, и старичекъ Толстой, толстоносенкій, въ зипунѣ, и множество другихъ, напримѣръ: застегнутый на всѣ пуговицы Добролюбовъ въ очкахъ безъ стеколъ. Искусственно пристрастясь къ этому мифическому девятнадцатому вѣку, Цинциннать уже готовъ былъ со-

всѣмъ углубиться въ туманы древности и въ нихъ найти подложный пріютъ, но другое отвлекло его вниманіе.

Тамъ то, на той маленькой фабрикѣ, работала Марфинька, — полуоткрывъ влажныя губы, цѣлилась ниткой въ игольное ушко: «Здравствуй, Цинциннатикъ!» — и вотъ качались тѣ упоительныя блужданія въ очень, очень просторныхъ (такъ что даже случалось — холмы въ отдаленіи бывали дымчаты отъ блаженства своего отдаленія) Тамариновыхъ Садахъ, гдѣ въ три ручья плачутъ безъ причины ивы, и тремя каскадами, съ небольшой радугой надъ каждымъ, ручьи свергаются въ озеро, по которому плыветъ лебедь рука объ руку со своимъ отраженіемъ. Ровныя поляны, рододендронъ, дубовыя рощи, веселые садовники въ зеленыхъ сапогахъ, день денской играющіе въ прятки; какой-нибудь гротъ, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратныхъ кучки (уловка, — поддѣлка изъ коричневой крашеной жести), какой-нибудь олененокъ, выскочившій въ аллею и тутъ же у васъ на глазахъ превратившійся въ дрожашія пятна солнца, — вотъ они были каковы эти сады! Тамъ, тамъ — лепетъ Марфиньки, ея ноги въ бѣлыхъ чулкахъ и бархатныхъ туфелькахъ, холодная грудь и розовые поцѣлуи со вкусомъ лѣсной земляники. Вотъ бы увидѣть отсюда — хотя бы древесныя макушки, хотя бы гряды отдаленныхъ холмовъ...

Цинциннать подвизалъ потуже халатъ. Цинциннать сдвинулъ и потянулъ, пятась, кричащій отъ злости столъ: какъ неохотно, съ какими содроганіями онъ ѣхалъ по каменному полу, его содроганія передавались лицамъ Цинцинната, нѣбу Цинцинната, отступавшаго къ окну (то-есть къ той стѣнѣ, гдѣ высоко, высоко была за рѣшеткой пологая впадина окна). Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покотился карандашъ, заскользила книга по книгѣ. Цинциннать поднялъ брыкающійся стулъ на столъ. Самъ наконецъ влѣзъ. Но, конечно, ничего не было видно, — только жаркое небо въ тонко зачесанныхъ сѣди-

нахъ, оставшихся отъ облаковъ, не вынесшихъ синевы. Цинциннатъ едва могъ дотянуться до рѣшетки, за которой покато поднимался туннель окошка съ другой рѣшеткой въ концѣ и свѣтовымъ повтореніемъ ея на облупившейся стѣнкѣ каменной лады. Тамъ, сбоку, тѣмъ же чистымъ презрительнымъ почеркомъ, какъ одна изъ полустертыхъ фразъ, читанныхъ давеча, было написано: «Ничего не видать, я пробоваль тоже».

Цинциннатъ стоялъ на цыпочкахъ, держась маленькими, совсѣмъ бѣлыми отъ напряженія, руками за черные желѣзные прутья, и половина его лица была въ солнечную рѣшетку, и лѣвый усъ золотился, и въ зеркальных зрачкахъ было по крохотной золотой клѣткѣ, а внизу, сзади, изъ слишкомъ большихъ туфель приподнимались пятки.

«Того и гляди свалитесь, --- сказалъ Родіонъ, который уже съ полминуты стоялъ подлѣ и теперь крѣпко сжалъ ножку дрогнувшаго стула. — Ничего, ничего, держу. Можете слѣзать».

У Родіона были насильковые глаза и, какъ всегда, чудная рыжая бородача. Это красивое русское лицо было обращено вверхъ къ Цинциннату, который босой подошвой на него наступилъ, то-есть призракъ его наступилъ, самъ же Цинциннатъ уже сошелъ со стула на столъ. Родіонъ, объявъ его какъ младенца, бережно снялъ, — послѣ чего со скрипичнымъ звукомъ отодвинулъ столъ на прежнее мѣсто и присѣлъ на него съ краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой упираясь въ полъ, — принявъ фальшиво-развязную позу оперныхъ гулякъ въ сценѣ погребка, а Цинциннатъ ковырялъ шнурокъ халата, потупясь, стараясь не плакать.

Родіонъ баритоннымъ басомъ пѣлъ, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую пѣсню пѣвала прежде и Марфинька. Слезы брызнули изъ глазъ Цинцинната. На какой-то предѣльной ногѣ Родіонъ грохнулъ кружкой объ полъ и соскочилъ со стола. Дальше онъ уже

пѣлъ хоромъ, хотя былъ одинъ. Вдругъ поднялъ вверхъ обѣ руки и вышелъ.

Цинциннать, сидя на полу, сквозь слезы посмотрѣлъ ввысь, гдѣ отраженіе рѣшетки уже перемѣнило мѣсто. Онъ попробовалъ — въ сотый разъ — подвинуть столъ, но, увы, ножки были отъ вѣка привинчены. Онъ съѣлъ винную ягоду и опять зашагалъ по камерѣ.

Девятнадцать, двадцать, двадцать одинъ. Въ двадцать два года былъ переведенъ въ дѣтскій садъ учителемъ разряда Ф, и тогда же на Марфинькѣ женился. Едва ли не въ самый день, когда онъ вступилъ въ исполненіе новыхъ своихъ обязанностей (состоявшихъ въ томъ, чтобы занимать хроменькихъ, горбатенькихъ, косенькихъ), былъ важнымъ лицомъ сдѣланъ на него доносъ второй степени. Осторожно, въ видѣ предположенія высказывалась мысль объ основной нелегальности Цинцинната. Заодно съ этимъ меморандумомъ были отцами города рассмотрѣны и старыя жалобы, поступавшія время отъ времени со стороны его наиболѣе прозорливыхъ товарищей по работѣ въ мастерской. Предсѣдатель воспитательнаго совѣта и нѣкоторые другія должностныя лица поочередно запирались съ нимъ и производили надъ нимъ закономъ предписанные опыты. Въ теченіе нѣсколькихъ сутокъ ему не давали спать, принуждали къ быстрой бессмысленной болтовнѣ, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма къ различнымъ предметамъ и явленіямъ природы, разыгрывать житейскія сценки, а также подражать разнымъ животнымъ, ремесламъ и недугамъ. Все это онъ продолжалъ, все это онъ выдержалъ — оттого, что былъ молодъ, изворотливъ, свѣжъ, жаждалъ жить, — пожить немного съ Марфинькой. Его нехотя отпустили, разрѣшивъ ему продолжать заниматься съ дѣтьми послѣднго разбора, которыхъ было не жаль, — дабы посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ. Онъ водилъ ихъ гулять парами, играя на маленькомъ портативномъ музыкальномъ ящичкѣ, вроде кофейной мельницы, — а по праздникамъ качался съ ни-

ми на качеляхъ: вся гроздь замирала, взлетая; пицала, ухая внизъ. Нѣкоторыхъ онъ училъ читать.

Между тѣмъ Марфинька въ первый же годъ брака стала ему измѣнять; съ кѣмъ попало и гдѣ попало. Обыкновенно, когда Цинциннать приходилъ домой, она, съ какой-то сытой улыбочкой прижимая къ шеѣ пухлый подбородокъ, какъ бы жуя себя, глядя исподлобья честными карими глазами, говорила низкимъ голубинымъ голоскомъ: «А Марфинька нынче опять это дѣлала». Онъ нѣсколько секундъ смотрѣлъ на нее, приложивъ, какъ женщина, ладонь къ щекѣ, и потомъ, беззвучно воя, уходилъ черезъ всѣ комнаты, полная ея родственниковъ, и запирался въ уборной, гдѣ топалъ, шумѣлъ водой, кашлялъ, маскируя рыданія. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчинѣ такое облегченіе».

Скоро она забеременѣла — и не отъ него. Разрѣшилась мальчикомъ, немедленно забеременѣла снова — и снова не отъ него — и родила дѣвочку. Мальчикъ былъ хромъ и золъ; тупая, тучная дѣвочка — почти слѣпа. Вслѣдствіе своихъ дефектовъ оба ребенка попали къ нему въ садъ, и странно бывало видѣть ловкую, ладную, румяную Марфиньку, ведущую домой этого калѣку, эту тумбочку. Цинциннать понемножку перестала слѣдить за собой вовсе, — и однажды, на какомъ-то открытомъ собраніи въ городскомъ паркѣ, вдругъ пробѣжала тревога, и одинъ произнесъ громкимъ голосомъ: «Горожане, между нами находится — » — тутъ послѣдовало страшное, почти забытое слово, — и наметѣлъ вѣтеръ на акаціи, — и Цинциннать не нашелъ ничего лучше, какъ встать и удалиться, разсѣянно срывая листики съ придорожныхъ кустовъ. А спустя десять дней онъ былъ взятъ.

«Вѣроятно, завтра», — сказалъ Цинциннать, медленно шагая по камерѣ. — «Вѣроятно, завтра», — сказалъ Цинциннать и сѣлъ на койку, уминая ладонью лобъ. Закатный лучъ повторялъ уже знакомые эффе́кты. «Вѣроятно,

завтра, — сказалъ со вздохомъ Цинциннатъ. — Слишкомъ тихо было сегодня, а уже завтра, спозаранку — »

Нѣкоторое время всѣ молчали: глиняный кувшинъ съ водой на днѣ, поившій всѣхъ узниковъ міра; стѣны, другъ другу на плечи положившія руки, какъ четверо неслышнымъ шопотомъ обсуждающихъ квадратную тайну; бархатный лаукъ, похожій чѣмъ-то на Марфиньку; большія черныя книги на столѣ...

«Какое недоразумѣніе!» — сказалъ Цинциннатъ и вдругъ разсмѣялся. Онъ всталъ, снялъ халатъ, ермолку, туфли. Снялъ полотняные штаны и рубашку. Снялъ, какъ парикъ, голову, снялъ ключицы, какъ ремни, снялъ грудную клѣтку, какъ кольчугу. Снялъ бедра, снялъ ноги, снялъ и бросилъ руки, какъ рукавицы, въ уголь. То, что оставалось отъ него, постепенно разсмѣялось, едва окрасивъ воздухъ. Цинциннатъ сперва просто наслаждался прохладой; затѣмъ, окунувшись совѣмъ въ свою тайную среду, онъ въ ней вольно и весело —

Грянулъ желѣзный громъ засова, и Цинциннатъ мгновенно обросъ всѣмъ тѣмъ, что сбросилъ, вплоть до ермолки. Тюремщикъ Родіонъ принесъ въ круглой корзинчкѣ, выложенной виноградными листьями, дюжину палевыхъ сливъ, — подарокъ супруги директора.

Цинциннатъ, тебя освѣжило преступное твое упражненіе.

§ 3.

Цинциннатъ проснулся отъ рокового рокота голосовъ, нараставшаго въ коридорѣ.

Хотя наканунѣ онъ и готовился къ такому пробужденію, — все равно — съ сердцемъ, съ дыханіемъ не было сладу. Полѳю сердце прикрывъ, чтобы оно не видѣло, — тише, это ничего (какъ говорятъ ребенку въ минуту невѣроятнаго бѣдствія), — прикрывъ сердце и слегка прижавъ, Цинциннатъ слушалъ. Было шарканье многихъ шаговъ въ различныхъ слояхъ слышимости; были голоса

— тоже во многих разрывах; одни набегать, вопрошающий; другой, поближе, отвечать. Слыша из глубины, кто-то пропелся и заскользил по камню, как по льду. Бась директора произнес среди гомона несколько слов — невнятных, но бесомыслино повелительных. Страннее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос, — у директора была дочка. Цинцивать различать и жалящийся тенорок своего адвоката, и бормотание Родіона... Вот опять, на бѣгу, кто-то задасть гудкій вопрос, и кто-то гудко ответил. Кряхтѣние, трескъ, стукотня, — точно шарил палкой под лавкой. «Не нашли?» — внятно спросил директоръ. Пробѣжали шаги. Пробѣжали шаги. Пробѣжали, вернулись. Цинцивать, изнемогая, спустил ноги на полъ: такъ и не дали свиданія съ Марфинькой... Начать одѣваться, или придуть меня наряжать? Ахъ, довольно, войдите...

Но его еще промучили минуты двѣ. Вдругъ дверь отворилась, и, скользя, влетѣлъ адвокатъ.

Онъ былъ взлохмаченъ, потенъ. Онъ теребил лѣвую манжету, и глаза у него кружилась.

«Запонку потерялъ, — воскликнулъ онъ, быстро, какъ песь, дыша, — Задѣть обо что... должно быть... когда съ милой Эмочкой... шалуны всегда... за фалды... всякій разъ какъ зайду... я, главное, слышалъ, какъ что-то... но не обратилъ... смотрите, цѣпочка очевидно... очень дорожить... ну, ничего не подѣлалъ... можетъ быть еще... я обѣдалъ всѣмъ сторожамъ... а досадно...»

«Глупая, сонная ошибка, — тихо сказали Цинцивать. — Я превратно истолковать суету. Это вредно для сердца».

«Да прѣтъ, спасибо, нустяки», — разсѣянно пробормоталъ адвокатъ. При этомъ онъ глазами такъ и рыскалъ по угламъ камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Онъ былъ огорченъ потерей вещицы.

Цинциннать съ легкимъ стономъ легъ обратно въ постель. Тотъ сълъ у него въ ногахъ.

«Я къ вамъ шелъ,—сказалъ адвокатъ,—такой бодрый, веселый... Но теперь меня разстроилъ этотъ пустякъ, — ибо въ концѣ концовъ это же пустякъ, согласитесь, — есгь вещи поважнѣе. Ну, какъ вы себя чувствуете?»

«Склоннымъ къ откровенной бесѣдѣ, — прикрывъ глаза, отвѣчалъ Цинциннать. — Хочу подѣлиться съ вами нѣкоторыми своими умозаключеніями. Я окруженъ какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзаютъ, какъ могутъ терзать только безсмысленныя видѣнія, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаровъ — и все то, что сходить у насъ за жизнь. Въ теоріи — хотѣлось бы проснуться. Но проснуться я не могу безъ посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь, да и душа моя облѣнилась, привыкла къ своимъ тѣснымъ пеленамъ. Изъ всѣхъ призраковъ, окружающихъ меня, вы, Романъ Виссаріоновичъ, самый, кажется, убогій, но съ другой стороны, — по вашему логическому положенію въ нашемъ выдуманномъ быту, — вы являетесь въ нѣкоторомъ родѣ совѣтникомъ, заступникомъ...»

«Къ вашимъ услугамъ», — сказалъ адвокатъ, радуясь, что Цинциннать наконецъ разговорился.

«Вотъ я и хочу васъ спросить: на чемъ основанъ отказъ сообщить мнѣ точный день казни? Погодите, — я еще не кончилъ. Такъ называемый директоръ отлыниваетъ отъ прямого отвѣта, ссылается на то, что — Погодите же! Я хочу знать, во-первыхъ : отъ кого зависить назначеніе дня. Я хочу знать, во-вторыхъ: какъ добиться толку отъ этого учрежденія, или лица, или собранія лицъ...»

Адвокатъ, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчалъ. Его крашеное лицо съ синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особаго движенія мысли.

«Оставьте манжету, — сказала Цинциннать, — и попробуйте сосредоточиться».

Романъ Виссаріоновичъ порывисто перемѣнилъ положеніе тѣла и сцѣпилъ безпокойные пальцы. Онъ проговорилъ жалобнымъ голосомъ: «Вотъ за этотъ тонъ...»

«Меня и казнять, — сказала Цинциннать, — знаю. Дальше!»

«Давайте перемѣнимъ разговоръ, умоляю васъ, — воскликнулъ Романъ Виссаріоновичъ. — Почему вы не можете остаться хоть теперь въ рамкахъ дозволеннаго? Право же, это ужасно, это свыше моихъ силъ. Я къ вамъ зашелъ просто, чтобы спросить васъ, нѣтъ ли у васъ какихъ-либо законныхъ желаній... напримѣръ (тутъ у него лицо оживилось), вы, можетъ, желали бы имѣть въ печатномъ видѣ рѣчи, произнесенныя на судѣ? Въ случаѣ такого желанія, вы обязаны въ кратчайшій срокъ подать соответствующее прошеніе, которое мы оба съ вами сейчасъ вмѣстѣ и составили бы, — съ подробно мотивированнымъ указаніемъ, сколько именно экземпляровъ рѣчей требуется вамъ, и для какой цѣли. У меня есть какъ разъ свободный часокъ, давайте, ахъ, давайте этимъ займемся, прошу васъ! Я даже специальный конвертъ заготовилъ».

«Курьеза ради... — проговорилъ Цинциннать, — но прежде... Неужто же и вправду нельзя добиться отвѣта?»

«Специальный конвертъ», — повторилъ адвокатъ, соблазняя.

«Хорошо, дайте сюда», — сказала Цинциннать и разорвала толстый, съ начинкой, конвертъ на завивающіеся клочки.

«Это вы напрасно, — едва не плача, вскричала адвокатъ. — Это очень напрасно. Вы даже не понимаете, что вы сдѣлали. Можетъ, тамъ находился приказъ о помилованіи. Второго не достать!»

Цинциннать поднялъ горсть клочковъ, пощуповалъ

составить хотя бы одно связное предложеніе, но все было спутано, искажено, разъято.

«Вотъ вы всегда такъ, — подвывалъ адвокатъ, держа себя за виски и шагая по камерѣ. — Можетъ, спасеніе ваше было въ вашихъ же рукахъ, а вы его... Ужасно! Ну что мнѣ съ вами дѣлать? Теперь пиши пропало... А я-то — такой довольный... Такъ подготавливалъ васъ...»

«Можно? — растянугымъ въ ширину голосомъ спросилъ директоръ, пріоткрывъ дверь. — Я вамъ не помѣшаю?»

«Просимъ, Родригъ Ивановичъ, просимъ, — сказала адвокатъ, — просимъ, Родригъ Ивановичъ, дорогой. Только не очень-то у насъ весело...»

«Ну, а какъ нынче нашъ симпатичный смертникъ, — пошутилъ эlegantный, представительный директоръ, пожимая въ своихъ мясистыхъ лиловатыхъ лапахъ маленькую холодную руку Цинцинната: — Все хорошо? Ничего не болитъ? Все болтаете съ нашимъ неутомимымъ Романомъ Виссаріоновичемъ? Да, кстати, голубчикъ Романъ Виссаріоновичъ... могу васъ порадовать, — озорница моя только что нашла на лѣстницѣ вашу запонку. La voici. Это вѣдь французское золото, неправда ли? Весьма изящно. Complimentовъ я обычно не дѣлаю, но долженъ сказать...»

Оба отошли въ уголь, дѣлая видъ, что разглядываютъ прелестную штучку, обсуждаютъ ея исторію, цѣнность, удивляются. Цинциннатъ воспользовался этимъ, чтобы достать изъ-подъ койки — и съ тоненькимъ бисернымъ звукомъ, подъ конецъ съ запинками —

«Да, большой вкусъ, большой вкусъ, — повторялъ директоръ, — возвращаясь изъ угла подъ руку съ адвокатомъ. Вы, значить, здоровы, молодой человекъ, — бессмысленно обратился онъ къ Цинциннату, влѣзавшему обратно въ постель. — Но капризничать все-таки не слѣдуетъ. Публика — и всѣ мы, какъ представители публики, хотимъ вашего блага, это, кажется, ясно. Мы даже готовы

пойти навстрѣчу вамъ въ смыслѣ облегченія вашего одиночества. На-дняхъ въ одной изъ нашихъ литерныхъ камеръ поселится новый арестантъ. Познакомитесь, это васъ развлечетъ».

«На-дняхъ? — переспросилъ Цинциннать. — Значить, дней-то будетъ еще нѣсколько?»

«Нѣтъ, каковъ, — засмѣялся директоръ, — все ему нужно знать. А, Романъ Виссаріоновичъ?»

«Охъ, другъ мой, и не говорите», — вздохнулъ адвокатъ.

«Да-съ, — продолжалъ тотъ, потрихивая ключами, — вы должны быть покладистѣе, сударикъ. А то все: гордость, гнѣвъ, глумь. Я имъ вечеръ сливъ этихъ, значить, несъ, --- такъ что же вы думаете? — не изволили кушать, погнушались. Да-съ. Вотъ я вамъ про новаго арестантъ-ка началъ. Ужо накалякаетесь съ нимъ, а то вишь носъ повѣсили. Что, не такъ говорю, Романъ Виссаріоновичъ?»

«Такъ, Родіонъ, такъ», — подтвердилъ адвокатъ съ невольной улыбкой.

Родіонъ погладилъ бороду и продолжалъ: «Очень жалко стало ихъ мнѣ, — вхожу, гляжу, — на столѣ-стулѣ стоять, къ рѣшеткѣ рученьки-ноженьки тянутъ, равно мартышка квоялая. А небо то синѣхонько, касаточки летаютъ, опять же облачка, — благодать, ра-адость! Сымаю ихъ это, какъ дитѣ малое, со стола-то, — а самъ реву, — вотъ истинное слово — реву... Очень, значить, меня эта жалость разобрала».

«Повести его, что-ли, наверхъ?» — нерѣзительно предложилъ адвокатъ.

«Это, что же, можно, — протянулъ Родіонъ со степеннымъ добродушіемъ, --- это всегда можно».

«Облачитесь въ халатъ», — произнесъ Романъ Виссаріоновичъ.

Цинциннать сказала: «Я покоряюсь вамъ, — призраки, оборотни, пародіи. Я покоряюсь вамъ. Но все-таки я требую, --- вы слышите, требую (и другой Цинциннать исте-

рически затопаль, теряя туфли), — чтобы мнѣ сказали, сколько осталось мнѣ жить... и дадутъ ли мнѣ свиданіе съ женой».

«Вѣроятно, дадутъ, — отвѣтилъ Романъ Виссаріоновичъ, переглянувшись съ Родіономъ. — Вы только не говорите такъ много. Ну-съ, пошли».

«Пожалуйста», — сказалъ Родіонъ и толкнулъ плечомъ отпертую дверь.

Всѣ трое вышли: впереди — Родіонъ, колченогій, въ старыхъ выцветшихъ шароварахъ, отвисшихъ на задѣ; за нимъ — адвокатъ, во фракѣ, съ нечистою тѣнью на целлулоидовомъ воротничкѣ и каемкой розоватой кисеи на затылкѣ, тамъ, гдѣ кончался черный парикъ; за нимъ, — наконецъ, Цинцинната, теряющій туфли, запахивающій полы халата.

У загиба коридора другой стражникъ, безымянный, дружески отдалъ имъ честь. Блѣдный каменный свѣтъ смѣнялся областями сумрака. Шли, шли, — за излучкой излучка, — и нѣсколько разъ проходили мимо одного и того же узора сырости на стѣнѣ, похожаго на страшную ребристую лошадь. Кое-гдѣ надо было включать электричество; горькимъ, желтымъ огнемъ загоралась пыльная лампочка, вверху или сбоку. Случалось впрочемъ, что она была мертвая, и тогда шаркали въ плотныхъ потемкахъ. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ неожиданно и необъяснимо падалъ сверху небесный лучъ и дымился, сиялъ, разбившись на шербатовыхъ плантахъ, дочка директора, Эмочка, въ сияющемъ клѣтчатымъ платьѣ и клѣтчатыхъ носкахъ, — дитя, но съ мраморными икрами маленькихъ танцовщицъ, — играла въ мячъ, мячъ равномерно стучался объ стѣну. Она обернулась, четвертымъ и пятымъ пальцемъ смазывая прочь со щеки бѣлокурую прядь, и проводила глазами коротенькое шествіе. Родіонъ, проходя, ласково позвенѣлъ ключами; адвокатъ вскользь погладилъ ее по свѣтящимся волосамъ; но она глядѣла на Цинцинната, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до слѣдующаго ко-

лѣна коридора, всѣ трое оглянулись. Эмочка смотрѣла имъ вслѣдъ, слегка всплескивая блестящимъ красно-синимъ мячомъ.

Опять долго шли въ темнотѣ, покуда не попали въ туникъ, гдѣ, надъ свернутой кишкой брандспойта, свѣтилась красная лампочка. Родіонъ отперъ низкую, кованую дверь; за ней круто заворачивались вверхъ ступени каменной лѣстницы. Тутъ нѣсколько измѣнился порядокъ: Родіонъ, потонавъ въ тактъ на мѣстѣ, пропустивъ впередъ сперва адвоката, затѣмъ Цинцинната, мягко переступилъ и замкнулъ шествиѣ. По крутой лѣстницѣ, съ постепеннымъ развитіемъ которой совпадало медленное свѣтлѣніе тумана, въ которомъ она росла, подниматься было не легко, а поднимались такъ долго, что Цинциннатъ отъ нечего дѣлать принялся считать ступени, досчиталъ до трехзначной цифры, но спутался, оступившись. Воздухъ исподволь блѣднѣлъ. Цинциннатъ, утомясь, лѣзъ какъ ребенокъ, начиная все съ той же ноги. Еще одинъ заворотъ, и вдругъ налетѣлъ густой вѣтеръ, ослѣпительно распахнулось лѣтнее небо, пронзительно зазвучали крики ласточекъ.

Наши путешественники очутились на широкой башенной террасѣ, откуда открывался видъ на разстояніе, духъ захватывавшее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крѣпость громадно высилась на громадной скалѣ, коей она казалась чудовищнымъ порожденіемъ. Далеко внизу виднѣлись почти отвѣсные виноградники, и бланжевая дорога, вѣясь, спускалась къ безводному руслу рѣки, и черезъ выгнутый мостъ шель кто-то крохотный въ красномъ, и бѣгущая точка передъ нимъ была, вѣроятно, собака.

Дальше большимъ полукругомъ расположился на солнцепекѣ городъ: разноцвѣтные дома то шли ровными рядами, сопутствуемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатамъ, наступая на собствѣнные тѣни, --- и можно было различить движеніе на Первомъ Бульварѣ и особенное мерцаніе въ концѣ, гдѣ игралъ знаменитый фон-

тань. А еще дадше, по направленію къ дымчатымъ складамъ холмовъ, замыкавшихъ горизонтъ, тянулася темная рябь дубовыхъ рощъ, тамъ и сямъ сверкало озеро, какъ ручное зеркало, — а другіе яркіе овалы воды собирались, горя въ нѣжномъ туманѣ, вонъ тамъ на западѣ, гдѣ начиналася жизнь излучистой Строни. Цинциннать, приложивъ ладонь къ щекѣ, въ неподвижномъ, невыразимо-смутномъ и, пожалуй, даже блаженномъ отчаяніи, глядѣлъ на блескъ и туманъ Тамаринныхъ Садовъ, на сизые, тающіе холмы за ними, — ахъ, долго не могъ оторваться...

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, на широкой каменный парапетъ, поросшій поверху какимъ-то предприимчивымъ злакомъ, положилъ локти адвокатъ, его спина была запачкана въ известку. Онъ задумчиво смотрѣлъ въ пространство, лѣвымъ лакированнымъ башмакомъ наступя на правый и такъ оттигивая пальцами щеки, что выворачивались нижнія вѣлки. Родіонъ нашель гдѣ-то метлу и, молча, мелъ плиты террасы.

«Какъ это все обаятельно, — обратился Цинциннать къ садамъ, къ холмамъ, — (и было почему-то особенно приятно повторять это «обаятельно» на вѣтру, вродѣ того, какъ дѣти зажимаютъ и вновь обнажаютъ уши, забавляясь обновленіемъ слышимаго міра). — Обаятельно! Я никогда не видалъ именно такими этихъ холмовъ, такими таинственными. Неужели въ ихъ складкахъ, въ ихъ тѣнистыхъ долинахъ, нельзя было бы мнѣ — Нѣтъ, лучше объ этомъ не думать».

Онъ обошелъ террасу кругомъ. На сѣверѣ разлеглась равнина, по ней бѣжали тѣни облаковъ; дуга смѣнялись нивами; за изгибомъ Строни видѣлись наполовину заросшія очертанія аэродрома и строеніе, гдѣ содержался почтенный, дряхлый, съ рыжими, въ пестрыхъ заплатахъ, крыльями, самолетъ, который еще иногда пускался по праздникамъ, — главнымъ образомъ для развлечения калѣкъ. Вещество устало. Сладко дремало время. Былъ одинъ человекъ въ городѣ, аптекарь, чей прадѣдъ, гово-

рять, оставилъ зацѣкъ о томъ, какъ вулканъ леталъ въ Китай.

Цинциннать, обойдя террасу, опять вернулся къ южному ея паранету. Его глаза совершали беззаконнѣйшія прогулки. Теперь мнилось ему, что онъ различаетъ тогъ цвѣтущій кустъ, ту птицу, ту уходящую подъ навѣсъ плуща тропинку — —

«Будетъ съ васъ, — добродушно сказалъ директоръ, бросая метлу въ уголь и надѣвни опять свой сюртукъ. — Айда по домамъ».

«Да, пора», — откликнулся адвокатъ, посмотрѣвъ на часы.

И то же маленькое шествіе двинулось въ обратный путь. Впередѣ — директоръ Родригъ Ивановичъ, за нимъ — адвокатъ Романъ Виссаріоновичъ, за нимъ — узникъ Цинциннать, нервно позѣывающій послѣ снѣжгаго воздуха. Сюртукъ у директора былъ сзади запачканъ въ извѣстку.

§ 4.

Она вошла, воспользовавшись утреннимъ явленіемъ Родіона, — проскользнувъ подъ его руками, державшими поднось.

«Тю-тю-тю», — предостерегающе произнесъ онъ, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрылъ за собой дверь, ворча въ усы: «Вотъ проказница...»

Эмиочка между тѣмъ спряталась отъ него за столъ, присѣвъ на корточки.

«Книжку читаете? — замѣтилъ Родіонъ, свѣзаясь добротой. — Дѣло хорошее».

Цинциннать, не поднимая глазъ со страницы, издалъ мычаніе, утвердительный ямбъ, — но глаза уже не брали строчекъ.

Родіонъ, исполнивъ нехитрыя свои обязанности, — тряпкой погнавъ расплясавшуюся въ лучѣ пыль и, накормивъ паука, — удалился.

Эмочка — все еще на корточкахъ, но чуть вольгѣе, чуть покачиваясь, какъ на рессорахъ, — скрестивъ голыя пушистыя руки, полуоткрывъ розовый ротъ и моргая длинными, блѣдными, какъ бы даже съдыми, рѣсницами, смотрѣла поверхъ стола на дверь. Уже знакомое движеніе: быстро, первыми попавшимися пальцами, отвела льяныя волосы съ виска, кинувъ искоса взглядъ на Цинциннату, который отложилъ книжку и ждалъ, что будетъ дальше.

«Ушелъ», — сказала Цинцинната.

Она встала съ корточекъ, но, еще согбенная, смотрѣла на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдругъ, оскалась, сверкнувъ балеринными икрами, бросилась къ двери, — разумѣется, запертой. Отъ ея муароваго кушака въ камерѣ ожилъ воздухъ.

Цинцинната задалъ ей два обычныхъ вопроса. Она ужимчиво себя назвала и отвѣтила, что двѣнадцать.

«А меня тебѣ жалко?» — спросилъ Цинцинната.

На это она не отвѣтила ничего. Подняла къ лицу глиняный кувшинъ, стоявшій въ углу. Пустой, гулкой. Погукала въ его глубину, а черезъ мгновеніе опять метнулась, — и теперь стояла, прислонившись къ стѣнѣ, опираясь однѣми лопатками да локтями, скользя впередъ напряженными ступнями въ плоскихъ туфляхъ — и опять выправляясь. Про себя улыбнулась, а затѣмъ хмуро, какъ на низкое солнце, взглянула на Цинциннату, продолжая сползать. По всему судя, — это было дикое, безпокойное дитя.

«Неужели тебѣ не жалко меня? — сказалъ Цинцинната. — Невозможно, не допускаю. Ну, поди сюда, глухая лань, и повѣдай мнѣ, въ какой день я умру».

Но Эмочка ничего не отвѣтила, а съѣхала на полъ и тамъ смирно сѣла, прижавъ подбородокъ къ поднятымъ сжатымъ колѣнкамъ, на которыя натянула подолъ, показывая снизу гладкія ляжки.

«Скажи мнѣ, Эмочка, — я такъ прошу тебя... Ты

вѣдь все знаешь, — я чувствую, что знаешь... Отецъ говорилъ за столомъ, мать говорила на кухнѣ... Всѣ, всѣ говорятъ. Вчера въ газетѣ было аккуратное оконце, — значить, толкуютъ объ этомъ, и только я одинъ — »

Она, какъ поднятая вихремъ, вскочила съ пола и, опять кинувшись къ двери, застучала въ нее, — не ладонями, а скорѣе пятками рукъ. Ея распушенные, шелковисто-блѣдые волосы кончались длинными буклями.

«Будь ты взрослой, — подумаль Цинциннать, -- будь твоя душа хоть слегка съ моей поволокой, ты, какъ въ поэтической древности, наполни бы сторожей, выбравъ ночь потемнѣй... — » — «Эмочка! — воскликнулъ онъ: — умоляю тебя, скажи мнѣ, я не отстану, скажи мнѣ, когда я умру?»

Грызя палець, она подошла къ столу, гдѣ громоздились книги. Распахнула одну, перелистала съ трескомъ, чуть не вырывая страницы, захлопнула, взяла другую. Какая-то зыбь все бѣжала по ея лицу, — то морщился веснучатый носъ, то языкъ внутри натягивалъ щеку.

Лязгнула дверь: Родіонъ, посмотрѣвшій, вѣроятно, въ глазокъ, вошелъ, довольно сердитый.

«Брысь, барышня! Мнѣ же за это достанется».

Она визгливо захохотала, увильнула отъ его ракообразной руки и бросилась къ открытой двери. Тамъ, на порогѣ, остановилась вдругъ съ очаровательной танцевальной точностью, — и, не то посылая воздушный поцѣлуй, не то заключая союзъ молчанія, взглянула черезъ плечо на Цинциннату; послѣ чего—съ той же ритмической внезапностью — сорвалась и убѣжала большими высокими, упругими шагами, уже подготовлявшими полетъ.

Родіонъ, бурча, бренча, тяжело за нею послѣдовалъ.

«Постойте! — крикнулъ Цинциннать. -- Я кончилъ всѣ книги. Принесите мнѣ опять каталогъ».

«Книги...» — сердито усмѣхнулся Родіонъ и съ подчеркнутой звучностью заперъ за собой дверь.

Какая тоска. Цинциннать, какая тоска! Какая каменная

тоска, Цинциннать, — и безжалостный бой часовъ, и жирный паукъ, и желтыя стѣны, и шершавость чернаго шерстяного одѣяла. Прыка на шоколадѣ. Взять въ самомъ центрѣ двумя пальцами и сдернуть цѣликомъ съ поверхности — уже не плоскій покровъ, а сморщенную коричневую юбочку. Онъ едва теплъ подъ ней, — сладковатый, стоячій. Три гренка въ черепаховыхъ подпалинахъ. Кружокъ масла съ тисненымъ вензелемъ директора. Какая тоска, Цинциннать, сколько крошекъ въ постели

Погоревавъ, поохавъ, похрустѣвъ всѣми суставами, онъ всталъ съ койки, надѣлъ ненавистный халатъ, пошелъ бродить. Слова перебралъ всѣ надписи на стѣнахъ съ надеждой открыть гдѣ-нибудь новую. Какъ вороненокъ на пнѣ, долго стоялъ на стулѣ, неподвижно глядя вверхъ на нищенскій паекъ неба. Опять ходилъ. Опять читалъ уже выученныя наизусть восемь правилъ для заключенныхъ:

1. Безусловно воспрещается покидать зданіе тюрьмы.
2. Кротость узника есть украшеніе темницы.
3. Убѣдительно просить соблюдать тишину между часомъ и тремя ежедневно.
4. Воспрещается приводить женщинъ.
5. Пѣть, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашенію и въ извѣстные дни.
6. Желательно, чтобы заключенный не видѣлъ вовсе, а въ противномъ случаѣ тотчасъ самъ пресѣкалъ, ночные сны, могушіе быть по содержанию своему несовмѣстимыми съ положеніемъ и званіемъ узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обѣды, а также половое общеніе съ особами, въ видѣ реальномъ и состояніи бодрствованія не подпускающими даннаго лица, которое посему будетъ разсматриваться закономъ, какъ насильникъ.
7. Пользуясь гостепрїимствомъ темницы, узникъ, въ свою очередь, не долженъ уклоняться отъ участія въ уборкѣ и другихъ работахъ тюремнаго персонала постольку, поскольку таковое участіе будетъ предложено ему.

8. Дирекція ни въ коемъ случаѣ не отвѣчаетъ за пропажу вещей, равно какъ и самого заключеннаго.

Тоска, тоска, Цинциннать. Опять шагай, Цинциннать, задѣвая халатомъ то стѣны, то стуль. Тоска! На столѣ наваленныя книги прочитаны всѣ. И хотя онъ зналъ, что прочитаны всѣ, Цинциннать поискалъ, пошарилъ, заглянулъ въ толстый томъ... перебралъ, не садясь, уже видѣныя страницы.

Это былъ томъ журнала, выходившаго нѣкогда, — въ едва вообразимомъ вѣкѣ. Тюремная бібліотека, считавшаяся по количеству и рѣдкости книгъ второй въ городѣ, содержала нѣсколько такихъ диковинъ. То былъ далекій міръ, гдѣ самыя простыя предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тѣмъ преклоненіемъ, которымъ окружался трудъ, шедшій на ихъ выдѣлку. То были годы всеобщей плавности; масломъ смазанный металл занимался безшумной акробатикой; ладныя лиліи пиджачныхъ одждѣ диктовались неслышанной гибкостью мускулистыхъ тѣлъ; текучее стекло огромныхъ оконъ округло загибалось на углахъ домовъ; ласточкой вольно летѣла дѣва въ трико — такъ высоко надъ блестящимъ бассейномъ, что онъ казался не больше блюда; въ прыжкѣ безъ шеста атлетъ навзничъ лежалъ въ воздухѣ, достигнувъ уже такой крайности напряженія, что если бы не флажныя складки на трусахъ съ лампасами, оно походило бы на лѣтний покой; и безъ конца лилась, скользила вода: грація спадающей воды, ослѣпительныя подробности ваннхъ комнатъ, атласистая зыбь океана съ двукрылой тѣнью на ней. Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготѣло къ нѣкому совершенству, которое опредѣлялось однимъ отсутствіемъ тренія. Униваясь всѣми соблазнами круга, жизнь довертѣлась до такого головокруженія, что земля ушла изъ подъ ногъ, и, поскользнувшись, упавъ, ослабѣвъ отъ тошноты и томности... сказать ли?.. очутившись какъ бы въ другомъ измѣреніи. — Да, вещество постарѣло, устало, мало что уцѣ-

лѣло отъ легендарныхъ временъ, — двѣ-три машины, дватри фонтана, — и никому не было жаль прошлаго, да и самое понятие «прошлаго» сдѣлалось другимъ.

«А можетъ быть, — подумалъ Цинциннатъ, — я невѣрно толкую эти картинки. Эпохѣ придаю свойства ея фотографіи. Это богатство тѣней, и потоки свѣта, и лоскъ загорѣлаго плеча, и рѣдкостное отраженіе, и плавные переходы изъ одной стихіи въ другую, — все это, быть можетъ, относится только къ снимку, къ особой свѣтониси, къ особымъ формамъ этого искусства, и міръ на самомъ дѣлѣ вовсе не былъ столь изгибистъ, влаженъ и скоръ, — точно такъ же, какъ наши нехитрые аппараты по своему запечатлѣваютъ нашъ сегодняшній наскоро сколоченный и покрашенный міръ».

«А можетъ быть (быстро началъ писать Цинциннатъ на клѣтчатомъ листѣ) я невѣрно толкую... Эпохѣ придаю... Это богатство... Потоки... Плавные переходы... И міръ былъ вовсе... Точно такъ же, какъ наши... Но развѣ могутъ домыслы эти помочь моей тоскѣ? Ахъ, моя тоска, — что мнѣ дѣлать съ тобой, съ собой? Какъ смѣютъ держать отъ меня въ тайнѣ... Я, который долженъ пройти черезъ сверхмучительное испытаніе, я, который для сохраненія достоинства хотя бы наружнаго (дальше безмолвной блѣдности все равно не пойду, — все равно не герой...) долженъ во время этого испытанія владѣть всѣми своими способностями, я, я... медленно слабѣю... неизвѣстность ужасна, — ну, скажите мнѣ наконецъ.. Такъ нѣтъ, замирай каждое утро... Между тѣмъ, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что... Небольшой трудъ... запись провѣренныхъ мыслей... Кто-нибудь когда-нибудь прочтетъ и станетъ весь какъ первое утро въ незнакомой странѣ. То-есть, я хочу сказать, что я бы его заставилъ вдругъ залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, — и, когда онъ пройдетъ черезъ это, міръ будетъ чище, омытъ, освѣженъ. Но какъ мнѣ приступить къ писанію, когда не знаю, успѣю ли, а въ томъ-то и мученіе, что говоришь се-

бѣ: вотъ вчера успѣлъ бы, — и опять думаешь: вотъ и вчера бы... И вмѣсто нужной, ясной и точной работы, вмѣсто мѣрнаго подготовленія души къ минутѣ утренняяго вставанія, когда... ведро налача, когда подадутъ тебѣ, душа, умыться... такъ, вмѣсто этого, невольно предаешься банальной, безумной мечтѣ о бѣгствѣ, — увы, о бѣгствѣ... Когда она промчалась сегодня, тоная и хохоча, — то-есть я хочу сказать... Нѣтъ, надобно все-таки что-нибудь запечатлѣть, оставить. Я не простой... я тотъ, который живъ среди васъ... Не только мои глаза другіе, и слухъ, и вкусъ, — не только обоняніе, какъ у оленя, а осязаніе, какъ у нетопыря, — но главное: даръ сочетать все это въ одной точкѣ... Нѣтъ, тайна еще не раскрыта, — даже это-только огниво, — и я не заикнулся еще о зарожденіи огня, о немъ самомъ. Моя жизнь. Когда-то въ дѣтствѣ, на далекой школьной поѣздкѣ, отбившись отъ прочихъ, — а можетъ быть мнѣ это приснилось, — я попалъ знойнымъ полднемъ въ сонный городокъ, до того сонный, что, когда человѣкъ, дремавшій на заваленкѣ подъ яркой бѣлой стѣпой, наконецъ всталъ, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тѣнь на стѣнѣ не сразу за нимъ послѣдовала... о, знаю, знаю, что тутъ съ моей стороны былъ недосмотръ, ошибка, что вовсе тѣнь не замѣшкалась, а просто, скажемъ, зацѣпилась за шероховатость стѣны... — но вотъ, что я хочу выразить: между его движеніемъ и движеніемъ огланшей тѣни, — эта секунда, эта синкопа, — вотъ рѣдкій сортъ времени, въ которомъ живу, — пауза, перебой, — когда сердце, какъ пухъ.. И еще я бы написалъ о постоянномъ трепетѣ... и о томъ, что всегда часть моихъ мыслей тѣснится около невидимой луповины, соединяющей міръ съ чѣмъ-то, — съ чѣмъ, я еще не скажу... Но какъ мнѣ писать объ этомъ, когда боюсь не успѣть и понапрасну разбередить... Когда она сегодня примчалась, — еще ребенокъ, — вотъ, что хочу сказать, — еще ребенокъ, съ какими-то лазейками для моей мысли, — я подумалъ словами древнихъ стиховъ — напоила бы

сторожей... сплсала бы меня. Кабы вотъ такимъ ребенкомъ осталась, а вмѣстѣ повзрослѣла, поняла, — и вотъ удалось бы: горящія щеки, черная вѣтреная ночь, спасеніе, спасеніе... И напрасно я повтѣрю, что въ мірѣ нѣтъ мнѣ пріюта... Есть! Найду я! Въ пустынѣ цвѣтущая балка! Немного снѣгу въ тѣни горной скалы! А вѣдь это вредно — то, что дѣлаю, — я и такъ слабъ, а разжигая себя, уничтожаю послѣднія свои силы. Какая тоска, ахъ, какая... И мнѣ ясно, что я еще не снялъ самой послѣдней пленки со своего страха».

Онъ задумался. Потомъ бросилъ карандашъ, всталъ, заходилъ. Донесся бой часовъ. Пользуясь ихъ звономъ, какъ платформой, поднялись на поверхность шаги; платформа уплыла, шаги остались, и вотъ въ камеру вошли: Родіонъ съ супомъ и господинъ бібліотекаръ съ каталогомъ.

Это былъ здоровеннаго роста, но болѣзненнаго вида мужчина, блѣдный, съ тѣнью у глазъ, съ плѣшью, окруженной темнымъ вѣнцомъ волосъ, съ длиннымъ станомъ въ синей фуфайкѣ, мѣстами выцвѣтшей и съ кубовыми заплатами на локтяхъ. Онъ держалъ руки въ карманахъ узкихъ, какъ смерть, штановъ, сжавъ подмышкой большую, переплетенную въ черную кожу книгу. Цинциннатъ уже разъ имѣлъ удовольствіе видѣть его.

«Каталогъ», — сказалъ бібліотекаръ, рѣчь котораго отличалась какой-то вызывающей лаконичностью.

«Хорошо, оставьте у меня, — сказалъ Цинциннатъ, — я выберу. Если хотите подождать, присѣсть, — пожалуйста. А если хотите уйти...»

«Уйти», — сказалъ бібліотекаръ.

«Хорошо. Тогда я потомъ передамъ каталогъ Родіону. Вотъ, можете забрать... Эти журналы древнихъ — прекрасны, трогательны... Съ этимъ тяжелымъ томомъ я, знаете, какъ съ грузомъ, пошелъ на дно времени. Плѣнительное ощущеніе».

«Нѣтъ», — сказалъ бібліотекаръ.

«Принесите мнѣ еще, я выпишу, какіе годы. И романъ какой-нибудь, поновѣе. Вы уже уходите? Вы взяли все?»

Оставшись одинъ, Цинциннатъ принялся за супъ; одновременно перелистывалъ каталогъ. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана; среди печатнаго текста было множество заглавій мелко, но четко вписано отъ руки красными чернилами. Не специалисту разобрать-ся въ каталогѣ было трудно изъ-за расположенія названій книгъ — не по алфавиту, а по числу страницъ въ каждой, приче́мъ тутъ же отмѣчалось, сколько (во избѣжаніе совпадений) вклеено въ ту или другую книгу лишннихъ листовъ. Цинциннатъ поэтому искалъ безъ опредѣленной цѣли, а такъ, что приглянется. Каталогъ содержался въ образцовой чистотѣ; тѣмъ болѣе удивительно было, что на бѣломъ оборотѣ одной изъ первыхъ страницъ дѣтская рука сдѣлала карандашемъ серію рисунковъ, смыслъ коихъ Цинциннатъ не сразу разгадалъ.

§ 5.

«Позвольте васъ отъ души поздравить», — маслянистымъ басомъ сказалъ директоръ, входя на другое утро въ камеру къ Цинциннату. Родригъ Ивановичъ казался еще наряднѣе, чѣмъ обычно: спина параднаго сюртука была, какъ у кучеровъ, упитана ватой, широкая, плоско-жирная, парикъ лоснился, какъ новый, сдобное тѣсто подбородка было напудрено, точно калачъ, а въ петлицѣ розовѣлъ восковой цвѣтокъ съ крапчатой ластью. Изъ-за статной его фигуры, — онъ торжественно остановился на порогѣ, — выглядывали съ любопытствомъ, тоже праздничные, тоже припомаженные, служащіе тюрьмы. Родіонъ надѣлъ даже какой-то орденокъ.

«Я готовъ. Я сейчасъ одѣнусь. Я зналъ, что сегодня».

«Поздравляю, — повторилъ директоръ, не обращая вниманія на суетливыя движенія Цинцинната. — Честь имѣю доложить, что у васъ есть отнынѣ сосѣдь, — да,

да, только что въѣхалъ. Заждались небось? Ничего, — теперь, съ наперсникомъ, съ товаришемъ по играмъ и занятіямъ, вамъ не будетъ такъ скучно. Кромѣ того, — по это, конечно, должно остаться строго между нами, — могу сообщить, что пришло вамъ разрѣшеніе на свиданіе съ супругой: *demain matin*».

Цинциннать опять опустился на койку и сказалъ: «Да, это хорошо. Благодарю васъ, кукла, кучеръ, крашеная сволочь... Простите, я немножко...»

Тутъ стѣны камеры начали выгибаться и вдавливаться, какъ отраженія въ поколебленной водѣ; директоръ забылся, койка превратилась въ лодку, Цинциннать схватился за край, чтобы не свалится, но уключина осталась у него въ рукѣ, — и, по горло среди тысячи крапчатыхъ цвѣтовъ, онъ поплылъ, запутался и началъ тонуть. Шестами, баграми, засучивъ рукава, принялись въ него тыкать, поддѣвать его и вытаскивать на берегъ. Вытащили.

«Мы нервозны, какъ маленькая женщина, — сказалъ съ улыбкой тюремный врачъ, онъ же Родригъ Ивановичъ. — Дышите свободно. Ъсть можете все. Ночные поты бываютъ? Продолжайте въ томъ же духѣ, и, если будете очень послушны, то можетъ быть, можетъ быть, мы вамъ позволимъ однимъ глазкомъ на новичка... но чуръ, только однимъ глазкомъ...»

«Какъ долго... это свиданіе... сколько миѣ дадутъ...» — съ трудомъ выговорилъ Цинциннать.

«Сейчасъ, сейчасъ. Не торопитесь такъ, не волнуйтесь. Разъ обѣщано показать, то покажемъ. Надѣньте туфли, пригладьте волосы. Я думаю, что --» Директоръ вопросительно взглянулъ на Родіона, тотъ кивнулъ. «Только, пожалуйста, соблюдайте абсолютную тишину, -- обратится онъ опять къ Цинциннату; -- и ничего не хватайте руками. Ну, вставайте, вставайте. Вы не заслужили этого, вы, батюшка мой, ведете себя дурно, но все же разрѣшается вамъ... Теперь -- ни слова, тихохонько...»

На цыпочкахъ, балансируя руками, Родригъ Ивано-

вичь вышла, и съ нимъ Цинциннать, въ своихъ большихъ шенелявыхъ туфляхъ. Въ глубинѣ коридора, у двери съ внушительными скрѣпами, уже стоялъ, согнувшись, Родіонъ и, отодвинувъ заслонку, смотрѣлъ въ глазокъ. Не отрываясь, онъ сдѣлалъ рукой жестъ, требующій еще большей тишины, и незамѣтно измѣнилъ его на другой — приглашающій. Директоръ еще выше поднялся на цыпочкахъ, обернулся, грозно grimасничая, но Цинциннатъ не могъ не пошаркивать немножко. Тамъ и самъ, въ подлѣтѣ переходовъ, собирались, горбились, прикладывали козырькомъ ладонь, словно стараясь что-го вдали разглядѣть, смутныя фигуры тюремныхъ служащихъ. Лаборантъ Родіонъ пустилъ Родригъ Ивановича къ назначенному окуляру. Плотно скрипнувъ спиной, Родригъ Ивановичъ вникъ... Между тѣмъ, въ сѣрыхъ потемкахъ, смутныя фигуры беззвучно перебѣгали, беззвучно подзывали другъ друга, строились въ шеренги, и уже какъ поршни ходили на мѣстѣ ихъ мягкія многія ноги, готовясь выступить. Директоръ наконецъ медленно отодвинулся и легконько потянулъ Цинциннату за рукавъ, приглашая его, какъ профессоръ — захожаго профана, посмотрѣть на препаратъ. Цинциннатъ кротко припалъ къ свѣтлому кружку. Сперва онъ увидѣлъ только пузыри солнца, полоски, — и затѣмъ: койку, такую же, какъ у него въ камерѣ, около нея сложены были два добротныхъ чемодана съ горящими кнопками и большой продолговатый футляръ вродѣ какъ для тромбона...

«Ну что, видите что-нибудь», — прошептала директоръ, близко наклоняясь и благоухая, какъ лиліи въ открытомъ гробу. Цинциннатъ кивнулъ, хотя еще не видѣлъ главнаго; передвинулъ взглядъ лѣвѣе и тогда увидѣлъ по-настоящему.

На стулѣ, бокомъ къ столу, неподвижно, какъ сахарный, сидѣлъ безбородый толстячокъ, лѣтъ тридцати, въ старомодной, но чистой, свѣже-выглаженной арестантской пижамкѣ, — весь полосатый, въ полосатыхъ носкахъ,

въ новенькихъ сафьяновыхъ туфляхъ, — являя дѣствениую подошву, перекинувъ одну короткую ногу черезъ другую и держась за голень пухлыми руками; на мизинцѣ вспыхивалъ прозрачный аквамаринъ, свѣтло-русые волосы на удивительно круглой головѣ были раздѣлены проборомъ посрединѣ, длинныя рѣсницы бросали тѣнь на херувимскую щеку, между малиновыхъ губъ сквозила бѣлизна чудныхъ, ровныхъ зубовъ. Весь онъ былъ какъ бы подернутъ слегка блескомъ, слегка таялъ въ снопѣ солнечныхъ лучей, льющихся на него сверху. На столѣ ничего не было, кромѣ щегольскихъ дорожныхъ часовъ въ кожаной рамѣ.

«Будеть, — шепнулъ съ улыбкой директоръ, — я тоже хочу», — и онъ прильнулъ опять. Родіонъ знаками показая Цинциннату, что пора во-свосяи. Смутныя фигуры служащихъ почтительно приближались гуськомъ: позади директора уже составилъ цѣлый хвостъ желающихъ взглянуть; нѣкоторые привели своихъ старшихъ сыновей.

«Балуемъ мы васъ», — проворчалъ Родіонъ напоследокъ, — и долго не могъ отпереть дверь цинциннатовой камеры, — даже наградилъ ее круглымъ русскимъ словомъ, и это подѣйствовало.

Все стихло. Все было какъ всегда.

«Нѣтъ, не все, — завтра ты придешь», — вслухъ произнесъ Цинциннать, еще дрожа послѣ давешней дурноты. «Что я тебѣ скажу? — продолжалъ онъ думать, бормотать, содрогаться. — Что ты мнѣ скажешь? Наперекоръ всему я любилъ тебя, и буду любить — на колѣняхъ, со сведенными назадъ плечами, пятки показывая кату и напругая гусиную шею, — все равно, даже тогда. И послѣ, — можетъ быть, больше всего именно послѣ, — буду тебя любить, — и когда-нибудь состоится между нами истинное, исчерпывающее объясненіе, — и тогда ужъ какъ-нибудь мы сложимся съ тобой, приставимъ себя другъ къ дружкѣ, рѣшимъ головоломку: провести изъ такой-то точки въ такую-то... чтобы ни разу... или — не отнимая

карандаша... или еще какъ-нибудь... соединимъ, проведемъ, и получится изъ меня и тебя тотъ единственный нашъ узоръ, по которому я тоскую. Если они будутъ каждое утро такъ дѣлать, то вышколятъ, буду совсѣмъ деревянный...»

Цинциннать раззѣвался, — слезы текли по щекамъ, и опять, и опять вырасталъ во рту холмъ. Нервы, — спать не хотѣлось. Надо было чѣмъ-нибудь себя занять до завтра, — книгъ свѣжихъ еще не было, каталога онъ не отдалъ... Да, рисуночки! Но теперь при свѣтѣ завтрашней встрѣчи...

Дѣтская рука, несомнѣнно Эммочки, нарисовала рядъ картиночекъ, составлявшихъ (какъ вчера Цинциннату казалось) связный рассказъ, обѣщаніе, образчикъ мечты. Сначала: горизонтальная черта, то-есть сей каменный полъ, на немъ — элементарный стулъ вродѣ насѣкомаго, а вверху — рѣшетка въ шесть клѣтокъ. То же самое, но съ участіемъ полной луны, кисло опустившей уголки рта за рѣшеткой. Далѣе: на табуретѣ изъ трехъ черточекъ тюремщикъ безъ глазъ, значить — спящій, а на полу — кольцо съ шестью ключами. То же кольцо съ ключами, но покрупнѣе, и къ нему тянется рука, весьма пятипалая, въ короткомъ рукавчикѣ. Начинается интересное: дверь полуоткрыта, изъ-за нея — какъ бы птичья лапа: все, что видно отъ утекающаго узника. Онъ самъ, съ запятыми на головѣ вмѣсто кудрей, въ темномъ халатикѣ, посильно изображенномъ въ видѣ равнобедреннаго треугольника; его ведетъ дѣвочка: вилкообразныя ножки, волнистая юбочка, параллельныя линіи волосъ. То же самое, но въ видѣ плана, а именно: квадратъ камеры, кривая коридора, съ пунктиромъ маршрута и гармоникой лѣстницы въ концѣ. Наконецъ эпилогъ: темная башня, и надъ ней довольная луна — уголки рта кверху.

Нѣтъ, — самообманъ, вздоръ. Дитя намарало, безъ мысли... Выпишемъ заглавія и отложимъ каталогъ. Да, дитя... Высунувъ справа языкъ, крѣпко держа изрисованный

карандашикъ, напирая на него побѣлѣвшимъ отъ усилія пальцемъ... А затѣмъ — послѣ удачно замкнувшейся линіи — откидываясь, поводя такъ и сякъ головой, вертя лопатками, — и опять, припавъ къ бумагѣ и переведа языкъ нальво... такъ старательно... Вздоръ, не будемъ больше объ этомъ...

Ища, чѣмъ себя занять, и какъ оживить вялое время, Цинциннать рѣшилъ освѣжить свою внѣшность ради завтрашней Марфиньки. Родіонъ согласился притащить опять такую же лохань, въ какой Цинциннать полоскался наканунѣ суда. Въ ожиданіи воды Цинциннать сѣлъ за столъ, столъ сегодня немножко колыхался.

«Свиданіе, свиданіе, — писалъ Цинциннать, — означаетъ по всей вѣроятности, что мое ужасное утро уже близко. Послѣзавтра, вотъ въ это время, моя камера будетъ пуста. Но я счастливъ, что тебя увижу. Мы поднимались къ мастерскимъ по двумъ разнымъ лѣстницамъ, мужчины по одной, женщины по другой, — но сходились на предпоследней площадкѣ. Я уже не могу собрать Марфиньку въ томъ видѣ, въ какомъ встрѣтилъ ее въ первый разъ, но помнится, сразу замѣтилъ, что она пріоткрываетъ ротъ за секунду до смѣха, — и круглые каріе глаза, и коралловая сережки, — ахъ, какъ хотѣлось бы сейчасъ воспроизвести ее такой, совсѣмъ новенькой и еще твердой, — а потомъ постепенное смягченіе, — и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мнѣ, уже потеплѣвшая, почти живая. Ея міръ. Ея міръ состоитъ изъ простыхъ частицъ, просто соединенныхъ; простѣйшій рецептъ поваренной книги сложнѣе, пожалуй, этого міра, который она напѣвая, печеть, — каждый день для себя, для меня, для всѣхъ. Но откуда, — еще тогда, въ первые дни, — откуда злость и упрямство, которыя вдругъ — — Мягкая, смѣшная, теплая, а вдругъ — — Сначала мнѣ казалось, что это она нарочно: показываетъ, что-ли, какъ другая на ея мѣстѣ остервенѣла бы, заупрямилась. Какъ же я былъ удивленъ, когда оказалось, что это она

сама и есть! Изъ-за какой ёрунды, — глупая моя, какая голова маленькая, если прощупать сквозь все русое, густое, которому она умѣетъ придать невинную гладкость, съ дѣвическимъ переливомъ на темени. «Жонка у васъ — тишь да гладь, а кусачая», — сказалъ мнѣ ся первый, незабвенный любовникъ, причемъ подлость въ томъ, что эпитетъ -- не въ переносномъ... она дѣйствительно въ извѣстную минуту... одно изъ тѣхъ воспоминаій, которыя надо сразу гнать отъ себя, иначе одолѣетъ, заламаетъ. «Марфинька сегодня опять...» — а однажды я видѣлъ, я видѣлъ, я видѣлъ — съ балкона, — я видѣлъ, — и съ тѣхъ поръ никогда не входилъ ни въ одну комнату безъ того, чтобы не объявить издали о своемъ приближеніи — кашлемъ, бессмысленнымъ восклицаніемъ. Какъ страшно было уловить тотъ изгибъ, ту захлебывающуюся торпливость, -- все то, что было моимъ въ тѣнистыхъ тайникахъ Тамариныхъ Садовъ, — а потомъ мною же утрачено. Сосчитать, сколько было у нея... Вѣчная пытка: говорить за обѣдомъ съ тѣмъ или другимъ ея любовникомъ, казаться веселымъ, щелкать орѣхи, приговаривать, — и смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно подъ столомъ не увидѣть нижней части чудовища, верхняя часть котораго, вполнѣ благообразная, представляетъ собою молодую женщину и молодого мужчину, видныхъ по поясъ за столомъ, спокойно питающихся и болтающихъ, — а нижняя часть это -- четырехное нѣчто, свивающееся, бѣшеное... Я спустился въ адъ за оброненной салфеткой. Марфинька потомъ о себѣ говаривала (въ этомъ же самомъ множественномъ числѣ): «Намъ очень стыдно, что насъ видѣли», — и надувала губы. И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо -- Покуда въ тѣхъ садахъ будутъ дубы, я буду тебя -- Когда тебѣ наглядно доказали, что меня не хотятъ, отъ меня соронятся, — ты удивилась, какъ это ты ничего не замѣтила сама, — а вѣдь отъ тебя было такъ легко скрывать! Я помню, какъ ты умоляла меня исправиться. совершенно не

понимая, въ сущности, что именно слѣдовало мнѣ въ себѣ исправить, и какъ это собственно дѣлается, и до сихъ поръ ты ничего не понимаешь, не задумываясь надъ тѣмъ, понимаешь ли или нѣтъ, а когда удивляешься, то удивляешься почти уютно. Но когда судебный приставъ сталъ обходить со шляпной публику, ты все-таки свою бумажку бросила въ нее».

Надъ качающеюся у пристани лоханью поднимался ничѣмъ не виноватый, веселый, заманчивый парь. Цинциннатъ порывисто — въ два быстрыхъ пріема — вздохнулъ и отложилъ исписанныя страницы. Изъ скромнаго своего сундучка онъ извлекъ чистое полотенце. Цинциннатъ былъ такой маленькій и узкій, что ему удалось нѣликомъ помѣститься въ лохани. Онъ сидѣлъ, какъ въ душегубкѣ, и тихо плылъ. Красноватый вечерній лучъ, мѣшаясь съ паромъ, возбуждалъ въ небольшомъ мѣрѣ каменной камеры разноцвѣтный трепеть. Доплавъ, Цинциннатъ всталъ и вышелъ на сушу. Обтираясь, онъ боролся съ головокруженіемъ, съ сердечной истомой. Былъ онъ очень худъ, — и сейчасъ, при закатномъ свѣтѣ, подчеркивавшемъ тѣни реберъ, самое строеніе его грудной клѣтки казалось успѣхомъ мимикріи, ибо оно выражало рѣшетчатую сущность его среды, его темницы. Бѣдненькій мой Цинциннатъ. Обтираясь, стараюсь развлечь себя самимъ собой, онъ разглядывалъ всѣ свои жилки и невольно думалъ о томъ, что скоро его раскупорятъ, и все это выдѣется. Кости у него были легкія, тонкія; выжидательно, съ младенческимъ вниманіемъ, снизу вверхъ взирали на него кроткіе ногти на ногахъ (вы-то милые, вы-то певинные), — и, когда онъ такъ сидѣлъ на койкѣ, -- голый, всю тонкую спину отъ куприка до шейныхъ позвонковъ показывая наблюдателямъ за дверью (тамъ слышался шопотъ, обсуждалось что-то, шуршали. - - по ничего, пусть), Цинциннатъ могъ сойти за болѣзненнаго отрока, -- даже его затылокъ, съ длинной выемкой и хвостикомъ мокрыхъ волосъ, былъ мальчишескій - - и на рѣдкость сподручный. Изъ того же сун-

дучка Цинциннать досталъ зеркальце и баночку съ душистой вытравкой, ему всегда напоминавшей ту необыкновенно густошерстную мышку, которая была у Марфиньки на боку. Втеръ въ колочія щеки, тщательно обходя усы.

Теперь хорошо, чисто. Вздохнулъ и надѣлъ прохладную, еще пахнущую домашней стиркой ночную рубашку.

Стемяѣю. Онъ лежалъ и все продолжалъ плыть. Родіонъ въ обычный часъ зажегъ свѣтъ и убралъ остатки обѣда, ведро, лохань. Паукъ спустился къ нему на ниточкѣ и сѣлъ на палецъ, который Родіонъ протягивалъ мохнатуму зибърку, бесѣдуя съ нимъ, какъ съ кенаремъ. Между тѣмъ, дверь въ коридоръ оставалась чуть пріоткрытой, — и тамъ мелькнуло что-то... на мигъ свѣсилась витые концы блѣдныхъ доконовъ и исчезли, когда Родіонъ двинулся, глядя вверхъ на уходившаго подъ куполь цирка крохотнаго акробата. Дверь все оставалась на четверть пріотворенной. Тяжелый, въ кожаномъ фартукѣ, съ курчаво-красной бородой, Родіонъ медлительно двигался по камерѣ и, когда захрипѣли передъ боемъ часы (приблизившіеся теперь благодаря сквозному сообщенію), вынулъ откуда-то изъ-за пояса луковницъ и сѣриалъ. Затѣмъ, полагая, что Цинциннать спитъ, довольно долго смотрѣлъ на него, опираясь на метлу, какъ на алебарду. Неизвѣстно до чего додумавшись, онъ заневелся опять... Тѣмъ временемъ въ дверь беззвучно и не очень скоро вбѣжалъ красно-синій резиновый мячъ, прокатился по катету прямо подъ койку, на мигъ скрылся, тамъ звякнулся и выкатился по другому катету, то-есть по направленію къ Родіону, который, такъ его и не замѣтивъ, случайно его пнулъ, переступивъ, — и тогда, по гипотенузѣ, мячъ ушелъ въ ту же дверную промежку, откуда явился Родіонъ, взявъ метлу на плечо, покинулъ камеру. Свѣтъ погасъ.

Цинциннать не спать, не спать, не спать. — итъ, спать, но со стономъ опять выкарабкался, — и вотъ опять не спать, спать, не спать, — и все мѣшалось, Марфинька, плеча, бархоты, — и какъ это будетъ, — что? Казнь или

свиданіе? Все слилось окончательно, но онъ еще на одинъ мигъ разжмурился, оттого — что зажегся свѣтъ, и Родіонъ на носкахъ вошелъ, забралъ со стола черный каталогъ, вышелъ, погасло.

§ 6.

Что это было — сквозь все страшное, ночное, неповоротливое, — что это было такое? Последнимъ отодвинулось оно, нехотя уступая грузнымъ, огромнымъ возамъ сна, и вотъ сейчасъ первымъ выбѣжало. — такое приятное, приятное, растущее, яснѣющее, обливающее горячимъ сердце: Марфинька нынче придетъ!

Тутъ, на поднось, какъ въ театрѣ, Родіонъ принесъ лиловую записку. Цинциннать, присѣвъ на постель, прочелъ слѣдующее: «Милліонъ извиненій! Непростительная оплошность! Свѣрившись со статьей закона, обнаружилось, что свиданіе дается лишь по истеченіи недѣли постѣ суда. Итакъ, отложимъ на завтра. Будьте здоровеньки, кланяйтесь, у насъ все то же, хлопотъ полнонь ротъ, краска, присланная для будокъ, оказалась опять никуда негодной. о чемъ я уже писалъ, но безрезультатно»

Родіонъ, стараясь не глядѣть на Цинциннату, собиралъ со стола вчерашнюю посуду. Погода, вѣрно, стояла пасмурная: сверху проникающій свѣтъ былъ сѣрый, и темная кожаная одежда сердобольнаго Родіона казалась сырой, жухлой

«Ну что-жь, — сказала Цинцинната. — пожалуйста, пожалуйста. Я все равно безсиленъ (Другой Цинцинната, поменьше, плакала, свернувшись калачикомъ). Завтра, такъ завтра. Но я попрошу васъ позвать . . .»

«Сію минуту, — выпалилъ Родіонъ съ такой готовностью, словно только и жаждалъ этого, метнулся было вонъ, — но директоръ, слишкомъ нетерпѣливо ждавшій за дверью, явился чуть-чуть слишкомъ рано, такъ что они столкнулись.

Родригъ Ивановичъ держаль стѣнной календарь — и не зналь, куда его положить.

«Милліонъ извиненій, — крикнуль онъ, -- непрости- тельная оплошность! Свѣрившись со статьей закона...» — дословно повторивъ свою записку, Родригъ Ивановичъ сѣль въ ноги у Цинцинната и поспѣшно добавилъ: «Во всякомъ случаѣ можете подать жалобу, но считаю долгомъ васъ предупредить, что ближайшій сѣздъ состоится осенью, а къ тому времени много чего утечетъ. Ясно?»

«Я жаловаться не собираюсь, — сказалъ Цинциннатъ, — но хочу васъ спросить: существуетъ ли въ мнимой природѣ мнимыхъ вещей, изъ которыхъ сбитъ этотъ мнимый міръ, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательствомъ, что вы обѣщаніе свое исполните?»

«Обѣщаніе? — удивленно спросилъ директоръ, переставъ обмахивать себя картонной частью календаря (крь- постъ на закатѣ, акварель). — Какое обѣщаніе?»

«Насчетъ завтрашняго прихода моей жены. Пускай въ данномъ случаѣ вы не согласитесь мнѣ дать гарантію, — но я ставлю вопросъ шире: существуетъ ли вообще, можетъ ли существовать въ этомъ мірѣ хоть какое-нибудь обезпеченіе, хоть въ чемъ-нибудь порука, — или даже самая идея гарантіи неизвѣстна тутъ?»

Пауза.

«А бѣдный-го нашъ Романъ Виссаріоновичъ, — сказалъ директоръ, -- слышали? Слегъ, простудился и, кажется, довольно серьезно...»

«Я чувствую, что вы ни за что не отвѣтите мнѣ; это логично, ибо и безотвѣтственность вырабатываетъ въ концѣ концовъ свою логику. Я тридцать лѣтъ прожилъ среди плотныхъ на ощупь привидѣній, скрывая, что живъ и дѣйствителенъ, — но теперь, когда я попался, мнѣ съ вами стѣсняться нечего. По крайней мѣрѣ, проверю на опытъ всю несостоятельность даннаго міра.»

Директоръ кашлянулъ — и какъ ни въ чемъ не бывало: «Настолько серьезно, что я, какъ врачъ, не увѣренъ,

сможетъ ли онъ присутствовать, — то-есть выздоровѣть ли онъ къ тому времени, — brief, удастся ли ему быть на вашемъ бенефисѣ — »

«Уйдите», — черезъ силу произнесъ Цинциннатъ.

«Не падайте духомъ, — продолжалъ директоръ. — Завтра, завтра осуществится то, о чемъ вы мечтаете... А миленькій календарь, правда? Художественная работа. Нѣтъ, это я не вамъ принесъ».

Цинциннатъ прикрылъ глаза. Когда онъ взглянулъ опять, директоръ стоялъ къ нему спиной посрединѣ камеры. На стулѣ все еще валялись кожаный фартукъ и рыжая борода, оставленные повидимому Родіономъ.

«Нонче придется особенно хорошо убрать вашу обитель, — сказалъ онъ, не оборачиваясь; — привести все въ порядокъ по случаю завтрашней встрѣчи... Покамѣстъ будемъ тутъ мыть полъ, я васъ попрошу... васъ попрошу...»

Цинциннатъ зажмурился снова, и уменьшившійся голосъ продолжалъ: «...васъ попрошу выйти въ коридоръ. Это продлится недолго. Приложимъ всѣ усилія, дабы завтра должнымъ образомъ, чисто, нарядно, торжественно — »

«Уйдите», — воскликнулъ Цинциннатъ, привставъ и весь трясясь.

«Никакъ не можемъ, — степенно произнесъ Родіонъ, возясь съ ремнями фартука. — Придется звать того, — поработать. Вишь пыли-то... Сами спасибобко скажете».

Онъ посмотрѣлся въ карманное зеркальце, видѣлъ на щекахъ бороду и, наконецъ подойдя къ койкѣ, подаль Цинциннату одѣться. Въ туфли было предусмотрительно напихано немного скомканной бумаги, а поды хатки были аккуратно пододвинуты и зашпигованы. Цинциннатъ, покачиваясь, одѣлся и, стелка опираясь на руку Родіона, вышелъ въ коридоръ. Тамъ онъ сѣлъ на табуретъ, заточивъ руки въ рукава, какъ большой Родіонъ, оставивъ дверь палаты широко открытой, привидѣлся за уборку. Стулъ былъ

поставленъ на столъ; съ койки сорвана была простыня; звякнула ведерная дужка; сквознякъ перебралъ бумаги на столъ, и одинъ листъ спланировалъ на полъ. «Что же вы это раскисли? — крикнулъ Родіонъ, возвышая голосъ надъ шумомъ воды, шлепаньемъ, стукомъ, — пошли бы прогуляться маленько, но коридорамъ-то... Да не бойтесь, — я тутъ какъ тутъ въ случаѣ чего, только кликните».

Циципинатъ послушно всталъ съ табурета, но, едва онъ двинулся вдоль холодной стѣны, несомѣнно еродной скаль, на которой выросла крѣпость; едва онъ отошелъ нѣсколько шаговъ, и какихъ шаговъ! слабыхъ, невѣсомыхъ, смиренныхъ; едва онъ обратилъ мѣстоположеніе Родіона, отворенной двери, ведерь, въ уходящую вспяль перспективу, — какъ Циципинатъ почувствовалъ струю свободы. Она плеснула шире, когда онъ завернулъ за уголъ. Голыя стѣны, кромѣ потныхъ разводовъ и трещинъ, не были оживлены ни бѣмъ; только въ одномъ мѣстѣ кто-то раскисался охрой, мляринымъ мѣхомъ: «Проба кисти, проба кисти» — и уродливый ошпаривъ Олъ непривычки ходить одному у Циципината размякши мышцы въ боку закололо.

Вотъ тогда-то Циципинатъ остановился и, озираясь, какъ будто только-что попалъ въ эту каменную глушь, собралъ всю свою волю, представилъ себѣ во весь ростъ свою жизнь и попытка съ предѣльной точностью уяснить свое положеніе. Обвиненный въ страшнѣйшемъ изъ преступленій, въ тисогеогнической тисоности, столь рѣдкой и неотбоскаваемой, что приходится пользоваться обивками в оцѣ, непрозрачностью, непрозрачностью, препона, претоворенными въ оное преступленіе къ смертной казни; какъ почившіи въ крѣпость, въ ожиданіи пенитенціарго, но бѣзукато, по неминуемаго срока этой казни (которая ясно предощущалась имъ какъ вывертъ дубовъ и хрустѣть въ значаго звукъ прироста весело Пого было вое-плениво, тѣлово а готова имъ зубомъ), стоящій те-и рѣзъ въ стору! тѣмнивы въ в. мирнонимъ сердцемъ, —

еще живой, еще непочатый, еще цинциннатный, — Цинциннатъ Ц., почувствовалъ дикій позывъ къ свободѣ, къ самой простой, вещественной, вещественно-осуществимой свободѣ, и мгновенно вообразилъ — съ такой чувственной отчетливостью, точно это все было текущее, вѣщное, образное излученіе его существа, — городъ за обмелѣвшей рѣкой, городъ, изъ каждой точки котораго была видна, — то такъ, то этакъ, то яснѣе, то синѣе, — высокая крѣпость, внутри которой онъ сейчасъ находится. И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чѣмъ на самомъ дѣлѣ: его тюремщики, каковыми въ сущности были всѣ, показались сговорчивѣй... въ тѣсныхъ видѣніяхъ жизни разумъ выглядывалъ возможную стежку... играла передъ глазами какая-то мечта... словно тысяча радужныхъ иголокъ вокругъ ослѣпительнаго солнечнаго блика на никелированномъ шарѣ... Стоя въ тюремномъ коридорѣ и слушая полновѣсный звонъ часовъ, которые какъ разъ начали свой неторопливый счетъ, онъ представилъ себѣ жизнь города такой, какой она обычно бывала въ этотъ свѣжій утренній часъ: Марфинька, опустивъ глаза, идетъ съ корзинкою изъ дому по голубой панели, за ней въ трехъ шагахъ черноусый хватъ; плывутъ, плывутъ по бульвару сдѣланныя въ видѣ лебедей или лодокъ электрическія вагонетки, въ которыхъ сидишь, какъ въ карусельной люлкѣ; изъ мебельныхъ складовъ выносятъ для провѣтриванія диваны, кресла, и мимоходомъ на нихъ присаживаются отдохнуть школьники, и малешкій дежурный съ тачкой, полной общихъ тетрадокъ и книгъ, утираетъ лобъ, какъ взрослый артельщикъ; по освѣженной, влажной мостовой стрекочутъ заводные, двухмѣстные «часики», какъ зовутъ ихъ тутъ въ провинціи (а вѣдь это вырожденнѣея потомки манши пропалаго. тѣхъ великолѣпныхъ таковыхъ раковинъ. почему я вспомнилъ? да - снимки въ журналѣ); Марфинька выбираетъ фрукты; дрыхлая, страшная лошадка, давнымъ давно переставшая удивляться достопримѣ-

тельностямъ ада, разносятъ съ фабрикъ товаръ по городскимъ выдачамъ; уличные продавцы хлѣба, съ золотистыми лицами, въ бѣлыхъ рубахахъ, орутъ, жонглируя булками: подбрасывая ихъ высоко, ловя и снова крутя ихъ; у окна, обросшаго глициніями, четверо веселыхъ телеграфистовъ пьютъ, чокаются и поднимаютъ бокалы за здоровье прохожихъ; знаменитый каламбуристъ, жадный хохлатый старикъ въ красныхъ шелковыхъ панталонахъ, пожираетъ, обжигаясь, поджаренные хухрики въ павильонѣ на Малихъ Прудахъ; вотъ облака прорвались, и подъ музыку духового оркестра нятнистое солнце бѣжитъ по положимъ улицамъ, заглядываетъ въ переулки; быстро идутъ прохожіе; — пахнетъ липой, карбуриномъ, мокрой пылью; вѣчный фонтанъ у мавзолея капитанѣ Соннаго широко орошаетъ, ниспадая, каменнаго капитана, барельефъ у его слоновыхъ ногъ и колышимаы розы; Марфинька, опустивъ глаза, идетъ домой съ полной корзиной, за ней въ трехъ шагахъ бѣлокурый франтъ... Такъ Цинциннать смотрѣла и слушала сквозь стѣны, пока били часы, и хотя все въ этомъ городѣ на самомъ дѣлѣ было всегда совершенно мертво и ужасно по сравненію съ тайной жизнью Цинциннаты и его преступнымъ пламенемъ, хотя она знала это твердо и знала, что надежды нѣтъ, а все-таки въ эту минуту захотѣлось попасть на знакомыя, пестрыя улицы. но вотъ часы дозвенѣли, мыслимое небо заволочлось, и темница опять вошла въ силу.

Цинциннать затаилъ дыханіе, двинулся, остановился опять, прислушался: гдѣ-то впереди, въ невѣдомомъ отдаленіи, раздавался стукъ

Это былъ мѣрный, мелкій, токаящій стукъ, и Цинциннать, у котораго сразу затренитали всѣ листики, почувалъ въ немъ приглашеніе. Онъ пошелъ дальше, очень внимательнѣй мерцающій, легкій; въ который разъ завернулъ за уголъ. Стукъ прекратился, но потомъ словно перелетѣлъ поближе, какъ невидимый дятель. Токъ, токъ, токъ. Цинциннать ускорила шагъ, и опять темный коридоръ

загнулся. Вдруг стало свѣтлѣе, — хотя не по-дневному, — и вотъ стукъ сдѣлался опредѣленнымъ, довольнымъ собой. Впередѣ, блѣдно освѣщенная Эммочка бросала объ стѣну мячъ.

Проходя въ этомъ мѣстѣ былъ широко, и сначала Цинциннату показалось, что въ лѣвой стѣнѣ находится большое глубокое окно, откуда и льется тотъ странный добавочный свѣтъ. Эммочка, нагнувшись, чтобы поднять мячъ, а за одно подтянуть носокъ, хитро и злѣтчиво оглянулась. На ея голыхъ рукахъ и вдоль голеней дыбомъ стояли свѣтлые волоски. Глаза блестѣли сквозь бѣлесыя рѣсницы. Вотъ она выпрямилась, откидывая съ лица льняные локоны той же рукой, которой держала мячъ.

«Тутъ нельзя ходить», — сказала она, -- у ней было что-то во рту, — щелкнуло за щекой. ударилось о зубы.

«Что это ты сосешь?» — спросилъ Цинциннать.

Эммочка высунула языкъ; на его самостоятельно живомъ кончикѣ лежалъ ярчайшій барбарисовый леденецъ.

«У меня еще есть, — сказала она, — хотите?»

Цинциннать покачалъ головой.

«Тутъ нельзя ходить», -- повторила Эммочка

«Почему?» -- спросилъ Цинциннать.

Она пожала плечомъ и, ломаясь, выгибая руку съ мячемъ и напругая икры, подошла къ тому мѣсту, гдѣ ему показалось -- углубленіе, окно, -- и тамъ, ерзяя, вдругъ становясь голенаестѣе, устроилась на каменномъ выступѣ вродѣ подоконника.

Нѣтъ, это было лишь подобіе окна; скорѣе -- витрина, а за ней - да, конечно, какъ не узнать! - видъ на Тамарины Сады. Намаленанный въ нѣсколькихъ планахъ, выдержанный въ мутно-зеленыхъ тонахъ и освѣщенный скрытыми лампочками, ландшафтъ этотъ напоминалъ не столько террариумъ или театральную макету, сколько тотъ задникъ, на фонѣ котораго тужится духовной оркестръ. Все передано было довольно точно въ смыслѣ группиро-

вокъ и перспективъ. — и кабы не видость красокъ, да неподвижность древесныхъ верхушекъ, да непроторность освѣщенія, можно было бы, прищурившись, представить себѣ, что глядишь черезъ башенное окно, вотъ изъ этой темницы, на гѣ сады. Синеходительный глазъ узнавалъ эти дороги, эту курчавую зелень роищъ, и сивава портикъ, и отдельные тополя, и даже блѣдный мазокъ посреди неубѣдительно синевы озера, — вѣроятно, лебедь. А въ глубинѣ, въ условномъ туманѣ, круглились холмы, и надъ ними, на томъ темно-сизомъ небѣ, подъ которымъ живутъ и умираютъ лицедѣи, стояли неподвижныя, кучевыя облака. И все это было какъ-то не свѣжо, ветхо, покрыто пылью, и стекло, черезъ которое смотрѣлъ Цинциннать, было въ пятнахъ, — по шпымъ изъ нихъ можно было возстановить дѣтскую пятерню.

«А все-таки выведи меня туда, — прошпталь Цинциннать. — я тебя умоляю».

Онъ сидѣлъ рядомъ съ Эмочкой на каменномъ выступѣ, и оба всматривались въ искусственную даль за витриной, она загадочно водила пальцемъ по въюющимся тропамъ, и отъ ея волосъ пахло ванилью.

«Тятыка идетъ», — вдругъ хрипло и скоро проговорила она, оглянувшись; соскочила на полъ и скрылась.

Дѣйствительно, со стороны, противоположной той, съ которой пришелъ Цинциннать (сперва даже подумалось — зеркала), близился Родіонъ, позванивая блячками.

«Покажите домой», — сказа гь онъ шугливо.

Свѣтъ потухъ въ витринѣ, и Цинциннать съ слѣзъ нагль, намѣреваясь вернуться тѣмъ же путемъ, которымъ сюда добрался.

«Куды, куды, — крикнулъ Родіонъ; — подите прямо, такъ ближе».

И то ъко тогда Цинциннать сообразилъ, что концы коридора нкуда не уводили его, а составляли широкій многоугольникъ, — ибо теперь, завернувъ за уголъ, онъ

увидѣлъ въ глубинѣ свою дверь, а не доходя до нея, прошелъ мимо камеры, гдѣ содержался новый арестантъ. Дверь этой камеры была настежь, и тамъ, въ своей полосатой пижамкѣ, стоялъ на стулѣ уже видѣнный симпатичный коротышъ и прибивалъ къ стѣнѣ календарь: токъ, токъ, — какъ дятель.

«Не заглядывайтесь, дѣвица красная, — добродушно сказалъ Родіонъ. — Домой, домой. Убрано-то какъ у васъ, а? Таперича и гостей принять не стыдно».

Особенно, казалось, былъ онъ гордъ тѣмъ, что паукъ сидѣлъ на чистой, безукоризненно правильной, очевидно только что созданной паутинѣ.

В. Сиринь.

(Продолженіе слѣдуетъ)

Вольный каменщикъ

Романъ

ЕГОРЪ ЕГОРОВИЧЪ И БОГИНЯ ИШТАРЪ

Егоръ Егоровичъ Тетѣхинъ, человѣкъ со смѣшной фамиліей и прекраснымъ сердцемъ, герой этой повѣсти, въ первой половинѣ своей жизни былъ почти ничѣмъ. Почтовый чиновникъ въ дореволюціонной Казани — почти ничто; мужъ своей жены и отецъ малолѣтняго Георгія (уже не Егора) — почти ничто. Затѣмъ приходятъ чехословаки, занимаютъ городъ Казань, отдаютъ городъ Казань, и за чехословаками уходитъ часть населенія города Казани.

Это — уже не исторія и еще не исторія; это — сумбуръ и чепуха. Почти ничто, почтовый чиновникъ не изъ крупныхъ, обходитъ съ молодой женой и малолѣтнимъ сыномъ вокругъ земного шара и поселяется въ Парижѣ. Совсѣмъ неожиданно земля, бывшая огромной и существовавшая, строго говоря, только на географической картѣ и въ толстой почтово-телеграфной книгѣ, справочной для телеграммъ и заказныхъ писемъ, — становится реальностью, а именно небольшимъ аптечнымъ шаромъ, по которому, не зная зачѣмъ, ползаютъ мухи съ подержанными крылышками — русскіе эмигранты. Не помнится, чтобы кто-нибудь когда-нибудь послалъ изъ Казани письмо, бандероль или кусокъ казанскаго мыла на островъ Борнео; а между тѣмъ Егоръ Егоровичъ, съ женой и сы-

номъ, видѣлъ въ подлинномъ городѣ Сингапурѣ подлинную обезьяну, протискался черезъ Малаккскій проливъ и самолично, глазами, привыкшими созерцать сляніе рѣки Казанки съ илистымъ Булакомъ, обозрѣлъ необозримый Индійскій океанъ.

Если бы эготъ путь, богатый приключеніями, продѣлалъ одинъ человѣкъ, — онъ былъ бы почтенъ за замѣчательнаго и весь остатокъ жизни могъ бы писать воспоминанія; но такихъ же была речей много, и Егоръ Егоровичъ остался человѣкомъ срединнымъ, ничѣмъ не выдающимся. Изъ одного года его біографіи, правильно нарэзавъ, можно бы было содѣлать'десять-двадцать полновѣсныхъ житій англичанина, француза и итальянца; для русскаго человѣка это — какъ разъ на одного.

Въ дни своей мирной казанской жизни, Егоръ Егоровичъ могъ, сильно распаливъ фантазію, которой у него не было, предположить въ будущемъ все, что угодно, но не Парижъ. Онъ, на примѣръ, могъ сдѣлаться начальникомъ почтъ и телеграфа во всей казанской губерніи, скажемъ даже — главноуправляющимъ почтъ во всей имперіи, хотя это ужъ слишкомъ. Онъ могъ выстроить огромный (этажа въ четыре!) домъ на Проломной улицѣ, прославиться усовершенствованіемъ анцирата Морзе, купить три парохода на Волгѣ, развестись съ женой, — словомъ возможна была всякая необузданность фантазіи; но въ его мысляхъ не могло никогда быть такого оборота вещей, при которомъ онъ оказался бы на улицѣ Convention осѣдлымъ парижаниномъ, вполне хорошо говорящимъ по-французски и служащимъ въ конторѣ Nachette. Однако міръ перекувырнулся — и такъ именно случилось. Къ началу повѣсти его сынъ Георгій былъ уже Жоржемъ и по-русски почти не говорилъ.

Ростъ Егора Егоровича нѣсколько ниже средняго, глаза сѣрые, волосы съ просѣдью, усы, бородка, малая въ себѣ увѣренность, доброе и довѣрчивое отношеніе къ людямъ, всѣ неизбежныя недомоганія возраста (50 лѣтъ),

покорность судьбѣ. Его жена, — говоря вообще и безъ желанія обидѣть, — неприятная женщина и духовно гораздо его ниже. Но двадцать лѣтъ прожито вмѣстѣ.

Постепенно разскажутся нѣкоторыя подробности парижской жизни Егора Егоровича Тетѣхина, а предварительно излагать ихъ врядъ ли нужно. Быть его, полурусскій-полуфранцузскій, сѣрвать и обыченъ; знакомства не обширны. Въ пищѣ — остатки родныхъ традицій, то-есть довольно часто каша и все на сливочномъ маслѣ; но, конечно, и нуаро, пти-пуа, арико. Обстановка квартиры, къ сожалѣнію, болѣе французская: грандіозная общая съ женой кровать по серединѣ комнаты, салончикъ съ субтильными креслами, на каминѣ обже-д-ары. Жена Егора Егоровича очень скоро прижилась въ Парижѣ, скажемъ — обмѣщаницалась; ничего мудренаго, потому что она и была настоящей чиновницей-мѣщанкой. Такъ какъ въ Парижѣ они жили довольно хорошо, безъ нужды, то и обставились соотвѣтственно. Особаго кабинета для занятій у Егора Егоровича не было; былъ только свой хорошій уголокъ въ салонѣ, то-есть книжный шкафъ, кресло и небольшой, вродѣ письменнаго, столъ. Въ книжномъ шкафу — классики въ изданіи Ладыжникова, романы эмигрантскихъ писателей -- Алданова, Минцлова, а бунинская «Митина любовь» даже въ переплетѣ. Конечно и французскія книги: Золя, Мопассанъ, Морюа, малый словарь Ларуса, на корешкѣ котораго обсыпается одуваничекъ. Въ самое послѣднее время въ ящикѣ стола завелись брошюры и книжки въ сѣнчу обложкахъ, которыхъ онъ никому не показывалъ. Но объ этомъ послѣ.

У сына, Жоржа, своя комната; въ ней учебники, теннисная ракетка, мячи. Жоржъ — юноша не дурной, безъ прищипей, но только не русскій. У него уже намѣтилась своя жизнь, которая въ этой повѣсти, вѣроятно, не оразится.

Начинается повѣсть съ того дня, когда Егоръ Егоровичъ однажды сказалъ женѣ, что вечеромъ уйдетъ и объѣдать не будетъ. Въ виду нѣкоторой необычайности заяв-

ленія, Анна Пахомовна вынудила его объяснить причину, и онъ объяснилъ откровенно и съ нѣкоторымъ смущеніемъ:

— Пригласили меня поступить въ члены одного французскаго общества, не то чтобы тайнаго, а все-таки я только тебѣ говорю, а ты никому не рассказывай.

— Кто пригласилъ?

— Одинъ сослуживецъ. Ничего особеннаго. Большое общество, въ него входятъ и министры, и маленькіе служащіе, всѣ — какъ братья, попросту. Однимъ словомъ — масоны. Интересно все-таки. Это во Франціи разрѣшено.

— Когда же ты вернешься?

— Часамъ къ двѣнадцати. Тамъ будетъ обѣдъ.

Анна Пахомовна подумала, что обѣдъ, вѣроятно, будетъ дрянной. На закуску — селедочныя филе въ маслѣ и недоваренная жеваная говядина съ саломъ. Потомъ темятина, плавающая въ желтоватой водичкѣ. Салатъ, сыръ и жидкій кофе. Въ остальномъ Анна Пахомовна интереса не проявила. И когда за обѣдомъ Жоржъ спросилъ, гдѣ папа, — она отвѣтила:

— У него какое-то дурацкое засѣданіе.

Въ эту минуту Егоръ Егоровичъ отрѣзалъ жизнь прошлую отъ жизни предстоящей.



При очень блѣдномъ и дрожащемъ свѣтѣ, дописаны на печатномъ бланкѣ торжественныя и банальныя слова. Затѣмъ на взросломъ челоѣкѣ началъ истлѣвать пиджачекъ, за нимъ обувь и рубашка. Челоѣкъ снизился, сморщился, замкнулъ глаза, превратился въ комочекъ и запутался въ материнской пуповинѣ.

Счетъ времени пріостановился. Въ нѣдрахъ земли спало зерно съ истлѣвшей оболочкой. Земля дѣлала свой обычный оборотъ вокругъ солнца. Богиня Иштаръ, дочь

Сина, пройдя путь, которому нѣтъ обратнаго, достигла страны, изъ которой возврата не бываетъ, — царства тѣней, жилища Иркаала, — и постучала у дверей:

— Привратникъ, отопри, вступи меня! Если ты не отворишь двери, — я выломаю ее, я разобью запоры, уничтожу порогъ! Я выведу мертвыхъ, чтобы они пожрали живыхъ, — и среди живыхъ умножатся мертвые!

Привратникъ сказалъ:

-- Подожди, повелительница, я доложу о твоёмъ приходѣ царицѣ Алату!

Онъ ей доложилъ:

— Это Иштаръ, твоя сестра.

-- Впусти ее, соблюдая древній обычай!

Широко распахнувъ двери, привратникъ впустилъ богиню Иштаръ, снявъ съ нея головы корону.

— Почему ты снялъ мою корону?

— Входи, повелительница: таковъ законъ Алату.

У второй двери онъ снялъ съ нея серьги, у третьей — ожерелье. Такъ снялъ всё ея драгоценности, и на послѣднемъ порогѣ онъ отпялъ у богини поясъ стыдливости.

— Почему ты снялъ мой поясъ, привратникъ?

-- Входи, повелительница: таковъ законъ Алату.

Увидавъ Алату, Иштаръ хотѣла броситься на нее, но царица тѣней приказала своему служителю Намтару:

--- Возьми ее, запри въ моемъ дворцѣ и запусти на нее шестьдесятъ болѣзней:

Болѣзнь глазъ на ея глаза,

болѣзнь ногъ на ея ноги,

болѣзнь сердца на ея сердце...

Съ той поры, какъ Иштаръ сошла въ страну, изъ которой нѣтъ возврата, на землѣ замерла жизнь: быкъ не покрывалъ коровы, осель — ослицы. и человекъ не исходить до служанки.

Человекъ спалъ отдѣльно.

Отдѣльно спала рабыня.

4

Ждать пришлось долго. Глаза Егора Егоровича пристроились къ полумраку. Было, конечно, очень любопытно, но не страшно: мишура явная. Скептеръ не постоянный. Изъ надписей страшна: «ты самъ таковъ будешь». Егоръ Егоровичъ рѣшился посмотреть, что въ вазахъ; въ одной оказалась самая обыкновенная повареная соль, крупная, грязная и влажная, на днѣ другой вазы провалившійся желтый порошокъ. Мимо запертой на ключъ двери шаркали ноги: рядомъ съ этой комнатою была уборная. Двое прохода, громко разговаривали.

— Если рано кончится — въ белотъ сыграемъ?

— А ты на агану не останешься?

— А ну ее!

Егору Егоровичу хотѣлось курить, но онъ не зналъ, можно ли. Какъ будто не хорошо! Поднявъ глаза, увидаль форточку. Въ гимназическіе годы куривали въ уборной въ форточку. Когда ключъ въ двери повернулся, Егоръ Егоровичъ вздрогнулъ. Вошелъ тотъ же человекъ, который заперъ его въ комнаткѣ.

— Написали?

— Написааъ, да не знаю, правильно ли.

— Это все равно. Я это возьму, а вы пока снимите пиджакъ и башмаки. И воротничокъ отстегните. Вотъ тутъ одна туфля. Я вернусь и вамъ объясню. Носки тоже снимите.

Къ отцу Пиндэръ явится вѣстникъ боювъ, съ шномъ потемнѣвшимъ, въ одеждѣ разодранной и грязной.

Царь, съ той поры, какъ Пиндэръ сошла въ крѣпость безъ возвращенія, жизнь на землѣ остановилась: быкъ не покрываетъ коровы, оселъ — оселъ и мужики не вхо-

дять къ рабынѣ; онъ спить отдѣльно, и отдѣльно спить женщина.

И тогда царь создалъ женственнаго Агсушунамира и приказалъ ему спуститься въ край безъ возврата:

— Передъ тобой распахнутся семь дверей, и ты предстанешь предъ лицомъ Алагу.

Увиданъ женоподобнаго вѣстника, Алагу укусила своей палець:

— Иди прочь, Агсушунамиръ, или я тебя закляну. Ты будешь пить сточную воду городовъ, ты будешь питаться ихъ пылью и мусоромъ, и твоимъ жилищемъ будетъ тѣнь, бросаемая ихъ стѣнами.

Но именемъ боговъ Агсушунамиръ потребовалъ открыть источникъ живой воды, и Алагу приказалъ служителю Намтару вывести Иштаръ изъ дворца, опрыснувъ ее живой водой.

И при выходѣ ея привратникъ:

у первой двери возвратилъ ей поясъ стыдливости,

у второй двери — колья и браслеты,

у третьей — опоясъ, украшенный родильными камнями,

у четвертой — украшенія груди, у пятой — шейное ожерелье, у шестой — ея подвѣски,

и у седьмой двери онъ возложилъ вѣнецъ на голову богини Иштаръ.

**

Его величье водъ-руку съ повязкой на глазахъ, и никогда еще онъ не казался себѣ такимъ неуважаемымъ и смѣшнымъ. Можетъ быть напрасно онъ, почтенный и пожилой человекъ, согласился быть участникомъ забавы. Онъ не знаетъ, нужно ли угадывать для сохранения достоинства, или это неумѣстно; и въ то же время его первая битва на аренѣ.

Когда онъ съ достоинствомъ его водить грубо застачалъ

кулакомъ въ дверь, и Егору Егоровичу опять захотѣлось снять глупую повязку, извиниться и уйти.

Что-то щелкнуло, стукнуло, донесся голосъ неестественнаго тона, спутникъ Егора Егоровича назвалъ его, затѣмъ Егора Егоровича подхватили, пригнули ему голову, такъ что веревка неприятно зашекотала шею, потомъ подтолкнули въ спину, и, шлепая туфлей на босой ногѣ, онъ смиренно отдался на чужую волю.

Дальше было почти страшно, такъ какъ онъ боялся оступиться и упасть. Полъ подымался и опускался, ноги запинались о неровности. Онъ плохо разбиралъ слова, которыя говорились для него напыщеннымъ тономъ. Затѣмъ-то ему едва не опалили лицо, затѣмъ велѣли пить горечь, оказавшуюся краснымъ виномъ *ordinaire*, кислотатымъ и терпкимъ, потомъ было слышно, какъ точатъ ножи, и на минуту Егору Егоровичу пришло въ голову, не попалъ ли онъ дѣйствительно въ скверную передѣлку и не окончится ли все это для него печально. Когда, наконецъ, съ его глазъ сняли черный платокъ, онъ стоялъ совсѣмъ ошалѣлый и потный и, часто моргая, растерянно переводилъ глаза отъ кинжала у сердца къ возвышенію комнаты, которое казалось ему ослѣпительно свѣтымъ.

Это состояніе ошалѣлости и порядочной усталости продолжалось и дальше, когда все стало довольно обыкновеннымъ, и незнакомый французъ съ лентой черезъ плечо говорилъ съ полчаса въ общемъ очень хорошія слова, пускалъ, гдѣ нужно, дрожь въ голосъ. Изъ рѣчи француза, Егоръ Егоровичъ узналъ что онъ сталъ ученикомъ и неотесаннымъ камнемъ, и что отесывать себя онъ долженъ самъ, хотя помогутъ и другіе.



Ежедневная работа Егора Егоровича требуетъ большаго вниманія, но не тяжела. На восьмомъ году сцѣбы

онъ начальство. Въ свое время, еще въ Казани, готовясь къ почтенной почтово-телеграфной карьерѣ, онъ старательно изучалъ иностранные языки, сначала по Туссею и Лагешнайту, а потомъ и съ учителемъ Французскій изучилъ отменно, нѣмецкій недурно, англійскій достаточно, чтобы разбираться. Это помогло ему въ Парижѣ хорошо устроиться въ торговой конторѣ.

Сослуживецъ и подчиненный Егора Егоровича, молодой французъ, сегодня пожалъ ему руку по особенному. Егоръ Егоровичъ отвѣтно улыбнулся, но оглядѣлся: пожалуй, тутъ условные знаки и ни къ чему. Просматривая вѣдомость и подписывая бумаги, онъ мысленно переживалъ вчерашнее. Все-таки впечатлѣніе сильное.

Жизнь наша маленькая, изо дня въ день та-же и та-же. Очень все заучено, полезно и необходимо. Выйти за пределы этой законной заученности — всегда пріятно. Въ-место словъ казенныхъ — вдругъ какія новыя, что почти стихи! И вмѣсто *monsieur*, ласковое *mon frèrе*. И вмѣсто привычныхъ и нужныхъ движеній — совсѣмъ особенныя, театральныя, неожиданныя, бесполезныя и, пожалуй, красивыя.

Убѣдившись, что дверь кабинета затворена, Егоръ Егоровичъ всталъ, поднялъ соответственно руку и попробовалъ сдѣлать шаги, какъ его учили; но среди дѣловой обстановки это показалось ему слишкомъ смѣннымъ, а кромѣ того могъ кто-нибудь быстро войти и увидѣть, что начальникъ словно бы танцуетъ. Самъ себя звысидившись, Егоръ Егоровичъ сѣлъ за столъ, нахмурился и занялся дѣлами.

Отъ полудня до двухъ часовъ, когда контора пустѣла, Егоръ Егоровичъ иногда уходилъ въ рестораникъ, а то закусывалъ въ конторѣ принесеннымъ изъ дому; и дешевле, и вкуснѣе. Пріятные часы, никто иѣтъ, можно подумать и почитать. Сегодня онъ внимательно прочиталъ спешно брошюрку, которую ему дали.

Передъ его столомъ висѣла на стѣнѣ географическая

карта съ отиѣтинами, и онъ ясно себѣ представлялъ, какъ по этой картѣ разбѣгаются пачки газетъ и связки книгъ изъ конторы. Вотъ точно такъ же можетъ по ней растекаться и проповѣдь хорошихъ чувствъ,—по разнымъ странамъ и городамъ. Или, какъ вчера говорилъ французъ, «гдѣ бы ты ни былъ, въ любой чужой странѣ, въ любомъ городѣ ты найдешь человѣка, который пойметъ тебя по знаку и слову и поможетъ тебѣ въ затрудненіи». Если правда, — то это замѣчательно! Предположимъ, запелю меня куда-нибудь въ Австралію (а что можетъ занести — Егоръ Егоровичъ послѣ Синганура не сомнѣвался), и вотъ все тамъ чужое и никого рѣшительно я тамъ не знаю, и еще случилось какое-нибудь затрудненіе или несчастіе. И вдругъ... какъ? значить вы... — и тотчасъ же полная переиѣна въ обращеніи и въ судьбѣ, быстрая братская помощь, улыбки и рукопожатія. Замѣчательно! Менѣе понятно остальное, хотя, словъ нѣтъ, привлекательно именно своей таинственностью. Почему, напримѣръ, треугольникъ? Потому что онъ соединяетъ три въ единомъ. Ну такъ что же изъ этого, и какіе три въ какомъ единомъ? И однако три — число священное съ незапамятныхъ временъ. «Безъ троицы домъ не строится» или тамъ что-нибудь подобное.

Синяя книжечка перелистана, и нельзя сказать, чтобы она была достаточно толковой. Живое слово дало бы больше.

Вчера за ужиномъ Егоръ Егоровичъ сидѣлъ рядомъ со старымъ французомъ, молчаливымъ и какъ будто безжизненнымъ. Всѣ были веселы, онъ оставался задумчивымъ. Егоръ Егоровичъ, обычно вина не пившій (полстаканчика съ водой), тутъ послѣ двухъ стакановъ осмѣлѣлъ и почувствовалъ погребность въ душевной бесѣдѣ. И онъ спросилъ молчаливаго сосѣда:

— Вы, вѣроятно, давно состоите въ обществѣ?

Сосѣдъ медленно разрѣзалъ кусокъ худосочной телятины и отвѣтилъ:

-- Двадцать три года, дорогой братъ.

-- О! Такъ что вамъ, конечно, известна многія тайны? Съ полной серьезностью сосѣдь сказалъ:

-- Тайна есть только одна, и узнать ее невозможно.

Егору Егоровичу очень хотѣлось спросить, что это за тайна, но онъ удержался. Прожевавъ кусокъ телятины, сосѣдь прежнимъ тономъ добавилъ:

-- Эта тайна: откуда мы пришли, кто мы и куда мы идемъ? И въ этой тайнѣ все.

Интересъ Егора Егоровича не то чтобы потухъ, но ослабѣлъ. Онъ зналъ отлично, что онъ -- служащій фирмы Ашетъ, пришелъ изъ дому, съ улицы Коивансонъ, вернется туда же. А когда онъ вернется, жена, если она еще не спитъ, спроситъ: «Ну, кормили тебя, конечно, дрянью?» -- Врядъ ли она проявитъ большой интересъ къ тайнамъ Егора Егоровича.

Послѣ юре изъ каштановъ, отъ котораго остается во рту сладковатый соръ, подали жиденькій теплый кофей; и тогда предсѣдатель провозгласилъ сразу нѣсколько тостовъ, а ораторъ ложы повторялъ, приблизительно то же, только покороче, что уже говорилъ, когда оглушеннаго и ослѣпленнаго Егора Егоровича усадили на особый стулъ. Опять не безъ труда усвоилъ себѣ Егоръ Егоровичъ, что въ дальнѣйшемъ ему постоянно придется заниматься обгесываніемъ камня, при чемъ особенно старательно скалывать суетвѣрія и предразсудки. Затѣмъ предложили самому Егору Егоровичу отвѣтить на эту рѣчь. Сильно смущаясь, но не столько затрудняясь въ изыскѣ, сколько въ приведеніи мыслей въ должную связь, Егоръ Егоровичъ поблагодарилъ своихъ новыхъ братьевъ за то, что они приняли его въ свою среду и общица обгесывать себя по мѣрѣ силъ и знанія, чтобы быть достойнымъ. Такъ какъ всѣ присутствовавшіе именно этого отъ него и ожидали, то Егоръ Егоровичъ имѣлъ успѣхъ: ему аплодировали и жали руку.

У трамвайной остановки Егоръ Егоровичъ опять окл-

зался вмѣстѣ съ тѣмъ же старикомъ, подошедшимъ позже. И тутъ Егору Егоровичу пришла въ голову мысль, имѣвшая въ его жизни чрезвычайныя послѣдствія. Онъ предложилъ французу зайти въ кафе и взять аперитивъ. Тотъ сразу согласился, — и цѣлый часъ они провели за уединеннымъ столикомъ. Молчаливый въ большомъ обществѣ французъ оказался отличнымъ и живымъ собесѣдникомъ вдвоемъ.

Когда, наконецъ, Егоръ Егоровичъ вернулся домой и, чтобы не будить жены, тихонько раздѣлся, легъ и выключилъ свѣтъ, онъ долго не могъ заснуть отъ наплыва разнообразнѣйшихъ и странныхъ мыслей, пробужденныхъ и событіями вечера и особенно послѣдней случайной бесѣдой въ кафе. Мысли его не укладывались въ привычныя и простыя умозаключенія, и въ особенности одна, раньше никогда не приходившая въ голову, теперь безпокоила и волновала до крайности: мысль о томъ, что въ жизни его завершился этапъ, и предстоитъ нѣчто совсѣмъ новое. Прежній Егоръ Егоровичъ умеръ естественной смертію и истлѣлъ въ землѣ; новый Егоръ Егоровичъ лежитъ въ пеленкахъ, щурится отъ свѣта и, не умѣя ни читать ни писать, по складамъ произносить нѣкое слово, не имѣющее никакого смысла, но очень важное и очень таинственное.

Въ послѣдней дремотѣ Егоръ Егоровичъ, вытянувшись въ постели, чувствовалъ себя мужской колонной храма, и рядомъ съ нимъ была колонна женская. Потолокъ спальни завершалъ и соединялъ ихъ архитравомъ, и эта естественная тріада погрузилась во мракъ ночи и небытія.

ДВА МІРА

Что общаго между Егоромъ Тетѣхинымъ, однимъ изъ служащихъ Ашетъ, и Герміемъ Трижды-Величайшимъ, сыномъ Озириса и Изиды, открывшимъ всѣ науки?

Вотъ онъ стоитъ, великій Трисмегистосъ, голова его увѣнчана коронованной чалмой съ коническимъ верхомъ, въ правой рукѣ циркуль, въ лѣвой глобусъ; вдали на скалѣ распростеръ крылья орель. И рядомъ, за малымъ письменнымъ столикомъ, Егоръ Егоровичъ съ трубкой въ зубахъ, и въ трубкѣ помѣсь капорала со сладкимъ леваномъ, — а передъ нимъ загадочная малопонятная книга.

«То, что внизу, какъ то, что сверху, и то, что сверху, какъ то, что внизу, для того, чтобы совершить чудеса одного и того же. И подобно тому, какъ всѣ предметы произошли изъ Одного по мысли Одного, такъ всѣ они произошли изъ этого вещества, путемъ его примѣненія».

Завѣдующій экспедиціей тщетно силится понять «Измрудную Таблицу» Гермія. Въ кухнѣ звякаютъ кастрюли, въ столовой позваниваютъ тарелки. Всегда чѣмъ-нибудь недовольная Анна Пахомовна недосчитывается соусника, не подозревая, что соусникомъ завладѣлъ Феофрастъ Парацельсъ Бомбастъ Гогенгеймъ, лысый не безъ добродушія челоуѣкъ въ длинной одеждѣ, съ солнцемъ и луной за плечами. Тутъ-же въ кухнѣ, притворяясь фамъ-де-менажъ, великій Алхимикъ крошитъ въ соусникъ кусочки сѣры и подбавляетъ ртути, послѣ чего ставитъ соусникъ прямо на газовую плиту. «При семъ дѣлѣ наблюдать должно четыре степени огня: въ первомъ распускаетъ ртути тѣло свое, во второмъ высушаетъ ртуть сѣру, въ третьемъ и четвертомъ ртуть дѣлается неподвижнымъ». Феофрастъ Парацельсъ помѣшиваетъ свое варево и стучитъ ложкой о край посуды. Еще слышно, какъ въ кухнѣ льется вода изъ крана. «Философическое небо или винный камень, всѣ металлы въ ртути превращающій, есть металлическая жизни вода мудрыхъ. Такъ они разведенныя дрожжи и называютъ». Однако Анна Пахомовна на ужасномъ французскомъ языкѣ, — она никогда не научится. — старается доказать мадамъ Жанетъ, что «кто для совершенства философскаго дѣла превращаетъ ртуть въ чистую воду, тотъ весьма заблуждается»,

и кромѣ того лукъ нужно рѣзать мельче и поджаривать сильнѣе, непремѣнно подрумянить, и она называется это *mettre du rouge*, и французенка въ полномъ недоумѣніи. Наконецъ Парацельсъ обиженнымъ тономъ говоритъ: «ну, готово! Егоръ Егоровичъ, Жоржъ!» — и теплая струя духовитаго съѣдобнаго ударяетъ въ носъ задремавшаго надъ книгой.

У Жоржа, который уже брсетъ губу, огромный ротъ, а волосы аккуратно прилизаны, хотя на улицѣ онъ не носить шляпы. У Жоржа есть то, чего до сихъ поръ не было у Егора Егоровича: своя жизнь. Однако за послѣднее время нѣчто подобное завелось и у завѣдующаго экспедиціей. Нѣтъ своей жизни только у Анны Пахомовны, которая говоритъ:

— Жоржъ, ты много ѣшь, а плохо перевариваешь. Это вредно.

Жоржъ, набивъ ротъ, отвѣчаетъ уклончиво:

— Je fais mon mieux, maman.

И Анна Пахомовна недовольна, что Жоржъ отвѣтилъ по-французски.

Большимъ ртомъ и большими глотками Жоржъ пьетъ вино съ водой, тогда какъ Егоръ Егоровичъ пригубливаетъ. И вдругъ, услыхавъ бульканье въ горлѣ сына, Егоръ Егоровичъ внезапно догадывается, что случилось непонятное и можетъ быть непоправимое: жена, сынъ, обѣденный столъ и вилка съ поджаренной картофелиной быстро и безшумно, по резиновымъ рельсамъ откатываются въ ужасающую даль, а онъ остается одинокимъ. Вдали темнымъ утесомъ видѣется взбитая прическа Анны Пахомовны и мрачной пещерой ротъ Жоржа. Натѣво — циркулемъ наведенное солнце съ веселыми бровями, направо — долгоносый лушный сериз, и, принявъ образъ мадамъ Жанетъ, Феофрастъ Парацельсъ Бомбастъ Гогенгеймскій, внезапно выросшій въ дверяхъ столовой, говоритъ голосомъ гортаннымъ и таинственнымъ

— Премудрость, которой ты служишь, ни въ какомъ

счастіи геѡѡ не откажетъ. Живи счастливо и будь блаженъ!

На что Анна Пахомовна отвѣчаетъ:

— Бонъ. Порте.

И Жоржъ, по обыкновенію, морщится отъ акцента матери.

Послѣ сладкаго Егоръ Егоровичъ уходитъ въ спальню переодѣться, и какъ какъ сегодня вторникъ, то Анна Пахомовна не спрашиваетъ, куда онъ идетъ: по вторникамъ Егоръ Егоровичъ уходитъ пугаться со своими масонами. Что они тамъ дѣлаютъ — никому не интересно; вѣроятно, говорятъ о нестоющемъ, умѣренно выпиваютъ и довольны собой.



Надъ глазами мосье Жакменъ, пріятели и брата мосье Тетѣхина, нависли сѣдые брови. У стариковъ въ бровяхъ вырастаютъ особицей длинныя, жесткіе и прямыя волосы, и не по ворсу, а противъ ворса. Егоръ Егоровичъ наблюдаетъ за движеніемъ особенно толстаго, какъ бревешко, волоса въ лѣвой брови досточимаго брата, и слушаетъ его связную и убѣдительную рѣчь. Старикъ прикладываетъ губы къ стакану мандарень-кюрасо, Егоръ Егоровичъ потягиваетъ называемый цивомъ слабый растворъ кашифоли, — и ихъ столики въ угловомъ кабачкѣ отдѣлены отъ всего міра синимъ звѣзднымъ занавѣсомъ познанія и посвященности.

Если изобрѣтены моторъ, если въ мірѣ профанномъ мальчикъ-разсылный перебираетъ педали велосипеда, а дѣлецъ даетъ адресъ шофферу, — значитъ ли это, что ноги человека устарѣли и отмилены? Мой дорогой братъ, наука даетъ отвѣтъ на все, кромѣ того, на что она отвѣтить не можетъ. Тамъ, гдѣ безпомощна таблица умноженія, — тамъ пытливыи духъ человека бредетъ по старымъ и неизданнымъ путямъ великихъ мудрецовъ, по путямъ символическаго познанія и мистическаго постиженія.

Учитанный и апатичный котъ, съ малаго возраста лишенный дурныхъ вождельнй, третьимъ вступаетъ въ бесѣду пожилыхъ людей. Рука Егора Егоровича гуляетъ по шерсти кота, ухо слушаетъ, голова мыслить особо и не совѣмъ связано съ разговоромъ. Въ книжечкѣ, которую онъ вчера не безъ труда разбиралъ, былъ изображенъ ведическій богъ Индра, многовласый старецъ, распростершій руки, — и руки его заросли бородой до послѣдняго пальца. Братъ Жакмень похожъ на бога Индру, хотя въ петличкѣ брата Жакмена орденская ленточка почетнаго легіона, а во рту золотой зубъ, единственный цѣлый зубъ его верхней челюсти. Зубъ исчезаетъ за губами — и вновь выскакиваетъ изъ лѣса сѣдыхъ волосъ. Вмѣстѣ съ нимъ выкатываются слова ниткой желтаго подобраннаго янтая:

— Чего мы ищемъ и добиваемся? Мы ищемъ въ вѣкахъ потерянное слово. Наука намъ говорить, что человекъ никогда не былъ блаженъ и не былъ всевѣдущъ, а что былъ онъ, скорѣе всего, обезьяной; и наука, конечно, права, — да что толку въ ея правотѣ? Все равно намъ невозможно и невыносимо жить безъ вѣры, что долженъ быть ключъ къ загадкѣ бытія — и слово должно быть найдено. И вотъ мы ищемъ его, зная, что найти его невозможно, но наслаждаясь его исканіемъ.

Егору Егоровичу представилось, что вотъ Анна Пахомовна потеряла ключъ отъ комода — и ищетъ, ворчитъ, все швыряетъ, поминаетъ недобрымъ словомъ фам-де-менажъ, которая тутъ не при чемъ, потому что ей ключъ никогда не довѣряется. Но знай Анна Пахомовна, что ключъ окончательно потерянъ въ вѣкахъ...

И онъ робко говорить:

-- Что же искать, если знаешь, что найти нельзя?

Золотой зубъ исчезаетъ. — и снова выскакиваетъ съ пузырькомъ слюны:

-- Мой братъ, идеаль недостижимъ, иначе онъ не

идеаль. Такъ что же — жить безъ идеала? Вы не охотникъ?

— Въ какомъ смыслѣ?

-- Ну, съ ружьемъ не охотились?

— Въ молодости случалось. У насъ подъ Казанью сейчасъ же лѣса, много зайцевъ, и волки, конечно. И медвѣди есть.

-- А олени?

— Оленей подъ Казанью близко нѣтъ. Лисиць много. А птицы сколько угодно: утки, гуси, и потомъ вотъ эти — не знаю, какъ по-французски — де-глухарь, де-рябтшикъ и всякія другія.

Золотой зубъ, омытый глоткомъ мандарень-кюрасо, точно и четко накалываетъ на невидимомъ пергаментѣ прекрасный рисунокъ:

— Оленей у васъ нѣтъ. Но это все равно. Вотъ вы, охотникъ, верхомъ на бѣломъ конѣ гонитесь за золоторгимъ оленемъ. Пусть это въ сказкѣ. Вы его видите, но онъ внѣ вашего выстрѣла. Вы все быстрѣе его настигаете — онъ все быстрѣе отъ васъ уходитъ. И вотъ мелькаютъ минуты, бѣгутъ часы и дни, проходятъ годы, вѣка, — вы не приблизились къ нему ни на одну пядь, но вы все крѣпче связываете свою судьбу съ его судьбой. И постепенно вашей цѣлью дѣлается уже не настигнуть оленя и не убить его, тѣмъ самымъ разрушивъ вашу съ нимъ таинственную связь, а вѣчно за нимъ гнаться, чтобы никогда его не догнать и никогда съ нимъ не разстаться. На мѣсто первоначальной, временной, маленькой профанской цѣли — явилась новая, великая, вѣчная, мистическая.

Ведическій богъ Индра указываетъ рукой вдаль — и Егоръ Егоровичъ, шпорами сжимая бока коня, мчитя очертя голову за сказочнымъ оленемъ. И сердце Егора Егоровича, уже не молодое сердце, усердно работавшее отъ Казани черезъ Сингапуръ до Парижа, проще скажемъ — поддержанное, усталое, бьется въ тактъ конскому галопу. Взмыленный конь минуетъ всѣ кружочки и

отмѣтины на экспедиціонной картѣ фирмы Ашетъ, уносить всадника за ея бортъ, перелетаетъ овраги, взбирается на пригорки и горы, — а вдали элаторогій олень взбиваетъ копытами траву, камушки, и въ золотыхъ его рогахъ свиститъ вѣтеръ. Охолощенный котъ, краса углового кабачка, прыгаетъ съ дивана на колѣни Егора Егоровича, который рѣшается сказать:

— Да, да, это ужъ... это дѣйствительно.

И холоднымъ пивомъ заливаютъ жаръ и дрожаніе гор-тани. Красивѣе ничего и не представишь себѣ. Удивительно! И какъ вѣрно!

Такъ, въ поздній вечерній часъ они роняютъ слова въ горечь стакановъ — слова замысловатыя, полныя мистической прелести и тайны, обонимъ имъ гораздо болѣе нужныя, чѣмъ всѣ профанскія рѣчи, крики, возгласы, барабаны и колотушки. Дымъ сигары образуетъ облако, надъ облакомъ звѣздное небо — двѣнадцать знаковъ зодіака, превратившихся въ условные значки, дуетъ отъ входной двери, чакаютъ стаканы и блюда подъ струей воды, полногрудая кассирша, зѣвая неожиданной пастью, выдвигаетъ и задвигаетъ ящикъ, гарсонъ начинаетъ водружать стулья на столики и разсыпаетъ по полу влажные опилки, — все это въ томъ мірѣ, разсудочномъ и логичномъ, въ мірѣ монетъ, товаровъ и вечернихъ газетъ, въ мірѣ людей, никогда не сѣдлавшихъ коня и не выдавшихъ элаторогаго оленя.

Салфетка на плечѣ, гарсонъ совсѣмъ близко подкатывается со щеткой и, раздвинувъ звѣздную завѣсу, невѣжливо цукаетъ на кота и вѣжливо и просительно намекаетъ, что кабачекъ запирается. Пальцами лѣвой руки онъ сметаетъ въ карманъ часевья, тѣми же пальцами хватается за борты стаканы, — и кассирша ласково киваетъ уходящимъ клиентамъ.

На уличномъ островкѣ они ждутъ каждый свой трамвай, и Егору Егоровичу жаль уѣзжать первымъ. Съ площадки онъ еще видитъ старую и мятую шляпу надъ сѣ-

дыми бровями, кондукторъ рѣзко рветъ шнуръ, и парижскіе дома начинаютъ свой обычный вечерній бѣгъ, кокетничая свѣтовыми вывѣсками и хмуро суживаясь въ темные переулки.

ГРУБЫЙ КАМЕНЬ

Егоръ Егоровичъ отпустилъ посѣтителя и нѣкоторое время сидѣлъ неподвижно, подперевъ голову руками. Какая непріятность! И какое безобразіе!

Клиентъ агентства намѣренно проговорился, что свое право онъ основываетъ на взяткѣ, данной имъ молодому служащему фирмы мосье Анри Ришару, — а это тотъ самый, который ввелъ Егора Егоровича въ тайное общество. Егоръ Егоровичъ сказалъ, что, во-первыхъ, онъ не вѣрить, а, во-вторыхъ, это для него лишній мотивъ для отказа.

— По вашему заявленію я произведу, конечно, строгое разслѣдованіе. Но въ ущербъ интересамъ фирмы и вопреки нашимъ обычаямъ я поступить не могу. Пеняйте сами на себя.

Теперь слѣдовало вызвать служащаго, уличить его и немедленно уволить. Гдѣ доказательства? Доказательство, — если это правда, — легко прочтется на лицѣ молодого человѣка.

Онъ начальственно позвонилъ, и мосье Анри Ришаръ, молодой конторщикъ, вошелъ съ доказательствами на лицѣ: онъ видѣлъ кліента, вышедшаго походкой, которая ничего добраго не предвѣщала. Мало того, онъ задержалъ кліента въ дверяхъ и шопоткомъ сказалъ ему, что случилось недоразумѣніе, которое, конечно, уладится, и что въ крайнемъ случаѣ онъ готовъ возвратить ему свой долларъ. Клиентъ, не повернувъ головы, отвѣтилъ: «Это ужъ дѣло ваше».

Въ предчувствіи непріятнаго разговора, мосье Ришаръ

вошелъ дѣловито и серьезно. Дальнѣйшая сцена была краткой и маловероятной. Молодой человѣкъ ошибся въ тонѣ, пытаясь разыграть оскорбленную невинность. По правдѣ сказать, онъ и не чувствовалъ себя слишкомъ виноватымъ: развѣ всѣ другіе не поступаютъ такъ же? Онъ хотѣлъ предоставить преимущество клиенту новому, болѣе щедрому, передъ старымъ, менѣе щедрымъ; вотъ и все. Маленькая частная сдѣлка для клиента очень выгодна и расходъ покрываетъ съ избыткомъ. Фирма не теряетъ отъ этого ничего. Но когда Егоръ Егоровичъ, внимательно на него посмотрѣвъ, прямо ему сказалъ, что знаетъ о взяткѣ и уволить его со службы, онъ растерялся, испугался и сдѣлалъ худшее изъ всего, что могъ сдѣлать: онъ назвалъ начальника не *monsieur*, а *mon frègre*. И тогда онъ услышалъ крикъ, какого никогда не слышали въ кабинетѣ завѣдующаго отдѣломъ: крикъ бѣшеннаго, раненаго и истязуемаго. Спокойнѣйшій и мирнѣйшій изъ шефовъ истерически взвизгнулъ, затопалъ ногами и закричалъ непонятное на своемъ варварскомъ языкѣ. Опасаясь худшаго, молодой человѣкъ отступилъ къ двери и вышелъ изъ комнаты.

Кувырккомъ, цѣпляясь руками за воздухъ, рабочій летѣлъ съ лѣсовъ внизъ на кучу строительнаго матеріала. Во слѣдъ ему летѣли камни, мѣшки цемента, лопатка, уровень, отвѣсъ, оторвавшіяся доски. Больно ударившись, онъ потерялъ сознанье, а когда очнулся, не могъ сообразить, упалъ ли только онъ, или рушилась вся постройка.

Онъ былъ скромнѣйшимъ изъ каменщиковъ и только что научился владѣть незамысловатыми инструментами, помогая въ кладкѣ стѣнъ старшимъ товарищамъ. Но онъ гордился принадлежностью къ славному сословію строителей. И вотъ онъ оступился, или его толкнули, или развалилось все зданіе. Глаза залѣплены известкой, разбиты всѣ члены, мѣръ перевернуть вверхъ дномъ.

Хотя Егоръ Егоровичъ былъ иностранецъ, но служащіе его любили за привѣтливость, отзывчивость и стро-

гую дѣловитость; онъ былъ старшимъ по должности и по времени службы, — почти всѣ поступили въ контору уже при немъ. Если такой человѣкъ впалъ въ неистовство, значитъ тому была исключительная причина. Простое объясненіе, что старикъ «чудить», данное порядочно смущеннымъ Анри Ришаромъ, удовлетворить не могло. Машинистка покачала головой и продолжала писать, остальные конторщики притихли. Съ опущенной головой и съ портфелемъ въ рукахъ, Егоръ Егоровичъ прослѣдовалъ къ выходу, никому не кивнувъ и ничего не сказавъ. Время было передъ закрытіемъ.



Очень рѣдко, но все же случалось, что Егоръ Егоровичъ опаздывалъ къ обѣду. Обычно въ такихъ случаяхъ онъ предупреждалъ по телефону, чтобы Анна Пахомовна могла сообразовать съ его опозданіемъ свои хозяйственные хлопоты. На этотъ разъ телефоннаго звонка не было, и просрочено было цѣлыхъ полчаса. Поэтому Анна Пахомовна позвала сына:

-- Иди обѣдать. Не можемъ же мы ждать безъ конца.

Оба ѣли молча, этимъ молчаніемъ строго осуждая Егора Егоровича, который въ это время взбирался по лѣстницѣ на шестой этажъ дома въ противоположномъ концѣ Парижа.

На третьемъ этажѣ онъ передохнулъ, переложилъ портфель изъ-подъ правой мышки подъ лѣвую и сталъ подыматься выше. На шестомъ этажѣ были три двери — и никакой дощечки или карточки. Консержка сказала: «дверь прямо», но всѣ двери оказались съ лѣвой стороны. Егоръ Егоровичъ догадался позвонить у средней.

Долго не отворяли. Потомъ зашаркали туфли и слышались тяжелые и вѣскіе шаги, знакомые Егору Егоровичу, который, испытавъ удовлетвореніе, косточкой указательнаго пальца постучалъ въ дверь трижды съ равными

промежутками. Отворившему мосе Жакмену онъ сказалъ:

— Это я для вашего уснокоенія, что стучить не врагъ.

Удивленное и недовольное лицо Жакмена посылно изобразило привѣтливость.

Въ передней пахло пылью и табакомъ, а затѣмъ прошли въ комнату, гдѣ пахло пылью, табакомъ и старымъ человекомъ. Ставни были полупритворены, но было видно на большомъ мягкомъ креслѣ обратное изображеніе формъ тѣла мосе Жакмена. Егоръ Егоровичъ занялъ стулъ напротивъ, а портфель положилъ на колѣни. Начали съ молчанія, котораго Жакмену хватило, чтобы набить трубку. Когда же онъ чиркнулъ спичкой, Егоръ Егоровичъ сказалъ:

— Я пришелъ къ вамъ, какъ младшій братъ къ старшему, какъ невѣжественный ученикъ къ мастеру.

Затѣмъ слѣдовало изображеніе событія, до того взволновавшаго ученика Егора Тетѣхина, что онъ забылъ про обѣдъ дома и про французскій обычай приходитъ къ знакомымъ только по приглашенію.

— Какъ мнѣ поступить? Будьте въ этомъ дѣлѣ братомъ и руководителемъ.

Золотой зубъ руководителя вынырнулъ и припаялся за работу:

— Думаете ли вы, дорогой братъ, что масонство призвано рѣшать профанскія дѣла и дѣлишки? Мальчишка оказался негодяемъ — при чемъ тутъ Братство Вольныхъ Каменщиковъ? Прогоните его со службы, и вы будете правы.

Егоръ Егоровичъ олъшилъ.

— Я, конечно, знаю, что обычно поступаютъ такъ. Но не налагаетъ ли на меня званіе Вольнаго Каменщика особыя обязательства, тѣмъ болѣе, что провинившійся служащій — нашъ братъ по ложѣ и, слѣдовательно, посвященный?

-- Посвященные не воруютъ и не берутъ взятки.

Одинъ обрядъ не дѣлаетъ посвященнымъ, и много мусора и недостойныхъ въ нашихъ рядахъ

— Это я тоже знаю, хотя и очень сожалею. Но могу ли я, вчерашній масонъ, судить брата, старшаго по стажу, хотя и младшаго годами на счетъ профисскій, хотя и моего подчиненнаго по службѣ, при томъ — меня самого приведеннаго къ свѣту?

Этотъ Ринаръ — паршивецъ; его нужно не только со службы, а и изъ ложи прогнать.

Егора Егоровича стѣснялъ набитый дѣлами портфель; онъ представилъ его къ ножкѣ стула, примявъ кожаный уголь. Разговаривать стало легче

Испокоинъ вѣковъ приходили къ мудрецамъ за советомъ обуреваемые сомнѣніями. Мудрецы становились въ позу, заихивали тогу и изрекали изреченія. Въ данномъ случаѣ мудрецъ, пыхая табакомъ, исключительнымъ по дешевизнѣ и ядовитости, выразался ясно и безо всякой торжественности, и именно это смутило Егора Егоровича. Неожиданно для себя, онъ теперь старался зацитить провинившагося.

— Онъ еще молодъ. Если я его уволю, это можетъ толкнуть его на дурную дорогу. А если оставлю — не припишетъ ли онъ этого нашей особой связи? И не выйдетъ ли — рука руку моетъ?

Мудрець пересталъ вытѣять тубкой и пристально посмотрѣлъ на собесѣдника, который продолжалъ:

Съ другой стороны — если наша братская связь что-нибудь да значить, то къ этому случаю я долженъ отнестись съ особой внимательностью. Прежде я и думать не сталъ бы, а теперь очень чувствую ответственность. Дѣло въ томъ, братъ Жакменъ, что я до сихъ поръ не позаботился узнать, какъ живетъ этотъ Ринаръ, что онъ читаетъ, что думаетъ, какова его семья и все прочее. Большая ошибка! Можетъ быть онъ потому и рѣшился на такой шагъ, что попалъ въ безвыходное положеіе и отчаялся и даже — вѣдь все возможно — онъ это стѣснял

подъ въздѣйствіемъ темныхъ силъ, омрачившихъ на время его разумъ.

Мосе Жакменъ грузно и не очень охотно привсталъ, взявъ со стола пелену протеръ его большимъ и паченымъ носовымъ платкомъ и осѣдмалъ носъ. Съвозъ слезыя стекла выгнулъ его глазъ, больной недоумѣныи и со слезящимся треугольникомъ у носа. Этимъ глазомъ онъ оглядѣлъ сначала лицо Егора Егоровича, задержавшись на бородѣ, потомъ скользнулъ по галстуку, спустился до кофенюкъ и вернулся обратно къ бородкѣ. Ничего особеннаго, останавливающаго вниманіе и дающаго объясненіе, во всемъ обликѣ русскаго брата не было, и мосе Жакменъ сказалъ:

— Oui... Mais... Миѣ кажется, дорогой другъ, что вы склонны заняться перевоспитаніемъ Анри Ринара?

— Я старше его годами и имѣю не малый жизненный опытъ. И миѣ кажется, что въ томъ, что произошло, есть доля моей вины, потому что я во время не подаль ему добраго совѣта и не протянулъ руки помощи. То-есть я это предполагаю.

— Tiens...

Только тутъ мосе Жакменъ замѣтилъ, что галстукъ Егора Егоровича могъ бы быть лучше подобранъ къ костюму и что пора ему постричь волосы. Тѣмъ временемъ трубка мосе Жамена погасла.

Нѣкоторое время они молчали. Затѣмъ Егору Егоровичу пришлось обстоятельно отвѣтить на вопросъ любознательнаго брата, не находится ли городъ Кузнецъ въ Сибири и далеко ли это отъ Кіева и Одессы. Заговоривъ о Кузани, Егоръ Егоровичъ вспомнилъ, что Анри Пехомовъ его заждадеъ, хотя надо пацѣваться, уже пообѣдѣ съ Жоржемъ. Поэтому, попявъ портфель за уголокъ, онъ съ чувствомъ самой живой и искренней благодарности пожалъ руку мосе Жакмена и извинился за причиненное ему безпокойство. Въ передней рѣшиительно уклонился, когда добрый другъ слегка пошевелилъ рукой, какъ бы готовясь

помочь ему найти рукавъ пальто, а спускаясь по лѣстницѣ -- удивился, что оказался такъ высоко. Выйдя, онъ забылъ, направо или лѣво идти къ остановкѣ автобуса, и только въ автобусѣ сообразилъ, что слѣдовало ему сначала самому обдумать происшедшую исторію и принять рѣшеніе, а не затруднять чисто житейскими пустяками человека старшаго и, можетъ быть, очень занятого.

И однако -- какая чудесная голова у этого старика! Какъ сразу и какъ вѣрно онъ провелъ границу между высокимъ ученіемъ -- и этими приличными кусочками житейской трези!

И Егоръ Егоровичъ торопливо нащупалъ въ особомъ кармашчикѣ книжку автобусныхъ тикетовъ, чтобы не задерживать подошедшаго кондуктора.



Въ контору, откуда вчера въ гнѣвъ выбѣжали левъ, сегодня кротко вернулась овечка; ласковымъ «б-бе» поздоровалась съ сослуживцами, виноватымъ голосомъ сказала Анри Ришару: «зайдите ко мнѣ» -- и удалилась въ свой кабинетъ.

Слушайте, мой другъ, вотъ почтовая расписка; я отослать этому господину то, что вы ему должны; когда вы будете при деньгахъ, вы мнѣ вернете. Иначе поступить я не могъ.

— Мосье...

— Пстойте, Ришаръ, дослушайте меня. Вы молоды, будущее передъ вами. Я не хочу его разрушить, но хочу быть увѣреннымъ, что вы сознаете свою ужасную ошибку. Я беру вашу вину на себя, поступаю вопреки служебному долгу, терпѣливо невольните льно, оставляю васъ на службѣ. Но вы ошибаетесь, если думаете, что васъ спасаютъ наши особыя отношенія! Напротивъ, я тѣмъ строже осуждаю вашу поспешность. То, что дѣлаютъ другіе, не должно дѣлать волыныи каменщикъ

— Я это сознаю, мосье.

— И прекрасно, Ришаръ. Именно это я и хотѣлъ отъ васъ слышать. Я не призванъ васъ учить, но прошу васъ быть со мной впредь откровеннѣе. Вѣдь я почти ничего не знаю о вашей личной жизни. Вы очень нуждаетесь, дорогой?

Анри Ришаръ сдѣлалъ неопредѣленное лицо. Конечно — онъ нуждается, т. е. онъ желалъ бы имѣть большіе средства на свои личныя потребности. Онъ живетъ съ отцомъ, матерью и сестрой. У отца коммерческое предпріятіе, семья вполне обеспечена, но отецъ все-же скуповатъ. Рестораны, кино, увлеченія молодости (попросту говоря — гигиеническія потребности), все это плохо окупается заработкомъ въ конторѣ. Правда, костюмъ, бѣлье, галстуки обеспечиваетъ родительская помощь. Но молодость бываетъ только разъ, и у Анри Ришара нѣтъ склонности къ метро второго и дѣвушкамъ третьяго класса. Однако объяснять все это щещу бесполезно, и Анри Ришаръ просто говорить:

— Я не въ послѣдней крайности, но, конечно, нуждаюсь.

— Вы должны знать и помнить, Ришаръ, что въ тяжелыхъ случаяхъ проще и лучше обратиться къ брату, чѣмъ искать неправильныхъ и, простите, предосудительныхъ источниковъ обогащенія. Я не богатъ, живу только службой, но безъ особаго труда могу во время выручить нуждающагося человѣка. Не за что благодарить, Ришаръ, это — нашъ долгъ. Ну вотъ, мы объяснились. Простите меня, что вчера я былъ грубъ. И еще — вы сдѣлаете мнѣ и моей жепѣ большое удовольствіе, если зайдете къ намъ какъ-нибудь пообѣдать; напимѣрь, если вы свободны въ среду — приходите прямо со службы. Штъ, вы ничѣмъ насъ не стѣните, и, пожалуйста, запросто. Значить — рѣшено, мой другъ! Ну, идите работать.

Дружеское, теплое рукопожатіе.

Сказать, что Анри Ришаръ не смущенъ великодушнѣ-

емъ мосе Тэтэкинъ, было бы несправедливо. Во всякомъ случаѣ этотъ русскій — большой оригиналь. Трудно предполагать тутъ какую-нибудь хитрость! Если даже онъ глупъ, то все-таки не дурной человекъ. Но послать дельги тому жулику — чистѣйшее идиотство; во всякомъ случаѣ онъ могъ бы попросить моего согласія. Придется, пожалуй, вернуть ему двѣсти франковъ. Конечно — могло быть хуже! Въ общемъ — пресмыкнувъ исторію

Бухгалтеръ полюбознествовалъ.

- Э? Мирный разговоръ послѣ грозы?

-- Да, старикъ сбавилъ тона,

- Маленькое недоразумѣніе?

-- Не о чемъ говорить! Въ сущности, старикъ — не плохой человекъ, но что подымашь — маія величія! Между прочимъ — извинился за вчерашнее и пригласилъ меня обѣдать.

Во отсутствіи Ришара бухгалтеръ подѣлился съ дактило соображеніями

Сказать по правдѣ, Апри Ришаръ — настоящая дрянь, но уменъ и хитеръ, пойдетъ далеко. Что до нашего шефа, то не будетъ преувеличеніемъ сказать, что онъ — равноудиность святаго дурака. Вотъ бы вамъ такого мужа, мадемуазель Нвэть!

Мадемуазель Нвэть передвинула каретку, нажала табуретку и спросила:

- А чѣмъ, собственно, провинился Апри?

Думаю — легкое мошенничество, и шефъ его уличилъ. Уличилъ, очевидно, простишь, а простишь — пригласилъ обѣдать. Вы понимаете?

-- Я не понимаю этого.

- Нѣтъ ничего удивительнаго, Нвэть, что вы не понимаете по-китайски. Это называется *âme slave*, мадемуазель. Нѣчто вроде пчары подъ шоколаднымъ соусомъ съ анчоусами.

- Мосе Тэтэкинъ — прекрасный человекъ!

— Я не отрицаю. Именно поэтому любой мерзавецъ можетъ оставить его въ дуракахъ.

Пальцы машинистки забѣгали по клавишамъ. О томъ, что Анри Ришаръ не принадлежитъ къ числу ангеловъ, она кое-что знала.

**

Можно подумать, что въ кабинетѣ шефа производится спѣшный ремонтъ — стучить молотокъ и во всѣ стороны разлетаются брызги каменныхъ осколковъ: Егоръ Егоровичъ работаетъ надъ грубымъ камнемъ, скалывая съ себя недостатки и пороки міра непосвященныхъ. За сегодняшній день работа, казалось бы, настолько подвинулась впередъ, что камень долженъ былъ принять кубическую форму; и однако, со всей энергіей ударяя молоткомъ по долоту, Егоръ Егоровичъ съ удивленіемъ замѣчаетъ, что выбоины и неровности увеличиваются и, при дальнѣйшей работѣ въ томъ же направленіи, камень можетъ треснуть и рассыпаться.

Разыгралъ высокое благородство души! Добродѣтель, купленная по случаю за двѣсти франковъ! Залль великодушія по преступной душѣ молодого человѣка! Кстати — выстрѣлъ холостой, бутафорскій: Анри Ришаръ не убить и не ранить, а стрѣлокъ попалъ въ святые по дешевому тарифу.

А главное — какое жалкое и какое расчетливое лицемеріе! Сначала отправился на поклонъ къ мудрецу и порисовался передъ нимъ. Затѣмъ выдѣлилъ два стофранковыхъ билета изъ скромныхъ сбереженій и послалъ ихъ отъ имени Анри Ришара (не отъ своего! святые застѣчивы!). Наконецъ спросилъ у струсившаго мальчишки сладкимъ голосомъ, какъ поживаетъ его мамаша, и пригласилъ его въ гости. Какая красота! И еще подчеркнул: не подумайте, что это — поступокъ брата; я, дескать, благороденъ самостоятельно, отъ самаго рожденія!

Сквозь географическую карту на стѣнѣ просовываетъ

голову сама акціонерная компанія Ашетъ, вращаетъ глазами, щелкаетъ челюстями и требуетъ у Егора Егоровича немедленнаго отвѣта: на какомъ основаніи онъ поощряетъ и тѣмъ плодитъ пороки во вѣренномъ ему учрежденіи? За чей счетъ? Кто поручилъ ему заниматься нравственнымъ перевоспитаніемъ человѣчества вообще и Анри Ришара въ частности, вмѣсто того, чтобы слѣдить за процвѣтаніемъ экспедиціонной конторы? И нельзя ли въ дѣлѣ чисто коммерческомъ, да еще чужомъ, обойтись безъ эманаций славянской души и безъ Теодоръ Достоевски?

Сказать по правдѣ, Егоръ Егоровичъ чувствуетъ себя очень плохо. Какая-то ошибка совершена — а какая? Оцѣнка собственныхъ поступковъ должна производиться путемъ взвѣшиванія ихъ на вѣсахъ совѣсти. Егоръ Егоровичъ прежде всего приводитъ чаши вѣсовъ въ равновѣсіе, затѣмъ осторожно погружаетъ на одну чашу Анри Ришара, кліента, почтовый переводъ, пенснэ, трубку и золотой зубъ Жакмена, а на другую чашу становится самъ, обѣими руками держась за уходящія конусомъ вверхъ цѣпочки Чаша съ Егоръ Егоровичемъ взмываетъ въ высоту, макушка его головы едва не пробиваетъ потолока. Оглушенный ударомъ, онъ все-таки не можетъ опредѣлить: а что же это значитъ? Можетъ быть онъ правъ, а можетъ быть, наоборотъ, безъ мѣры преступень.

До полудневнаго перерыва онъ проводитъ время въ необычайныхъ нравственныхъ мученіяхъ, продолжая, все же, подписывать бумаги, отдавать распоряженія и подытоживать въ головѣ цифры. Когда контора, наконецъ, пустѣетъ, онъ вынимаетъ изъ портфеля завернутый въ бумагу завтракъ, который принесъ изъ дому, и жуетъ безо всякаго аппетита, хотя Анна Пахомовна, на этотъ разъ, проявила и хозяйственность, и щедрость, и тонкій вкусъ: квадратика хлѣба переложены ломтиками холодной печенки и итальянской колбасы — поочередно. Сверхъ того, въ особой провощенной бумагѣ треугольный кусъ шоколаднаго

торта, недоѣденнаго въ день ея рожденія и въ два слѣдующихъ дни. Бутылка вина и стаканъ всегда хранятся въ конторкѣ Егора Егоровича, и онъ наливаетъ съ обычной умѣренностью. Но и въ стаканѣ, и въ сладкомъ тортѣ множество осколковъ плохо отесаннаго камня, и на зубахъ неопытнаго каменщика непріятный хрусть.

Первой послѣ перерыва возвращается машинистка мадемуазель Ивѣтъ; она заново пудритъ носъ и подправляетъ красивый рисунокъ некрасиваго рта. За ней тяжело вытаскивается толстый пожилой бухгалтеръ, чревоугодникъ пяти съ половиной франковаго рестораника, комбатантъ, холостякъ, скептикъ и ревматикъ. И только когда оба упаковщика и разсыльный мальчикъ занимаютъ оставленные посты — является съ небольшимъ опозданіемъ Аври Ришаръ, молодой и увѣренный голосъ котораго вызываетъ сегодня на лицѣ Егора Егоровича болѣзненную настороженность. Затѣмъ начинается обычное хлопанье двери — приходъ и уходъ носѣтителей конторы.

Со вздохомъ принимается неотесанный камень за свои оставленные бумаги и погружается въ дѣятельность, превращающую не принесшимъ облегченія отдыхомъ. Какой сегодня длинный день!

ТАО-ТЕ-КИНГЪ

Щелкнула дверь, и мѣдная дощечка съ надписью «Georges Télékhine» пронически блеснула въ спину носителю этого имени. Въ такую погоду только развѣнный человекъ можетъ выйти изъ дому безъ зонтика.

Бывшаго казанскаго чиновника мочить парижскимъ осеннимъ дождемъ, но онъ слишкомъ погруженъ въ свои мысли, чтобы обратить вниманіе на такой пустякъ. Предстоящій вечеръ полонъ значенія и тайны. Разъ увѣривать — нужно тѣсно держаться за этотъ подарокъ судьбы, и тогда весь міръ предстанетъ въ иномъ освѣщеніи.

И предстать уже! Совсѣмъ виними, чѣмъ прежде, глазами смотритъ Егоръ Егоровичъ на дома, на людей, на освѣщенныя витрины магазиновъ. Суета, пускай неизбежная, даже милая, но суета, маетность, бесодержательность! Люди съ зонтиками и безъ зонтиковъ чертятъ ногами узоры по землѣ; Егоръ Егоровичъ сознательно, но тайно плыветъ подъ ихъ головами, жалѣя ихъ, проникнутый большой къ нимъ любовью, но не смѣшиваясь съ толпой. Съ этой высоты онъ плавно опускается подъ красные шары метро и злѣмъ катится по рельсамъ мимо станцій, порядокъ которыхъ давно знаетъ наизусть: *Convention, Vaugirard, Volontaires* — вплоть до *Concorde*, гдѣ пересадка.

Съ нѣкотораго времени Егоръ Егоровичъ сталъ исключительно чуткимъ къ вывѣскамъ и къ звуку и значенію словъ. Онъ десять лѣтъ прожилъ на улицѣ *Convention*, не задумываясь надъ тѣмъ, что означаетъ ея имя. Сейчасъ ему кажется знаменательными, что его путь — отъ Договора къ Согласію. Случайность, полная смысла для ума, воспитаннаго работой надъ тайнописью символовъ. Даже коньячная реклама на полахъ стѣнахъ туннеля звучитъ для него намекомъ на этапы нравственной постыдовательности: «Любо-», «Любон-», «Любоне» Отъ простого житейскаго Сговора, черезъ Красоту и Добро — въ высокому братскому Согласію. Эта догадка поражаетъ Егора Егоровича, и онъ застѣчиво озирается, — одинъ ли онъ объ этомъ думаетъ, или та же мысль занимаетъ умы всѣхъ, сжатыхъ взаимно локтями и мокрыми спинами? Не можетъ быть, чтобы еще кто-нибудь не думалъ о томъ же!

Потомъ наступаетъ моментъ — Егоръ Егоровичъ перерываетъ дверь, на которой нарисованы «За этимы предѣломы билета не действительны». Какъ бы иначе говоря «Ты можешь съ тѣмъ же билетомъ ѣхать дальше, можешь безконечно метаться, мѣняя направленія, но по тѣмъ туннелямъ — порты ты рѣшишь перешагнуть порогъ и вый-

ти изъ-подъ земли на улицу, въ мѣръ реальный, помни, что возврата нѣтъ». Роковая черта! «Оставьте всякую надежду сюда входящіе!» И опять — никогда раньше онъ не замѣчалъ этой вывѣски и о странной границѣ двухъ міровъ не думалъ! Символы окружаютъ нашу жизнь, оплетаютъ ее тонкой паутиной, въ которой нужно умѣть разобраться — иначе запутаешься или порвешь ея нити. И рвутъ, и путаются, не дѣлая попытки проникнуть въ значенье словъ, не дооцѣнивая образовъ. И есть еще дверь съ надписью не менѣе загадочной; ея порогъ Егоръ Егоровичъ переступить сегодня вечеромъ: «Пусть не входитъ сюда не знающій Геометрію». Эти слова начерталъ Платонъ надъ входомъ своей школы.

Философъ Платонъ средняго роста, лысъ, съ одной изъ тѣхъ бородавокъ на лбу, на которыхъ невольно заглядываешься, мысленно ихъ отколупывая. Прежде всего Платонъ удивительно симпатиченъ, впрочемъ — какъ и всѣ присутствующіе. Обширная комната пропитана любовью, и всѣ излученія этой любви направлены въ сторону Егора Егоровича, который чувствуетъ себя стѣсненнымъ, какъ бы сжатымъ въ объятіяхъ. Ему тоже хотѣлось бы или обниматься или до боли сжать всѣ руки, слившіяся въ одну — дружескую, мягкую и ароматную. Сейчасъ нельзя этого дѣлать, нужно быть серьезнымъ и торжественнымъ. Философъ Платонъ, его ученики и помощники, вся его школа кружить вокругъ Егора Егоровича, чтобы сдѣлать его достойнымъ воспріятія новыхъ чувствъ и новыхъ тайнъ; самъ онъ передвигаетъ ногами въ зачарованности и полуснѣ, сдерживая улыбку радости и благодарности. Время отъ времени философъ Платонъ произноситъ слова, полная высокаго значенія, хотя еще не совсѣмъ понятныя. Умъ Егора Егоровича такъ перегруженъ работой, что отказывается воспринимать новые матеріалы и выдавливаетъ изъ себя совсѣмъ постороннее, мірское, профанское, чему не должно быть здѣсь мѣста. Такъ, напримѣръ, философъ Платонъ продолжаетъ служить агентомъ въ

Обществѣ страхованія отъ огня, отъ старости, отъ болѣз-
ни, инвалидности, автомобильныхъ столкновений и чего
то еще, очень многого, какихъ-то особенныхъ неприятно-
стей, отъ которыхъ онъ застраховалъ и Егора Егоровича,
выдавъ ему три полиса на прочной глиняной бумагѣ. Первый полисъ—смерть, второй полисъ—пожарный слу-
чай, а какой третій — Егоръ Егоровичъ не можетъ вспо-
мнить, да совсѣмъ и не къ чему здѣсь объ этомъ ему вспо-
минать, это просто — болѣзненный уклонъ утомленна-
го ума. При этомъ философъ Платонъ намекнулъ кліенту,
что условія, которыя онъ для него выхлопоталъ у Обще-
ства, совершенно исключительны; это, собственно, не
агентская сдѣлка, а скрытая форма братскаго одолженія,
чистой безкорыстной пріязни. А какой же третій полисъ?
Тутъ опять ведутъ Егора Егоровича подъ руки и ставятъ
передъ большимъ картономъ съ надписями, изъ которыхъ
онъ уснѣваетъ усвоить, что существуетъ неизвѣстная ему
священная книга Тао-Те-Кингъ. Надо будетъ непременно
ее достать и прочитать. Изъ важнѣйшихъ наукъ Егоръ
Егоровичъ отмѣчаетъ для себя риторику и діалектику, съ
которыми онъ также еще не встрѣчался. Когда опять раз-
дается голосъ Платона, Егоръ Егоровичъ внезапно вспо-
минаетъ, что третій полисъ застраховалъ его отъ возмож-
ныхъ несчастій съ фамъ-де-менажъ, на примѣръ, — если
она обварить себѣ руку или неудачно упадетъ, вынося
ведро съ отбросами кухни; по этому полису платится ка-
кой-то совершенный пустякъ, а по всѣмъ тремъ выходитъ
порядочная сумма. Обращайте умственный взоръ вашъ на
внутреннюю вашу сущность, устраняя рѣзцомъ правствен-
ности всѣ неровности, которыя еще извращаютъ грани ва-
шего куба! Да, непременно буду! Я, Егоръ Тетѣхинъ, даю
себѣ слово быть достойнымъ новаго званія, припомнить
все, что когда-то въ реальномъ училищѣ зналъ по геомет-
ринъ — сумма квадратовъ двухъ катетовъ равна квадрату
гипотенузы, затѣмъ параллельнедь, трапеція и прочее.
Еще не поздно освѣжить въ памяти и, главное, пополнить

знанія, почитать и по исторіи, и по философіи, и по естествознанію. Отмѣчая на безконечной прямой конечный ея отрѣзокъ, циркуль поможетъ намъ въ мірѣ нравственномъ довольствоваться предѣлами выполняемаго. Но Егоръ Егоровичъ готовъ на много большее — на выполнение невыполнимаго! Онъ крѣпко сжимаетъ въ кулакѣ врученные ему деревянные предметы и не понимаетъ, что шепчетъ ему водитель: «Дайте это, руку, руку освободите!» — Наконецъ отдаетъ, смиренно и съ большимъ сожалѣніемъ.

Когда его, наконецъ, поздравляютъ, онъ смотритъ прямо въ лицо поздравляющимъ и ловитъ въ ихъ глазахъ выраженіе настоящей пріязни, хотя и приправленной снисхожденіемъ. Вполнѣ понятно — онъ лишь на порогѣ истины! Уже разрѣшены ему шаги уклона и пути сомнѣній, но онъ постарается обойтись безъ этого, онъ пойдетъ прямо туда, куда зоветъ его звѣзда, нѣкогда указавшая путь волхвамъ. Ему поможетъ полдневный свѣтъ и, главное, близость всѣхъ этихъ замѣчательныхъ людей, готовыхъ всѣмъ пожертвовать, только бы дать ему возможность стать такимъ же, полнымъ благородныхъ чувствъ и просвѣщеннымъ человѣкомъ. Пятиконечная звѣзда — совершенный человѣкъ, распростершій руки и раздвинувшій ноги, чтобы умѣститься въ ея лучахъ. Поверни концомъ внизъ -- и получится козель, съ острой бородкой, рогами и ушами! Вотъ какъ нужно быть осторожнымъ въ примѣненіи своихъ знаній!

Выходя изъ подъезда въ толпѣ замѣчательныхъ людей, Егоръ Егоровичъ ищетъ глазами Жакмена, съ которымъ условился посидѣть часокъ въ обычномъ кабачкѣ за обычнымъ столикомъ. Философъ Платонъ выходитъ въ обыкновенномъ пальто, привѣтствуетъ дождикъ словами «о-ля-ля!», ставитъ горчicomъ воровникъ, сердечно жметъ на прощанье руку Егора Егоровича и тихонько говоритъ:

--- Имѣйте въ виду, дорогой братъ Тэгэкинъ, что пра-

виду мое такое: если мнѣ рекомендуютъ клиента и выходишь удача --- начальныя агентурныя пополамъ. Вы, конечно, знаете многихъ своихъ компатріотовъ и можете засвидѣтельствовать, что условія страхованія въ нашемъ Обществѣ исключительно выгодны клиентамъ. И на случай смерти, и на дожитіе. До свиданія, дорогой!

— *C'est un bon garçon*, — ворчитъ братъ Жакмень, — но слишкомъ занятъ профанскими интересами! Иногда можно отъ нихъ и отвлечься. Изъ его любятъ; онъ уже пятый годъ руководить у насъ работами логи.

Братъ Жакмень нѣсколько похожъ фигурой и лицомъ на Анатоля Франса. Въ кафе онъ садится на диванъ, Егоръ Егоровичъ устраивается противъ него на стулъ. Гарсонъ вопросительно склоняется, хотя знаетъ, что ему закажутъ мандарень-кюрасо и поллива! Изъ-за кассы киваетъ кассирша. Мягкими лѣнливыми шагами подходитъ здороваться лишенный страстей и воображенія котъ. Геній добра, толстоузые ребятишки, развязываютъ шнуры звѣзднаго полотна и отрѣзаютъ членовъ тайнаго общества отъ профанскаго міра. Анатолий Франсъ выправляетъ сѣдые усы, чтобы капли мандарень-кюрасо не пропадали даромъ. Пивные заводы Франціи дѣлаютъ со своей стороны все, чтобы угодить Егору Егоровичу, и не ихъ вина, что ему не нравятся ни канифоль, ни персидскій порошокъ, ни нѣбистый растворъ капорали. Поматавшись, разговоръ выправляется и вступаетъ на путь желанный.

И тогда Иисусъ Навинъ подымаетъ лѣвую руку подъ прямымъ угломъ на уровень плечъ и говоритъ: «солнце, стани надъ Гаваономъ, и луна надъ долиною Аиазонскою!» И стояло солнце среди неба, и не стѣснило закатится ночью цѣлый день. И не было такого дня ни прежде ни послѣ того, въ который бы такъ слушать чепуха Великій Геометръ Вселенной. Рядомъ съ пивомъ и мандарень-кюрасо вырастаетъ кипа вѣтхихъ книгъ и пергаментныхъ свертковъ: Библия, Веды, Книга Мертвыхъ, Коранъ, Тао-Те Книга. Опять эта невѣдомая Тао-Те-Книга, въ самомъ

названіи которой есть что-то тревожащее Егора Егоровича. Изъ-подъ мокрыхъ и протабаченныхъ усовъ выскакиваетъ золотой зубъ, разбивая рѣчь на слова и фразы и швыряя ихъ безъ прицѣла въ отверстую настежь ушную раковину пятилѣтняго младенца Егора. Анатоль Франсъ въ короткихъ штанишкахъ строитъ съ товарищемъ изъ кубиковъ вавилонскую башню, и оба они забыли, что нянька-жизнь можетъ больно за это нашлапать.

Въ этотъ часъ въ кабачкѣ посѣтителей почти нѣтъ, только у стойки бара. Но если бы нашелся любопытный съ тончайшимъ слухомъ, сѣлъ бы за недалній столикъ и наточилъ ухо, — онъ былъ бы разочарованъ. О чемъ такъ горячо говорятъ эти люди? Не о кризисѣ ли министерства? Не о крахѣ ли банка? Или о мужѣ, разрѣзавшемъ жену на куски? Представьте себѣ — они говорятъ о битвѣ галаадитянъ съ ефремянами! Перехватили галаадитяне переправу черезъ Иорданъ, и всякаго, кто хотѣлъ пробраться хитростью, заставляли говорить слово прохода; и когда онъ произносилъ его съ акцентомъ нежелательнаго иностранца, — обманщика тутъ же рубили на куски. И пало въ то время изъ ефремлянъ сорокъ двѣ тысячи. Вотъ все, что слышитъ хитрецъ за сосѣднимъ столикомъ, — и въ страхъ и недоумѣніи спѣшитъ выйти изъ кабачка, пусть подъ дождь, но на свѣжій воздухъ. Ему никогда не понять, что связываетъ Анатоля Франса съ бывшимъ казанскимъ почтовымъ чиновникомъ, и зачѣмъ имъ нужна переправа черезъ Иорданъ, изъ міра векселей и страховыхъ полисовъ, изъ міра кисейкой прикрытой лжи, изъ міра ужасной тоски по горнимъ высотамъ, — въ міръ загадокъ и тайныхъ символовъ, въ міръ дѣтской вѣры въ совершеннаго человѣка, въ созвучіе микрокосма съ макрокосмомъ, въ соборное сліяніе творческихъ волю.

И да возсіяетъ на небѣ сознанія нашего сія пятиконечная звѣзда!

- - Позвольте мнѣ заплатить, это я васъ пригласилъ!

И Игорь Егоровичъ рѣшительно отстраняетъ монету Анатоля Франса.

У выхода, остунившись, онъ едва не ударяется лбомъ о дверной косякъ — и изумленно останавливается отъ пришедшей ему въ голову внезапной догадки: Тао-Те-Кишъ, — но вѣдь это почти его фамилія въ ея французскомъ звучаніи! Какъ все это странно и какъ все это изумительно!

МЕТАМОРФОЗЫ

Анна Пахомовна сидитъ и пристально и недовѣрчиво смотреть на Анну Пахомовну. Когда она шевелитъ правой рукой, другая Анна Пахомовна шевелитъ рукою лѣвой. Затѣмъ онѣ обѣ одновременно сгунятъ каждая два пальца на разныхъ рукахъ и проводятъ по разнымъ бровямъ. Посерединѣ брови намѣчается неровная темная ниточка, ничѣмъ не привлекательная, и обѣ Анны Пахомовны убѣждаются, что это — не то. Затѣмъ, на минуту опасливо показанъ другъ-другу затылокъ, онѣ съ внезапной рѣшимостью вытаскиваютъ изъ причесокъ шпильки, распускаютъ жидковатая косы, подбираютъ ихъ въ горсть и прижимаютъ пониже висковъ. Глазами не встрѣчаясь, онѣ обоюдно разсматриваютъ получившееся, и потому не замѣчаютъ во взорѣ другъ друга помѣси паническаго страха съ тревожной надеждой. Наконецъ, ближняя Анна Пахомовна встаетъ и упирается головой въ лепестки и слочки лѣпного карниза, а дальняя ловко ныряетъ въ стѣну, отсѣкаетъ свою верхнюю часть по поясъ и, блѣднымъ выпуклымъ квадратомъ синей съ полосками юбки, остается маячить въ зеркалѣ.

Съ потолка раздается:

— Что бы ты сказать, Гриша, если бы я острѣе на волосы?

Именуемый Гришей Егоръ Егоровичъ, читающій лежа, ненаходчиво отвѣчаетъ:

— Ну да, конечно.

— Ты не понимаешь меня. Я прошу у тебя совѣта, остричь или оставить такъ.

— Какъ остричь? Совсѣмъ остричь? То-есть ты хочешь сказать, — не просто, а всю голову?

Этотъ человѣкъ со своими вѣчными книжками можетъ кого-угодно вывести изъ терпѣнія.

— Брось на минуту чтение! Кстати, тебѣ давно пора одѣваться и идти. Я просто говорю, что нѣтъпо жалѣть какія-то космы и возиться съ прическами и шпильками, когда всѣ рѣшительно ходятъ стриженныя. У меня и времени нѣтъ причесываться.

Очень ласковымъ и виноватымъ голосомъ Егоръ Егоровичъ подтверждаетъ:

— Въ сущности — дѣйствительно! Приходится возиться и затрачивать, а между тѣмъ...

— Ты правда такъ, такъ думаешь? Кажется, я осталась на весь Парижъ единственной съ длинными волосами, и всѣ рѣшительно на меня странно смотрятъ. И если бы еще какіе-нибудь особенно длинные...

— Конечно! Если бы ужъ очень длинные, ты могла бы ихъ... это... какъ-нибудь тамъ особенно...

Со своей бѣлой поляны Егоръ Егоровичъ смотритъ на вершину горы и пытается представить себѣ, что получится, когда Анна Пахомовна коротко острижется волосы? Взмахомъ огромныхъ пожницъ онъ обкарицаваетъ ихъ на плечи, и Анна Пахомовна превращается изъ толстаго дѣвкона въ легкомысленной ризѣ въ дѣно. Съ осторожностью онъ говоритъ:

— Да, но... обыкновенно они должны, кажется, какъ-то виться, то-есть тамъ кудривиться...

— Что? Ахъ, это конечно зависягое у парикмахера. Главное удобно, что можно завязать поддефинизаблемъ сразу на полгода и больше.

Гордый тѣмъ, что сумѣлъ поддержать разговоръ и не сказалъ глупости, Егоръ Егоровичъ спускаетъ ноги, натягиваетъ панталоны, встаетъ и оказывается на одномъ уровнѣ съ женой.

— Естественно, — говоритъ онъ. — одинъ разъ отрезать лишнее и потомъ разъ въ годъ, этакъ въ январѣ, поддвигать тамъ все, что нужно. Куда-то я дѣлъ подтяжку...

— Подтяжки на тебѣ, а одна спустилась, подбери.

Анна Пахомовна съ величайшей добротой помогаетъ Егору Егоровичу просунуть руку съ книгой въ большую петлю и подобрать подтяжку на плечо. Небрежнымъ тономъ она добавляетъ:

— И еще — этотъ цвѣтъ, какой-то неопредѣленный. А я, въ сущности, по кожѣ и по всему свѣтлая блондинка. Но это не важно.

Вообще она очень довольна разговоромъ. Снова соорудивъ передъ зеркаломъ ненавистную и отжившую прическу, она пафосуетъ не то мачишь, не то ахъ ты березу. Обѣ Анны Пахомовны смотреть на этотъ разъ весело, и ихъ глаза преисполнены таинственныхъ плановъ.

Передъ службой, въ перерывахъ и послѣ службы, передъ обѣдомъ и послѣ обѣда, на сонъ грядущій и вставая, Егоръ Егоровичъ читаетъ, читаетъ и читаетъ. Книгу смѣняетъ книгой, небольшія глотая цѣликомъ, въ большія върезаясь съ краю, проваливаясь въ середину и выплывая у противоположнаго берега. И не прежнія книги съ малопонятными словами и речушками, — сова, перекрестенная палачицами факелами, голый человекъ съ мужской и женской коронованными главами, реторика, включенная въ треугольникъ, а съ нимъ въ кубъ, — но книги вродѣ толковня и разумнякъ, по исторіи и особенно по естествознанію. Шагомъ, рывкомъ, галопомъ онъ нагоняетъ потеряннаго: то на съ-вемелшнмъ упорствомъ и прилежаніемъ, что до него въ Казани, мечтая о почтовой карьерѣ, изучалъ нѣсколько языки. Его отлично знаютъ во фран-

цузской библиотекѣ квартала и еще лучше въ русской Тургеневской, гдѣ онъ подолгу роется въ каталогахъ и, наконецъ, выискиваетъ какую-нибудь самую неаппетитную и сомнительную книжку, давно скучавшую на полкѣ, потому что и устарѣла она, и забыта, да и никогда не была въ чести. Но Егору Егоровичу не съ кѣмъ посоветоваться: онъ идетъ ощупью и догадкой. Какъ-то попробовалъ обратиться за справкой къ тому самому почтенному брату, который его водилъ и останавливалъ у картоновъ съ перечнями наукъ, архитектурныхъ стилей и великихъ книгъ (Тао-Те-Кингъ и другія); почтенный каменщикъ удивленно, но не потерявъ самообладанія, отвѣтилъ:

— Исторія религій? Ah, oui! Есть, разумеется, много прекраснѣйшихъ работъ нашихъ французскихъ ученыхъ, сотни работъ, дорогой братъ! Отличныя работы настоящихъ специалистовъ. Названія? Сейчасъ не вспомню. А зачѣмъ вамъ религія?

— Я долженъ изучать, чтобы совершенствоваться въ знаніяхъ. Я очень мало подготовленъ.

— О, да, конечно. А нѣтъ ли у васъ какого-нибудь знакомаго кюре, они все это на зубокъ знаютъ и укажутъ охотно, хотя, говоря между нами, народецъ вредный.

Наукъ оказалось огромное количество, гораздо больше, чѣмъ предполагалъ Егоръ Егоровичъ, окончившій только реальное училище, и чѣмъ было начертано на картонѣ. Упущено для работы по крайней мѣрѣ тридцать лѣтъ жизни — какая обида и какая ошибка! А сколько было раньше свободнаго времени! Теперь приходится читать въ трамваѣ, въ метро, въ постели, а главное — въ праздники. Лѣтомъ будетъ двадцать восемь дней отпуска — вотъ когда можно будетъ подождать. Предстоящій отпускъ Егоръ Егоровичъ рѣшилъ цѣликомъ посвятить философіи и еще этимъ, которыя значились на картонѣ: риторикѣ и діалектикѣ.

На пути въ главную контору Ашетъ съ мѣсячнымъ отчетомъ своего отдѣленія, Егоръ Егоровичъ интудируетъ

зоологію, предметъ поистинѣ увлекательный. Тургеневская бібліотекарша, Марья Петровна, наизусть знающая всѣ книги по всемъ отраслямъ наукъ, и ихъ названіе и ихъ бібліотечные номера, заполнила его портфель двумя гол-стыми томами Брэма, посуливъ и остальные восемь. Об-ласть распространенія полосатой тіены гораздо больше, чѣмъ у другихъ видовъ; она еще встрѣчается во всей сѣ-верной Африкѣ, начиная отъ крайняго запада, въ значи-тельной части южной Африки и въ юго-западной Азіи, на-чиная отъ Средиземнаго моря и до Бенгальскаго залива. Знаю Бенгальскій заливъ, проѣзжали мимо. Какъ, Соль-феринно? Пересадку то я и пропустилъ! Ну, пересяду на Свѣтъ-Лазарь, лишникъ минутъ десять. Ея дѣтеныши по-хожи на старухъ. Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ она живетъ, встрѣчается много падали. станція Мадлень, пересадка на слѣдующей. Сунувъ палецъ въ пасть Брэма, Егоръ Его-ровичъ идетъ съ толпой душнымъ подземнымъ корридо-ромъ; все это — спѣшаніе служащіе, комиссіонеры, ба-рышники за покупками. При случаѣ онѣ хватаютъ овецъ, козъ, а также и собакъ. Молодые экземпляры считаются въ Индіи довольно способными къ прирученію. Далѣе на сѣверъ Монтейро во всей области Куанза... стоить: стан-ція Реомюръ.

Егоръ Егоровичъ возрождается изъ-подъ земли въ со-обществѣ прирученныхъ полосатыхъ тіенъ. Готова чухъ годетая, а морда относительно тонкая, на концѣ доволъно тупая; ихъ дѣтеныши, дѣйствительно, старообразны. Можеть быть на волю эти животныя хищны и прожорли-вы; здѣсь, въ неволѣ города, они смахиваютъ, скорѣе все-го, на простыхъ собакъ въ намордникахъ, виляющихъ хвостами на слова хозяина. Въмѣсто шерсти — на нихъ юбки, штаны, шляпы, въ рукахъ сумочки и зонты, подъ мышками свертки. А то бывають еще тіены пятнистыя, и тѣ приручаются не легко, эти, неопытны, вмѣсто шляпъ носятъ кепки, за ухомъ недокурившую папиросу. Пятни-стая тіена извѣстна своимъ восемь, похожимъ на сардонн-

ческой хохотъ; и когда она хохочетъ близости отъ благоустроеннаго человѣческаго жилья, люди трисутся отъ непобѣдимаго страха, хотя пятнистая гѣна опасна только для мелкаго скота, а крупный сиравляется съ ней рогами, человѣкъ — палкой, въ пеголь — кнутомъ.

Въ главной конторѣ Егоръ Егоровичъ даетъ свое заключеніе по вопросу о желательности открытія въ его районѣ еще двухъ газетныхъ кіосковъ, тамъ, гдѣ растутъ новые дома съ экономическими квартирами. Кредитъ дать можно, залогъ — какъ вездѣ. Вообще, разговоръ обычный, какъ изъ года годъ, и мосье Тэтэкинъ въ главной конторѣ --- свой человѣкъ. Обрати онъ ѣдетъ опять подь землей, но сокративъ пути пересадкой на болѣе подходящей станціи; по пути узнать, что шерсть волка, какъ по цвѣту, такъ и по длинѣ, довольно разнообразна, въ зависимости отъ климата. Обычный цвѣтъ шерсти чало-сѣро-желтый, лѣтомъ рыжеватѣй, зимой желтоватѣй. Ну, волковъ мы знаемъ достаточно, люди казанскіе! Вообще же никакое знаніе не лишне для посвященнаго. Все горе въ томъ, что столько лѣтъ потеряно напрасно. Не такъ легко на шестомъ десяткѣ обряжаться въ сѣрую курточку съ кожанымъ поясомъ и учить свои уроки! Зато — какъ много красоты и счастья въ знаніи, и какъ украшаетъ и заполняетъ жизнь его новая, свободная и безкорыстная работа. И не работа, а отдыхъ души и чистое наслажденіе!

За обѣдомъ макароны, всегда переваренныя. Жоржъ подымаетъ ихъ вилкой, обкусываетъ, а остатки падаютъ въ тарелку; Анна Пахомовна парѣзаетъ ихъ мелко пожемъ и отправляетъ въ ротъ не счипкомъ большими партіями; Егоръ Егоровичъ возится съ шми долго, завивая и снова распуская комочекъ длинныхъ бѣлыхъ червяковъ и подбирая ихъ концы лѣбной корочкой

- Оригинально, — говоритъ онъ, что черви, обыкновеннае-тождевые, могутъ жить разрѣзаннми на куски

Анна Пахомовна возмущенно кладетъ вилку на четы-

рехгранную стекляшую подставку; она бы и просто бросила, но не хочетъ запачкать скатерти.

— Ну что ты говоришь про такія гадости за обѣдомъ! Это невыносимо, и я не могу ѣсть. И при чемъ тутъ! И кому это интересно?

Егоръ Егоровичъ виновато оправдывается

— Ну прости, я это дѣйствительно... Нечаянно пришло въ голову сравненіе, потому что я читалъ

Жоржъ, не утратившій аппетита отъ словъ отца, спрашиваетъ съ побойничествомъ и сильнымъ акцентомъ:

Пана, я смотрѣлъ твою странную книгу, почему ты читаешь такія? Это — *sciences naturelles*?

— Да. Это, Жоржъ, замѣчательно интересно и очень необходимо.

— Развѣ это нужно въ твоемъ бюро?

Егоръ Егоровичъ съ радостью объясняетъ сыну, что каждый человекъ долженъ непрерывно совершенствоваться своей разумъ, пополнять свои знанія и упражнять нравственность свою и ближнихъ, чтобы мало-по-малу, общей работой, привести къ совершенству все человѣчество.

— Очень глѣбъ совѣтую, Жоржъ, читать какъ можно больше и по исторіи, и по естественнымъ наукамъ, и по философіи. Полезнѣе, чѣмъ играть въ теннисъ, хотя, конечно, и тѣло развивать нужно. Ты что-нибудь читаешь?

— Oui, я читаю немного *belles lettres* и то, которое... *ce que me regarde comme* будущій инженеръ

— А по исторіи, напримѣръ, что-нибудь читаешь?

— Пана, я выучилъ вся исторія въ лицей, исторія Франціи и *histoire générale*. Но это не нужно ничего *rien faire mon chemin*.

Вступаетъ въ разговоръ Анна Пахомовна

— Жоржу и своихъ занятій довольно. И ты бы ѣлъ, Егоръ Егоровичъ, все остыло. Жоржъ еще мальчикъ и все уѣсть. Ты тоже раньше не читалъ про разныя гадости.

Егоръ Егоровичъ думаетъ, что надобно будетъ какъ-нибудь поговорить съ сыномъ на досугѣ, въ день празд-

ничный. Священная обязанность отца — слѣдить за воспитаніемъ и за направленіемъ мыслей сына и вести его къ истинному познанію и свѣту.

За киселемъ Анна Пахомовна говоритъ:

— Завтра будетъ курица и пудингъ. Сначала, конечно, закуски. Я думаю — этого достаточно? Кажется этотъ твой Ришаръ любить больше бѣлое вино? Кстати, не забудь напомнить ему, что завтра онъ у насъ обѣдаетъ.

— Завтра?

— Ну конечно, всегда же по средамъ. Самъ зовешь и не помнишь.

— Развѣ я звалъ?

— Это невыносимо, Егоръ Егоровичъ! Однимъ словомъ, мы его звали въ среду, значить — на завтра. Надо намъ поддерживать знакомство съ французами.

— Конечно, конечно, я только запамятовалъ, что мы его опять звали. Скажу, скажу, вмѣстѣ и прїѣдемъ.

— Курица съ жареной картошкой, а пудингъ съ ромовой подливкой. Боже мой, когда я это все успѣю, я завтра съ утра страшно занята!

Анна Пахомовна смотритъ загадочно въ завтра и вдаль. Если бы кто-нибудь зналъ, что будетъ завтра, онъ удивился бы, какъ эта женщина можетъ спокойно ѣсть, управлять разговоромъ и думать о картошкѣ и подливкѣ, какъ она помнить о какихъ-то гостяхъ, вообще какъ она снижается до вопросовъ повседневныхъ, чисто профанскихъ, и какъ она терпитъ, когда Егоръ Егоровичъ говорить:

— Вотъ жареная картошка, это дѣйствительно. А вѣдь между прочимъ картошки въ Европѣ до шестнадцатаго вѣка совсѣмъ не было, ее испанцы завезли. Она, конечно, питательна, но азота въ ней маловато, меньше, чѣмъ въ хлѣбѣ.

Анна Пахомовна возмущается въ послѣдній разъ:

— Я покупаю всегда самую лучшую, у толстаго зелен-

щика. Если ужъ у него мало, то я не знаю... Если тебѣ не нравится — покупай самъ.

Вообще Егоръ Егоровичъ доволенъ, когда обѣдъ кончается и можно взять книжку и уйти въ нее, какъ въ прекрасный паркъ, исчерченный аллеями и замысловатыми дорожками, по которымъ приятно побродить и поплутать, пока не попадется скамейка или стволъ павшаго дерева, на которыхъ хорошо посидѣть, размышляя о величїи природы, догадливости человѣка и безграничности познанїа. А захочется — и подремать, потому что ежедневная служба въ конторѣ все-таки не шутка, особенно для человѣка въ возрастѣ достаточно преклонномъ.

**

Назавтра утромъ Анна Пахомовна задаетъ вопросы и отвѣчаетъ на вопросы, разливаетъ кофе и кладетъ въ чашки сахаръ, втолковываетъ мадамъ Жанетъ, какъ готовится ромовая подливка къ пудингу, лично раскладываетъ въ извѣчно установленномъ порядкѣ диванныя подушки и подушечки, — но мысли Анны Пахомовны не здѣсь, и заняты онѣ не текущимъ, а предстоящимъ.

Она завтракаетъ не горюясь, но безъ вкуса; въ часъ съ половиной начинаетъ волноваться до дрожи и пустоты въ груди, въ два часа выходитъ изъ дому. Это рано, такъ какъ событіе назначено ровно на два съ половиной, а пути всего десять минутъ. Чтобы протянуть время она задерживается у витрины, изображающей тысячу скользящихъ въ пропасть башмаковъ и туфелекъ, равно достойныхъ ножки богини и консержки, отдающихся почти даромъ, за удовольствїе увидать покупателя, но всегда недостаточно высокихъ въ подъемѣ. Оторвавшись отъ витрины, она ужасается, что опоздала, но времени излишекъ, и ей приходится трижды равнодушно прогуляться мимо розовыхъ бюстовъ съ аршинными рѣсницами и восковой не-

винностью губъ. Наконецъ она обжигаетъ перчатку ручной двери и низвергается въ бездну парикмахерской.

Пронсходитъ невообразимое, смѣщающее планы въ хаосъ и спѣшности. Толстый и бритый американскій судья, оптомъ торгующій свиньями, въ розницу рѣшающей судьбы людей, неумолимымъ голосомъ читаетъ приговоръ, которымъ преступникъ присуждается къ смертной казни на электрическомъ креслѣ. Палачъ съ помощникомъ бросаются на негра, кутаютъ его въ саванъ, пригибаютъ его голову, окатываютъ ее ѣдкой жидкостью, моютъ, втираютъ, сушатъ, втираютъ, моютъ, окатываютъ, прыгая вокругъ въ дикомъ танцѣ, — пока негръ не вырождается въ мулата, метиса, пятнистый тифъ, радугу и рыжую китайскую собачку. Гудитъ моторъ, горячій воздухъ вырывается съ шумомъ и свистомъ. Жертва правосудія привязана къ чудовищному креслу. Съ потолка медленно сползаетъ и повисаетъ въ воздухѣ блестящій спрутъ со стальными щупальцами. Палачи вставляютъ жертвѣ въ ноздри, въ уши, подъ черенную коробку электрическіе штепсели, пускаютъ токъ и внимательно наблюдаютъ за агоніей, которая тянется часъ, тянется два. — «Кончено!» — говоритъ главный палачъ и приступаетъ къ уборкѣ покойника. Трупъ бальзамируютъ, подскабливаютъ, причесываютъ, разрисовываютъ, — и мало-по-малу изъ тлѣнной оболочкы, изъ муміи, изъ мертваго кокона вылупливается рыжеватая бабочка-крапивница, ребенокъ отъ года до ста лѣтъ, та самая парикмахерская кукла, когорая раньше стояла въ оконной витринѣ и многосмысленно улыбалась прохожимъ. Рабыня спѣшитъ докрасить коготки, рабъ смахиваетъ послѣднюю пушинку пудры, американскій судья поздравляетъ поворожденную. — «Мадамъ оченъ устага? Стаканъ воды, мадамъ?» — Кассирша шуршитъ билетами и отсчитываетъ кружочки сдачи; кружочки скользятъ изъ пальцевъ въ пальцы и попадають въ карманы бѣлыхъ балахоновъ.

Изъ дверей парикмахерской уже никогда больше не

выидеть та, которая зашла сюда три часа тому назад; ся дочь, цвѣтущая возрастомъ и румянцемъ, взволнованная свѣтлая блондинка спѣшитъ домой предупредить родныхъ о случившейся великой метаморфозѣ. На всемъ протяженіи пути встрѣчные столбецѣють отъ удивленія, женщины зеленѣють отъ зависти, мужчины падаютъ стройными рядами, какъ подкошенная пшеница, автомобили въ необузданномъ весельѣ закручиваютъ и пускаютъ волчкомъ стоящаго по срединѣ улицы снятаго крылатаго съ бѣлой палочкой.

Гудитъ подъемная машина совсемъ по новому, ключъ въ замкѣ двери застѣнчиво щелкаетъ, — и время, сорвавшись съ цѣпочки, продолжаетъ прежній бѣгъ по обновленнымъ рельсамъ.



Только два дня тому назадъ курица съ бѣлымъ хохолкомъ раскидывала когтистыми ногами солому, наклоняя голову и ловко выклеывая зерна. Сейчасъ, лежа въ верхнемъ этажѣ духового шкапа, безъ хохолка на головѣ, повернутой подъ опиланное крыло, она равнодушно ждетъ дальнѣйшей судьбы. Мадамъ Жанетъ пробуетъ ее вилкой и переживаетъ муки творчества.

Гуль подъемной машины уже не въ первый разъ заставляетъ Анну Пахомовну насторожиться и поправить у зеркала одну-единственный волосъ, отставшій отъ прекрасной волны. Въ передней топчутся Егоръ Егоровичъ и его молодой гость.

— И имѣйте въ виду, мой дорогой, — продолжаетъ Егоръ Егоровичъ, — что разстояніе между эгими звѣздами приходится считать тысячами милліоновъ, билліоновъ и триллионовъ километровъ. Триллионъ — это значитъ: тысяча билліоновъ! Цифры, которыя наше обычное представление отказывается понимать.

Адри Риваръ не не изъ тѣхъ, кто можетъ не замѣтить

перемины въ женщины. Анри Ришаръ говоритъ съ энтузиазмомъ:

-- Мадамъ рѣшилась разстаться съ прической а-ля-рюсь? Позвольте мнѣ выразить полное восхищеніе!

Истинный французъ -- ни слова о перемины цвѣта.

-- Знаешь, Анна Пахомовна, мы съ Ришаромъ такъ проголодались, что чуть было не зашли по пути въ ресторанчикъ предварить твою курицу съ картошкой какими-нибудь эскалопами въ мадерѣ.

Егоръ Егоровичъ веселъ, привѣтливъ и старается шутить. Онъ кладетъ свой портфель на обѣденный столъ, но догадывается убраться, хлопываетъ Ришара по плечу и рѣшительно заявляетъ, что научить его пить передъ обѣдомъ рюмку водки.

-- Самъ я обычно не пью, но съ вами выпью. Въ русскомъ домѣ все должно быть по-русски. Запасецъ долженъ быть.

За столомъ, расправляя салфетку, Егоръ Егоровичъ съ довольнымъ видомъ смотритъ на тарелочку съ икрой, другую съ маринованнымъ угремъ и третью съ селедкой въ бѣломъ винѣ. Не экономно, но пріятно и послѣ службы поражаетъ воображеніе. Хорошій хозяинъ долженъ занимать гостя.

- Я вамъ говорю, мой дорогой Анри, а кстати, Жоржъ, вѣроятно и тебя заинтересуетъ. Что при огромномъ собраніи научномъ матеріалѣ, -- мы все-таки лишь въ началѣ пути, а самый путь безконеченъ! Сначала икры. Ришаръ, и имѣйте въ виду, что она настоящая совѣтская; мы съ совѣтами не въ ладахъ, а коммерцію поддерживаемъ. Я и говорю, возь наиримѣрь въ астрономіи, планета Сатурнъ, она съ кольцомъ. -- а что такое ея кольцо? Показывается.

Кусочекъ угря замираетъ во рту Егора Егоровича. Дочь Анны Пахомовны, племянница Анны Пахомовны, та самая родственница, бабушка, -- но гдѣ же сама Анна Пахомовна?

Все же, проглотивъ угря, онъ говоритъ по-русски въ полномъ недоумѣннн:

-- Что такое? Почему парикъ?

Анна Пахомовна дѣланно смѣется, но внутренне бѣсится:

- Ты только сейчасъ замѣтилъ? Самъ же мнѣ посо-вѣтовалъ!

-- Да, но ты, кажется, перекрасилась?

-- Не говори глупостей, и вообще не обращай внима-ния. Это неприлично. Жоржъ, объясни гостю, я не могу, что папа въ первый разъ меня видитъ, а то выходить глупо.

- Но вѣдь это — законъ, мадамъ! Мужья всегда раз-сѣяны и все замѣчаютъ послѣдними. Готовъ повторить много разъ, что вамъ очень, очень идетъ эта маленькая сдѣлка съ природой. *C'est charmant!*

Къ моменту прилета жареной курицы Егоръ Егоровичъ возвращаетъ себѣ если не первоначальную веселость, то спокойствіе. Картофель лишень достаточнаго количества азота, но вотъ салатъ чрезвычайно богатъ витаминами. Анри Ринаръ, съ своей стороны, не только слышалъ о ви-таминахъ, но и знаетъ презабавный анекдотъ, чуточку легкомысленный, чтобы не сказать непристойный. Жоржъ хохочетъ съ полнымъ ртомъ, Анна Пахомовна, ничего не понявъ толкомъ, говоритъ на всякій случай «*comme c'est joli!*» - Егоръ Егоровичъ чувствуетъ, что рюмка водки, два стакана вина и ромовая подливка начинаютъ дѣйство-вать. И онъ доволенъ, когда мадамъ Жанетъ приносить кофе. Еще минута, и Егоръ Егоровичъ заскучаетъ.

— Напротивъ, мадамъ, у васъ прекрасное произноше-ніе! Русскіе удивительно быстро перенимаютъ нашъ языкъ. Въ русскихъ женщинахъ, мадамъ, есть таинствен-ный шармъ, не свойственный француженкамъ. О да, я страстный поклонникъ славянской души, и не я одинъ. Я мало знаю русскую литературу, мадамъ, но вся Фран-ція обожаетъ вашего прекраснаго писателя, вашего зна-

менитаго поэта, его фамилія Дэсто... Дэто..., о, мерси, Жоржъ, oui, c'est bien ça, Достоески. Пьеръ Лоти, Андрэ Моруа и Дотоески — ихъ души родственны, мадамъ! Мы были въ союзѣ съ Россіей и мы опять будемъ въ союзѣ, двѣ великія страны. Геній латинскій и геній славянскій. Будьте увѣрены, мадамъ! C'est moi qui vous dit! Казни ужасны, мадамъ, но интересъ государства, и это пройдетъ, я вамъ ручаюсь, мадамъ. Я лично знаю одного чиновника полпредства, мой большой другъ, и онъ меня увѣрялъ...

Онъ вретъ со вкусомъ, самъ себя слушая, пригубливая сладкій ликеръ. Женщина, правда, не первой свѣжести, но русскія плечи положительно стоятъ французской ножи. Егоръ Егоровичъ слегка осовѣлъ и имѣетъ полное право больше не открывать рта. Жоржъ очарованъ краснорѣчіемъ гостя и съ удивленіемъ смотритъ на мать. Кольца вокругъ Сатурна вертятся бѣшено и со свистомъ. Въ толщину они нѣсколько десятковъ километровъ, въ ширину не болѣе двѣхсотъ; для полнаго оборота достаточны десять часовъ. Въ половинѣ одиннадцатаго Ришаръ подымается и, зная русскій обычай, галантно цѣлуетъ руку Анны Пахомовны, слегка щекоча ее ладонь пальцемъ. «Au revoir, mon chef! Adieu, Georges» — и дверь въ передней отчетливо крикаетъ.

— Кажется, все было хорошо, Гриша. Онъ очень милъ, твой Ришаръ, и, кажется, очень образованный человекъ. И знаешь, я все, почти все понимаю. Но какъ я устала сегодня, какъ устала!

Егоръ Егоровичъ снимаетъ пиджакъ и, чтобы лучше использовать время до сна, берется за самую толстую книгу.

Мих. Осоргинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ)

Исторія одного путешествія

(Отрывки изъ романа *).

Первымъ же поѣздомъ изъ Марселя Володя поѣхалъ въ Парижъ; денегъ было мало, пришлось брать билетъ третьяго класса и всю дорогу у Володи болѣла голова отъ невытравимаго запаха чеснока, которымъ были пропитаны, казалось, не только пассажиры, но и самыя стѣны вагона. Въ девять часовъ утра, не спавъ всю ночь, съ сильной головной болью и дурнымъ вкусомъ во рту, Володя пріѣхалъ въ Парижъ. Справившись еще разъ въ записной книжкѣ, онъ опять посмотрѣлъ адресъ брата, который и безъ того зналъ наизусть, сѣлъ въ такси и велѣлъ везти себя на rue Voisvière. Головная боль сразу стихла; Володя смотрѣлъ по сторонамъ, его поразило сильное движеніе на улицахъ, — въ остальномъ Парижъ показался ему похожимъ на всѣ остальные большіе города.

Онъ позвонилъ у двери дома, въ которомъ жилъ его братъ; улица оказалась неожиданно тихой и нѣсколько сумрачной и звонокъ прозвучалъ особенно рѣзко. Онъ подождалъ минуту и услышалъ мягкіе шаги, спускавшіеся по лѣстницѣ. Потомъ дверь пріоткрылась и горничная въ синихъ туфляхъ — что удивило Володю — показала на порогъ.

*) Первый отрывокъ, подъ заглавіемъ «Начало» напечатанъ въ 56-ой кн. «Солн. Звн.»

— *Puis-je voir M. Rogatchev?* — спросилъ Володя.

— *De la part de qui?*

Володя не сразу понялъ. — Что за чортъ, *de la part de qui?* — подумалъ онъ, потомъ сообразилъ; дверь все оставалась полуоткрытой и горничная стояла наполовину въ домѣ. — *Dites lui que c'est son frère qui veut le voir,* — сказалъ Володя. При этомъ его отвѣтъ наверху послышались еще одни шаги, затѣмъ лѣстница затрещала подъ быстро спускающимся грузнымъ человѣкомъ, который поскользнулся на предпоследней ступенькѣ, сказалъ по-русски: «а, дьяволъ», — и Володя увидѣлъ своего старшаго брата, Николая, въ длинномъ лиловомъ халатѣ, небритаго, растрепаннаго, но очень веселаго и довольнаго. Онъ оттолкнулъ горничную, втянулъ Володю внутрь, сказалъ удивленно и радостно, — Володька, сволочь! — и шумно поцѣловалъ его раньше, чѣмъ Володя успѣлъ произнести хоть одно слово.

Николай былъ старше Володи на шесть лѣтъ и уѣхалъ за границу будучи уже студентомъ. Онъ былъ и похожъ и непохожъ на своего брата. Онъ былъ ниже его, но шире въ плечахъ и мохнатое его тѣло было сколочено изъ совершенно несокрушимаго матерьяла, — онъ ничѣмъ не болѣлъ, всѣ порѣзы и раны заживали у него съ поразительной быстротой. Онъ былъ въ дѣтствѣ драчливъ, стремителенъ и до ужаса не любилъ гимназію, книги, тетради и все, что этого какъ-либо касалось, убѣгалъ съ уроковъ, чтобы кататься на конькахъ или играть въ футболъ; во время богослуженія въ церкви, стоя на коленяхъ, просовывалъ съ необыкновенной гибкостью голову между ногъ и въ такомъ неестественномъ положеніи показывалъ языкъ своимъ товарищамъ, — до тѣхъ доръ, пока однажды это не увидѣлъ надзиратель и не наказалъ его. Онъ былъ вспыльчивъ, по всякому поводу лѣзъ въ драку съ кѣмъ угодно и ходилъ съ крупными синяками на физиономіи, — но никогда не вралъ и быстро успокаивался, когда ему объясняли его ошибку. Его разсудокъ не поспѣвалъ за его

бурными чувствами; но когда это оказывалось необходимо, Николай все понималъ быстро и вѣрно, и если хотѣлъ учиться, то учился хорошо. Младшаго брата онъ очень любилъ и считалъ, что замѣняетъ ему отца, такъ какъ отецъ Рогачевъ давно не жилъ со своей женой и ограничивался тѣмъ, что посылалъ ей изрѣдка деньги, — каждый разъ очень большія, это бывало обычно послѣ крупнаго выигрыша, — и потомъ не давалъ о себѣ знать въ теченіе долгаго времени. Чаше всего долгое его молчаніе совпадало съ тѣмъ, что въ домъ Рогачевыхъ приходила какая-нибудь дама съ заплаканнымъ лицомъ и почему-то непремѣнно съ черной вуалью и жаловалась матери «этого хулигана», какъ всѣ официально называли Николая, — такъ и въ гимназіи о немъ говорили товарищи: «Колька-хулиганъ»; только на товарищѣ онъ не обижался, успѣвъ за нѣсколько лѣтъ передратъся и помириться со всѣми своими одноклассниками, а взрослымъ говорилъ дерзости, что приводило въ ужасъ его мать, — итакъ, дама приходила жаловаться на отца Рогачева, который ее обманулъ и бросилъ: и мать Рогачева плакала въ такіе дни, вспоминая своего невѣрнаго мужа, самаго очаровательнаго и умнаго, и въ то же время самаго ненадежнаго человѣка, котораго она знала, несправимаго Донъ-Жуана и картежника, не разъ проигрывавшаго и выигрывавшаго цѣлыя состоянія, посѣтителя безчисленныхъ клубовъ, бильярдныхъ, ресторановъ, всегда одѣтаго въ самый модный костюмъ, улыбающагося, остроумнаго и не вѣрящаго ни во что на свѣтѣ, «кромѣ козырнаго туза и женской пріятности», какъ кто-то сказалъ о немъ.

Но насколько самъ Рогачевъ былъ неточенъ и небреженъ въ своихъ обязательствахъ, настолько его сынъ, этотъ самый Колька-хулиганъ, былъ безупреченъ въ роли второго отца для своего младшаго брата. Въ послѣдніе годы у матери братьевъ Рогачевыхъ очень ослабло — отъ какой-то глазной болѣзни — зрѣніе, она стала почти безпомощна; и Николай, только что кончившій гимназію,

стать главой дома — велъ всѣ расходы, посылалъ кухарку за провизіей, входилъ во всѣ подробности хозяйства и дѣлалъ это, ко всеобщему удивленію, быстро и толково; денегъ стало уходить меньше, а жить стали лучше. Потомъ, когда однажды мать привезли домой умирающей — она, воспользовавшись тѣмъ, что никого не было, вышла на улицу и попала подъ трамвай и черезъ нѣскольکو часовъ скончалась, — она, умирая въ сознаніи, сказала, глядя жесткіе, курчавые волосы Николая, стоявшаго на колѣняхъ передъ ея кроватью, — я знаю, мой мальчикъ (слезы все лились, не останавливаясь, по крѣпкому лицу Николая), что ты позаботишься о Володѣ, ты не сердись, что я тебя хулиганомъ называла, я знала всегда, что ты самый лучший, Богъ мнѣ далъ хорошаго сына. Николай только кивалъ головой и плакалъ и все просилъ — мама, не уходи, мама, не уходи, — и сильное тѣло его дрожало мелкой дрожью, пока, наконецъ, мать не умерла, и Николай всю ночь, не двигаясь, просидѣлъ у ея холоднаго и искалѣченнаго трупa.

Послѣ ея смерти, приведя въ порядокъ дѣла, Николай продалъ небольшою домъ, въ которомъ они жили, и которъ имъ принадлежалъ; опекунъ его, благодушный нотаріусъ съ висячими сѣдыми усами, ни во что не вѣшивался, и на эти деньги братья продолжали жить такъ же, какъ жили раньше, и Володя по-прежнему ходилъ въ гимназію. Николай давалъ уроки; потомъ засѣлъ за изученіе иностранныхъ языковъ и обнаружилъ необыкновенныя къ нимъ способности. Когда волна гражданской войны достигла до ихъ города, Николай, не имѣвшій права, по его мнѣнію, рисковать своей жизнью, поступилъ въ штабъ британской миссіи. Въ началѣ тысяча девятьсотъ двадцатаго года, онъ уѣхалъ за границу, поселился вмѣстѣ съ братомъ въ Константинополь и тутъ съ нимъ случилась неожиданная вещь, когда онъ единственный разъ въ жизни забылъ о своихъ обязательствахъ по отношенію къ Володѣ, которому было тогда уже шестнадцать лѣтъ. Онъ

встрѣтилъ англичанку, дѣвушку двадцати лѣтъ, въ вершай же вечеръ въ нее влюбился и сразу сдѣлалъ ей предложеніе, которое такъ ее поразило, что она даже не отвѣтила категорическимъ отказомъ. Она жила въ Буюкы-Дере. Николай уѣхалъ туда и три дня не возвращался домой и въ течение всѣхъ этихъ дней, за обѣдомъ, за завтракомъ; вечеромъ, во время прогулки угощивалъ Вирджинію, — ее звали Вирджинію, — въ томъ, что не выходить замужъ было бы величайшей безмысленностью съ ея стороны; что онъ готовъ для нея на все, что угодно, но если счастье само пришло къ нему, то онъ просто не имѣетъ моральнаго права его выпустить; однимъ словомъ, она должна выйти за него замужъ. — Но я здѣсь одна, необходимо, чтобы мои родители знали хотя бы... — Мы протелеграфируемъ, — сказала Николай. — Боже мой, такія вещи не дѣлаются по телеграфу, — почти съ отчаяніемъ отвѣтила она. Но Николай уже шелъ къ почтовой конторѣ, поднимался наверхъ по горѣ со своей всегдашней быстротой, она не успѣвала за нимъ; тогда онъ легко поднялъ ее, посадилъ на плечо, — она отбивалась и кричала, что онъ сошелъ съ ума, — и добѣжалъ до почты; оттуда они вдвоемъ отправили длинную, очень дорогую и очень безтолковую телеграмму въ Лондонъ. На следующий день Николай вернулся въ Константинополь, явился домой и засталъ Володю за чтеніемъ романовъ Уэлса. — Ну, слава Богу, — насмѣшливо сказала ему Володя, — а я думалъ, что ты заблудился въ городѣ. — Нѣтъ, а вотъ Вирджинія, — сказала Николай по-русски, беря за руку Вирджинію. Володя поднялся, поздоровался и сталъ говорить, что онъ очень счастливъ. — Ты совсѣмъ заврался, — сказалъ Николай, — счастливъ это я, а не ты.

Вирджинія должна была ѣхать въ Англию, Николай поѣхалъ вмѣстѣ съ ней, оставивъ брата въ Константинополь и сказалъ ему, чтобы онъ ни о чемъ не беспокоился. Съ тѣхъ поръ онъ аккуратно, каждыя двѣ недѣли, присылалъ Володѣ письмо и каждый мѣсяць — деньги. Изъ писемъ

Володя зналъ, что Николай занялся продажей автомобилей, — мѣсто, которое ему устроилъ отецъ Вирджини; года черезъ три онъ переѣхалъ въ Парижъ съ женой. Прошло пять лѣтъ, Володя за это время кончилъ французскій лицей въ Константинополѣ, побывалъ въ Прагѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, затѣмъ снова вернулся въ Турцію, гдѣ прожилъ полгода, и, наконецъ, собрался въ Парижъ къ брату и предполагалъ здѣсь уже обосноваться надолго.

Николай, между тѣмъ, бѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ, крича брату, — направо не сворачивай, Вирджинія еще не одѣта! — потомъ провелъ его въ столовую, показалъ, гдѣ находится ванная и сказалъ, что ровно въ десять они пьютъ чай.

Володя принялъ ванну, побрился, надѣлъ новый костюмъ, причесался и вышелъ въ столовую, когда Николай и его жена уже сидѣли за столомъ. — Какой франтъ! — сказалъ Николай. Насмѣшливые глаза Вирджини осмотрѣли Володю съ ногъ до головы. — Очень хорошо, — сказала она, — а галстукъ вы тоже покупали въ Стамбулѣ? — *Oui, madame.* — полупочтительно, полунасмѣшливо отвѣтилъ Володя, — А почему вы это спрашиваете? — Не знаю, въ немъ есть что-то восточное, — и Вирджинія и Николай, не сговариваясь, расхохотались. — Я вижу, — язвительно сказалъ Володя, — что васъ разсмѣшить очень нетрудно. Николай просто захлебывался отъ смѣха, Вирджинія смѣялась нѣсколько тише, но такъ же весело и искренно; и по одному этому смѣху было видно, что оба они очень здоровы, молоды и счастливы. — Ты не обижайся, Володя, — сказалъ Николай, — она у меня немного насмѣшливая, но очень хорошая. Но постой, — перебилъ онъ себя, прислушиваясь, — кажется, ѣдетъ бабашня. Володя только тогда вспомнилъ, что Николай ему писалъ о своей дочери, которой былъ годъ. Дѣйствительно, черезъ секунду горничная ввезла въ комнату коляску, въ которой лежала пухлая дѣвочка съ синими, удивленными глазами.

Послѣ чая, когда Вирджинія ушла, братья остались сидѣть за столомъ.

- Итакъ, Володя? — сказала Николай.

Итакъ, посмотримъ, что въ Парижѣ.

- Я подумалъ объ этомъ. Ты не забылъ нѣмецкій?

- Нѣтъ, помню.

- Англійскій?

Хуже, но знаю.

- Хорошо, о французскомъ говорить не приходится.

- Знаешь, Коля, — сказалъ Володя, вытягиваясь на стулѣ, — знаешь, у меня иногда впечатаніе, что я не русскій, а такъ, чортъ знаетъ что. Страшно сказать, вѣдь я даже по-турецки говорю, а потомъ вся эта смѣсь, — французскій, англійскій, нѣмецкій, — и вотъ когда отъ всего этого тошно становится, я всегда вспоминаю русскія нецензурныя слова, которымъ мы научились въ гимназій и которыми разговаривали съ женщинами Баннаго переулка. Это, братъ, и есть самое національное — никакой французъ неспособенъ понять.

- Да, языкъ у насъ хорошій, грѣхъ жаловаться, — сказала Николай, улыбаясь. — Но я все о дѣлѣ. Какіе у тебя проекты?

— Чортъ его знаетъ. Буду искать какую-нибудь работу.

— Ну вотъ, ну вотъ, — хмурясь, сказалъ Николай, — ты всегда былъ идиотомъ. А между тѣмъ, у меня для тебя есть мѣсто. Николай придвинулся къ столу. — Я веду переписку на разныхъ языкахъ. Пришлось снять бюро и такъ далѣе. У меня этимъ завѣдуетъ человекъ полезный и старательный, но изъ-за каждаго пустяка онъ звонитъ мнѣ по телефону, а у Вирджиніи голова болитъ. Я противъ него ничего не имѣю, — оживленно говорилъ Николай, точно Володя съ нимъ спорилъ, — пусть работаетъ. Но тебя я поставлю въ качествѣ отвѣтственнаго руководителя. Поработаешь недѣлю, поймешь, дѣло нехитрое. О жалованьи мы съ тобой условимся; авось, не подеремся.

— Ça dépend.

— Ну, хорошо. Сейчас я уѣзжаю; Вирджинія отвезетъ тебя въ бюро, потомъ заѣдетъ за тобой въ пять часовъ. А вечеромъ мы съ тобой заьемся Ну, хорошо, бѣгу.

И черезъ секунду Николая уже не было въ комнатѣ, а черезъ пять минутъ хлопнула выходная дверь. Володя все сидѣлъ, не двигаясь, на стулѣ. Вошла Вирджинія въ маленькой кремовой шляпѣ, въ юбкѣ кремоваго цвѣта, въ синемъ, почти мужскомъ пиджакѣ. — Ну, молодой человекъ, сказала она, — ѣдемъ. Николай просилъ васъ отвезти въ бюро. Я въ вашемъ распоряженіи.

Они спустились внизъ, Вирджинія сѣла за руль автомобиля, небольшого Buick и сразу, мягко и быстро поѣхала внизъ по улицѣ, нажимая на акселераторъ и чуть-чуть не задѣвая встрѣчныя машины. Черезъ минуту автомобиль мчался почти полнымъ ходомъ, на каждомъ углу чудомъ, какъ казалось Володѣ, избѣгая столкновенія, прохожіе оборачивались, полицейскіе неодобрительно смотрѣли вслѣдъ. Все такъ же, почти не уменьшая хода, Вирджинія выѣхала на площадь Этуаль. Длинное и широкое авеню Елисейскихъ полей показалось, какъ во снѣ, навстрѣчу автомобилю, — и тогда, наконецъ, Володя сказалъ:

— Я теперь понимаю, Вирджинія, почему вы вышли замужъ за моего брата.

— А?

— Да. Вы такая же сумасшедшая, какъ онъ.

Вирджинія улыбнулась и сразу замедлила ходъ. Потомъ ея лицо стало серьезнымъ и она, тихо въ раздумьи, проговорила:

— Я васъ почти не знаю, я васъ помню мальчикомъ въ Стамбулѣ. Но я думаю, что вы не стоите вашего брата. Я его люблю, — прибавила она простаго, точно объясненія этой фразой все рѣшительно.

— Я тоже, -- тихо сказала Володя, — я очень люблю Николая.

-- Я не знаю, какъ вамъ объяснить, — продолжала Вирджинія. Онъ мужчина, понимаете? Вотъ, если будетъ кораблекрушеніе, онъ пропуститъ всѣхъ женщинъ и дѣтей и потомъ утонетъ. И у него очень сильная воля. Я вѣдь не сразу его полюбила онъ заставилъ меня выйти за него замужъ. Но потомъ я его узнала. И теперь, — Вирджинія на секунду остановилась. — если бы онъ умеръ, я бы тоже умерла.

Володѣ было немного странно слушать признанія Вирджиніи. Въ его представленіи Николай никакъ не вязался со всѣмъ, что говорила Вирджинія, не потому, что это было невѣрно, а потому, что Володя думалъ о немъ со всѣмъ по иному: этого былъ все тотъ же, почти не измѣнившійся Колька-хулиганъ, драгуиъ и любимецъ матери. Володя вспомнилъ почему-то, какъ мать однажды дѣлала строгій выговоръ Колѣ, — ему было лѣтъ двѣнадцать, а Володѣ шесть, — и сказала, что ей стыдно имѣть такого сына, — и поставила его въ уголъ. Онъ постоялъ минутъ десять, потомъ вдругъ подбѣжалъ къ матери и уткнулъ голову въ ея колѣни. — Что тебѣ? — Мама, — сказала Николай, — я понимаю, что тебѣ стыдно. Но скажи мнѣ правду: ты меня все-таки любишь? — Глупый мальчишкѣ, -- сказала мать, — да, ты очень скверный, я знаю, но вѣдь Ступай. И Николай убѣжалъ.

Бюро было большое, прохладное, съ кожаными креслами; на стѣнахъ висѣли плакаты вертикальных и горизонтальныхъ разрѣзовъ всевозможныхъ автомобилей, фотографій сложнахъ машинъ съ гигантскими зубчатыми колесами, за столикомъ сидѣла дѣвушка фотографистка съ краснымъ, но девичьию неподвижнымъ лицомъ и чернымъ негосподе-стигономъ на лбу, необыкновенно почему-то щемлящимъ Вирджинію даже не подвигаясь въ контору, которая находилась на второмъ этажѣ, и сказала, что

вернется къ пяти часамъ. Володю встрѣтилъ тотъ самый старательный французъ, о которомъ говорилъ Николай, человекъ средняго роста, совершенно безличный; и даже голосъ у него былъ такой, что Вирджинія о немъ сказала:

— Всякій разъ, когда мнѣ въ телефонъ отвѣчаетъ автоматъ: *votre correspondant a changé le numero, veuillez consulter le nouvel annuaire*, мнѣ кажется, что я узнаю его голосъ и мнѣ хочется сказать: *bonjour, Monsieur Dumat, comment allez vous?*

Онъ былъ убѣжденъ въ необычайной важности своей работы и въ ея чрезвычайной сложности. Почтительно и любезно улыбаясь, онъ долго излагалъ Володѣ самыя простыя вещи и о каждой изъ нихъ говорилъ съ увлеченіемъ и особенно торжественнымъ языкомъ, точно все это происходило въ академіи, а не въ конторѣ.

— Видите-ли, м'сье, эти dossye распределены по номерамъ. Что такое классификація? — Володя посмотрѣлъ на него съ любопытствомъ. — Классификація, — продолжалъ M. Dumat, — *veuillez consulter le nouvel annuaire*, — вдругъ послышалось Володѣ, — классификація, въ сущности, это такая система распределенія dossye, при которой вы сразу находите имя кліента, какъ только въ немъ появилась необходимость. Замѣьте, м'сье: какъ только появилась необходимость. — Володя черезъ полчаса убѣдился, что все было чрезвычайно несложно. Онъ однако не сказалъ этого M. Dumat.

Въ часъ дня онъ спустился внизъ и пообѣдалъ въ сѣдномъ ресторанѣ. Въ пять -- съ неженской точностью — наверхъ поднялась Вирджинія. — Бѣдный мальчикъ усталъ? — съ насмѣшливымъ участіемъ спросила она. Володя ограничился вздохомъ и они поѣхали домой. Николай еще не было, Володя прилегъ на диванъ въ своей комнатѣ и сразу такъ крѣпко заснулъ, что проснулся только въ восемь часовъ оттого, что его за плечо потрясъ Николай, звавшій его ужинать. — Сначала ужинать, потомъ кататься, потомъ на Монмартръ, — сказалъ Нико-

лай. — Репликъ не нужно. — Я уже Вирджиніи сказала, что вы оба сумасшедшіе. — Да, да, — согласился Николай. — Не будемъ спорить. На ужинъ, между прочимъ, фаршированная утка.

Послѣ ужина Володя спустился по лѣстницѣ послѣднимъ, Вирджинія и Николай шли впереди. Вечерь былъ очень теплый, автомобиль тускло сверкалъ у подъѣзда. — А кто теперь будетъ править? — спросилъ Володя. — Николай не позволяетъ мнѣ сидѣть за рулемъ, когда онъ ѣздитъ со мной, — отвѣтила Вирджинія. — Я его понимаю, я бы тоже не позволилъ. — Вы любите неторопливую ѣзду, *vous serez bien servi*, — сказала Вирджинія. Николай бережно усадилъ ее, раскрывъ дверцу передъ Володей: — желаете-съ прокатиться, Владиміръ Николаевичъ? — сѣлъ, наконецъ, самъ и автомобиль медленно и плавно двинулся по блестящему асфальту. Володя откинулся назадъ; Николай обернулся, потомъ посмотрѣлъ смѣющимися глазами на Вирджинію и автомобиль вдругъ понесся съ чудовищной, какъ показалось Володѣ, скоростью какъ ни быстро ѣздила Вирджинія, Николай ѣздилъ еще въ два раза быстрѣе. — Ты съ ума сошелъ? — закричалъ по-русски Володя. Улыбающееся лицо Вирджиніи обернулось и тотчасъ же исчезло, смѣстившись вправо и на его мѣстѣ возникло мгновенно выросшее и пропавшее дерево. Николай въѣхалъ въ лѣсъ. Не замедляя хода, онъ пролетѣлъ по широкой аллеѣ, свернулъ вглубь лѣса, поднялся на гору и подъ сплошнымъ, влажно-прохладнымъ и темнымъ сводомъ деревьевъ, освѣщая путь ослѣпительными свѣтовыми ручьями фонарей, онъ ѣхалъ все дальше и дальше и прошло всего нѣсколько минутъ, когда онъ сказалъ Володѣ: — въѣжаемъ въ Версаль, тотъ самый, съ карпами времянь Людовика XIV-го.

Въ этотъ вечеръ, проѣзжая черезъ Елисейскія Поля и большіе бульвары, поднимаясь по узкимъ и кривымъ, пахнущимъ кошками, улицамъ верхняго Монмартра до кабаре «*Lapin agile*», Володя видѣлъ Парижъ такимъ, ка-

кимъ потомъ никогда уже не могъ увидѣть. Эти все время движущіеся въ невѣдомыхъ направленіяхъ огни, безконечно смѣщающіяся свѣтовья сферы фонарей и это ни на секунду непрекращающееся движеніе, точно ритмъ сказочнаго, огромнаго и сверкающаго міра, возникшаго въ чѣмъ-то блистательномъ воображеніи, и чудесно расширяющаго сейчасъ здѣсь, передъ его глазами подъ вырывающимися яркими музыкальными флагами изъ открытыхъ, зеркально-громадныхъ витринъ кафе, уносимыми тотчасъ-же легкимъ, парижскимъ вѣтромъ, и неповторимо тающей, какъ ежеминутно мѣняющееся воспоминаніе, воздухъ. Много разъ потомъ, проходя или проѣзжая мимо этихъ мѣстъ, по этимъ же бульварамъ, въ такіе же вечера ранней осени, Володя тщетно пытался воскресить и возсоздать это впечатлѣніе, но оно было невозвратно, какъ прошедшій и исчезающій годъ. Въ «Larin agile» некрасивая, но чѣмъ-то чрезвычайно привлекательная женщина пѣла Беранже:

Oh, que je regrette
Le bras d'ôdu,
La jambe bien faite
Et le temps perdu...

и пѣсенку — «Un peu de tes yeux», потомъ были поздній, разсвѣтный Монпарнассъ и мутные Halles, и домой Володя ѣхалъ почти засыная.

На слѣдующій день было воскресенье контора Николая была закрыта и сразу послѣ завтрака Володя ушелъ къ себѣ, — надо кое о чемъ подумать, — иди, фантазируй, — иду.

И опять — диванъ, папироса, далекая и слегка головокружительная мечта о незнакомой женщинѣ, — даже не мечта, а чувство, даже не чувство, а предчувствіе, — говорилъ себѣ Володя, — и опять, все, что было, исчезаетъ, уходитъ, ушло, а есть только маленькій шмъ отъ

наприсосы и смущающіе звуки въ странной и сверкающей дали. Не можетъ быть, чтобы этого не было, я этого еще не знаю. Сколько онъ ни воспоминалъ, ни въ чемъ и никогда онъ не находилъ оправдавшихся ожиданій, онъ не знаетъ ни одной «незнакомой женщины», все всегда было такъ похоже: тѣ же запахи и тотъ же мутный, солоноватый вкусъ на распухшихъ и всегда чужихъ губахъ. — Такъ жилъ мой отецъ, — думалъ Володя, — но онъ, навѣрное, знаетъ что-то другое; и не козырный же тузь быть этимъ другимъ. Нѣтъ, это все-таки, навѣрное, есть. Найдешь, погорячешь и все потому ищешь хотя бы обманчиваго воспоминанія; и не находишь много времени, какъ я, и все ждешь, какъ влюбленный на свиданіи: давно уже прошла назначенная часть, давно наступила ночь, и ея все нѣтъ и она уже больше не придетъ, а ты стоишь на томъ же мѣстѣ: идетъ дождь и рядомъ съ тобой мокнетъ дерево и памятникъ со статуей; ночь все дальше и глубже — и вотъ, въ тишинѣ идешь одинъ домой.

.....

— Ты, навѣрное, окончательно разфантажировался? — сказалъ Николай, постучавъ въ дверь и войдя со своей всегдашней стремительностью. А дымъ какой, прямо точно въ кузницу! Вдѣнь со мной, посмотримъ Парижъ, тутъ тебѣ, братъ, не Галата.

Ты считаешь, что это необходимо? Я хотѣлъ еще подумать немного; мнѣ только одну вещь новѣтъ осталось — и тогда все хорошо.

Одну вещь? Самую главную, да?

— Да

— Все равно не поймешь. — убѣждено сказалъ Николай Голова Вирджинія поднявшейся на цыпочкахъ, посмотрѣвъ на Володю изъ-за плеча Николая.

— Почему?

Потому что нежизненные этого не понимаютъ.

— C'est stupide, — сказала Вирджинія. Оба брата въ одинъ голосъ спросили:

— Qu'est ce que c'est qui est stupide?

— Le russe. C'est une langue de sauvages.

— Вирджинія, стань въ уголъ за дерзость, — сказалъ Николай.

— Votre ignorance m'écrase, madame, — сказалъ Володя. — Ну, хорошо, ъдемъ осматривать Парижъ.

Но едва они выѣхали, начался сильный дождь, и они прервали прогулку и просидѣли до вечера въ маленькомъ кафе на бульварѣ Saint-Germain, гдѣ, по словамъ Николая, бывали всѣ знаменитые люди; но только въ этотъ день никто изъ нихъ не пришелъ и, вернувшись домой, Володя сказалъ брату:

— Да, совѣсть у меня чиста: теперь я знаю о Парижѣ ровно столько, сколько зналъ до того, какъ ты мнѣ его показалъ.

— Вы играете въ теннисъ, Володя?

— Я играю въ теннисъ, Вирджинія.

На теннисную площадку они пошли пѣшкомъ, было очень недалеко. Николай, задержавшійся въ городѣ, долженъ былъ придти позже. Володя повертѣлъ ракетой въ воздухъ. — не забылъ ли, какъ играютъ, — сдѣлалъ нѣсколько пробныхъ ударовъ, потомъ нахмурился и проигралъ партію Вирджиніи. Игралъ онъ чрезвычайно плохо, что дало поводъ Вирджиніи къ новымъ насмѣшкамъ. — Я проигралъ изъ вѣжливости, -- пожавъ плечами, сказалъ Володя, — не могу же я выиграть у дамы, это было бы не по джентльменски — Хорошо, — отвѣтила Вирджинія, — я дамъ вамъ возможность выиграть у мужчины. Подождите.

Она ушла и быстро вернулась. Вслѣдъ за ней легкой и гибкой походкой, странно не соответствующей высокому

росту, очень широкимъ плечамъ и тяжелой, могучей фигурѣ шель какой-то блѣдный человѣкъ. — Артуръ, — сказала ему Вирджинія, — вотъ этотъ молодой человѣкъ, о которомъ я вамъ говорила. Артуръ поклонился, Вирджинія представила ихъ другъ другу, Володя разслушалъ фамилію — Томсонъ. Разговоръ происходилъ по-французски, Томсонъ говорилъ съ почти незамѣтнымъ англійскимъ акцентомъ. Едва только партія началась, Володя понялъ, что выиграть у Артура невозможно. Казалось, что послѣ перваго же *service'a* Володи, Артуръ потерялъ весь свой вѣсъ, передвигаясь по корту съ легкостью почти невѣроятной для своего роста и ширины. Онъ оказывался нездѣ, онъ занималъ, казалось, все пространство, каждый мячъ Володи неизмѣнно встрѣчалъ его ракету и потомъ возвращался, наперекоръ вѣсьмъ законамъ физики въ такое мѣсто, гдѣ его Володи никакъ не могъ ожидать. И черезъ четверть часа игры Володя поднялъ вверхъ обѣ руки и заявилъ, что сдается. Артуръ, улыбаясь, подошелъ къ нему и къ величайшему удивленію Володи, сказалъ на чистомъ русскомъ языкѣ:

— Вамъ прежде всего не хватаетъ тренировки.

— Вы русский?

— Нѣтъ, англичанинъ.

Промадныя электрическія лампы освѣщали красный песокъ площадки, въ открытыхъ высокихъ окнахъ проѣзжали автомобили. Володя посмотрѣлъ на своего побѣдителя и еще разъ удивился впечатлѣнію необыкновенной физической силы, которое производила вся фигура Томсона. Нѣсколько растерянно улыбаясь, какъ атлетъ, котораго разсматриваютъ въ циркѣ, Томсонъ разбѣжно смотрѣлъ прямо передъ собой. Володю при этомъ, второмъ, болѣе внимательномъ осмотрѣ удивить неожиданный налетъ печали на лицѣ Артура и грустные его глаза; можно было подумать что этотъ геркулесъ либо боленъ какой-нибудь болѣзнію, либо чѣмъ-то разъ навсегда огорченъ.

Но гдѣ же вы научились русскому языку?

— Въ Россіи, я жилъ тамъ нѣкоторое время

— Поразительно! - пробормотала Володя

Дверь быстро распахнулась: наклонивъ голову, крѣпко сжимая ракету въ волосатой рукѣ, вопиеть Николай. Вирджинія въ это время разговаривала съ высокой женщиной, которая стояла спиной къ Володѣ, Володя видѣлъ только ея смуглую, бѣстѣящую кожу съ неглубокой и ровной выемкой, начинавшейся между тонкими и спускавшейся внизъ. Николай подошелъ къ Вирджиніи сзади и темною приподнял ее, - она повернула къ нему удивленное и потомъ сразу унынувшееся лицо. - заглянь пожалъ руку дамы, слына ея шевельнулась, у Володи тревожно дрогнуло тѣло, — и подходя къ Артуру, с легка толкнувъ его кулакомъ въ грудь: Артуръ отступилъ на шагъ и протянулъ руку.

- Реванишъ, Артуръ, — сказала Николай своимъ рѣшительнымъ голосомъ. — Вы думаете, я всегда буду проигрывать? Вирджинія! — закончала онъ. — Артуръ играетъ и проигрываетъ

Дама, разговаривавшая съ Вирджишею, повернулась и Володя увидѣлъ ея лицо съ длинными, оживленными глазами, полными губами большого рта и нѣсколькими веснушками на носу, которая вдругъ придавала милый характеръ всему ея выраженію. Она была очень молода, ей было не больше двадцати двухъ, двадцати трехъ лѣтъ.

- Артуръ не можетъ проиграть. — сказала Вирджинія, подходя къ группѣ, состоявшей изъ Артура, Николая и Володи. — Эда, вы не знакомы съ братомъ моего мужа?

Володя пожалъ ея мягкую руку съ длинными пальцами; и приблизившись, почувствовать легкой, чуть слышимый запахъ, и въ этомъ запахѣ неожиданно онъ почувствовалъ привычный и незнакомый привкусъ чего-то горькаго, какъ миндаля, и ни на что не похожаго.

J'ai mal entendu votre nom, mademoiselle, сказала онъ

- Меня зовутъ Мэри Николаевна,

А? удивленно сказала Володя - Впрочемъ, тѣмъ лучше, конечно

Николай рѣшилъ выиграть во что бы то ни стало. Онъ бытъ такъ же неутомимъ, какъ Артуръ, такъ же быстръ въ движеніяхъ, и, толкаясь на бѣлоснѣжныхъ теннисныхъ перьяхъ, Володя повиль вдруть все свое глубочайшее теннисноеничество. Партия шла очень ровно, капли пота сверкали на тѣхъ Николая, подъ курчавыми волосами, одинъ разъ Артуръ, стремительно отбѣгая влѣбъ корта, поскользнулся и упалъ, но тотчасъ же повернулся въ воздухъ, коснулся земли выгнутой рукой и вскопчалъ, какъ подброшенной пружиной. Артуръ заралъ молча, Николай изрѣдка бурчалъ - дивель! здорово! чортъ! Вирджинія, не отрываясь, смотрѣла на Николая, все время держа за руку Володю и точно безмолвно участвовала въ матчѣ. Артуръ увидѣлъ ее отчаянное лицо и Володя замѣтитъ, какъ онъ унабился. И вдругъ Артуръ потерялъ свою точность ударовъ; это продолжалось очень недолго, но въ рѣшительную фазу борьбы - и Артуръ проигралъ матчъ, изъ-за нѣсколькихъ ошибокъ и нѣсколькихъ минутъ замедленія темпа. Николай выигралъ. - Ты у меня самый лучший, - подуласмвплнво - подулжно сказала Вирджинія

- Кто они такіе? спрашивать Володя брата, возвращаясь домой. Николай шелъ подѣ руку съ Вирджиніей, стараясь дѣлать такіе же маленькіе шаги, какъ она и поспешно сбиваясь. Кто такіе? Артуръ, кажется, музыкальный критикъ; а вообще милѣйшій человекъ на свѣтѣ, англичанинъ, хорошо знаетъ русскій. - Это я замѣнилъ. Ты у насъ, Володя, вообще очень умный. - Хорошо, что ты барышня? Что барышня? Ну, кто она такая? Она? она, кажется, учится въ университетѣ. - Ну, братъ, отъ тебя только, я вижу, немного. - Что я,

сыское бюро, что-ли? Вотъ ты меня спроси о Вирджини, я тебѣ все расскажу. Я тебѣ даже расскажу, какъ она завѣщаніе писала. — Это правда, Вирджинія, вы писали завѣщаніе? Вирджинія густо покраснѣла и засмѣялась.

И Николай рассказалъ Володѣ, что въ послѣдніе мѣсяцы беременности Вирджинія начала бояться, что она умретъ отъ родовъ, причемъ боязнъ ея была основана на двухъ вещахъ: во-первыхъ, у нея было предчувствіе, во-вторыхъ, она видѣла во снѣ «Звѣздочку». Звѣздочка была ея любимая лошадь, на которой она училась ѣздить верхомъ, когда ей было лѣтъ десять. Звѣздочка умерла незадолго до отъѣзда Вирджини въ то роковое, какъ сказала Николай, путешествіе, изъ котораго она вернулась уже дамой. Звѣздочка приснилась Вирджини за два мѣсяца до родовъ; она стояла у нашего подъѣзда на rue Boissière и ржала такъ жалобно, что Вирджинія проснулась въ слезахъ. Послѣ этого Вирджинія рѣшила, что она умретъ и составила у нотариуса завѣщаніе: она оставляла все свое имущество, въ частности то, которое должно было перейти къ ней отъ отца, мужу и дочери; она была убѣждена, что родится дѣвочка, — съ тѣмъ чтобы дѣвочку воспитывали бы самымъ лучшимъ образомъ и никогда не наказывали. Потомъ Вирджинія призналась Николаю, что она написала завѣщаніе, — ея дочери было тогда уже полгода; и Николай отправился къ нотариусу и взялъ завѣщаніе.

— Оно лежитъ у меня теперь въ письменномъ столѣ, — сказалъ Николай. — Ну, и совершенно ясно, что судьба была противъ меня. Конечно, Вирджинія бы умерла, дѣвочку я бы отдалъ въ пріютъ или еще лучше, продалъ бы цыганамъ, а самъ бы велъ развратный образъ жизни, предаваясь всякимъ порокамъ и постепенно опускаясь. Вотъ какая у меня была программа. Но Вирджинія все спутала.

И вдругъ Николай — они подходили уже къ rue Boissière — поднялъ Вирджинію въ воздухъ, какъ ребенка, и, приблизивъ къ себѣ ея лицо, сказалъ:

- Какая ты глухая, Вирджини! Я бы не далъ тебѣ умереть, ты понимаешь? Я тебя не отдалъ бы смерти.

Ложась въ постель, Володя думалъ о Николаѣ и Вирджини, - - какое удивительное счастье, какая удачная судьба. «Колька-хулиганъ», - нѣтъ, недаромъ его такъ любила мать. Володя сталъ засыпать и все плыло, шумя и переливаясь обрывками музыки передъ нимъ: Вирджини, плечи и губы Аглаи Николаевны, косматая рука Николая, громадная фигура Томсона, Звѣздочка, — и еще далекой, тающей, какъ дымъ, горьковатый запахъ, исходившій отъ тѣла Аглаи Николаевны, и отъ ея губъ и глазъ, которые все вытягивались, вытягивались и превратились въ узенькій ручей на зеленой травѣ, свѣтлый ручей, который онъ гдѣ-то давно видѣлъ. И тогда появилась стая бѣлыхъ птицъ, двѣ черточки крыльевъ въ черномъ бархатномъ воздухѣ южной ночи: безшумный ихъ полетъ и все летятъ одна за другой, одна за другой, безъ конца, какъ снѣгъ, — и вдругъ острый и страшный крикъ прорѣзаетъ испуганный, вздрогнувшій воздухъ и опять тихо и все летятъ и летятъ бѣлыя птицы. Ночь плыветъ тяжело и душно, крылья летятъ, какъ безчисленные паруса, -- и вотъ поворотъ неизвѣстной, черной дороги и за поворотомъ далеко видна блестящая даль, какъ внутренность гигантскаго стального туннеля. — Опять неизвѣстно, -- сказалъ чей-то голосъ рядомъ съ Володей. -- Опять сначала, - - подумалъ Володя, птицы стали летѣть медленнѣе, таяли въ воздухъ, бархатная тишина влажно шевелилась во тьмѣ, какъ на берегу моря; и Володѣ послышался тихій шумъ неторопливаго прибоя въ лѣтнюю южную ночь и запахъ водоростей; длинныя, зеленныя, онѣ приближались къ берегу и лѣнливо полоскались въ наступающей водѣ и, когда волны откатывались назадъ, легкій вѣтеръ доносилъ до Володи ихъ увядающій запахъ. Володя втянулъ въ себя воздухъ, стараясь отчетливѣе вспомнить ихъ исчезающую, пахучую тѣнь — и внезапно почувствовалъ, - - до того сильно, что открылъ глаза и при-

поднялся на локтѣ, — то горьковатое, почти миндальное, что, поколебавшись секунду въ воздухѣ Володиной комнаты, вдругъ стало плечами и ртомъ Аглаи Николаевны.

Онъ встрѣтилъ ее на улицѣ черезъ полторы педѣли, было уже холодно; его почему-то удивило, какъ она хорошо одѣта. Онъ подошелъ и поздоровался. Проѣзжали автомобили по почти пустынному, внезапно ставшему особенно осеннимъ авеню Клеберъ, вѣтеръ трепалъ отстающій плакатъ на грязно-желтомъ деревянномъ заборѣ, окружавшемъ начатую постройку.

— Здравствуйте, — сказала она, протягивая руку. Онъ взялъ ее пальцы, почувствовавъ ихъ тепло сквозь перчатку, взглянулъ на раздвинувшіяся въ медленной улыбкѣ губы и почувствовалъ, что ему жарко въ застегнутомъ пальто.

— Вы куда? — спросилъ онъ; онъ очень волновался; онъ предложилъ проводить ее, узнавъ, что она идетъ домой. Былъ воскресный и пустой день, въ которомъ до сихъ поръ ему было такъ непріятно просторно и въ которомъ сейчасъ ему стало свободно и хорошо. — Какой воздухъ, точно пьешь холодную воду, неправда-ли? — Нѣсколько свѣжо, — сказала она. — Тамъ, эта площадь, это, кажется, Трокадеро? — Да. Здѣсь хорошо, въ этомъ районѣ, правда? — Какъ поразительно, что ся губы двигаются, — думалъ Володя. — Да, здѣсь свободно, широкія улицы, какъ въ Россіи — Я Россію знаю плохо, голосъ ея точно удалился и вновь приблизился — Я чаще всего жила заграницей и довольно много въ Парижѣ. Вы вѣдь не парижанинъ? — Нѣтъ, я здѣсь недавно, но навѣрное надолго. — Вы свободны по вечерамъ? — Да, конечно. Какъ поразительно, что я все встрѣтила, какая необыкновенная случайность. — Нѣтъ, что же удивительнаго? Мы живемъ въ одномъ кварталѣ, — это какъ въ провинціальномъ городѣ. Вы свободна послѣ завтра?

Они подходили къ Трокадеро, направо ровными воздушными рядами уходили облетающія деревья авеню

Henri-Martin, темная и высокая, чуть покосившаяся стѣна тихо и тяжело стояла въ свѣтломъ воздухѣ по лѣвой сторонѣ авеню; желѣзныя, прозрачныя рѣшетки шли вдоль троттуаровъ, за рѣшетками были сады и дома. — Я въ вашемъ распорядкѣ. — Приходите ко мнѣ, будетъ два-три человѣка. — Хорошо.

Она жила въ небольшой квартирѣ, мягкой и необыкновенно удобной, съ маленькими столиками, низкимъ диваномъ, тумбочками, пуфами, тоненькими полочками для книгъ и круглымъ стекляннымъ акваріумомъ, гдѣ неустанно плавала небольшая рыбка рыжевато-сѣраго цвѣта. Прозвучавъ въ эту квартиру Володѣ говорилъ Николай:

— Поразительно, до чего все неудобно

— Что именно?

— Да все: пепельницы маленькія, на одну папиросу, столики маленькіе, — что на такомъ столѣ дѣлать? обѣдать нельзя, писать нельзя, только развѣ кофе пить. Пуфы маленькіе и трещать, какъ орѣхи: все неудобно. И акваріумъ, — что это за акваріумъ? Это стаканъ какой-то и всего одна рыбка.

— Вотъ тебѣ бы акваріумъ, ты бы, шайтанное, крокодила туда пустилъ.

— Почему крокодила? Крокодилъ не рыба. Рыбъ надо.

— Да не карповъ же, чортъ возьми?

Карпъ прекрасная рыба, — сказали Николай. — И очень питательная; и въ стаканчикѣ Аглаи Николаевны ты его не помѣстишь.

Володя засталъ тамъ Артура, который ему не понравился, какъ старому знакомому. Рядомъ съ нимъ, на одномъ изъ тѣхъ самыхъ пуфовъ, которая Николай находилъ такими неудобными, сидѣла дама дѣлать тридцати двухъ — съ презрительнымъ и сухимъ лицомъ, насмѣшливыми глазами и особенной лѣнностью тѣла, сразу въ ней угадывавшейся. еще до того, какъ она дѣлала какое-либо движеніе. Она чѣмъ-то не понравилась Володѣ. Въ ту минуту, когда онъ вошелъ, она возобновила рассказъ о томъ, какъ она по-

знакомилась съ M. Simon, ее раувге M. Simon, который вообще очень миль, но ничего не понимаетъ въ женщинахъ. Артуръ высказалъ вѣжливое предположеніе, что м'сье Симонъ, можетъ быть не встрѣчалъ до послѣдняго времени женщины исключительныхъ и что поэтому... — Et avсe ça? — сказала дама. Дѣло заключалось въ томъ, что ее раувге M. Simon имѣлъ счастье пользоваться благосклонностью разсказчицы, — ее звали Одеттъ, — но сталъ предъавлять ей такія неслыханно деспотическія требованія, что единственное объясненіе этому Одеттъ находила только въ его исключительной глупости. Позже, когда Володя лучше узналъ Одеттъ, онъ понялъ, насколько этотъ разговоръ былъ для нея характеренъ. Вся мужская половина человѣчества дѣлилась для Одеттъ на двѣ неравныя категоріи: тѣхъ, кто стремится къ ея благосклонности и тѣхъ, кто къ ней не стремится. Вторыхъ она не замѣчала, они для нея почти не существовали; и всякій разъ, когда ей почему-либо приходилось болѣе или менѣе близко сталкиваться съ такимъ человѣкомъ, она находила, что онъ неинтересенъ и неуменъ и какъ-то особенно неумѣстенъ. Она теоретически понимала законность существованія и такихъ людей, но это были совершенно чуждыя и бесполезныя явленія; и въ тѣхъ случаяхъ, когда она поневолѣ должна была ихъ замѣчать, она ихъ презирала, — даже не пониманіемъ и не умомъ, а чѣмъ-то другимъ, что было важнѣе всего остального и чего эти люди, повидимому, не знали. При всемъ этомъ она была не лишена своеобразной иронической вѣрности въ описаніяхъ людей. Итакъ, ея вниманіе было привлечено первой, менѣе многочисленной категоріей мужчинъ, но и здѣсь у нея постоянно возникали недоразумѣнія. Многіе изъ нихъ подобно этому бѣдному мосье Симонъ были способны понять ея исключительность и ревновали другъ къ другу, что приводило Одеттъ въ бѣшенство и изумленіе. — Cet imbécile de Simon, разсказывала она, — заявляетъ, что я должна прекратить знакомство съ Дюкро. Non,

mais il y a des limites. Дюкро мой старій другъ и оттого, что онъ не правится Симону и Альберту, — во мѣрѣ ея разсказа мужскія имена появлялись и исчезали, сѣбяняясь одно другимъ и потому опять возникая, какъ толпуцій человекъ, судорожно выскакивающий изъ воды много разъ. — я должна съ нимъ разстаться? Что же онъ сдѣлалъ мнѣ плохого, je vous le demande un peu? — Ничего, ce sont tout simplement des principes qui doivent. .

Des principes? — съ ужасомъ въ голосъ говорила Одеттъ. Des principes? Non, mais vous êtes fou! Que voulez vous que cela me fasse, des principes? Она, однако, твердо знала нѣсколько вещей, которыя замѣняли ей принципы, она усвоила ихъ еще въ пятнадцатилѣтнемъ возрастѣ и съ тѣхъ поръ имъ никогда не измѣняла. Въ минуты «безразсудной откровенности», — какъ она сама потомъ говорила, — она разсказывала очередному мосье Симонъ свою жизнь, — и все было такъ свѣжо и поэтично; дѣтство и годы ученія въ закрытомъ заведеніи недалеко отъ Парижа, гдѣ былъ такой громадный садъ, потомъ путешествіе въ Испанію, — oh, Barcelone, oh, Madrid, — бой быковъ, торреадоры съ необыкновеннымъ sex-appeal и мосье Симонъ оставалось голько удивляться, какъ до сихъ поръ ему не приходило въ голову задуматься надъ этой чертой торреадоровъ, которая, по мнѣнію Одеттъ, была, въ сущности, самой для нихъ характерной: опасности же, которымъ подвергались эти люди, носили добавочный характеръ, «визуострагическій», какъ она говорила. Послеъ Непеліи была Англія, постъ Ам-ин — Америка и такъ все вплоть до того дня, когда Одеттъ впервые вышла замужъ за человека, который не самъ въ новизнѣ ея прелестной непосредственности, ни отбѣить независимости ея взглядовъ отъ вздорныхъ моральныхъ принциповъ. Это былъ мой первый мужъ, — говорила Одеттъ. До мужа у меня было тошко одинъ романъ съ Дюкро. О, это было ужасно! Это было дѣйствіе или не хороню? шестнадцатилѣтней Одеттъ впервые дѣлала она

рацію, чтобы избѣжать послѣдствій ея романа съ Дюкро, и Одеттъ, семнадцать лѣтъ спустя, отчетливо помнила лѣтний день, желтоватыя, матовыя стекла клинники, душное и невыразимо тоскливое ожиданіе операціи, невыносимый и не испаряющійся запахъ хлороформа, — и потомъ тяжелое пробужденіе съ отчаяннымъ сознаніемъ того, что она задыхается отъ этого запаха и долгой рѣзущей боли ниже поясницы. Потомъ былъ второй мужъ, и тѣмъ опять первый, потомъ снова Дюкро, потомъ состоялось такое глупое положеіе — по объ этомъ Одеттъ рассказывала чрезвычайно рѣдко, — когда оба ея мужа и ея новый поклонникъ Альбертъ оказались въ одно и то же время, — одинъ въ Фонтенбло, другой въ St-Cloud, третій въ Парижѣ, на rue de la Voûte и жизнь тогдашняго періода представлялась Одеттъ, какъ безконечное путешествіе то туда, то сюда, то въ автомобилѣ Альберта, отвезившаго ее въ St-Cloud, гдѣ, какъ она говорила, жила одна изъ ея подружекъ, то изъ St-Cloud на такси до Ліонскаго вокзала и оттуда въ Фонтенбло; и все было такъ разнѣстроено у Альберта въ ванной было то, чего не было у перваго мужа, а привычки второго мужа были не такія, какъ у перваго; одинъ любилъ, чтобы Одеттъ говорила ему именно тѣ вещи, которыя онъ сумѣлъ опфигить, другому были нужны совсѣмъ иные чувства, одинъ допускалъ одно, другой — другое, а Альбертъ вообще герялъ голову и не зналъ, что дѣлать, — и запомнить все это было такъ трудно, что Одеттъ искренно считала эту эпоху своей жизни, продолжавшуюся два мѣсяца, одной изъ самыхъ тяжелыхъ — *Pauvres petits!* говорила она, имѣя въ виду обоихъ мужей и Альберта, — *pauvres petits, ils ont tous besoin de moi, allez!*

Теперь она рассказывала о мосеѣ Симонѣ, подражая его интонаціямъ, — повидимому, очень похоже, — и изображая въ лицахъ весь разговоръ съ необыкновенной живостью. Она бѣгло и точно вопросительно поглядывала на Володю, потомъ перевела глаза на Агланю Николаевну,

чуть замѣтно пожала плечами и, сказавъ еще нѣсколько словъ, стала прощаться, такъ какъ, по ея словамъ, торопилась на поѣздъ, можетъ быть въ St-Cloud, можетъ быть въ Фонтебло, но вообще на поѣздъ и вообще на диванъ. После ея ухода все нѣсколько минутъ молчали.

— Вы напрасно ее не любите, Артуръ, — сказала Аглая Николаевна такимъ голосомъ, точно объ этомъ давно уже шла рѣчь. Артуръ сразу отвѣтилъ.

— Не знаю, просто не люблю. Она все сводитъ къ очень элементарнымъ вещамъ, это совершенно, мнѣ кажется.

— Это хорошо. Артуръ, ей можно позавидовать.

— Да, но я бы отказался отъ этой завидной способности.

— А что вы думаете, Владимиръ Николаевичъ?

Володя совсѣмъ не думалъ объ этомъ; Володя вообще ни о чемъ не думаетъ, видѣть только легкій туманъ и въ туманѣ только Аглаю Николаевну и слышать только ея голоса, почти не различая словъ и лишь бессознательно слѣдя за интонаціями, какъ ему казалось, измѣреніями ея интонацій.

Я? — съ дѣтской — скорѣе согласенъ съ м'сье Томсономъ. Мнѣ кажется, что есть люди, существующіе только наполовину, частично, понимаете? Они чего-то лишены, поэтому они кажутся странными, я думаю, что Одетте такъ же. Конечно, возможно, что нѣкоторыя вещи обременительны, какъ напримеръ, принципы, о которыхъ она говорила, а вѣдь это не принципы, это чувствъ. Если нѣтъ нѣтъ — хорошо, конечно; но какъ то бѣднѣе, по-моему.

Опять стало тихо, и вдругъ раздается звонъ часовъ. Было одиннадцать; и первый звукъ еще не успѣлъ умолкнуть, его мягко и звонко перебивалъ второй и дальше они звучали уже вмѣстѣ; первый, слабѣя, провожалъ второй и исчезъ, и въ эту секунду раздавался третій и опять шла дв. отчетливо отдѣльныхъ замѣранія, въ чужъ вступало

четвертое и такъ все время, покуда били часы, все слышались два звука, возникшіе въ тишинѣ, еще полной точно безмолвнаго воспоминанія о только что звучавшихъ ударахъ и потомъ раздался одинадцатый, чуть надтреснутый, чуть менѣе сильный, послѣдній ударъ. Володѣ не хотѣлось бы, чтобы въ эту минуту въ комнатѣ раздался бы какой бы то ни было звукъ; только голосъ Аглаи Николаевны могъ бы еще нарушить эту еще упругую, еще мелодичную тишину. И голосъ Аглаи Николаевны, у Володи забилось сердце отъ сбывшагося ожиданія, — сказала:

— Артуръ, вы очень давно у меня не играли.

Артуръ, не отвѣчая, подошелъ къ пианино, сѣлъ на бережно придвинутый стулъ и началъ играть. Володю поразила вначалѣ печальная неувѣренность его музыки; было удивительно видѣть, что изъ-подъ пальцевъ его сильныхъ рукъ выходили такіе неувѣренные звуки. Если бы Володя не видѣлъ Артура, онъ подумалъ бы, что играетъ маленькая дѣвочка со слабыми пальцами, — и все же это было не лишено нѣкоторой минорной прелести. Аглая Николаевна сѣла на диванъ и показала Володѣ мѣсто рядомъ съ собой, — онъ просто легъ, подперевъ голову рукой и глядя на черное платье Аглаи Николаевны, изъ-за котораго безпорядочно и случайно были видны стѣны, часы, дверь и широкая фигура Томсона, сидѣвшаго, какъ громадная, доисторическая птица надъ бѣлой полосой клавиатуры, пересѣченной черными линиями.

Володя прислушался къ музыкѣ и понялъ, почему въ первую минуту она показалась ему странной. Артуръ началъ со старинной серенады, которую Володя зналъ наизусть, но названіе которой вдругъ забылъ. Знакомый ея мотивъ прозвучалъ и повторился и потомъ велѣлъ за нимъ, хрупко и звонко, точно ломающееся стекляннное облако, прозвучала иная мелодія, сквозь которую изрѣдка проступалъ мотивъ все той же серенады; и за этими двойными звуками росла и измѣнялась еще одна, третья мелодія, почти невнятная и непохожая ни на какую дру-

гую музыку -- Какъ три жизни, -- подумалъ Володя. Перёдъ его глазами были плечи и затылокъ Аглай Николаевны. -- Можетъ быть, это -- самое главное? Артуръ все игралъ, музыка точно силсилась сказать нѣчто невыразимое и чудесное и въ ту секунду, когда ея звуки уже были готовы, казалось, прозрачно воплотиться въ то, чего нельзя ни забыть, ни увидѣть, вдругъ все становилось глуше и тише, точно надъ этой плещущей страной опускалась едва не опоздавшая ночь и опять издалека начиналось это музыкальное путешествіе, оцупью, по невнятнымъ и смутнымъ звукамъ, за живыми и колеблющимися стѣнами этихъ двухъ предварительныхъ мелодій; и тогда первая изъ нихъ звучала гулко и твердо, какъ музыкальное изображеніе средневѣковаго, заснуващаго города, -- со стѣнами, бойницами, чугунными жерлами тяжелыхъ пушекъ и бѣлой и хрупкой луной, возникающей надъ этимъ видѣніемъ.

Артуръ и Володя вышли вмѣстѣ. Они разстались на авеню Клёвер. -- Спокойной ночи, -- сказалъ своимъ низкимъ голосомъ Артуръ -- Спокойной ночи. Володя заснулъ, едва успѣвъ раздѣться и закрыть глаза. Утромъ его разбудилъ Николай, и ему со сна было обидно, что его будятъ, казалось, онъ только что легъ и не могло быть, чтобы уже прошла цѣлая длинная ночь

Какъ только Артуръ вошелъ въ свой кабинетъ и опустился въ невысокое, кожаное кресло у окна и съ книжныхъ полокъ на него, какъ каждый день, тускло блеснули корешки книгъ съ исцеными буквами, толстые тома Шекспира, Шиллера, Сервантеса, знакомое чувство пустоты, которая особенно сильно чувствовалась именно здѣсь, опять охватило его. И опять вернулось все то же, постоянно представляемое осенній денъ, пустой, вътрешный и сол-

мечный перронъ вокзала, гдѣ нѣтъ ни одного человѣка и отъ котораго давно уже отошелъ послѣдній поѣздъ; и остался только вѣтеръ и гулъ въ темныхъ телеграфныхъ столбахъ и легкая пыль надъ галькой желѣзнодорожнаго полотна. Артуръ не могъ понять, почему именно эта картина такъ неотступно преслѣдовала его, такъ какъ въ тотъ, самый печальный день его жизни, когда онъ уѣзжалъ изъ Вѣны, былъ жаркій воздухъ поздней, отцвѣтающей и тяжелой уже весны, и множество народу на вокзалѣ и цѣлая стая бѣлыхъ плакатовъ, плещущихъ, какъ маленькіе флаги на далеко идущемъ суднѣ. Но не было ни прохлады, ни гула, ни пустоты, только толстыя стекла вагоннаго окна и бѣлые рельсы, и игрушечно зеленые, какъ въ дѣтскихъ книгахъ, сельскіе пейзажи Европы. И Артуръ все не могъ этого забыть. Методически и упорно, внушивъ себѣ мысль, что надо жить по-иному, онъ думалъ о томъ, какъ и что слѣдуетъ знать, чтобы объяснить и, однажды ихъ понявъ, разъ навсегда уничтожить всѣ тѣ напрасныя чувства, которыя не давали ему покоя въ теченіе долгаго времени. Онъ сталъ учиться и читать, онъ распредѣлилъ такимъ образомъ свои дни, что у него не должно было остаться времени ни для сожалѣнія, ни для воспоминаній; и вотъ вдругъ, во время тренировки съ Дюбуа, преподавателемъ бокса, или на трехсотой страницѣ Донъ-Кихота, звонъ и стукъ вагонныхъ колесъ вдругъ наполняли комнату, за нимъ стелился запахъ перегорѣвшаго каменшаго угля и гремѣлъ вокзалъ въ душный, веселый день, — и, раскрывъ свою *garde*, Артуръ получалъ сильный ударъ въ лицо; или Донъ-Кихотъ, садившійся на коня, все только подымалъ ногу къ стремяни и не садился, точно поджидан, когда же Артуръ послѣдуетъ за нимъ, и проходили долгія минуты, пока, вмѣсто пустынного вокзала, выросли худыя бока Россинанта и длинная фигура рыцаря съ мѣднымъ щитомъ въ лѣвой рукѣ.

• Такое состояніе было особенно невыносимо для Арту-

ра, — онъ не могъ къ нему привыкнуть. Онъ всегда считалъ, что поставивъ себя въ жизни какую-либо цѣль, ее необходимо, во чтобы бы то ни стало, добиться; если что нибудь мѣшаетъ, это слѣдуетъ уничтожить, если что нибудь непостижимо, это слѣдуетъ понять, — какой угодно цѣной. Только все же въ немъ бродило иногда какое-то буйное начало, онъ чувствовалъ, что способенъ на безразсудныя поступки; и тогда онъ усиленно принимался за работу, — учился или занимался спортомъ и опять все приходило въ порядокъ. Онъ любилъ путешествовать, и это онъ объяснялъ наслѣдственностью: его отецъ, котораго онъ помнилъ коренастымъ улыбающимся блондиномъ, погибъ въ одной изъ своихъ полярныхъ экспедицій, — его все тянуло къ полюсу, — сѣверное сіиніе, безграничныя, бѣлыя пространства, синеватый ледъ и точно закипающая, смерзающаяся вода арктическаго океана; онъ поѣхалъ туда въ послѣдній разъ передъ войной и больше не вернулся. Мать Артура очень скоро послѣ этого снова вышла замужъ. Артуръ не любилъ своего отчима, такъ непохожаго на отца, всего какого-то темнаго; цилиндръ, черное пальто, черные волосы, желтоватыя зубы, темная кожа сухихъ, гладкихъ и сильныхъ рукъ. Онъ былъ банкиромъ. Артуръ, жившій вдалекѣ отъ Лондона, лишь изрѣдка пріѣзжалъ домой; послѣднее свиданіе было лѣтъ восемь тому назадъ, когда Артуръ изъ Франціи пріѣхалъ повидаться съ матерью и громадная его фигура какъ-то сразу загромождила всю квартиру; и банкиръ, улыбаясь недобрыми черными глазами, сказалъ ему

- - Я думаю, изъ тебя вышелъ бы хорошій боксеръ.

- - Если бы было нужно выбирать между банкомъ и рингомъ, я выбралъ бы рингъ, — холодно отвѣтилъ Артуръ. Его мать пожала плечами. Артуръ былъ ей совершенно чуждъ, — молчаливый, сдержанный и, конечно, какъ она думала, неспособный понять ни ея жизни, ни ея второй бракъ, скрыто недоброжелательный, всегда чуть нахмуренный Артуръ; она поймала какъ-то его тяжелый

взглядъ, когда она мелькомъ взглянула на ея обнаженныя плечи, — она была въ вечернемъ платьѣ, они были въ театрѣ. Но она промолчала, хотя выплынула отъ обиды. И тогда же она поняла, что ея сынъ, Артуръ, пересталъ для нея существовать. Было не ясно, что она — мать этого гиланта, она, «Incompréhensible», какъ ее называли первый мужъ, она никогда не была красива, но неподвижная прелесть ея ассиметричнаго лица не чортилась съ годами. Она и не замѣчала своего возраста, все живое въ ея воспоминаньи была смѣной моды, курортонъ и путешествій. Это было въ тотъ сезонъ, когда носили такія короткія платья съ воланами, ты поминивъ? Мы провели тогда лето въ Бретани. Да, тогда появились еще эти крылья по бокамъ шляпы, это было въ Лозаннѣ, — да, именно въ Лозаннѣ я ихъ увидѣла въ первый разъ и тогда же написала тебѣ объ этомъ. И лишь изрѣдка въ эту непогрѣшимую память о шляпахъ, платьяхъ и лѣтнихъ городахъ ея жизни входили иныя впечатлѣнія: голубы Шалюзина, пѣвцаго Марсельезу въ Лондонѣ, кануны войны и первый букетъ цвѣтовъ — пармскія фіянки, да, конечно, пармскія, — отъ этого сумасшедшаго итальянскаго журналиста, котораго потомъ убили на войнѣ, лѣтомъ семнадцатаго года; да, лѣто семнадцатаго года, костюмы *tailleur*, маленькія, совсѣмъ безъ полей, шляпы и зеленая вѣтви надъ озеромъ, на югѣ Англии, въ имѣннн ея мужа. Артуру не было мѣста въ ея жизни; если бы еще онъ остался такимъ, какимъ былъ много лѣтъ тому назадъ — бархатная курточка, короткіе штаны, и загорѣлая кофички, — но онъ сталъ настолько великъ и широкъ, что она каза гась рядомъ съ нимъ совсѣмъ маленькой. Онъ на все смотрѣлъ иными глазами, — въ этомъ отчасти былъ виновать его дядя, братъ ея перваго мужа, выисавшій Артура въ Россію, гдѣ Артуръ научился русскому языку, побывавъ въ разныхъ городахъ и откуда они оба сле выбрались въ девятьсотъ девятнадцатомъ году и оба явились въ Лондонъ въ невозможныхъ костюмахъ, съ об-

трещинами чемоданами. — она встрѣтила их на вокзалѣ и въ дорогѣ еще Артуръ позволялъ себѣ какую-то шутку по-русски и они об. смѣялись, не понимая, насколько это необходимо по отношенію къ ней. И Артуръ уѣхалъ изъ родителскаго дома во Францію, въ Парижъ и лишь нѣсколько разъ въ году прилетѣть закончическія открытки. Однажды, впрочемъ, въ Парижѣ онъ встрѣтилъ своего друга въ бо. время кафе на бульварахъ, тотъ сидѣлъ рядомъ съ какой-то бл. женщиной и сомнительной красавицей и Артуръ только молча и гл. его-насмѣшливо взглянулъ на него и прошепталъ мимо.

Артуръ думать обо всемъ этомъ, сидѣлъ у себя; шепочъ, слышишь въ стѣновой, встать, кричать и звать въ сонъ. И тогда передъ Артуромъ, вѣстиво встало женское лицо, которое давно уже было готово появиться, все точно чего-то ожидая, и теперь появилось откинутая голова, чуть принуренные, самыя дорогіе на свѣтѣ глаза и потомъ голубая и этою французскій языкъ со смѣшнымъ и очаровательнымъ вл. акцентомъ и безчисленными ошибками.

- Cela ne peut pas continuer, Arthur, il faut que tu partes.

Je suis parti, — вѣдухъ сказала Артуръ. — Non, cela ne peut pas continuer ainsi, c'est vrai.

И воль уже два года, онъ все точно вѣждалъ и сожалѣніе было такъ же сильно, какъ въ день его дѣйствительнаго отъѣзда. Это было безконечный день растянувшийся уже на нѣсколько дѣтъ. — ни вечера, ни ночи, ничто не могло потушить его весенняго, сверкающаго на вагонныхъ стеклахъ слѣтъ, ничто не могло вырвать и сдвинуть съ мѣста все тѣ же, неподвижныя и непрекращающіяся чувства, которыя Артуръ испытать въ день отъѣзда изъ Вены. Что съ ней теперь, кто смотритъ въ ея закрывающіеся глаза съ длинными коричневыми рѣсницами? Можетъ быть, у нея есть ребенокъ?

Что-то храпѣло подъ рукой Артура, онъ замчалъ

глазами, какъ приходящій въ себя отъ забытья человекъ. Деревянная ручка кресла подъ кожаной обшивкой была сломана. Артуръ вздохнулъ, опустилъ голову, вошелъ въ ванную, раздѣлся и сталъ подъ холодный душъ, закрывъ себя резиновой круглой ширмой; ему стало трудно дышать, вода казалась ледяной, но онъ продолжалъ стоять такъ нѣкоторое время. Затѣмъ, надѣвъ халатъ и разгребъ до красна свое тѣло, онъ легъ въ постель, закрылъ глаза и сталъ засыпать; былъ уже пятый часъ утра

Въ тотъ день, когда Аглая Николаевна пернула въ Берлина, куда она уѣзжала на мѣсяцъ, въ Парижѣ съ утра шелъ снѣгъ. На rue Boissière онъ падалъ съ безмолвной торжественностью, шелъ безъ конца, улетая внизъ, въ незримую глубинну; возлѣ Сѣвернаго вокзала онъ валился беспорядочно и неравномѣрно, превращаясь въ жидкую грязь подъ колесами автомобилей. Поѣздъ приходилъ въ поздній вечерній часъ, рука Володи застыла въ кожаной перчаткѣ, безформенные пальцы которой сжимали букетъ бѣлыхъ розъ. Онъ прѣхалъ задолго до прихода поѣзда, сидѣлъ нѣкоторое время въ кафе передъ стаканомъ теплаго и мутнаго кофе, отпилъ одинъ глотокъ, поднялся и снова вышелъ подъ снѣгъ. -- Какой абсурдъ -- кофе, — сказалъ онъ вслухъ. Его наконецъ пустили на перронъ; ожиданіе сдѣлалось еще томительнѣе и появилось, -- неизвѣстно откуда и совершенно незамѣтно возникшее, — ощущеніе, будто забыто что-то очень важное, будто чего-то не хватаетъ. -- Но чего же? Проходили носильщики, смазчики, служащіе. Въ темнотѣ показались огни паровоза, которые Володя видѣлъ уже секунду, не понимая. Съ успокаивающимъ шелканьемъ поѣздъ остановился.

Аглая Николаевна была въ маленькой шляпѣ, въ черной шубѣ съ бѣлымъ воротникомъ. Володя подошелъ къ ней и ничего не могъ сказать отъ волненія

-- Владиміръ Николаевичъ, вы потеряли даръ слова?

-- Кажется, да.

А краснорѣчіе и лирическіе пассажи?

-- Все. Кромѣ васъ.

Она пожала его руку въ перчаткѣ. -- Какіе милые цвѣты. Вы одинъ? -- Конечно. Вы ждали? -- Могъ придти Артуръ -- Нѣтъ, какъ видите.

Сидя въ автомобиль, Володя слушалъ, какъ Аглая Николаевна рассказываетъ о Берлинѣ, и молчалъ. Слова, названія мѣстъ, имѣли для него иное значеніе, нежели то, которое придавалось имъ обычно. Берлинъ, это значило: ея нѣтъ. Парижъ, это значило: я ее увижу. Рельсы, поѣздъ, вокзалъ: я жду Charlottenburg: она проходитъ по этимъ улицамъ. Gare du Nord: только она.

-- Вы сказали?

Нѣтъ, это не похоже на скуку. Это иначе.

И «замѣчательнѣй»?

-- Несомнѣнно.

Автомобиль проѣзжалъ возлѣ Оперы. -- Я вспоминала васъ неоднократно -- Аглая Николаевна! -- Миѣ не хватало васъ я къ вамъ привыкла. -- Какъ къ никафу или кресту? -- Иначе. -- «Замѣчательнѣе»? -- Несомнѣнно.

Опять молчаніе и легкій шумъ автомобиля.

-- Итакъ?

-- Я оказываюсь въ несвойственной мнѣ роли, -- изобразительницы аллегорій.

-- Аллегорія -- представленіе обо мнѣ?

- Да. Представьте себѣ зеркало. Смотрите долго-долго -- только блескъ и стекло, а потомъ видите далекія картины и даже какъ будто бы слышите музыку.

- Я понимаю: невнятные картины, невнятную музыку.

- Да. И потомъ вдругъ, медленно, изъ самого далекаго зеркальнаго угла -- фигура.

Дженильмена въ черномъ костюмѣ?

-- Почти.

Стыль чай въ маленькихъ чашкахъ, звонили часы, медленно двигался вечеръ. — Мы точно ѣдемъ, Аглая Николаевна, — сказала Володя, едва слыша свой собственный голосъ, — не правда-ли? Какъ въ морѣ, очень далеко. Вамъ не кажется? Да; въ тропическую почъ, Володя, вы понимаете? И Володя впервые услышалъ особенный, горячій голосъ Аглаи Николаевны, раньше онъ былъ неизмѣнно прохладенъ, чуть-чуть далекъ и насмѣшливъ -- Такъ душно и хорошо и теплыя, соленныя волны. Вы понимаете, Володя?

Володя молчалъ и только смотрѣлъ въ приблидившееся лицо съ необычайнымъ усиленнымъ вниманіемъ.

То, что случилось потомъ, было не похоже, какъ казалось Володѣ, на все, что онъ зналъ до этого: душно и нѣжно близкое тѣло, мягкія руки съ острыми холодноватыми ногтями, запахъ волосъ, нѣсколько дѣтски-беззащитныхъ движеній и опять, — довърчивыя, устремленныя къ нему руки. И голосъ Аглаи Николаевны, вдругъ ставшій точно частью ея тѣла -- Я никогда этого не зналъ, -- думалъ Володя. --- Никогда, навѣрное, этого вообще нѣтъ. Но мыслей почти не было, онъ терялся, кровь текла точно шумной, освобожденной рѣкой.

Онъ пошелъ нѣшкомъ домой, холоднымъ яварьскимъ утромъ, не застегнувъ пальто. Въ кабинетѣ Николая былъ свѣтъ. Володя привычнымъ движеніемъ поднялъ руку къ глазамъ, чтобы посмотреть, который часъ; но часовъ не было, онъ забылъ у Аглаи Николаевны, — навѣрное на этомъ маленькомъ столикѣ, рядомъ съ узкимъ и длиннымъ бокаломъ, въ которомъ стояли его вчерашніе самыя лучшіе цвѣты. Дверь изъ кабинета открылась и въ освѣтившемся четырехугольникѣ показалась широкая фигура Николая. — Доброе утро, Володя, — сказала Николай густымъ шопотомъ, -- гдѣ это ты засидѣлся? -- Я гулялъ. — Врешь, какъ собака, знаемъ мы эти гулянья. -- Коля, ты никогда этого не поймешь, — твердо сказалъ Володя. -- Да, да, знаю, ты все облака видишь или вол-

ны, а облаковъ никакихъ нѣтъ. Иди спать. — Не хочется. А ты почему не спишь и который часъ вообще? — Вообще пять часовъ утра, а я не сплю по серьезному дѣлу: мнѣ надо составлять годовой отчетъ. Я вчера вечеромъ напился вдребезги, — сказалъ Николай, — мы съ Вирджиніей вдвоемъ выпили бутылку шампанскаго. По какому случаю? Годовщина рожденія дочери; выпили и ослабѣли, *faiblesse humaine*, понимаешь? — Понимаю: *faiblesse humaine* — Вирджинію я, просто смѣшно сказать, отнесъ на рукахъ и уложилъ спать, какой срамъ, Володя, а? Вотъ я ее цѣлую недѣлю дразнить буду. — А тебя кто отнесъ?

Самъ, сказалъ Николай, и спать, не раздѣваясь. И можешь себѣ представить, приснилось мнѣ какое-то чудовище и вдругъ я вижу, что голова у него — это лицо тещи, отца Вирджиніи. Тогда я проснулся и все понялъ. — Что же ты понялъ? — Понялъ, что отчетъ не составленъ и вотъ, съ двухъ часовъ ночи сижу и пишу, какъ Боборыкинъ. Ну, хорошо, иди спать, я тебя завтра разбуду на службу.

Но проснулся Володя только поздно днемъ. Въ столовой Вирджинія что-то нахлѣвала вполголоса, читая, — эта ея способность одновременно шѣл и читать всегда изумляла Володю. Рядомъ съ диваномъ, на которомъ онъ лежалъ, онъ нашелъ записку Николая:

— Ты спать, какъ сурокъ, я рѣшилъ тебя не будить. Вязношу тебѣ общественное порицаніе.

Вечеромъ Володя пискоро пообѣдалъ, что вызвало проницескую заботливость Вирджиніи. Николай, отчего нашъ хрупкій ребенокъ такъ мало ѣсть? И дѣловой вопросъ Николая, вышедшаго провожать Володю до двери: можетъ быть, у тебя животъ болитъ? — И сердитый отвѣтъ Володи. — *vous êtes bêtes tous les deux*, — и хохотъ Николая. Вирджинія, пари, что онъ влюбленъ!

Отвѣтъ изъ столовой. — *Je ne* — И вотъ, наконецъ, у лица и возможность взять автомобиль и черезъ десять минутъ быть у Агата Николаевича.

Она сидѣла въ креслѣ, Володя поцѣловалъ ей сначала руку, потомъ подошелъ сзади и обнялъ ее, — и все опять стало душно и хорошо, какъ наканунѣ.

Поздней ночью она спросила его:

— Ты пришелъ, всѣ спали?

— Нѣтъ, Николай работалъ. — Что же ты сказалъ? — Что я гулялъ. Но онъ не повѣрилъ. — Правда? — Она засмѣялась. — А онъ умнѣ тебя, ты знаешь? — Возможно. — Я думаю, несомнѣнно: только ты иначе. — Хуже или лучше? — О, милый Володя, конечно, хуже. — Спасибо. — Ты обидѣлся. — Нѣтъ, — сказалъ онъ, чувствуя на своей рукѣ ея горячую шею, — нѣтъ, конечно, нѣтъ.

Проходили недѣли, Володя въ бюро былъ разсѣянъ и задумчивъ; день заключался въ ожиданіи вечера. Иногда Володя говорилъ брату: — Коля, у меня сегодня дѣла, я не буду въ бюро. — Хорошо, — отвѣчалъ Николай, — я надѣну траурный костюмъ. И Володя уѣзжалъ съ Аглаей Николаевной въ Булонскій лѣсъ.

.....

Опять былъ отъѣздъ, неожиданный, какъ и въ прошлый разъ, опять въ Берлинъ и Володя снова остался одинъ; и такъ же, какъ тогда, почувствовалъ, что у него слишкомъ много свободнаго времени. Не зная, куда себя дѣвать, онъ три вечера подрядъ ходилъ въ кинематографъ, побывалъ въ театрѣ и даже пошелъ на балетъ, устроенный знаменитой балериной; она «играла» мифическую царицу, отдающуюся плѣнному воину. Володя не помнилъ точно, былъ ли этотъ воинъ варваромъ или нѣтъ, потому что въ ту минуту, когда слѣдовало, неожиданно задремалъ. Балерина говорила какіе-то стихи, воинъ, опираясь на бутафорское копьѣ, жалобно сгибавшееся подъ его тяжестью, тоже отвѣчалъ ей стихами, потомъ вышло танцевать пять дѣвочекъ въ бѣлыхъ платьяхъ и царица съ варваромъ при-

соединились къ ихъ танцу, переставъ на это время читать стихи; въ общемъ все было такъ чудовищно глухо, что у Володи отъ раздраженія разболѣлась голова и онъ ушелъ, не досидѣвъ до конца. На слѣдующій вечеръ онъ зашелъ къ Артуру, который самъ открылъ ему дверь.

— А, милый другъ, какъ хорошо, что вы пришли, — сказала Артуру своимъ низкимъ голосомъ.

— Скажите, пожалуйста, какъ вы не умерли отъ тоски въ Парижѣ? — спросилъ Володя. — Куда можно пойти? Только не въ кинематографъ, не въ театръ и не на балетъ. — Хотите послушать диспутъ о совѣтской литературѣ? — Нѣтъ, ужъ лучше кинематографъ. — Хотите поѣхать на Монпарнассъ. — *C'est une idée.*

За столиками *Coqrole* сидѣло множество народа, слышалась русская рѣчь съ польскимъ акцентомъ, еврейскимъ акцентомъ, литовскимъ акцентомъ, малороссійскимъ акцентомъ. Невзрачные художники съ голодными лицами, нелѣпо одѣтые, — особенно удивилъ Володю маленькій человѣчекъ въ клѣтчатыхъ штанахъ для гольфа и черной бархатной курткѣ, усыпанной пепломъ и перхотью, — спорили о Сезаннѣ, Пикассо, Фужита. За ближайшимъ къ Володѣ и Артуру столикомъ какой-то развязный и многословный субъектъ ожесточенно хвалилъ французскую поэзію и цитировалъ стихи Бодлера и Рэмбо. — Слушайте, Артуръ, какъ онъ можетъ понять это, когда онъ ни одного слова правильно не выговариваетъ? — тихо спросилъ Володя. — Онъ, навѣрное, чувствуетъ, — серьезно сказала Артуру. Володя пожалъ плечами. Съ Артуромъ многіе раскланивались. — Вы ихъ знаете? Кто они такіе? Артуръ рассказывалъ Володѣ то, что на Монпарнассъ знали всѣ, гдѣ вообще всѣ все знали другъ о другѣ. Вотъ этотъ сорокалѣтній мужчина уже пятнадцать лѣтъ сидитъ то въ *Rotonde*, то въ *Coqrole*, то въ *Dôme*, пьетъ кофе-кремъ и не проситъ въ долгъ больше двухъ франковъ; пишетъ стихи, ученикъ знаменитаго поэта, умершаго за годъ до войны; этотъ — художникъ, рисуетъ картины еврейскаго

быта Херсонской губерніи: еврейская свадьба, еврейскія похороны, еврейскіе типы, еврейская дѣвушка, еврейскій юноша, еврейская танцовщица, еврейскій музыкантъ. Вотъ поэтъ, недавно получившій наслѣдство, пылкій, полный человѣкъ лѣтъ пятидесяти. Вотъ молодой авторъ, находящійся подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ современной французской прозы: немного комиссіонеръ, немного шантажистъ, немного спекулянтъ, въ черномъ пальто, бѣлою шелковою шарфѣ; вотъ одинъ изъ лучшихъ комментаторовъ Ронсара, прекрасный переводчикъ съ нѣмецкаго, швейцарскій поэтъ тридцати лѣтъ, уменъ, талантливъ и очень милъ; по профессіи инжениръ. Вотъ подлющій надежды философъ. — трудъ объ исторіи романской мысли, книга въ печати о русскомъ боготорчествѣ, интереснѣйшія статьи о Владимірѣ Соловьевѣ, Бергсонѣ, Гуссерлѣ; живетъ на содержаніи у отставной музыкъ-хозяйки красавицы, съ которой ссорится и мирится каждую недѣлю.

— Непріятная вещь Монпарнессъ, — сказала Волюда, поднимаясь.

— Да, только это хуже, чѣмъ вы думаете, — отвѣтилъ Артуръ. — Я его знаю хорошо.

Они проѣхали почти до моста Альма. Вдоль avenue Bosquet стояло множество автомобилей, въ одномъ изъ большихъ домовъ былъ балъ. На лѣвой сторонѣ улицы тускло свѣтилось маленькое кафе. — Зайдемъ на минуточку, хочется пить.

Кафе было набито шофферами и бездомными обрванными людьми, открывавшими двери автомобилей и получавшими за это кто два франка, кто франкъ, кто пятьдесятъ сантимовъ. Одинъ изъ такихъ бездомныхъ, молодой еще человѣкъ съ темнымъ и обвѣтреннымъ отъ непрерывнаго пребыванія на воздухѣ лицомъ съ выбитыми или выпавшими зубами нечистаго рта, совсѣмъ пьяный отъ двухъ стакановъ краснаго вина, стоялъ устойчиво и нѣтъ. И Артуръ и Волюда присидѣлись къ сто-

вамъ романа. Въ романсѣ говорилось, какъ хороша Италия, какъ прекрасна природа и любовь.

*Jamais les deux amants
N'ont connu de soirs aussi doux...*

— нѣтъ бродяга. Володя вдругъ поперхнулся отъ судорожнаго смѣха и быстро вышелъ на улицу. Артуръ послѣдовалъ за нимъ. Володя продолжалъ смѣяться. — *Jamais les deux amants...* — начиналъ онъ декламировать и останавливался. — *Jamais les deux amants...* — онъ опять хотѣлъ, — *n'ont connu de soirs aussi doux...* Потомъ онъ сказалъ:

- Нѣтъ, Артуръ, вы только подумайте: этотъ человекъ спитъ подъ мостомъ, питается объѣдками и заживо гниетъ всю жизнь. *Amour?*.. онъ знаетъ женщинъ съ Севастопольскаго бульвара отъ двухъ до пяти франковъ. И онъ поетъ, -- нѣтъ вы только послушайте:

*Jamais les deux amants
N'ont connu de soirs aussi doux...*

Артуръ молчалъ и смотрѣлъ прямо передъ собой на Сену и на мостъ. Ночь, казалось, становилась темнѣе, холоднѣе и глубже. Съ набережной дулъ сильный вѣтеръ.

Артуръ отвезъ Володю домой, поставилъ автомобиль въ гаражъ и, несмотря на очень поздній часъ, снова вышла на улицу.

Сначала онъ думалъ о Монпарнассѣ. Будучи еще студентомъ, онъ нерѣдко проводилъ тамъ цѣлыя ночи и съ тѣхъ поръ запомнилъ всѣ лица, бывавшія тамъ, всѣхъ женщинъ, карьера которыхъ проходила на его глазахъ, всѣхъ этихъ Жинетъ, Жаклинъ, Луизъ, которыхъ онъ видѣлъ еще тогда, когда онъ впервые познакомился на Монпар-

насть, и нѣкоторые изъ нихъ даже выдавали себя за студентокъ; онѣ всѣ были молоды и свѣжи; но за три или четыре года съ непостижимой и грустной быстротой пожелтели, грубели и старѣли, — такъ что Артуръ не сразу узнавалъ ихъ. Все такъ же, каждый вечеръ, за одними и тѣми же столиками, окруженныя печальной монпарнасской сволочью, онѣ просиживали долгіе часы, ожидая кліента, потомъ уходили въ одинъ изъ отелей за угломъ и снова возвращались на прежнее мѣсто. Все тѣ же художники, безчисленные художники, — нѣкоторые съ папками, нѣкоторые безъ папокъ, — прохаживались вдоль столиковъ, не рѣшаясь сѣсть, до тѣхъ поръ, пока не встрѣтятъ знакомаго, готоваго заплатить два франка за ихъ кофе. Поэтовъ становилось все меньше и меньше: и потому, что поэзія явно шла на убыль, а потому, что для поэзіи нужно было хотя бы умѣть грамотно писать и чему-то когда-то учиться; и хотя къ монпарнаскимъ поэтамъ никто не предъявлялъ требованій особенной культурности, — какъ, впрочемъ, ни къ кому на Монпарнассѣ, — все же какіе-то зачатки, какіе-то проблески культуры надо было имѣть, чтобы какъ-нибудь превысить умственный уровень международнаго спекулянта или газетнаго репортера или стриженной дамы лѣтъ сорока, обожавшей «богему».

— *Ce sont des ratés*, — думалъ Артуръ. Здѣсь были: педерасты, лесбіанки, морфинисты, кокаинисты, просто алкоголики всѣхъ сортовъ и всѣ эти люди, задыхающіеся отъ испорченныхъ легкихъ, послѣдняго, неизлѣчимаго кашля, обнаруживающіе первые признаки бѣлой горячки, сифилиса, хроническихъ воспаленій и тысячи другихъ болѣзней, вызванныхъ голодомъ, нечистоплотностью, наркотиками, виномъ, — презирали «толпу», которой безсильно завидовали: за ежедневные обѣды, удобныя квартиры и отсутствіе венерическихъ заболѣваній; и наименѣе глупые изъ постоянныхъ посѣтителей Монпарнасса или тѣ, кому явно недолго уже оставалось жить и не стои-

ло питать несбыточные иллюзии, понимали въ глубинѣ души, что ничего никогда не выйдетъ ни изъ картинъ, ни изъ стиховъ, ни изъ романовъ, потому что нѣтъ денегъ, нѣтъ знаній, нѣтъ работоспособности и не о чемъ, въ сущности, писать, если только не обманывать себя и другихъ или быть идиотомъ. Но это понимали лишь немногіе: остальные же были твердо убѣждены, что рано или поздно ихъ оцѣнятъ, вспоминали примѣры нынѣ знаменитыхъ художниковъ, принадлежавшихъ въ свое время къ этой же монпарнасской богемѣ. — Они забываютъ, — думалъ Артуръ, — что у тѣхъ былъ талантъ, рѣдчайшая вещь и, кажется, неизвѣстная на теперешнемъ Монпарнассѣ. Тупая скука была на лицахъ неподвижныхъ женщинъ, до которыхъ тоже доходили обрывки споровъ объ искусствѣ, звучавшихъ, какъ слова на мучительно непонятномъ языкѣ, всѣ эти упоминанія какихъ-то иностранныхъ фамилій и сложныхъ фразъ, въ которыхъ не было ничего ни интереснаго, ни роднаго, ни просто понятнаго, какъ разговоръ о заработкѣ, о своей семьѣ гдѣ-нибудь въ глухомъ углу Оверни или Бретани, гдѣ нѣтъ искусства, Монпарнасса, а есть сабо, работа, коровы, сведенные мозолистые пальцы и пріятный, родной запахъ навоза; и какъ ни мало понимали въ искусствѣ спорящіе, слушающіе понимали еще меньше. — Зачѣмъ эти женщины пріѣхали сюда? — думалъ Артуръ. — И зачѣмъ попали сюда, въ среду, которая навсегда останется имъ чуждой и непонятной, всѣ эти молодые люди изъ Бессарабін и Румыніи, изъ Польши, Литвы, Латвіи и еще какихъ-то русскихъ, Богомъ забытыхъ, станцій и городовъ, — Кременчуга, Жиеринки, Житомира? Чтобы голодать и пить café-crème и навсегда сгнуться въ этой толпѣ сутенеровъ и паркомановъ, страдающихъ маніей величія и хроническими бо-
лѣзнями?

Артуръ шелъ вдоль рѣчки; это были его обычныя прогулки, — путешествія надъ Сеной; онъ заходилъ далеко, туда, гдѣ уже начинали выситься мрачные дома бѣдныхъ

кварталовъ Парижа, гдѣ свѣтились мутныя стекла убогихъ кафе и за цинковой стойкой плохо одѣтые люди пили красное вино. Тогда онъ переходилъ мостъ и шель обратно къ просторнымъ набережнымъ, по которымъ свободно гулялъ вѣтеръ отъ Конкордь до Трокадеро.

Въ эту ночь онъ остановился у перилъ моста Александра III и долго смотрѣлъ на воду; она текла, чуть плескаясь у быковъ моста, — темная, медленная и густая. Вокругъ было совершенно пусто. Артуръ закурилъ папиросу. Сильный вѣтеръ поднималъ рябь на рѣкѣ, — Артуръ внимательно, не отрываясь, смотрѣлъ на поверхность воды и вдругъ вспомнилъ опять сине-желтый Дунай съ невысокими волнами и лодку Victoria, которую онъ нанмалъ потому, что ея имя было такое же, какъ имя женщины, съ которой онъ плылъ по Дунаю. Victoria! Онъ видѣлъ ее сейчасъ въ синемъ платьѣ, съ босыми смуглыми ногами въ бѣлыхъ сандаляхъ, съ бѣлымъ шелковымъ платкомъ вокругъ загорѣлой шеи; она лежала на спинѣ, глядя вверхъ и покачиваясь вмѣстѣ съ лодкой на волнахъ и изрѣдка Артуръ брызгалъ на нее водой изъ-подъ весла и она поднималась и говорила ему на своемъ смѣшномъ французскомъ языкѣ: *insupportable! insupportable, Arthur!* Потомъ они причаливали къ пустынному островку, раздѣвались и шли купаться. Викторія выросла на Тирольскихъ озерахъ и плавала съ такой же легкостью, какъ ходила. Артуръ любилъ слѣдить, какъ она удалялась отъ высокаго берега, поднимая за собой легкую, бѣлую пѣну. Когда онъ догонялъ ее, она внезапно ныряла; онъ опускался вслѣдъ за ней и они долго плыли рядомъ подъ водой, пока она не поднималась на поверхность и ложилась на спину, заложивъ руки за голову и не дѣлая ни одного движенія.

Онъ познакомился съ ней случайно, пріѣхавъ съ экскурсіей своихъ товарищей въ Вѣну на два дня; вечеромъ второго дня они всѣ толпой въ двадцать человекъ отправились на ярмарку, убогую ярмарку почти нишей тогда

Вѣны; крутились скрипяція деревянные карусели, летѣли шары въ вечернемъ воздухѣ и, перебивая другъ друга, звучали многочисленные мотивы фокстротовъ и вальсовъ. Артуръ остановился у карусели съ деревянными картинными лошадьми въ золотыхъ и бархатныхъ сѣдлахъ, вращавшихся подъ стариннѣйшей вальсъ, хромающая мелодія котораго навсегда запомнилась ему. Когда карусель остановилась, женщина въ большой бѣлой шляпѣ, въ бѣломъ платьѣ хотѣла прыгнуть внизъ, но зацѣпилась и падала съ высоты полутора метровъ; Артуръ успѣлъ замѣтить выраженіе испуга въ ея глазахъ. Онъ поймалъ ея длинное тѣло налету и мягко опустилъ его на землю. — *Danke schön*, — сказала она, — *sie sind sehr stark, mein Herr*. Да, это были ея первыя слова, сказанныя съ неповторимой и пѣвучей интонаціей. Артуръ пошелъ провожать ее домой, по незнакомымъ улицамъ Вѣны, куда-то на *Schmalzhofsgasse*, гдѣ она жила. По дорогѣ они зашли въ кафе. Артуръ рассказалъ, что онъ англичанинъ, студентъ, и что онъ радъ видѣть хоть одного человѣка, знающаго Вѣну, такъ какъ и онъ и его товарищи здѣсь впервые. Она назначила ему свиданіе на слѣдующій вечеръ, въ этомъ же кафе: Артуръ попрощался съ ней у порога ея дома и вернулся въ гостиницу въ состояніи несвойственнаго ему радостнаго волненія, напѣвая вдругъ вспомнившееся ему и не перестававшее звучать всю дорогу «*O sole mio*»; и только поднявшись въ свою комнату, вспомнилъ, что завтра утромъ онъ долженъ уѣзжать въ Парижъ, гдѣ его ждутъ занятія, курсъ французской литературы, исторія экономическихъ доктринъ и множество строгихъ и скучныхъ вещей, такихъ далекихъ отъ карусельной мелодіи, бѣлой шляпы, сине-сѣрыхъ глазъ и всего, что занимало сейчасъ его мысли.

Онъ уѣхалъ изъ Вѣны лишь много мѣсяцевъ спустя. Встрѣтивъ Викторію въ кафе въ тотъ вечеръ, онъ сказалъ: теперь, кромѣ васъ, у меня никого нѣтъ въ Вѣнѣ. — А ваши товарищи? — Они уѣхали въ Парижъ сегодня утромъ.

— И вы должны были ѣхать съ ними? — Нѣтъ. — Неправда, вы остались, чтобы не поручить свиданія, на которомъ вы общались быть. Такъ долженъ поступить джентльменъ, неправда-ли? — Нѣтъ, просто человѣкъ, которому Богъ далъ глаза, чтобы видѣть васъ, — сказала Артуръ. — Это начало? — Я надѣюсь. Она вздохнула.

Она прожила съ Артуромъ полгода и все это время онъ былъ почти совершенно счастливъ. Иногда только онъ думалъ, что, въ сущности, не знаетъ почти ничего о Викторин, кромѣ ея имени и фамилии и того, что она старше его на два года, что она была замужемъ и развелась и что ея мать живетъ въ Тиролѣ. Если Артуръ начиналъ ее спрашивать, она зажимала ему ротъ рукой. — Нельзя быть такимъ любопытнымъ, Артуръ. Онъ настаивалъ. Тогда она говорила:

— Артуръ, тебѣ хорошо со мной?

— Да.

— Ты меня любишь?

— Да.

— Если этого недостаточно, я больше ничего не могу тебѣ дать, Артуръ. Это то, что у меня есть. Больше у меня нѣтъ ничего. И Артуръ замолкалъ.

Онъ предложилъ ей выйти за него замужъ, она разсмѣялась. — Мой мальчикъ, если бы ты зналъ, въ какой степени это невозможно! — Но почему? — Не будемъ говорить объ этомъ.

Она любила, какъ ребенокъ, чтобы Артуръ носилъ ее по квартирѣ; длинное ея тѣло казалось особенно легкимъ въ его рукахъ. Однажды, обнявъ его шею и близко глядя ему въ глаза, — были сумерки лѣтняго дня, — она сказала съ необыкновеннымъ сожалѣніемъ:

— Ахъ, Артуръ, если бы это было возможно!

— Что, моя дорогая?

— Ты не понимаешь. Ты не первый, Артуръ. Подними меня еще выше, ты можешь? Я бы хотѣла сейчасъ, съ твоихъ рукъ упасть внизъ, на мостовую, такъ, разъ навсе-

гда и ничего бы не осталось и послѣднее, это было бы воспоминаніе, что ты держалъ меня на рукахъ. Артуръ, бѣдный Артуръ! И она замакала въ первый и послѣдній разъ за все время. Было въ ней нѣчто, чего Артуръ не зналъ, и это не было пустякомъ, за этимъ должны были существовать вещи, которыхъ смутное присутствіе Артуръ подозрѣвалъ, не зная, однако, въ чемъ онъ заключались. Иногда онъ говорилъ себѣ, оставаясь одинъ, что онъ совсѣмъ не знаетъ Викторію, не знаетъ почти ничего, кромѣ ея тѣла и голоса, легкаго, глубокаго и нѣжнаго, какъ голосъ, который слышался ему точно изъ далекаго дѣтства. Иногда утромъ, послѣ очередной попытки неудачныхъ вечернихъ разспросовъ: — ахъ, Артуръ, ты неизлѣчимъ, ты все такъ же напрасно любопытенъ, — проснувшись, онъ съ сумрачной нѣжностью смотрѣлъ на это чужое и прелестное лицо съ закрытыми глазами и ему хотѣлось разбудить Викторію и сказать:

— Проснись и Расскажи мнѣ все.

Но при первыхъ звукахъ ея голоса, онъ забывалъ о своихъ вопросахъ. Послѣдніе дни Артура въ Вѣнѣ были особенно тягостны для него. Викторія внезапно раздражалась, чаще хмурила свои тонкія брови. — Артуръ, ты долженъ уѣхать. Можетъ быть, мы съ тобой еще увидимся. Ты не будешь обо мнѣ вспоминать дурно, Артуръ? — Нѣтъ, почему? я не уѣду, я ничего не понимаю. Въ чемъ дѣло, Викторія? — Ничего, Артуръ; тебя, навѣрное ждуть въ Парижѣ? — Нѣтъ. — Никто не ждетъ, Артуръ? Ни мать, ни сестра, ни любовница? — Нѣтъ, Викторія, у меня нѣтъ сестры, моя мать въ Лондонѣ и у меня нѣтъ любовницы. — Правда, Артуръ? И даже ни одной *petite femme*? — Нѣтъ, Викторія, у меня нѣтъ никого, кромѣ тебя. — Какой ты бѣдный, Артуръ, ты и самъ не знаешь, какой ты ужасно бѣдный. — Викторія! — Нѣтъ, ничего. Мы идемъ въ кинематографъ? Ты обѣщала, Артуръ.

И однажды утромъ она исчезла. Она не оставила ни записки, ни клочка бумаги, ничего. Артуръ спустился

внизъ и ему сказали, что Викторія уѣхала съ небольшимъ чемоданомъ. Онъ вернулся наверхъ, и долго ходилъ по комнатамъ, не зная, что дѣлать. Онъ позвонилъ на прежнюю квартиру, тамъ ничего не знали. Онъ провелъ такъ двѣ недѣли и наконецъ уѣхалъ изъ Вѣны, ничего не понимая, кромѣ того, что ему необыкновенно тяжело, пусто и тревожно. Была поздняя весна: лѣтомъ и осенью онъ возвращался въ Вѣну, но всякій разъ его розыски оставались тщетными, и кончилось тѣмъ, что онъ почти потерялъ надежду когда-либо увидѣть Викторію.

— Николай, что дѣлаетъ твой братъ?

— Милая Вирджинія, я могъ бы тебѣ отвѣтить, какъ Кайнъ: развѣ я сторожъ моему брату? Но я тебѣ просто скажу, что не знаю. И онъ вѣдь вообще ненормальный.

— Ненормальный? Почему, Николай?

Разговоръ происходилъ вечеромъ въ кабинетъ Николая; Вирджинія стояла у полки съ книгами, заложивъ руки за спину и опираясь на толстые томы, въ которыхъ трактовались вопросы экономическаго и статистическаго порядка. Николай сидѣлъ за столомъ передъ раскрытымъ полицейскимъ романомъ со сложнѣйшей интригой и многочисленными револьверными выстрѣлами; въ романѣ фигурировали и пустынные ночные набережныя Санъ-Франциско, и Бродвей, и Вашингтонъ, и множество персонажей, принадлежащихъ то къ аристократіи, то къ полиціи, но въ одинаковой степени подозрительныхъ Николай очень любилъ такія книги; и когда Вирджинія презрительно отзывалась о нихъ, онъ протестовалъ: — Нѣтъ, нѣтъ, ты неправа. Это все-таки большое напряженіе фантазіи и очень увлекательно. Посмотри, какъ все сложно и до конца не знаешь, кто преступникъ. А если даже знаешь, можно сдѣлать видъ, что не знаешь. — Ты однако

согласенъ, что это глупо? — Да, ну, это бесспорно, — говорилъ Николай. — Но интересно. И на слѣдующій день онъ опять принимался за очередное убійство въ какомъ-нибудь скверѣ съ однорукимъ преступникомъ и прощительнымъ инспекторомъ Скотландъ-Ярда.

— Почему онъ ненормальный? Я тебѣ сейчасъ объясню.

Онъ подумалъ минуту и сказалъ:

— Видишь ли, онъ фантазеръ и путешественникъ: онъ не такой, какъ другіе. Мы живемъ среди чувствъ, которыя мы испытываемъ, и вещей, которыя насъ окружаютъ. Намъ этого достаточно, Вирджинія, правда? А Володѣ недостаточно. Его все тянетъ куда-то, ему все чего-то не хватаетъ. Онъ лежитъ на спинѣ и придумываетъ необыкновенныя исторіи, въ которыхъ самъ участвуетъ или ходитъ безъ толку по городу, точно ищетъ что-нибудь, точно что-то потерялъ. А что? Спроси его, онъ самъ этого не знаетъ. Вотъ почему я говорю, что онъ ненормальный.

.....

Въ одинъ изъ этихъ вечеровъ, послѣднихъ вечеровъ февраля. Володя получилъ письмо изъ Берлина отъ Аглайи Николаевны.

«Милый другъ, я надѣюсь, что вы не сохраните обо мнѣ слишкомъ дурного воспоминанія. Я пишу — воспоминанія, потому что, если намъ еще суждено встрѣтиться съ вами, то не такъ, какъ раньше, какъ въ эти вечера, когда вы приходили ко мнѣ, приносили бѣлыя розы, и у меня никогда не хватало жестокости вамъ сознаться, что это единственные цвѣты, которыхъ я не люблю, — и потомъ сидѣли до поздней ночи. Я должна была бы рассказать вамъ все раньше, но я увѣрена, что такъ лучше. По крайней мѣрѣ, то время, которое вы провели со мной, не

было отравлено никакими сомнѣніями и даже, можетъ быть, было, какъ вы говорите, «изнутри освѣщено» какой-то, скажемъ, очень милой надеждой».

Володя прочелъ эти строки и имъ сразу овладѣло давно знакомое двойное чувство: первое, это холодокъ внутри и сознание смертельной, непоправимой потери, — второе — точно кто-то, насмѣшливо сочувствующій ему, ей и себѣ, говорилъ: это слѣдовало предвидѣть, судьбы всѣхъ иллюзій всегда одинаковы. Онъ прочелъ дальше. Аглая Николаевна объясняла, что въ одномъ письмѣ она не можетъ изложить всю свою біографію и, что, впрочемъ, не видитъ въ этомъ надобности; что, во всякомъ случаѣ, ея жизнь связана съ другимъ человѣкомъ, что Володя долженъ это понять, не сердиться, «n'avois pas de gain-cuse», и что она со своей стороны желаетъ ему счастья и успѣховъ.

Володя положилъ письмо въ ящикъ стола и задумался. Кончикъ письма выглядывалъ наружу; ящикъ былъ набитъ газетами, рукописями, конвертами и всякимъ бумажнымъ хламомъ, который Володя возилъ съ собой повсюду, никогда туда не заглядывая, но не рѣшаясь съ нимъ разстаться.*Онъ не зналъ, о чемъ онъ думалъ: когда черезъ полчаса того, что онъ называлъ душевнымъ молчаніемъ, онъ вернулся къ обсужденію этихъ вещей, онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что мысль объ Аглаѣ Николаевнѣ потеряла свою болѣзненность. И только печаль, постоянная печаль стала сильнѣе и прозрачнѣе, но это не было сожалѣніемъ объ Аглаѣ Николаевнѣ, это была печаль вообще, но только вызванная сейчасъ этимъ эпистолярнымъ исчезновеніемъ. Голосъ Вирджиніи позвалъ Володю въ столовую, онъ вышелъ изъ своей комнаты, точно оставивъ тамъ тающее облако грусти, и за столомъ смѣялся шуткамъ и аппетиту Николая.

Г. Газдановъ.

(*Окончаніе слѣдуетъ*)

Аккомпаниаторша

Повѣсть.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Эти записки были мнѣ доставлены г. З. Р. Онъ купилъ ихъ у старьевщика на улицѣ Роккетъ, вмѣстѣ съ гравюрой, изображающей городъ Псковъ въ 1775 году, и лампой, бронзовой, когда-то керосиновой, теперь, впрочемъ, снабженной довольно порядочнымъ электрическимъ шнуромъ. Покупая гравюру, г. З. Р. спросилъ старьевщика, не найдется ли у него еще чего-нибудь русскаго. «Есть», — отвѣтилъ продавецъ и досталъ изъ пыльнаго шкафа, стоявшаго въ углу старой лавки, клеенчатую тетрадь, такую, какія споконъ вѣку служили особамъ, преимущественно молодымъ, для писанія дневниковъ.

Старьевщикъ пояснилъ, что тетрадь эта лѣтъ пять тому назадъ куплена имъ за 50 сантимовъ вмѣстѣ съ нотами и 2-3 русскими книгами (которыхъ, онъ, увы, не могъ найти) въ низкопробной гостиницѣ, гдѣ жила и умерла одна русская. Послѣ нея хозяйка спустила (въ уплату за комнату) ея платья, бѣлье и прочія вещи — все, что остается, когда исчезаетъ женщина.

Г. З. Р. сперва выслушалъ все это, а потомъ уже раскрылъ тетрадь. Онъ заинтересовался понавищимся ему на глаза строчками и уплативъ деньги, взялъ въ одну руку лампу, а въ другую — гравюру, зажавъ тетрадь подмышкой. Дома онъ прочелъ ее до конца и не узналъ, кто была писавшая.

Я кое-что измѣнила въ этихъ запискахъ, потому что не всё могутъ оказаться такими недогадливыми. Та, которая написала и не сожгла эту тетрадь, жила среди насъ, и многіе ее знали, видѣли и слышали. Смерть, какъ видно, застала ее врасплохъ. Если это была болѣзнь, это была болѣзнь короткая и сильная, во время которой оказалось уже невозможнымъ привести въ порядокъ житейскія дѣла; если это было самоубійство — оно было такъ внезапно, что не дало времени покойной свести кое-какіе счеты...

Такъ или иначе, тетрадь эта была забыта ею, какъ пассажиръ забываетъ свертокъ, на ходу соскочивъ съ поѣзда.

I

Сегодня годъ со дня смерти мамы. Я нѣсколько разъ вслухъ сказала это слово: губы отвыкли отъ него. Было странно и пріятно. Потомъ прошло. Нѣкоторые люди называютъ «мамой» мачеху, другіе называютъ такъ мать мужа; однажды я слышала, какъ пожилой господинъ называлъ «мамочкой» свою жену (моложе него лѣтъ на десять). У меня была одна мама и никогда второй не будетъ. Ее звали Екатерина Васильевна Антоновская. Ей было 37 лѣтъ, когда я родилась, и я была первымъ и единственнымъ ея ребенкомъ.

Она была учительницей музыки, и о томъ, что я родилась, никто изъ ея учениковъ не зналъ — знали только, что она серьезно болѣла цѣлый годъ, куда-то ѣздила. Ученики и ученицы терпѣливо ждали, когда она вернется. Нѣкоторые до моего рожденія приходили къ ней на домъ. Когда появилась я, мама перестала принимать ихъ у себя. Ея цѣлыми днями не бывало дома. За мной ходила старая кухарка. Квартира была маленькая, въ двѣ комнаты. Кухарка спала на кухнѣ, мы съ мамой въ спальнѣ, а другую комнату занималъ рояль, и мы ее называли рояльной. Тамъ мы и ѣли. На новый годъ ученики присылали

мамѣ цвѣты, ученицы дарили ей портреты Бетховена, ма-ски Листа и Шопена. Однажды, в воскресенье, мы шли по улицѣ — мнѣ было лѣтъ 9 — и встрѣтили двухъ сестеръ Свѣшниковыхъ, кончавшихъ гимназію. Онѣ принялись такъ цѣловать и тискать маму, что я съ испугу закричала.

— Кто это, душенька Катишъ Васильевна? — спроси-ли барышни.

— Это моя дочка, — отвѣтила мама.

Съ этого дня все узналось, и мама въ одну недѣлю по-теряла три урока, а черезъ мѣсяцъ осталась съ однимъ Митенькой.

Митенькинымъ родителямъ было совершенно все рав-но, замужемъ моя мама или нѣтъ, сколько у нея дѣтей и отъ кого именно. Митенька былъ способный мальчикъ, платили хорошо, но съ однимъ Митенькой жить было не-льзя. Кухарку мы отпустили, рояль продали и, не долго думая, переѣхали въ Петербургъ. Тамъ нашлись какія-то консерваторскія связи. Тамъ тоже любили маму. Медлен-но, старательно завоевывала она жизнь для себя и для меня. И въ первую же зиму стала опять бѣгать цѣлый день — по дождю, по морозу. А меня отдала въ консер-ваторію, въ приготовительный классъ. Я тогда уже вполне порядочно играла.

Мнѣ въ голову не приходило задуматься надъ тѣмъ, что переживала мама, когда покидала родной нашъ го-родъ, гдѣ когда-то она выросла, — одна у своей матери, тоже учительницы музыки. Отецъ ея, а мой дѣдъ, умеръ рано, и онѣ были вдвоемъ, какъ и мы теперь, и все было очень похоже, только не было стыда. Въ 16 лѣтъ ба-бушка отправила маму въ Петербургъ учиться. Она кон-чила консерваторію, вернулась въ N, дала концертъ, игра-ла на благотворительныхъ вечерахъ, и стала понемногу заниматься съ совсѣмъ маленькими.

Я никогда не думала о томъ, какъ она жила од-на, послѣ смерти своей матери, какъ подошли ея 30 лѣтъ, и что было потомъ, и кто былъ мой отецъ. Ящики ея ра-

бочаго столика не запирались, но въ руки мнѣ такъ никогда и не попалось ни фотографіи, ни письма. Помню, я однажды, будучи свѣтъ маленькой, спросила ее, есть ли у меня папа? Она сказала:

— Нѣтъ, моя Сонечка, у насъ нѣтъ папы. Нашъ папа умеръ.

Она такъ и сказала «нашъ», и мы вмѣстѣ поплакали.

Узнала я обо всемъ очень просто: мнѣ было 15 лѣтъ, когда въ Петербургъ пріѣхала изъ N. маминя подруга, учительница французскаго языка въ N-ской гимназіи. Былъ вечеръ, часовъ шесть. Мамы дома не было. Я лежала на маленькомъ кривомъ диванѣ и читала Толстого. Звонокъ. Поцѣлуй. Воскличанія. «Да какъ же ты выросла! Да какая же ты стала большая!..»

Мы довольно долго сидѣли однѣ; былъ вечеръ; горѣла лампа; за стѣной кто-то пѣлъ. Мы разговаривали, вспоминали далекіе N-скіе годы, мое дѣтство. Не знаю, какъ случилось, что она рассказала мнѣ, что мой отецъ — бывший маминъ ученикъ, и было ему тогда всего 19 лѣтъ. А до него она не любила никого. Теперь онъ женатъ и у него уже дѣти. Ни имени его, ни фамиліи я не спросила.

Пришла домой мама. Теперь ей было уже за 50. Она была сѣденькая, маленькая, как, впрочемъ, большинство мамъ, на рукахъ у нея почему то завелись веснушки. Я сама не знаю, что дѣлалось со мной: мнѣ было жаль ее, жаль такъ, что хотѣлось лечь и плакать, и не вставать пока душу не выплачу. Я терялась при мысли объ обидчикѣ, войди онъ, я бы кинулась на него, выдавила бы ему глаза, искусила бы ему лицо. Но кромѣ того, мнѣ было стыдно. Я поняла, что мама моя — это мой позоръ, такъ же, какъ я — ея позоръ. И вся наша жизнь есть неоправданный стыдъ.

Но это прошло. Въ консерваторіи никогда никто не спросилъ меня объ отцѣ — и, впрочемъ, ни съ кѣмъ близко не сходилась. Была война. Я стала взрослой. Постепенно я привыкла къ мысли, что надо будетъ выбрать себѣ

трудовую въ жизни дорогу — ремесло у меня уже было.

Я назвала моего отца «обидчикомъ». Позже я поняла, что это было не такъ. Ему было 19 лѣтъ. Для него моя мать была лишь ступенькой къ окончательной зрѣлости; онъ вѣроятно, и не подозрѣвалъ, что она въ ея возрастѣ — дѣвушка. А она? Какъ страстно и безнадежно, несмотря на близость, должна была она любить, чтобы пойти на связь съ человѣкомъ, могшимъ быть ея сыномъ, чтобы родить отъ этой — короткой и единственной въ жизни — связи дочь. И что отъ всего этого осталось у нея въ памяти и въ сердцѣ?

И вотъ — революція. Для каждого та жизнь кончилась въ разное время. Для одного, когда онъ сѣлъ на пароходъ въ Севастополь, для другого — когда буденовцы вошли въ степное городище. Для меня — въ мирной жизни Петербурга. Въ консерваторіи занятій не было. Митенька, уже съ мѣсяцъ болтавшійся въ Петербургѣ (онъ пріѣхалъ учиться композиціи), пришелъ къ намъ 25 октября, съ утра Мама была простужена. Митенька игралъ, потомъ мы завтракали, потомъ Митенька уснулъ... Ахъ, какъ я помню этотъ день! Я почему-то все что-то шила. Вечеромъ мы втроемъ играли въ дурака. И даже помню, что на обѣдъ была селянка.

Митенька — сынъ богатыхъ N-скихъ купцовъ, былъ единственнымъ маминимъ ученикомъ, сохранившимся, такъ сказать, со временъ стыда. Это былъ флегматическій молодой человѣкъ, года на три старше меня, совершенно безразлично относившійся къ жизни вообще и къ самому себѣ въ частности. У него были странности, онъ былъ разсѣянъ, сонливъ, гувернеры съ трудомъ приучили его къ чистоплотности. Къ музыкѣ онъ не то чтобы былъ привязанъ, онъ былъ какъ-бы проводникомъ какихъ-то сумбурныхъ звуковъ, которые черезъ него рвались изъ небытія въ дѣйствительность. Поступивъ въ классъ композиціи, онъ удивилъ всѣхъ своей лѣтвизной и революціонностью. Но въ разговорахъ онъ былъ беспомощенъ

и ничего не могъ ни объяснить, ни отстоять. Мама приходила все въ большее отчаяніе отъ его какафоній, которыя туло и страшно начали имъ овладѣвать. Миѣ онъ былъ безразличенъ. Въ ту осень, послѣ столькихъ лѣтъ разлуки съ Н., я, собственно, впервые увидѣла его. Ему было 20 лѣтъ. Онъ былъ некрасивъ, у него росла борода, которую онъ не всегда брилъ, а волосы на головѣ уже рѣдѣли. Вдобавокъ онъ носилъ большое серебряное пенсне, говорилъ въ носъ, а когда слушалъ, громко сопѣлъ. Но онъ очень любилъ маму. Извинялся за свои «хоралы» на слова Хлѣбникова и говорилъ, что настанетъ время, не будетъ ничего: ни дорогъ, ни мостовъ, ни канализациі — одна музыка.

Бывавшіе у насъ мои консерваторскіе знакомые считали Митеньку кретиномъ, но въ томъ, что онъ гениаленъ, не сомнѣвался никто. Для меня ни хоралы его, ни его ласковость не были нужны. Меня заботили событія, меня заботило будущее, меня особенно заботилъ нѣкій Евгений Ивановичъ, уѣхавшій въ Москву, служащій консерваторской канцеляріи, съ которымъ у меня съ мѣсяцъ тому назадъ былъ такой разговоръ:

Онъ: — Вы догадливы?

Я: — Кажется, да.

— Есть вещь, которую я хочу вамъ сказать, но не могу. Надо, чтобы вы догадались.

— Хорошо.

— Теперь отвѣтите: да или нѣтъ?

Сердце мое стучало.

— Да...

Но не Евгению Ивановичу суждено было дать поворотъ моей жизни, а все тому же блѣднолицему, придурковатому Митенькѣ: Евгений Ивановичъ уѣхалъ въ Москву и больше не вернулся. Надежды моихъ по части моего съ нимъ замужества онъ не оправдалъ. Въ ту зиму, когда я вспоминала мой съ нимъ разговоръ, и все надѣялась, что онъ напишетъ, что онъ приѣдетъ, миѣ иногда начинало казаться

ся, что онъ вовсе не объяснялся мнѣ въ любви, что онъ имѣлъ въ виду нѣчто совсѣмъ другое: напимѣрь, попросить меня, чтобы я дала ему займы немножко денегъ, или чтобы передала привѣтъ отъ него кому-нибудь, къ кому онъ, можетъ быть, равнодушенъ. Но Богъ съ нимъ! Обратился къ знакомству, ставшему для меня «роковымъ». Зимой 1919 года Митенька свелъ меня съ Маріей Николаевной Травиной.

II.

Мнѣ было 18 лѣтъ. Я окончила консерваторію. Я не была ни умна, ни красива; у меня не было ни дорогихъ платьевъ, ни выдающагося таланта. Словомъ, я ничего изъ себя не представляла. Начинался голодъ. Мечта мамы о томъ, что я буду давать уроки музыки, не осуществлялась — уроковъ теперь едва хватало для нея одной. Мнѣ же подворачивалась случайная работа на какихъ-то музыкальныхъ вечерахъ, на заводахъ и въ клубахъ. Помню, нѣсколько разъ -- за мыло и сало -- ѣздила я куда-то въ Гавань и ночь напролетъ играла танцы. Потомъ подошла регулярная работа -- по субботамъ -- за хлѣбъ и сахаръ -- въ желѣзнодорожномъ клубѣ при Николаевскихъ мастерскихъ. Сперва я играла «Интернаціональ», потомъ Баха, потомъ Римскаго-Корсакова, потомъ Бетховена, потомъ «хоралы» Митеньки (входившіе тогда въ моду). Но одной субботней работой я прожить не могла. И я нашла пѣвца, которому нужна была аккомпаниаторша — это у меня отняло три часа каждый день -- путь быть длиненъ, трамваевъ не было. Но пока онъ провелъ меня по какимъ-то казеннымъ вѣдомостямъ для полученія пайка, прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ. Наконецъ, и это устроилось.

Пѣвецъ былъ когда-то довольно извѣстнымъ баритономъ. Сейчасъ ему было подъ 70, пахло отъ него махор-

кой и погребомъ, руки у него были черныя отъ работы на кухнѣ и колки дровъ. Онъ такъ худѣлъ, что одежда съ каждымъ мѣсяцемъ замѣтно обвисала на немъ, отрывались пуговицы, протирались локти и колѣни. Онъ никогда не мылся, только изрѣдка брилъ подбородокъ и губу, и тогда такъ пудрился, что весь обсыпался. И мнѣ казалось, что это сыплется съ него штукаурка, какъ изъ старой, рушащейся стѣны, и пахнетъ отъ него не погребомъ, а просто сырой землей.

— Сонечка, — говорилъ онъ мнѣ. — что это вы какая-то тоненькая? Одной молодостью ничего не возьмешь. Нужны формы, формы! А у васъ ланка куриная, ножка козья, грудка кошачья. Ахъ, что-то съ вами будетъ, дѣтинька моя, при такой фигуркѣ!

Онъ искренне сокрушался о моемъ будущемъ. Я же была довольна, что научилась съ нимъ репертуару, и приношу домой мѣшки съ провизіей. . Однажды зимой онъ простудился и слегъ. Въ квартирѣ его немедленно все пришло въ упадокъ: замерзъ водопроводъ, въ комнатахъ было 2 градуса, въ роялѣ лопнули струны, не стало керосина. Изъ профсоюза прислали доктора. Я продолжала приходить каждый день. Появились какіе то друзья, какія-то дамы. Появилась манная крупа. Меня послали къ сосѣдямъ за солью, я бѣгала въ распредѣлитель за повидломъ... Потомъ все кончилось: онъ умеръ на своихъ грязныхъ простыняхъ, на рваной своей наволочкѣ, и много было хлопотъ съ похоронами, тяжело была этотъ уходъ за мертвецомъ.

Я осталась безъ работы; валенки у меня были изъ конра, платье изъ скатерти, шубка изъ маминей ротонды, шляпа изъ диванной подушки, расшитой золотомъ. Я могла жить, но могла и умереть — мнѣ какъ-то все было безразлично. Мама съ любопытствомъ и грустью преглядывалась ко мнѣ. Митенька сопѣлъ и заснивался поздно, глядя на то, какъ я штопаю, пью чай, играю, или, не обращая на него вниманія, читаю. Однажды вечеромъ

Митенька пришелъ какой-то сосредоточенный: Марія Николаевна Травина искала аккомпаниаторшу, не на время, навсегда, въ отъѣздъ, можетъ быть, за границу.

Сосредоточенъ Митенька былъ потому, что, во-первыхъ, онъ старался дѣльно и связно передать мнѣ условія работы, а это, какъ все житейское, было ему трудновато. Во-вторыхъ, ему было жаль меня, жаль, что я уѣду отъ мамы, отъ него; онъ не любилъ никакихъ переменъ въ жизни.

Мама сначала расгорялась. Она никогда не уѣзжала отъ своей матери, по жизнь ея была несчастливой. Можетъ быть, для меня было бы лучше не дѣлаться учительницей музыки, стать аккомпаниаторшей, огорчаться отъ нея, жить по своему? Я смотрѣла на нее. Это была уже старая женщина, ставшая за послѣдніе годы низенькой и худенькой, съ какими-то потухшими глазами, сѣдая, иногда вдругъ терявшая пухлые слова. Она не могла быть мнѣ совѣтчицей, опорой. Я смотрѣла со стороны на себя — и ничѣмъ не могла помочь ей, я когда-то была ей помѣхой въ жизни, а сейчасъ не была утѣшеніемъ. Чего-то смутно говорило мнѣ, что счастья отъ меня ей не будетъ никогда. Любила ли она меня? Да, любила, но въ любви этой была какая-то жалкая трещина, и когда она меня цѣловала, мнѣ все казалось, что она старается сгладить эту трещину — для себя, для меня, для Митеньки, для Бога, не знаю, для кого еще.

Я молчала. Митенька сидѣлъ, выложивъ руки на столъ, и тянулъ свое поясненіе мнѣ предлагаютъ мѣсто, постоянное мѣсто, съ жалованіемъ, съ обѣдомъ; меня повезутъ въ Москву, въ провинцію, я буду жить, «какъ своя»

— Камеристкой? Компаніонкой? — вдругъ съ злобынымъ любопытствомъ спросила я

Митенька даже разсмѣялся, улыбулась и мама. Надо было, радоваться, а радости не было. Но часы вотъ тоже идутъ безъ радости, и дождь идетъ безъ радости, а

все-таки стойко... Как прекрасенъ Божій міръ, и какъ въ немъ все правильно устроено!

И вотъ я надѣла валенки изъ ковра и весь мой, слегка маскарадный, костюмъ того времени, въ которомъ я была похожа на вылинявшаго, выцвѣтшаго подростка азіатской кочевой породы, и отправилась къ Маріи Николаевнѣ Травиной.

Петербургъ. 1919 годъ. Сугробы. Тишина. Холодъ и голодъ. Вслученный отъ ячменной каши животъ. Немытые мѣсяцъ ноги. Окна, забитыя тряпьемъ. Жидкая сажа печки... Вхожу въ домъ. Огромный домъ на Фурштатской. Лифтъ виситъ. Въ немъ — замерзшія нечистоты. Дверь во второмъ этажѣ. Стучу. Никого. Звоню. На удивленіе, звонитъ звонокъ. Открываетъ горничная въ наколкѣ и туфелькахъ. Тепло. Боже мой, тепло!.. Нѣтъ, этому повѣрить нельзя — натоплена огромная кафельная печка, да такъ, что подойти нельзя. Ковры. Занавѣски. Живые цвѣты — гіацинты синіе — въ корзинѣ на столикѣ. Коробка драгоцѣнныхъ папирсовъ. Синяя, почти какъ гіацинты, дымчатая кошка вытягиваетъ высокую спину, увидѣвъ меня, и женщина, почему-то въ бѣломъ платьѣ, — или капоть (я не различаю), или это то, что надѣвается подъ платье, — идетъ ко мнѣ, улыбаясь, протягивая руку съ розовыми длинными ногтями. И чулки у нея розовые тоже. Розовые чулки!

Она была на десять лѣтъ старше меня и, конечно, этого не скрывала, потому что она красива, а я нѣтъ. У нея высокій ростъ, свободно и естественно развитое сильное и здоровое тѣло, — я маленькая, сухая, на видъ бо-лѣзненная, хотя никогда ничѣмъ не болюю. У нея гладкіе черные волосы, заложенные на затылкѣ узломъ — у меня волосы свѣтлые, безцвѣтные, я стригу ихъ и кое-какъ завиваю. У нея круглое, красивое лицо, большой ротъ, улыбка неизъяснимой прелести, черные, съ зеленымъ отливомъ, глаза, — у меня глаза свѣтлые, лицо треугольное, скуластое, зубы мелкіе и рѣдкіе. Она ходитъ, говоритъ, поетъ

такъ увѣренно, руки ея такъ спокойно и ровно сопровождаютъ ея слова и движенія, въ ней затаена какая-то горячность, искра — Божія или демонская, — отчетливое «да» и «нѣтъ». Вокругъ меня, я это чувствую, иногда образуется туманное облако неувѣренности, равнодушія, скуки, въ которомъ я дрожу, какъ дрожать ночныя наѣкомыя въ солнечномъ свѣтѣ, прежде чѣмъ ослѣпнуть или замереть. И когда мы выходили — она впереди, безъ всякой заученности, безъ напряженія, кланяясь, улыбаясь, сіяя красотой и здоровьемъ, и я сзади — всегда въ слегка помятомъ платьѣ, чуть-чуть подсохшая, тоже кланяясь, пригибаясь и стараясь не такъ, а эдакъ держать свои руки, когда мы выходили обѣ: «Ну чего ты еще хочешь? — говорила я себѣ. — Ну чего ты еще хочешь въ этой жизни? Посчитаться? Поквитаться? Какъ? Да и съ кѣмъ? Тише воды. Ниже травы. Въ этой жизни не считаешься. А будущей то вѣдь нѣту!»

Она усадила меня въ кресло, взяла мои руки въ свои, потомъ сама разстегнула мнѣ воротъ, чтобы не было слишкомъ жарко. Потомъ велела раздѣться, позвонила горничной и приказала подать чай. Она смотрѣла на меня съ невыразимымъ вниманіемъ, забота была въ ея глазахъ, забота и любопытство. Сначала она только спрашивала: сколько мнѣ лѣтъ, какая я, что я люблю, согласна ли я уѣхать съ ней, если понадобится? Потомъ, когда принесли чай, она налила себѣ и мнѣ, положила мнѣ на тарелку тонкіе ломтики бѣлаго хлѣба, намазанные масломъ и покрытые ветчиной и сыромъ, и стала говорить сама, слегка повернувшись въ сторону, чтобы не смущать меня. И я ѣла, ѣла, ѣла.

— Я давно знаю по имени вашу маму, Сонечка, — говорила она, — я буду звать васъ Сонечкой, потому что вы еще совсѣмъ дѣвочка, и это, можетъ быть, если быть откровенной, единственное, что меня въ васъ пугаетъ, нѣтъ, не пугаетъ, а беспокоитъ немножко. Не будетъ ли вамъ со мной скучно? Не захочется ли вамъ домой, въ Питеръ

— вѣдь мы можемъ уѣхать далеко, очень далеко... Вы вѣрное и не представляете себѣ, какъ далеко. Я много работаю. 4 часа въ день непременно, что бы ни было, безъ поблажекъ для себя самой, а значить и для васъ. Потомъ концерты. Вѣдь это будетъ настоящее турнэ, Сонечка, первое мое настоящее турнэ, и оно должно быть удачнымъ.

Я сдѣлала движеніе.

— Меня знаютъ только въ Петербургѣ, — продолжала она, замѣтивъ это. — Я хочу большаго. Я очень честолюбива. Безъ честолюбія не бываетъ таланта; надо быть честолюбивой, Сонечка, и я васъ этому научу.

Я вздрогнула, но на этотъ разъ она не замѣтила ничего.

Она говорила. Я слушала. Я понимала, что жизнь настъ можетъ связать на долгіе годы, что разговоръ этотъ не повторится — бываетъ такъ: чѣмъ люди болѣе сживаются другъ съ другомъ, тѣмъ вѣрнѣе пропадаетъ у нихъ потребность говорить о себѣ. Этотъ разговоръ могъ оказаться единственнымъ, я это чувствовала, и все же я засыпала, я знала, что сейчасъ засну.

Я убѣждала себя, что мнѣ надобно ловить каждое слово, что все это пригодится мнѣ когда-нибудь послѣ. Между нами зажглась лампа подъ низкимъ шелковымъ абажуромъ, занавѣси на окнахъ закрыли бѣлые сумерки, низкій, иѣжный голосъ текъ надо мною, пахло духами, губы мои еще чувствовали недавнее прикосновеніе тонкаго, прохладнаго ветчиннаго жира. Ноги мои отяжелѣли, я поставила ихъ, какъ тумбы, передъ собой и какъ бы забыла о нихъ, плавая въ сладкой дремотѣ, гдѣ какія-то тѣни шли навстрѣчу усталымъ моимъ глазамъ, брали меня за руки, обнимали за плечи, клали на лицо теплыя невѣсомыя руки и медленно раскачивали мою голову, въ то время, какъ я сверхестественнымъ усиліемъ старалась держать открытыми мои пьяные отъ тепла и сытости глаза.

Она теперь говорила о годахъ своего ученія, о своемъ замужествѣ, о выступленіяхъ въ провинціи во время вой-

ны, о томъ, что жизнь, вся жизнь еще впереди у нея, «и у васъ, Сонечка», — добавила она, о заморскихъ странахъ, куда можетъ быть, «мо-жетъ быть», мы поѣдемъ когда-нибудь, о Москвѣ, о Неждановой, о романахъ Митеньки, ей посвященныхъ, и о многомъ, многомъ, пока не увидѣла, что я неподвижно и тяжело смотрю на нее.

— Я совсѣмъ заговорила васъ, другъ мой милый! — вскричала она. — Простите меня.

Я встала. Она дала мнѣ ноты, велѣла придти послѣзавтра и довела до дверей. И тамъ она, обнявъ меня, поцѣловала въ обѣ щеки.

III.

Выйдя отъ Маріи Николаевны, я увидѣла, что былъ поздній вечеръ, была тьма, шель снѣгъ. Сонъ мой сразу прошелъ отъ вѣтра, ледениваго мокрое лицо. То, что я только что видѣла — я видѣла впервые, и слова, слышанныя только что, были совершенно для меня новы. Что было въ нихъ? Ничего особенного, главное, что я ихъ и не помнила, и едва поняла, но то, какъ со мной говорили, и то, кто именно ихъ говорилъ, было такъ необыкновенно. Я никогда еще не встрѣчала въ своей жизни такой женщины — отъ нея шло на меня дуновение какого-то таинственнаго, прекраснаго и побѣждающаго равновѣсія.

Но когда я думала о гіацинтахъ, о горничной, о теплѣ и чистотѣ, что-то бунтовало во мнѣ, и я спрашивала себя: неужели все это дѣйствительно существуетъ, и не найдется управы на это? Вѣдь нашлась же она на насъ съ мамой, на лѣвца моего, на тысячи другихъ, у которыхъ отмерзаютъ пальцы, крошатся зубы, лѣзутъ волосы отъ голода, холода, страха, грязи, — неужели не найдется, товарищи чекнисты, управы на эту квартиру, эту женщину, эту дымчатую кошку, и никто не вселитъ въ эту гостиную вливающее семейство какого-нибудь слесаря, которое роя-

лемъ воспользуется, какъ уборной, а ее по утрамъ будутъ заставлятъ его чистить - своими розовыми руками, и это будетъ называться «гражданской повинностью?» Неужели такъ вотъ все это и останется? И мы всѣ, оборванные, обворованные, голодные, разбитые, стершимъ это? И голландскій сыръ, и толстое полѣно съ коричневой корочкой въ печкѣ, и молоко на блюдечкѣ, въ которое кисанька макаетъ свой язычекъ?

И отъ этихъ мыслей мнѣ становилось горячо въ груди, слезы и слѣгъ замерзали у меня на носу и щекахъ, я вытиралась обшлагомъ и бѣжала дальше, неслышно, въ валенкахъ, держа подмышкой ноты. И сквозь эту злобу и ожесточеніе, которыя впервые въ жизни снизили на меня съ такой силой, и гдѣ я почувствовала, что дышу легче, чѣмъ въ слѣпавомъ и жидкомъ своемъ ко всему равнодушіи, я вдругъ вспомнила ее самое, Марію Николаевну Травину, поцѣловавшую меня въ обѣ щеки, смотрѣвшую на меня внимательно и нѣжно. И она мнѣ являлась тогда такимъ, непостижимымъ совершенствомъ, что я плакала еще сильнѣе, плакала навзрыдъ и все бѣжала, бѣжала по улицѣ, сама не зная, зачѣмъ я бѣгу, куда, и зачѣмъ мнѣ теперь домъ, наша комната, мама, и что я сама такое, и вотъ этотъ городъ — зачѣмъ онъ? И что такое жизнь? И Богъ? Гдѣ Онъ? Почему Онъ не сдѣлалъ всѣхъ насъ такими же, какой сдѣлалъ ее?

На слѣдующій день я съ утра сѣла за рояль. Партитуры были самыя разныя: были оперныя партіи, были романсы Глинки, и новая музыка, и какія-то особенныя вокализы, которыхъ я никогда до того не слышала. Я занималась весь день и утро. На слѣдующій день въ 3 часа я была на Фурштатской. Рояль былъ прекрасный концертный Блютнеръ; Марія Николаевна съ часъ пѣла вокализы, потомъ я выпила чаю съ кренделями и по ея просьбѣ сыграла ей Шуберта. Она слушала и благодарила. Въ это время два раза звонилъ телефонъ въ сосѣдней комна-

тѣ, тамъ кто-то подходилъ и отвѣчалъ, но ее не вызывали. Потомъ она пѣла, пѣла...

Я знаю, есть люди, которые не признаютъ пѣнія: человекъ становится въ позу, раздвѣаетъ ротъ (либо естественно — и тогда уродливо, либо искусственно — и тогда смѣшно) и, стараясь сохранить на лицѣ выраженіе неприужденности, вдохновенности и цѣломудрія, протяжно кричить (или гудить) не всегда удачно соединенныя слова, иногда бессмысленно заторопленныя, иногда разрѣзанныя на куски, какъ для шарады, иногда нелѣпо повторенныя нѣсколько разъ.

Но когда она, вдохнувъ (не театрално, а такъ же просто, какъ мы вдыхаемъ горный воздухъ, высунувшись изъ окна вагона), раздвинула свои крупныя, красивыя губы, и чистый, сильный, какой-то до краевъ полный звукъ вдругъ зазвучалъ надо мною, я поняла внезапно, что это и есть безсмертное и бесспорное, отъ чего сжимается сердце, и мечта о крыльяхъ воплощается въ дѣйствительность для человека, вдругъ потерявшаго всю свою вѣсомость. Какая-то слезная радость вдругъ захватила меня. Пальцы мои дрогнули, заблудившись въ черныхъ клавишахъ; я считала про себя, боясь на первыхъ порахъ разочаровать ее въ мое стараніи, но я чувствовала, какъ судорога проходить у меня по спинному хребту. Это было драматическое сопрано, съ прекрасными, устойчивыми верхами и глубокими, ясными нижними нотами.

— Еще разъ Сонечка, — сказала она, и мы повторили арію. Не помню, что это было. Кажется, это была арія Елизаветы изъ «Тангейзера».

Потомъ она минутъ пять отдыхала, гладила кошку, выпила полчашки остывшаго чаю, заставила рассказать про Н., про мое дѣтство. Но рассказать мнѣ было нечего. Развѣ что про Митеньку? Ахъ нѣтъ! Только не про Митеньку. Слава Богу, она его хорошо знаетъ, вѣдь ее мужъ — двоюродный братъ Митенькиной матери. Талантливѣе-то

онъ талантливъ, но вѣдь съ нимъ бываетъ, что онъ имени своего вспомнить не можетъ.

И опять она пѣла, а я, еще осторожно, еще робко, но старательно сопровождала ее въ этомъ чудѣ, которое напоминало полетъ, пареніе, и были минуты, когда опять игла входила мнѣ въ сердце, прошивала меня всю. Нѣсколько разъ она прерывала меня, давала указанія, просила начать сызнова. Она приглядывалась, прислушивалась ко мнѣ. Была ли она мной довольна?..

Въ половинѣ седьмого раздался сильный звонокъ.

— Подождите, — сказала мнѣ Марія Николаевна, — это ко мнѣ.

Она вышла въ переднюю, и я слышала, какъ она сама открыла дверь.

— Я звонилъ два раза, — сказалъ громкій мужской голосъ, — но мнѣ объявляли, что вы заняты и подойти не можете. Въ чемъ дѣло? Неужели вамъ трудно подойти къ телефону?

— Тише, тише, Сеня, — отвѣтила она, — у меня урокъ, репетиція. У меня аккомпаниаторша.

— Къ чорту всѣхъ! Я звонилъ, чтобы ѣхать съ тобой кататься. Машина внизу. Хотѣлъ въ 4 — задержали, хотѣлъ въ 5 — шофера не было. Только сейчасъ выбрался.

— Сейчасъ скоро семь. Куда же ѣхать? Вѣдь Павелъ Федоровичъ, вотъ-вотъ, вернется.

Человѣкъ, видимо, что-то хотѣлъ отвѣтить, но я почувствовала, какъ она закрыла ему ротъ рукой. Тамъ шептались. Потомъ все стихло. Марія Николаевна вернулась въ гостиную.

И дѣйствительно, не прошло и четверти часа, какъ вернулся домой Павелъ Федоровичъ.

— Мой мужъ, — сказала Марія Николаевна, вставая къ нему навстрѣчу, — Сонечка Антоновская. — И мы пожали другъ другу руки.

Я едва успѣла подумать, что, вотъ, я познакомилась съ человѣкомъ, и уже у меня есть отъ него тайна, уже я

сообщница съ кѣмъ-то противъ него, какъ Марія Николаевна сказала, отойдя къ окну:

— Только что завѣжалъ Сеня. Звалъ кататься. Нагрубилъ за то, что не подошла къ телефону, когда онъ звонилъ. Вотъ порохъ!

— Что жъ ты не поѣхала? На дворѣ снѣжно, чудесно.

Она не отвѣтила. Я стояла и смотрѣла въ полъ. Павелъ Федоровичъ сѣлъ на ближній стулъ. Онъ былъ въ высокихъ сапогахъ. Я подняла голову. На немъ былъ френчъ, онъ носилъ бороду, волосы его были длиннѣе обычнаго, но не «артистическіе», а какіе-то «купеческіе», и наружность его была самая обыкновенная, немного простецкая. На видъ ему было лѣтъ 45.

Мы обѣдали втроемъ. Я старалась не ѣсть слишкомъ жадно, и все-таки подъ конецъ обѣда такъ отяжелѣла съ непривычки, что мнѣ было трудно справиться съ собой. Горничная обносила блюда, сперва Маріи Николаевнѣ, потомъ мнѣ, потомъ Павлу Федоровичу. Въ громадной столовой я смущалась еще болѣе, чѣмъ въ гостиной, къ которой успѣла немного привыкнуть. Разговоръ почти все время шелъ обо мнѣ. Выпивъ стаканъ краснаго вина, я незамѣтно охмѣлѣла; въ зеркалѣ буфета, въ которое я иногда попадала глазами, я видѣла, что стала красной, какой-то припухлой. «Она потому-то и сказала ему, что тотъ приходилъ, что во мнѣ еще не увѣрена». И я засмѣялась не къ мѣсту. «Надо добиться ея довѣрія».

«Зачѣмъ? Чтобы потомъ предать?» Я уронила ложку въ тарелку, и компотъ брызнулъ на скатерть. «Надо добиться, заслужить... Чтобы потомъ, незамѣтно, когда понадобится, вдругъ укрыть ее отъ какой-нибудь бѣды, вдругъ спасти ее, послужить ей, да такъ рабски, чтобы она не знала даже, что это я... Надо стать ей необходимой, незамѣнимой, преданной до конца, не жалѣя себя... Или когда-нибудь предать ее, со всей ея красотой и голосомъ, чтобы доказать, что есть вещи посильнѣе ея, есть вещи,

которыя могутъ заставитьъ ее плакать, что есть предѣлъ ея неуязвимости».

Я была немножко пьяна. А она улыбалась моему красному лицу, блестящимъ глазамъ, говорила о моемъ покойномъ пѣвцѣ, котораго она знала, за которымъ, оказывается, бѣгала, будучи дѣвочкой.

— Нѣтъ, вы и не представляете себѣ, Сонечка, какъ снѣ бывалъ великолѣпенъ, когда надѣвалъ свои палевые штанишки во второмъ дѣйствии «Онѣгина»... Но голосъ сталъ пропадать у него рано, онъ пилъ, какъ шведъ.

— Ему передъ смертью изъ Петрокоммуны крупу прислали, — сказала я.

Послѣ обѣда они собрались куда-то ѣхать, и я стала прощаться. Но прежде, чѣмъ отпустить, Марія Николаевна задержала меня въ гостиной.

— До завтра, — сказала она. — Съ вами хорошо, очень хорошо работать. Я думаю, у васъ настоящій талантъ аккомпанировать — это бываетъ очень рѣдко. Вы играли Шуберта — этого не надо дѣлать, это не для васъ. Но мнѣ съ вами будетъ замѣчательно, это я чувствую. А вы? Вамъ нравится у меня?

Я едва пробормотала нѣсколько словъ.

— Ну прощайте. Надо идти переодеваться. Сонечка, вы не могли бы опустить письмо? Только не въ тотъ ящикъ, что у насъ на углу, — изъ него уже годъ, какъ письма не вынимали, а на Литейномъ, по лѣвой рукѣ.

— Хорошо, Марія Николаевна.

Тутъ я замѣтила, что мы одиѣ, что Павла Федоровича нѣтъ въ комнатѣ.

Она дала мнѣ твердый синій конвертъ и я ушла. На лѣстницѣ было темно, я ощупью добралась до низу, едва не поскользнувшись на обледенѣлыхъ ступенькахъ. На улицѣ тоже была совершенная темень, искрился снѣгъ, самъ собой — не было ни фонарей, ни луны. Одиѣ звѣзды. Я дошла до Литейнаго. Прочестъ, кому было адресовано письмо, я не могла. По всей улицѣ ни влѣво, ни впра-

во, не было ни одного огня, я ничего не видѣла передъ собой, шла у самыхъ стѣнъ домовъ, чтобы не споткнуться о сугробъ или тумбу. У ящика я остановилась. При свѣтѣ звѣздъ я старалась прочесть адресъ. Я задумала, если я разберу хотя бы первую букву имени (оно должно было начинаться на «С»), я письма не брошу, принесу домой, вскрою его, прочту и отправлю завтра утромъ; я присматривалась довольно долго, глаза мои налились слезами. Наконецъ, я увидѣла высокое, узкое «А». И вдругъ сразу прочла, будто гдѣ-то за мной блеснула молнія: «Андрею Григорьевичу Беръ. Звѣринская, 19». Не знаю, почему я испугалась. Я бросила письмо въ почтовый ящикъ и съ колотящимся сердцемъ постояла немного.

Мимо меня прошли два человѣка, два оборванца, они несли что-то большое и тяжелое, мнѣ показалось, что это дверь. Мнѣ стало еще страшнѣе. Внезапно въ сторонѣ могла раздались выстрѣлы. Я побѣжала. Я старалась почему-то вспомнить лицо Павла Федоровича, и не могла. Я старалась вспомнить его голосъ, и что онъ говорилъ. И не могла. Я хотѣла подумать о томъ, любить ли она его, любить ли онъ ее? Кто онъ? Что онъ дѣлаетъ? Что съ нами тремя будетъ дальше? И не могла. Она стояла у меня въ мысляхъ. Ея голосъ. Ея какое-то слишкомъ вольное, самоувѣренное обращеніе съ людьми, съ будущимъ. И то, что на такое обращеніе она имѣла безспорное, какое-го навсегда свыше данное ей право.

IV.

Прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ, я каждый день бывала у Травинныхъ, я работала съ Маріей Николаевной, обѣдала, иногда оставалась вечеромъ играть съ Павломъ Федоровичемъ въ шашки, но ни «Сени», ни «Андрея Григорьевича Беръ» я не видала и о нихъ ничего не слыхала. Дома у меня все шло по прежнему, но я постепенно уходи-

да изъ старой своей жизни. Мама, ея заботы, ея недомаганія, оставляли меня безучастной, Митенька переживалъ свой первый романъ съ внучкой Х., въ которую, по общему мнѣнію, онъ былъ влюбленъ исключительно по инерціи, такъ какъ ужь очень уважалъ ея дѣда — извѣстнаго композитора. Впрочемъ, Х-у Митенька и не думалъ подражать, а уходилъ въ своихъ «хоралахъ» все дальише и собирався даже для ихъ исполненія строить какой-то особенный рояль, съ четырьмя клавиатурами. Но довольно о Митенькѣ. Устроивъ меня къ Травиной, онъ постепенно исчезъ изъ моей жизни и встрѣтилась я съ нимъ уже въ Парижѣ, сравнительно недавно. Но объ этомъ разскажу въ свое время.

Другихъ знакомыхъ, которые бы приходили ко мнѣ, съ которыми связывала бы меня какая-нибудь теплота, у меня не было. Да и все прежнее казалось мнѣ теперь нестоящимъ памяти — оно и въ самомъ дѣлѣ забывалось. Утромъ я упражнялась, стояла въ очередяхъ, топилла печку; послѣ завтрака, состоявшаго всегда изъ одного и того же — селедка и каша — я мыла посуду, чистилась, переодевалась въ единственное приличное платье и уходила.

Тамъ было тепло. Тамъ меня кормили, говорили, что жизнь трудная, но занимательная штука, иногда что-нибудь дарили. Марія Николаевна, вначалѣ чуть-чуть разсѣянная и обяательно-тихая, къ семи часамъ приходила въ веселое, дѣловое настроеніе. Павелъ Федоровичъ, иногда вернувшись немного раньше, сидѣлъ и слушалъ насъ въ углу гостиной. Но чаще мы, какъ только онъ приходилъ, сейчасъ же садились за столъ. Черезъ недѣлю я уже знала всю ихъ жизнь, и мнѣ было смѣшно, что въ первый день я такъ волновалась отъ любопытства и, Богъ знаетъ, еще какихъ чувствъ. Павелъ Федоровичъ служилъ въ одномъ изъ тогдашнихъ продовольственныхъ «главковъ». Все, что ему было нужно, онъ получалъ, вплоть до битой птицы и музейныхъ цѣнностей. Нельзя сказать, чтобы онъ «выживался» на своей службѣ, онъ просто не считалъ

нужнымъ быть слишкомъ щепетильнымъ, любить жить удобно, сладко, сытно, еще два года тому назадъ онъ былъ очень богатъ, даже какъ-то невѣроятно богатъ, богаче всѣхъ, кого я знала, богаче Митенькиныхъ родителей. И теперь, ничего не желая знать, онъ хотѣлъ жить благополучно, если не роскошно, и какъ ни странно, это ему удавалось. Главная перемена въ ихъ жизни заключалась въ томъ, что они оба постепенно растеряли прежній свой кругъ и не старались обзавестись новымъ. Что говорить: кое-кто былъ разстрѣлянь, кое-кто сидѣлъ въ тюрьмѣ, многіе бѣжали, другіе раззнакомились съ ними, считая, что Травинъ — подлець. Приходили какіе-то актеры, родственники, прежніе служившіе Павла Федоровича — но не это былъ тотъ «свѣтъ», въ которомъ Марія Николаевна блистала еще недавно.

Въ началѣ апрѣля Марія Николаевна предложила мнѣ переѣхать къ нимъ. Они готовились къ отъѣзду въ Москву, квартира была продана какому-то восточному консулу. Эта послѣдняя недѣля въ Петербургѣ прошла для меня, какъ одинъ день. Мнѣ были подарены платья, мнѣ были даны деньги на парикмахера. Марія Николаевна вдругъ вторглась въ мою жизнь съ другого конца: не было вещи, о которой она бы меня не спросила: и въ которомъ часу я встаю, и на какомъ боку я сплю, и какой цвѣтъ мнѣ больше всѣхъ идетъ, и ухаживалъ ли за мной кто-нибудь, и вѣрю ли я въ Бога? Словомъ, я чувствовала, что внезапно оказалась совершенно незащищенной отъ нея, что, вотъ-вотъ, она узнаетъ обо мнѣ рѣшительно все, и то, какъ я отношусь къ ней, и что о ней думаю. У нея была такая рѣшительная сила во всемъ, что она дѣлала, что устоять передъ ней было невозможно. Еще минута — въ тотъ вечеръ (дня за два до отъѣзда) — я рассказала бы ей о своемъ происхожденіи, я бы, можетъ быть, разрыдалась, въ такомъ я была состояніи. И она поняла, что зашла въ мои вопросы слишкомъ далеко. (Она между прочимъ, спросила меня, люблю ли я кого-нибудь?)

и я быстро на это сказала: нѣтъ, потому что Евгений Ивановичъ былъ въ это время совершенно забыть, отъ мамы я въ эти недѣли отошла очень далеко, и такимъ образомъ, если я кого и любила въ ту минуту, то только ее, Марію Николаевну Травину, конечно). Она поняла, что зашла слишкомъ далеко, и что пора прекратить бесѣду. Она всгала и сказала:

— Пойдемъ, попоемъ немножко. Хорошо?

Она могла работать помногу, для нея не существовало ни «состоянія», ни «настроенія». Она готовилась къ концертамъ въ Москвѣ. Наканунѣ отъѣзда она въ посадннй разъ выступила въ Петербургѣ, и это былъ день перваго моего выступления вмѣстѣ съ ней.

Десятки разъ послѣ этого я выходила съ ней на эстраду, но такъ никогда и не знала, какъ мнѣ кланяться, куда смотрѣть, улыбаться ли на аплодисменты и въ сколькихъ шагахъ выходить за ней? Я проходила быстро, какъ тѣнь, не глядя въ публику, я садилась опустивъ глаза, клала руки. А она раздавала свои улыбки и взгляды такъ, словно и не думала ни о чемъ, а только: «Вотъ я. Вотъ вы. Хотите послушать? Сейчасъ вамъ спою. Какая радость доставить вамъ удовольствіе!»

Такъ, мнѣ кажется, я читала ея мысли тогда, въ Петербургѣ, въ то время, какъ она уже стояла передо мной, въ кругломъ выгибѣ рояля. «Сонечка!» — шепнула она, и я поняла, во-первыхъ, что надо начинать, а, во-вторыхъ, что она — пѣвица, а я — аккомпаниаторша, что концертъ этотъ — ея концертъ, а не «нашъ», какъ она говорила, что слава — для нея, что счастье — для нея, что мени кто-то обманулъ, обмѣрилъ, обмѣсилъ, что я оставлена въ дуракахъ Богомъ и судьбой.

Огромный залъ былъ полонъ. Молодежь въ впрактѣ ломила въ артистическую, гдѣ насъ окружилъ весь цвѣтъ консерваторіи и Маринскаго театра. Я стояла молча, время отъ времени Марія Николаевна знакомила меня съ подходившими, большинство изъ нихъ я знала, но го-

ворить мнѣ съ ними казалось неприличнымъ, да и не о чемъ было мнѣ говорить. Кто-то похвалилъ меня, переспросивъ мою фамилію, но тутъ подошелъ Павелъ Федоровичъ, и всѣ сразу засмѣялись чему-то, заговорили.

— Сонечка, гдѣ-то мой платокъ, — шепнула мнѣ Марія Николаевна, дѣлая испуганные глаза, — что-то въ носу какъ-будто сыро.

И я понятливо заискала платокъ, и нашла его подъ стуломъ, и подала ей.

Мама была тутъ же. У нея было счастливое лицо, чуть покрасившій отъ умиленія носъ. Она успѣла шепнуть мнѣ:

— Первый твой триумфъ, Сонечка!

Я удивленно взглянула на нее — нѣтъ, она не смѣялась надо мной.

Оттого, что часы были переставлены впередъ на три часа, оттого, что стоялъ апрѣль, ночь была совсѣмъ свѣтлой; мы вернулись домой въ первомъ часу. Я слышала, какъ Павелъ Федоровичъ ужиналъ одинъ въ столовой, стоя у буфета, я слышала, какъ Марія Николаевна позвонила кому-то по телефону. Ночью можно было соединиться съ трудомъ. Ей долго не давался номеръ. Потому она говорила — очень тихо, очень тихо. Я не двигалась у себя. Я могла приложить ухо къ двери и услышать каждое слово, но я не двигалась, я сидѣла на постели. Какое мнѣ дѣло, что у нея любовникъ, или два? Пусть Павелъ Федоровичъ убьетъ ее или ихъ, или она сама надъ собой что-нибудь сдѣлаетъ. Я, я-то что буду въ жизни дѣлать? Я, я-то зачѣмъ живу на свѣтѣ?

И вдругъ открывается дверь, входитъ она:

— Вы еще не спите? Дайте я поцѣлую васъ. Спасибо за сегодняшній вечеръ.

Я беру ее за руку, бормочу: ну, что вы, Марія Николаевна, при чемъ здѣсь я?

Она кладетъ мнѣ въ ротъ черносливъ и смѣется.

На слѣдующій день въ 8 часовъ вечера мы выѣхали въ Москву.

Мама была на вокзалѣ, и Митенька, и внучка Х., и еще человекъ 30 полужнакомыхъ или вовсе незнакомыхъ мнѣ людей. Марія Николаевна стояла въ окнѣ международнаго вагона, въ бѣлой лайковой шапочкѣ, съ бѣлымъ песцомъ на плечѣ. Я старалась поймать, на кого изъ мужчинъ она чаще всего смотритъ, но мама, заплаканная, потерявшая всѣ слова, то и дѣло становилась между мной и ею.

— Возвращайся, дѣвочка моя, — говорила она, — что-то со всѣми нами будетъ? Мой талантикъ свѣтлый, будь счастлива! Дай Богъ Травиннымъ здоровья, какіе они добрые, милые. Будь осторожна, смотри, старайся... Сонечка, моя крошечка...

Я слушала ея лепетъ и несмотря на то, что половину его не понимала, что-то доходило до меня въ тѣ минуты изъ этихъ послѣднихъ словъ. «Мамочка, — отвѣчала я, — все будетъ хорошо, мамочка, видишь, какъ уже все хорошо устраивается. И о чемъ беспокоиться? Не надо беспокоиться. Будь здорова, мамочка». Она плакала, обнимала меня. Прозвонилъ звонокъ. Я вскочила на площадку. Въ это время изъ толпы провожающихъ вышелъ человекъ въ военномъ френчѣ съ нашивками, съ лоснящейся у пояса кобурой, сдѣлавъ два шага за вагономъ, крѣпко пожалъ свѣсившуюся руку Павла Федоровича, поцѣловалъ два раза руку Маріи Николаевны и взмахнулъ фуражкой. Всѣ замахали шляпами и платками, даже Митенька. Человекъ во френчѣ крупнымъ шагомъ пошелъ рядомъ съ окномъ.

— Въ Москвѣ увидимся, — сказалъ онъ.

— Довольно, подѣ поѣздъ попадешь, — отвѣтила она.

— Въ Москвѣ увидимся, — повторилъ словно съ угрозой человекъ.

Поѣздъ пошелъ быстро, онъ отсталъ.

— Сеня до того растолстѣлъ,—сказалъ Павелъ Федоровичъ, обращаясь ко мнѣ, — что скоро бѣгать разучится.

Марія Николаевна не отвѣтила. Она стояла у окна и смотрѣла назадъ. По направленію ея взгляда я видѣла, что она смотритъ не въ сторону провожающихъ, впереди которыхъ размахивалъ фуражкой Сеня, а куда-то лѣвѣе, смотреть грустно, долго...

У насъ было два смежныхъ купэ. Въ вагонѣ кромѣ насъ ѣхали какіе-то совѣтскіе сановники, съ которыми Павелъ Федоровичъ, имѣвшій въ Москву командировку, сейчасъ же познакомился. Они сперва выпили у насъ, потомъ — мы у нихъ. Марія Николаевна, кутаясь въ большой пестрый платокъ, продержала одного изъ нихъ на колѣняхъ передъ собой около получаса, съ полнымъ бокаломъ вина въ рукѣ. У Павла Федоровича шель съ другимъ длинный, увлекательный разговоръ объ охотѣ, о знаменитой коллекціи ружей Карахана, о царской охотѣ на зубровъ. Третій, молодой, худенькій, съ ангельскимъ лицомъ и большими глазами, непремѣнно требовалъ, чтобы я выпила съ нимъ на «ты». Мнѣ было страшно, но я сдѣлалась съ нимъ руками и вытянула свой стаканъ, послѣ чего онъ сказалъ, что поцѣлуетъ меня. Мнѣ стало еще страшнѣе. Я поняла, что ольянѣла и могу влюбить въ него, если онъ это сдѣлаетъ.

- - Я научу тебя цѣловаться, - говорилъ онъ, — ничего, что ты не умѣешь, я научу тебя.

Марія Николаевна изъ другого угла купэ сказала:

- - Это такъ быстро не дѣлается.

Онъ обнялъ меня, и я почувствовала что-то нѣжное и влажное во рту.

Ночь летѣла въ окно, кто-то шатался по корридору, кто-то цѣловалъ мнѣ руки, безъ назойливости, очень осторожно; кто-то наконецъ, нѣжно довелъ меня до моего купэ. Ночь легла въ окно. Поездъ мчался. Я чувствовала, что это жизнь летитъ на меня, а я мчусь въ нее, въ бархатную неизвестность.

V.

Сеня пріѣхалъ въ Москву черезъ двѣ недѣли послѣ насъ — я ждала его, какъ, вѣроятно, ждутъ любимаго человѣка. А между тѣмъ, время бѣжало круто и рѣшительно впередъ, и каждый день московской жизни приносилъ нѣчто новое.

Мы остановились у сестры Маріи Николаевны, на Спиридоновкѣ; въ первомъ этажѣ особняка помѣщалось какое-то учрежденіе, во второмъ — жило 15 человѣкъ, все своихъ, родныхъ. Одна я была чужая.

Съ перваго дня нашего пріѣзда начались приходы какихъ-то развязныхъ господъ; они не спрашивали, когда и гдѣ будетъ пѣть Марія Николаевна, и что будетъ пѣть. Они какъ бы реквизировали ее и приказывали ей, правда вѣжливо, но не слушая никакихъ возраженій: то ѣхать на поданой къ крыльцу подводѣ въ Кремль на какой-то раутъ, то пѣть въ филармоніи — и именно тогда-то и то-то, то принять на будущую зиму ангажементъ въ Большой театрѣ. Павелъ Федоровичъ, который почти не выходилъ изъ дому (командировка его оказалась фиктивной), однажды сказалъ:

— Не осенью, а сейчасъ удирать отсюда. Развѣ можешь ты такъ жить?

Марія Николаевна посмотрѣла на него съ довѣріемъ, и мы поняли, что онъ начнетъ завтра доставать фальшивые документы.

Но кромѣ этой реквизиціи, я узнала въ Москвѣ и другое: я узнала въ полной мѣрѣ чужую славу, и я даже немного привыкла къ ней. Марія Николаевна не отпускала меня отъ себя. Иногда высылала меня говорить съ какими-то требовательными поклонниками, иногда просила сѣздить куда-нибудь по дѣлу. Помню, на какомъ-то ужинѣ послѣ, кажется, второго концерта, она должна была сидѣть рядомъ съ Луначарскимъ и въ послѣднюю минуту посадила

меня на свое мѣсто. Луначарскій покраснѣлъ, смолчалъ, но къ концу ужина разошелся чрезвычайно:

— Вы дѣвушка или женщина? — спрашивалъ онъ меня, дыша на меня виномъ. — Отвѣтите, вы дѣвушка или женщина?

Запинаясь, я чистосердечно призналась, что я дѣвушка. Онъ объявилъ объ этомъ на весь столъ, прослезился и хотѣлъ поклониться мнѣ въ ноги, но Павелъ Федоровичъ во время вступился.

Чужая слава, чужая красота, чужое счастье окружали меня, и самое для меня трудное было то, что я знала, что онъ заслужены, что если бы я находилась не у рояля, на эстрадѣ, гдѣ меня не замѣчали, не гдѣ-то за Маріей Николаевной въ артистической, а въ той толпѣ, которая хлопала ей, или выбѣгала за ней на подѣздъ, я бы сама такъ же восторженно смотрѣла на Травину, такъ же бы хотѣла говорить съ ней, дотронуться до ея руки, увидеть ея улыбку. Но сейчасъ я мечтала только объ одномъ — найти слабое мѣсто этой сильной женщины, получить возможность, когда мнѣ станетъ не вмоготу оставаться ея тѣнью, — распорядиться ея жизнью.

Отношенія ея съ Павломъ Федоровичемъ много разъ удивляли меня — несмотря на то, что у нея несомнѣнно была какая-то тайна, они были безоблачны. Онъ любилъ ее такъ, какъ только можно любить. Они были женаты шесть лѣтъ. Каждое слово, каждая мысль ея были для него выше суда, она была всей его жизнью. И она отвѣчала ему полной мѣрой. А я ждала Сеню, чтобы поймать ее въ обманѣ. И Сеня пріѣхалъ однажды утромъ, прямо къ намъ — съ поѣзда.

— Сними фуражку, что за хамская привычка входить въ комнату въ фуражкѣ, — сказала она, перетирая полотенцемъ только что вымытые волосы. — Ну что въ Питерѣ?

Я выпила изъ комнаты и остановилась за дверью. Но разговоръ сразу сталъ тихимъ. Два раза брякнули Сени-

ны шпоры. Когда пришелъ Павелъ Федоровичъ, я, едва скрывая свое волненіе, сказала ему, что у Маріи Николаевны кто-то сидитъ.

Онъ заглянулъ въ шелку двери и опять ее закрылъ.

— Тамъ какое-то галифе, — сказалъ онъ мнѣ. — Это завѣрное Сеня. Пріѣхалъ-таки дуракъ! Ну, пусть объяснятся.

Мы посидѣли въ дѣтской, гдѣ не было никого. Прошло полчаса. Павелъ Федоровичъ показывалъ мнѣ какія-то бумаги и просилъ запомнить новыя имена, подъ которыми мы тронемся на югъ на будущей недѣлѣ. Я волновалась ужасно, и мнѣ было странно, что онъ совершенно спокоенъ. Внезапно, въ переднюю вышли. Слышно было, какъ вышли двое, но ни Марія Николаевна, ни ея гость не произнесли ни одного слова. Сеня рванулъ входную дверь.

— У него все-таки были какія-то сумасшедшія надежды, — сказала Марія Николаевна, входя къ намъ. — Какъ тяжело это. 15 лѣтъ милой дружбы: веселый, неглупый человекъ. Потеряла я его.

И она съѣла. Павелъ Федоровичъ спросилъ:

— Но ты не была груба?

— Немножко, — отвѣтила она, и облокотившись на руку, задумалась.

Я стояла у окна, вытянувъ руки по швамъ. Я хотѣла кинуться къ нимъ обоимъ, просить, чтобы они меня прогнали отъ себя.

— А у меня новости, капитальныя новости, — заговорилъ Павелъ Федоровичъ, — все готово, и я думаю, мы скоро двинемся.

Марія Николаевна подняла голову.

— Постылая Москва, — сказала она. — На сѣверъ, на югъ — все равно куда, только бы вонъ.

И черезъ пять дней мы тронулись въ путь.

Наше путешествіе было таинственно и опасно, оно стоило много денегъ и драгоценностей и длилось около мѣсяца — но даже всѣми своими исключительными минута-

жи оно было санцкомъ похоже на другія такія же путешествія, и если намъ во время нашего странствованія казалось, что только намъ на долю выпала ловить на себѣ паразитовъ, быть обокраденными до нитки, прятаться въ теплушкѣ, уцѣлѣвшей на развороченныхъ динамитомъ путяхъ, то по прїѣздѣ въ Ростовъ мы узнали, что десятки, сотни людей испытали то же, что и мы, и въ общей веселой и обильной жизни никто уже и не упоминаетъ объ этомъ. У насъ теперь былъ апартаментъ въ гостиницѣ. Павелъ Федоровичъ въ нѣсколько дней сдѣлалъ какое-то почти миллионное дѣло, Марія Николаевна занималась, выступала, блистала. А я... я была въ первый разъ въ жизни влюблена. Мы ходили къ Филиппову ѣсть пирожныя. Ему было 18 лѣтъ, онъ былъ на первомъ курсѣ, и его глупость умиляла меня до слезъ.

Тутъ было все, и «если я уйду на войну, вы будете плакать?» и: «я слишкомъ много во жизни пережила, чтобы не понимать...» и: «если вы не можете мнѣ подчиниться до конца, то скажите прямо», — безконечно-сладкія и совершенно пустыя слова, отъ которыхъ я впадала въ счастливое оцѣпенѣніе.

Дома я скрывала свое знакомство. Я старалась быть такой же исполнительной и покорной. Каждый день Марія Николаевна занималась; были выступления, — преимущественно благотворительныя; здѣсь опять былъ тотъ успѣхъ, который окружалъ ее всюду, какъ воздухъ. А я думала о томъ, что мы съ моимъ первокурсникомъ поженимся, и я брошу Травиныхъ -- безъ предупрежденія, безъ прощанія — начну свою жизнь, рожу ребенка, брошу музыку, сыгравшую со мной такую жестокою шутку. И этими мыслями была почти счастлива.

-- Сонечка, сядьте сюда, — сказала мнѣ однажды Марія Николаевна, — вѣдь вы — мой дружокъ, а потому я могу съ вами говорить откровенно?

-- Да, Марія Николаевна, — и я сѣла, куда она приказывала.

— Посмотрите на меня. У васъ въ послѣднее время глаза стали другими; какіе-то твердые... Бросьте вы своего мальчишку. Онъ очень смѣшной.

Я похолодѣла.

— Пусть бы молодъ былъ, или глупъ, или некрасивъ, или еще что. А вѣдь вашъ — просто смѣшной. Богъ его знаетъ, а безъ смѣха на него смотрѣть невозможно.

— Откуда... вы знаете?

— Да и знать нечего. Ну неужели это любовь?

— Мы поженимся, — выжала я.

— Не можетъ быть! Ну ужъ это совсѣмъ анекдотъ. Вѣдь онъ телеграфистомъ будетъ.

— Почему телеграфистомъ? Онъ на юридическомъ.

— Это ничего, а будетъ все-таки телеграфистомъ. И всю жизнь у него будутъ болѣть зубы.

(У него, дѣйствительно, недавно былъ флюсъ).

— ...и когда вы будете съ нимъ гулять подъ ручку...

— Марія Николаевна, не надо!

— Почему не надо? Это — жизнь. Божій міръ устроенъ прекрасно, вѣдь правда?

Я сидѣла и молчала. Лучше бы она сказала: я запрещаю вамъ путаться съ этимъ молокососомъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Да, по сравненію съ ней, всѣ люди были жалки и смѣшны.

— И потомъ, вы знаете, мы скоро уѣдемъ.

— Куда?

Она подошла ко мнѣ, положила мнѣ руку на плечо и посмотрѣла — не на меня, на свою руку.

— За-гра-ни-цу, — сказала она едва слышно, будто стѣны могли ее услышать.

И вотъ первокурсника своего я больше не видѣла. Я вдругъ поняла, что исторія съ нимъ — отступленіе отъ главной линіи, взятой мною еще въ Петербургѣ, я поняла, что кромѣ Травинныхъ въ моей жизни не должно быть ничего. И опять я начала приглядываться, прислушиваться

ся къ нимъ, но ничего изъ того, что мнѣ надо было, не до-
ходило до меня.

Мы, дѣйствительно, осенью выѣхали изъ Ростова, и черезъ Новороссійскъ прибыли въ Константинополь. Павелъ Федоровичъ дѣлалъ нашу жизнь легкой и безпечной, — это второе путешествіе было безопаснѣе и проще перваго, но кочевая жизнь моя должна была кончиться только весной 1920 года, ровно годъ продолжалась она, и того, чего я ожидала отъ нея, не принесла мнѣ. Я сжилась съ Травиными, я стала членомъ ихъ семьи, я была первой слушательницей Маріи Николаевны и въ то же время — ея слугой. И за ней, и за Павломъ Федоровичемъ постепенно окончательно разсѣялся дымъ какого-то неблагополучія и тайны, который такъ долго меня безпокоилъ, но я знала, что настанетъ день, онъ сгустится снова, и я узнаю все, что такъ хочу знать.

Итакъ, весной 1920 года закончилось наше третье путешествие — мы были въ Парижѣ.

Помню, шелъ дождь, былъ вечеръ, я смотрѣла въ окно автомобиля на улицы, на пѣшеходовъ, — я сидѣла на переднемъ сидѣннѣ, противъ Травиныхъ. У Маріи Николаевны былъ усталый видъ. Помню свои сны въ номерѣ отеля Режина, первые дни, портретъ Маріи Николаевны въ «Пти Паризьенъ»... Помню все это отчетливо, какъ-будто это было вчера. А жизнь опять, въ который разъ за этотъ годъ, начиналась сызнова. буйная, пестрая и щедрая, нашлись прежніе знакомые Травиныхъ, были выѣзды, вечера, рестораны. Пришло лѣто — Марія Николаевна уѣхала въ горы, Павелъ Федоровичъ вскорѣ уѣхалъ за ней. Я слонялась по городу, смотрѣла могилу Наполеона, церкви, денегъ у меня было вдосталь. Потомъ и меня выписали на югъ. Вернулись мы въ сентябрѣ и сейчасъ же закинула работа: Павелъ Федоровичъ пустился въ дѣла, Марія Николаевна стала готовиться къ концертамъ. Появился антрепренеръ, — акула и пройдоха, но оча-

ровательный человекъ, съ анекдотами, комплиментами, всевозможными услугами... Наступала осень...

Въ тотъ день, когда это случилось, я была одна дома. У насъ уже была квартира. Травины куда-то уѣхали завтракать, прислуга была отпущена.

У двери позвонили.

Я разбирала что-то на роялѣ и совершенно не думая, кто бы это могъ быть, пошла и открыла.

Вошелъ высокій, очень высокій, еще молодой человекъ, въ мягкой шляпѣ и пальто, хотъ и хорошемя, но уже сильно потертомъ. Въ рукахъ у него была старая, немодная трость.

Дверь въ гостиную была открыта. Я увидѣла, что онъ темно-русь, что у него прямой, длинный носъ и небольшіе усы. Глаза его смотрѣли нерадостно.

— Марія Николаевна Травина здѣсь живетъ? — спросилъ онъ.

— Да.

— Она дома?

— Нѣтъ, ея нѣтъ.

Онъ обдѣгченно вздохнулъ.

— Она, можетъ быть, скоро вернется?

Я догадалась, что онъ принимаетъ меня за прислугу.

— Не думаю.

— А Павелъ Федоровичъ?

— Онъ вышелъ тоже.

— Они вернутся вмѣстѣ?

— Кажется, да.

Онъ помолчалъ. Потомъ вынулъ изъ кармана бумажку, карандашъ, что-то написалъ.

— Вотъ мой номеръ телефона, — сказалъ онъ, — возьмите. Передайте ея, — онъ подчеркнулъ «ей», — передайте, что приходилъ Беръ, Андрей Григорьевичъ Беръ. Не забудете?

И онъ сунулъ мнѣ въ руку два франка.

Я взяла деньги, поблагодарила и сказала со всей убѣ-

дительностью, какъ только могла: «Нѣтъ, не забуду, будь-те покойны».

А когда онъ ушелъ, я сѣла тутъ же въ передней на бархатный табуретъ и заплакала. Можетъ быть, отъ жалости къ себѣ, можетъ быть, отъ радости, что начало тайны сегодня ко мнѣ приблизилось.

VI.

Я знала, что мнѣ сейчасъ предстоитъ сказать Маріи Николаевнѣ, что приходилъ Беръ, тотъ самый Беръ, о которомъ за эти мѣсяцы я совершенно забыла, и только чувствовала собачьимъ чутьемъ его существованіе въ мірѣ. Это былъ тотъ самый человѣкъ, которому, въ первый вечеръ моей службы у Травиной, я бросила письмо въ почтовый ящикъ, на Литейномъ. Теперь онъ былъ въ Парижѣ. Вѣхалъ ли онъ слѣдомъ за нами? Я готова была ручаться, что этого не было. Несомнѣнно, онъ выѣхалъ изъ Россіи сѣверомъ и вотъ появился здѣсь, и это было его первымъ (послѣ года отсутствія) появленіемъ въ жизни Маріи Николаевны.

«Тебѣ мало? — говорила я себѣ. — Тебѣ плохо? Чего ты хочешь и почему ты нищешь разрушить эту жизнь, въ которую тебя такъ довѣрчиво приняли?» Я держалась обѣими руками за узкое трюмо и смотрѣлась въ него, въ свое лицо, словно такъ близко никогда его не видѣла. И чѣмъ больше я смотрѣла, тѣмъ больше мнѣ казалось, что не я смотрю, а та изъ зеркала смотритъ на меня. Что у нея глаза человѣка рѣшившагося на поджогъ родного дома. Что, можетъ быть, въ ея большой, блѣдной, жилистой рукѣ уже зажаты дымищійся фитилекъ...

— Фитилекъ? Про какой это вы фитилекъ? — и въ зеркалѣ за собой я увидѣла смѣющееся лицо. Марія Николаевна неслышно вошла въ комнату. — Павелъ Федоровичъ поѣхалъ на скачки, а я вернулась. Умоляю, занали-

те утюгъ — надо къ вечеру выгладить одну тряпку. А гдѣ Дора?

Дора была прислуга.

— Я выглажу, Марія Николаевна. Доры нѣтъ.

Мы стояли посреди комнаты. Когда я увидѣла, что она стоитъ прямо противъ свѣта такъ, что ея лицо не можетъ утаить отъ меня ни одного движенія, я разжала руку и протянула ей телефонъ Бера.

— Къ вамъ приходилъ одинъ господинъ и просилъ васъ ему позвонить.

Она сказала «уфъ» и сѣла.

— Что ему надо? Кто такой? Можетъ быть, это къ Павлу Федоровичу?

— Нѣтъ, это къ вамъ. Андрей Григорьевичъ Беръ.

«Ну вотъ и довольно! Она поблѣднѣла. Хватить. Хватить. Дальнѣйшее тебя не касается. Она стала совсѣмъ блѣдной, ей сейчасъ будетъ худо. Рада? Вотъ ей и нехорошо...»

Но Марія Николаевна отнюдь не было дурно, и она не покачнулась, какъ мнѣ представилось, а только покачала головой. Она взяла бумажку, прочитала ее, задумалась. Я стояла и ждала.

— Утюгъ, — сказала она, не глядя на меня. — Сонечка, я просила...

Я пошла на кухню и поставила утюгъ. Въ комнатахъ было тихо.

— А пока онъ грѣется, — крикнула она вдругъ сильнымъ своимъ голосомъ, — Сонечка! Пожалуйста! Позвоните по этому номеру!

И мы подошли къ телефону.

— Вы вызовете господина Бера и скажете, что вы передали мнѣ, что онъ былъ, но что я такъ занята эти дни, такъ занята, что прошу меня простить, — не могу принять его. А когда буду освободиѣе — дамъ ему знать.

Щеки ея пылали, глаза блестяли, голосъ вотъ-вотъ готовъ былъ измѣнить.

Я позвонила, мнѣ сказали, что Бера дома нѣтъ. Она этого не ожидала и растерялась, и стала снимать и надѣвать свой толстый браслетъ. Я вышла на кухню.

Черезъ полчаса она позвала меня опять, она хотѣла попѣть до обѣда.

— Какъ вы думаете, Сонечка, - - сказала она, уже стоя у рояля и глядя на меня страннымъ взглядомъ, — предположимъ, я хочу по номеру телефона узнать адресъ чело-вѣка. Возможно это?

— Думаю, что возможно.

— Нѣтъ, не Бера! Ахъ, какая вы хитрая, вы навѣрное подумали про этого Бера. Я теоретически.

— Есть, кажется, такая специальная телефонная книга. Когда мы жили въ «Режинѣ», я ее видѣла.

- - Специальная? А если у меня ея нѣтъ?

— Тогда вамъ придется перелистать всю телефонную книгу — миллионъ номеровъ.

— Ну ужъ и миллионъ! А сколько часовъ вы думаете на это потрѣбуется?

Почемъ я знала? Меня занимала мысль: попросить она меня при Павлѣ Федоровичѣ не упоминать о приходѣ Бера или нѣтъ? Но вотъ Павелъ Федоровичъ вернулся (съ крупнымъ выигрышемъ и какъ всегда веселый), а Марія Николаевна не сказала мнѣ ничего.

Но и ему она не сказала ни слова.

— Никто не приходилъ? — спросилъ онъ еще въ передней.

И я отвѣтила: «Никто, Павелъ Федоровичъ», - думая получить въ отвѣтъ благодарный взглядъ, но Марія Николаевна даже головы не повернула въ мою сторону.

А на слѣдующее утро я, по ея просьбѣ, дозвонилась до Бера и передала ему то, что она велѣла передать. Она слушала его голосъ во вторую трубку. Онъ переспросилъ, поблагодарилъ. Вечеромъ того же дня Марія Николаевна уговорила Павла Федоровича повезти ее въ одинъ горный домъ, куда, не въ примѣръ обыкновеннымъ клу-

бамъ, допускались и женщины (конечно, тайно). Они вернулись поздно. Марія Николаевна разбудила меня, войдя ко мнѣ.

— Для такого случая, — сказала она, садясь ко мнѣ на постель, — можно и потревожить эту союно-Союно. Продула 18 тысячъ, и Павелъ Федоровичъ не только не обругалъ, а еще утѣшалъ. (А, говорятъ, — «купецъ»!). Потомъ вернула, и со своими унесла еще семь тысячъ. Играть-то надо умѣючи! Это вамъ не пѣть! Пѣть всякій можетъ!

Она была такъ хороша, такъ весела, что мы съ Павломъ Федоровичемъ не знали, какъ ее уговорить. Заснули мы всѣ трое подъ утро. «Говорятъ, — «купецъ». Кто говорить «купецъ?» — думала я. — «Кто имѣетъ право сказать ей про Травина, что онъ купецъ?»

Но въ Павлѣ Федоровичѣ, и это понимала, было что-то, что могло коробить людей, не принадлежащихъ къ его кругу.

Онъ за этотъ годъ совершенно перемѣнилъ свою внѣшность. «Купеческіе» волосы онъ снялъ и причесывался на проборъ, по евроейски, вмѣсто высокихъ сапогъ носилъ первоклассные ботинки, зимою — гетры блѣдно-сѣраго цвѣта. Бѣлье, галстуки, костюмы — все у него было превосходное, руки онъ выхолмилъ, лицомъ покруглялъ и надѣлъ на коротенькій, волосатый мизинецъ кольцо съ брилліантомъ. И когда онъ молчалъ и не двигался, куря сигару въ креслѣ, вытянувъ ноги, выставивъ передъ собой уже немалый животъ, его можно было принять за человека вполне порядочнаго, за джентельмена, на грани почтенности.

Но стоило ему заговорить или пройтись — въ немъ вдругъ проявлялась какая-то веселая вульгарность, какая-то животность, упрощенность, видно было, что всему на свѣтѣ предпочитаетъ онъ вкусно поѣсть, по-богачу выпить, всхрапнуть, «игрануть», какъ онъ говорилъ, шеголь-

нуть Маріей Николаевной, — отъ чего ныне его знакомые слегка морщились, но что вовсе не мѣшало самой Маріи Николаевнѣ. Она говорила, что считаетъ, что мужчина долженъ быть именно такимъ: грубоватымъ въ своихъ вкусахъ, устойчивымъ въ жизни, не обращающимъ никакого вниманія на то, производить ояъ или нѣтъ благопріятное впечатлѣніе на людей, вовсе ему ненужныхъ. Она приблизительно такъ мнѣ однажды и сказала:

— Есть что-то непозволительное, противоестественное, въ двухъ людяхъ, когда онъ — весь въ высокихъ мысляхъ, витааетъ, ничего вокругъ себя не видитъ, ступаетъ во всѣ дужи, садится мимо стула, сморкается въ чайную салфетку, а она — все въ умѣ высчитываетъ, сколько что стоитъ, и не текутъ ли калоши, и ахъ! завтра за квартиру платить, и еще что-нибудь. Мужчина долженъ быть трезвымъ, если надо — толкнуть сосѣда, чтобы самому пройти. Женщина — вы можете быть думаете, она должна быть вродѣ птицы? Нѣтъ, вовсе нѣтъ. Но если у нея есть талантъ, или хотя бы душа — она спасена.

Такъ она сказала мнѣ однажды. И въ тотъ день, когда она вечеромъ ушла одна — чего никогда не дѣлала, — я вспомнила эти ея слова и подумала, что обмануть одиавково легко и того, кто витааетъ, понадаетъ впросакъ, ведетъ себя совершеннымъ олухомъ, и того, кто трезвымъ, плотнымъ естествомъ любить жизнь, которая ему отвѣчаетъ тѣмъ же.

Она ушла вечеромъ. Павелъ Федоровичъ былъ въ клубѣ. Она не сказала, куда идетъ. Вернулась она скоро, часовъ въ 11, далеко побывать она не могла; можетъ быть она каталась въ Булонскомъ лѣсу, можетъ быть, какъ маленькая швейка, просидѣла въ угловомъ кафе. Она прошла къ себѣ въ комнату. Обыкновенно, въ это время я еще не спала, но въ тотъ вечеръ мнѣ нездоровилось, и я прилегла. Услышавъ, что она у себя, я накинула халатъ, и въ мягкихъ туфляхъ побѣжала спросить, не хочетъ ли она въ постель чаю. Я постучала въ дверь и такъ какъ

мнѣ никто не отвѣтилъ, неслышно вошла. Марія Николаевна сидѣла на стулѣ, у туалета, и плакала.

Съ дикой силой я кинулась къ ней, не понимая, что дѣлаю, и чувствуя, что плачу тоже. Я схватила ее за руку, я другой рукой обняла ее и залила ее платье слезами. Она закрыла лицо рукой. Грудь моя разрывалась, я ничего не могла высказать. Наконецъ, она отвела мое лицо, посмотрѣла мнѣ въ глаза. Я почувствовала, что сейчасъ она мнѣ скажетъ..., что она не можетъ дольше скрывать. О, какъ я хотѣла этого, какъ хотѣла! Но она просто улыбнулась мнѣ.

— Выпьемъ чаю, — сказала она, — и все пройдетъ. — И большой розовой пуховкой она обмахнула мнѣ и себѣ еще влажные глаза.

Черезъ часъ я была у себя, одна. Ну, вотъ она плакала. Довольно. Помимо меня совершилось то, о чемъ я мечтала. Она плакала, она страдала, она не была счастлива.

Но на слѣдующій день — какой-то особенно хлопотливый и перегруженный — глядя на нее, такую ровную, спокойную, неомраченную, я сама не вѣрила себѣ, я, чѣмъ дальше уходилъ тотъ вечеръ, все больше начинала сомнѣваться, — да видѣла ли я ея слезы? Да можетъ быть ихъ вовсе не было, а была только усталость? Или можетъ быть она плакала совсѣмъ отъ другихъ причинъ, ничего общаго не имѣющихъ ни съ Беромъ, ни съ Павломъ Федоровичемъ. Можетъ быть, она потеряла свой любимый браслетъ или получила изъ Москвы грустныя отъ родныхъ вѣсти?

Черезъ недѣлю въ залѣ Гаво она пѣла.

Мнѣ сшили голубое, открытое платье, парикмахеръ причесалъ мои жидкіе, сухіе волосы, стараясь придать имъ жизнь и блескъ. Марія Николаевна была необыкновенно хороша въ бѣломъ платьѣ, съ черной косой, положенной вокругъ головы. Платье ея, по тогдашней послѣвоенной модѣ, не застегивалось, а какъ-то заворачивалось и завязывалось, и это очень ее смѣшило. «Ну что бы было,

— говорила она Павлу Федоровичу, когда мы ѣхали въ автомобиль, — если бы твой фракъ заворачивался такимъ конвертомъ? Что бы ты сказалъ?»

В пыльной артистической парѣ встрѣтили какіе-то люди съ швѣгами, антрепренеръ, у котораго борода была въ этотъ день выкрашена почти что въ синій цвѣтъ и свернута на сторону, ахнулъ, когда увидѣлъ Травину. Потомъ сѣнь увидѣлъ меня.

— Какъ вы... молоды! — прохрипѣлъ онъ съ восторгомъ. Да, я была молода. А большаго ничего про меня сказать было невозможно.

И вотъ мы вышли. Она впереди, я -- сзади, мимо перваго ряда сидящихъ на эстрадѣ, которые, какъ и тѣ, въ залѣ, конечно, смотрѣли мимо меня, на нее. Я всегда аккомпанировала ей наизусть. Миѣ пришло въ голову, что если бы я аккомпанировала ей по нотамъ, то за мной бы шелъ еще кто-нибудь, скажемъ, какая-нибудь барышня, ну хотя бы въ розовомъ платьѣ, и она, присѣвъ рядомъ со мной на стулъ, переворачивала бы миѣ страницы. То есть была бы при миѣ приблизительно тѣмъ, чѣмъ я была при Маріи Николаевнѣ. Но я играла наизусть, и насъ было двое. Насъ было двое на эстрадѣ, и у меня было такое впечатлѣніе, что насъ двое въ залѣ. Я знала, что Павелъ Федоровичъ прошелъ въ первую съ правой стороны лѣду, гдѣ сидѣли знакомые. Залъ былъ совершенно полонъ. Но я все-таки чувствовала, что насъ двое. Это ощущеніе продолжалось, вѣроятно, минуту отъ того, какъ стихли аплодисменты и до того, какъ внезапно, въ первомъ ряду, я увидѣла Бера.

Онъ смотрѣлъ на нее, онъ былъ отъѣденъ, какъ его бѣлая фракная грудь. Насъ было теперь трое. Я взяла первый аккордъ. Марія Николаевна смотрѣла поверхъ зала. Но я угадала, что она знаетъ, что онъ здѣсь. И пусть она не глядитъ на него, она все равно его видитъ.

VII.

Наступила зима. Послѣ перваго концерта было еще два; Марія Николаевна къ декабрю получила два ангижемента: одинъ въ Америку, на концертное турнэ, другой — въ Миланъ, въ «Скалу». Она теперь была такъ тѣсно и плотно окружена людьми, что мы оставались вдвоемъ съ ней только утромъ, до завтрака, когда она занималась, иногда неотдѣтай, а съ Павломъ Федоровичемъ она бывала наединѣ только поздно ночью, когда они возвращались откуда-нибудь — изъ гостей, изъ театра, изъ ночного ресторана: втроемъ же, какъ бывало когда-то, мы теперь не были никогда.

Появилось такое множество старыхъ знакомыхъ: и дѣльцовъ, одной породы съ Павломъ Федоровичемъ, и пріятельницъ-актрисъ, и свѣтскихъ женщинъ, и какой-то старѣющей молодежи, и даже иностранцевъ.

За завтракомъ всегда бывалъ кто-нибудь, къ обѣду — если Травины обѣдали дома — приходило порой до пяти-шести человекъ. Кое-кто бывалъ изо дня въ день, другіе мѣнялись. Я иногда даже не знала: кто они? какъ ихъ зовутъ? Выныривали москвичи (Павель Федоровичъ былъ москвичъ); они съѣзжались въ тотъ годъ въ Парижъ, и домъ Травинныхъ былъ однимъ изъ первыхъ для нихъ домовъ.

Вечерами шла иногда въ кабинетъ Павла Федоровича крупная игра, часовъ до 8 утра, такъ что я просыпалась отъ громкихъ и сильныхъ прощальныхъ возгласовъ въ передней, когда табачный дымъ проникалъ наконецъ, и ко мнѣ въ комнату, разстелившись по всей травинской квартирѣ. Павель Федоровичъ осторожно шелъ въ ванную и погомъ ложился гдѣ-нибудь на диванъ, спалъ до часу, завтракалъ и ѣхалъ къ себѣ въ контору — продавать и покупать русскіе лѣсъ, нефть, уголь, золото, — словомъ, все то, чего уже не существовало, но что ему хотѣлось,

чтобы было. какъ когда-то, когда онъ служилъ въ продовольственномъ «главкѣ», въ Петербургѣ, и тамъ управлялъ партіями керосина, спичекъ и соли, которыхъ было ровно столько, чтобы ихъ подѣлить между собою и нѣсколькими подчиненными. И опять онъ совершенно не думалъ о томъ, честно это или безчестно, «по божески» выходить, или не «по божески». Жизнь текла, быстрая, мутная. Въ этой мутной водѣ онъ плылъ.

Каждый день появлялись у насъ новые люди — молодые, старые, богатые или уже просадившіе на какой-нибудь аферѣ свое богатство; женщины, преимущественно красивыя, мужчины — искренно или нѣтъ — взирашіе на Травину, какъ на божество, но среди этого потока я не увидѣла того, кого, казалось, такъ было бы легко Марію Николаевну ввести въ свой домъ, я не увидѣла Андрея Григорьевича Бера. И изъ этого я поняла, что Берѣ Павлу Федоровичу извѣстенъ, и что въ домѣ Травиныхъ онъ появиться не можетъ, какъ не могъ появиться въ немъ въ Петербургѣ.

Мнѣ стало ясно, что Андрей Григорьевичъ не первый годъ играетъ въ жизни Маріи Николаевны какую-то роль, и роль эта была когда-то настолько Павлу Федоровичу понятна, что Беру входъ къ Травинымъ оказался закрытъ — иначе, если бы они не были знакомы или Павелъ Федоровичъ ничего бы не подозрѣвалъ, Андрей Григорьевичъ бывалъ бы у нихъ наравнѣ съ другими мужчинами. Мнѣ постепенно стало ясно, что еще въ Петербургѣ Берѣ стала тайной Марія Николаевна, и теперь она не открывала Травину его пребываніе въ Парижѣ. Она молчала. Она много молчала. Она какъ будто радовалась, что вокругъ нея гонорятъ, шумятъ, холочуть другіе и даютъ ей возможность почти не говорить.

Ни телефонныхъ звонковъ, ни приходовъ Бера больше не было. Жизнь Маріи Николаевны была заполнена пѣніемъ, развлечениями, женскими заботами о своей вѣщности. Казалось, у нея не могло быть ни возможности,

ни времени видѣться съ нимъ, и несмотря на это я не сомнѣвалась, что они видятся. Почему? У меня не было никакихъ доказательствъ. На первомъ концертѣ онъ сидѣлъ въ партерѣ и не пришелъ за кулисы, на второмъ и третьемъ я его не видѣла. Однажды Марія Николаевна получила по почтѣ письмо, которое сейчасъ же сама сожгла въ никогда не топившемся каминѣ и пепель (вѣроятно, была закрыта труба) разлетѣлся по всей комнатѣ. Днемъ она почти ежедневно выходила — не надолго, но дѣлала это вопреки всему. Она стала какой-то тихой, тѣнь безпокойства изрѣдка наплывала на ея лицо. И вотъ теперь она отказывалась ѣхать и въ Америку, и въ Миланъ.

«Да вѣдь Беръ въ Парижѣ!» — захотѣлось мнѣ крикнуть Павлу Федоровичу, когда я увидѣла, что онъ сдѣлалъ удивленное лицо.

— Маша, да почему же? Вѣдь это то, о чемъ ты всегда мечтала. Ты подумай... Не хочешь?

Она мотнула головой. Бывшіе тутъ же «свои люди», т. е. совершенно всѣмъ намъ чужіе четыре господина, разахались.

Я пошла въ кабинетъ Павла Федоровича и долго сидѣла тамъ, глядя въ какую-то книгу, думая о своемъ. Америка, Миланъ — это былъ тотъ блескъ, къ которому она стремилась въ Россіи, она отказывалась отъ него ради любви. Она хотѣла быть вмѣстѣ, рядомъ съ тѣмъ человекомъ, котораго она любила, который пріѣхалъ за ней въ Парижъ. Быть вмѣстѣ. Ни я, ни моя мать никогда ни съ кѣмъ не были вмѣстѣ. Она отказывалась отъ славы ради какихъ-то короткихъ, тайныхъ свиданій. Съ кѣмъ? Кто былъ этотъ Беръ? Почему онъ открыто не отнималъ ее у Павла Федоровича? Чего они ждали?

На все это отвѣта у меня еще не было. Пока я знала только одно: я открыла узвимость Маріи Николаевны, я знала, съ какой стороны нанесу ей ударъ. За что? За то, что она одна, а такихъ, какъ я, тысячи, за то, что мнѣ не идутъ ея перешитыя платья, такъ ее красившія, за то, что

она не знаетъ, что такое бѣдность и стыдъ, за то, что она любитъ, а я даже не понимаю, что это такое.

— Сонечка, — сказала Павелъ Федоровичъ изъ гостиной, гдѣ всѣ сидѣли. — Принесите изъ средняго ящика письменнаго стола мой паспортъ.

— Зачѣмъ? — отозвалась я, словно меня разбудили.

— Они не вѣрятъ, что мнѣ 47 лѣтъ. Говорятъ: больше. Хочу доказать.

Тамъ шелъ пустой разговоръ, и она сидѣла тамъ, и Травинъ, ничего не подозрѣвающій.

Я подошла къ столу, выдвинула ящикъ. Тамъ, дѣйствительно, лежали пять паспортовъ Травина, въ большомъ конвертѣ: совѣтскій, нелегальный, украинскій, турецкій и бѣлый. А подъ ними лежалъ револьверъ. Я сейчасъ же задвинула ящикъ... Не могу передать, до чего меня удивила эта находка. Павлу Федоровичу совершенно не шло имѣть револьверъ.

Я отнесла паспорта въ гостиную. Оказалось, что Травину и впрямь 47 лѣтъ. На видъ ему можно было дать больше. Марія Николаевна молча улыбалась.

«Беръ въ Парижъ». — Если я произнесу эти слова, Павелъ Федоровичъ, пожалуй, убьетъ меня изъ этого револьвера. Во время нашего путешествія револьвера не было. Изъ Константинополя мы ѣхали — я сама укладывала чемоданы Павла Федоровича — револьвера не было. Онъ купилъ его въ Парижъ. Когда? Зачѣмъ?

А въ гостиной все продолжался бессмысленный разговоръ. Въ 11-омъ часу пріѣхала пріятельница Маріи Николаевны съ мужемъ, и они увезли Травину куда-то. Павелъ Федоровичъ съ тремя гостями сѣли за молчаливый покеръ, а я осталась съ четвертымъ гостемъ, пожилымъ, лысымъ человѣкомъ, котораго звали Иванъ Лазаревичъ Нересовъ. Онъ курилъ, я сидѣла и ждала, когда онъ уйдетъ. Въ покеръ онъ играть не любилъ, игралъ въ жельку, любилъ летать на аэропланѣ (что тогда было срав-

нительной рѣдкостью), былъ вдовъ и жилъ въ собственномъ домѣ, недалеко отъ насъ.

Онъ молчалъ и курилъ съ лѣнивымъ, восточнымъ забвеніемъ всего на свѣтѣ; его полусонные глаза смотрѣли на меня, какъ мнѣ казалось, меня не видя.

— Очень трудно, — сказалъ онъ вдругъ.

— Что трудно?

— Очень трудно, — повторилъ онъ. — Рано лечь, рано встать. Привычка плохая — ночь сидѣть. Пить. Ъсть. Не ходить гулять. Лежать.

— Да, — отвѣтила я.

— Воздухъ, — сказалъ онъ опять. — Солнце. Когда-то любилъ. Теперь забылъ.

— Вамъ бы кальянъ курить, — сказала я. — Вы пробовали?

Онъ утвердительно прикрылъ глаза.

— Поѣдемъ, — сказалъ онъ, когда мнѣ, наконецъ, показалось, что онъ задремалъ. — Павелъ Федоровичъ, отпустите барышню со мной.

Павелъ Федоровичъ сидѣлъ къ намъ спиной и не обернулся.

— Прради Бога, прради Бога! — онъ въ это время что-то соображалъ. — Куда? Ъхать? Сонечкѣ? Сонечка, а вамъ развѣ хочется?

Я была еще neodѣта, когда Павелъ Федоровичъ вошелъ ко мнѣ и, не обращая никакого вниманія на то, что я закрыла отъ него свои плечи, сказалъ:

— Онъ абсолютно приличный человѣкъ. Только не жейте слишкомъ много, а то васъ будетъ тошнить. Онъ абсолютно приличный человѣкъ. И очень скучный. Потанцуйте съ нимъ.

Нересовъ вывелъ меня къ автомобилю. Шофферъ проснулся. Мы сѣли. На мнѣ было мое голубое платье.

— Вы милая, очень милая. Такая некрасивая и такая милая, — сказалъ онъ. — Такая маленькая и такая дуренькая.

И онъ засмѣялся. Засмѣялась и я.

Мы пріѣхали въ модный въ то время ресторанъ, сейчасъ же пачался длинный, изысканный и непереваримый ужинъ. Я пила, Нерсесовъ пилъ. Зачѣмъ я была ему нужна? Онъ, вѣроятно, не задумался надъ этимъ. Можетъ быть, онъ былъ добръ, и ему стало меня жалко. Или ему хотѣлось убить еще одну безсонную ночь? Я не умѣла ни душитья, ни пудрится, лакеи смотрѣли на меня съ состраданіемъ.

— И вы никогда ни въ кого не были влюблены, Танечка? — спрашивалъ Нерсесовъ. Я вспоминала свою жизнь, Евгенія Ивановича, который уѣхалъ и не вернулся, полужнакомое, ласковое лицо въ вагонѣ между Петербургомъ и Москвой, которое я больше не видѣла, моего первокурсника въ Ростовѣ, надъ которымъ такъ посмѣялась Марія Николаевна. И это было все.

— Не Танечка, а Сонечка, — отвѣчала я на это, и опять пила.

— Васъ надо выдать замужъ, голубушка, — говорилъ онъ, — и чтобы были дѣтки...

— Не Олечка, а Сонечка, — отвѣчала я на это и смѣялась сама надъ собой.

Поздно, передъ самымъ разсвѣтомъ, онъ довезъ меня до дому, поцѣловалъ мнѣ руку и поблагодарилъ меня «за веселую кабацкую ноченьку». Не сразу нашла я звонокъ; когда парадная дверь открылась, мнѣ показалось, что въ темнотѣ кто-то есть. Я стала искать выключатель. Я чувствовала, что совсѣмъ близко отъ меня кто-то стоитъ, и мнѣ становилось страшно. Дверь на улицу я оставила открытой. Внезапно кто-то вышелъ и закрылъ ее спаружки. Я зажгла свѣтъ.

Наверху гости уже разошлись. Марія Николаевна еще не возвращалась. Павелъ Федоровичъ сидѣлъ одинъ посреди гостиной. Было накурено, коверъ былъ смятъ.

— Почему вы не спите? — спросила я.

— Не хочется, — отвѣтил онъ. — Ну, какъ вы веселились?

Но я вдругъ всхлинула.

— Прради Бога, прради Бога! — закричалъ онъ, какъ давеча, когда что-то соображалъ во время картъ. — Идите скорѣе спать. Вамъ надо выспаться.

И онъ вытолкалъ меня за дверь такъ, будто бонсъ, что я сейчасъ скажу что-нибудь лишнее.

VIII.

Можетъ быть, если бы Марія Николаевна въ тѣ недѣли перемѣнилась лицомъ и душой, страдала бы, да такъ, чтобы это всѣ видѣли, и я въ томъ числѣ, если бы она заболѣла, лишилась голоса, — не знаю, можетъ быть, съ меня было бы этого достаточно. Но кромѣ пришедшей къ ней какой-то тихости, да изрѣдка безпокойнаго взгляда, я не замѣчала ничего. Опять она была мила и внимательна къ Павлу Федоровичу, опять занималась старательно и много, временами ослѣпительно хорошѣла и самоувѣренно и вольно продолжала свою жизнь. И я чувствовала, что я все больше и больше стираюсь передъ ней, а она растеть, какъ пѣвица, и подходить, и виѣшне и внутренне, къ какому-то, если такъ можно сказать, фокусу своего существованія, къ точкѣ, которую при ея умѣ, талантѣ и красотѣ она способна будетъ протянуть, вѣроятно, на долгіе годы.

Въ ея равнолѣсіи было что-то, что восхищало меня до испуга, до отвращенія къ ней. Въ томъ, что она обманываетъ Павла Федоровича, я не сомнѣвалась, но и это дѣлала она необычно и, онъ, вѣроятно, безсознательно, самъ помогаль ей въ этомъ: онъ никогда ни о чемъ ее не спрашивалъ и тѣмъ самымъ не заставляль ее лгать, не унижалъ ее -- она просто молчала. Въ томъ, что съ Беромъ

у нея не случайное «приключеніе» — это слово въ приложеніи къ ней звучало такъ же нелѣпо, какъ если бы къ ея удивительно «вѣрному» и правильному тѣлу вдругъ приставили костыли, — въ томъ, что съ Беромъ у нея долгая, трудная и возможно безвыходная любовь, я тоже не сомнѣвалась. И несмотря на неразрѣшимость этихъ чувствъ, она продолжала сѣять какимъ-то постояннымъ счастьемъ. И за это вѣчное счастье я мечтала наказать ее.

Дать понять Павлу Федоровичу, что Беръ — въ Парижѣ, было мнѣ мало. Мнѣ надо было имѣть доказательства, что она съ нимъ видится. О томъ, что я сдѣлаю съ этимъ доказательствомъ потомъ и какъ донесу Травину, я пока не думала. Я ждала, я слѣдила.

О случайной удачѣ я не думала. Это было бы слишкомъ просто: выйти на улицу и встрѣтить ихъ. Нѣсколько разъ мнѣ казалось, что Марія Николаевна сама заговоритъ со мной о Берѣ. Я думаю, что этого было бы достаточно, чтобы я навсегда оставила всѣ мысли о какомъ-то мщеніи ей, о сведеніи съ ней счетовъ, по которымъ заплатить мнѣ могъ развѣ что Богъ. Въ послѣднее время она все рѣже бывала со мной иѣжна, какъ когда-то, въ первые мѣсяцы нашей жизни. Но иногда это все же случалось. Я сидѣла у рояля, она стояла надо мной и клала руку мнѣ на шею, туда, гдѣ у меня такія двѣ жесткія жилы и между ними — ямка. Она трогала мои волосы.

— Сонечка, вы вспоминаете иногда свою маму? Питеръ? Митеньку?

— Да, Марія Николаевна.

— Можетъ быть, когда-нибудь мы получимъ отъ нихъ вѣсточку. Вотъ бы хорошо!

Я сказала:

— Изъ Питера пріѣзжаютъ люди. Можетъ придти письмо

Она живо отвѣтила.

Какое же письмо! Господь съ вами! Люди бѣгутъ по льду черезъ Финляндію...

Такъ я узнала, что Беръ бѣжалъ къ ней черезъ Финляндію.

Какъ я сказала, Павелъ Федоровичъ въ два часа уѣжалъ въ контору. Въ четвертомъ часу Марія Николаевна уходила. Если у нея сидѣлъ кто-нибудь, она говорила: я скоро вернусь. И гость, или гости, которыхъ впрочемъ за гостей никто не считалъ, оставались, брэнчали на роялѣ, листали газеты, играли въ шашки. Дора или я носили имъ чай.

Я все обдумала заранее. Я не обошлась надеждой, что въ первый же мой выходъ вслѣдъ за ней, я все узнаю. Въ первый разъ, когда я вышла за Маріей Николаевной и пошла по улицѣ, шагахъ въ тридцати отъ нея, дальше чѣмъ до угла я пройти не могла отъ страха быть замѣченной. Черезъ два дня я пошла опять. Наша улица пересѣкала другую, и эта вторая выходила на большую, тихую площадь съ памятникомъ. По эту сторону была кондитерская, по ту — бокъ о бокъ — три кафе: два по сторонамъ угловые, довольно просторные и свѣтлые, а въ серединѣ — потемнѣе, погрязнѣе, такъ что всякій, кто хотѣлъ бы зайти, зашелъ бы непременно въ одно изъ крайнихъ, никакъ не въ среднее, гдѣ и скверное кофе навѣрное считали сантимовъ на 25 дешевле, чѣмъ въ сосѣднихъ.

Марія Николаевна дошла до площади. Думая, что она возьметъ автомобиль, я обошла съ другой стороны, чтобы ѣхать за нею, взявъ послѣднюю въ очереди машину, но Марія Николаевна прошла мимо стоянки; она прошла прямо въ узкую дверь маленькаго средняго кафе. И я вернула домой.

Когда я вбѣжала въ квартиру, у меня еще оставалась тѣнь сомнѣнія. Я помнила телефонъ Бера. Я позвонила. Нѣтъ, его дома не было, онъ ушелъ съ часъ назадъ. А когда онъ вернется?..

Въ эту минуту, я услышала, какъ кто-то вкладываетъ ключъ въ замокъ входной двери. Я повѣсила трубку, телефонъ издалъ слабый звонъ. Я встала за дверью, скры-

тая портьерой. Я увидѣла, какъ вошелъ Павелъ Федоровичъ. Онъ вошелъ, словно стыдась въ такое неурочное время оказаться дома.

Первый его взглядъ былъ на вѣшалку. Гостей не было. Онъ облегченно вздохнулъ. Онъ прошелъ мимо меня, въ гостиную, оттуда въ комнату Маріи Николаевны. Я крадась за нимъ — я почти не боялась. оглянись онъ, я превратила бы все это въ шутку. Онъ постоялъ довольно долго, какъ былъ, въ пальто и шляпѣ, потомъ прошелъ коридоромъ въ столовую и взглянулъ два раза на часы. «Сонечка!» — крикнулъ онъ.

Я отозвалась уже изъ своей комнаты.

— Нѣтъ, ничего... Я тутъ забылъ... Прицлось вернуться.

Хлопнула дверь. Онъ ушелъ. Съ безотчетной тревогой я кинулась въ кабинетъ, къ ящику. Нѣтъ, револьверъ былъ на мѣстѣ... Какая глупость могла мнѣ придти въ голову! Кто, кромѣ меня, могъ сдѣлать, чтобы онъ взялъ его и стрѣлялъ изъ него? Но время мое еще не настало.

Если бы я могла иначе свести съ ней счеты — открыто выйти на нее, можетъ быть, отнять у нея Бера, сдѣлать такъ, чтобы голосъ ея померкъ рядомъ съ моею игрой, чтобы рядомъ со мной вся она не существовала, хотя бы для одного единственнаго человѣка. Но у меня не было ничего. Я должна была мстить грубо.

Помню слѣдующій за этимъ день. Утромъ она пѣла вокализы, къ завтраку было два француза. Павелъ Федоровичъ занималъ ихъ разговорами, поилъ дорогимъ виномъ. Говорили о томъ, какіе у кого погрѣба. Потомъ мужчины ушли. Пришла съ примѣркой портниха. Потомъ ..

Я вышла первая. Я дошла до площади, пересѣкла ее и вошла въ полутемное, тѣсное кафе. Слѣва и справа шли столики. между ними былъ узкій проходъ, въ концѣ его была перегородка. Я зашла за нее. Тамъ было еще темнѣе. Сѣвъ за первый столикъ въ углу, я заказала пиво и раскрыла газету. Расчетъ мой оказался правильнымъ —

черезъ 10 минутъ Андрей Григорьевичъ Беръ, въ той же самой шляпѣ, съ той же палкой въ рукѣ, вошелъ и сѣлъ въ первомъ отдѣленіи, у самой перегородки. Я видѣла его сквозь прозрачный узоръ въ матовомъ стеклѣ, въ полу аршинѣ отъ себя. Было тихо, за окнами шелъ дождь; былъ тотъ особенный парижскій часъ, когда въ началѣ февраля мѣсяца ни день и ни вечеръ, и какъ-то медленно движется время и грустише становится городъ.

...Марія Николаевна сѣла рядомъ съ нимъ, имъ что-то подали. Она была здѣсь. Мнѣ все еще не вѣрилось. Онъ взялъ обѣ ея руки, стянулъ съ нихъ перчатки, долго цѣловалъ ихъ.

— Не плачь, — сказала она вдругъ.

Прошло долгое молчаніе.

— У меня руки мокрыя отъ твоихъ слезъ, — сказала она опять.

Большіе стѣнные часы тикали надо мною, въ темномъ углу; проѣхалъ грузовикъ. За цинковой стойкой дремалъ толстый хозяинъ — и больше ничего.

— Я не могу, — сказала она. — Я дала слово Павлу Федоровичу. Я не могу.

Онъ сказалъ:

— У тебя у самой слезы текутъ и кофе у тебя простыль и навѣрное соленый.

Она помѣшала ложечкой въ стаканѣ. Въ неподвижности ихъ большихъ, темныхъ силуэтовъ было что-то непохожее на дѣйствительность

— Скажи мнѣ что-нибудь, — сказалъ онъ. — Улыбнись мнѣ.

Но видно голосъ и губы не повиновались ей.

— Я не могу его оставить, — услышала я. — Все равно, что пойти и убить. И обманывать его я тоже не могу

-- Такъ я пойду и убью, — сказалъ онъ шопотомъ.

Опять она молчала долго.

- - Я хочу приходить сюда, чтобы смотрѣть на тебя. И ты приходи смотрѣть на меня.

Онъ долго смотрѣлъ на нее.

— Подожди, — сказалъ онъ вдругъ и улыбнулся, — неужели ты вправду думаешь, что это можетъ такъ продолжаться, и что мы никогда не будемъ вмѣстѣ?

Она по-бабьи оперлась щекой на руку. Тикали часы, время уходило, вошелъ кто-то, выпилъ у стойки рюмку, звякнули деньги. Ушелъ.

И когда неожиданно вспыхнулъ электрической свѣтъ надъ стойкой, надъ ними, надо мной, Марія Николаевна встала и ушла. И черезъ минуту Беръ подозвалъ хозяина и, расплатившись, ушелъ тоже... Зажглись еще двѣ лампы. На дворѣ было совсѣмъ темно.

Я вышла, какъ шалая. На свѣтѣ не было никого, съ кѣмъ я могла бы плакать. На свѣтѣ не было никого... Какія-то улицы, углы, фонари... Я ничего не узнавала. Я пришла домой, позвонила. Дора открыла мнѣ; Марія Николаевна была у себя, а въ гостиной сидѣлъ Нерсесовъ.

Я долго стояла въ дверяхъ и смотрѣла на него, а онъ на меня. Можетъ быть, онъ имѣлъ право сказать, что мы съ нимъ водимъ дружбу. Онъ единственный изъ Травинскихъ гостей зналъ теперь мое имя и уже не ошибался въ немъ; онъ однажды вечеромъ пожалѣлъ меня.

Я сѣла напротивъ него. Я думала: что было бы если бы онъ былъ моимъ мужемъ, или хотя бы близкимъ другомъ? Или пусть не онъ, но кто-нибудь другой, чтобы только не быть одной, всегда одной, а быть хоть съ кѣмъ-нибудь вдвоемъ, чтобы иногда было похоже... Я бы чистила ему по утрамъ башмаки, гладила бы его носовые платки, вытирала бы его мокрую бритву. Я бы ждала его съ обѣдомъ, я бы иногда прижималась къ нему, чтобы почувствовать тѣломъ его тепло.

Старый, лысый человекъ сидѣлъ передо мною.

— Гдѣ были? — спросилъ онъ

— Гуляла, Иванъ Лазаревичъ, — машинально отвѣтила я.

— Вот зашелъ. Сейчасъ Дисманъ придуть, и Павелъ Федоровичъ вернется. Обѣдать будемъ.

Дора накрывала въ столовой на столъ. Марія Николаевна отдавала ей какія-то распоряженія. Я встала, медленно, съ трудомъ волоча ноги, прошла въ кабинетъ Павла Федоровича, не зажигая свѣта выдвинула ящикъ письменнаго стола и вынула револьверъ. Тихо ступая, я вышла въ корридоръ, прошла къ себѣ въ комнату и спрятала револьверъ подъ подушкой.

Я рѣшила ночью убить Павла Федоровича.

IX.

Вечеромъ у насъ были гости, человекъ десять, но въ этотъ день картъ не было: Марія Николаевна пѣла.

Она никогда не отказывалась, если ее просили, но въ этотъ вечеръ какъ мнѣ показалось, она согласилась съ неохотой. Гости сидѣли въ углу гостиной, гдѣ стояла лампа и глубокія, бѣлая кресла. Ляля Дисманъ, скинувъ двѣ подушки на коверъ, улеглась на нихъ, кое-кто оставался въ полной тѣни. Павелъ Федоровичъ сидѣлъ первый съ краю, я видѣла его лицо. Я видѣла, какъ онъ изрѣдка, когда наступала тишина, вставалъ, подносилъ кому-нибудь пепельницу или апельсинъ, выхватывалъ изъ вазы фруктовый ножикъ и подавалъ, разливалъ въ стаканы крушонъ изъ огромной стеклянной миски, въ которой, какъ въ акваріумѣ, плавали куски ананасовъ и персиковъ.

Я сидѣла за роялемъ. Она стояла рядомъ со мной. На ней было темное платье, она была блѣднѣе обыкновеннаго. Голосъ ея звучалъ прекрасно, какъ всегда, и можетъ быть, какъ никогда - но если былъ человекъ, который въ тотъ вечеръ не могъ ее слушать, то это была я.

Освободить ее отъ Павла Федоровича? Съ первыхъ же звуковъ, прозвучавшихъ надо мной, я поняла, что это было случайной, несудьбой мечтой, которая явится мнѣ

въ минуту слабости, послѣ подслушаннаго ея съ Беромъ разговора Нѣтъ, мнѣ самой нужно было освободиться отъ нея, время наступило предать ея, чтобы Травинъ учинилъ надъ ней свой судъ и даль бы мнѣ тѣмъ самымъ волюю на всю жизнь.

«Завтра», сказала я себѣ. И кого изъ нихъ онъ убьетъ — мнѣ все равно. Но онъ расправится съ ними — и этому причиной буду я, я, которую никто не слушаетъ и никто не замѣчаетъ, я — безымянная, безталанная я. Вотъ онъ сидитъ, этотъ трезвый, крѣпкій человекъ, этотъ «купецъ», который не потерпитъ, чтобы его кто-нибудь могъ обесчистить или обмануть, вотъ онъ съ тяжелой жизненной хваткой, для котораго смѣшна вся наша «можно» и «нельзя», который, не задумываясь, наступая всю жизнь на другихъ, выбился, и теперь ничего своего не уступить. Завтра онъ все узнаетъ.

Но какъ? Какъ донести ему — это надо было обдумать.

Въ послѣднія недѣли онъ почему-то сталъ избѣгать меня. Онъ два раза уѣзжалъ куда-то, и я объ этомъ узнавала въ самый день его отъѣзда, отъ Доры. Нависать ему письмо? Но подписать его — значитъ то же, что сказать, а послать неподписаннымъ — не повѣритъ. Ирою время, когда люди вѣривъ подметнымъ письмамъ. Сперва отъ нихъ гибла, потомъ они портили настроеніе. Теперь надъ ними смѣется. Позвонить ему по телефону въ контору? Онъ узнаетъ мой голосъ и выйдетъ тотъ же разговоръ, то же грубленый, упрощенный. Но надо какъ можно скорѣе положить на мѣсто взятый мною револьверъ, и надо подождать завтрашняго утра.

Такъ я думала, вѣрнѣе, не думала, а лишь мгновеніями ловила какой-то мысли въ то время, какъ голосъ Марьи Николаевны рѣзалъ мнѣ сердце, а глаза мои устремлялись туда, гдѣ откинувшись, неподвижно, съ той важности, появившейся у него совсѣмъ недавно, сидитъ Павелъ Федоровичъ.

Довольно, я устаю, — сказала Марья Николаевна

Но никому еще не хотѣлось уходить. Молодой, румяный пианистъ бойко сыгралъ два этюда Шопена, Ляля Дисманъ грубоватымъ контральтю спѣла нѣсколько романсовъ, которые Марія Николаевна называла «подозрительными».

Я ушла къ себѣ, осторожно отнесла въ кабинетъ револьверъ, потомъ помогла Дорѣ убрать въ столовой. Было 12 часовъ ночи. Гости разошлись въ первомъ часу.

На слѣдующее утро я проснулась отъ громкаго разговора: Павелъ Федоровичъ торопиль Дору съ кофе. Павелъ Федоровичъ уѣзжалъ въ Лондонъ, по дѣламъ. Чемоданъ его уже былъ въ передней. Надолго? Дней на 10. Марія Николаевна едва заколовъ свои косы, была тутъ же. Они простились, онъ подалъ мнѣ руку...

— Посмотрите на себя, Сонечка, — говорила Марія Николаевна, — вы становитесь прямо прозрачной. Надо намъ съ вами жизнь перемѣнить, а то жизнь наша пропадетъ. Вчера я пѣла въ накуренной комнатѣ — дрянъ я послѣ этого! Вина пить нельзя, улетать съ аппетитомъ всякія вредныя вещи...

Она макала въ кофе сухарь, сидя напротивъ меня.

— И капризничать нельзя, и многого еще нельзя дѣлать, грустить, напримѣръ. А я иногда грущу. Вы удивляетесь? У меня сѣгодня, Сонечка, былъ нехорошій сонъ, будто у меня все лицо волосами заростало; началось со лба; глаза, носъ, щеки — и быстро такъ. Я проснулась отъ своего крика.

Она болтала долго, я почти не отвѣчала ей. Отъѣздъ Павла Федоровича сбиль меня съ толку. Потомъ пришла Ляля Дисманъ — она вчера забыла у Травинныхъ перчатки. Она осталась завтракать, рассказала два анекдота, изъ которыхъ я одного не поняла, при чемъ Марія Николаевна покраснѣла и сказала:

-- Пожалуйста, будь осторожиѣе: Сонечка у насъ еще дѣвочка.

Въ половинѣ третьяго Марія Николаевна устала меня

въ библіотеку, а оттуда — купить билеты въ балетъ. Лилъ такой дождь, что зонтикъ мой вымокъ, пока я дошла до угла, и я рѣшила взять таксомоторъ. Не прошло часу, порученія ея были исполнены. Когда я вышла изъ театра, слабое солнце пыталось пробиться сквозь сырой февральскій воздухъ, блѣдная падала съ неба радуга. Я пошла къ остановкѣ автобуса. Все, что я дѣлала въ тотъ день, я дѣлала какъ-то автоматически, я не чувствовала себя, я ни о чемъ не думала, кромѣ того, что Павелъ Федоровичъ уѣхалъ на 10 дней. Что изъ этого слѣдуетъ — я еще не знала.

Я сошла съ автобуса у кондитерской на нашей площади. Радуга теперь струилась гдѣ-то высоко, гдѣ уже сквозила почти весенняя лазурь. Я обошла памятникъ. Передъ кафе, гдѣ въ этотъ часъ сидѣли Марія Николаевна и Беръ, сверкала огромная, голубая лужа.

Они сидѣли тамъ. Эти улицы, этотъ троттуаръ, эти стеклянныя окна еще нѣсколько дней тому назадъ не существовали для меня, а сейчасъ при видѣ ихъ головокружительная слабость, какая-то необъяснимая боль находили на меня. Лучше было не смотрѣть на все это; я ждала два года, я подожду еще десять дней. Но я все не отводила глазъ, я стояла неподвижно, прижавъ къ груди книги и зонтикъ; голубая лужа была формой похожа на дубовый листь.... Голыя деревья роняли въ нее жемчужныя, свѣтлыя капли... Подъ деревьями стояла мокрая, словно лакомъ покрытая скамейка. А на скамейкѣ этой сидѣлъ Павелъ Федоровичъ.

Меня удивило, что онъ здѣсь, когда утромъ онъ долженъ былъ выѣхать въ Лондонъ, но еще больше удивило меня то, что онъ сидѣлъ не только безъ всякихъ признаковъ недавней своей сытой важности, а въ странной для него совершенно несвойственной позѣ смертельной усталости. И я поняла, почему не сразу узнала его.

Я отошла за памятникъ и постояла немного. Когда я вышла изъ-за него, Травина уже не было. Не было его и

на троттуарѣ, онъ непостижимо быстро ушелъ, и можетъ быть, будь я въ другомъ состояніи, я бы усомнилась въ томъ, что я его вообще встрѣтила. Но я такъ отчетливо видѣла все вокругъ себя, и дѣтскую колясочку, которую катилъ негритянка въ зеленомъ платкѣ, и пестрый газетный кіоскъ, и радугу въ небѣ, что у меня не было сомнѣнія въ томъ, что Павелъ Федоровичъ только что сидѣлъ подъ этими деревьями и смотрѣлъ прямо въ стеклянную дверь съ надписью «Liqueurs de marques». Значитъ, онъ вернулся, и можетъ быть уже дома. Но гдѣ его чемоданъ? Накормить ли его Дора, если онъ не завтракалъ? Вотъ, наконецъ, настало время все ему сказать, остаться съ нимъ вдвоемъ, лицомъ къ лицу. Вернуть его на эту площадь въ минуту, когда тѣ будутъ расходиться.

Я бѣжала домой, чувствуя, что мнѣ надо торопиться, что жизнь гдѣ-то со мной рядомъ, обгоняетъ меня, что сейчасъ найдутъ облака, начнетъ смеркаться, и тамъ, на площади, зажгутъ фонари, какъ напоминаніе о томъ, что имъ опять пора разстаться. Я тяжело хлопнула входной дверью: медленно, безшумно вознесся лифтъ. У меня была ключъ. Я отвергла дверь и увидѣла, что пальто и шляпа Травина висятъ въ передней.

Я помню, какъ я провела рукой по рукаву пальто — оно было совершенно мокрое. Я вошла въ гостиную. Рояль остался незакрытымъ, бѣлая сирень со вчерашняго дня порыжѣла и сникла. Я подошла къ дверямъ кабинета. Тамъ было тихо.

— Павелъ Федоровичъ, — сказала я негромко.

Отвѣта не было.

— Павелъ Федоровичъ, можно къ вамъ? — и я стукнула два раза.

Я явственно сознавала въ ту минуту, что не успѣю даже сѣсть въ кожаное кресло, стоящее у стола, что тутъ же на порогѣ, скажу ему все, и если онъ плюнетъ мнѣ въ лицо, сдержусь и смолчу.

Но отвѣта изъ-за двери не было.

Тогда я пріоткрыла ее.

Павель Федоровичъ сидѣлъ у стола. Въ комнатѣ чуть смеркалось. Онъ сидѣлъ, выдвинувъ средній ящикъ стола, склонившись надъ нимъ и что-то внимательно въ немъ разглядывалъ. Лѣвая рука его висѣла между кресломъ и столомъ, правая лежала передъ нимъ.

— Павель Федоровичъ! — крикнула я.

Но онъ не двинулся.

Тогда я увидѣла, что онъ мертвъ, что въ правой рукѣ его, уроненной на столъ, зажатъ револьверъ.

Я закричала. Дора, за тремя дверьми, на кухнѣ, не услышавшая выстрѣла, выбѣжала на мой крикъ. Она потерялась — не знаю; что больше испугало ее: трупъ Павла Федоровича, сидящій въ кабинетѣ, или мой долгій крикъ, который она никакъ не могла остановить, и который все продолжался. Когда я вспоминаю его, мнѣ кажется, что онъ длился дня три. На самомъ дѣлѣ, Дора догадалась мнѣ плеснуть въ лицо воды, и я стихла. А черезъ 10 минутъ она уложила меня на диванъ въ гостиную, гдѣ я и осталась — опять-таки не помню, сколько, вѣроятно, до прихода Маріи Николаевны, хотя сейчасъ мнѣ кажется, что пролежала я тамъ долго, очень долго, какъ-то даже вовсе внѣ времени.

Эти полчаса теперь представляются мнѣ самыми непереносимыми во всей моей жизни, и не только моей. Я думаю, что несмотря на весь ужасъ и страхъ существованія, 9 человекъ изъ 10 никогда не знали того, что знала тогда я. Между «это случилось» и «это могло не случиться», между «это случилось» и «это не могло не случиться» дрожало и падало куда-то мое сердце. Я не могу ни вспомнить, ни объяснить того, что я тогда чувствовала (или думала — это было одно). О себѣ, о рокѣ, о людяхъ, о счастья, еще о рокѣ, и даже о той пулѣ, которая недавно еще была у меня подъ рукой, которой я мѣтила въ пространство, и которая нашла сама свое мѣсто, предназначенное ей.

— Будьте мнѣ другомъ, Сонечка, — сказалъ надо мной голосъ, который я узнаю и черезъ тысячу лѣтъ, и въ полномъ безпамятствѣ. — Помогите мнѣ.

И Марія Николаевна за обѣ руки подняла меня съ дивана. Въ дверяхъ стояли незнакомые люди.

Х.

Все измѣнилось, жизнь этихъ двухъ лѣтъ, волненіе, слѣжка, все кончилось, и все, что совершилось, совершилось безъ меня, внѣ меня, какъ если бы я вовсе не существовала. Я возвращалась къ тому, чѣмъ была вначалѣ, съ чувствомъ неодолимой усталости въ сердцѣ, съ сознаниемъ полной своей ненужности. Мимо меня прошли люди и страсти — я видѣла ихъ изъ своего угла, я рвалась къ нимъ, чтобы кому-то что-то испортить, кому-то помочь, какъ-то заявить себя въ этомъ движеніи, и я осталась обойденной, меня не взяли въ игру, которая кончалась самоубійствомъ Павла Федоровича. Онъ до меня зналъ обо всемъ, онъ безъ меня понялъ, какъ слѣдуетъ ему поступить, онъ не сквитался съ Беромъ и Маріей Николаевной, а уступилъ ей дорогу, для того, чтобы она продолжала жить, какъ ей хочется и быть счастливой, съ кѣмъ хочется. Для того, чтобы она была свободна.

Я полюбила говорить сама съ собой. Отъ своихъ тогдашнихъ монологовъ, я, можетъ быть, пришла къ этимъ запискамъ. Никто не слышалъ меня. Ночи — лунныя, февральскія ночи — я стояла у себя передъ окномъ, не зажигая свѣта, не опуская шторъ. Улица серебрилась. Мнѣ мерещился снѣгъ. Мнѣ мерещился Петербургъ, мама, нашъ старый, длинный рояль, по бокамъ его — двѣ наши кровати (въ холодные мѣсяцы мы жили въ одной комнатѣ), — двѣ наши узкія кровати, покрытыя бѣлыми пикейными одѣялами, съ привязанными къ шишкамъ иконками, которыя я за столько лѣтъ такъ и не удосужилась разгля-

дѣтъ, какъ слѣдуетъ. Луна бѣлила асфальтъ, чуть моро- зило. Мнѣ мерещилось дѣтство въ N., скрипучая калит- ка двора, пѣсь хозяевъ, котораго я боялась, кухарка, ждавшая со мной вмѣстѣ съ уроковъ маму къ обѣду, бѣд- ность, и грусть, и сиротство нашей жизни. Парижская ули- ца была тиха и пуста; луна и холодъ были за окномъ. Мнѣ мерещилась жизнь, которая ходитъ рядомъ, треть и ме- летъ людей, а меня не беретъ — сколько ей ни навязы- вайся.

За стѣной не было Павла Федоровича. Марія Николаев- на была одна, но люди, въ послѣдніе мѣсяцы не оставляв- ние ее съ нимъ наединѣ, и теперь продолжали окружать ее, днемъ и ночью. Они не звали ее, какъ раньше, куда-то ѣхать съ ними, не требовали къ обѣду дорогихъ винъ, не рассказывали про скачки, про биржу, про гастролы вѣн- ской труппы. Они просто присутствовали — Нерсесовъ и Дисманъ курили въ гостиной, въ спальнѣ Ляля Дисманъ, сидя по турецки на кровати, пыталась что-то вышивать, кто-то въ столовой заводилъ стѣнные часы; въ кабинетѣ Павла Федоровича сидѣлъ его помощникъ по дѣламъ, бывшій адвокатъ и членъ Государственной Думы, и что- то считалъ на счетахъ. И Марія Николаевна не удивлялась этому. Въ день похоронъ она вернулась съ ними со все- ми съ кладбища. на слѣдующій день съ утра опять все были въ сборѣ. Я спросила ее: не тяготитъ ли ее постоян- ное присутствіе людей въ домѣ? Она сказала, что ей все равно, что она, вѣроятно, скоро уѣдетъ.

Адвокатъ, Нерсесовъ, Дисманъ, говорили между собой о томъ, что дѣла Павла Федоровича въ послѣднее время сильно пошатнулись. Марія Николаевна это знала. Да, дѣ- ла Павла Федоровича въ послѣднія недѣли были хуже, чѣмъ раньше, и Травина могла бы оплакать его съ чи- стой совѣстью, сказавъ себѣ, что не она, но деньги повин- ны въ его смерти. И однако, она прекрасно знала, что именно было причиной ея.

Она заговорила со мной спустя недѣлю послѣ похо-

ронъ. Къ этому времени кое-кто прекратилъ свои визиты къ намъ, и если бывали посторонніе, то только къ обѣду или къ завтраку. Ночью Марія Николаевна приходила ко мнѣ въ комнату, садилась на постель.

— Вы не спите, Сонечка?

— Нѣтъ, Марія Николаевна.

— Можно, я посижу съ вами? Я люблю болтать съ вами. Подвиньтесь немножко.

Я съ бьющимся сердцемъ лежала и смотрѣла на нее. Свѣтъ изъ сосѣдней комнаты падалъ ей на руки. Она сидѣла, завернувшись въ теплый, бѣлый халатъ, съ толстой косой за плечами, въ спадающихъ туфляхъ на довольно большихъ, смуглыхъ ногахъ.

— Что мнѣ дѣлать, Сонечка? — говорила она тихо, сжимая руки и глядя на меня. — Вотъ и смерть задѣла меня, а я все не могу утратить ощущение какого-то постоянного своего счастья. Богъ знаетъ, откуда онъ во мнѣ, чѣмъ оно кончится?.. Ужъ кажется въ жизни много чего было — да я самой жизнью счастлива! Сама не знаю чѣмъ, тѣмъ, что дышу, пою, живу на свѣтѣ. Вы осуждаете меня?

— Нѣтъ, Марія Николаевна.

— ... другіе скажутъ, что это я убила его. Но что мнѣ дѣлать, когда я не чувствую вины за собой? А вы думаете, онъ осудилъ меня хоть когда-нибудь? Въ послѣднюю, въ предпослѣднюю, въ какую-то минуту? Нѣтъ, знаю, что итъ, и Богъ это знаетъ... Откуда такое у меня сознание правоты? Можетъ быть, это у всѣхъ оно, да только другіе по лицемѣрію скрываютъ?

Я хотѣла ей отвѣтить. Долго думала и сказала:

— Есть такіе люди. Великолѣпіе въ нихъ какое-то. Рядомъ съ ними страшновато немножко (ничего, Марія Николаевна, вы всерьезъ не принимайте). Измѣнить, искалѣчить ихъ рѣдко что можетъ (это если предположить, что мы всѣ остальные калѣки)... Я не могу выразить: счастливый человекъ, онъ какъ то надо всѣмъ живетъ (пу

и давить слегка, конечно). И этого ему и прощать не надо, это у него, какъ здоровье, какъ красота.

Она подумала и отвѣтила, улыбаясь:

— А вы все-таки, Сонечка, простите.

И мы обѣ замолчали. О, какъ недосягаема она опять становилась для меня этой улыбкой!

И вотъ наступилъ день нашего разставанія: было лѣто, окна были открыты настежь, квартира была сдана, мебель перевезли на складъ; Марія Николаевна уѣзжала въ Америку съ Беромъ, подписавъ контрактъ на два года.

Ничто не напоминало больше жизни при Павлѣ Федоровичѣ. Марія Николаевна постепенно развязалась со всѣми своими прежними знакомыми, бросила дѣла Павла Федоровича на произволъ судьбы, бросила приемы, выѣзды, денежные расчеты. Она надѣялась теперь только на себя, и отъ этой самостоятельности еще больше окрѣпла и помолодѣла; въ ней появилась прелесть, какая бываетъ въ независимыхъ женщинахъ, на которыхъ «общество» махнуло рукой и которыя на это отвѣчаютъ «обществу» полнымъ равнодушіемъ. Она много работала въ послѣднее время и со мной, и съ Беромъ. Я теперь хорошо знала этого человѣка. Онъ пересталъ быть для меня загадкой.

Онъ весь былъ въ будущемъ, и не потому, что передъ нимъ была какая-то «карьеря», или онъ былъ одаренъ какимъ-нибудь талантомъ. Ему едва исполнилось въ то время 30 лѣтъ. То былъ человѣкъ молчаливый, горячій и очень нервный, понимавшій даже случайнаго собесѣдника съ полуслова и легко угадывавшій мысли близкаго человѣка. Эта какая-то сверхъестественная чуткость замѣняла ему всѣ остальные свойства: въ музыкѣ — музыкальность, въ жизни — практическую хватку. Онъ ничего не «объщалъ», но глядя на него, думая о немъ, казалось (и не мнѣ одной), что ему предстоитъ быть можетъ судьба не вполнѣ обыкновенная.

Теперь онъ становился постепенно аккомпаниаторомъ, а за одно импрессарио Травиной. И онъ долженъ былъ въ

скоромъ времени стать ея мужемъ. Какъ это очень рѣдко бываетъ, въ этой любви сквозила какая-то глубокая, вѣрная правда, гдѣ не было мѣста ни ихъ ревности, ни нашимъ сомнѣніямъ. Марія Николаевна его любила... Впрочемъ, мнѣ казалось порой, что она и безъ любви была бы счастлива — ей право, не нуженъ былъ никто. Но его она любила.

Они уѣзжали, а я — я переселялась въ отель. Я искала работы. Марія Николаевна дала мнѣ обѣщаніе не забывать меня; она оставила мнѣ деньги, она кое-кого попросила за меня. И крѣпко меня обнявъ, она сказала, что если я хочу обратно, въ Питеръ, она и это устроитъ.

Нѣтъ, обратно къ мамѣ я не хотѣла.

И вотъ она уѣхала; и глядя на нее въ послѣднія минуты, мнѣ казалось, что ѣдетъ она не въ дѣловую и, въ общемъ, будничную Америку за работой, успѣхомъ и заработкомъ, а въ какую-то не совсѣмъ реальную, и, конечно, счастливую страну, куда путь другимъ людямъ заказанъ, и гдѣ ее ждутъ давно, и уже любятъ ее, какъ и она всѣхъ любить.

Беръ, когда-то принявшій меня за прислугу и давшій мнѣ 2 франка на-чай, мало замѣчалъ меня и былъ при прощаніи со мною холоденъ. Я тоже испытывала къ нему нѣкоторую неприязнь. Намъ съ нимъ вдвоемъ было тѣсно подлѣ Маріи Николаевны, и я уступила ему дорогу, потому что другого мнѣ ничего не оставалось. Марія Николаевна долго и пристально смотрѣла на меня. Можетъ быть, прощаясь со мною, она впервые задумалась надо мною, надъ моею жизнью, надъ моею любовью къ ней.

Я осталась на перронѣ разбитая, обезсиленная ушедшимъ прошлымъ, безъ настоящаго, съ пустымъ, темнымъ будущимъ. Я пріѣхала домой въ пустую квартиру, взяла свой (еще русскій) сундукъ, связку книгъ и нотъ, и попросила швейцара сходить за извозчикомъ. Тогда въ Парижѣ извозчики были дешевы: я вдругъ стала озабоченной и расчетливой — и въ сундукѣ аккуратно разложила свои

тряпки. Его поставили мнѣ въ ноги, книги я положила рядомъ съ собой. Я ѣхала по городу и думала, что это не можетъ быть, что это не тотъ Парижъ, другой, что мнѣ снится сонъ, что невѣроятно, чтобы я была одна на свѣтѣ, одна, безъ человѣка, безъ мечты, безъ чего-то, съ чѣмъ только и можно жить среди васъ, люди, звѣри, вещи...

Теперь прошло три года съ тѣхъ норъ, какъ я думала такъ, и за это время мнѣ много разъ хотѣлось то зарыться кротомъ въ землю, чтобы ничего не видѣть и не слышать, то голосить о томъ, что въ мѣрѣ не такъ, не по правому все устроено... Марія Николаевна еще въ Америкѣ.

Она замужемъ за Андреемъ Григорьевичемъ и въ Европу не собирается, — она поетъ въ Филадельфи, разъ въ 2 года ѣздитъ въ турнѣ, и ее особенно любятъ въ Калифорніи. Она присылаетъ мнѣ письма, газетныя вырѣзки о себѣ, иногда деньги. Деньги мнѣ очень нужны: зарабатываю я мало, — я играю на роялѣ въ маленькомъ кинематографѣ, на одной изъ улицъ, выходящихъ къ Портъ-Майо. Оркестръ нашъ состоитъ изъ трехъ человѣкъ: я, скрипачъ, онъ же дирижеръ, и виолончелистъ, передъ которымъ, кромѣ виолончели, стоитъ также и барабанъ съ тарелками. Это мѣсто, какъ ни странно, нашелъ мнѣ Нерсесовъ. Было это почти годъ спустя послѣ отъѣзда Травинной. Вскорѣ послѣ того Нерсесовъ умеръ.

Я уже служила около года въ этомъ кино, когда изъ Россіи внезапно въ Парижъ пріѣхалъ Митенька. Онъ разыскалъ меня, чтобы сообщить мнѣ, что мама моя умерла, и передать мнѣ ея (ничего нестоющія) бирюзовыя сережки. Ей, кажется, было лѣтъ 60. Она простудилась, когда ѣздила куда-то за продуктами. Ахъ, тамъ все продолжалась эта тяжелая и странная, полузабытая мною жизнь! Тамъ люди жили не то, какъ муравьи, не то, какъ волки. По своему достоинству, чѣмъ жили мы здѣсь...

Митенька теперь былъ женатъ, жена его была беременна и почему-то ото всѣхъ пряталась. Митенька былъ

все тотъ же — сонѣль, кряхтѣль и плохо мылся, но былъ онъ уже знаменитъ и изъ вундеркиндовъ вышелъ въ заправскіе гени.

— А я въ кино играю, — сказала я, потому что и мнѣ захотѣлось ему рассказать о себѣ, не только его слушать.

Онъ склонилъ свою облысѣвшую голову и грустно посмотрѣлъ на меня.

— И не стыдно, — сказалъ онъ наконецъ, чрезвычай-но гнусаво, — и не стыдно вамъ, Сонечка. Мы отъ васъ столько ожидали!

Ей Богу, онъ путалъ меня съ кѣмъ-то другимъ, — никогда никто отъ меня ничего не ожидалъ!

Потомъ онъ пригласилъ меня къ себѣ, показать женѣ. Она вышла, смущаясь, держа руки на животѣ.

— Вотъ это Сонечка, — сказалъ онъ, — о которой я столько тебѣ рассказывалъ. (Ея лицо не выразило ничего). Это Антоновская, Софья...

Онъ растерялся, позабывъ мое отчество, но отчества у меня никогда не было, и я не выручила его; впрочемъ, мнѣ самой уже давно все это было безразлично.

И право, стоитъ ли обижаться на собственную мать за то, что тебя оплевали до рожденія? Вѣдь бывало — и не разъ — что именно изъ такихъ оплеванныхъ выходили люди настоящіе, гордые и добрые люди. Тутъ дѣло не въ рожденіи, тутъ дѣло въ чемъ-то другомъ. И пусть мнѣ скажутъ, что не смѣетъ всякая козявка посягать на міровое великолѣпіе, я не перестану ждать и говорить себѣ: тебѣ нельзя умереть, тебѣ нельзя отдохнуть, еще ходить по землѣ одинъ человекъ. Еще есть одинъ долгъ, который, можетъ быть, ты когда-нибудь взыщешь ... если есть Богъ.

И на этомъ кончаются мои записки. Но монологъ мой, который никто не слышитъ, продолжается.

Н. Берберова.

*
**

Что дѣлать съ ангельскимъ чутьемъ,
Что дѣлать съ ангельскимъ терпѣнемъ,
Когда стихи заспорятъ съ пѣньемъ,
Разсказывая о своемъ?..
О человѣческомъ, о зломъ
На языкѣ простомъ и вяломъ... —
Что дѣлать съ земнымъ началомъ,
Что дѣлать мнѣ съ земнымъ тепломъ?..
Не узнавая блѣдныхъ строкъ,
Уже не довѣряя слуху,
Глаза смеживъ, покорно, глухо
Впервые повторю урокъ
Любви, что заревомъ вдали
Чадящимъ заслонить зарницу,
Своихъ же словъ, что обошли
Меня на цѣлую страницу,
И снова, и встрѣчь... И откажусь
Отъ ангельскаго пѣснопѣнья,
Взамѣнъ земного нетерпѣнья,
Взамѣнъ тебя, земная грусть...

Алла Головина.

I.

ПОРТРЕТЪ.

На рваномъ фонѣ сѣраго Парижа
И неразборчивыхъ дождливыхъ дней
Вы озарили — голубымъ и рыжимъ —
Начало грустной осени моей.

Вы населили нѣжностью и свѣтомъ
Громоздкій и запутанный пейзажъ.
Такъ, иногда, въ газетѣ, стихъ поэта
Вдругъ засіяетъ средь убійствъ и кражъ.

Застѣнчивыя розовѣютъ губы
На ангельскомъ сияющемъ лицѣ,
Чуть низко къ лобъ, но и такимъ мнѣ любъ онъ, —
Свидѣтельствующій о мудрецахъ.

Здѣсь мудрость въ дружбѣ съ юностью и счастьемъ,
И радость — не подруга слѣпоты.
Горитъ на фонѣ дыма, трубъ, ненастій
Сплавъ: солнца, неба, снѣга, чистоты.

II.

ПРОГУЛКА.

Бьетъ полночь близко на часахъ лица
За стройною рѣшеткой дышетъ садъ
Прекрасенъ — фонарей жемчужный рядъ.
Подъ мирнымъ небомъ сердце цѣпенѣтъ.

Вотъ этотъ звукъ — въ симфоніи міровъ
Безжалостной — вѣкъ не повторится:

Здѣсь шель поэтъ по улицамъ столицы,
Затерянный, какъ песь, среди снѣговъ.
Онъ шель, не въ силахъ съ Богомъ примириться,
И одинокій стукъ его шаговъ
О бремени свидѣтельстввалъ — сновъ,
Которымъ никогда не воплотиться.

Довидъ Кнуть.



Отцвѣтаеть земля. Надъ деревнею солнце заходитъ.
Гдѣ-то въ сторону моря, за рельсами, дышитъ земля.
Средь высокихъ колючекъ, тамъ осень живетъ на свободѣ,
Улыбается, шепчетъ и ягодой рядить кусты.

За песчанымъ холмомъ, неподвижнымъ сіяніемъ полный,
Невидимый просторъ, шелестя, покрываетъ пески.
Я проснулся и слушаю, въ сердцѣ спокойныя волны
Безнадежности, счастья и ясной осенней тоски.

Кто-то ходитъ за мною и слышится трескъ можжевельный.
Это счастье мое заблудилось въ поляхъ.
У воды потерялось, въ сіяніи неба безцвѣльномъ,
Какъ забытая книга, съ отмѣткой твоей на поляхъ.

То, что, сумрачно шурясь, твой геній писалъ торопливо,
Незамѣтно шурша, покрывается теплымъ пескомъ
И надъ міромъ твоимъ наклоняется вѣтка крапивы,
А гроза, проходя, освѣщаетъ страницы огнемъ.

Ты ушла и осталась; мы можемъ уже не страшиться
Разставаться надолго, кто можетъ дождю помѣшать
Съ безупречнымъ задоромъ твоимъ надъ землей проно-
ситься,
Отдаваясь въ груди моей, что ты научила дышать.

Все тобою полно, все еще разъ отъ насъ отдаляясь,
Улыбается намъ. Погасаютъ стога не спѣша.
Отцвѣтаетъ земля, осыпаются дни, забываясь,
И на низкое солнце, усталая, смотреть душа.

Борисъ Поплавскій.

ПАМЯТИ Н. П. ГРОНСКАГО.

1.

«Иду на нѣсколько минутъ...»
Въ работѣ (хаосомъ зовутъ
Бездѣльники) оставивъ столъ,
Отставивъ стулъ — куда ушелъ?

Опрашиваю весь Парижъ.
Вѣдь въ сказкахъ лишь, да въ краскахъ лишь
Возносятся на небеса.
Твоя душа — куда ушла?

Въ шкафу — двустворчатомъ, какъ храмъ,
Гляди — всѣ книги по мѣстамъ,
Въ строкѣ всѣ буквы налицо.
Твое лицо — куда ушло?

2.

Напрасно глазомъ, какъ гвоздемъ,
Пронизываю черноземъ.
Въ сознаниі — вѣрнѣй гвоздя:
Здѣсь нѣтъ тебя и нѣтъ тебя.

Напрасно въ ока оборотъ
Обшариваю небосводъ:
Дождь! Дождевой воды бадья.
Тамъ нѣтъ тебя и нѣтъ тебя.

Нѣтъ, -- н и к о т о р о е изъ двухъ:
Кость слишкомъ кость, духъ слишкомъ духъ.
Гдѣ — ты? гдѣ — тотъ? гдѣ — самъ? гдѣ — весь?
Тамъ слишкомъ тамъ, здѣсь слишкомъ здѣсь.

Не подмигну тебя пескомъ
И паромъ. Взявшаго родствомъ —
За трупъ и призракъ не отдамъ!
Здѣсь слишкомъ здѣсь, тамъ слишкомъ тамъ.

На трупъ и призракъ недѣлимъ!
Не отдадимъ тебя за дымъ
Кадиль,
Цвѣты
Могиль.

И если гдѣ-нибудь ты есть —
Такъ -- въ насъ. И лучшая вамъ честь,
Ушедшіе — презрѣть расколъ:
Совѣмъ ушелъ. Со всѣмъ — ушелъ.

3.

За то, что нѣкогда, юнъ и смѣлъ,
Не далъ мнѣ заживо сгнить межъ тѣлъ
Бездушныхъ, замертво пасть межъ стѣнъ —
Не дамъ тебѣ умереть совѣмъ!

За то, что за руку, свѣжъ и чистъ,
На волю вывелъ, весенній листъ
Вязанками приносилъ мнѣ въ домъ!
Не дамъ тебѣ порости быльемъ.

За то, что первыхъ моихъ сѣдинъ
 Сыновней гордостью встрѣтилъ — чинъ,
 Ребячьей радостью встрѣтилъ — страхъ —
 Не дамъ тебѣ посѣдѣть въ сердцахъ!

Марина Цвѣтаева.

МАРТЪ.

I.

Прими опять и пѣсни и слова,
 Тебя отмѣтившія горемъ новымъ,
 Тебя связавшія узломъ суровымъ,
 Тебя не разорвавшія едва.

Прими, склонись и поцѣлуй слѣды,
 Вѣдь это молодость, и даръ ея послѣдній
 Вотъ эта боль, вотъ эти свѣто-тѣни,
 Покрывшія июльскіе сады.

II.

Блѣдныхъ рукъ твоихъ не устаю
 Наблюдать усталыя движенья.
 Третій день стою я на краю
 Безнадежности и отреченья.

Только темные глаза твои
 Остаются въ тающей дали.

III.

Золотые глаза твои
 Золотые глаза безпечальны.
 Запахъ лѣса и теплой хвои,

Звукъ неузнанный, первоначальный,
Уходящей куда-то воды,
Тишина соблазненного рая...
И планета летитъ голубая,
Какъ пчела за медовымъ цвѣткомъ.

Зинаида Шаховская.

До того какъ въ зеленый дымъ
Солнце канетъ и сумракъ ляжетъ,
Мы о лѣтѣ еще твердимъ...

(Только скоро намъ правду скажетъ
Осень голосомъ ледянымъ).

* * *

Неужели ты снова здѣсь?
Тѣ-же волосы, ростъ, улыбка.
Неужели...

И снова смѣсь
Пустоты и тоски: ошибка.

Какъ то сразу согнешься весь.

* *

Мы, уходя, большой костеръ разложимъ
Изъ писемъ, фотографій, дневника.
Пуускай горять...
Пусть станеть садъ похожимъ
На крематоріумъ издадека.



Слабый трескъ опускаемыхъ шторъ,
 Чтобы дача казалась незрячей,
 И потомъ, точно выстрѣль въ упоръ —
 Ревъ мотора въ саду передъ дачей.

(И еще провожающихъ взоръ
 Безнадежный, тоскливый, собачій).



...На утро садъ уже тонулъ въ снѣгу.
 — Откроемъ окна, надо выйти дыму.
 Зима, зима — безъ грусти не могу
 Я видѣть снѣгъ, сугробы, галокъ: зиму.

Какая власть, чудовищная власть
 Дана надъ нами каждому предмету,
 Термометру лишь стоять въ ночь уласть,
 Улечься вѣтру, позже встать разсвѣту...

Какъ беззащитенъ въ общемъ человекъ
 И какъ себя онъ не считая тратить.
 — На мой не хватить, или хватить вѣкъ, —
 Гадаютъ онъ... Хоть знасть, что не хватить.

Анатолій Штейгеръ.

Аглая Давыдова и ея дочери

Побывавъ съ Раевскимъ на Кавказѣ и въ Крыму, сосланный Пушкинъ разстался съ ними въ серединѣ сентября 1820 г. и отправился къ мѣсту службы своей — въ Кишиневъ. Тотчасъ по прибытіи туда онъ писалъ брату: «другъ мой, любимая моя надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскихъ». Первой половинѣ этого желанія не было суждено исполниться: въ Крыму Пушкинъ болѣе не бывалъ. Но съ Раевскими удалось ему скорѣ свидѣться. Уже въ серединѣ ноября получилъ онъ отъ своего благодушнаго начальника отпускъ и отправился въ Киевскую губернію, въ село Каменку. То было обширное и богатое помѣстіе, принадлежавшее влучатной племянницѣ Потемкина Екатеринѣ Николаевнѣ Давыдовой, по первому браку Раевской, — матери генерала Н. Н. Раевского. Жизнь въ Каменкѣ текла оживленно. Родственники и знакомые Давыдовыхъ и Раевскихъ то съѣзжались туда, размѣщаясь въ большомъ барскомъ домѣ и флигеляхъ его, то разъѣзжались, чтобы со временемъ возвратиться.

24 ноября справлялись именины старой хозяйки дома, и къ этому дню въ Каменкѣ собралось довольно большое общество. Семья Раевскихъ была представлена самимъ генераломъ, его женой, старшимъ сыномъ и четырьмя дочерьми, изъ которыхъ старшая тоже была именинница. Тутъ же находились и дѣти Екатерины Николаевны Давыдовой отъ ея второго брака: отставной генералъ-майоръ Александръ Львовичъ Давыдовъ съ семействомъ и его младшій братъ Василій Львовичъ, впоследствии декабристъ.

Почти въ одно время съ Пушкинымъ явился еще три гостя: тридцатидвулѣтній генералъ Михаилъ Федоровичъ Орловъ, влюбленный въ дочь Раевского Екатерину Николаевну, на которой онъ и женился полгода спустя, и двое

знакомыхъ его: Константинъ Алексѣевичъ Охотниковъ и Иванъ Дмитріевичъ Якушкинъ. Орловъ, Охотниковъ и Якушкинъ съѣхались для переговоровъ по дѣламъ Тайнаго Общества, къ которому принадлежалъ и Василій Львовичъ Давыдовъ. Эти переговоры, конечно, происходили тайно, въ особенности отъ Александра Раевского и отъ Пушкина, котораго при всемъ восхищеніи его поэтическимъ талантомъ, не считали человѣкомъ серьезнымъ и заслуживающимъ довѣрія въ важныхъ дѣлахъ. Тѣмъ не менѣе каждый вечеръ все общество собиралось на половинѣ Василя Львовича, и тутъ закипали бесѣды на темы политической и философскія, при чемъ порой раздавались рѣчи самыя крайнія.

4 декабря Пушкинъ писалъ Гнѣдичу въ Петербургъ: «Былъ я на Кавказѣ, въ Крыму, въ Молдавіи и теперь захожусь въ Кіевской Губерніи, въ деревнѣ Давыдовыхъ милыхъ и умныхъ отшельниковъ, братьевъ Генерала Раевского. Время мое протекаетъ между аристократическими объѣдами и демагогическими спорами — Общество наше, теперь разсѣянное, было недавно разнообразная и веселая смѣсь умовъ оригинальныхъ, людей извѣстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. — Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ...» Дѣйствительно, къ тому моменту, когда писалось это письмо, Охотниковъ и Якушкинъ уже покинули Каменку, направляясь въ Москву, а вскорѣ за ними слѣдомъ поѣхалъ туда и Орловъ. «Демагогическіе споры» поутихли, «аристократическіе объѣды» и шампанское остались: о томъ и о другомъ въ особенности заботился Александръ Львовичъ Давыдовъ. Жизнь въ Каменкѣ потекла нѣсколько по другому, но не менѣе пріятно для Пушкина. Недаромъ, ссылаясь на болѣзнь (дѣйствительную или дипломатическую), сумѣлъ онъ продлить свой отпускъ до конца февраля или до начала марта. Въ общемъ онъ пробылъ въ Каменкѣ (включая сюда и поѣздку въ Кіевъ на нѣсколько дней) три мѣсяца съ лишнимъ. Все это время онъ много писалъ.

«Женщинъ мало», говоритъ Пушкинъ, разумѣя, конечно, такихъ, за которыми можно было ухаживать или которыя способны были тревожить сердце. Однако, и ча томъ сравнительно небольшомъ полѣ, которое ему открывалось въ Каменкѣ, онъ, какъ всегда, не остался бездѣятеленъ. Ему была дана способность одновременно носить

въ сердцѣ не одну любовь, а двѣ или даже болѣе, при чемъ, совмѣщаясь, его любви ничего не утрачивали въ силѣ и напряженности, различаясь только окраскою и огнѣнками. Такъ было и на сей разъ. Въ Каменку онъ прѣѣхалъ, уже привезя съ собою романтическую любовь къ старшей изъ дочерей Раевского. Эта любовь и не могла быть иною. Екатерина Николаевна ни съ какой стороны не годилась для легкой интриги. То была «гордая дѣва», вовсе не раздѣлявшая его любви, быть можетъ — даже не знавшая о ней. Пушкинъ любилъ молча, повѣряя чувства свои лишь перу. Но въ то же время вовсе не безразлична оказалась для него жена Александра Львовича Давыдова — Аглая Антоновна.

Француженка родомъ, со стороны матери она была внучкою графини де Полиньякъ, фаворитки Марин-Антуанетты. Отецъ ея, герцогъ Antoine de Gramont, принадлежалъ къ той части французской эмиграціи, которая нѣкогда гнѣздилась въ Митавѣ, вокругъ Людовика XVIII. Въ Митавѣ, въ концѣ 1804 года, Александръ Львовичъ и женился. Быть можетъ, Аглая Антоновна вышла замужъ по любви. Но любовь постепенно испарилась, — отчасти, вѣроятно, потому, что Аглая Антоновна была постояннымъ предметомъ любовныхъ домогательствъ: она была очень хороша собой. Сынъ Дениса Давыдова рассказываетъ, что въ Двѣнадцатомъ году «отъ главнокомандующаго до корнетовъ все жило и ликовало въ Каменкѣ, но главное — умирало у ногъ прелестной Аглаи». Когда Пушкинъ появился въ Каменкѣ, Александру Львовичу было уже пятьдесятъ три года, Аглаѣ Антоновнѣ — тридцать четыре. (она родилась въ 1786 г.). Онъ былъ толстъ, лѣнивъ, заботился всего болѣе о ѣдѣ, которая всегда была его страстью (отсюда и «аристократическіе обѣды»); она же сохранила красоту, легкомысліе и кокетство; Александръ Львовичъ величаво носилъ рога, которые молва ему приписывала, — Аглая Антоновна спѣшила воспользоваться возможностями, которыя жизнь еще ей предоставляла. Такимъ образомъ, уже самое положеніе было соблазнительно. Конечно, Пушкинъ подпасть соблазну.

И П. Липранди, посѣтившій Давыдовыхъ въ 1822 г. въ Петербургѣ, рассказываетъ, что «жена Давыдова въ это время не очень благоволила къ Александру Сергѣевичу, и ей видимо было непріятно, когда мужъ ея съ большимъ участіемъ о немъ разспрашивалъ» Чѣмъ было вы-

звано. это неблаговоленіе и что вообще произошло между Аглаей Антоновной и Пушкинымъ? Свидѣтельскихъ показаній у насъ нѣтъ, весь матеріалъ для сужденія заключается въ четырехъ стихотвореніяхъ Пушкина, которыя принято съ той или иной степенью достовѣрности относить къ Аглаѣ Давыдовой. Однако, два изъ нихъ («Оставля честь судьбѣ на произволь» и французская пьеска «A son amant Eglé sans résistance») должны быть рѣшительно отброшены: первое — потому, что эта до крайности грубая и циническая эмиграмма содержитъ въ себѣ такія данныя, которыя никакъ нельзя примѣнить къ Аглаѣ Антоновнѣ, а второе — потому, что самая принадлежность его Пушкину весьма сомнительна, да и коллизія, въ немъ изображенная, не согласуется съ той, которая намѣчается въ стихахъ, несомнѣнно относящихся къ Аглаѣ. Остаются, слѣдовательно, двѣ пьесы: посланіе, о которомъ рѣчь будетъ ниже, и общеизвѣстная эмиграмма:

Иной имѣлъ мою Аглаю
 За свой мундиръ и черный усь,
 Другой за деньги; понимаю,
 Другой за то, что былъ Французъ.
 Клеонъ — умою ея страшая,
 Дамисъ — за то, что нѣжно пѣлъ:
 Скажи теперь, моя Аглая,
 За что твой мужъ тебя имѣлъ?

Эту эмиграмму Пушкинъ подъ величайшимъ секретомъ сообщилъ своему брату, а потомъ Вяземскому, причемъ брату писалъ: «въ ней каждый стихъ — правда». Изъ этихъ словъ и изъ того, что подъ именемъ Дамиса легко было усмотрѣть самого автора, біографы Пушкина вывели заключеніе, что Пушкинъ принадлежалъ къ числу счастливицевъ, «имѣвшихъ» Аглаю. Въ такомъ мнѣніи подкрѣпляло ихъ и содержаніе посланія, въ которомъ съ перваго взгляда дѣло идетъ какъ будто о разрывѣ весьма близкихъ отношеній. Но — такъ ли все это?

Повторимъ за Пушкинымъ, что въ его эмиграммѣ «каждый стихъ — правда». Но есть ли основанія отождествлять Дамиса съ самимъ Пушкинымъ? Если сказано, что Дамисъ «нѣжно пѣлъ», то значить ли это, что онъ былъ поэтъ? Прежде всего, если Пушкинъ даже въ самомъ дѣлѣ «имѣлъ Аглаю», то какъ разъ не стихами онъ могъ

приманить ее: въ ея кругу всѣ говорили по-французски; русскаго языка она, вѣроятно, не знала вовсе, а если и научилась нѣсколькимъ фразамъ, то ихъ было недостаточно для того, чтобы понять и оцѣнить пушкинскую поэзію. Слѣдовательно, подѣ «нѣжнымъ пѣніемъ» должно понимать не стихи, а просто тѣ сладкія и соблазнительныя рѣчи, которыми «Дамись» сумѣлъ прельстить Аглаю. Но въ такомъ случаѣ Дамись утрачиваетъ тотъ специфическій признакъ, который позволялъ бы отождествить его непременно съ Пушкинымъ, а не съ кѣмъ-нибудь инымъ. Другими словами: Дамись — можетъ быть, Пушкинъ, а можетъ быть и не онъ. И по всей видимости — именно не онъ.

Вотъ пушкинское посланіе къ Аглаѣ (приводимъ его въ той редакціи, которая даетъ наибольшее количество фактическаго матеріала):

- И вы повѣрить мнѣ могли,
 Какъ семилѣтняя Агнеса?
 Въ какомъ романѣ вы нашли,
 Чтобъ умеръ отъ любви повѣса?
 5 Послушайте. Вамъ тридцать лѣтъ:
 Да, тридцать лѣтъ — не многимъ болѣ;
 Мнѣ за двадцать. Я видѣлъ свѣтъ,
 Кружился долго въ немъ на волѣ:
 Ужъ клятвы, слезы мнѣ смѣшны,
 10 Проказы утомить успѣли;
 Вамъ также съ нашей стороны
 Тревоги сердца надоѣли;
 Умы давно въ насъ охладѣли,
 Некстати намъ учиться вновь!
 15 Мы знаемъ: вѣчная любовь
 Живетъ едва ли три недѣли!
 Я вами точно былъ плененъ,
 Къ тому же скука... мужъ ревнивый...
 Я притворился, что влюбленъ,
 20 Вы притворились, что стыдливы...
 Мы поклялись... потомъ... увы!
 Потомъ забыли клятву нашу:
 Себѣ гусара взяли вы,
 А я наперсницу Наташу.
 25 Мы разошлись. До этихъ поръ
 Все хорошо, благоприсойно:

Могли бы мы безъ глупыхъ ссоръ
 Жить мирно, дружно и спокойно;
 Но нѣтъ! въ трагическомъ жару
 30 Вы мнѣ сегодня поутру
 Съдую воскресили древность:
 Вы проповѣдуете вновь
 Покойныхъ рыцарей любовь,
 Учтивый жаръ, и грусть, и ревность...
 35 Помилуйте, нѣтъ, право нѣтъ,
 Я не дитя, хотъ и поэтъ.
 Оставимъ юный пылъ страстей,
 Когда мы клонимся къ закату,
 Вы — старшей дочери своей,
 40 Я — своему меньшому брату.
 Имъ можно съ жизнію шалить
 И слезы впредь себѣ готовить;
 Еще пристало имъ любить,
 44 А намъ уже пора злословить.

Въ этомъ стихотвореніи, помимо язвительныхъ намековъ на доступность Аглаи и на ея возрастъ, уже неравнѣй по понятіямъ той эпохи, Пушкинъ попутно даетъ и исторію размолвки или ссоры, вызвавшей его очевидную досаду. Перечтемъ же посланіе не спѣша, безъ предвзятой мысли, а главное — стараясь прочитать только то, что въ немъ есть, и не вычитывать того, чего въ немъ нѣтъ.

Признавшись, что первоначально онъ былъ «слабѣнъ» Аглаей, Пушкинъ тотчасъ, однако, снижаетъ свое признаніе, мотивируя увлеченіе скукой и желаніемъ посмѣяться надъ ревностью мужа (стихи 17-18). Въ слѣдующемъ стихѣ свое увлеченіе онъ зоветъ лишь притворствомъ, но не отрицаетъ, что увлеченіе было имъ высказано. Каковъ же былъ отвѣтъ Аглаи? «Вы притворились, что стыдливы», говоритъ Пушкинъ, тѣмъ самымъ указывая, что, не будучи стыдлива (т. е. добродѣтельна) на самомъ дѣлѣ, на сей разъ А г л а я т а к о й притворилась. Это — указаніе чрезвычайной важности. Его одного было бы достаточно, чтобы отвергнуть предположеніе о любовной связи. Но и все остальное говоритъ о томъ же.

Что произошло послѣ основного объясненія, въ которомъ Пушкинъ притворился влюбленнымъ, а Аглая — стыдливой? «Мы поклялись...» — довольно туманно сообщать Пушкинъ, но смыслъ этого сообщенія устанавли-

вается всё съ содержаніемъ лъсы. Вполнѣ очевидно, что притворяясь влюбленнымъ, Пушкинъ говорилъ о вѣчной своей любви, чуть ли не о готовности умереть отъ нея (ст. 1-4). Такъ же очевидно, что Аглая заявила ему о своей взаимности, но, притворяясь стыдливой, сослалась на препятствіе въ видѣ супружеской вѣрности. При этомъ обѣ стороны «покаялись» сохранить свою любовь, не преступая однако заповѣдей и законовъ. Но такъ какъ обѣ стороны уже «видѣли свѣтъ» и такъ какъ ихъ умы уже «охладѣли», и такъ какъ «вѣчная любовь живетъ едва ли три недѣли» (ст. 5-16), то случилось то, чего слѣдовало ожидать: клятва была забыта (ст. 22). Забвеніе клятвы выразилось въ томъ, что у Аглаи Антоновны завелся какой-то гусарь, а у Пушкина — «наперсница Наташа», взятая, вѣроятно, изъ давидовской дѣвичьей (ст. 23-24).

Подводя итогъ происшедшему, Пушкинъ не безъ иронической грусти констатируетъ:

Мы разошлись. До этихъ поръ
 Все хорошо, благопрістойно;
 Могли бы мы безъ лишнихъ ссоръ
 Жить мирно, дружно и спокойно;
 Но нѣтъ!..

И тутъ пристунаетъ онъ къ изложенію того, что именно его возмутило. «Измѣну» Аглаи, ея гусара, онъ ей легко простилъ (или въ томъ притворился). Но онъ не могъ ей простить того, что уже «взявъ гусара», вздумала она «въ трагическомъ жару» упрекать въ невѣрности его, Пушкина, требовать отъ него грусти, ревности — вообще романтическихъ чувствъ (ст. 29-36). Однако жъ, невѣрно было бы думать, что бѣшенство Пушкина было вызвано простою несправедливостью Аглаи или ея непослѣдовательностью. Зная Пушкина, можемъ мы утверждать, что въ поведеніи Аглаи онъ усмотрѣлъ то, чего терпѣть не могъ и что всегда возмущало его въ женщинахъ. Ему показалось (и, быть можетъ, онъ въ этомъ былъ правъ), что Аглая его упрекаетъ съ цѣлью воскресить въ немъ любовныя чувства, съ цѣлью играть этими чувствами — хотя бы даже намѣреваясь въ послѣдствіи, помучивъ его вдосталь, ему отдаться. Именно эту тактику называлъ онъ кокетствомъ, и весьма не случайно, что въ одной изъ рукописей посланіе къ Аглаѣ носитъ заглавіе: «Кокеткѣ».

Таковъ былъ романъ Пушкина съ Аглаей Давидовой. Только такимъ его можно реконструировать на основаніи единственнаго матеріала, который у насъ имѣется — на основаніи собственныхъ пушкинскихъ стиховъ. Читатель, однако же, можетъ задать два вопроса. Первый: самый фактъ «посланія» не противорѣчитъ ли нашему предположенію, что Аглая не знала по-русски? На это смѣло можно отвѣтить: нѣтъ. Свои чувства и мысли Пушкинъ могъ выразить ей французской прозой, а въ стихахъ изложилъ ихъ не для нея, а для себя и для поэзіи, какъ вообще многое, если не все, писалъ онъ для себя и для поэзіи, не думая ни о какихъ читателяхъ, порою даже тщательно пряча написанное. Такъ, до самой смерти онъ пряталъ замѣчательный болдинскій циклъ, состоящій изъ «Разставанія», «Заклинанія» и «Для береговъ отчизны дальней». Если же нуженъ ближайшій, болѣе сходный примѣръ — достаточно назвать стихи, написанные въ альбомъ «Иностранкѣ»:

На языкѣ, тебѣ невнятномъ,
Стихи прощальные пишу...

Второй вопросъ: если Пушкинъ не «имѣлъ» Аглаю, то благородно ли было съ его стороны писать вышеприведенную эпиграмму, т. е. мститѣ женщины можетъ быть именно за то, что онъ ея не «имѣлъ»? На этотъ вопросъ приходится отвѣтить другимъ: а не было ли бы съ его стороны еще менѣе благородно написать эту эпиграмму, если бы Аглая дѣйствительно была его возлюбленной¹⁾.

**

Въ ту пору, о которой идетъ рѣчь, Пушкинъ былъ мальчишески обидчивъ и нерѣдко придавалъ значеніе ве-

1) Одновременно съ нами, но совершенно инымъ путемъ, къ тому же выводу относительно характера отношеній между Аглаей Давидовой и Пушкинымъ пришелъ М. Л. Гофманъ. По его мнѣнію, первая часть такъ называемаго «донъ-жуанскаго списка» содержитъ имена женщинъ, которыхъ Пушкинъ любилъ, но съ которыми не былъ близокъ. Исходя изъ этого общаго положенія, исследователь заключаетъ, что платоническими остались и отношенія поэта съ Аглаей, имя которой значится какъ разъ въ первой части списка. (См. только что вышедшую книгу: М. Л. Гофманъ. Пушкинъ Донъ-Жуанъ. Парижъ, 1935. Стр. 39 и 89).

щамъ совершенно незначительнымъ. Принимая это во вниманіе, можно отчасти понять еще одно обстоятельство, въ которомъ, однако же, все равно остается много весьма неяснаго.

Исторія съ Аглаей Антоновной разыгралась, когда Пушкинъ уже обжился въ Каменкѣ. Якушкинъ же видѣлъ его тамъ лишь въ самомъ началѣ его пребыванія. И вотъ, оказывается, за эти нѣсколько дней онъ успѣлъ завязать кикія-то очень странныя отношенія съ существомъ, какъ будто наименѣе для этого подходящимъ. Упомянувъ объ Аглаѣ Антоновнѣ, Якушкинъ въ запискѣхъ своихъ рассказываетъ: «У нея была премиленькая дочь, лѣтъ 12. Пушкинъ вообразилъ себѣ, что онъ въ нее влюбленъ, безпрестанно на нее заглядывался и, подходя къ ней, шутилъ съ нею очень неловко. Однажды за обѣдомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня и, раскрасѣвшись, смотрѣлъ такъ ужасно на хорошенькую дѣвочку, что она, бѣдная, не знала, что дѣлать, и готова была заплакать; мнѣ стало ее жалко, и я сказала Пушкину вполголоса: «посмотрите, что вы дѣлаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смutilи бѣдное дитя». — «Я хочу наказать кокетку, — отвѣчалъ онъ: — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня». Съ большимъ трудомъ удалось мнѣ обратить все это въ шутку и заставить его улыбнуться».

У Давыдовыхъ было двѣ дочери, а не одна. Но, повидимому, старшая изъ нихъ, Екатерина, родившаяся въ 1806 г., въ это время была въ Петербургѣ, въ Екатерининскомъ институтѣ, и Якушкинъ не зналъ объ ея существованіи. Такимъ образомъ, нужно думать, что въ его разсказѣ рѣчь идетъ о младшей дочери, Аделаидѣ, или Адели, какъ обычно звали ее въ семьѣ. Лѣтъ же ей было не 12, какъ на взглядѣ опредѣлилъ Якушкинъ, а всего десять и во всякомъ случаѣ меньше одиннадцати, потому что она родилась въ 1810 году. Что именно происходило у Пушкина съ этимъ ребенкомъ, мы объяснить отказываемся, потому что кромѣ приведеннаго свидѣтельства Якушкина никакихъ данныхъ у насъ нѣтъ, а разсказъ Якушкина очень неясенъ. Возможно, что онъ неволью стусилъ краски, потому что Пушкинъ вообще неприятно удивлялъ его всѣмъ своимъ поведеніемъ. Это предположеніе тѣмъ болѣе допустимо, что замѣченное Якушкинымъ врядъ ли могло бы укрыться отъ огромной семьи Давыдовыхъ и

Раевскихъ, и если бы все было совсѣмъ такъ, какъ описываетъ Якушкинъ, то Пушкину не постѣснялись бы дать надлежащія указанія, какъ ему слѣдуетъ себя вести съ дѣвочкой. Комментаторы Пушкина все же были какъ бы загнипотизированы якушкинскимъ рассказомъ. Стихи, написанные Пушкинымъ два года спустя и, должно быть, поднесенные Адели при вторичномъ посѣщеніи Каменки, комментаторы единогласно признаютъ «неподходящими» для посвященія столь юному существу. Эти двухстольныя ямбы, для которыхъ Пушкинъ отчасти воспользовался кое-чѣмъ изъ лицейскихъ своихъ стиховъ, общезвѣстны. Приведемъ ихъ все-таки для наглядности:

АДЕЛИ.

Играй, Адель,
 Не знай печали,
 Хариты, Лель
 Тебя вѣнчали
 И колыбель
 Твою качали.
 Твоя весна
 Тиха, ясна:
 Для наслажденья
 Ты рождена.
 Часъ упоенья
 Лови, лови!
 Младья лѣта
 Отдай любви,
 И въ шумѣ свѣта
 Люби, Адель,
 Мою свирѣль.

Эти стихи — не болѣе, какъ дружеское, ласковое напутствіе дѣвушкѣ, которой вскорѣ (года черезъ три) предстоитъ появиться «въ шумѣ свѣта», а тамъ и «младья лѣта отдать любви» — т. е. по-просту выйти замужъ. Рылѣевъ, въ рукахъ котораго очутились стихи къ Адели, напечаталъ ихъ въ «Полярной Звѣздѣ» на 1824 г. подъ произвольнымъ заглавіемъ «Въ альбомѣ малюткѣ». Тутъ онъ, конечно, хватилъ черезъ край, но имъ придуманное заглавіе все же показываетъ, до какой степени невинными представлялись эти стихи современникамъ, еще не заороженнымъ записками Якушкина.



Очень возможно, что Пушкинъ посвятилъ Адели стихи въ связи съ важнымъ событіемъ въ ея жизни — съ предстоящимъ переселеніемъ изъ Каменки въ Петербургъ. Точной даты этого событія у насъ нѣтъ, но вполнѣ правдоподобно, что оно произошло именно въ 1822 или 1823 году. Какъ бы то ни было, въ 1824 г. мы уже несомнѣнно застаемъ обѣихъ дочерей Аглаи Антоновны въ Екатерининскомъ институтѣ — товарками А. О. Россети (впоследствии Смирновой), которая тогда же отмѣтила въ дневникѣ своемъ, что при посѣщеніи института государемъ «всѣ восхищались голосами Давыдовыхъ-Грамонъ». Въ ту же пору произошло знакомство Давыдовыхъ съ двадцатидвухлѣтнимъ подпоручикомъ Михаиломъ Петровичемъ Бестужевымъ-Рюминымъ. Событія развивались быстро. Къ концу 1824 г. Екатерина Александровна была уже невѣстой Бестужева. Однако, этому браку не суждено было состояться: ему рѣшительно воспротивились родители жениха, считавшіе, что по своему служебному и имущественному положенію онъ вообще не въ правѣ жениться²⁾. Судьба, такимъ образомъ, избавила Екатерину Александровну отъ горькой участи быть вдовой одного изъ казенныхъ по дѣлу 14 декабря. Ея дальнѣйшая жизнь протекала въ общемъ счастливо. Нельзя того же сказать о ея младшей сестрѣ. Пожеланія Пушкина не сбылись.

«Аглая Антоновна послѣ смерти мужа переѣхала въ Парижъ: ревностная католичка, она обратила двухъ своихъ дочерей въ католичество, и Адели, вмѣсто наслажденій большого свѣта, выпало на долю уединеніе монастыря». Такъ рассказываетъ А. М. Лобода, авторъ известной статьи «Пушкинъ въ Каменкѣ»³⁾. Этими строками, неоднократно цитированными, одной страницей въ запискахъ Смирновой, къ которымъ еще мы вернемся, да краткими

2) См. Б. Л. Модзалевскій. Страница изъ жизни декабриста М. П. Бестужева-Рюмина. Сборникъ «Памяти декабристовъ» Ленинградъ, 1926.

3) Извѣстія Кіевскаго Университета, 1899, май отг II Тамъ же впервые воспроизведены портреты Аглаи Антоновны и Адели (въ монашескомъ одѣяніи), затѣмъ перепечатанные въ Полномъ собраніи сочиненій Пушкина подъ ред. С. А. Венгера, изд. Брокгаузъ-Ефронъ, т. II, стр. 59 и 142

указаніями на второй брак Аглаи Антоновны до сихъ поръ исчерпывались всѣ свѣдѣнія о судьбѣ ея самой и ея дочерей. Эти свѣдѣнія, крайне скудныя и столь же неточныя, мы имѣемъ возможность дополнить и исправить на основаніи документовъ изъ находящагося въ Парижѣ семейнаго архива маркизовъ де Габріакъ.

* Александръ Львовичъ Давыдовъ умеръ въ 1833 г. Однако, переходъ въ католичество по крайней мѣрѣ одной изъ его дочерей произошелъ гораздо раньше. Дѣло въ томъ, что Екатерина Александровна не долго помнила Бегужева. Черезъ пять мѣсяцевъ послѣ его казни она вышла замужъ за француза, маркиза Эрнеста де Габріакъ. Онъ родился въ эмиграціи, въ Гейдельбергѣ, въ 1792 г., шестнадцати лѣтъ былъ назначенъ первымъ камеръ при Наполеонѣ, а затѣмъ посвятилъ себя дипломатической службѣ. Послѣдовательно состоялъ онъ при посольствахъ въ Туринѣ, въ Петербургѣ (гдѣ, вѣроятно, и познакомился со своей будущею женой), въ Мадридѣ, въ Стокгольмѣ. Его свадьба съ Екатериной Александровной состоялась въ Парижѣ, 12 декабря 1826 г. Незадолго передъ тѣмъ онъ былъ назначенъ на дипломатическій постъ въ Бразилію, куда молодые и отправились. Тамъ, въ Рио-де-Жанейро, черезъ годъ родился у нихъ первый сынъ, названный Александромъ.

Тѣмъ временемъ во Франціи цвѣтѣли политическія событія, отразившіяся на карьерѣ де Габріака. 8 августа 1829 г. король Карлъ X назначилъ новый кабинетъ министровъ во главѣ съ графомъ Полиньякомъ, который приходился роднымъ дядей Аглаѣ Антоновнѣ. Радѣя о судьбѣ внучатной своей племянницы, Полиньякъ вскорѣ назначилъ ея мужа посланникомъ въ Бернъ. Въ концѣ 1829 года Габріаки вернулись въ Европу, но ихъ пребываніе въ Бернѣ оказалось непродолжительнымъ. Настала июльская революція 1830 года. Въ своемъ паденіи Полиньякъ увлекъ за собой своего ставленника, и въ серединѣ августа, вслѣдъ за восшествіемъ на престолъ Луи-Филиппа, де Габріаку пришлось подать въ отставку. На время карьера его прекратилась⁴⁾.

4) Какъ извѣстно, Пушкинъ весьма интересовался итальяскими событиями. Съ кн. П. А. Вяземскимъ онъ держалъ пари на бутылку шампанскаго, утверждая, что Полиньякъ долженъ быть казненъ. Неизвѣстно, зналъ ли онъ о родствѣ Полиньяка съ Давыдовыми.



Выдающейся красоты, свойственной ей матери, Адель не унаследовала. Однако, насколько можно судить по портретамъ, она была миловидна. Для суждений о ея характерѣ, о наклонностяхъ и о томъ, какъ складывались ея воззрѣнія, у насъ нѣтъ никакихъ данныхъ. Лобода, вѣроятно, правъ, приписывая ея обращеніе въ католичество влиянію Аглай Антоновны. Но въ датировкѣ событій оны ошибается. Въ книгѣ, которую много лѣтъ спустя Адель издала въ Парижѣ (*Quelques conversions au catholicisme racontées par Mme Adèle Davidoff, Paris 1876*), она приводитъ письмо, написанное ей католическимъ священникомъ о. де Равиньяномъ въ 1833 г., т. е. какъ разъ въ годъ смерти Александра Львовича Давыдова. Изъ этого письма и изъ разсказа, съ нимъ связаннаго, совершенно ясно, что къ 1833 г. Адель давно уже находилась въ Парижѣ и не только сама была католичкой, но и вела католическую пропаганду среди протестантовъ. Такимъ образомъ устанавливается, что она съ матерью переселилась въ Парижъ и перемѣнила религію еще при жизни отца. Тутъ подходимъ мы къ обстоятельству, которое до сихъ поръ не было извѣстно никому изъ писавшихъ о семьѣ Давыдовыхъ. По всей видимости, Аглая Антоновна покинула «величаваго роконосца» еще за нѣсколько лѣтъ до его смерти, увезя съ собою Адель, но оставивъ въ Россіи сына Владимира, который былъ на шесть лѣтъ моложе Адели. Наша увѣренность подкрѣпляется письмомъ Александра Львовича въ Бернъ, къ старшей дочери, отъ 16/28 марта 1830 г. Не стоитъ приводить полностью это пространное посланіе, наполненное преимущественно сообщеніями о родственникахъ и знакомыхъ. Характерно въ немъ то, что въ немъ нѣтъ ни единого упоминанія объ Аглаѣ Антоновнѣ. О себѣ самомъ Александръ Львовичъ пишетъ: «Si tu pouvais te figurer combien je souffre d'être séparé de toi et des miens! Mon cœur saigne toutes les fois que je pense à vous. C'est un vrai martyr. Il est évident que nous sommes nés pour souffrir». («Если бы ты могла себѣ представить, какъ я страдаю отъ того, что разлученъ съ тобой и со своими! Сердце мое обливается кровью всякій разъ, какъ я о васъ думаю. Это настоящая пытка. Видно, мы созданы для страданій»). Подъ «своими» Александръ Львовичъ

здѣсь разумѣль, конечно, Адель и Владиміра, который въ это время находился въ Петербургѣ.

Послѣдніе годы жизни Александръ Львовичъ короталъ въ своемъ имѣніи Грушовкѣ, Кіевской губерніи, отъ нечего дѣлать сочиняя романсы. Одинъ изъ нихъ былъ приложенъ и къ упомянутому письму: «*Tu m'as demandé de t'envoyer quelquefois de mes romances; en voilà une sur des paroles que j'ai fait aussi et que je t'ai écrites dans une de mes lettres. Si tu la trouvera présentable, copie la et envoie à Adèle.*» («Ты меня просила иногда присылать мои романсы; вотъ одинъ изъ нихъ, для котораго я написалъ и слова, посланныя тебѣ въ одномъ изъ писемъ. Если ты найдешь его чего-нибудь стоящимъ, переписиши и пошлѣ Адели»). Романсъ, къ сожалѣнію, не сохранился.

Александръ Львовичъ умеръ въ одинъ изъ первыхъ дней 1833 г., а можетъ быть и въ одинъ изъ послѣднихъ дней 1832-го. Объ этомъ событіи извѣстилъ Аглаю Антонову Петръ Львовичъ Давыдовъ, братъ покойнаго. Вслѣдъ затѣмъ вдова очень скоро вышла замужъ за французскаго генерала (съ 1840 г. — маршала) Ораса Себстіана де ла Порта, который впоследствии былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ при Луи-Филиппѣ. Можно догадываться, что новый избранникъ ея сердца уже и раньше былъ съ нею близокъ. Къ моменту свадьбы ему было уже подъ шестьдесятъ лѣтъ (онъ родился въ 1775 г.), а Аглая Антоновнѣ сорокъ восемь. Она, слѣдовательно, какъ бы помѣнялась ролями съ младшею дочерью: сама вышла замужъ, когда, быть можетъ, пора было ей пойти въ монастырь, а дочь постригла въ монахини, когда той пора было выйти замужъ. Адель Александровна стала монахиней въ *Sacré-Coeur*, новиціатъ котораго находился на *rue de Varenne*, въ д. № 77⁵). Это произошло лѣтомъ 1834 года.

Аглая Антоновна, какъ и ея старшая дочь, занимала

5) Судьба этого зданія превратна. Оно было построено въ первой половинѣ XVIII вѣка для нѣкоего Абраама Пейранъ, разбогатѣвшаго парикмахера. Послѣ его смерти домъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Между прочимъ, передъ самой Отечественной войной въ немъ помѣщалось русское посольство. Новиціатъ *Sacré-Coeur* занималъ его съ 1820 по 1904 г. Теперь въ немъ музей Родэна (*Marquis de Rochegude et Maurice Dumolin. Guide pratique à travers le vieux Paris. Paris, 1923, pp. 486-487*).



**Маркиза Екатерина Александровна де Габріакъ,
урожденная Давыдова.**

очень видное положеніе въ высшемъ парижскомъ свѣтѣ. Однако же, какъ это ни странно, о замужествѣ Екатерины Александровны и о монашествѣ Адели въ Россіи, повидимому, знали только ближайшіе родственники. По крайней мѣрѣ Смирнова, которую нельзя упрекнуть въ отсутствіи интереса къ чужимъ біографіямъ, въ теченіе цѣлыхъ тридцати лѣтъ ничего не знала о судьбѣ бывшихъ своихъ подругъ по институту. Только въ 1862-1863 г., въ одномъ парижскомъ салонѣ, случайно встрѣтилась она съ Екатериной Александровной. Объ этой встрѣчѣ она рассказываетъ: «Кити послѣ многихъ лѣтъ встрѣтила меня: «Сашенька», а я отвѣчала: «Кити, à qui êtes vous mariée? Ou est Adèle?» - «Adèle est à Rome à Trinita del Monte, religieuse». - «Sic transit gloria mundi», - подумала я. Хороши же были лучшіе годы цвѣтущей Адели за рѣшеткой въ монастырѣ. Голыя стѣны, на завтракъ *minestra* итальянская, т. е. соленая вода съ вермишелью, а pour distraction упрямые и капризные дѣти, которыхъ посвящали въ тайны грамматики и римской bigoterie, т. е. русскаго ханжества»⁶⁾.

О монастырской жизни Адели мы можемъ судить лишь по отрывочнымъ свѣдѣніямъ и намекамъ, содержащимся въ ея книгѣ, а также по нѣсколькимъ документамъ семейнаго архива, въ которомъ, къ сожалѣнію, отсутствуютъ письма самой Адели и ея старшей сестры. Однако, хоть и съ большими пробѣлами, эту жизнь въ основныхъ чертахъ можно возстановить. Прежде всего приходится сказать, что Смирнова представляла ее себѣ невѣрно.

Обученіе дѣтей никогда не входило въ кругъ монашеской дѣятельности Адели Александровны. Съ самаго начала она посвятила себя дѣлу католической пропаганды, которую вела подъ руководствомъ уже упомянутаго о. де Равиньяна, извѣстнаго проповѣдника-іезуита (подъ его влияніемъ вступилъ въ орденъ и русскій іезуитъ кн. Иванъ Сергѣевичъ Гагаринъ). Этой работѣ Адель отдалась съ исключительнымъ рвеніемъ, которое съ теченіемъ времени не только не ослабѣвало, но еще усиливалось и въ концѣ концовъ стало причиной самыхъ драматическихъ событій въ ея жизни.

6) А. О. Смирнова. Записки, дневникъ, воспоминанія, письма. Изд. «Федерация», Москва, 1929 стр. 184-185 и стр. 411 (прим. 63 и 65). Стихи Пушкина къ Адели здѣсь ошибочно отнесены къ 1821 г.

Среди объектовъ ея миссіонерской дѣятельности русскихъ, повидимому, не было. Работала она среди англичанокъ, американокъ и отчасти нѣмокъ. Судя по ея книгѣ, она хорошо знала свой предметъ, обладала ораторскими способностями, порой позволявшими ей выдерживать пренія даже со священниками другихъ исповѣданій, а главное — умѣла завладѣть умомъ и волею тѣхъ, кого хотѣла обратить. Недаромъ одна американка, совсѣмъ уже было обращенная, но буквально сбѣжавшая въ послѣднюю минуту, передъ самою исповѣдью у о. Равиньяна, писала ей: «Ma bonne mère, lorsque je suis auprès de vous, tous mes doutes disparaissent; si vous vous éloignez, je redeviens protestante; vous êtes une vraie sirène dont la voix m'enchanté»... («Дорогая матушка, когда я возлѣ васъ, всѣ мои сомнѣнія исчезаютъ; стоитъ вамъ отойти, я вновь становлюсь протестанткой; вы — настоящая сирена, голосъ которой меня зачаровываетъ»...). Такіе случаи были, однако, исключеніемъ; почти всегда усилія Адель утѣнчивались успѣхомъ, и въ нѣкоторые годы ей удавалось обращать въ католичество по двадцати и болѣе человекъ. На свою работу Адель смотрѣла, какъ на призваніе, данное ей свыше: «c'est Dieu qui m'a conduite», говоритъ она. Неофитовъ она доводила до очень высокихъ степеней экстаза: имъ являлись видѣнія.

Шли годы. 21 февраля 1842 г. умерла мать Адели, въ 1851 г. — ея вочимъ. Де Габріакъ, мужъ Екатерины Александровны, въ 1841 г. сталъ пэромъ Франціи, а въ 1853 г. сенаторомъ. Адель по прежнему жила въ монастырѣ и занималась пропагандой. Однако, въ ея отношеніяхъ съ монастырскимъ начальствомъ постепенно образовалась трещина, причины которой въ точности невозможно выяснить. Какъ ни странно, осложненія возникли въ связи съ проповѣдническою дѣятельностью Адели. Адель считала, что чѣмъ больше рвенія вложить она въ свою работу, тѣмъ лучше. Монахини находили, что ея горячность выводить ее за предѣлы скромности и смиренія, налагаемыхъ объѣтомъ; ея увѣренность въ томъ, что она особенно избрана самимъ Богомъ для прославленія Вѣры и Церкви, казалась имъ недозволенною гордыней. Эти принципиальная разногласія осложнялись тѣмъ прискорбнымъ обстоятельствомъ, что Адель, кажется, имѣла основанія подозрѣвать нѣкоторыхъ монахинь въ зависти и личныхъ интригахъ. Не слѣдуетъ упускать изъ виду и то, что рус-

ское происхожденіе Адели, какъ и ея бывшая принадлежность къ православію, дѣлали ее до нѣкоторой степени чужероднымъ явленіемъ въ общемъ составѣ монастыря.

Въ Sacré-Cœur былъ (и до сихъ поръ сохранился) обычай посылать монахинь въ Римъ, въ главный монастырь ордена — Тринита дель Монте, на Пинчо. Въ 1857 году очутилась тамъ и Адель, отправленная, повидимому, для переменъ окружающей обстановки. Но и въ Римѣ она занялась пропагандой среди тамошнихъ протестантовъ. Отъ пребыванія въ столицѣ католическаго міра горячность ея, конечно, не ослабѣла, а возросла. Дѣло дошло до того, что какой-то протестантскій священникъ объявилъ ее «существомъ сверхъестественнымъ», произнесъ противъ нея цѣлую проповѣдь и запретилъ своей паствѣ общаться съ нею. «Такъ какъ запретный плодъ всегда сладокъ», — рассказываетъ Адель, — то никто не послѣдовалъ этому запрету; одни приходили изъ любопытства, другіе обращались дѣйствительно; на Монте Пинчо стекалась неслыханная толпа».

Разказы объ этомъ дошли до Парижа, какъ водится, искаженные до неупости: говорили, что какой-то англійскій священникъ склоняетъ Адель ѣхать въ Англію для пропаганды католицизма! Понявъ, однако, что отправкой Адели въ Римъ онѣ только подлили масла въ огонь, монахини стали звать ее обратно въ Парижъ, но она не хотѣла ѣхать. Можно себѣ представить, каково было ея душевное состояніе. Она ясно видѣла, что ее хотятъ оторвать отъ того, что считала она главнымъ подвигомъ своей жизни — и чтобы это не случилось, ей, послѣ двадцати съ лишкомъ лѣтъ пребыванія въ монашествѣ, ничего не оставалось, какъ подъ всякими предлогами уклоняться отъ подчиненія монастырскимъ властямъ. Упорство, неожиданно ею проявленное, породило новый слухъ — о томъ, что она намѣрена покинуть конгрегацию. Монахини исполошились и исполошили ея сестру. Перспектива скандала, неминуемаго въ этомъ случаѣ, съ этихъ поръ отравила жизнь Екатерины Александровны.

Герцогъ Аженоръ де Грамонъ, племянникъ Аглаи Антоновны и двоюродный братъ сестеръ Давыдовыхъ, былъ въ это время французскимъ посланникомъ въ Римѣ. Екатерина Александровна обратилась къ нему съ просьбою навески справки объ Адели. 12 декабря 1857 г. онъ отвѣтилъ нижеслѣдующимъ письмомъ.

«Ma chère Catinka, j'ai reçu votre lettre du 4 de ce mois et remis à Adèle celle qui y était jointe. Je suis heureux de pouvoir vous tranquilliser complètement sur l'état de son esprit, et d'être en mesure de vous affirmer, que rien n'est plus éloigné de sa pensée que l'idée de se soustraire à l'obéissance envers ses chefs spirituels.

Adèle a ressenti jusqu'au fond de son cœur les traitements qu'elle a essayé. Elle en a cruellement souffert et s'en est affectée au-delà de ce que je puis dire, mais dans sa douleur amère il est impossible d'être restée plus constamment religieuse et soumise. Le malheur est que souvent ses paroles ou ses lettres ne rendent pas très bien sa pensée. Je m'en suis aperçu et j'ai cherché à la comprendre. A mon avis c'est une sainte, et je crois que vous penseriez comme moi si vous voyez ce qu'il y a de foi et d'abnégation dans son caractère. Loin d'être orgueilleuse elle a l'humilité du cœur et celle de l'esprit et il faut que ces vertus soient bien fortes chez elle pour triompher comme elles le font de la vivacité naturelle de son caractère. Le talent et le succès avec lequel elle convertit tous les protestants qui l'approchent tient du miracle et pour ma part je craindrais, je l'avoue, de contrarier les desseins de la Providence si je lui disais un mot pour l'en détourner. Aucun prêtre Anglais ne cherche ainsi que vous paraissez le croire à l'exciter à se rendre en Angleterre pour y faire des catholiques. Personne ne l'engage à quitter sa Société. Elle aime le Sacré-Cœur et veut y rester tout en suppliant ses Supérieurs de la laisser suivre la voie que le Ciel semble lui tracer. Elle se sent calme et heureuse ici, non pas qu'elle préfère ce séjour à celui de la maison de Paris, mais parce qu'elle ne sent pas ici s'agiter autour d'elle toutes les intrigues vulgaires dont elle a été la victime.

N'est-il pas vraiment bien regrettable, que des comères de bas étages comme cette Mme Ram puissent ainsi influencer sur les destinées d'une personne qui leur est tellement supérieure.

Adèle me témoigne de la confiance, elle me demande des conseils. De vous à moi, j'en éprouve parfois de la honte, tant je la trouve au-dessus de nous tous. La religion inspire chacune de ses pensées, comment oserai-je placer à côté mes propres conseils? Cependant je lui ai parlé comme vous le désirez, je l'ai trouvée très déc-

dée à ne jamais rien faire sans l'avis et le consentement de ses Mères Spirituelles. Je crois qu'il est temps de la laisser tranquille et de ne plus la sermoner, car ce serait perdre son temps que de chercher à calmer une agitation qui n'existe pas. Je vais la voir toutes les semaines et vous pouvez être sûre que jamais il ne lui viendra dans l'idée de s'appuyer sur le crédit que peut me donner ma position pour s'écarter de la ligne de ses devoirs»...

Переводъ:

«Дорогая Катенька, я получилъ ваше письмо отъ 4 числа и передалъ Адели то, которое было къ нему приложено. Я радъ, что могу совершенно успокоить васъ касательно состоянія ея мыслей и подтвердить вамъ, что она какъ нельзя болѣе далека отъ намѣренія не подчиняться своему духовному начальству.

Адель до глубины сердца восчувствовала тѣ воздѣйствія, которыя на нее были оказаны. Она отъ нихъ очень страдала и несказанно ими взволновалась, но въ своей горести осталась какъ нельзя болѣе вѣрующей и смиренной. Бѣда въ томъ, что часто ея слова и письма не очень хорошо выражаютъ ея мысль. Я это замѣтилъ и постарался ее понять. По моему это святая, и я увѣренъ, что вы подумали бы то же самое, если бы видѣли, сколько вѣры и самоотреченія въ ней заключено. Она ничуть не горда, сердце ея смиренно, какъ и ея мысль, и эти добродѣтели, должно быть, очень сильны въ ней, если онѣ такъ пересиливаютъ природную живость ея характера. Талантъ и усилъ, съ которыми она обращаетъ всѣхъ встрѣчающихся ей протестантовъ, похожи на чудо, и признаюсь, я лично боялся бы препятствовать предначертаніямъ Провидѣнія, если бы сказалъ хоть одно слово, чтобы ее отклонить съ этого пути. Никакой англійскій священникъ не пытается, какъ вы, видимо, думаете, подбить ее на поѣздку въ Англію, чтобы тамъ обращаться людей въ католичество. Никто ей не предлагаетъ покинуть конгрегацію. Она любитъ свои Sacré-Sœur и хочетъ въ немъ оставаться, умоляя свое Начальство дать ей слѣдовать по пути, который какъ бы само Небо ей предудказываетъ. Она чувствуетъ себя здѣсь спокойной и счастливой не потому, что предпочитаетъ здѣшнее пребываніе парижской обители, а потому, что не чувствуетъ здѣсь вокругъ себя тѣхъ низкихъ интригъ, жертвой которыхъ она была. Не прискорбно ли, въ самомъ дѣлѣ, что низкопробныя сплетницы вродѣ м-мъ

Рамъ могутъ такъ вліять на судьбу человѣка, который настолько ихъ выше.

Адель мнѣ оказываетъ довѣріе, спрашиваетъ моихъ совѣтовъ. Говоря между нами, я иногда чувствую стыдъ отъ этого — настолько я считаю ее стоящей выше насъ всѣхъ. Каждая мысль ея вдохновлена вѣрой — какъ я смѣю съ этимъ сопоставлять свои совѣты? Однако, я говорилъ съ нею такъ, какъ вы хотѣли; я нашелъ, что она твердо рѣшила никогда ничего не дѣлать безъ вѣдома и согласія ея Духовныхъ Матерей. Я полагаю, что пора оставить ее въ покоѣ и больше ее не отчитывать, потому что стараться унять несуществующее волненіе — значить терять время. Я бываю у нея каждую недѣлю, и вы можете быть увѣрены, что ей никогда не придетъ въ голову опереться на преимущество, которое мнѣ дается моимъ положеніемъ, чтобы уклониться съ пути ея долга...»

Послѣдняя фраза этого письма нуждается въ поясненіи: она показываетъ, что въ монастырѣ боялись, какъ бы Адель, пользуясь протекціей своего кузена, не апеллировала къ самому Папѣ въ своемъ спорѣ съ монахинями! Такія опасенія были, какъ видимъ, напрасны, но все-таки Грамонъ испросилъ для Адели частную аудіенцію у Пія IX. Адель привела съ собою цѣлую группу протестантокъ, надъ обращеніемъ которыхъ она въ то время трудилась. При видѣ Папы она упала ничкомъ, залилась слезами и не могла выговорить ни слова. Папа самъ ее поднялъ, благословилъ и сказалъ: «Бѣдное дитя, представьте мнѣ вашу паству».

За первой аудіенціей послѣдовала вторая, во время которой Адель, имѣя въ виду препятствія, чинимыя ей, просила Папу дать ей особое благословеніе на то дѣло, которому она себя посвятила. «Тогда святой отецъ, — рассказываетъ она. — вознесъ отеческія руки свои надъ моею головою и взволнованнымъ голосомъ, котораго я никогда не забуду, произнесъ: Да, дочь моя, во имя Іисуса Христа говорю вамъ — обратитесь къ протестантовъ; но только дѣлайте это съ усердіемъ спокойнымъ, благоразумнымъ и покорнымъ (*avec un zèle calme, prudent et dévoué*). — Эти слова показываютъ, что Папа почелъ нужнымъ нѣсколько умѣрить ея экзальтацію, которую то ли примѣтилъ самъ, то ли былъ освѣдомленъ другими лицами.

Слова Папы Адель затвердила наизусть, но признакъ смиренію въ нихъ не разслышала или не захотѣла разслышать. Черезъ нѣсколько времени она вернулась въ Парижъ, но ея отношенія съ монастыремъ были уже въ корнѣ испорчены. Дальнѣйшія событія развивались медленно, что вполнѣ естественно въ условіяхъ монастырской жизни, — но неуклонно. Подробныхъ и конкретныхъ данныхъ объ этихъ событіяхъ мы не имѣемъ, но ихъ общія очертанія можно возстановить.

Судя по разсказамъ, заключеннымъ въ ея книгѣ, Адель прожила въ Парижѣ по крайней мѣрѣ до начала 1861 г. Послѣ этого мы вновь находимъ ее въ Римѣ. Ея раздраженіе къ этому моменту, очевидно, достигло очень высокой степени. Родные были встревожены и недовольны ея поведеніемъ. Весьма показательно въ этомъ смыслѣ письмо къ ея сестрѣ, написанное 2 апрѣля 1861 г. тѣмъ же Аженоромъ, который три года тому назадъ называлъ Адель святою и не считалъ себя достойнымъ судить о ея поступкахъ. Теперь онъ пишетъ:

«...Joseph⁷⁾ m'a entretenu de ce que notre pauvre Adèle vous avait écrit; j'en ai été fort attristé parce que de tels écarts deviennent sérieux et ne permettent guère malheureusement de fermer les yeux à l'évidence. Il est impossible de ne pas y reconnaître les traces inquiétantes d'un certain désordre dans les idées et d'une faiblesse de pensée dont l'effet est de prendre pour des faits accomplis les fantaisies d'une imagination ardente et un peu déréglée. Il me reste encore l'espoir que ces extravagances sont le résultat *momentané* d'une crise de santé et que plus tard la nature en reprenant son assiette normale, calmera cette effervescence. Cependant, il est nécessaire de la surveiller sans qu'elle s'en doute autant dans son intérêt que pour celui des personnes qu'elle peut compromettre»...

Переводъ:

«...Жозефъ⁷⁾ мнѣ сообщилъ о томъ, что написала вамъ наша бѣдная Адель; я былъ этимъ весьма огорченъ, потому что такія уклоненія отъ истины становятся серъ-

7) Графъ (инострѣдствія маркизъ) Жозефъ де Габриакъ второй сынъ Екхатерини Александровны, рожившійся въ Бернѣ въ 1830 г. В 1861 г. онъ состоялъ въ Римѣ секретаремъ при французскомъ посольствѣ.

езны и къ несчастію никакъ не позволяютъ закрывать глаза на то, что уже очевидно. Нельзя въ нихъ не распознать тревожныя черты нѣкотораго безпорядка въ представленіяхъ и ослабленія въ мысляхъ, вслѣдствіе чего порожденія пылкого и немного разстроеннаго воображенія принимаются за дѣйствительныя событія. Я еще надѣюсь, что эти странности суть временное слѣдствіе нездоровья и что впоследствии природа естественнымъ образомъ уймётъ это возбужденіе. Однако, необходимо за ней незамѣтно слѣдить — столько же въ ея интересахъ, сколько въ интересахъ лицъ, которыхъ она можетъ поставить въ неловкое положеніе»...

Въ словахъ де Грамона чувствуются тревога и досада, отчасти вызванныя тѣмъ, что Адель сообщила сестрѣ невѣрное свѣдѣніе о предстоящей будто бы ея отставкѣ. Отсюда — предложеніе слѣдить за ея поведеніемъ и забота о «лицахъ, которыхъ она можетъ поставить въ неловкое положеніе». Однако, въ «разстроенное воображеніе Адели и чуть ли не въ ея душевную бользнь, на которую онъ намекаетъ, онъ, видимо, самъ не вѣрять и пишетъ объ этомъ лишь для того, чтобы навести Екатерину Александровну на очень выгодную идею: пользуясь экзальтацией и несомнѣнной нервическою возбужденностью Адели, выставить ее больною въ глазахъ монахинь. Если бы это удалось, то была бы отстранена опасность, болѣе всего пугавшая родственниковъ: опасность разрыва Адели съ монастыремъ. Душевно-больную монахиню нельзя было бы ни подъ какимъ предлогомъ удалить изъ монастыря; напротивъ, на монастырь легла бы прямая обязанность опекать ее до конца жизни, — что и требовалось, ибо такимъ образомъ родственники навѣрняка избавились и отъ пугавшаго ихъ скандала, и отъ обузы, которая могла лечь имъ на плечи.

Въ монастырѣ, однако, всего менѣе были склонны смотрѣть на Адель, какъ на сумасшедшую. Она таковой и не была. Это видно хотя бы изъ того важнаго обстоятельства, что когда въ 1858 г. умеръ о. де Равиньянъ, подъ руководствомъ котораго она вела свою пропаганду, его не поколебался замѣстить другой, не менѣе выдающійся проповѣдникъ и духовный писатель — о. де Понлевуа, настоятель иезуитскаго монастыря въ д. 35, на rue de Sèvres, того самаго, при которомъ была основана о. Инаномъ Ггариннымъ «Славянская бібліотека», находящаяся и нынѣ

въ томъ же домѣ. О. Понлевуа оставался духовнымъ руководителемъ Адели вплоть до 1865 г., когда произошелъ открытый разрывъ между Sacré-Cœur и пятидесятипятнадцатой монахиней, уже тридцать лѣтъ состоявшей въ конгрегаціи.

*

**

Монастырское начальство не могло прямо препятствовать Адели въ ея миссіонерской работѣ, въ особенности послѣ полученнаго ею благословенія самого Папы. Но пассивное сопротивленіе оказывалось. Между тѣмъ, прежнія рамки работы уже не удовлетворяли Адель. Она видѣла упадокъ религіознаго чувства среди французовъ-католиковъ, у нея возникали обширные планы, для осуществленія требовавшіе денегъ. Она задумала устроить воскресную школу для бѣдныхъ, дѣтей и рабочихъ. Монастырь ей отказалъ въ необходимыхъ средствахъ, и она, черезъ посредство лэди Маріи Гамильтонъ, бывшей принцессы Баденской, которая была дочерью Стефаніи Богарнэ, обратилась къ Наполеону III съ просьбой разрѣшить устройство лотереи, доходъ съ которой пошелъ бы на организацію и содержаніе школы. Императоръ отнесся къ замыслу сочувственно, но поставилъ условіемъ, чтобы монастырь поддержалъ ходатайство Адели. Монахини отъ этого уклонились, и лотерея не состоялась. Довольно любопытно, однако, что впоследствии при Sacré-Cœur была устроена именно такая школа, какую проектировала Адель; существуетъ она и до сихъ поръ, только никто ужъ не помнитъ или не хочетъ помнить, что этотъ замыселъ нѣкогда принадлежалъ непокорной русской монахинѣ.

Монастырскія власти отказались поддержать проектъ Адели не только потому, что хотѣли ей досадить. Была у нихъ и причина болѣе уважительная. Ея проповѣдническая дѣятельность была вообще сопряжена съ расходами. Съ тѣхъ поръ, какъ монастырь по тѣмъ или инымъ соображеніямъ сталъ отрицательно относиться къ этой дѣятельности, онъ прекратилъ и финансовую ея поддержку. Тогда Адель, какъ это ни странно, за свой страхъ и рискъ, пустилась въ какія-то денежныя спекуляціи, весьма смущавшія монахинь, которыя ей вполне справедливо указывали, что, давъ обѣтъ бѣдности, она не должна «смѣшивать финансовыя проекты со служеніемъ Богу». Но этогъ

мало. Спекуляціи требовали оборотныхъ средствъ, за которыми Адель не разъ обращалась къ Габріакамъ, сули имъ большія прибыли отъ участія въ дѣлѣ. Габріаки ей отвѣчали отказами, вполне рѣшительными, порой даже рѣзкими. Тогда Адель, видимо, вовлекла въ свои замыслы другихъ лицъ, въ результатъ чего у нея образовались долги. Возможно, что случилось и обратное, т. е., падѣлавъ долговъ, Адель пускалась въ спекуляціи, чтобы такимъ образомъ разсчитаться съ кредиторами. Во всякомъ случаѣ, эти соблазнительные поступки еще болѣе осложнили ея отношенія съ монастыремъ, который былъ по своему праву, не желая раздѣлить съ нею ни моральную, ни денежную отвѣтственность за поступки, совершаемые противъ его воли. Положеніе дѣлалось все болѣе нестерпимо для обѣихъ сторонъ.

11 іюня 1865 г. умеръ старый маркизь де Габріакъ, мужъ Екатерины Александровны. Вдова поѣхала гостить къ своему сыну Жозефу, который въ это время состоялъ секретаремъ при французскомъ посольствѣ въ Баваріи, но временно находился со своей семьей въ Зальбургѣ. Благодаря отсутствію Екатерины Александровны изъ Парижа, мы имѣемъ нѣсколько писемъ, относящихся какъ разъ къ тому моменту, когда между Аделью и монастыремъ назрѣлъ окончательный разрывъ. Устрашенные предстоящимъ скандаломъ и встревоженные, какъ бы имъ не пришлось платить сдѣланные Аделью долги, родственники приступили къ оживленному общенію мѣстной. Аженонъ де Грамонъ, теперь стоявшій во главѣ посольства въ Вѣнѣ, прислалъ Жозефу до Габріакъ обширнѣйшее посланіе, въ которомъ на этотъ разъ прямо заявлялъ, что «*cette pauvre Adèle... s'avance à pas comptés sur le chemin de la folie*» («бѣдная Адель быстро идетъ къ сумасшествію») и что *Sacré-Cœur* не имѣетъ права бросить ее въ такихъ обстоятельствахъ. На этомъ онъ особенно софтонко настаивать передъ монастырскимъ начальствомъ. *Il faut faire appel à l'indulgence des Dames du Sacré-Cœur; c'est un cas de maladie*, прибавлялъ онъ. («Надо взывать кънисходительности монахинь; дѣло идетъ о болѣзни»). Тутъ же, противорѣча себѣ, рекомендовалъ онъ обратиться къ старшему сыну Екатерины Александровны, Александрю де Габріакъ, чтобы тотъ воздействовалъ на Адель: Александръ де Габріакъ былъ священникомъ-іезуитомъ и другомъ о. Пондевуа. «*Quant à la question d'argent, —*

прибавляетъ онъ, -- *je ne m'en mêlerai pas et vous n'avez pas à vous en mêler non plus. Nous n'avons tous qu'un rôle à remplir dans ce triste épisode: c'est d'unir nos efforts pour empêcher le scandale.* («Что касается денежнаго вопроса, то я въ него не вмешиваюсь, и вамъ не къ чему вмешиваться. Наше дѣло въ этомъ прискорбномъ событіи одно: соединить усилія для того, чтобы помѣшать скандалу»).

Одновременно съ этимъ письмомъ де Грамонъ написалъ другое — къ самой Адели, съ увѣщаніями смириться предъ Богомъ и начальствомъ. Оно до насъ не дошло, но его содержаніе явствуетъ изъ другихъ документовъ. Однако, было уже поздно. Письмо де Грамона помѣчено 15 октября. Въ тотъ же день о. Поппеуа извѣщалъ маркизу де Габріакъ, что настоятельница монастыря поставила Адели ультиматумъ: или отправиться въ Бордо, въ одну изъ обителей *Sacré-Cœur*, или послать въ Римъ прошеніе о разрѣшеніи отъ монашескаго обѣта. Послѣ многихъ перипетій Адель склонилась къ послѣднему.

Черезъ день послѣ этого настоятельница монастыря мать де Гѣтцъ со своей стороны отправила Екатеринѣ Александровнѣ весьма сухое письмо, въ которомъ, конечно, нѣтъ ни намёка на болѣзнь Адели — и много скрытаго къ ней недоброжелательства:

«Madame,

J'aurais voulu répondre sans retard à votre lettre, et vous dire que non seulement je comprends votre douleur, mais encore que je la partage sincèrement; aujourd'hui permettez-moi de vous donner quelques explications sur un acte que nous déplorons, mais que nous n'avons nullement provoqué, et dont Madame Davidoff prend sur elle toute la responsabilité.

J'ai dû exiger seulement qu'elle renouât à l'œuvre des protestants. Cette mesure était arrêté depuis longtemps et devenait impérieusement nécessaire à prendre, à cause du manque de prudence de Madame Adèle, qui compromettait très souvent non seulement les convenances, mais la Société, d'une manière extrêmement grave. Voilà, Madame, ce qu'elle n'a pas voulu accepter à aucune condition, et malgré toutes les mesures que j'avais prises pour lui en adoucir la peine; car je n'ignorais pas à quel point elle serait sensible à l'abandon d'une œuvre, complètement en

dehors cependant de notre Vocation. Ainsi, je lui ai proposé plusieurs positions; entr'autres un séjour, au moins momentanément à Bordeaux, où la Supérieure la connaît depuis longues années... Je savais que les attentions et les soins les plus délicats seraient prodigués à Madame Davidoff... Mais rien n'a pu la dissuader de demander à Rome le relevé de ses vœux. Que pouvais-je faire Madame? Je ne pouvais m'y opposer, malgré ma peine profonde, et la conviction où je suis, que l'avenir sera fort triste pour cette pauvre Mère. La société lui rendra ce qu'elle en a reçu; quant à ses affaires d'intérêts avec vous, Madame, permettez que nous vous les laissons traiter ensemble; votre affection de sœur, saura, je n'en doute pas, allier vos obligations avec le désir d'alléger la position de Madame Adèle.

Dans ce moment elle est à Conflans⁸⁾, où elle m'a demandé d'aller faire une retraite, ce que je lui ai accordé bien volontiers; elle y restera, je pense, jusqu'à ce qu'elle ait reçu son relevé de vœux».

Переводъ:

«Милостивая Государыня,

мнѣ бы хотѣлось незамедлительно отвѣтить на ваше письмо и высказать вамъ, что я не только понимаю ваше горе, но и искренно его раздѣляю; затѣмъ позвольте мнѣ дать вамъ нѣсколько разъясненій касательно событія, которое мы оплакиваемъ, но которое нами отнюдь не вызвано и отвѣтственность за которое всецѣло падаетъ на мать Давыдову.

Я была вынуждена потребовать только того, чтобы она отказалась отъ обращенія протестантовъ. Эта мѣра была рѣшена давно, и принять ее сдѣлалось настоятельною необходимостью вслѣдствіе неблагоразумія матери Адели, которая весьма часто самымъ тяжелымъ образомъ нарушала не только приличія, но и интересы Конгрегаціи. На это она не пожелала согласиться ни подъ какимъ условіемъ и несмотря на всѣ мѣры, которыя я приняла, чтобы облегчить ея огорченіе; ибо я не упустила изъ виду, до

8) Городокъ въ департаментѣ Сены и Уазы Тамъ находится новіціатъ Sacré-Cœur. — В. Х.

какой степени было бы для нея чувствительно бросить дѣло, совершенно, однако же, выходящее за предѣлы нашего Устава. Такъ, я ей предложила нѣсколько выходовъ, между прочимъ — пребываніе, хотя бы временное, въ Бордо, гдѣ Настоятельница знаетъ ее много лѣтъ... Я знала, что матери Давыдовой были бы оказаны вниманіе и заботы самыя нѣжныя... Но ничто не могло отклонить ее отъ рѣшенія ходатайствовать въ Римѣ о разрѣшеніи отъ объѣта. Что я могла сдѣлать? Я не могла воспротивиться, несмотря на глубокую мою скорбь и твердое убѣжденіе, что этой бѣдной Матери предстоить весьма печальное будущее. Конгрегация возвратитъ ей то, что отъ нея получила; что же касается ея денежныхъ отношеній съ вами, Милостивая Государыня, то позвольте намъ предоставить ихъ улаженію между вами самими; я не сомнѣваюсь, что ваша любовь къ сестрѣ поможетъ соединить ваши обязанности съ желаніемъ облегчить положеніе матери Адели.

Въ настоящее время она находится въ Конфланъ⁸⁾, куда удалиться она испросила у меня разрѣшеніе, на что я и согласилась весьма охотно; она тамъ пробудетъ, я думаю, до тѣхъ поръ, когда будетъ получено ея разрѣшеніе отъ объѣта...»

Въ этомъ письмѣ имѣется существенное и характерное расхожденіе съ письмомъ о. де Понлевуа. Настоятельница не только не упоминаетъ объ ультиматумѣ, предъявленномъ сью Адели (или отказъ отъ пропаганды, или выходъ изъ монастыря), но даже представляетъ дѣло такъ, будто сама Адель, отказавшись ѣхать въ Бордо, заявила о своемъ желаніи покинуть монашество, она же, настоятельница, ее старалась отъ этого удержать. Нужно думать, однако, что незаинтересованный, но хорошо осведомленный о. Понлевуа изложилъ дѣло болѣе правильно.

Мы не беремъ съ полной увѣренностью объяснить, что значитъ фраза настоятельницы относительно денежныхъ счетовъ между Аделью и ея сестрой, но разумѣется, эта фраза вставлена неспроста. Дѣло въ томъ, что при вступленіи въ монастырь Адель внесла въ его казну 25.000 франковъ. Эти деньги Конгрегация соглашалась вернуть при выходѣ ея изъ монастыря, но ясно, что ихъ не могло хватить на покрытіе долговъ Адели и на все ея дальнѣй-

8) См. вилоску на предъ страницѣ.

шее существованіе. Межъ тѣмъ, когда умеръ Александръ Львовичъ Давыдовъ, послѣ него осталось наследство. Оно было невелико — дѣла Давыдовыхъ были залушены. Однако, Петръ Львовичъ, занявшійся ими послѣ смерти брата, писалъ Аглаѣ Антоновнѣ въ июль 1833 г., что если лѣтъ пять не трогать доходовъ съ имѣній, то будутъ покрыты, лежащіе на нихъ долги и можно будетъ получать отъ 16 до 18 тысячъ рублей ежегодной ренты. Такимъ образомъ, съ 1833 по 1861 г. (роковой для помѣщиковъ годъ «эмансипаціи») наследники Александра Львовича (сынъ и двѣ дочери) должны были получить по крайней мѣрѣ 350 тысячъ рублей. Изъ нихъ на долю Адели приходилось 115 тысячъ. Если вычесть отсюда 25.000 франковъ, внесенныхъ за нее въ монастырь, то останется на худой конецъ сто тысячъ рублей, отъ которыхъ она, какъ монахиня, разумѣется, должна была отказаться и которыя остались въ рукахъ ея брата и сестры. Теперь, когда она возвращалась въ міръ, на ея родныхъ падала если не юридическая, то моральная обязанность выдѣлить ей ея часть. На это и намекаетъ магъ де Гѣгги, тѣмъ самымъ косвенно мотивируя отказъ монастыря заботиться о долгахъ Адели и объ ея матеріальной обеспеченности. Межъ тѣмъ, дѣла Габріаковъ были не блестящи, и никогда полученныя деньги Адели успѣли, конечно, растаять. Если мы примемъ все это во вниманіе, то намъ легче будетъ понять тревогу ея родственниковъ и ихъ стремленіе къ тому, чтобы Адель не покидала монастыря.

Въ то время, когда происходила вся эта переписка, Матильда, жена Жозефа де Габріака, находилась въ Парижѣ. Повидимому, она видалась съ монастырскими властями; вернувшись черезъ нѣсколько дней въ Зальцбургъ, она привезла болѣе успокоительныя извѣстія, которыми Жозефъ де Габріакъ 24 октября сибиндль подытаться съ Аженоромъ де Грамонъ. Сохранился черновикъ его письма, въ которомъ сказано, что Sacré-Saint все-таки соглашается заплатить долги Адели (эта фраза даже подчеркнута), а главное — что посланное въ Римъ прошеніе еще можетъ быть взято Аделью обратно: въ этомъ случаѣ монастырь ее приметъ вновь «съ распростертыми объятіями» (*à bras ouverts*), при условіи, конечно, что она откажется «отъ своихъ мечтаній» (*ses rêveries*), т. е. отъ пропаганды



Адель Александровна Давыдова.

*
**

Надежды родныхъ не оправдались. Адель не смирилась, и Римъ освободилъ ее отъ монашескаго обѣта. Точная дата этого событія неизвѣстна, но такъ какъ подобная процедура занимаетъ мѣсяца два или три, то надо думать, что Адель перестала быть монахиней въ самомъ концѣ 1865 или въ началѣ 1866 г. А. О. Смирнова, узнавъ объ этомъ, писала въ своихъ запискахъ, что Адель «вздумала сдѣлаться игуменьей и, наконецъ, къ великому скандалу благороднаго *Faubourg St-Germain*, бросила *le froc aux horties*»⁹⁾. Относительно намѣренія сдѣлаться игуменьей Смирнова, конечно, пугаетъ, ибо рассказываетъ по непровереннымъ слухамъ. Но несомнѣнно, что выходу Адели изъ монастыря предшествовали какія-то личныя осложненія въ ея монастырской жизни. На это указываютъ и упоминанія объ интригахъ и сплетняхъ въ перепискѣ Грамоновъ и Габріаковъ, и то обстоятельство, что *Sacré-Sœur* тридцать лѣтъ терпѣлъ пропаганду Адели прежде, чѣмъ спохватился, что эта пропаганда не соответствуетъ уставу.

Какъ бы то ни было, скандалъ, вызванный ея возвращеніемъ въ міръ, былъ, дѣйствительно, грандіозенъ. Онъ попалъ даже на страницы печати. Какая-то газета (сохранилась лишь вырѣзка изъ нея) въ отдѣлѣ свѣтской хроники помѣстила специальную замѣтку, въ которой, какъ водится — превравъ русскую фамилію, писала:

«Et cette dame du grand monde, Mlle Demidoff, la propre sœur de Mme la marquise de Gabriac, qui était en religion depuis vingt-cinq ans, et qui, relevée de ses vœux par le Pape, accomplit en ce moment sa rentrée dans le monde? Quel émoi dans le personnel féminin du noble faubourg, et quelle curiosité sur toute la ligne, à l'apparition de ce *revenant* d'un nouveau genre! Je ne sais pas si dans Balzac il y a une situation semblable; mais quel parti en aurait tiré le grand romancier!

Mlle Demidoff n'est point la seule femme dont la chronique a jugé à propos de s'occuper cette semaine».

(«А великосвѣтская особа, мадемуазель Демидова, родная сестра маркизы де Габріакъ, которая пробывла въ мона-

9) Смирновъ: *op. cit.*, 185.

шествѣ 25 лѣтъ и которая, будучи освобождена Папою отъ обѣта, въ настоящее время возвращается въ міръ? Какой переполохъ въ женскомъ составѣ благороднаго предмѣстія и какое любопытство со всѣхъ сторонъ по случаю появленія этого выходца новѣйшаго образца! Не знаю, имѣется ли у Бальзака подобная ситуация; но что бы извлечь изъ нея этотъ великій романъ! Мадемуазель Демидова — отнюдь не единственная женщина, которую хроника сочла нужнымъ заняться на этой недѣлѣ»...).

Маркиза де Габріакъ не выдержала — она прекратила съ Аделью всякія сношенія. Какъ были улажены денежные дѣла, мы не знаемъ, но несомѣнно, что Адель очутилась въ бѣдности. Въ первое время, судя по намеку Смирновой, въ ней приняла участіе дальняя родственница — княжна Екатерина Сергѣевна Кудашева.

Въ 1869 г. сестры помирились. Екатерина Александровна согласилась оказывать нѣкоторую помощь Адели, къ этому времени, вѣроятно, прожившей свои двадцать пять тысячъ, а можетъ быть — истратившей ихъ на покрытіе долговъ. Но не прошло и двухъ мѣсяцевъ со дня примиренія, какъ Адель написала письмо въ Петербургъ, своему кузену гр. Владиміру Петровичу Орлову-Давыдову, жалующая на Екатерину Александровну. Этой жалобой она поставила въ довольно несприятное положеніе Жозефа де Габріака, который въ это время состоялъ въ Петербургѣ французскимъ уполномоченнымъ въ дѣлахъ. Орловъ-Давыдовъ имѣлъ съ нимъ двѣ бесѣды по поводу Адели, но легко удовлетворился отвѣтомъ, что Екатерина Александровна помогаетъ сестрѣ, сколько можетъ, вообще же нѣтъ смысла вручать ей большія деньги, такъ какъ она ихъ истратитъ на свои «фантазіи». Тѣмъ дѣло и кончилось. «Фантазіи» Адели заключались въ томъ, что она, подъ тяжестью долговъ, снова пустилась въ какія-то денежные дѣла. Поль де Габріакъ, третій сынъ Екатерины Александровны, женатый на богатой американкѣ, въ томъ же 1869 г. посѣтилъ свою тетку и нашель ее «dans un misérable réduit où son lit peut à peine tenir et situé derrière la cuisine» («въ жалкомъ убѣжищѣ, въ которомъ едва помѣщается ея кровать и которое расположено позади кухни»). Адель ему, однако, сказала, что вскорѣ станеть обладательницей цѣлага состоянія. Въ это время она задумала купить обширное имѣніе кн. Любенской въ Гали-

ции. Покушка должна была состояться безъ денегъ, съ тѣмъ, что Адель будетъ эксплуатировать имѣніе и изъ доходовъ выплачивать долгъ прежней владѣлицѣ. По словамъ де Габріака, была уже заключена купчая Адель находилась въ радостномъ возбужденіи и даже сумѣла заинтересовать племянника своимъ проектомъ. Всѣмъ загѣмъ предприятие рухнуло: надо полагать, что Адель не могла выполнить своихъ обязательствъ, и помѣстіе вернулось къ кн Любенской.

Это - предпоследнее точное извѣстіе объ Адели, до насъ сохранившееся. Постъ него имѣется лишь указаніе въ отчетѣ повѣреннаго ей сестры о томъ, что въ іюль 1880 г. были посланы какія-то деньги «*pour Mme Davidoff à Londres*». На старости тѣмъ Адель нашла пріютъ въ Англии - вѣроятно у вышеупомянутой леди Гамилтонъ.

Маркиза Екатерина Александровна де Габріакъ умерла въ Ниццѣ 15 февраля 1882 г. Въ пятницу, 24 февраля, въ 12 час. дня, состоялось отпѣваніе тѣла въ парижской церкви св. Клоди пды, а загѣмъ погребеніе на Монмартрскомъ кладбищѣ, въ семейномъ склепѣ де Габріаковъ. Сохранился экземпляръ обихаго приглашенія присутствовать на похоронахъ. Оно составлено отъ имени всѣхъ родственниковъ, кромѣ Адели, которую не сочли приличнымъ упомянуть. Ея вучатая племянница, мать Марія де Габріакъ, монахиня въ Антверпенскомъ монастырѣ *Sacré-Coeur*, была добра сообщить намъ, что она помнитъ, какъ однажды о Александръ де Габріакъ, іезуитъ, сказалъ ей: «Завтра я ѣду въ Англию на похороны тетки Адели». Это было постъ 1882 г. Божье точныхъ извѣстій о времени ея кончины не имѣется. Такая скудость свѣдѣній обличается тѣмъ, что въ глубоко католической семьѣ Габріаковъ помнили объ Адели, какъ о существѣ исключительно обаятельномъ и безгранично добромъ, но не могли ей простить уходъ изъ монастыря и не любили о ней говорить.

Изъ дѣтей Екатерины Александровны уже никого нѣтъ въ живыхъ, но нѣсколько внуковъ, дѣтей Жозефа, и нынѣ здравствуютъ. Мы приносимъ глубокую благодарность за сообщенныя свѣдѣнія и матеріалы только что упомянутой матери Маріи и маркизу Жозефу де Габріакъ, а такъ же графинѣ Фанни де Габріакъ, сурруѣ графа Артура.

Владиславъ Ходасевичъ.

Изъ прошлаго

Конституціонный строй невозможенъ, пока въ странѣ нѣтъ общественнаго слоя, способнаго понимать задачи государственной власти. Для конституціи мало отдѣльныхъ людей; они могутъ служить и абсолютизму; ими онъ держится, а иногда и преуспѣваетъ. Для конституціи нуженъ общественный слой, который былъ бы способенъ самъ выдвигать изъ себя «представителей» политически зрѣлыхъ. Возвѣщеніе 17 октября конституціи предполагало, что подобная среда въ Россіи имѣлась.

Въ глазахъ Витте, какъ позднѣе Столыпина, такой средой было русское земство. Это издавна было мнѣніемъ передовой бюрократіи, начиная съ Лорисъ-Меликова и кончая Святополкъ-Мирскимъ. Оно совершенно естественно. У земства былъ хотя бы ограниченный опытъ практическаго управленія государственными дѣлами; земство представляло почти все населеніе. Конечно, части населенія были въ немъ представлены не пропорціонально ихъ удѣльному вѣсу; были обижены крестьяне, промышленный капиталъ, еще болѣе интеллигенціи, не говоря уже о томъ, что большая часть Россіи земства еще не знала. Но все это можно было исправить постепенно.

Поэтому Витте послѣдовалъ очень старой традиціи, когда сталъ искать въ земствѣ опору для конституціи. Это не было противорѣчіемъ его земской дилемкѣ, онъ только логически продолжалъ свою мысль. Пока онъ пытался сохранить Самодержавіе, онъ не хотѣлъ развитія земства. Но теперь, когда Самодержавіе себя выраздило, будущая конституція должна была опереться на земство. Но Витте допустилъ одну основную ошибку. Онъ принялъ за земство -- Земскіе съѣзды.

Это было ошибкой простибельной. Не только потому, что

бюрократія была такъ далека отъ нашей общественности, что въ ней не различала отъѣнковъ, какъ общественность не всегда умѣла видѣть ихъ въ средѣ бюрократіи. Это было прости-тельно потому, что сама общественность разобралась въ этомъ только гораздо позднѣе.

Я указывалъ раньше, какъ Земскіе съѣзды составились не изъ представителей земства, а изъ представителей только передовой его части; что они остались такими и позже, когда ихъ созывали на началахъ правильнаго представительства отъ земскихъ собраній. Но дѣло не въ формальномъ дефектѣ. Интересенъ вопросъ политическій; въ какой мѣрѣ съѣзды отражали дѣйствительное настроеніе земства?

На это невозможно дать единый отвѣтъ; въ теченіе времени взаимоотношенія ихъ измѣнялись. Первый съѣздъ 1904 года довольно близко подходилъ къ общему настроенію земства. Онъ охватывалъ фронтъ отъ Шипова до Петрункевича и, объединившись на необходимости «представительства», объединился и на отрицаніи Революціи, т. е. Учредительнаго Собранія. На этомъ съѣздѣ раскола не произошло потому, что всѣ дорожили земскимъ единствомъ, какъ самоцѣльностью, что на немъ была принята настоящая земская линія. И потому этотъ съѣздъ принципиальныхъ возраженій, со стороны земства не встрѣтилъ. Но такое созвучіе пропало уже не долго.

Послѣ второго Февральскаго съѣзда возросли претензіи руководителей. Они получили формальное право считать съѣзды представителями всего русскаго земства, но по существу въ немъ начатся расколъ. Тѣ, кто въ ноябрѣ 1904 года былъ меньшинствомъ Земскаго съѣзда, въ апрѣлѣ отъ него совсемъ откололись. А въ июль 1905 г. «земны конституционалисты» формально сшлись съ Союзомъ Союзомъ. А послѣдніе Съѣзды заставляли земства «правды». Такъ они шли въ разныя стороны и расходились все болѣе.

Въ полной мѣрѣ это обнаружилось гораздо позднѣе. Переворотъ 3 июня 1907 г. былъ ставкой Столыпина именно на рядовое русское земство. Такъ измѣнилась къ этому времени его физіономія. Во время войны Земскій Союзъ, послѣдникъ Земскихъ съѣздовъ, самъ уже боялся земскихъ собраній. Попытки правительства сноситься съ губерскими земствами безъ посредства Союза разсматривались какъ покушеніе вынудить земства противъ его представительства.

Въ 1905 году расхожденіе такъ рѣзко быть не могло, но признать Съѣзды за земство было все-таки уже опасной ошибкой.

И этому были краснорѣчивыя иллюстраціи. Въ своей книгѣ о кн. Г. Львовѣ, Т. И. Полнеръ передаетъ, что послѣ 17 октября Тульское земство послало адресъ Государю съ благодарностью за Манифестъ и одновременно депутацію къ Витте съ общаіемъ ему земской поддержки. На земскомъ собраніи это постановленіе было принято единогласно. Таково было настроеніе Тульского земства. А между тѣмъ на Земскомъ Съѣздѣ Тульское земство было представлено кн. Львовымъ, т. е. членомъ той делегаціи, которая ѣздила отказать Витте въ поддержкѣ. Какъ могъ кн. Львовъ представлять на Съѣздѣ Тульское земство? Оно его не выбирало; между ними было коренное разномысліе. И такіе курьезы, какъ Львовскій, были не единичны; когда они обнаруживались, они никого не смущали. Либеральное направленіе признавало за собой монополию представлять нашу общественность.

Съѣздъ собрался 7 ноября, въ годовщину перваго Съѣзда, состоявшагося — странно было это представить — только за годъ до этого. Былъ ли выборъ этой даты случайностью или организаторы не могли побороть въ себѣ соблазна подстроить это совпаденіе для эффекта, — не имѣетъ значенія. Это былъ послѣдній съѣздъ русскаго либеральнаго земства, похороны его политической роли. Онъ и блеснулъ «пропагандной красотой». Съѣздъ былъ выше средняго русскаго земства, былъ его отборной элитой. Россія не знавала болѣе блестящаго собранія; оно сдѣлалось откровеніемъ и для нея самой и для Европы. Въ съѣздѣ русское общество само собой любовалось. Казалось, что Россія созрѣла для конституціи, если в неѣ могъ оказаться подобный парламентъ. Съѣздъ былъ сюрризмъ и для Европы, которая тогда «открывала» Россію, какъ продолжаетъ открывать ее и по днесь. Ф. Ф. Кокоскинъ рассказывалъ мнѣ, какъ земцы поразили корреспондентовъ Европы, какія похвалы они имъ рассыпали. Это понятно; вѣрнаго блеска было больше, чѣмъ нужно. Я по-прежнему сидѣлъ за стоикомъ и дѣлалъ отчетъ засѣданія и могъ наблюдать все очень близко. Для тѣхъ, кто сущность государственной жизни видѣлъ въ парламентѣ, въ рѣчахъ, въ искусствѣ парламентскій техники. Земскій Съѣздъ оказался на высотѣ положенія. Онъ былъ парламентомъ перваго сорта. Русская общественность какъ бы выдержала публично экзамень. С. А. Муромцевъ, предсѣдатель Божьей милостью, въ предсѣдательствованіи нацѣлъ свое потливое призваніе, и былъ общій голосомъ послѣ перваго опыта намѣченъ предсѣдателемъ будущей Государственной Думы. Ф. Родичевъ съ его даромъ зажигать даже холодныя сердца па-

фосомъ благородныхъ идей; Ф. Врублевскій, рѣчи котораго независимо отъ содержанія слушались, какъ великолѣдная музыка въ изумительномъ исполненіи. Ф. Косошкинъ, который не могъ произносить половины буквъ алфавита, съ крикливымъ акцентомъ, съ смѣшными усами à la Вилыельмъ II, и который немедленно захватывалъ всѣхъ мастерствомъ аргументаціи, дѣлая ясными самые сложные вопросы. Да и они ли одни? Все это сливалось въ картину такого таланта и блеска, что съ такимъ парламентомъ Россіи казалось могла спать спокойно.

Но ни прессѣ, ни публикѣ, ни самому Земскому Съезду не хватало пониманія настоящей задачи момента. Она была не въ устройствѣ показнаго парламента. Задача была труднѣе и глубже. Культурная общественность была только поверхностнымъ слоемъ. Русскій народъ могъ быть великолѣпнымъ матерьяломъ въ умѣлыхъ рукахъ; претоставленный самому себѣ и своему влѣченію, онъ могъ показать себя дикаремъ. Программа перетовой общественности, г. е. превращеніе Россіи въ правовую страну, была для государства спасительной. Но народъ ея еще не понималъ, его надо было для этого воспитывать и даже перевоспитывать. Самочервѣе довело страну до обихаго недовольства и взрыва. Тѣмъ болѣе въ этотъ моментъ нельзя было оставить народъ безъ руководства и преклоняясь передъ его стихійною волею. Задача момента была тогда именно въ томъ, чтобы при переходѣ Россіи на новыя рельсы не допустить побѣды антигосударственныхъ силъ, которыя революціонная демагогія хотѣла использовать для торжества Революціи. Не общественность создала эти силы, но она должна была почочь съ ними справиться. Безъ ея помощи побѣда надъ ними была бы побѣдой «чистой реакціи». Но чтобы ихъ одолѣть, было нужно не продолжать борьбу съ властью до полной побѣды, а скорѣе заключить соглашеніе съ ней. Этого общественность не понимала. При страшныхъ событіяхъ 1905 года она обнаружила ту дѣтскую радость, которую показываетъ ребенокъ при видѣ начинающагося въ домѣ пожара. Только непониманіемъ трудностей, которыя обществу предстояли, можно было объяснить безудержную радость общественности въ 1905 и 1917 годахъ, похожую на радость тѣхъ, кто въ 1914 г. привѣтствовалъ еропейскую катастрофу. Это легкомысліе сдѣлало, что работа и забота земскаго съезда пошли мимо главной задачи: приведенія Россіи въ порядокъ. Земли подъ прежнимъ политическимъ руководствомъ «продолжали войну» съ ослабѣвшей исторической властью и радостно рубили сукъ, на которомъ сидѣли.

«Руководящая политическая группа» уже поставила съѣздъ передъ совершившимся фактомъ, благодаря отвѣту Земской делегации на приглашеніе Витте. Не всѣ однако были довольны этимъ отвѣтомъ. Отголоски неудовольствія сказались и въ докладѣ Кокошкина. Въ сотый разъ повтория разсказъ о поѣздкѣ, онъ счелъ нужнымъ опровергнуть «слухъ», будто земцамъ тогда «предлагали портфели». Въ опроверженіи была доля неискренности. Позиція земцевъ конечно сдѣлала невозможнымъ предложеніе портфелей. Но самъ Кокошкинъ всѣмъ разсказывалъ съ гордостью, что полученіе портфелей тогда зависѣло только отъ нихъ: но на съѣздѣ онъ уже не хотѣлъ подчеркивать нетерпимости делегации и всю вину за разрывъ старался возложить на правительство. При настроеніи Земскаго Съѣзда ему нечего было стараться; нельзя было ждать, чтобы съѣздъ рѣшилъ свое бюро дезавуировать.

Благодаря делегации моментъ для участія въ министерствѣ былъ земствомъ пропущенъ. Ко времени съѣзда уже образовалось другое правительство. Ставился новый вопросъ, какъ къ нему отнесется русское земство?

Для общественныхъ дѣятелей положеніе стало труднѣе, чѣмъ было раньше. Прошло три недѣли. Беспорядки въ странѣ увеличились. Пробѣжала отвѣтная волна безтактносгей и производа администраторовъ. Перспективы конституціоннаго строя зависѣли болѣе всего отъ того, сумѣетъ ли понять наиболѣе зрѣлая часть русскаго общества, что должно защищать не только конституціонный порядокъ противъ реставраціонныхъ желаній, но и законныя права обывателей противъ революціонныхъ насилій. Что когда власть такъ поступаетъ, она имѣетъ право разсчитывать на моральную поддержку русскаго общества.

Съѣздъ показвалъ, что въ этомъ смыслѣ на его большинство разсчитывать было нельзя. Предложеніе о поддержкѣ правительства было внесено отъ «меньшинства» съѣзда (Стаховичъ, Волконскій). Защищалъ его на съѣздѣ М. А. Стаховичъ, пріятельная и обаятельная фигура этого времени, грѣшная, какъ почти всѣ, легкомысленнымъ оптимизмомъ, но не отсутствіемъ государственнаго пониманія. Стаховичъ доказывалъ, что революціонныя волненія непременно приведутъ Россію къ анархіи, если имъ не противопоставитъ «конституціонный порядокъ»; для этого необходимо какъ можно скорѣе созвать Думу. М. Стаховичъ, какъ и Шиповъ, былъ самъ стагнафилъ, но съ конституціей помирился и въ ней искать спасенія противъ разложенія государства. Но, говорилъ онъ, пока

конституція еще не обнародована, и Дума не созвана, необходимо всѣми мѣрами защищать порядокъ отъ революціонныхъ атакъ. Въ этой элементарной задачѣ земцы должны государственную власть поддержать. Такое заявленіе со стороны цѣлаго Земскаго Съѣзда дало бы Витте нужную ему опору въ глазахъ Государя и показало бы оторопѣвшимъ верхамъ и перепуганнымъ обывателямъ, что въ Россіи «есть основа для конституціоннаго строя. Только такой позиціей можно было защищать конституціонную власть отъ обхоловъ справа, которые старались убѣдигь Государя, что порядокъ держится на одномъ Самодержавіи. И только оказавъ Витте эту поддержку, можно бы было поставить ему политическія условія и искать почву для соглашенія. Только такъ можно было тогда служить конституціи.

Но Съѣздъ, упоенный побѣдой, не помышлялъ объ укрѣпленіи власти. Предложеніе меньшинства онъ отвергъ. Онъ принялъ другую резолюцію, въ которой изложилъ свое пониманіе задачи момента. Онъ заявилъ, что «правительство можетъ рассчитывать на поддержку земскихъ дѣятелей только постольку, поскольку оно будетъ проводить конституціонныя начала Манифеста правильно и послѣдовательно».

Здѣсь впервые появляется позднѣйшій знакомецъ. Либеральные дѣятели, ставши властью въ 1917 г., излили много негодованія на знаменитую формулу «революціонной демократіи — «постольку-поскольку». Они были правы. Обѣщаніе поддерживать власть только постольку она «революцію углубляетъ», не было вовсе «поддержкой». Но тѣ, кто этимъ въ 1917 г. возмущались, забыли, что эту формулу изобрѣли они сами. Они соглашались поддерживать власть только постольку она будетъ «проводить конституцію». Дѣло правительства не только въ томъ, чтобы «углублять Революцію» или «проводить конституцію». Власть, поскольку она дѣйствительно власть, обязана ограждать тѣ права гражданъ, которые она считаетъ законными. Этого отъ нея прежде всего имѣть право требовать обыватель, стремящійся къ порядку и миру. Съѣздъ могъ объявить войну правительству Витте. Но говорить объ условной поддержкѣ «постольку-поскольку», значило не понимать положенія и долга власти. Это значило оставаться публицистами, которые могутъ писать только о томъ, о чемъ имъ хочется, сносить весь интересъ къ выбранному ими вопросу, претоставляя обо всѣхъ остальныхъ заботить-

ся власти. Долгая безответственность оппозиции подсказала ей эту злополучную формулу.

Но какіе приемы Съездъ совѣтовалъ власти? Здѣсь сказывалось политическое младенчество Съезда. Резолюція объявляла, что «для укрѣпленія авторитета власти единственнымъ средствомъ является немедленное издание акта о примѣненіи къ созыву народнаго представительства всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосовъ и формальная передача первому народному представительству учредительскихъ функций для выработки, съ утвержденія Государя, конституціи Россійской Имперіи».

Вотъ формула, которую послѣ долгихъ преній и споровъ высидѣло бюро Земскаго Съезда. Съездъ на этотъ разъ впервые рѣшилъ отрицать право Монарха «октроировать конституцію». Онъ не удовлетворилъ этимъ сторонниковъ «неограниченнаго народоправства», вѣрившихъ, что Учредительное Собраніе «есть единственный теоретически правильный путь созданія конституціи», что оно «аксіома передовой русской общественности». Либерализмъ, стоявшій за конституціонную Монархію, а не Республику, уже несъ послѣдствія своей бшности къ Революціи. Въ монархической странѣ, гдѣ конституція была объявлена Манифестомъ Самодержавнаго Государя, упоминаніе объ «утвержденіи» ея Государемъ было сочтено чуть не измѣной. Поднялась буря негодованія на оппортунизмъ, нерѣшительность, капитуляцію съезда. Отголоски этой старой бури и посейчасъ не проици; ихъ можно найти въ интересной книгѣ М. В. Вишняка объ Учредительномъ Собраніи (стр. 56).

Этой новой формулой Съездъ не могъ удовлетворить своихъ лѣвыхъ союзниковъ, удержать ихъ отъ дальнѣйшаго наступленія. Но этого мало; даже безъ агрессивности Ахеронта и его вожаковъ, земскій ренентъ самъ становился источникомъ потрясеній въ странѣ. «Октроированной» конституціи Съездъ не допускалъ. Значитъ первое представительное собраніе должно было быть создано до конституціи, до опредѣленія правъ этого самаго собранія. Опредѣленіе ихъ должно было быть въ послѣдствіи сдѣлано имъ самимъ «съ утвержденія Государя». Но тогда возникли два связанныхъ между собой вопроса. Во-первыхъ, на чечъ же могли быть въ этомъ случаѣ основаны полномочія этого перваго собранія? На это 27 апрѣля 1906 г. отвѣтилъ С. А. Муромцевъ въ своемъ привѣтствіи Думѣ, притомъ послѣ того, какъ конституція была октроирована. Онъ въ своей рѣчи настаивалъ не на соблюденіи консти-

туции, а на «полномъ осуществленіи правъ, вытекающихъ изъ самой природы народнаго представительства». При наличіи октроированной конституціи фраза Муромцева, эффектная и покрытая аплодисментами, опасна не была. Осуществленіе всѣхъ правъ, вытекающихъ изъ самой природы народнаго представительства, очевидно должно было произойти въ рамкахъ «октроированной конституціи». Но что бы было, если бы собраніе было создано «безъ конституціи», какъ это предлагалъ Земскій Съѣздъ? Народное представительство въ этихъ условіяхъ имѣло бы право считать себя единственнымъ выраженіемъ народнаго суверенитета, «волей народа». Оно тогда дѣйствительно стояло бы выше закона, черпало бы свои полномочія не изъ закона, а изъ «природы вещей». А если это такъ, то, вторыхъ, что значили слова объ «утвержденіи конституціи Государемъ»? Какъ быгь, въ случаѣ несогласія представительнаго Собранія и Монарха? Если монархъ, по мнѣнію Съѣзда, не имѣлъ права октроировать конституцію, на чемъ могло быть основано его право не соглашаться съ уже выраженной «волей народа»? Какой выходъ былъ бы изъ конфликта двухъ принциповъ? Только состязаніе фактическихъ силъ. Или бы Монархъ оказался сильнѣе и представительство было бы уничтожено; или бы сила была у представительства и произошло бы то, что въ аналогичномъ случаѣ было во Франціи въ 1789 году. Формула Съѣзда вела прямой дорогой къ конфликту; она его только отсрочивала, оставляя Государю шансъ его избѣжать полной уступкой желаніямъ представительства. Эта формула только по внѣшности казалась болѣе лояльной, чѣмъ формула делегации; по существу она была отрицаніемъ права Государя самому установить конституціонный порядокъ, которому онъ отдавалъ свою прежнюю неограниченную власть. Вотъ что значила формула, которую по ироніи судьбы предлагать отъ бюро Милюковъ, который недавно совѣзовалъ Витте октроировать конституцію, не смущаясь тѣмъ, что его бѣдуютъ за это бранить.

Таковы перспективы, которыя Съѣздъ готовилъ на будущее. Зато въ настоящемъ послѣдствіемъ его совѣта могло быть только одно авторитетъ монархической власти, на которомъ пока еще держалась Россія, былъ бы подорванъ совѣтъ. Правительство, которое бы хотѣло дѣйствовать ея именемъ, имѣло бы видъ самозванца, который говоритъ именемъ нѣа и е с у щ е с т в у ю щ а г о. Революціонеры этимъ были бы приглашены торопиться занимать всѣ позиціи, не дожидая-

ясь пока кадеты «предадутъ» Революцію. 17 октября принесло бы въ этомъ случаѣ именно Революцію, а не конституціонную монархію.

Такъ на Съѣздѣ разрѣшился давнишній скрытый конфликтъ между земскою и интеллигентскою и ерцовой. Земли, привыкшіе работать въ рамкахъ закона, уставовъ, вѣнчанныхъ исторической властью, хотѣли установленія конституціоннаго строя, но добивались этого въ порядкѣ реформы, а не въ порядкѣ низверженія власти и почитенія Учредительному Собранию. Они оставались такими даже на Волжскомъ Съѣздѣ, уже вѣсть раскола. Ихъ проектъ конституціи, хотя и построенный на парламентаризмѣ, на 4-хъосткѣ, на полномъ народоуластїи, въ оти отъ отъ «освобожденскаго проекта» отъ Учредительнаго Собранїи не упоминалъ. А въ средѣ «интеллигентнн» Учредительнаго Собранїе становилось какой-то мистической вѣстїи и роста неопытная увѣренность, будто весь народъ его любителся Съ этой вѣрой, надъ которой жизнь такъ насмѣялась. Интеллигенція пошла въ Учредительное Собранїе въ 1917 году. Этого опыта оказалось однако для нея неостаточно и она продолжала вѣрять въ него и въ Сибири и даже позже въ Парижѣ.

На ноябрьскомъ Съѣздѣ произошло по формѣ компромиссъ между двумя идеологіями, а по существу каппуциніи земства передъ интеллигенціей. На словахъ земли какъ будто чего-то добились; вмѣсто Учредительнаго Собранїи были «учредительныя функціи Думы» и допускалось даже утвержденіе Государя. А по существу, не декретирова Революцію, земли своей позиціей дѣлали ее неизбежной. Это типичный примѣръ тактики «руководителей политической группы». Она побѣдила земскую идеологію и показала, что Съѣздъ не можетъ быть серьезной опорой для власти.

А эта опора была нужна въ интересахъ самой конституціи. Вѣдь долгомъ власти было не только процессомъ конституціоннаго воспитанія насаждать въ народѣ чувство законности, которое стало бы оплотомъ противъ революціоннаго натиска. Пожаръ уже бушевалъ по странѣ. Это было нужно прежде всего потушить. Это — банальное сравненїе — но неопровержимое по существу. Что же насобъговалъ Съѣздъ, чтобы защитить мирнаго обывателя, переть ошавъшей стихїей? Онъ нашель, что «въ шѣлахъ успокоенїа страны должны быть немедленно, не дожидаясь народнаго представительства, принять слѣдующія неотложныя мѣры»: осуществленїе полностью всѣхъ обѣщанныхъ Манифестомъ свободъ, отиѣна всѣхъ исключительныхъ положенїи, амнистія, отиѣна смертной казни, установ-

леніе отвѣтственности должностныхъ лицъ въ общемъ порядкѣ, производствѣ при участіи общественныхъ элементовъ специального разслѣдованія о погромахъ съ привлеченіемъ къ отвѣтственности администраціи и полиціи.

Вотъ реченья Земскаго Съѣзда. Но онъ не былъ отвлечомъ на вопросъ. Когда шли аграрные погромы, когда «явочнымъ порядкомъ» на фабрикахъ вводился 8-часовой рабочий день, когда для борьбы съ произволомъ администраціи боевыя дружины «спинали» городоляхъ, — бороться съ этимъ нельзя было только амнистіей и свободами. Но необходимо было чтобы дѣйствіи власти противъ Революціи были бы принимаемы не какъ «реакція», не какъ борьба съ «волей народа», не какъ преступленія, которая надо разслѣдовать при помощи общественныхъ элементовъ, а какъ прямая обязанность власти. Надо было, чтобы испуганный обыватель не бросился обратно къ Самодержавію, чтобы онъ увидалъ, что «конституція» не анархія, и не Революція, не торжество самоуправства, а господство закона и права. Моральная поддержка земскаго съѣзда была необходима, чтобы сбитые съ толку люди увидали, что порядокъ защищается во имя новаго строя, и что когда власть его охраняетъ, то разумная общественность съ нею. Это былъ бы лучший способъ не только содѣйствовать успокоенію общества, но и вербовать для «конституціи» новыхъ сторонниковъ.

Но для этого было необходимо, чтобы общественность перестала чувствовать себя въ прежней войнѣ съ властью, думала бы объ общихъ съ нею задачахъ, а не только о ея «добываніи». Я оставляю въ сторонѣ трагическій вопросъ, могло ли бы такое отношеніе общественности привести къ спасительнымъ результатамъ. Черезъ 12 лѣтъ я усумнился въ этомъ въ статьѣ о Шоферѣ, которая тогда на себя обратила вниманіе. Но въ 1905 году положеніе было не то. Власть сдѣлала уступку, пошла на конституцію; только настроеніе общества было не тѣмъ, чѣмъ оно было въ эпоху «прогрессивнаго блока». Оно сорвало ту комбинацію, которая могла бы поставить Россію на прочныя рельсы — примиренія исторической власти съ либеральной общественностью. Общественность можетъ утѣшать себя въпріемъ, что и иное ея поведеніе все равно ни къ чему бы привести не могло. Это возможно; хотя реакція Витте-Дурново показала, какъ неглубоки были революціонныя настроенія и что справиться съ ними было возможно. Но какъ бы то ни было, своимъ отношеніемъ съѣздъ упустилъ случай примиренія власти и либеральнаго общества, и поставилъ дилемму: «Революція» или «реакція».

Соглашенія съ властью тогда не хотѣли. Власть была прежнимъ врагомъ, противъ котораго все было позволено, какъ въ «настоящей» войнѣ. Если бы наивные люди вообразили, напр., что требуя ответственности администраторовъ за допущеніе погромовъ, Съездъ имѣлъ въ виду въ всякіе погромы, подобныя иллюзии были бы скоро разсѣяны. Тогда громили всѣхъ, не только интеллигенцію или евреевъ, но и помѣщиковъ. Но Земскій Съездъ заступался совсѣмъ не за всѣхъ. Е. В. де Роберти предложилъ не распространять амнистіи на преступления, связанные съ насиліями надъ дѣтьми и женщинами. А Кюлюбакинъ въ этомъ усмотрѣлъ «чисто классовый характеръ» проявляющагося на съездѣ теченія. Этого возраженія оказалось достаточно. Е. де Роберти поторопился его успокоить: «я вовсе не думалъ, сказалъ онъ, о дворянскихъ усадьбахъ; нашимъ усадьбамъ угрожаетъ ничтожная опасность; если сгорѣло 5-20 усадебъ, то это никакого значенія не имѣетъ. Я имѣю въ виду массу усадебъ и домовъ еврейскихъ, сожженныхъ и разграбленныхъ черною сотнею». Вотъ военная линія, которую выдерживалъ съездъ.

На съездѣ впервые поднялся вопросъ объ «осужденіи террора», которому пришлось позднѣе играть роль и въ 1-ой, и во 2-ой и даже въ 3-ей Государственной Думѣ. Рѣчь шла объ отменѣ смертной казни. Съездъ единогласно за это вогировалъ. Но А. И. Гучковъ предложилъ заявить одновременно, что «съездъ осуждаетъ насилія и убійства, какъ средство политической борьбы». Съездъ отклонилъ предложеніе. С. А. Муромцевъ, какъ предсѣдатель, чтобы спасти положеніе, хотѣлъ выставить формальный отводъ. Онъ объявилъ, что предложеніе Гучкова «выходитъ за предѣлы компетенціи Съезда!» Съездъ разсматривалъ вопросъ о правительствѣ, а Гучковъ говоритъ о томъ, что отъ правительства не исходитъ. Это странное возраженіе никого обмануть не могло. Дѣло было не въ этомъ. Съездъ просто занялъ позицію ваюющей стороны; на власть обрушился, а о насилія Революціи промолчалъ. Съ точки зрѣнія моральной разница между террористомъ и палачемъ конечно громадна. Но на Съездѣ ставился вопросъ не о морали, а о террорѣ, какъ «средствѣ борьбы». Съездъ отказался его осудить. Онъ по-прежнему считалъ себя союзникомъ всякаго врага власти, кто бы онъ ни былъ.

Военная психологія сказывалась во всѣхъ мелочахъ. Въ началѣ съезда произошелъ слѣдующій эпизодъ. Кіевскій городской голова, черезъ московскаго градоначальника телеграфировалъ съезду, что гласные кіевской Думы, которые на съѣз-

дѣ присутствующъ, не имѣютъ на то полномочій отъ Думы, и что она дѣятельности сѣзда не сочувствуетъ. Такое отреченіе отъ своихъ представителей было въ то время не единичнымъ. Но ни Сѣздъ, ни сами кіевскіе депутаты не сконфузились. Докладывавшій телеграмму П. Д. Долгорукій выразилъ удивленіе, что городской голова обратился къ сѣзду черезъ градоначальника. Казалось бы, что же изъ этого? У Сѣзда своего помѣщенія не было, собирался онъ на частныхъ квартирахъ, которыхъ кіевскій голова имѣлъ право не знать. Онъ естественно прибѣгъ къ посредничеству мѣстныхъ властей. Но какъ реагировалъ Сѣздъ на главное, на обнаруженную переть нимъ фальсификацію представительства? Сѣздъ возмущился, но не противъ самозванцевъ, а противъ кіевского городского головы. Поднялись негодующіе возгласы. Помню генеральскую интонацію сидѣвшаго въ первомъ ряду Кузьмина-Караваева «кто смѣетъ посылать такія телеграммы?» Отчеты отмѣчаютъ предложенія, которыя дѣлались сѣзду по адресу городского головы: «выразить негодованіе», «отнести съ презрѣніемъ» и т. д. Члобы въ полной мѣрѣ оцѣнить эту реакцію сѣзда, поучительно сопоставить съ ней другой эпизодъ. На сѣздъ явилась депутація отъ комитета социаль-демократической партіи для перелачи сѣзду постановленія партіи. Въ немъ говорилось, что «единственный выходъ изъ положенія», есть «позверженіе правительства путемъ вооруженнаго возстанія и созыва Учредительнаго Собранія для установленія демократической республики; что попытки сѣзда вступить въ переговоры съ правительствомъ признаются комитетомъ за посланный шагъ, за сдѣлку буржуазіи съ правительствомъ за счетъ правъ народа». Эта выходка противъ сѣзда со стороны комитета, къ сѣзду отношенія не имѣвшаго, была сѣзду доложена и не вызвала ни негодованія, ни окрика, ни возмущенія. Сѣздъ возмущился противъ кіевлянъ, потому что кіевская Дума была правѣ его; онъ не замѣтилъ обиды, когда ее нанесли ему дѣвие. Такова была политическая линія сѣзда.

И конечно не все русское земство было таково. Сѣздъ превышалъ его талантами, блескомъ и выдержанностью «политической линіи»; но у земства былъ тотъ здравый смыслъ, который не позволилъ ему вѣрять, что капитуляція переть анархіей и погромами есть «единственный» способъ успокоить страну. Но земство не имѣло организаціи; его «представляялъ» только сѣздъ. Попытки земскихъ собраній понять свой голосъ, протестовать противъ самозваннаго представительства, — мы это видѣли на примѣрѣ тульского земства и кіевской Думы,

— встрѣчали негодованіе руководителей политической группы, въ рукахъ которыхъ были и съѣздъ и либеральная пресса. Въ результатѣ конечно усилился отходъ земской среды отъ тѣхъ политическихъ руководителей, которые ея именемъ говорили. Эта среда по закону «отталкиванія» пошла больше вправо, чѣмъ нужно, стала поаднѣ сливаться съ чистой реакціей. На Ноябрьскомъ съѣздѣ этого еще не было видно. На немъ образовалась только «оппозиція», земское меньшинство, иногда встрѣчаемое хохотомъ и оскорбленіями, на которое спасало репутацію съѣзда. Идеологія меньшинства не была чужда и отдаленнымъ представителямъ «руководящей политической группы». Такъ А. А. Свѣчинъ, будущій кадетъ, имѣлъ мужество отрицать Учредительное Собраніе, пока у насъ еще есть законная власть. Онъ же говорилъ: «къ манифесту 17 октября есть два отношенія: одни хотятъ идти дальше, другіе находятъ, что уже зашли слишкомъ далеко». Онъ предлагалъ съѣзду не дѣлать ни того, ни другого, а стать на позицію самого Манифеста. Это было какъ бы программой будущаго «октябризма»; а Свѣчинъ не только былъ, но до конца оставался кадетомъ. Когда при помощи государственнаго переворота 3 іюня октябристы стали большинствомъ въ Государственной Думѣ, они показали своею обороною сторону. Но тогда на съѣздѣ именно октябристское меньшинство защищало начала либерализма. Ноябрьскій съѣздъ, какъ первая Дума, былъ моральнымъ его торжествомъ. За нимъ стояли тогда и государственный смыслъ и гражданское мужество. Оно вело идейную борьбу за правое дѣло и панаки, которыя сыпались на него со стороны большинства, его не роняли. Въ рѣчахъ меньшинства было тогда правильное пониманіе настоящаго положенія. Большинство этого имъ не прощало, пришло въ то негодованіе, въ которое приводитъ несправедливая правда. Лидеромъ этого меньшинства на съѣздѣ былъ А. И. Гучковъ. Это было лучшее время его дѣятельности; онъ тогда спасалъ авторитетъ земской среды. Еще послѣ предвѣщаю сентябрьскаго съѣзда ко мнѣ пріѣхалъ М. М. Ковалевскій, тѣмъ не жившій въ Россіи, но внимательно за него слѣдившій. Ковалевскій былъ однимъ изъ людей, которыми я въ каждый свой пріѣздъ въ Парижъ (а я въ то время аккуратно ѣздилъ три раза въ годъ) систематически рассказывалъ все, что у насъ дѣлалось и о чемъ по газетамъ они знать не могли. Въ сентябрѣ Ковалевскій высказывалъ опасенія передъ неосударственнымъ настроеніемъ земскаго съѣзда. Самъ человекъ либеральный, европейскаго воспитанія, поклонникъ демократіи

и самоуправленія, Ковалевскій не приходилъ въ восторгъ перель непримиримостью нашихъ политиковъ. «Я видѣлъ на сѣздѣ, говорилъ онъ мнѣ, только одного государственнаго человѣка, это Гужковъ». Въ ноябрѣ онъ смотрѣлъ еще болѣе мрачно. Я его успокаивалъ: «все можно исправить; первые шаги могутъ быть неудачны» Онъ качалъ головой. «жизнь не даетъ переэкзаменовокъ, съ вами и съ вашими единомышленниками теперь покончено и надолго. Къ вамъ больше обращаться не станутъ. Сейчас поневолѣ будутъ искать опоры въ болѣе правыхъ кругахъ, въ людяхъ типа В. Бобринскаго, вы же останетесь оппозиціей. Это тоже нужно, но въ условіяхъ момента вы могли и должны были сдѣлать гораздо больше и не смѣли».

Эти предсказанія оправдались. На руководителей земскихъ сѣздовъ и вообще на земскую среду Витте больше ставки не ставилъ. Земскій сѣздъ показалъ, что отъ общественности ему ждагь больше нечего и онъ повернулъ рѣзко направо. Сѣздъ ему выбора не оставилъ. Витте долженъ былъ или идти съ Революціей или опереться не на либеральное общество, которое его поддерживать не хотѣло, а на «реакцію». Онъ такъ и сдѣлалъ. Онъ передалъ фактическую власть П. И. Дурново. Но какъ бы прощаясь съ красивой мечтой, Витте послалъ И. И. Петрункевичу неожиданную для всѣхъ телеграмму. Она началась съ того, что постановленія сѣзда были бы инныя, если бы сѣздъ зналъ, что произошло въ Севастополѣ (тамъ былъ военный бунтъ). Тогда, по его словамъ, сѣздъ понять бы необходимость потерпѣть власть въ борьбѣ съ революціей. Телеграмма кончалась словами «обращаюсь къ вамъ потому, что нѣро въ нашъ патріотизмъ». Витте едва ли былъ правъ. Севастопольскій бунтъ ничего бы не перемѣнилъ. Сѣздъ по прежнему сталъ бы вѣрять, что единственный выходъ покончить съ этой анархіей — это съ ней не бороться. Севастопольскій бунтъ его только бы укрѣпилъ на этой позиціи. Но телеграмма Витте произвела впечатлѣніе. Помимо разговора о ней на частныхъ совѣщаніяхъ; на одномъ изъ нихъ я случайно присутствовалъ. Они увидѣли въ телеграммѣ новое показаніе слабости власти, которую было необходимо противъ нея тотчасъ же использовать. Другіе услышавъ своей превзятости я хотѣли возобновить переговоры съ правительствомъ. Большинство членовъ бюро стало склоняться къ мысли, что неполитично такую телеграмму оставить безъ отвѣда. Она инстинктивно почувствовали, что сѣздъ зашелъ слишкомъ далеко и предлагали послать депутацію къ Витте, чтобы на словахъ исправить то, что было слишкомъ рѣзко въ принятыхъ резолюціяхъ.

Милюковъ возражалъ. О телеграммѣ всѣ знали. По газетной нескромности она была напечатана. Но о ней не говорили на сѣздѣ. Она была частной перепиской Витте съ Петрункевичемъ. Милюковъ тактикѣ молчанія не послѣдовалъ. Преподнесенное бюро о послылкѣ депутаціи къ Витте онъ публично объяснилъ «слухами о сношеніяхъ графа Витте съ нѣкоторыми членами сѣзда. Если бы, говорилъ онъ, Витте хотѣлъ снестись со сѣздомъ, то онъ бы прямо обратился къ нему». Петрункевичъ долженъ былъ объяснить происхожденіе телеграммы, чтобы снять съ себя подозрѣніе въ частныхъ сношеніяхъ съ Витте. Онъ признался, что получилъ телеграмму, «хотя въ частныхъ сношеніяхъ съ Витте не былъ... Я уже обратился къ графу Витте», докладывалъ онъ, «съ просьбой разрѣшить вопросъ, частна ли это телеграмма ко мнѣ, или обращеніе къ сѣзду». Вотъ чѣмъ сѣздъ занимался тогда, когда опредѣлялась судьба конституціонной Россіи.

Въ одномъ былъ правъ Милюковъ. Новая депутація была, конечно, излишня. Снявши голову по волосамъ плакать нечего. Никакія словесныя ухищренія не могли измѣнить несомнѣннаго факта, что Земскій сѣздъ не хотѣлъ быть опорой новой власти, а продолжалъ быть для нея прежнимъ врагомъ. Если бы депутація прибѣгла къ смягченію своихъ резолюцій, она бы уваженія ни къ себѣ, ни къ сѣзду не увеличила. Скрывать правду было нельзя; Витте въ Земскомъ сѣздѣ не нашеть той либеральной среды, которая могла бы поддержать его противъ властью и Революціей, сѣздъ, въ которомъ ошибочно видѣли тогда общее настроеніе земства, предпочесть стоять въ сторонѣ. Безъ радости и энтузіазма, съ горечью противъ самодовольной и слѣпой либеральной общественности Витте уступилъ Дурново. Разочарованіе въ либерализмѣ отразилось на дѣятѣйшемъ его поведеніи. Слѣды этого разочарованія бвзвугъ неизгладимы въ декабрьскихъ, февральскихъ и апрѣльскихъ совѣщаніяхъ по выработкѣ конституціоннаго строя и въ избирательномъ законѣ 11 декабря.

Но депутація къ Витте все же поѣхала; она состояла изъ Петрункевича, Муромцева и снова Кокошкина. Отъ нихъ было приложено объяснительное письмо къ резолюціямъ сѣзда. Письмо было искусно составлено. Авторы заявляли, что сѣздъ не ишетъ ничего для себя, но не можетъ уступить ничего изъ выставленныхъ имъ условій поддержки; иначе онъ погорялъ бы авторитетъ среди общества. Упомянувъ о томъ, что реакціонныя партіи стали посылать депутаціи и къ Государю и къ Витте, сѣздъ предостерегалъ отъ довѣрія къ нимъ, отъ вовлече-

нія ими Монарха въ партійную борьбу. Монархъ, какъ національный представитель страны, можетъ имѣть дѣло голько со всѣмъ народомъ, голосъ котораго выявляется въ представительствѣ, по четыреххвосткѣ. Какъ литературный памятникъ, письмо было прекрасно. Но ни эта литература, ни ссылка на широкое общество, на четыреххвостку, какъ истинную выразительницу воли народа, Витте не убѣждали. Съ депутаціей онъ не разговаривалъ; онъ вручилъ ей холодный отвѣтъ. Касаясь условий, поставленныхъ съѣздомъ, онъ внушительно отвѣчалъ, что «правительство озабочено только тѣмъ, чтобы общественность отдавала себѣ отчетъ въ тѣхъ послѣдствіяхъ, къ которымъ приводитъ ея нежеланіе содѣйствовать власти въ осуществленіи началъ Манифеста и охраны порядка».

Такъ окончился Земскій съѣздъ и вмѣстѣ съ тѣмъ политическая роль русскаго земства. Съѣздъ нанесъ земству ударъ, отъ котораго оно уже не оправилось. Блестящій, краснорѣчивый, прославленный прессою съѣздъ былъ настоящей политической катастрофой. Онъ показалъ весь свой талантъ, поскольку рѣчь заходила объ обличеніи власти или нашей старой политики. Но онъ не имѣлъ понятія о томъ, что ему надлежало дѣлать, чтобы своей побѣдой надъ Самодеятельнымъ воспользоваться въ интересахъ Россіи, а не во славу одной Революціи. Никакое краснорѣчіе этого скрыть не могло. Съѣздъ войну продолжалъ и подсказывалъ правительству Витте рецепты, когорые могли только войну разжигать. Увлекаясь самъ своимъ блескомъ, съѣздъ забылъ, что за нимъ стоитъ совершенно иное русское сѣрое земство, а подъ нимъ еще герпѣливый, но недовольный и никому не довѣряющій русскій народъ.

Политическое крушеніе земства особенныхъ сожалѣній не вызвало. Для элементовъ болѣе лѣвыхъ, демократической интеллигенціи, земство вообще было «цензовымъ элементомъ». Оно было воинской частью, которая была уже использована для побѣды и которую теперь можно было убрать, чтобы она не мѣшала. Они не понимали тогда, что поняли только въ 1917 году, т. е. слишкомъ поздно, что и Монархъ и земскій авторитетъ были Россіи одинаково нужны, чтобы въ моментъ переустройства Россіи предохранить ее отъ обвала. Ф. Ф. Кокоскинъ, торжествуя, рассказывалъ, что земство и не должно играть «политической» роли. Его роль окончена. На сцену должны выступить «партия». Отъ нихъ зависѣло будущее.

В. Маклаковъ.

Въ деревнѣ*)

Въ началѣ 1933 года мнѣ какъ-то пришлось преподавать физиологію и гигиену спорта на «курсахъ стотысячниковъ». Это была цѣлая сѣть курсовъ, на которые правительство пыталось собрать сто тысячъ «лучшихъ физкультурниковъ СССР» и сдѣлать изъ нихъ инструкторовъ спорта. Набрали по всей Россіи тысячъ двѣнадцать, никакихъ инструкторовъ изъ нихъ, конечно, не сдѣлали, — и всѣ эти курсы постепенно и незамѣтно перешли въ небытіе. На этихъ курсахъ я и познакомился съ Сенею Шубейко, квадратно сколоченнымъ комсомольцемъ лѣтъ восемнадцати.

Знакомство наше состоялось по такому поводу: послѣ одной изъ лекцій Сенея Шубейко подошелъ ко мнѣ и не безъ нѣкоторой конфузливости сообщилъ, что хотѣлъ бы поговорить со мною «въ одиночку». Поговорили «въ одиночку». Выяснилась довольно банальная вещь: у этого парнишки, снаружи крѣпкаго, какъ дубовая кочерыжка, легкія уже проѣлъ туберкулезъ. Это одна изъ довольно обычныхъ оборотныхъ сторонъ совѣтской физкультуры (конечно, есть и не оборотныя): подстегиваемое сверху увлеченіе спортомъ при нехваткѣ жировъ, премеи, витаминовъ, бѣлковъ, воздуха въ квартирѣ, хлѣба въ желудкѣ и при избыткѣ работы, очередей, общественной нагрузки, всяческой нервной трепки и беспрестанныхъ поисковъ въ разсужденіи, что бы пожрать. Я конечно, спросилъ о томъ, такъ чего же смотрѣлъ спортивный врачъ, — врачъ смотрѣлъ и врачъ говорилъ, что тренировку Сенѣ нужно бросить. Но Сенея былъ комсомольцемъ и, такъ сказать, восходящей звѣздой заводского футбольнаго поля, — поэтому попли врача были объявлены оппортунистическими, а Сенея доигрался до туберкулеза второй степени.

Я ему далъ много совѣтовъ: одни приблизительно невыполнимые, другіе приблизительно выполнимые. Къ числу послѣд-

*) Авторъ печатаемаго здѣсь очерка «Въ деревнѣ» И. Л. Солоневичъ давно издавно бѣжалъ изъ Сов. Россіи. Даваемая имъ яркая картина современной русской деревни является поэтому неслучайнымъ по своему интересу свѣдѣтельскимъ показаніемъ. Ред.

нихъ относилась техника ловли воронъ и приготовленія оныхъ въ пищу. Вороны Сенѣ понравились.

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя ко мнѣ заявился Сеня. Пришелъ, дескать, попрощаться: посылаютъ на колхозную работу, «въ помощь деревнѣ», въ числѣ какихъ-то не то 25-ти, не то ста тысячъ «лучшихъ пролетаріевъ города». На чинъ «лучшаго» Сенѣ какъ-то везло. Онъ былъ не лучшимъ, но, впрочемъ, и не худшимъ изъ рядового заводского молодняка. Не изъ тѣхъ, что выдумываютъ пороховъ, но и не изъ тѣхъ, кто занимается доносами. Не изъ тѣхъ, кого уже никакъ не удовлетворяетъ «Азбука коммунизма», но и не изъ тѣхъ, кто изъ-за этой азбуки готовъ вгрызаться въ чьи бы то ни было икры. Онъ, правда, былъ искренне убѣжденъ, что въ буржуйскихъ странахъ хлѣбъ дается по карточкамъ — правда, только буржуямъ, пролетаріи же покупаютъ его на вольномъ рынкѣ и по спекулянтскимъ цѣнамъ, отчего буржуи жирѣютъ, пролетаріи дохнутъ съ голоду и все это видѣтъ взятое неукоснительно толкаетъ вселенную къ мировой пролетарской революціи. Моя рецепта относительнаго ворованья и вѣкоторыхъ другихъ вещей воевали мнѣ Сеняно довѣріе, но его концепціи вольнаго буржуйскаго рынка я поколебать все-таки не смогъ: шкатулчатнаго буржуя съ ошцеренными зубами Сеня считалъ поразителнмъ, въ мировую же революцію вѣрилъ такъ же твердо, какъ его весьма издаликіе предки въ Илью Пророка.

Вопросъ о томъ, почему Сеня, вмѣсто помощи физкультурѣ, ѣдетъ заниматься помощью деревнѣ, — остался нѣсколько невыясненнымъ. Я осторожно осведомился о томъ, какія собственно познанія имѣетъ Сеня въ области сельскаго хозяйства, на что Сеня мнѣ отвѣтилъ, что у его мамани была коника, да и та подохла, и что этимъ всякая-связь его съ какимъ бы то ни было хозяйствомъ и ограничивается. Правда, до его отъѣзда осталась еще недѣля. Говорить, что будутъ какіе-то пятнадцатые курсы по линіи «помощи деревнѣ»... Онъ, Сеня, не сомнѣвается въ томъ, что въ области сельскаго хозяйства онъ за пять сутокъ превзойдетъ все, что показается, и будетъ представлять въ какомъ-нибудь колхозѣ не хуже, чѣмъ всякій другой.

Прощаясь, Сеня очень настойчиво и даже нѣсколько трогательно приглашалъ меня посѣтить его будущій колхозъ. «вы же все равно по всей Россіи ѣздите, снимаете, описываете, — такъ ужъ лучше ко мнѣ заѣжайте. И покажите что-нибудь, крошечку воронъ, найдемъ». Я согласился: въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно. Сильно опасаясь, что почию вѣкоторой симпа-

тін къ моей «персональной личности», Сению соблазняла и перспектива увидѣть на страницахъ какого-нибудь «Ударника Соціалистическаго Животноводства» (есть и такой журналъ) свою доблестную и ударную комсомольскую физиономію, въ этакомъ колхозномъ окруженіи и въ сопровожденіи нѣсколькихъ строкъ хвалтуры на тему о «герояхъ социалистическихъ полей»... Что дѣлать?.. Даже комсомольскія симпатіи рѣдко бываютъ вполне безкорыстными...

**

Такъ Сения поѣхалъ «помогать деревнѣ» — въ числѣ сотенъ тысячъ — на этотъ разъ реальныхъ сотенъ тысячъ, «передвинутыхъ», отправленныхъ, мобилизованныхъ, а то и просто посланныхъ за ненадобностью ни въ какомъ другомъ мѣстѣ, — на «отвѣтственный фронтъ социалистической реконструкціи сельскаго хозяйства». Удивительно не то, что изъ этихъ сотенъ тысячъ рѣшительно ничего путнаго не вышло. Удивительно то, что послѣ нихъ картошка не совсѣмъ все-таки потеряла способность произрастать...

Лазарь Кагановичъ на конференціи ЦК Комсомола въ 1933 году заявилъ: «около половины нашего руководства въ деревнѣ состоитъ изъ молодняка въ возрастѣ отъ 17 до 21 года». Отбросимъ въ сторону всякую контръ-революцію. Отбросимъ въ сторону бухаринскую формулировку о «военно-феодальной эксплуатаціи деревни». Не будемъ вдаваться въ техническій споръ о преимуществахъ «самаго крупнаго землевладѣнія въ мірѣ» (конечно — СССР), надъ мелкимъ, распыленнымъ, кустарнымъ и прочее (скажемъ — Данія). Поставимъ вопросъ въ такой плоскости:

Двѣсти тысячъ совѣтскихъ колхозовъ — это двѣсти тысячъ имѣній, иногда крупныхъ, а иногда и гигантскихъ (знаменитая колхозная «гигантоманія»). Во главѣ имѣній такого порядка въ старое время сидѣли управляющіе, которые на этомъ дѣлѣ съѣдали по десятку собакъ каждый, которые съ этимъ дѣломъ возжались всю свою жизнь, которыхъ владѣльцы нѣнцли, такъ сказать, на вѣсь золота и въ золотѣ и платили. Теперь вмѣсто матерыхъ старыхъ управляющихъ во главѣ этихъ двухсотъ тысячъ государственныхъ имѣній стоитъ около милліона лоботрясовъ вродѣ моего конкретнаго Сени. Иногда эти лоботрясы бывають лучше, иногда хуже, но лоботрясами они все же остаются: никакая комсомольская, заволжская и прочая ячейка не пощедитъ на сельскій фронтъ ничего мало-мальски путнаго: путнаго и такъ не слишкомъ много, путное и самимъ нуж-

но. Людей отбирають по пролетарскому принципу. «на тебѣ, Боже, что мнѣ не гоже»..

Конечно, что ужъ грѣха таять: основныя функціи этихъ дѣлоторясовъ заключаются именно въ томъ, что Бухарингъ обоблачивалъ военно-феодальной эксплуатаціей, и что Россійская публика зоветъ просто грабежомъ. Въ плоскости феодальныхъ взаимоотношеній нашъ Сеня надѣленъ всѣми сеньеральными правами, включая сюда и *ius vitae necisque*, — право на жизнь и на смерть въ самомъ буквальномъ смыслѣ этого слова. Но кромѣ сеньеральныхъ правъ (эти права на пятидневныхъ курсахъ, конечно, могутъ быть усвоены на зубокъ), — у Сени вѣдь есть еще и кое-какія хозяйственныя функціи, каковыхъ въ пять сутокъ, не только Сенѣ, а, пожалуй, и Эйнштейну не превзойти... Вѣдь нужно распоряжаться и поспѣвами, и скотомъ, и рабочей силой, и уборочными кампаніями, и инвентаремъ, и тракторами, нужно вести фантастическую по своей сложности и запутанности бухгалтерію «трудовыхъ дней», нужно выполнять безконечныя повинности: гужевую, дорожную, хлѣбную, мясную, нужно по контрактации снабжать заводы и стройки рабочими, продаваемыми колхозами заводамъ, нужно впитать въ себя неисчислимая директивы неисчислимаго начальства и извергать изъ себя столь же неисчислимыя сводки, рапорты, отчеты, планы, — и при всемъ этомъ дѣлать исполненный энтузіазма и вполне понимающій видъ. Нельзя сказать, чтобы я искренне завидовалъ моему Сенѣ.

Недѣли черезъ двѣ я получилъ отъ Сени открытку, не согласованную ни съ какой въ мірѣ орфографіей и пригласающую меня въ «его» колхозъ, уже не абстрактный, какой-то, а вполне конкретизировавшийся колхозъ имени Розы Люксембургъ въ ЦЧО (Центральная Черноземная Область). Сильно опасаясь, что о Розѣ Люксембургъ Сеня не имѣлъ никакого понятія. Но я все-таки поѣхалъ...

Въ мягкомъ вагонѣ — почти Европа. Электричество, занавѣски, проводникъ даже разноситъ чай. Правда, чай выросъ на морковныхъ плантаціяхъ Пищетреста, правда, вмѣсто сахара даютъ по леденцу на стаканъ, правда, ГПУ'сскій патруль время отъ времени степенно прохаживается по вагонамъ и обновляетъ пассажировъ упорнымъ, пронизывающе-раздѣвительнымъ окомъ, — а иногда и документы спрашиваетъ, — въ мягкомъ вагонѣ — рѣже, въ твердомъ — сплошь. Правда, есть и еще кое-какія «но», — однако, въ общемъ, — все-таки вродѣ Европы.

На станціи Орель я покидаю этотъ наемъ на Европу. Дальше идетъ линія Юго-Восточной ж. д. — не магистральная, не

нитуристская, не показательная, линия, по которой если и ѣздить вожжи, такъ только губернскаго масштаба. Поѣзда здѣсь нѣтъютъ телячій составъ, — говарные вагоны, называемые теплушками въ томъ случаѣ, если они подаются подъ пассажирское движеніе. Станціонное зданіе основательно подчинено отъ всякаго пролетаріата, — чтобы не мозолили глаза, но станціонныя задворки переполнены пестрой, разноязычной, одинаково рваной и голодной толпой: это участки великаго совѣтскаго переселенія народовъ. Это кочуетъ разноплеменный російскій мужикъ и разнокалиберный російскій рабочій.

Куда онъ кочуетъ? Его маршруты подобны таинственнымъ путямъ перелетныхъ птицъ. Маршруты эти возникаютъ изъ-за полученнаго какимъ-нибудь донбассовскимъ рабочимъ письма о томъ, что воть-де, на Карагандѣ даютъ и хлѣбъ и крупу, — донбассовскій рабочій «загоняетъ» все, что в него имѣется, — въ первую очередь казенную «прозолежду», и востремляется на Караганду. Это называется текучесть и летучесть рабочихъ кадровъ. Мужикъ въ большинствѣ случаевъ кочуетъ не «куда», а «откуда», — лишь бы подальше отъ родныхъ мѣстъ, отъ раскулачиванія, отъ коллективизаціи и отъ сеньки съ малой буквы, — такъ чтобы нырнуть воть въ этакій телячій составъ и вынырнуть гдѣ-нибудь на краю свѣта, — безъ земли, безъ скота, безъ документовъ, безъ прошлаго, — безъ ничего. И, въ томъ числѣ, безъ повинностей. Голымъ человѣкомъ. Колесить по Россіи, добираясь до сказочныхъ «юльныхъ земель» въ Урянхайскомъ краѣ, прорывается на Дальній Востокъ, гдѣ не такъ грабятъ, какъ въ остальныхъ мѣстахъ, задерживается на всякихъ стройкахъ. Турксибахъ и Магнитогорскахъ, — потомъ опять кочуетъ на Алтай, на Алданъ, на Камчатку. А съ Алтая, Сибири, Алдана люди бѣгутъ на Донъ, на Украинъ, приравниваются къ колхозамъ и къ совхозамъ въ качествѣ «пролетаріата наемнаго труда», — все-таки фунтъ хлѣба и никакого грабежа...

Этихъ кочующихъ мужиковъ я встрѣчалъ въ самыхъ неподходящихъ для мужицкаго житія мѣстахъ: на голыхъ горахъ Памира, въ ущельяхъ Сванетіи, въ каменныхъ дырахъ Дагестана и даже... въ полуосковинныхъ тѣсахъ въ лѣсу землянка и живетъ въ землянкѣ крестьянская семья, убѣжавшая, Богъ ее знаетъ, откуда. Живетъ грибами, ягодами, сгавить силки на зайцевъ и воронъ, — вообще живетъ такъ, какъ жили ея предки до всякихъ попытокъ импорта на Русь порялка, — не только до Маркса, а и до Гостомысла.

Телячій составъ берутъ штурмомъ, хотя, собственно неиз-

вѣсно, куда, въ концѣ концовъ, пойдетъ поѣздъ. Но это — не такъ существенно, — лишь бы поскорѣе и подальше... Я вскарабкался въ теплушку, сѣлъ на полу вагона, свѣсилъ ноги за дверь и смотрю на проплывающую мимо степь, по которой въ свое время рыскали половцы, хозары, печенѣги, татары. Теперь по этимъ половскимъ степямъ рыскаютъ активисты — артель моего Сени, вооруженные мандагами и наганами — и отъ нихъ стонъ стоитъ похуже, чѣмъ отъ половцевъ..

Товарный вагонъ подпрыгиваетъ по разболтанному полотну, осеннее солнце косыми лучами освѣщаетъ степь. Проплываютъ деревни го полуразрушенные, то просто разваливающейся.. Вотъ отсюда мужики разбѣжались куда-нибудь въ несусветную глушь и пытаются тамъ отсиѣться отъ социализма, а отсюда, видимо, выселены: избы разбиты снарядами, кое-гдѣ видны снарядныя воронки. Изрѣдка мелькаютъ новыя хутора, окруженные молодою и уже запущенною порослью садовъ: это гдѣ единоличники, которые во время НЭПа подъ влияніемъ правительственныхъ обѣщаній и зазываній перешли на садово-огородныя культуры. Сейчасъ садъ — это символъ кулацкаго происхожденія.

Мы полземъ, останавливаемся, опять полземъ. Къ утру, на разсвѣтѣ я высаживаюсь на станціи Десятка два оборванныхъ людей кучками спятъ на платформѣ. Подночь нѣтъ. До колхоза оказывается тридцать верстъ — обстоятельство, которое Сенька отъ меня предусмотрительно скрылъ. Тонаю пѣшкомъ..

Сенькинъ колхозъ — обычная деревня южно-русской полосы — разбросанная и раскистая. Сейчасъ она производитъ впечатлѣніе заброшенности и запустѣнія. Спрашиваю у встрѣченной бабы, гдѣ живетъ предсѣдатель колхоза. Баба мнѣ отвѣчаетъ кратко и вразумительно: «чтобъ васъ холера съ вашимъ предсѣдателемъ подушила».

Бабы вообще пользуются нѣкоторымъ — весьма относительнымъ — иммунитетомъ: что съ бабы возьмишь. Такими же усѣхами заканчиваются еще двѣ мои попытки. Одинъ мужикъ на мой вопросъ отвѣтить. «за кто е знаетъ, гдѣ ихъ какъ собакъ перѣзаныхъ, каждую неделю новыя». Другой показать на избу, которая была забита и въ которой никто не жилъ. Наконецъ, какой-то парнишка комсомольскаго вѣта далъ мнѣ необходимые указанія и полюбостествовалъ, есть ли у меня мандагъ. По совѣстности всѣхъ обетоятельствъ въместо того, чтобы показывать мандагъ, — я предпочелъ востать парнишку въ нехорошее мѣсто отчего онъ проникнулся ко мнѣ пошлымъ уваженіемъ и даже провелъ къ предсѣдательской избѣ.

Почти пустая комната, — видимо бывшего волостного правления. Заваленный бумагами столъ. За столѡмъ молодой парень — лѣтъ 22-23, съ жесткимъ, озлобленнымъ и истощеннымъ лицомъ. На столѣ передъ нимъ, на кипѣ бумагъ, точно пресс-папье, лежитъ наганъ. При моемъ появленіи въ дверяхъ чело-вѣкъ протянулъ руку къ нагану, потомъ, увидавъ мои очки и прочее, слѣлалъ видъ, что эта рука просто перебираетъ бумаги.

— Я пріѣхалъ къ предсѣдателю здѣшняго колхоза, товарищу Шубейко.

— Нѣту Шубейки.

— А вы кто будете?

— А я вотъ предсѣдатель. Только не Шубейко, а Никигинъ.

— Вотъ такъ клюква.. А Шубейко гдѣ?..

— А вы — кто?

Я объяснилъ...

— А мандатъ есть?.. А ну, покажите.

Человѣкъ разложилъ мой мандатъ на столѣ, пристально прочелъ текстъ, потомъ штампъ — мандатъ былъ отъ одной московской редакціи — «Соціалистическаго Земледѣлія», потомъ сталъ разбирать печать, поворачивая бумажку во всѣ стороны.

— А еще какіе документы есть?

Я показалъ еще документы. Никитинъ сталъ ихъ разсматривать такъ же внимательно, какъ и мандатъ. Я тѣмъ временемъ усѣлся на табуретку у стола, вынулъ папиросы и протянулъ Никитину коробку. Никитинъ мелькомъ, но внимательно посмотрѣлъ на коробку — папиросы были весьма привилегированныя — потомъ на меня и вернуть мнѣ всю пачку моихъ мандатовъ и прочаго...

— Такъ... Колхозъ, конечно, завалишій, однако, каждый день то ревизія, то такъ пріѣзжаютъ... Ну, изъ Москвы, конечно, рѣдко... Больше изъ области, изъ Воронежа. Какъ разъ вчера тутъ одна бригада уѣхала... Я имъ тутъ все написалъ, — онъ порылся въ бумагахъ, — вотъ Вы это вотъ прочитайте, колхозъ посмотрите... Знаете, — каждый почти день Конечно, не изъ Москвы, а все-таки...

Я ему посочувствовалъ. Ревизіи, комиссіи, обследованія, бригады и прочая легкая и тяжелая «кавалерія», — на всякое совѣтское предпріятіе налетаютъ, какъ мухи на палаль. Обсѣдуютъ всѣ, кому только не лѣнь... Помню, пріѣхалъ и въ одинъ подмосковный совхозъ. Директоръ совхоза посмотрѣлъ на меня взглядомъ загнанной лошади и сказалъ:

— Знаете что, товарищъ.. Подождите маленько. Тутъ у

нась уже одиннадцать обслѣдователей сидить. Вы — двѣнадцатый... Подождите, — еще наберется, такъ ужъ сразу..

Въ виду этого на бесѣдѣ съ Никитинымъ я не настаивать..

— Скажите, — спросилъ я, — а гдѣ же все-таки Шубейко?

— Шубейко, — переспросилъ Никитинъ, для чего-то заглядывая въ окно. — Подстрѣлили Шубейку...

— Убили?

— Н-нѣтъ, не совсѣмъ.. Въ районной больницѣ сейчасъ лежить...

— А кто подстрѣлил?..

— Да, по существу, неизвѣстно... Двухъ кулачковъ здѣсь за это разстрѣляли, да, видно, не они...

Если бы я спросилъ, — такъ за что же разстрѣляли этихъ двухъ «кулачковъ», — я совершилъ бы вопиющую безгактность, я проявилъ бы полное непониманіе «существа классовой борьбы на селѣ», я показалъ бы, что я не то дуракъ, не то контръ-революціонеръ. Почему сего нескромнаго вопроса я и не задать.

— Такъ я пока схожу провѣдаю его.

— Да, сходите, сходите... Я ужъ дней десять собираюсь, — все время нѣту... И изъ Москвы никто не пріѣхалъ. А парень, видно, помереть... Хорошій парень, рабочій...

Районная больница помѣщалась въ старомъ, сильно обветшавшемъ земскомъ зданіи, верстахъ въ двухъ отъ села. Въ маленькой пріемной меня встрѣтила санитарка, сильно оборванная, но къ моему удивленію, чистая. Я спросилъ доктора. Доктора не было. Шубейко, дѣйствительно, лежалъ здѣсь, однако, санитарка колебалась, вправѣ ли она впустить меня.

— Мнѣ можно, — сказала я увѣренно — Я — изъ Москвы...

— Ахъ, изъ Москвы, ну, пожалуйста...

Въ довольно просторной, чисто выбѣленной палатѣ помѣщалось коекъ двадцать, почти вплотную другъ къ другу. Въ сущности это были не койки, а деревянные топчаны, покрытые соломой, правда, чистая, но только соломой, даже безъ покрывшекъ. Бѣдность во всемъ чувствовалась ужасающая, но за этой бѣдностью видна была и чья-то заботливая рука. Сенька лежалъ у окна, покрытый все тѣмъ же пальтишкокомъ, которое я видаль на немъ и въ Москвѣ. Ноги его прикрывалъ какой-то кусокъ рваного одѣяла.

Я бросилъ взглядъ на табличку надъ Сенинымъ изголовьемъ. Тамъ стояло: *serpicaemia acuta*.

Значитъ, гнойное воспаленіе... Я вспомнилъ о Сениныхъ

легкихъ и еще кое о чемъ и понялъ, что съ этого топчана Сеня, видимо, уже не встанетъ. Да это было видно и по лицу, по которому ползали мухи и Сеня сгонялъ ихъ судорожной мимикой лицевыхъ мышцъ. Санитарка дотронулась до его плеча. Онъ открылъ глаза.

На его лицѣ появилась улыбка радостная и въ то же время какая-то растерянная и жалкая.

— Товарищъ Солоневичъ! Прѣхали? Вотъ это -- да!.. -- Онъ сдѣлалъ какое-то порывчатое и деловое движеніе и застоналъ отъ боли.

— Не рипайтесь, Сеня, — пошутить я, — лежите спокойно. Теперь ваше дѣло -- лежать и -- никакой активности. Я васъ тутъ кой-чего пошачать привезъ..

— Да и какъ вотъ скоро мѣсяцъ лежу -- Ело лицо опять перекосилось жалкой и дѣланной улыбкой. -- Вотъ помираю за революцію и хоть бы одинъ сукиннъ сынъ пришелъ.

— Ну, вотъ, я, Сеня, пришелъ.

Сеня какъ-то отвернулся, посмотрѣлъ въ потолокъ и сказалъ странную вещь:

— Вы -- другое дѣло.. Вы контръ-революціонеръ.. Буржуй..

Я совсѣмъ удивился: -- Откуда вы это, Сеня, взяли?

— Взять. И самому видно, и нашъ парторгъ говорилъ. Передъ вашими лекціями. Предупреждалъ, значить.

— Ну, что-жь, Сеня, такъ можетъ мнѣ уйти?..

Сенина истонцавшая до костей рука протянулась изъ-подъ одеяла и схватила меня за котѣно..

— Нѣтъ, ужъ товарищъ Солоневичъ, голубчикъ, ну ужъ посидите.. Я не къ тому, что вы -- буржуй. Я совсѣмъ по другому.. Что -- буржуй?.. Я теперь вотъ лежу, помираю, думаю, -- что буржуй? Вотъ -- какъ вы мнѣ насчетъ футбоба говорили, чтобы не играть.. и насчетъ воронъ. Вѣдь вы же мнѣ хотѣли помочь. Да и вотъ теперь -- пошачать, говорите, привезли. А вы, значить, буржуй, а я, значить, комсомолецъ.

— По полниграмотѣ, Сеня, не выходить?

— И насчетъ карточекъ за границей. Я у одного рабочаго спрашивалъ, ѣзда.. -- голосъ Сени слегка махъ -- Нѣтъ карточекъ. Никакихъ. И каждый, говоритъ, рабочій велосипедъ имѣетъ. Ну, и вообще. По плану.. А тутъ вотъ я прѣхалъ.. помогать деревнѣ, .. ихъ махъ. Вотъ и бабахнули.

— А за что васъ бабахнули?

Сеня согналъ мухъ съ лица и сказалъ тономъ серьезнымъ и спокойнымъ

— А, что говорить . За что слѣдовало, за то и бабахнули

Я нѣсколько растерялся Не очень многого ожидать я отъ Сени, а ужъ такой формулировки — меньше всего. Я молчать, такъ началъ говорить. Лицо его подергивалось. — Сами знаете, такъ началъ говорить Лицо его подергивалось. — Сами знаете, что на селѣ дѣлается... Врутъ намъ . Больно много намъ врутъ . — Онь опять помолчалъ. — Классовая борьба... Классовая борьба, ихъ мать. Буржуи, потумаешь. Банкиры.. Мнѣ тутъ, какъ отвѣтработнику, молоко выписывали. Дѣтчки собираются въ хату, да прямо въ рогъ смотря, въ глотку не лѣзеть. Весной траву фли, съ голодухи народу сколько вымерло... А мы ихъ по Сибирячь разсылаемъ, къ стѣнкѣ ставимъ... Вотъ я — тоже . Деревнѣ помогать! Семью тутъ одну выслади... Парнишка у нихъ одинъ былъ . Ну вотъ и .. — Сения запнулся и посмотрѣлъ на меня съ безпокойствомъ..

Я сидѣлъ подавленный..

— Скажите, Сения, выходишь такъ, что вы знаете?..

Сения отвелъ отъ меня глаза и сталъ смотрѣть въ потолокъ. Пальцы его судорожно мяли рваный рукавъ пальтишки..

— А мнѣ зачѣмъ объ немъ говорить?.. Былъ бы я на его мѣстѣ, такъ я не то что изъ ружья. — зубами грызть сталъ бы... — Сения со стономъ повернулся ко мнѣ и опять схватилъ меня за колѣно...

— Только ужъ вы, товарищъ Солоневичъ, ужъ я васъ очень прошу, никому не говорите. Размѣняютъ парнишку -- только и всего... Я вотъ лежу тутъ, все думаю думаю. Митиця разъ пять приходила, все выясниваетъ. Сволочи Охъ, и сволочи же .. И вотъ — вы -- тоже. Образованный Про всякую говенную физкультуру рассказывали. -- а объ чемъ нужно, такъ молчали. На партячейку оглятывались .

— Ну, а если-бъ я не молчать. — вы повѣрили бы?

Сения снова посмотрѣлъ въ потолокъ

— Развѣ я знаю. . Здорово ужъ насъ заморочили . Конечно, ничего не выдавши... И всякій слово сказать боится

Его рука снова легла мнѣ на колѣно.

— Вы ужъ не обижайтесь, товарищъ Солоневичъ . А только, знаете, помирать такъ — ужъ очень обидно Ну, я понимаю, ежели бы на фронтѣ , или какъ . а то на турницу . ни за подколѣйки.. - въ голосѣ Сени послышались слезы

Я сталъ успокаивать Сению Въ мои метининскія познанія — послѣ монхъ гисіеническихъ и вороньихъ совѣтовъ -- Сения вѣришь крѣпко, правда, безъ достаточныхъ къ этому оснований, — впрочемъ, когда же вѣра имеетъ достаточныхъ оснований?

Человѣкъ грѣшный — я даже сказала нѣсколько банальныхъ фразъ объ издержкахъ революціи и о новомъ строѣ, въ мукахъ рождающемся на російскихъ просторахъ... Вышло все это не очень удачно. И эти революціонныя банальности испортили впечатлѣніе отъ моихъ медицинскихъ утѣшеній. Я сдѣлала и еще болѣе глупую вещь — протянула Сенѣ плитку шоколада и коробочку кубиковъ маggi...

Сеня неуверенными пальцами стала разворачивать плитку.

— Ишь ты, — сказала онъ, — заворочено-то какъ... Не то, что хлѣбъ по карточкамъ... Заграничный? Я и русскаго сроду не ѣдалъ.. А это что? Конфеты? Бульонъ? Вишь ты. А какъ его ѣсть-то?..

Санитарка принесла кружку кипятку, я развела два кубика. Сеня съ наслажденіемъ сдѣлала нѣсколько глотковъ. Остатки шоколада и бульона Сеня отставилъ на табуретку: — сосѣда надо угостить, — сказала онъ, — тоже такого никогда и въ ротъ не брала...

Я посмотрѣлъ на сосѣда. Въ полубредовомъ снѣ стоналъ на соломѣ какой-то деревенскій парень — возраста Сени или около этого. На мой вопросительный взглядъ Сеня отвѣтилъ:

— Тоже — «классовый борецъ»... Только, видно, съ другой стороны... Прострѣлили. А кто и гдѣ неизвѣстно... — И Сеня посмотрѣлъ на меня, словно желая убѣдиться, вѣрю я его информаций или нѣтъ.

Потомъ онъ повертѣлъ въ рукахъ коробочку съ маggi и разноцвѣтную съ золотыми наклейками обертку шоколада.

— А вы говорите — не зря мы погибаемъ... Вотъ — какъ тамъ люди ѣдятъ. Булѣны всякіе... А у насъ — траву жрутъ. Съ голоду пухнуть... — Яркая бумажка видимо символизировала для Сени тотъ буржуйскій міръ, во имя ниспроверженія котораго шла вся эта революція, миллионы Сенекъ платили своей жизнью, — да и онъ. Сеня, готовился внести сюда очередную взносъ.

— Какъ подумаешь, такъ ну его ко всѣмъ чертямъ!..

Дверь скрипнула. Я оглянулся. Въ палату вошла докторъ — типичный земскій врачъ, съ жилкой бороленкой и въ разбитомъ пенснѣ. Докторъ посмотрѣлъ на меня крайне неодобрительно. Предупреждая его выговоръ за самовольное вторженіе въ палату, я всгалъ и извинился. Докторъ проворчалъ что-то невнятное, пощупалъ Сенинъ пульсъ, покосился на шоколадъ и маggi на столѣ, на желтый чехоль моего новенькаго метателя, и посмотрѣлъ на меня взглядомъ неудовлетвореннаго классификатора. Я стала прощаться съ Сеней.

— Если будетъ время, зайдите еще... Такая госка... И, можетъ, почитать что-нибудь достанете.

— У меня Сейфулина есть.

— А ну ее, Сейфулину. О совѣтской вошн я и безъ Сейфулиной все знаю. Что-нибудь о настоящей жизни, какъ люди живутъ... Можетъ Гончарова или заграничное что-нибудь...

Я общалъ. Сеня задержалъ мою руку въ своей изсохшей до прозрачности рукѣ. Въ его глазахъ появилось жалкое, подѣтски безпомощное и обиженное выраженіе.

— А что я вамъ насчетъ физкультуры сказать, — не обижайтесь... И насчетъ этого парнишки... Я только намъ сказала. Не скажете?

— Нѣтъ, что вы, Сеня, конечно.

— А если ребятъ нашихъ увидите тамъ, на заводѣ, скажите, пропалъ Сеня ни за поношку табуку. Какъ дуракъ, скажите, пропалъ...

-- Что вы, Сеня, бросьте вы нюни распускать.

— Нѣтъ, я ужъ это знаю... — Но Сениному лицу покатились крупныя дѣтскія слезы... Онъ выпустилъ мою руку и отвернулся въ сторону. Я постоялъ у Сенинаго топчана, пристыженный и растерянный, и вышелъ вошь.

Мнѣ нужно было еще сходить на машинно-тракторную станцію. Но не хотѣлось никуда идти и ни съ кѣмъ говорить. Я сѣлъ на крылечкѣ больницы и сталъ курить папиросу за папиросой. Въ жизни каждаго человѣка бываютъ минуты униженія и пришибленности — такую минуту переживалъ и я. Этотъ нехитрый заводской парнишка, съ которымъ я разговаривалъ такимъ покровительственно-взрослымъ тономъ, о которомъ я искренне думалъ, что никакой Америки онъ не откроетъ, — Америку, оказывается, открылъ. Тяжко далась ему эта Америка. И тяжело ему съ этимъ открытіемъ умирать... И вотъ, я, дуракъ, шоколаду принесъ, маggi принесъ, идиотъ... какъ будто спеціально для того, чтобы яркостью шоколатной обертки и ароматомъ буржуйскаго бульона еще рѣзче, еще жестче подчеркнуть всю бессмысленность Сениной смерти, всю безперспективность той кровавой каши, въ которой гибнутъ милліоны Сенекъ, Ванекъ, Петекъ... Шоколадку! Сеня, корчась отъ боли и душевной и физической, находить въ себѣ и честность и мужество не выдавать своего убійцу, а я, — шоколадку. Какъ все это глупо. -- Какъ все это безпросвѣтно и кроваво глупо.

Докторъ вышелъ изъ больницы и посмотрѣлъ на меня своимъ классификаторскимъ взглядомъ.

— Вы — родственникъ?

Я объяснялъ.

— Судя по вашему диагнозу, — кажется безнадежно, — спросилъ я.

Докторъ пожалъ плечами.

— Въ другихъ условіяхъ... При менѣе подорванномъ организмѣ можно было бы рассчитывать на полное выздоровленіе. Но въ данныхъ условіяхъ... — На лицѣ доктора была написана фраза о томъ, что наука-де безсильна и что все, что онъ могъ сдѣлать, — онъ сдѣлалъ.

— Совершенно идиотская бессмыслица, — сказалъ я.

— Да, — подтвердилъ докторъ, — смысла не очень много.

Помолчали. Я спросилъ доктора, какъ мнѣ пройти на МТС*).

— Ничего вы тамъ не увидите, — сказалъ докторъ. — Тракторное кладбище... Директоръ МТС — человекъ совсѣмъ безголовый. Мы его здѣсь зовемъ кладбищенскимъ сторожемъ. Кстати, тамъ сейчасъ никого нѣтъ. Всѣ въ разъѣздѣ. У меня есть другое предложеніе. Зайдемте ко мнѣ. Я васъ чайкомъ угошу. Съ медомъ. О Москвѣ расскажете.

Просторная комната деревенской избы, съ чисто выбѣленными стѣнами. На стѣнахъ — портреты композиторовъ — и ни одного воляя. Видимо, докторъ чувствуетъ себя достаточно независимымъ, если рискуетъ обходиться безъ этихъ обязательныхъ иконостасовъ.

Въ комнату вошла молодая женщина съ подойникомъ зъ рукахъ.

— Позвольте васъ познакомиться. Это моя жена, Ольга Тимофеевна. Это... — Я отрекомендовался. Ольга Тимофеевна поставила на полъ подойникъ, вытерла фартухомъ руки и засмѣялась:

— У меня здѣсь цѣлая молочная ферма — три козы.

— У нея и козы, и огорода, и ульи, сочувственно подтвердилъ докторъ. — Не ферма, а цѣлый совхозъ.

— Хочу.

— А васъ не раскулачатъ?

— Пробовали... Мужъ сказалъ, что если съ моихъ козь будутъ выискивать молоко, а съ огорода — картошку, онъ броситъ больницу: онъ не можетъ работать голымъ. Потомъ, знаете, и мѣстная знать у него дѣлится. Такъ что я подъ прикрѣпленіемъ краснаго креста могу васъ даже чаемъ напоить — съ молокомъ и съ медомъ.. Хотите?

*) МТС — Машинно-Тракторная Станція

Отъ этой комнаты и отъ этой женщины вѣяло тепломъ и уютомъ, какого я давно уже не испытывалъ. Вѣяло до м о м ѣ . А у кого въ Россіи есть сейчасъ домъ?

Ольга Тимофеевна начала хлопотать по хозяйственной части, перекидываясь со мною фразами о Москвѣ и о музыкѣ. Оказалось, что она пианистка, — но инструмента, конечно, нѣтъ... И оказалось, что, кромѣ того, она и врачъ. Этотъ послѣдній фактъ сообщенъ мнѣ былъ подъ величайшимъ секретомъ: если узнаютъ, что она — врачъ, ее «мобилизуютъ», будутъ давать фунтъ хлѣба въ день и полтора рубля въ мѣсяцъ, за каковыя, полтора рубля, купить вообще ничего нельзя, а въ деревнѣ — тѣмъ болѣе. Словомъ — врачебная работа означала бы голодъ. Правда, помимо домашняго хозяйства, Ольга Тимофеевна работала и въ больницѣ. Но, такъ сказать, полулегально, подъ сурдинку, какъ выразилась она.

Поговорили о положеніи совѣтской медицины вообще и сельской въ частности. Поговорили о Москвѣ. И докторъ и его жена оказались старыми москвичами, но пока что предпочитаютъ отсиживаться здѣсь, въ глуши... Однако меня интересовали не московскія, а колхозныя тѣмъ — въ преломленіи мѣстныхъ условий и съ точки зрѣнія мѣстной интеллигенціи.

Когда чай былъ выпитъ, докторъ покосился-покосился на мои папиросы и потомъ вздохнулъ.

— Дайте, ужъ закурю...

— Не нужно, Федя, выкуришь нѣсколько папиросъ, а потомъ нѣсколько дней будешь мучиться, — тянуть будетъ.

— Судьба, — философически сказала докторъ. — И. Л. уѣдетъ, и моя пагубная страсть погаснетъ за отсутствіемъ питательной среды... Я, собственно говоря, — обратился онъ ко мнѣ, — курить бросилъ просто потому, что курить нечего. Только изрѣдка кое-что перехватишь, а потомъ неделями сидишь безъ курева. Проще — сразу бросить... Но папиросы у васъ, кажется, хорошия — соблазнъ...

Докторъ, жмурясь отъ удовольствія, основательно затянулъ и сказалъ:

— А, хорошо!.. Такъ вы, значить, хотите информацию о нашемъ колхозѣ? Ладно. Я вамъ прочту цѣлую лекцію...

Я усѣлся поудобнѣе. Ольга Тимофеевна махнула рукой и встала.

— Я ужъ лучше уйду. Не могу я его колхозныхъ разговоровъ слышать. У Феда какія-то астрономическія точки зрѣнія.. Словно вѣсь не живые люди, а такъ, абстракція кака-то

- - Обыкновенная, врачебная, точка зрѣнія. Я ставлю діаг-

нозь. А это ужъ дѣло не мое — завѣщаніе, похороны и все такое. Я констатирую факты.

— Факты, — сказалъ я, — имѣютъ то занятное свойство, что каждый констатируетъ ихъ по своему...

— Въ общественныхъ наукахъ — да. Въ естественныхъ наукахъ — нѣтъ. Я не политикъ и не экономистъ. Я — врачъ. Такъ вотъ, — съ точки зрѣнія врача... Съ точки зрѣнія врача — тотъ элементъ, который нынѣ называется кулацкимъ — это просто наиболее сильный физически, наиболее работоспособный элементъ деревни. Слѣдовательно, борьба противъ «кулачества» объективно ведетъ прежде всего къ снижению биологическаго уровня населенія. Я не знаю точно, — какъ въ другихъ районахъ. Въ нашемъ — эта борьба приняла довольно своеобразныя формы. Очень много парадоксальнаго... Нашъ районъ — онъ въ сторонѣ отъ желѣзной дороги и коллективизація подобралась къ нему не въ первую очередь. Нашъ районъ на основаніи опыта сосѣдей смогъ заблаговременно убѣдиться въ томъ, что коллективизація предпринята совсѣмъ всерьезъ и что власть ни передъ какими «затратами» не остановится. И вотъ — въ колхозы пошли прежде всего «кулаки». Лидеромъ этого движенія у насъ былъ нѣкто Касьяновъ. Замѣчательный мужикъ... Государственнаго ума мужикъ... Вотъ подъ его-то руководствомъ кулаки сложили все свое добро и заявили: мы-де стоимъ на платформѣ всѣми четырьмя ногами, мы-де съ милою душою, въ ногу съ властью, — ну и все такое. Не принять ихъ по тѣмъ временамъ было нельзя. Приняли. Бѣдняки же въ колхозъ не пошли вовсе. Причины? А вотъ какія причины: бѣдняка власть не грабила, бѣднякъ чувствовалъ себя въ безопасности, бѣднякъ былъ, такъ сказать, опорой рабоче-крестьянской «смычки. Зачѣмъ ему въ колхозный хомутъ влѣзать?.. Кулакъ боялся и за свое имущество и за свою жизнь. И, наконецъ, кулакъ ясно видѣлъ, что и его коня, и его землю, и его молотилку у него все равно рано или поздно отберутъ. Если отберутъ въ чужія руки — пропасть конь. А если войти въ колхозъ со своимъ конемъ? Мало ли что будетъ дальше. Колхозъ лопнетъ, а конь останется. Вотъ такъ и создались колхозы перваго призыва — кулацкіе колхозы. — Теперь — слѣдующій этапъ колхознаго производства: во-первыхъ, изъ области прислали предсѣдателей почти исключительно такихъ, знаете, «безусыхъ энтузіастовъ», индустриальной породы. Изъ тѣхъ, кто рѣпу отъ молотилки не отличить... Прислали планы. Колхозы упирались — и отъ предсѣдателей — вы представляете себѣ, что можетъ натворить вотъ этакій энтузіастъ, съ неограниченными полно-

мочіями. Ну, и отъ плановъ... Словомъ, эта «кулацкая верхушка», болѣе или менѣе спаянная, какъ-то ухитрилась вопреки всѣмъ планамъ какъ-то пахать и кое-что и припрятывать для себя. Затѣмъ коллективизация или неколлективизация, — а хлѣбъ-то государству нуженъ Съ кого его брать? Кулаковъ, единоличниковъ, «твердозаданцевъ» почти не осталось. Съ бѣдноты много не возьмешь... Она привыкла, чтобы государство ее подкармливало. Следовательно, начали выколачивать изъ колхозовъ и это при томъ условіи, что сельскохозяйственный уровень деревни отъ этихъ плановъ, энтузіастовъ и неразберихи снизился примѣрно раза въ два-три, а хлѣбозаготовительные планы остались тѣми же. Въ колхозахъ поднялся вой Бѣднота — инѣколхозная — ходила и поискивалась... А въ колхозахъ начались возстанія. Стали усмирять. Усмиривши, стали раскулачивать колхозы: кулаковъ высылали за то, что они пролѣзли въ колхозы, бѣдноту, за то, что она не лѣзла въ колхозы. Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ двухъ, даже меньше, кулацкій элементъ былъ ликвидированъ «какъ классъ». Что это означаетъ? Ставка на бѣдняка, которая власть держала на государственномъ иждивеніи все время ЦЭКа — это значитъ ставка на наименѣе производительные элементы деревни. Ликвидация кулака — это означаетъ ликвидацию наиболее производительнаго элемента деревни. А все это вмѣстѣ взятое — установленъ уровень хозяйственной техники — примѣрно — примѣрно на высотѣ удѣльнаго періода Руси. И при очень невеселыхъ перспективахъ на будущее. Видите-ли. Уничтожены не только наиболее цѣнные работники, — уничтожена наиболее цѣнные производители... Теперь прибавьте къ этому непрерывное паденіе національной биологій въ результатѣ почти непрекращающейся голодовки, небывалаго нервного напряжения, вѣчной тревоги и вѣчнаго страха

— А какъ же съ приростомъ населенія?

— А, статистика — презрительно ухмыльнулся докторъ. — Приростъ населенія? Не знаю... Можетъ быть — въ Соловкахъ... Или въ Сибири. Но у насъ? Вздоръ! Здѣсь, конечно, вымирание и опустошеніе. Да, конечно, были и голодные смерти, въ особенности весной. Хотя, въ сущности, это не тѣ голодные смерти, когда человекъ умираетъ отъ голода въ буквальномъ смыслѣ. Нѣтъ, въ большинствѣ — явленія истощенія организма проявляются въ цѣломъ рядѣ побочныхъ заболѣваний, которыя и даютъ роковую исходъ. И гдѣ, кто роится за эти годы — плохіе жильцы на этомъ свѣтѣ Ла... Я, какъ видите, смотрю на вещи весьма пессимистически... Это, конечно,

не значить, что я долженъ оставить свой постъ. Если мы не всегда можемъ исцѣлять — мы все же можемъ утѣшать.

— Ходь мыслей у васъ не очень утѣшительнень...

— Васъ я утѣшать и не собираюсь. Вогу ванъ Шубейко — тотъ нуждается въ утѣшеніи

— Боюсь, что я его сегодня не очень утѣло утѣшала. А за что собственно его подстрѣлили?

— Законченно-стандартная исторія власть и население. Впрочемъ съ тѣмъ только уклоненіемъ отъ стандарта, что Шубейко мотался, колебался, нелюмѣвалъ и собирался смыватьсь. Просилъ у меня медицинское свидѣтельство. Не успѣлъ. А занятый парень ванъ Шубейко. Если такихъ много — можетъ быть мой пессимизмъ и не очень оправданъ. И вогу рядомъ съ нимъ лежитъ деревенскій парнишка.

— Это тотъ, кому Шубейко такъ протатебно шоколаду оставилъ.

— Оставилъ? Вогу какъ? Гуъ? Совсѣмъ не банально.

— Миѣ кажется, что Шубейко знаетъ, кто его подстрѣдилъ...

Докторъ посмотрѣлъ на меня испытующе и также не безъ нѣкотораго полдорвѣнія.

— Вы думаете? Впрочемъ — можетъ быть. Но вѣдь мы съ вами не слѣдователи. Во всякомъ случаѣ — не я.

— Могу васъ увѣрить, что и не я.

— Да, но ванъ братъ журналистъ — народъ любопытный. Я ванъ любопытство кое-чѣмъ другимъ подразно. — Докторъ всталъ, порылся въ ящикѣ стола и протянулъ миѣ странный предметъ. Это была деревянная палочка, толщиной въ палець, съ грубо откованнымъ же лѣзвиемъ лантообразнымъ наконечникомъ. Я вертѣлъ таинственный предметъ въ пальцахъ и ни за что прирѣзняюсеся въ жизни онъ похожъ не быть

— Арбалетная стрѣла, — сказала докторъ

Таинственный предметъ сразу получилъ явленіе остроты. Дѣйствительно — стрѣла. Съ такимъ наконечникомъ, какъ у самоцѣдныхъ стрѣлъ, предназначенныхъ для метельской охоты. Я вопрошенно посмотрѣлъ на доктора

— Сурьезное оружіе. Эту я изъ одного чекана вынулъ. Кожухъ, газоберенный суставъ, погость малата газа и газовая кость — все къ чорту.

— Пучерь?

— Я думаю. Этакой штуки и метель не выстрѣлитъ. А арбалетъ, если интересуетесь, можете посмотреть у шайтаняго

начальника милиции. Разыскиваютъ владѣльца — арбалетъ нашли закопаннымъ въ лѣсу. Сейчасъ такими штуковинами орудуютъ вместо обрѣзовъ. Огнестрѣльнаго оружія нѣтъ почти вовсе, едва-ли уцѣляли двѣ-три помполки на весь районъ. А это — безумно и изъ мѣстныхъ матеріаловъ.

Эта сирѣла дѣйствовала на воображеніе

— Да, — сказала докторъ — Это — и симптомъ и симптомъ... Какіе-же прогнозы? Какъ бы вамъ сказать. Вѣдь я — не политикъ — поскольку въ наше время можно не быть политикомъ. Самое скверное въ томъ, что борьба пошла на истощеніе, на изморъ. Сильный организмъ — но и очень вирulentная инфекция. Нуженъ какой-то толчокъ извнѣ. Если будутъ займы ..

— Они были, — сказала я.

— Да, но недостаточные, да и тѣ разбазарены. Если будутъ займы

— , которые не будутъ разбазарены?

— Не перебивайте. тогда можетъ наступить переломъ въ сторону коммунизма. Если будетъ война, — коммунизмъ допнетъ, сторитъ въ возстаніяхъ. Если будетъ европейская война — калибра мировой — думаю, что дѣло кончится мировой революціей и тогда, конечно, мы ограбимъ Европу до нитки и какъ-то выдѣземъ. Въ сильно погрѣпанномъ видѣ, но выдѣземъ. А при статусъ кво — борьба на истощеніе. Конечно, — все очень трудно предусмотрѣть. Кто могъ предусмотрѣть возвращеніе самострѣла? Кто скажетъ, что будетъ дѣлать деревня? Сейчасъ она принялась какъ запятый звѣрь. Орыздается обрѣзками, самострѣлами, топорами. А что она сдѣлаетъ завтра? Темна вода во облацѣхъ, — вздохнуть докторъ — Но, конечно, если отвлечься отъ научнаго объективизма, то — докторъ передергивать плечами, точно въ ознобѣ, — получается, чортъ знаетъ, что получается

Отъ Тимофеевна вошла въ комнату

— Что, кончили вы ваши колхозные разговоры?

— Кончить ихъ невозможно. Но можно сдѣлать перемирие

— Вы знаете. И Я — обрзглась Отъ Тимофеевна къ мнѣ, — не могу я слушать этихъ разговоровъ. И не хочу я думать обо всѣхъ этихъ делахъ. Еще хорошо, что хоть за козлами можно обо всемъ этомъ забыть ..

— Чисто женская точка зрѣнія, — сказала докторъ

— Женская, — возмущенно обернулась Отъ Тимофеевна. Женская? Очень хороший мужской мѣръ устроили вы на этой землѣ, господа мужчины. Замѣчательно устроили. И вамъ

сейчасъ постель приготовлю, И. Л., вы, конечно, у насъ переночуете.

Но послѣ ночи, проведенной въ теплушкѣ, по кожѣ моей ползали всякія подозрѣнія. Я категорически отказался.

— Куда же вы пойдете? Уже ночь на дворѣ.

— Здѣсь у насъ такой порядокъ, — пояснилъ докторъ, — что, во-первыхъ, запрещается выходить на улицу послѣ сумерокъ, — ну на это вы, конечно, можете и наплевать, и, во-вторыхъ, — если вы пойдете, — васъ могутъ подстрѣлить, — ча что вамъ, вѣроятно, не наплевать...

Но я остался непреклоненъ.

— Ну, тогда я васъ провожу, — сказала докторъ — Надѣну бѣлый халатъ. Тогда не тронуть: такъ сказать, краснокрестная форма.

Мы пошли. Деревня была словно вымершей. Дырявыя оконницы избъ позаткнулись тряпками. Кое-гдѣ мелькалъ огонекъ лучины — въ просторѣчии именуемой «прожекторомъ Сталина» — въ pendant къ пресловутой «лампочкѣ Ильича». Тихо. Ни пѣсень, ни голосовъ, ни дая. Деревня пригаилась, дѣйствительно, какъ загнанный звѣрь; плотно прилегла въ нищету своего логовища и мнѣ чудилось, какъ изъ каждой подворотни за мною слѣдятъ воспаленные взгляды чьихъ-то настроженныхъ, полныхъ смертельной ненависти глазъ. Когда я поворачивался, глаза эти закрывались, чтобы я не увидѣлъ ихъ голоднаго блеска. Я шелъ дальше и глаза снова неотступно слѣдили за каждымъ моимъ шагомъ...

Мы подошли къ крыльцу никитинской избы. Докторъ попрощался и ушелъ. Я постучалъ въ дверь. Внутри поднялась какая-то встревоженная суетня, потомъ къ двери подошелъ кто-то и голосъ Никитина рѣзко спросилъ: «кто тамъ». Я объяснить. Заминка и молчаніе. Шаги ушли назадъ. Опять какая-то возня и заглушенные голоса. Потомъ двери раскрылись. Въ нихъ стоялъ Никитинъ и еще какой-то человекъ — оба съ револьверами въ рукахъ. Увидавъ, что я одинъ, они успокоенно, но весьма неохотно впустили меня въ избу.

Въ избѣ горѣла тусклая копилочка, за столомъ сидѣтъ кто-то третій, и въ воздухѣ явственно послышался бойкій ароматъ сивухи. Это значило, что я поѣшалъ выпивкѣ — мало простительный грѣхъ. Нужно было какъ-то изворачиваться.

Въ мѣру своихъ убогихъ спеническихъ дарованій я немедленно принялъ видъ рубахи-парня, «своего парня въ тоску». Услѣху этого нехитраго мѣропріятія способствовало то обстоя-

тельство, что во всякую свою экскурсію въ «низовку» я обязательно бралъ съ собою два-три литра чистаго торгсннскаго спирта. Противъ такого оружія не могла устоять никакая административная душа. Спиртъ же хранился во флягахъ въ рюкзакаѣ, а рюкзакъ былъ оборудованъ специальными приспособленіями — стальная цѣпочка и замокъ — противъ активистскихъ обысковъ: какъ только оставишь рюкзакъ въ какомъ-нибудь сельсовѣтѣ, то всякій, имѣющій хоть на полкопѣйки власти, неукоинительно полѣзеть обыскивать его. Спиртъ произвелъ сенсацию — сивуха уже пріѣхала. Вогь почему засталась за дружеской и нѣсколько односторонне откровенной бесѣдой.

Кромѣ меня и Никитина здѣсь было еще двое. Низенькій, широкоплечій, съ угреватыхъ щипотъ Кучерявенко — председатель сельсовѣта, и высокій стройный малый съ колной бѣлокурыхъ яолось — Чижовъ, счетоводъ колхоза. Бли мы яичницу съ саломъ, конечно, изъ ворованныхъ яицъ и на ворованномъ салѣ (изъ фонда заготовокъ и контрабанды). Говорили о всякихъ нешахъ, въ томъ числѣ, конечно, и о Москвѣ, которая изъ такой дыры кажется чѣмъ-то весьма близкимъ къ земному раю.

— Да, — сказала Кучерявенко — Имѣ тамъ хорошо — въ Москвѣ. Въ театрѣ ходятъ, декреты пишутъ. А мы здѣсь эти декреты своими кишками проводимъ. Сволочи. Вотъ, посылаютъ на село, а смотрите, что делаютъ.

Кучерявенко вытащила изъ кобуры огромный, неистоваго калибра револьверъ, не менѣе, какъ столѣтній.

— Вотъ смотрите — и патроновъ не достать, и попробуйте курокъ взвести. Тутъ нужно пальцами подковы ломать, чтобы съ такой хрѣвиной справиться. Пока взведешь — тебя пять разъ ухлопаютъ. Нѣтъ, ежели шельмъ человекъ на село, такъ ты дай ему оружіе, чтобы по всей формѣ. Всадил, сволочи, на эту погибель. Тутъ кулакъ на кулакѣ сидитъ.

— Въ печенкахъ у тебя этотъ кулакъ сидитъ, — сказала Чижовъ. — А больше нигдѣ его нѣту.

— Оппортунистъ ты, суйнишь сытъ. — сказалъ Никитинъ, — смотри, братъ, тонграешься.

— Никакой я не оппортунистъ. Вообще наоборотъ. Я вамъ прямо скажу, товарищъ, — обратился онъ ко мнѣ конфиденціально — все это вообще неправильно съдѣлано. Разъ порядокъ — такъ порядокъ. Разъ коллективизация — такъ коллективизация. Чтобы мужику ни туда, ни сюда. Чтобы сразу все по плану — никакихъ единоличниковъ, никакихъ приусадб-

ныхъ участковъ, чтобы планъ на всю область: тутъ картошку съять, тутъ овесъ, тамъ свиней разводить, тамъ — курь, чтобы специализация производства. Какой у насъ планъ быть! -- Все какъ на арифмометръ!.. А то что получается? Самъ чортъ ногу сломятъ... Одинъ мужикъ илеть въ колхозъ, другого револьверомъ гонять, третьяго — въ Сибирь шлютъ Развѣ это — планъ? А возьмите приусадебные участки На колхозные работы — такъ мужика и револьверомъ не выгоняешь. А почему? Потому у него своя земля есть, хоть въ портянку, а есть. Тутъ то онъ и копаеця, какъ китаецъ, прямо. Книжки покупаеця. Кости отъ падали собираеця, въ муку мелеть, свою портянку посыпаеця... А выгоняешь его на колхозный участокъ -- такъ онъ тебѣ такое наворотитъ, что потомъ десять бригадъ ни хрѣна не разберутъ. Пошлютъ съять, -- такъ онъ зерно въ тряпочку, да подъ борозду. Ночью выкопаеця и съѣсть А потомъ — поле: было засѣяно? Было засѣяно. А что выросло? Ни хрѣна не выросло. Вотъ тебѣ и посѣвной планъ.

— Ну, а трудовни, — наивничая я.

— Трудодни? — свирѣпо переспросилъ Чижовъ. -- Въ печенкахъ у насъ эти трудовни, какъ кулаки у Кучерявенко. Вотъ это самая язва и есть. Вы только посмотрите...

Кучка трудовыхъ книжекъ валялась на полу. Чижовъ нагнулся и захватилъ ихъ цѣлую горсть. Это были истреланные, замусоленные мужицкимъ потомъ и мужицкими руками грошевыя тетрадочки изъ какого-то бумажнаго «утильсырья» (бумажный голодъ!). Въ нихъ корявыми мужицкими пальцами были нацарапаны всяческіе «коэффициенты», — неразборчивыя, разлѣзавшіяся, полустертыя карандашныя записи.

— А у насъ такихъ больше тысячи. Теперь смотрите: на каждый день нужно отмѣтить: квалификація работы по специальности, количество работы, качество выполнения, срокъ выполнения, штрафы, огрѣхи, опозданія и все такое. А кто заполняетъ? Бригадиръ заполняють. Тутъ на каждую книжку глабуха нужно поставить. Да какого? Со столѣтнимъ стажемъ. А ну, подсчитайте, сколько кому придется трудовдней и сколько придется на трудовдень! Когда мы сами ни хрѣна не знаемъ — ни сколько посѣяно, ни какъ посѣяно, ни сколько государство возьметъ... А тутъ тебѣ и зерно, и мясопоставки, и дорожныя повинности, и шерсть, и утильсырье, и яйца — цѣлый универмагъ. Я вамъ, товаришь, вѣрно говорю. Я бухгалтеръ — специалистъ. Я въ Воронежѣ три года учился да пять лѣтъ на бухгалтерской работѣ былъ. Я если дуракъ, такъ извините, не глупѣе другихъ — вотъ вродѣ этого Никитина.

— Не грепись, Сашка, — примирительно сказала Никитинъ, — что ты специалистъ по всему району, такъ объ этомъ никто не говоритъ. Только уклонись ты... Критикань...

— Ахъ ты, сукинъ ты сынъ, — взвѣлся Чижовъ, — ужъ ты бы молчалъ... Вотъ — сорвемся теперь къ чортовой матери, такъ кого за зебры возьмутъ? Тебя? Такъ ты сейчасъ же: это, товарищи, не я, я парень рабочей, я парень партійный, я вотъ тутъ у меня специалистъ сидитъ, — какъ онъ все подсчитываетъ, — какъ этого специалиста за ж. и въ конвертъ. Я тебѣ, какъ специалистъ, и говорю при такихъ порядкахъ не то что одного счетовода на цѣлый колхозъ, а около каждого мужика по цѣлой канцеляріи посадить нужно. Дураки вы съ Кучерявенко и больше ничего. Вамъ только ходить съ пушками по хатамъ, да въ Сибирь высылать. А ежели вотъ эта ячница — какъ кто ее долженъ по книгамъ списать? А ну спиши ты. Я посмотрю на тебя, какой ты красивый потомъ будешь... А вотъ ты съ этой бумажной фабрикой разберись, — Чижовъ ткнулъ рукой въ кучу трудовых книжекъ. — Подохнешь...

Кучерявенко степенно вытянулъ полстакана разведеннаго спирта.

— Вотъ чудакъ ты человекъ, Чижовъ, вотъ чудакъ. И чего ты паникерствуешь? Я вотъ три года по колхозамъ работаю и ничего — не подошь. Вчера вотъ получилъ анкетный листъ отъ промкооперации. Двѣсти двадцать пять вопросовъ. Сколько сусликовъ, и какого пола. Сколько коней дохнетъ и сколько собакъ. И сколько мужики кожъ выдѣлываютъ и какихъ. Ну и все такое. Дай тебѣ такую анкету — такъ ты въ два счета подохнешь. А мы — хоть я на бухгалтерію не обучался — мы разъ плюнуть...

— И за двадцать разъ не плюнешь ..

— Плюну. Уже плюнулъ. Я это все вчера и раздраконилъ: сусликовъ 1927, изъ нихъ мужскаго пола — 722, женскаго — 9872; кони дохнутъ, какъ полагается, по семь съ четвертью въ день; кожъ выдѣлывается: бараньихъ — 176, ослиныхъ — 89, до выдѣлки дурацкихъ кожъ пролетаріатъ нашего колхоза еще не додумался...

Никитинъ снова примирительно вздохнулъ. Онъ уже и на табуреткѣ сидѣлъ не очень увѣренно.

— Тебѣ, Кучерявенко, хорошо. Кто твою статистику и всякую тамъ промхерацію провѣрять будетъ. У тебя главное — потолокъ. Посмотрѣлъ на потолокъ — и сразу видно, и сколько родилось и сколько померло, и насчетъ сусликовъ. А у насъ — вотъ соберемъ колхозное собраніе — такъ тутъ за кажлый трудодень каждая баба такой хай подыметъ И Чижо-

ву въ морду своей книжкой тыкать будеть... Шесни-ка мнѣ, Чижокъ, еще полбаночки... А потомъ дадимъ авансомъ по полфунта на трудодень. На хлѣбпоставки, — смотришь, и ни хрѣна... А потомъ ходи по хатамъ и отбирай эти самые полфунта. Отберешь — зарѣжугъ. Не отберешь — посадятъ.. Кулаки тутъ, брать, зубастые. Вотъ и крутись тутъ...

— Ничего, докрутятся, — мрачно сказалъ Чижовъ

— Ну и паникеры же вы, ребята. И крутятся тутъ нечего. Тутъ первое дѣло — покрутился — смывайся дальше, кати въ другой колхозъ. Прикатили. А кто тутъ до меня хозяйствовалъ? Чижовъ? Тутъ и катая рапортъ: отиѣчена полная безхозяйственность, недооцѣнка государственныхъ интересовъ. Которая отчетность — такъ ни уха ни рыла.. Разбуханіе присадебныхъ участковъ. Словомъ, чтобы видно было: вотъ это работники, то-есть, значить, я. А Чижовъ на мое мѣсто прикатить. А кто тутъ раньше залузыривалъ? А, Кучерявенко? Катая Кучерявенко и въ хвостъ и въ гриву, и по коню и по оглоблямъ: безхозяйственность.. отчетность.. засоренность чуждымъ элементомъ. Главное дѣло — не сиди на мѣстѣ..

— Текучесть кадровъ? — переспросилъ я.

— Еще бы не текучесть. Отъ такой жизни — въ соплю расстечешься. Главное — не засиживаться. Ничего, я то не заслужу... А пока вотъ сидишь — будькнемъ еще по одной. — Ты, Чижовъ, какъ специалистъ, набулькай еще по малости.

Чижовъ началъ булькать. Въ дверь раздался рѣзкій повелительный стукъ. Чижовъ поблѣднѣлъ, прекратилъ свое бульканье.

— И кого это чортъ несетъ?

На минуту за нашимъ столомъ вонарилась растерянность. Потомъ бутылки, стаканы и остатки яичницы стремительно били позапиханы подъ столъ. Никитинъ нетвердой походкой, вынимая на ходу свой наганъ, направился къ двери. Кучерявенко съ усиленіемъ сталъ взвотить свой пресююутый курокъ. Курокъ со ржавымъ скрипомъ заскочилъ на мѣсто.

— Кто тамъ?

— Да открой, мать твою... Не узнаешь, что ли? .

Лицо Чижова поблѣднѣло еще больше.

-- Начникъ *) сосѣдняго района.. Чего бы ему.. Ночью .

Я понялъ безпокойство Чижова. Сосѣдній начальникъ могъ означать внимательство высшей власти: аресты деревенскихъ

*) Начальникъ милиціи

«головокъ» производятся всегда не мѣстной, а сосѣдней милицией, — чтобы свои своихъ не покрывали...

Раздались звуки открываемыхъ запоровъ. Въ комнату размашистымъ шагомъ вошелъ высокій человекъ, въ кавалерійской шинели, съ револьверомъ и какой-то очень ужъ экзотической кривой саблей. На головѣ была милицiйская фуражка. Онъ былъ одинъ. Значить — не съ арестомъ.

Вошедшiй втянулъ въ себя едико возможно спиртного духа и сказалъ «ну-ну». Потомъ, глядя исподлобья на меня, фѣзко спросилъ:

— А эго у васъ кто?

— Свой парень, — успокоительно сказалъ Кучерявенко — Изъ Москвы.

— Гмъ, свой парень? — подозрительно переспросилъ начмилъ. — Ну, свой, не свой, вы ужъ, товарищъ, не обижайтесь, а документики-то ваши покажите

— Да пошелъ ты ко всѣмъ чертямъ, — сказала Кучерявенко. — Говорять тебѣ — свой. И опять же ты не въ своемъ районѣ. Такъ и не распоряжайся тутъ.

— Что это значить, не въ своемъ районѣ? Разъ я начмилъ — такъ я вездѣ начмилъ. Пожалуйста-ка ваши документики, товарищъ, — настойчиво обратился онъ ко мнѣ.

Я полѣзъ въ карманъ за «документиками». Чижовъ тѣмъ временемъ извлекъ изъ-подъ стола бутылку и стаканъ.

— Вотъ тебѣ, братъ, документикъ Московскiй, центральный. Ты только понюхай...

По молодцеватой физиономiи начмила промелькнула борьба чувства и долга.

— А это что?

— А ты попробуй.

— Гмъ, — сказалъ начмилъ

Чижовъ уже успѣлъ налить подстакана. Документы мои уже лежали на столѣ. Рука начмила колебалась, куда наллегить ей протянуться: къ документамъ или къ стакану. Стаканъ одолѣлъ. Начмилъ покровительственно кивнулъ всей компанiи и опрокинулъ стаканъ въ глотку. Затѣмъ на лицѣ его отразился приблизительно такой комплексъ: вопросъ, восхищенiе и перерывъ въ дыханiи: спиртъ бытъ разведенъ грацусовъ на 70, а начмилъ глотнулъ, исходя изъ сорокаградуснаго расчета. Глаза начмила полѣзли на лобъ.

— Вотъ это — да, — сказалъ начмилъ, откашлявшись. — Откуда выкопали?

— Товарищъ привезъ. Изъ правительственнаго распредѣлителя, — не моргнувъ глазомъ, сымпровизировалъ Чижовъ.

— Ударный шансъ, — сказалъ начмилъ. — А закусить есть? — Чижовъ досталъ остатки яичницы.

— Очень здорово подучается, — сказалъ начмилъ, вдумчиво и со вкусомъ допивая стаканъ. — Ударный шансъ. Спрячьте ваши документики, а то измажутся... Шансъ, можно сказать, — въ порядкѣ боевого задания. Еще осталось?

— Хватить, чтобы пѣшкомъ не дойти...

Публика вполне успокоилась и разѣлась на свои мѣста. Начмилъ выпилъ еще порцію, оттеръ ладонью ротъ и съ многозначительнымъ видомъ осмотрѣлъ всю компанію.

— Такъ парень, говорите, свой?

— Въ доску, — сказалъ Кучерявенко.

— Партейный?

— Еще бы, — снова сымпровизировалъ Чижовъ.

— Ну такъ вотъ, ребята. Такое значить дѣло. Угробили Федосевича.

— Вотъ такъ, мать твою... — сказалъ Кучерявенко.

— Кто такой Федосевичъ? — спросилъ я.

— Предсельсовѣта. Въ хатѣ. Сквозь окно бабахнули. Голова — въ дымъ.

— Однако, у васъ и пострѣливаютъ, — спросилъ я.

— Это да, — не безъ нѣкоторой гордости сказалъ начмилъ. — Какъ на турецкой перестрѣлкѣ. Тоже, дуракъ, свѣтъ важегъ, а окна не завѣсилъ. Ну и въ дымъ. Теперь дѣло вотъ какое. Есть слѣдъ на вашего Касьянова, не иначе, какъ онъ.

— А когда убили?

— Сегодня подъ ночь.

— Касьянычъ отпадаетъ, — сказалъ Кучерявенко. — Я съ нимъ въ МТС ѣздилъ.

— А тебя кто будетъ спрашивать — ѣздилъ или не ѣздилъ? Заткнись.

— Какой смыслъ Касьянову чужого предсельсовѣта хлопать? — спросилъ я.

— А это марксистически просто: Касьянычъ ухлопаетъ нашего, какой-нибудь изъ нашихъ кулачковъ ухлопаетъ Кучерявенко. На кооперативныхъ началахъ. Рука руку моетъ.

— Нѣтъ, — сказалъ Никитинъ. — Касьянова еще рано. Онъ у насъ на конскомъ дѣлѣ стоитъ. Спецъ, сукинъ сынъ. А кони на учетѣ въ области. Нельзя.

— Что ты, брагъ, кулачковъ своихъ прикрываешь... А?

— Иди ты къ хрѣну, — отвѣтилъ Никитинъ. — Ничего я

не прикрываю. Только я — хозяйственникъ. Тебѣ все равно, ко-го къ стѣнкѣ ставить. А мнѣ не все равно. Тутъ у насъ Ваши-ловы есть. Вредная сволочь.

— Сколько семьи?

— Семь человекъ. Сволочил. Старикъ у нихъ есть, Кузь-ма — главный гутъ мутило... Я имъ докладъ объ агропомощи дѣлалъ. Такъ онъ и выскочилъ: я, говорить, по сто пудовъ съ десятины сымалъ, когда нашъ предсѣдатель еще изъ носа въ ротъ сопли пушалъ. Авторитетъ подрываетъ, сволочь.

— Ну, такъ и ладно, — сказалъ начмилъ. — Вотъ его мы къ стѣнкѣ и поставимъ. А семью — къ чертямъ. И весь разгово-ръ. Заметано?

— Замечано, — сказалъ Никитинъ. — Вредная сволочь... Ну ка, Чижовъ, распредѣли дальше.

Чижовъ сталъ «распредѣлять».

— Возможно, что этотъ Вавилонъ никакого отношенія къ убійству и не имѣеть, — равнодушно сказала я.

— А кто ихъ гутъ разбереть. Тутъ на каждое село нужно по десять угрозисковъ поставить, чтобы разобратъся. Хрѣнь съ ними. И одинъ — кулакъ, и другой — кулакъ. Одно сѣмя.

Логика начмила была убійственна. Но изъ своего арсенала я извлекъ оружіе, уже нѣсколько разъ испробованное, и на-чалъ обходнымъ маневромъ

— Чижовъ, тамъ, по-моему, еще селедки есть. А ну, давай-те еще подъ селедочку хлопнемъ.

— Селедка! — восторженно сказалъ начмилъ. — Вотъ это — да. Прямо, какъ въ торгсицѣ живемъ. Вали, братъ, селедоч-ку. Забылъ, съ котораго хвоста она кусается...

Добыли селедочку. Хлопнули. Никитинская чаша уже переполнилась, и онъ смиренно улегся подъ столъ. Кучерявенко дремалъ. Чижовъ былъ блѣденъ отъ сивухи, отъ спирта, — можетъ быть и еще кое отъ чего. Онъ мелькомъ посмотрѣлъ на меня какимъ-то умоляющимъ взоромъ, словно хотѣлъ сказать: «ну, Москва, вывози»...

Еще хлопнули. Даже я, при всемъ моемъ иммунитетѣ въ спиртной области, чувствовалъ, что — хватить. Но начмилъ пришелъ сравнительно поздно и еще горѣлъ энтузіазмомъ. Пришлось хлопнуть еще. Чижовъ совершилъ маленькій рейдъ въ рижскомъ направленіи и больше не пилъ... Разговоръ шель о томъ, какая и гдѣ есть водка и какой гдѣ гонять самогонъ. Но я зналъ, что, рано или поздно, разговоръ пойдетъ о Москвѣ и тутъ-то я начмила и подцѣплю.

Начмилъ опрокинулъ въ свою глотку очередную баночку,

благосклонно закурилъ мою папиросу — въ качествѣ, такъ сказать, антракта — и, наконецъ, спросилъ.

— Ну, а въ Москвѣ, товарищъ, что слышно? Въ нашей красной столицѣ?

— Поворотъ, — сказала я.

Начмилъ безпокойно обернулся ко мнѣ.

— Какой поворотъ? Куда поворотъ?

Я слѣлалъ неопредѣленный зигзагообразный жестъ.

— Вообще — поворотъ. Революціонная законность. Льготы крестьянству. Ну, конечно, низовой аппаратъ чистить будутъ — какъ это всегда въ такихъ случаяхъ дѣлается...

— А по какой линіи чистить будутъ?

— Совѣтскій аппаратъ — по линіи укрѣпленія революціонной законности. Колхозный — за укрѣпленіе хозяйственнаго аппарата. Соблюденіе законныхъ интересовъ крестьянскихъ массъ...

— Охъ ты, елки зеленая. Что-жъ объ этомъ загодя не пишутъ?

— Ну, что вы, товарищъ! Развѣ можно политическія директивы такъ пускать? Развѣ о колхозной торговлѣ загодя писали?

— За колхозную торговлю никого на Соловки не перли.

— Положимъ — перли. За законность, конечно, попрутъ больше. Теперь, видимо, больше насчетъ администрированія будутъ загибать. И, говорятъ, крѣпко завинтятъ... По центральнымъ газетамъ уже предварительная директива есть — выяснять отступленія отъ революціонной законности, административные загибы — ну и все такое.

— А вы, товарищъ, отъ центральныхъ газетъ?

— Да.

— Ну-ну... На нашей шеѣ всѣ эти повороты... Такъ повернуть, что... Ну, а какъ это все конкретно?..

— Не могу, товарищъ. Директива еще идетъ въ секретномъ порядкѣ...

— Вишь, ты... Да вѣдь мы тутъ люди свои...

— Не могу, товарищъ. Сами знаете — дисциплина. Вы же человекъ партійный — сами должны понимать...

Начмилъ загрустить.

— Да — хрѣновое наше дѣло... Можно сказать и съ фронта и съ тылу. Ну, хлопнемъ еще.

Хлопнули. Начмилъ былъ очень задумчивъ. Я чувствовала, что Вавиловы на нѣкоторое время, вѣроятно не очень длительное, спасены. Больше ни о чемъ говорить было не нужно. Бутылки были пусты. Я положилъ подъ голову рюкзака и улегся

на полу. Начмилъ заснулъ за столомъ, положивъ свою многодумную голову въ лужу разлитой водки и застывшихъ пятень сала.

Черезъ нѣсколько минутъ вся мѣстная власть храпѣла во всѣ свои пролетарскія носовыя завертки...

**

Хилое осеннее утро съ трудомъ пробивается сквозь запла-танныя окна. Мѣстная власть еще похрапываетъ. Воздухъ — хоть топоръ вѣшай. Я выхожу на крылечко. Деревня только что просыпается. И мимо проходятъ крестьяне, окидывая меня взглядомъ, въ которомъ я читаю — «зотъ еще одну сволочь принесло на нашу гибель»... Скрипятъ журавли. Я достаю тотъ отчетъ, который мнѣ вчера всунулъ Никитинъ.

Скучно... Во-первыхъ, даже моему, привыкшему ко всякимъ рабкоровскимъ почеркамъ, глазу трудно разобрать его безграмотную мазию. Во-вторыхъ, зная: а) не очень опредѣленные размѣры земельныхъ угодій колхоза — сегодня участокъ отберутъ, завтра прирѣжутъ, б) не очень устойчивое число рабочихъ рукъ — однѣ вымираютъ, другихъ высылаютъ, третьи откуда то примазываются, в) количество скота, которое уменьшается съ каждой недѣлей, — зная это, всѣ остальные цифры я могъ бы написать, никуда не выѣжая изъ Москвы. Кучерявецко списывалъ ихъ съ потолка, Чижовъ высасывалъ изъ плана, изъ труднижекъ и изъ пальцевъ, — хитрая статистика. И на хитрую бригаду рассчитанная... Впрочемъ, что этакой бригадѣ до цифръ? Она приѣзжаетъ слегка и начальственно побужить, проявить активность, а паче всего набивать свои голодающіе животы ворованной яичницей на ворованномъ салѣ. Чижовъ зря вчера хвастался насчетъ техники списыванія этихъ ящъ. Каждая бригада хочетъ по силѣ возможности отъѣстись, каждая бригада знаетъ, что въ мірѣ существуетъ не она одна, и что всѣмъ нужно пожевать. Такъ что — списывать всѣ эти яйца — не такъ ужъ и хитро...

Я начинаю бродить по деревнѣ. Однѣ хаты заколочены, другія — заваливаются. За околицей строятся зданіе «молочно-товарной фермы», никому въ мірѣ не нужной; и такъ большаа половина уцѣлѣвшихъ деревенскихъ хлѣбовъ стоитъ порожнякомъ. Зато — «стройка»... Отъ мужиковъ, какъ это бываетъ вездѣ, ничего толкомъ не добьешься. Бабы болѣе откровенны, но изъ нихъ кромѣ «холеры» и прочихъ соответствующихъ междометій — тоже ничего не выжмешь.

Встрѣчаю Никитина. Физиономія у него распухла и на ней

написаны: похмелье, головная боль и беспокойство по поводу моего «обследования»: как никак «центральная печать», — это не какая-нибудь легкая кавалерия.

— Ну как вы нашли, товарищ Солоневичъ, — говорит онъ беззаботнымъ и чуть-чуть заискивающимъ тономъ.

— Такъ, знаете, въ общемъ ничего... Конечно, особенныхъ достижений нѣтъ, но колхозъ все же стоитъ прочно.

Никитинъ смотритъ на меня недоверчиво: охъ и заливаешь ты, сукинъ сынъ, не иначе, какъ свинью подложить хочешь...

Я усмѣхаюсь...

— Видите ли, товарищ Никитинъ Люди мы свои.. Дѣло въ томъ, что кабакъ-то вездѣ. Въ одномъ колхозѣ немножко больше, въ другомъ — меньше. У васъ — меньше Съ зерно-поставками вы, конечно, не справитесь — такъ съ ними никто и не справляется Ничего страшнаго.

Никитинъ вздыхаетъ облегченно

— Очень труднѣе, товарищ... Мы тутъ какую директиву стараемся проработывать. Только ужъ болѣло много ихъ, снѣгопадъ. Такъ что иногда не то что проработать, а и прочитать не успѣешь...

Я прошу Никитина снарядить мнѣ подводку къ станціи.

— Это — сію минуточку. У васъ тутъ породистые кони есть. Сейчасъ будетъ.

Изъ Никитинской избы вываливается начмилъ. Лицо у него мрачно и распухло. Запухшими глазками онъ всматривается въ меня и видимо старается вспомнить — что я, и кто я, и о чемъ вчера разговоръ шелъ. Мнѣ нѣтъ никакого расчета, чтобы онъ воспылялъ вчерашнимъ милицейскимъ рвѣніемъ и сталъ ковыряться въ моихъ документахъ.

— А, встали? — говорю я, — выкидывайте-ка вашихъ ребятъ сюда. Хочу заснять васъ.

— Какъ, на фотографію?

— Да, на фотографію. Для «Нашей Газеты» — знаете, органъ ЦК союза.

— Знаю, знаю, какъ же! — Распухшее лицо расплывается въ улыбку. Фотографіи — это вообще рѣдкость, вѣроятно и въ Воронежѣ ни одной пластинки не купишь развѣ что по «бронѣ». А тутъ еще перспектива попасть въ газету. Черезъ минуты двѣ-три вся правительственная бачка выстраивается у крыльца, поправляя свои дохмы и дѣлая административныя лица. На лбахъ должно быть написано все сознание важности реконструктивнаго періода, дѣловая озабоченность и пролетарская бдительность. Все это написано.. Я шелкаю и обѣщаю

отпечатокъ прислать; такія обѣщанія я выполняю всегда: мало ли гдѣ и какъ придется встрѣтиться..

Изъ-за угла показывается телѣжка Начмиль, помаявшись, отводитъ меня въ сторону.

— Вы, товарищъ, насчетъ выпивки ужъ извините.

— Да что вы, — перебиваю я, — что вы, ей Богу, дурака валяете. Какъ говорится, пей да тѣло разумѣй. Мы, коммунисты, въ трезвенники не лѣземъ. Конечно, — не пужно, чтобы массы..

— Нѣтъ -- это у насъ потихоньку..

— Ну и великолѣпно!

Начмиль снова мнется.

— И еще вотъ, товарищъ, насчетъ вчерашняго разговору.. Поворотъ этотъ самый. Ужъ вы, по товарищески, скажите, какъ это выглянуть..

Я лѣлаю выть: и хочется и колется..

— Вы ужъ, товарищъ, не безпокойтесь. Честное пролетарское слово, никому ни гу-гу..

— Вотъ что товарищъ начмиль.. Говорить я не имѣю права. Принимаеете сами. Но вотъ что я вамъ посоветую. Такъ, просто по товарищески: полегче на поворотахъ. Мѣсяца черезъ полтора все будетъ ясно, сами увидите. А пока — знаете..

— Да, да, конечно. Ну, большое вамъ спасибо. Теперь, оно конечно, — на поворотахъ..

Потѣхла телѣжка. Въ оглобляхъ тѣйствительно породистый крупный жеребень. На телѣжкѣ сидитъ Касьянычъ — тотъ самый, о которомъ вчера рѣчь шла два раза. Касьянычъ смотритъ на меня произносящее и угрюмо.

— Ну, савись, что-тъ, подемъ.

— Что же ты, сунуть сынъ, сына товарищу не подложилъ. Въль тринатъ верстъ ѣхать.

— Сына у насъ, не то что товарищамъ, а и конюшъ не хватаетъ.

— Ахъ ты чортъ. Ну, я сейчасъ..

Начмиль выринулъ въ Пикитинскую избу и вымарнулъ съ тулупомъ Кучерявенки.

— Вотъ на это савитесь. Такъ будетъ мяче.

— Слушай, — запротестовалъ было Кучерявенко * а мнѣ по району ѣхать.

— Ничего, не полохнись. Ну, прощайте, товарищъ Соколовичъ. Заглядывайте еще..

Телѣжка тронулась..

**

Я мелькомъ оглядѣлъ Касьяныча Могучія плечи, истощенное лицо. Единственный глазъ дѣйствительно «на сажени сквозь землю видитъ». Я вспомнилъ слова доктора «государственного ума мужикъ». Да, этотъ похоже, что «государственного ума». По тому, какъ онъ быстро общупалъ меня своимъ единственнымъ глазомъ, я почувствовалъ, что этотъ, пожалуй, сможетъ докопаться до того, до чего не только активисты, а и докторъ не докопался. Но Касьянычъ никакого влиятельнаго вниманія ко мнѣ больше не проявилъ. Кажется, что вопросъ о моемъ «соціальному положеніи» его вовсе не интересоваго: мало ли какую обследовательную рвань возилъ онъ туда и сюда. Но меня-то Касьянычъ интересовалъ. И не только изъ празднаго любопытства.

Выѣхали за околицу. Я досталъ папиросы и протянуть коробку Касьянычу. Касьянычъ полѣзъ въ нее своими чуткими пальцами. Я сталъ чиркать спичку за спичкой Спички, будущи совѣтскими, но не экспортными, конечно, не зажигались.

— Этакъ всю коробку спалишь. Погоди

Касьянычъ досталъ кремень и огниво.

— Да, папироска, можно сказать, царскаго времени. Легка только. Нашему брату — махорки бы... Да вотъ — не то-стать...

Докуривъ папиросу, Касьянычъ внимательно посмотрѣлъ на ея мушкетку и прочелъ: Северная Паль-ми-ра. Что это? Никакъ совѣтскія? Безъ ятя-пишется...

— Совѣтскія.

— Ишь ты. И папиросы дѣлать научились. Такъ поитьтеъ — лѣтъ черезъ сотъ пять и землю пахать научатся.

— А теперь не умѣютъ?

Касьянычъ пожалъ плечами.

— А ты возьми глаза въ руки Кривош. погляди.

Глядѣть, въ сущности, было не на что. Знакомая картина. Тянулись жидкія жнива. Сквозь нихъ, несмотря на осень, пробивались могучія заросли бурьяна. Не разобрать, то ли это гавно заброшенный пустырь, то ли колхозное поле.

— Научились, — саркастически сказалъ Касьянычъ. — Э такъ научатся... Держи карманъ шире, да брюхо подтягивай. — Онъ поподчалъ. — А самъ то откуда будешь? Изъ Воронежа?

— Нѣтъ, изъ Москвы

— Ревизовать пріѣхалъ. Или инструктировать?

— Нѣтъ, по писательской части.

Касьянычъ замолчалъ угрюмо и неодобрительно.

— А ты слыхалъ, Касьянычъ, тутъ вашего сосѣдняго предколхоза убили.

— Федосевича? Слыхалъ, разговоръ такой былъ. Только не знаю — правда ли...

— Правда... — Помолчали.

— А Вавиловыхъ ты знаешь?

— Вавиловыхъ, переспросилъ Касьянычъ совершенно равнодушнымъ тономъ, только руки его какъ-то тревожно ждали вожжи, — Вавиловыхъ? Какъ же не знать. Знаю...

Мы опять помолчали. Потомъ Касьянычъ спокойно заерзалъ:

— Что-то заднее колесо хлябаетъ.

Соскочилъ съ телѣжки и нагнулся къ заднему колесу.

— Такъ и есть, вотъ сволочи, прости Господи... Чуть не догядишь — и вотъ тебѣ: чеки нѣту. Не доѣдемъ мы съ тобой до станціи. Вотъ оказія. И чѣмъ бы тутъ заткнуть, замѣсто чеки? — Касьянычъ поковырялся въ телѣжкѣ, но ничего тамъ не нашель.

— Придется, братъ ты мой, на хуторокъ тутъ одинъ сбѣгать... Недалече. А ты тутъ посиди — чего коня зря гонять. Да и чеки нѣту, колесо свалится. Вотъ такъ оказія, мать твою...

Я съ полнымъ равнодушіемъ посмотрѣлъ на Касьяныча.

— Ну, что-жъ. Если надо — шпарь... Только если ты это насчетъ Вавиловыхъ, такъ пока не стойтъ...

Я внимательно смотрѣлъ на Касьяныча, но въ его лицѣ не дрогнулъ ни одинъ мускулъ. Онъ весь казался погруженнымъ въ размышленія насчетъ чеки. Потомъ онъ медленно поднялъ свой единственный глазъ и такого глаза, пронизывающаго и проникающаго, я ни въ одной чрезвычайкѣ еще не видалъ. Касьянычъ неторопливо вынулъ изъ кармана ту самую чеку, которую онъ минуту тому назадъ вытащилъ изъ оси, легко, какъ коробку, приподнялъ одной рукой телѣжку (вмѣстѣ со мною), подправилъ колесо, вставилъ чеку. Телѣжка снова покатилаь...

— Ежели я тебя спрошу, что ты за человекъ такой, такъ вѣдь ты мнѣ все равно не скажешь... Значить, и спрашивать нечего, — вполнѣ послѣдовательно заключилъ Касьянычъ. — Означе, чего бы тебѣ врать насчетъ Вавиловыхъ. Такъ, значить, — не къ сроку?..

— Не къ сроку. А черезъ недѣльку-двѣ пусть смываются.. Да и ты не заснивайся...

— Н-да, — сказала Касьянычъ, — вотъ тебѣ и жизнь. — Берсть десять мы флами модча. Я думалъ объ этихъ засоренныхъ, опустошенныхъ степяхъ, постепенно возвращающихся «въ первобытное состояніе», объ активистскихъ печемѣгахъ, рыскающихъ съ наганами и высматривающихъ мужицкое добро и мужицкія спины, о вымирающей мужицкой смѣль. Касьянычъ, вѣроятно, думалъ о томъ же, можетъ быть только въ другихъ образахъ и терминахъ.

— Такъ, говорясь, писатель? — прервала наше молчаніе Касьянычъ. — Россію описываешь?

— Описываю...

— Ну, описывай, описывай. Погоравливайся, только. Еще лѣтъ этакъ десятокъ — и описывать нечего будетъ...

— Что-жъ? Всѣ перемрутъ?

— И очень просто. Ты вотъ посмотри — вонъ тамъ пригорокѣ. Помѣщикъ тамъ стоялъ. Ну, отъ экономіи, самъ видишь, ни кола ни двора. А это поле эвонное было. Хлѣба во какіе стояли. Сто двадцать-сто пятьдесятъ пудовъ съ десятины брали... Ну, потомъ хуторяне развелись. И отъ хуторовъ — ни кола ни двора. И отъ хуторянъ — тоже. Сады разводили. И урожай были... А теперь погляди — развѣ это поле? Гдѣ пятнадцать пудовъ сняли, гдѣ пять, а гдѣ и вовсе ничего.

— Какъ — ничего?

— А такъ. Ничего — и конченъ разговоръ. Сверхранный сѣвъ, мать ихъ... Къ веснѣ мужики уже траву изъ-подъ сѣва выкапывали и фли. А въ сѣвъ этотъ тыщи двѣ зерна ухлопали. Подъ револьверами сѣяли... Представленіе, да и только... Идетъ мужикъ по бороздѣ — бригадами все сѣяли, въ шеренгу — а зерно изъ кошеля да въ ротъ. А начальство: а ну, что у тебя во ртѣ, сукинъ сынъ, а ну, открой ротъ... Земля мерзлая, не заброновать, такъ и пропало зерно: что галки поклевали, а что такъ замокло... Двѣ тыщи пудовъ... Мать твою... А весной народъ уже подъ метелку дохъ. Я потомъ къ нашему агроному, на МТС. Что ты говорю, сукинъ сынъ, надумалъ. Ты, говорю, вредитель, контръ-революціонеръ, къ стѣнкѣ тебя. Ты, говорю, у мужиковъ здѣшнихъ спроси, когда сѣять и когда жать... Ну онъ мнѣ въ носъ бумажку изъ района: проести, дескать, сверхранный сѣвъ на четыреста десятинъ, въ порядкѣ боевого задания, подъ личную отвѣтственность... Ну и провели. Думаешь, помогло? Не помогло. Вышелъ еще приказъ — салатъ сѣять, случая имъ салатъ, когда хлѣба нѣту, подъ салатъ землю надо уваживать. А навозу-то у насъ и такъ, какъ котъ заплакалъ--- скотина передохла... Которую и такъ — порѣзали. Ну отъ са-

дата нашъ агрономъ какъ-то тамъ сткручивался, такъ его за жабры и въ подвалъ. Только его и видѣли...

Мы пробѣжали мимо пригорочка. Дѣйствительно — и отъ экономіи и отъ хутора — ни кола ни двора.

— Такъ вотъ ты подумай: быть, значитъ, помѣшикъ. Лютомъ хуторяне развелись. Потомъ хуторянь выперли, коммуку каку-то съ развели. Набрали дармоѣдовъ, кормили, поили, мануфактуру давали. Лопнула и коммуна. Конскій совхозъ, заводъ то-есть, завели. Со всей губерніи, гдѣ породистые кони были, всѣхъ сюда пособирали тутъ и я съ годъ времени работала. Нагнали коней, а кормовъ нѣту. Передохли, почитай, всѣ кони, вотъ только что въ моей конюшнѣ остались, самъ ужъ выходилъ. Теперь земля, вишь, совсѣмъ пустая стоитъ, глиня, — Касьянычъ обвелъ кнутомъ широкій полукругъ. — Нашему колхозу предлагали: милостивыи .. А чѣмъ пахать будемъ. Тракторами твоими...

— Почему мои?

— А чья-же они? Вотъ они, ролименькіе, стоятъ — сейчасъ въдемъ... Стань тутъ МТС-овскій стоялъ. . Вотъ погляди...

Десятка два тракторовъ стояли подъ разрушеннымъ соломеннымъ навѣсомъ. «Ихъ много дожди, засыпаютъ ихъ пылю». Проржавленные бока открыты всѣмъ непогодамъ...

— Ты подумай, сколько тутъ денегъ-то убухано . Стоятъ, роциные, стоятъ. Все имъ чего-то не хватаетъ. То частей, то свѣчей, то горючаго, то чортъ его знаетъ чего еще... День работаютъ, мѣсяць постоятъ... Да.. А съ мужика послѣднее дерутъ, шкуру сьмаютъ, заводы тракторные строятъ. Тутъ студенты изъ Москвы прѣѣзжали. Говорили, что главный контръ-революціонеръ, главный вредитель — самый Сталинъ-то и есть. Онъ дескать специально такъ и гнетъ. Ну, можетъ и врутъ... Однако, если подумать, такъ похоже .

Мы снова помолчали...

— Да, — сказалъ Касьянычъ глухо. — Пропала наша Рассейюшка... Пропалъ мужикъ—пропала и Рассаи. Развѣ-жъ можно такъ мужика зорить. Это какъ изъ коня хребетъ вынуть — одна конина и останется... Вотъ ты, говоринь, писатель. Такъ ты имо мужика, братъ, напиши. Чтобы мужику работать давали. Чтобы рукъ не вязали.. Ты мнѣ, братъ, работай дай, — тутъ голосъ Касьяныча оживился, — ты мнѣ работай дай, такъ и я буду сытъ, и ты будешь сытъ, и Москву накормлю, и заграничному пролетарію хлѣба останется. А такъ — что? Связали мужика, отработал, поставили натъ нимъ хулиановъ съ революерами — и ни имъ хлѣба, ни намъ хлѣба — никому . Нѣтъ,

ты, братъ, про это напиши... А то, что? Читаешь газету — съ души воротить... Ну, я знаю, и ты крѣпостнымъ стать, всего не напишешь... Знаю. А ты какъ-нибудь — сторонкой. Развѣ-жъ это жизнь?... Мужика разстрѣливаютъ, мужикъ кого попадая рѣжетъ... Вотъ этого нашего Шубейкова подстрѣлили. А что онъ? Дуракъ и болѣ ничего. Куриному Богу подпрапорщикъ... А вотъ пріѣхалъ, дуракъ, съ револьверомъ, командуетъ, людей къ стѣнкѣ ставить... Былъ бы онъ моимъ сыномъ, я бы ему салазки загнулъ бы. Спустилъ бы портки да всыпалъ бы, такъ онъ бы мнѣ не покомандовалъ. А такъ — что? Народу нагубилъ да и самъ на тотъ свѣтъ отправляется... Нѣтъ, ты напиши... Ты думаешь, зачѣмъ я тебѣ это говорю? Ты думаешь, я не знаю — можетъ ты изъ чеки какой, а что про Вавилова, такъ только такъ, для замороку глазъ. Такъ за мой съ тобой разговоры — меня да на тотъ свѣтъ... Ну, конечно, того свѣта я не очень, чтобъ боялся... Хуже этого не будетъ. А все-таки надѣя есть, можетъ доживу... Да... дожить бы... Я бы... посмотрѣлъ.

Голосъ Касьяныча вздрогнулъ безпредѣльной, сжатой подъ чудовишнымъ давленіемъ, смертельной ненавистью. Онъ понималъ, что этого показывать нельзя, и замолчалъ. Я подумалъ о томъ, что с м о т р ѣ т ь Касьянычъ не сталъ бы. Конечно, можетъ быть гласъ народа — гласъ Божій и судъ народа — тоже будетъ Божимъ судомъ... Однако при мысли о десяткахъ милліоновъ вотъ такихъ Касьянычей, которые когда-то будутъ, конечно, они будутъ, — творить свой судъ и свою правду, на душѣ стало нехорошо. Страшная это будетъ расправа... Едва ли мѣръ такую выдалъ... Пронеси, Господи...

Я протянулъ Касьянычу папиросы. Касьянычъ молча, дѣлая какія-то судорожныя глотательныя движенія, взялъ папиросу, досталъ опять свое огниво и, видимо, справившись съ собой, выкресалъ огонь и сказалъ спокойно.

— Такъ оно способнѣе. Сказываютъ, въ старое время люди и топоры изъ камня дѣлали. Вотъ такъ и мы скоро будемъ дѣлать... Эти совѣтскіе топоры — такъ они обь сосну ломаются. Н-да... А смываться куда-нибудь надо... Куда-нибудь на вольныя земли. Сказываютъ, въ Перми и въ Сибири такія земли есть...

Касьянычъ посмотрѣлъ на меня въ упоръ.

— Вотъ ты — образованный... Такъ ты мнѣ скажи: есть такія земли или зря люди говорятъ?..

Я прочелъ ему маленькую и весьма неопредѣленную лекцію преимущественно о пограничныхъ районахъ востока.

— Гмъ... Персія, говоришь... Асхабадъ (объ Асхабадѣ я, кстати, ничего не говорилъ). Знаю эти мѣста... Бываль. Только тогда Персія безъ никакого интересу была. Своя земля была, свое отечество было...

— А теперь отечества нѣту?

— Кому есть, а кому и нѣтъ. Мужичку ужъ лучше подь персомъ быть. Или подь японцемъ. Плохо, говоришь? Можетъ и плохо. А, знаешь, какъ ни плохо жить, а помирать все-таки еще хуже...

Я молчалъ. Мы подъѣзжали къ станціи. Нѣкто въ рваномъ, исполнявшій какія-то видимо весьма универсальныя обязанности на станціи, яростно огрызнулся на меня.

— Поѣздъ? Хрѣнь его знаетъ, когда будетъ поѣздъ. Опять крущеніе. Чтобъ ихъ... Насадил тутъ всякую сволоту на нашу шею. А потомъ — подь судъ иди... У-у... мать ихъ... Чтобъ ихъ всѣхъ всѣми холерами передушило...

Нѣкто въ рваномъ повернулся и ушелъ. И такъ, поѣздъ откладывался въ неопредѣленность. Ъхать назадъ, къ начмилу и иже съ ними?.. Я рѣшилъ остаться ночевать гдѣ-нибудь на станціи. — куда-нибудь приткнусь.

Я вернулся къ телѣжкѣ. Касьянычъ старательно вытиралъ коня клокомъ сѣна. Я досталъ червонецъ и протянулъ ему. Касьянычъ помоталъ бородой.

— Нѣтъ, это, братъ, ни къ чему. Не возьму я твоихъ денегъ... А за Вавилова — спасибо... Конечно, что Вавиловъ?.. Тутъ миллионы... А вотъ ты, ежели ты человекъ, какъ человекъ, напиши, братъ. Хоть стороночкой. Напиши. Чтобъ дохнуть дали. Вѣришь, какъ передъ Истиннымъ, — борода Касьяныча задрожала, — какъ передъ Истиннымъ — нѣту никакой мочи. Никакой... Напишешь?

Я сказалъ:

— Напишу...

Касьянычъ стремительно схватилъ мою руку своей шершавой чугунной ладонью и долго трясъ.

— Ну, смотри, братъ, напиши... Не обмани... Ужъ и такъ — обманывали, обманывали... — Голосъ Касьяныча прервался. Онъ круто повернулъ и отошелъ къ телѣжкѣ.

Я не обманулъ Касьяныча. Но для того, чтобы не обмануть его, мнѣ пришлось пройти черезъ годъ концентраціоннаго лагеря, полтораста верстъ карельской тайги и совѣтскую границу.

Вотъ я и пишу...

И. Солоневичъ.

Коммунизмъ Божественный *)

I.

Путь Августина, ѡхавшаго изъ Милана въ Римъ, въ 387 году, креститься, шедъ по дремуче-лѣснымъ холмамъ и долинамъ Умбрин, не минуя, вѣроятно, и той долины у подножья Ассизской горы, гдѣ въ глухомъ скиту Портіонкулъ (имя это, отъ двухъ латинскихъ словъ: *portio* и *cella terreni*, значигь «Кусочекъ», «Частица землѣ»), спасались, въ четырехъ бѣдныхъ, сплетенныхъ изъ древесныхъ вѣтвей, мазанныхъ глиной и крытыхъ соломой, хижинахъ-кельяхъ, четыре старца, посланныхъ изъ Св. Земли въ Италію, съ драгоценнымъ даромъ св. Кирилла папѣ Либерію — частью Святѣйшаго гроба Матери Божьей. Тутъ же, въ дремучемъ лѣсу, находилась и малая, шагговъ десять въ длину, семь въ ширину, почти такая же, какъ тѣ лѣсныя хижины, бѣдная церковка, гдѣ хранили старцы великую святыню.

Церковка эта, хотя и полуразвалившаяся, уцѣлѣла, такъ же, какъ имя скита, «Портіонкула», отъ дней Августина до дней Франциска, отстроеннаго ее своими руками заново. Жители окрестныхъ горъ и долинъ, простые, бѣдные люди, пастухи, дровосѣки и угольщики, вѣрили, что Ангелы, сходя въ нее съ неба, по ночамъ, поютъ, возвѣщая людямъ великую радость здѣсь, въ Портіонкулѣ, такую же, какъ тамъ, въ Виолеемѣ. «Вотъ почему дано той церкви имя: «Богоматерь Ангеловъ», — вспоминаегь легенда св. Франциска Ассизскаго. Въ долгую-долгую ночь царства, Ангелы пѣли и здѣсь, въ Портіонкулѣ, такъ же, какъ тамъ, въ Виолеемѣ, въ зимнюю ночь Рождества, возвѣщая людямъ солнце великой радости: тамъ, въ ясляхъ, на соломѣ, въ нищетѣ и наготѣ, родился Сынъ Божій; а здѣсь, въ такой-же наготѣ и нищетѣ, царство Божіе родится.

И то, что возвѣщали Ангелы, исполнилось: черезъ восемь вѣковъ, родился св. Францискъ, на Ассизской горѣ и основалъ

*) Изъ книги «Св. Францискъ Ассизскій».

въ долину у подножья горы, въ Портіонкулѣ, первую обитель Нишнихъ Братевъ, которой суждено было слѣлаться «главою и матерью» безчисленныхъ, разсыянныхъ по всему лицу христіанскаго міра, тамихъ-же обителей «Міста этого, братья, не покидайте никогда: свято оно!» -- скажетъ Франискъ, умирая.

Истинно, Господь присутствуетъ на мѣстѣ семъ .. Это не иное что, какъ Домъ Божій — Врата Небесныя, — могъ бы сказать Франискъ, видя, что здѣсь, въ церковкѣ Маріи Ангеловъ, исполнился древній сонъ Іакова:

лѣстница стоитъ на землѣ, а верхъ ея касается неба, и Ангелы Божіи восходятъ и нисходятъ на ней (Быт., 28, 12-17); Здѣсь же, въ Портіонкулѣ, исполнилось и слово Господне:

будете отнынѣ видѣть небо отверстымъ и Ангеловъ Божіихъ, восходящихъ и нисходящихъ къ Сыну Человѣческому (Ю., I, 50).

Если гора Блаженствъ, гдѣ было сказано: «блаженны нищіе», — первая, на землѣ, точка царства Божія, а вторая -- гора Хлѣбовъ, гдѣ слѣламы были нищіе блаженными, то третья точка — здѣсь, въ Портіонкулѣ, гдѣ это снова было сказано и слѣлано такъ, какъ нигдѣ, никогда, за двадцать вѣковъ христіанства.

Если бы зналъ Августинъ, что это будетъ; что отсюда, изъ этой «Частицы Земли», «Портіонкулы», — третьей на землѣ точки, — людямъ суждено, черезъ восемь вѣковъ, снова устремиться къ его, Августинову, «Граду Божію», то, можетъ быть, проѣжая Портіонкулу, онъ сошелъ бы съ коня, снялъ обувь съ ногъ своихъ, какъ Моисей, при Купинѣ, преклонилъ бы колѣна и поцѣловалъ, плача отъ радости, эту Святую Землю.

II.

«Утренней звѣздой» назоветъ св. Франиска легенда.

«Міру новое солнце здѣсь родилось», — скажетъ Данте.

Такъ же, какъ тамъ, въ Вилеемѣ, надъ яслями Бога Младенца, — путеводная звѣзда волхвовъ, засіяетъ и здѣсь, въ Портіонкулѣ, утренняя звѣзда Франиска, возвѣщая людямъ, послѣ долгой ночи — Варварства, солнце новаго дня — Возрожденія.

Первая вѣстница ночи, Звѣзда Вечерняя, — св. Августинъ; первая вѣстница дня, Утренняя Звѣзда, — св. Франискъ. Умирая въ лучахъ восходящаго солнца, играетъ она, переливается

всѣми цвѣтами радуги. Какъ бы играя, «съ пѣсню, умерь», — «пѣль, умирая», — скажетъ о Францискѣ легенда; можно бы сказать: «съ пѣсню жиль и умерь»; живя и умирая, пѣль, игралъ, какъ утренняя звѣзда въ лучахъ восходящаго солнца.

III.

Небо «Утренней Звѣзды», Франциска, — XIII-й вѣкъ.

Чтобы понять душу человѣка, надо войти въ душу времени, въ которое жиль человѣкъ. Но въ душу людей XIII-го вѣка очень трудно, почти невозможно, войти людямъ XX-го вѣка, потому что тѣ для этихъ, какъ обитатели нижней гемисферы, на старинныхъ географическихъ картахъ земного шара, — «антиподы», «люди, ходящіе внизъ головой»: все, что у тѣхъ, — «наоборотъ» всему, что у этихъ; потому что тѣ для этихъ, какъ тотъ «акробатъ», «жонглеръ» Парижской Богоматери, который хожденіемъ на головѣ передъ изваяніемъ Царицы Небесной такъ утѣшилъ ее и весь Ангельскій сонмъ, что, будучи великимъ грѣшникомъ, спасся.

Но обитателямъ верхней гемисферы, прежде, чѣмъ судить обитателей нижней, надо бы вспомнить, что «вверхъ» и «низъ», въ смыслѣ космическомъ и метафизическомъ, относительно, такъ что, если бы люди XIII-го вѣка могли увидѣть насъ, людей XX-го вѣка, то, можетъ быть, и мы показались бы имъ «ходящими внизъ головой», «безумствующими»; а кто дѣйствительно безумствуетъ, это еще вопросъ, на который мы уже отчасти отвѣтили такимъ безумнымъ дѣломъ, какого, во всякомъ случаѣ, не могло быть въ XIII-мъ вѣкѣ, — Великой Войной, и готовимся, можетъ быть, отвѣтить еще большимъ безумьемъ — будущей Войной.

Но, если бы мы поняли первое, сказанное людямъ, слово Господне: «обратитесь», на греческомъ языкѣ, *strafete*, что значитъ: «перевернитесь», «опрокиньтесь»; и другое, «незаписанное» слово Господне:

если вы не сдѣлаете... вашего верхняго нижнимъ, и нижняго — верхнимъ, то не войдете въ царство Мое;

если бы поняли и слово рабби Юзія Бенъ-Леви, Иудейскаго книжника время Иисуса: «царство Божіе есть опрокинутый чиръ»; если бы мы все это поняли, то, можетъ быть, узнали бы, что намъ нужно сдѣлать, чтобы войти въ душу людей XIII-го вѣка — увидѣть небо «Утренней Звѣзды» — Франциска.

IV.

Лучшіе люди тѣхъ дней, ученики св. Франциска, — «люди духа», какъ сами себя называютъ они, а лучшіе изъ лучшихъ могли бы назвать себя «людьми Духа Святого»; люди же XX-го вѣка, если не лучшіе, то и не худшіе, — «люди вещества», «матеріалисты», какъ тоже сами себя называютъ они, а худшихъ можно бы назвать «людьми Духа Нечистаго»: вотъ одинъ изъ двухъ очевиднѣйшихъ признаковъ нашей съ людьми XIII-го вѣка, «антиподности», «обратности», а другой, столь же очевидный, то, что въ планетно-круговомъ движеніи человечества по орбитѣ всемірной исторіи, крайняя точка приближенія къ солнцу — Христу, перигэлій, достигнута, послѣ двухъ первыхъ вѣковъ христіанства, въ XIII-мъ вѣкѣ, а точка отдаленія, такая же крайняя, апогэлій, — въ XX-мъ вѣкѣ.

Крайности сходятся: въ этихъ двухъ столь противоположныхъ вѣкахъ, двухъ полушарьяхъ земли, одинъ и тотъ же центръ земной притяженія, вокругъ котораго движемся, ходимъ мы, какъ намъ кажется «вверхъ головой», а люди XIII-го вѣка, «головою внизъ», — этотъ единый центръ—С о б с т в е н н о с т ь, какъ первый и послѣдній вопросъ: быть или не быть человечеству? Мы и они отвѣчаемъ на этотъ вопросъ, хотя и въ противоположнѣйшихъ смыслахъ, но съ одинаково-безповоротной рѣшимостью; разгадываемъ для насъ и для нихъ одинаково-роковую задачу: что такое Собственность, — высшее ли благо, или крайнее зло? утверженіе или отрицаніе человеческого общества и личности? нужно ли раздѣленіе на «мое» и «твое», или ненужно; «разумно», или «безумно», говоря на языкѣ XX-го вѣка, а на языкѣ XIII-го: «свято» или «грѣшно»? нужно ли «раздать все, что имѣешь, чтобы спастись», или ненужно; «блаженны ли нищіе, или несчастны», говоря опять-таки на томъ языкѣ, а на этомъ: «частная ли собственность или общая»? «капитализмъ» или «коммунизмъ»?

Смѣшивать два «коммунизма», — нашъ и XIII-го вѣка, — все равно, что смѣшивать невинную дѣвушку съ блудницей, дѣтскую улыбку св. Франциска — съ дряхлой усмѣшкой Ленина, утреннюю звѣзду — съ тускло-свѣтящей гнилушкой.

Но не случайно, конечно, основное понятіе, въ этихъ двухъ «коммунизмахъ», выражается однимъ и тѣмъ же словомъ «коммуна», «община», очень древнимъ, идущимъ отъ первой Апостольской Общины, а можетъ быть, и отъ самого ея божественнаго Основателя.

Всѣ же вѣрующіе имѣли все общее. И пролавали имѣние (свое) и всякую собственность, и раздѣляли всѣмъ (поравну), смотря по нуждѣ каждаго... Было же у нихъ одно сердце и одна душа (Д. А., 2, 44-45).

«Общее», во латыни *communis*, — вотъ какъ-будто одна и тотъ же центръ земного притяженія въ обоихъ противоположныхъ полушарьяхъ земли, — въ обоихъ вѣкахъ, XX-мъ и XIII-мъ; какъ будто одна движущая воля въ этихъ двухъ столь противоположныхъ «коммунизмахъ». Но, если бы мы поняли, что значитъ слово «вѣрующіе», въ томъ свѣдѣтельствѣ Дѣяній Апостоловъ «имѣли все общее», — то мы увидѣли бы, что нѣ этихъ двухъ «коммунизмахъ» — не одна, а двѣ воли, непримиримыя, какъ жизнь и смерть, какъ абсолютное «да» и абсолютное «нѣтъ». Воля, заключенная въ этомъ одномъ словѣ: «вѣрующіе», и есть тотъ Архимедовъ рычагъ, которымъ все «прокидывается», «переворачивается», такъ, что ходящій какъ будто «вверхъ головой» оказывается ходящимъ «головой внизъ», и наоборотъ, по слову рабби Йозіа Бенъ-Леви: «царство Божіе есть опрокинутый міръ».

Здѣсь-то, между двумя вѣками, — можетъ быть, уже не нашимъ и XIII-мъ, а нашимъ и какимъ-то будущимъ, — и совершается всемірный переворотъ, «всемірная революція», пошлшему, но совѣтъ не та, которой ждетъ коммунизмъ XX-го вѣка, а гораздо болѣе похожая на ту, которой ждалъ «коммунизмъ» XIII-го вѣка.

V.

Вся жизнь Града Божія будетъ общинной, *socialis*; «сливнымъ» владѣть, значитъ владѣть чужимъ; «общая собственность» — законъ божественный, частная — законъ человѣческій» вотъ путеводная нить, по которой идетъ св. Августинъ ко «Граду Божію», въ V-мъ вѣкѣ, а въ XIII-мъ, — почтять ее и пошелъ по ней дальше св. Францискъ.

Двухъ болѣе противоположныхъ свѣтыхъ, чѣмъ эти, трудно себѣ и представить. Что такое «восхищеніе», «экстазъ», Августинъ какъ будто вовсе не знаетъ, а Францискъ, можно сказать, ничего не знаетъ, кромѣ этого: Богъ для Августина — въ «разумѣ», а для Франциска — въ «безуміи»; тотъ распятъ на крестѣ мысли, а этотъ, — на крестѣ чувства. Только въ одномъ, — въ утвержденіи «противособственности», «общности имѣнія», — «блаженнаго нищенства», — сходятся оба. Къ свя-

лости начинаеть путь свой Августинъ раздичею бѣднымъ все-го, что имѣеть; такъ же начинаеть и Францискъ. Оба, загѣмъ, основываютъ «Братства нищихъ», строятъ для нихъ пустыньки, одинъ -- на «Частицѣ Земли», въ Тагастѣ, а другой — на такой же «Частицѣ», въ Нортюнкулѣ, и оба умирають «блаженными нищими».

Очень вѣроятно, что Францискъ звалъ пещникомъ больше объ Августинѣ, чѣмъ тотъ — о немъ; но въ одномъ движеніи Духа къ «Царству» — «Градѣ Божію», — въ разрѣшеніи того, что мы называемъ такъ влоско и недостаточно «соціальной проблемой», — у нихъ обоихъ, такъ же, какъ у первыхъ учениковъ Господнихъ, въ Апостольской Общинѣ, -- «одно сердце и одна душа».

VI.

«Я хочу, чтобы всѣ братья, не покладая рукъ, работали и заработокъ отдавали въ Общину -- Коммуну», скажеть Францискъ; то же какъ будто могъ бы сказать, замѣнивъ только слово «братья» словомъ «товарищи», честный коммунистъ нашихъ дней (если только есть коммунисты честные), и даже сказать какъ будто могъ бы то же, но, на самомъ дѣлѣ, совсѣмъ не то, и даже «антично-обратное» тому, что зѣсь говорить и дѣлаеть Францискъ: тотъ отнимаетъ у другихъ для себя, а этотъ -- у себя для другихъ; тотъ явно отрицаетъ чужую собственность и тайно утверждаетъ -- свою а зтотъ свою -- отрицаетъ и утверждаетъ -- чужью).

«Я не хочу воровать, а если бы я не огладъ того, что имѣю, бѣднѣйшему, то былъ бы воромъ», — отвѣчаетъ Францискъ одному изъ братьевъ, когда тотъ убѣждаетъ его не отдавать потуголому нищему послѣдней теплой одежды, въ зимній холодъ. «Я не хочу воровать», — это и значить «собственность есть воровство». Это говорить св. Францискъ; говорить и всѣ «блаженные нищие» тѣхъ дней, но опять-таки совсѣмъ, совсѣмъ не такъ, и даже обратно тому, какъ это будетъ икогда сказано.

«Будемъ грабить богатыхъ», -- говорятъ коммунисты сейчасъ, а тогда говорили «бѣдныхъ грабить не будемъ» -- «Воры вы!» — говорятъ бѣдные богатые сейчасъ, а тогда говорили богатые бѣднымъ: «мы -- воры!»

«Мы ничего не имѣемъ -- всѣмъ обладаемъ», -- могли бы сказать «блаженные нищие» тѣхъ дней, а нашихъ дней богачи

несчастные, въ томъ числѣ, и ограбившіе богачей, коммунисты, должны бы сказать: «всѣмъ обладаемъ — ничего не имѣемъ».

Всякому просящему у тебя давай, и отъ взявшаго у тебя не требуй назадъ (Лк., 7, 30).

«Этого сдѣлать нельзя», — говорятъ не только коммунисты, но и почти всѣ христіане нашихъ дней, или молча про себя думаютъ и дѣлаютъ; «этого нельзя не сдѣлать», — говорятъ «коммунисты» XIII-го вѣка, или тоже молча дѣлаютъ.

Равенство противъ свободы утверждаютъ коммунисты сейчасъ, а тогда утверждали свободу въ равенствѣ. «Будетъ общность труда, — будетъ и свобода», говоритъ Августинъ, и могли бы сказать «коммунисты» XIII-го вѣка; «будетъ рабство, — будетъ и общность труда», — могли бы сказать коммунисты нашихъ дней. Свободы, а значить, и личности, даже не отрицаютъ, не убиваютъ они, а просто не видятъ ихъ, проходятъ мимо нихъ, какъ мимо пустого мѣста; личности, можно сказать, только и видятъ «коммунисты» XIII-го вѣка, только и утверждаютъ личность въ обществѣ и общество — въ личности; одного — во всѣхъ, и всѣхъ — въ одномъ.

Надо ли говорить, какіе изъ этого различія слѣдуютъ необозримые выводы, вплоть до различія высшаго человѣческаго космоса отъ хаоса или, говоря на языкѣ Августина, — «Града Божія» отъ «Града Діавола»?

VII.

«Всякую зависть изгналъ онъ изъ сердца своего, кромѣ одной: видя бѣднѣйшаго, чѣмъ онъ, завидовалъ ему и, соперничая съ нимъ, боялся, какъ бы не быть побѣжденнымъ», — вспомнить о Францискѣ одинъ изъ его учениковъ.

Нашъ коммунизмъ — нищій Лазарь, который завидуетъ богачу, «пирующему каждый день блистательно», а «коммунизмъ» XIII-го вѣка — богачъ, который завидуетъ нищему Лазарю. Двигался міръ и тогда, какъ теперь, вѣчною завистью бѣдныхъ къ богатымъ, но къ ней прибавлялась тогда непостижимая для насъ, какъ будто противуестественная, зависть богатыхъ къ бѣднымъ: точно въ дѣйствіе земного притяженія вмѣшивалась сила притяженія какой-то иной планеты, нарушая законы нашей земной механики, — пусть только въ одной, почти геометрической, точкѣ, но вѣдь и этого достаточно, чтобы все на землѣ перевернуть вверхъ дномъ.

Этотъ противуестественной, какъ будто, завистью богатыхъ

къ бѣднымъ, великихъ — къ малымъ, «наименьшимъ», какъ назоветъ Францискъ учениковъ своихъ, «блаженныхъ нищихъ», — этою завистью одержимъ король Франціи, св. Людовикъ, «худенькій, тоненькій, какъ хворостинка, съ лицомъ ангельской прелести», вышедшій точно изъ легенды или раззолоченной заставки молитвенника, невозможный, какъ будто, въ исторіи, но вотъ, все же дѣйствительный. Только объ одномъ, кажется, и думаетъ онъ, — какъ бы, сойдя съ престола, сдѣлаться нищимъ; выронивъ скиптръ изъ руки, протянуть ее за милостыней.

Въ 1248 году, идучи въ Крестовый походъ, покидаетъ онъ великолѣпное шествіе вельможъ своихъ и рыцарей, сходитъ съ коня, снимаетъ доспѣхи и идетъ по дорогѣ, одинъ, «болѣе похожій на нишаго монаха, чѣмъ на рыцаря», — вспоминаетъ очевидецъ, тоже нишій монахъ. — «Гдѣ-то, на югѣ Франціи, зашелъ однажды король въ сельскую, бѣдную, немощеную церковку, сѣлъ на землѣ и сказалъ намъ такъ: «братья мои сладчайшіе, придите ко мнѣ, послушайте словъ моихъ!» И нишіе братья усѣлись вокругъ нишаго короля, чтобы послушать словъ его, должно быть, о «блаженствѣ нищихъ».

Странствуя такимъ же нишимъ паломникомъ по многимъ христіанскимъ землямъ, пришелъ онъ въ одну обитель у города Перуджинъ, гдѣ жилъ, по смерти св. Франциска, одинъ изъ его любимыхъ учениковъ, братъ Эгидій; постучался въ ворота и, когда вышелъ къ нему привратникъ, попросилъ его вызвать брата Эгидія. Тотъ, хотя и не зналъ, кто стоитъ у воротъ, и не могъ бы узнать короля, потому что никогда лица его не видѣлъ, тотчасъ же угадалъ сердцемъ, что это онъ; кинулся къ нему со всѣхъ ногъ изъ кельи, палъ передъ нимъ на колѣни, — палъ и король такъ же; молча обнялись они, поцѣловались, и разошлись молча. — «Какъ же не сказалъ ты ни слова такому гостю!» — укоряли Эгидія братья. — «Что-жъ говорить? — отвѣтилъ тотъ. — Когда мы обнимались молча, я увидѣлъ сердце его, и онъ — мое».

Въ этомъ безмолвномъ объятіи нишаго монаха съ нишимъ королемъ, — весь XIII-ый вѣкъ — свѣтлѣющее небо Угреньей Звѣзды — Франциска.

VIII.

Нишій король и папа, св. Целестинъ V, — тоже нишій; два «коммуниста», «противособственника», во имя Христа: одинъ, — во главѣ государства, другой, — во главѣ Церкви. Этого

одного, пожалуй, достаточно, чтобы измерить всю глубину переворота или, по-вашему, «революции», которая могла бы тогда совершиться, если бы не была остановлена чьим-то, может быть, не внутренним, в ней самой, а внешним, в косности мира.

Что на-верху, то и внизу. «Братства нищих» — Альбигойцы, Катары, Вальденцы, Пагарины, Бѣдники Лионскіе, Униженныя, и множество другихъ, до Франциска «Братства Меньшихъ», вмѣстѣ съ нимъ и послѣ него, — возникаютъ по всему христіанскому Западу, от Венгрии до Испаніи, самозарождаясь независимо другъ отъ друга, вспыхивая одновременно, какъ молнии, въ противоположныхъ концахъ неба, или языки пламени, въ разныхъ мѣстахъ загорающагося дома.

Воля у всѣхъ одна: жить, по образу Апостольской Общины, такъ, чтобы «никто ничего не называлъ своимъ, но все у всѣхъ было общее». Движущая сила и цѣль у всѣхъ одна: «противо-собственность», «общинность», по исполненной съ точностью (въ этомъ для нихъ главное), евангельской заповѣди:

если хочешь быть совершеннымъ... раздай нищимъ имѣніе твое... и слѣдуй за Мною (Мт., 19, 21).

Всѣ они (кроме Катаровъ, еретиковъ нераскаянныхъ, еще съ V-го вѣка) начинаютъ съ того, что идутъ въ Церковь, а кончаютъ тѣмъ, что бѣгутъ изъ Церкви, какъ изъ «мѣста нечистаго», гдѣ, по слову Данте, «каждый день продается Христость», и тысячами идутъ на костры Святейшей Инквизиціи, умирая почти такъ же свято, какъ христіанскіе мученики первыхъ вѣковъ, за будущую Церковь — «царство Нищихъ Святыхъ».

Въ ихъ-то крови и будетъ потушенъ великій пожаръ, едва не охватившій весь христіанскій Западъ, — то невообразимое для насъ, для чего нѣтъ словъ, кроме нашихъ, недостаточныхъ: «всемирная социальная революція».

Д. Мережковский.

Комментаріи

Одно из послѣднихъ, позднихъ и потому, кажется, основательныхъ впечатлѣній отъ Европы послѣ десятилѣтняго сидѣнія «на берегахъ семскихъ», есть ея... Ставлю многоточіе, не находя вѣрнаго слова. Можетъ быть, найдется оно потомъ.

Неуютность? Да, — но лишь при безошибочномъ ощущеніи отѣнка слово это приобретаетъ нужный смыслъ, а иначе получается чепуха, да еще съ позорнымъ мелко-обывательскимъ привкусомъ. Парижъ, вообще-то говоря, «уютнѣе» большинства русскихъ городовъ, и ужъ навѣрно уютнѣе Петербурга. Здѣсь есть чувство мѣры, чувство размѣровъ, которое тамъ потеряно, въ соответствии, правда, съ самой природой и будто подъ влияніемъ слишкомъ широкой для городского пейзажа, слишкомъ мощной и многоводной, какой-то океанской Невы. Петербургъ при сравненіи съ Парижемъ остается, конечно, только черновикомъ или наброскомъ города, но въ черновикѣ это что-то болѣе размашистое, грандіозное, съ тѣмъ налетомъ холодноватаго, бесполезнаго и чуть-чуть унылаго величья, котораго въ Парижѣ нѣтъ и въ поминѣ... Но обо всемъ этомъ — мимоходомъ. Къ слову пришлось, и само по себѣ интересно, — но не относится къ темѣ.

Неуютно и жутко въ Европѣ потому, что послѣ Россіи въ ней всякій человѣческій голосъ кажется «гласомъ вопіющаго въ пустынѣ». Опять оговорка: не въ смыслѣ какого-либо моральнаго очерствленія, не по чванливому сопоставленію съ нашимъ мнимымъ духовнымъ превосходствомъ, — совсѣмъ нѣтъ. Просто по густотѣ и сложности всякихъ культурныхъ и бытовыхъ сплетеній, по невозможности въ этой сгушающейся неразберихѣ что-то выдѣлать, или еще проще: потому, что здѣсь разрушена (а можетъ быть, по новому создается?) связь количества и качества. Въ Европѣ все меньше остается возможности для исторіи въ «илловайскомъ» значеніи слова, — потому что въ ней исчезаютъ объединяющіе факты. И невозможна

жизнь, къ которой привыкли мы въ Россіи — съ организованностью основныхъ впечатлѣній, общественныхъ и всякихъ иныхъ. Какъ бы «все течетъ».

Факты и явленія перестаютъ быть остовомъ расплзающихся жизненныхъ формъ, — ни одинъ изъ нихъ ничего не опредѣляетъ и даже не отмѣчаетъ. Жизнь несется мимо сознанія, не успѣвающаго не только понять ее, но даже разсмотрѣть... Въ Россіи мы жили какъ бы въ комнатѣ, въ квартирѣ, въ домѣ, въ помещеніи съ запертыми дверьми, куда нельзя было безъ звонка войти, гдѣ каждый пришелецъ обращалъ на себя вниманіе. Въ Россіи мы могли жить «задумчиво», еще не замыкаясь въ самихъ себя, — не затыкая ушей. Здѣсь люди очутились на выставкѣ, на митингѣ: все распахнуто, слышенъ только невнятный гулъ, въ которомъ тонуть отдѣльные голоса.

Вникая дальше приходится сказать, что Россія была, значитъ, еще провинціей по сравненію съ Европой — и мы, какъ провинціалы, сбиты съ толку столичной сутолокой. Опрометчиво было бы тутъ что-либо осуждать, потому что Россія шла и тянулась къ тому же, къ той же полифоніи бытія — и только не успѣла дойти. Да и морально осужденіе недопустимо, ибо нашъ сравнительный уютъ — т. е. одностенность, односторонность нашей культурной жизни — уходитъ корнями въ явковыя россійскія ограниченія, въ отталкиваніе и оттискиваніе основной толпы народа отъ «цѣнностей», которыя ему будто бы не по зубамъ (съ самыхъ верховъ — откровенно-цинично, но съ глубокимъ, животнымъ, инстинктомъ самосохраненія; пониже, изъ просвѣщенныхъ «круговъ» — лицемерно, во имя идеаловъ, которые будто бы только мы одни, въ силу особой нашей тонкости, и способны хранить, — чтобы со временемъ, но только со временемъ, передать имъ, бѣдняшкимъ, темненькимъ нашимъ братьямъ)... Если разъ навсегда отказаться отъ ограниченія правъ на то, что мы для себя считаемъ благомъ — какъ отъ дѣла, которому можно искать, но нельзя найти оправданія — общая путаница и вавилонское столпотвореніе становится неизбежны: вопросъ только во времени. Нашъ уютъ вовсе не былъ намъ данъ, какъ благодать. У насъ, надъ безмолвнымъ русскимъ океаномъ, культурный строй, будто-бы религиозно-одухотворенный (т. е. внутренне-цѣльный) держался только потому, что къ «храму» не пускали простой народъ, — «чтобы не потѣснить гуляющихъ господъ». Возвышенные помыслы о высококомъ значеніи «элиты» убаюкивали совѣсть.

Въ Россіи еще нельзя было говорить о распадѣ личности. Здѣсь же это такъ поразительно-очевидно, такъ неопосредованно,

и — что страшнѣ всего — такъ законно, въ смыслѣ исторической неизбежности, что отъ зрѣлища кружится голова... Основное, глубочайшее, конечно, — исчезновеніе или убыль христіанства, и роковая пустота «въ сердцахъ восторженныхъ когда-то». Но помимо этого: человекъ не выдерживаетъ пребыванія на выставкѣ, на митингѣ. Угончаясь, обостряясь, усложняясь въ каждую отдѣльную минуту, онъ раздробленъ на тысячи частицъ, онъ какъ-бы взвивается брызгами, клубится пылью по вѣтру — и не въ силахъ возстановить свое единство.

Такъ вотъ что, можетъ быть, значить: «о, если бъ знали, дѣти, вы, холодъ и мракъ грядущихъ дней».

Примѣръ.

Проповѣдь Толстого — очень важное явленіе въ духовной жизни Россіи, не только сама по себѣ, во внутренней и абсолютной своей цѣнности, но и какъ «факторъ» въ нашей исторіи. По существу, она и теперь такъ же важна, какъ и пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Отъ нея можно отмахнуться, но раздѣлаться съ ней не легко. «On mordra sur du granit», — хочется вспомнить наполеоновскія слова.

Однако эту несомнѣнную, подлинную важность уловить уже невозможно. Она уже не «доходитъ», будто порвались какіе-то провода. Ее только чувствуешь и сознаешь издалека, — но она бездѣйствительна.

Толстой проповѣдывалъ въ Россіи предвоенной, предкатастрофической, тихой и патріархально-провинціальной. Казалось, тишина водворилась навѣки. Нечего стало дѣлать, естественно было «подумать о душѣ». Ему страстно откликнулись современники — земскіе врачи, «интеллигенты», даже генералы, растерявшіе въ общей слякчѣ воинственность и безмятежно развѣтавшіеся по всякимъ управленіямъ и интендантствамъ. Россія слушала Толстого — онъ тавать ей выходъ, волненія, порывъ, тему.

Но сейчасъ выходовъ, волненій и темъ — хоть отбавляй. Тысячи возраженій, тысячи случаевъ, когда въ игру вошли совсѣмъ иные элементы... Человекъ оглушенъ. Надо бы снова стать земскимъ врачомъ, но мы уже не земскіе врачи, и намъ невозможно собрать распавшееся, воскресить былой душевный строй и стиль. Толстой превращается въ энидогу, только и всего. — а жизнь летитъ мимо, «безъ руки и безъ вѣтриль».

Искусственная, насильственная — и поэтому призрачная — цѣльность: фашизмъ, коммунизмъ и прочее.

Ничто не разрѣшено, ничто не устранено, — а сколько внутреннихъ уступокъ и жертвъ (и какое оскудѣніе!). Литература есть одно изъ немногихъ человѣческихъ дѣлъ, которыя ничуть, ни въ какой мѣрѣ, не нуждаются въ обольщеніяхъ, обманахъ, иллюзіяхъ. Поэтому, съ такой цѣльностью ей нечего дѣлать: она отъ нея бѣжитъ, — если не впала въ дѣтство.

Въ сторонѣ, задумавшись, она спрашиваетъ: увѣрены ли вы, что у васъ, въ разнообразныхъ вашихъ строительствахъ, дѣйствительно есть цѣль? Конечно, общество, которое какъ будто чего-то хочетъ и куда-то идетъ, всегда будетъ казаться богаче и творчески сильнѣе такого, которое ничего скопомъ не хочетъ и никуда не идетъ. Но можетъ ли общество имѣть одну волю? Должно ли «идти»? Не миражъ ли — общее дѣло, общая цѣль? Въ чемъ эта цѣль? Не снизу ли возникаетъ творчество, чтобы затѣмъ, въ единичныхъ случаяхъ, дорости до общаго пониманія и признанія во всей своей личной, неповторимой живой прихотливости — вмѣсто коллективнаго равненія по право-фланговому? И не окажется ли, въ концѣ концовъ, что болыне движенія было тамъ, гдѣ какъ будто бы все стояло на мѣстѣ, разлагаясь, «загнивая», — но по крайней мѣрѣ не играло въ трубу, жестокую и финально-безмысленную игру съ лучшими человѣческими надеждами?

Это все, можетъ быть, очень современно, органично, стихійно. Это увлекаетъ «массы», — не случайно же!

Но если говорить о творествѣ... оставьте творчество, господа. Товарищи, оставьте литературу. Да, вы можете создать увлекательные, даже блестящіе, «полнокровные» романы, описать, показать. Въ критическихъ разборахъ васъ будутъ хвалить, анализировать. Тилы недоработаны, что же касается языка, то языкъ образный, сочный..

Будемъ говорить серьезно: литература — не ваше дѣло. А если она у васъ какъ будто бы много даетъ, то лишь потому, что вы отъ нея мало требуете. Устроить такой «расцвѣтъ» право не трудно: но ни вы ей, ни она вамъ — не нужны. Литература возникаетъ въ «темномъ погребѣ личности», въ вопро-сительно-лирическихъ сомнѣніяхъ, въ тревогѣ, въ мученіяхъ, въ безотчетной любви — и ужъ, конечно, безъ барабанаго боя. Кто бы ни побѣдилъ въ житейской борьбѣ, ваша кни-

га рядомъ съ другой, настоящей книгой будетъ всегда глупа и груба, — и всегда найдется кто-нибудь, кто это пойметъ.

Вотъ — стихи:

Оставь меня. Мнѣ ложе стелеть скука.
Зачѣмъ мнѣ рай, которымъ грезять всѣ?
А если грязь и низость — только мука
Но гдѣ-то тамъ сіяющей красѣ?

.

Рифмы обыкновенныя. Образы тоже не Богъ въсть какіе оригинальные. Но послѣ этого, послѣ того, что человѣкъ нашелъ такіе звуки, дослушался до такой музыки, всѣ ваши типы и проблемы, ониминистическія полотна и идейно-насыщенные романы все, все — пустота, скука, ничтожество... Я едва не написалъ крѣпкое русское словечко, для печати не пригодное. Впрочемъ, Пушкины его любилъ.

И еще: это мы говоримъ вовсе не въ припадкѣ безнадежнаго, декадентски-хмѣльнаго восторга, съ готовностью тутъ же слать познній Цѣгъ — съ твердымъ сознаніемъ торжества, победы и бессмертія.

Было это въ серединѣ прошлаго вѣка.

Жила въ Лионѣ молодая и богатая женщина — мадамъ Гранье. Сохранился портретъ съ глубокіе темные глаза, улыбка, легкая фука въ браслетахъ, небрежно лежащая на спадающей съ плечь шали.. Почти красавица. Мадамъ Гранье считала себя счастливой: мужъ, двое маленькихъ дѣтей, любовь, спокойствіе, вѣрность. Но мужъ заболѣлъ ракомъ и умеръ, и за нимъ въ теченіе одной недѣли умерли и дѣти. Первой мыслью было — покончить съ собой. Но самоубійство отталкиваетъ натуры сильныя и чистыя. — и мадамъ Гранье рѣшила жить.

Не для себя, конечно: все «личное» было кончено, — а съ тѣмъ, чтобы кому-нибудь быть полезной. Деньги свои она роздала — и стала ухаживать за больными. Но больные большимъ рознь: мадамъ Гранье искала безнадежныхъ, одинокихъ, всѣми забытыхъ. Услышала она какъ-то про старуху, страдающую ракомъ лица — и пошла провѣдать ее. Въ поцвалѣ, на гнилой солодѣ тяжелъ «живой трупъ», издающей нестерпимое зловоніе. Ни глазъ, ни носа, ни зубовъ — сплюснутая кровотоочивая ра: на. Мадамъ Гранье промыла старухѣ лицо, кос-какъ о гѣла — и

привезла ее въ госпиталь. Врачи и сидѣлки отшатнулись, и не пожелали имѣть дѣло съ больной: никогда они такого ужаса не видѣли... Мадамъ Гранье убѣждала, просила, умоляла ихъ, и наконецъ, чуть не плача, сказала: «да, что съ вами? чего вы боитесь? посмотрите, какъ она улыбается» — и прижалась къ старухѣ щекой къ щекамъ, — къ гнойной багровой язвѣ, — и потомъ поцѣловала ее въ губы.

Исторія эта — напоминающая флоберовскаго «Юліана» — была недавно рассказана въ одной французской газетѣ. Въ память мадамъ Гранье основано общество — «Les dames du Calvaire».

Все, что дѣлаютъ люди и все, чѣмъ они живутъ, похоже по формѣ на конусъ или пирамиду: внизу, въ основаніи — площадь огромная, и всякой отрасли легко находится свое мѣсто. Наверху — все сходится. Что такое литература, что такое искусство? Я прочелъ рассказъ о мадамъ Гранье — и мнѣ кажется, искусство должно быть похоже на то, что сдѣлала она. Или точнѣе: на то, чѣмъ была она. Не въ состраданіи дѣло, — а въ побѣдѣ надъ матеріей, въ освобожденіи. Скрипки Моцарта поютъ — объ этомъ. И Павлова иногда — была объ этомъ. «Безсмертія можетъ быть залогъ» — иначе не скажешь.

А. когда-то замѣтилъ:

— Есть понятія римскія — и есть іерусалимскія. Другихъ нѣтъ.

И добавилъ: да не будетъ же Іерусалимъ побѣжденъ!

Онъ думалъ о христіанствѣ, конечно: о томъ, почему «заповѣдь новая» была дѣйствительно новой, и о томъ, что безъ нея міръ грубъ и пустъ, — хотя бы никто ни во что уже не вѣрилъ, хотя бы осталось у людей только немного чутья, пониманія и памяти.

Да не будетъ же Іерусалимъ побѣжденъ! Загадочность «еврейскаго вопроса» въ томъ, что вмѣстѣ съ мировымъ пожаромъ, который евреи зажигаютъ, рождается и мировое сердце. Безъ ихъ приношенія міръ не то что прѣсенъ, — міръ черствъ. Наша святая Русь въ лучшіе свои моменты перекладываетъ на мягкой славянской ладъ старыя, чудныя, вдохновенно-дикія еврейскія пѣсни — и забываетъ, что сложила ихъ не она

«Умъ ищетъ божества, а сердце не находитъ».

Какъ это странно сказано у Пушкина. Казалось бы — наоборотъ. Умъ «не находитъ».

Христіанство въ метафизической своей части, не то, что невѣроятно, — оно неправдоподобно. А это гораздо хуже — потому, что подрѣзываетъ, подкашиваетъ возможность «credo quia absurdum». Если человекъ взглянетъ на міръ какъ бы въ первый разъ, безъ всякой прелвзятости и забывая все, чему его научили, онъ не можетъ не покачать головой, со смущеніемъ, съ грустной усмѣшкой: едва ли, едва ли! Едва ли — это. Міръ текучъ, безграниченъ, расплывчатъ внѣшне и внутренне, а это слишкомъ ужъ стройно, слишкомъ ужъ складно, со вступленіемъ, изложеніемъ и заключеніемъ — въ видѣ первороднаго грѣха, искушенія и всего дальнѣйшаго. Будто какой-то небесный режиссеръ ставилъ. Природа не въ ладу съ христіанствомъ не потому, конечно, чтобы ея изученіе «опровергало» его, какъ считалъ Базаровъ, а потому только, что она къ нему никакъ не ведетъ, никакъ не располагаетъ. Нѣтъ связи: пропасть. Природа, какъ она открывается въ опытѣ, не драматична. Христіанство создалось будто въ какомъ-то воспаленномъ сознаниіи, а природа возвращаетъ спокойствіе... Кажется, именно это оттолкнуло Гете, такъ таинственно съ природой сроднивавшегося, — хотя за два года до смерти онъ и сказалъ Мюллеру, что «это не можетъ быть превзойдено». Но только морально.

Вѣроятно, и Льву Толстому его глубокая «интуиція» жизненныхъ явленій помѣшала стать вполнѣ христіанномъ, — что отчужденно чувствуютъ даже самые рьяные поклонники его, не придающіе значения разладу съ синодомъ и догматическимъ несоразумѣніямъ. Звукъ, скрытая сущность толстовскихъ писаній — внѣ христіанства, какъ онъ къ нему ни рвался. Толстому противопоставляютъ К. Леонтьева или Соловьева. Но имъ было легко — у нихъ не было и сотой доли его опыта, имъ нечего было преодолевать. Имъ не мѣшала жизнь. А Розановъ, единственный, у котораго быть «нхюль», кое въ чемъ не уступающій толстовскому, такъ и проколебался всю жизнь, чувствуя какъ никто всѣ «да» и «нѣтъ».

Но все-таки — «это не можетъ быть превзойдено». Тутъ нужна бы молчаливая круговая порука тѣхъ, кто знаетъ: не о чемъ говорить — и поистинѣ, «если надо объяснять, то не надо объяснять». Право, «стоять на стражѣ», беречь, хранить стоитъ только это. — Если человекъ не окончательно еще отупѣлъ, не окаменѣлъ, не выродился, не сошелъ съ ума.

По поводу ходкаго сейчасъ — и глупаго — слова «разлюженіе».

Такой-то разлагаетъ то-то. Этотъ разлагаетъ это. Одинъ подрываетъ любовь къ родинѣ и патриотизмъ. Другой непочтителенъ къ классикамъ — и такъ далѣе... Поклонники цѣлности и единства «во что бы то ни стало» возмущенно пожимаютъ плечами, поднимаютъ очи къ небу. Но большой вопросъ, кто вѣрнѣе преданъ «положительнымъ идеаламъ», разлагатели или охранители, а вздуматься, то и вопроса не остается.

По аналогіи заключать опасно. Но тутъ, кажется, аналогія получается примитивно точная: въ глубинѣ организма гной, — надо сдѣлать разрѣзъ, хотя снаружи ничего и не видно... Приверженцы цѣлности согласны на цѣлность съ гноемъ внутри, — а чѣмъ это можетъ кончиться, имъ какъ будто и безразлично. Были бы крѣпкія, здоровыя, лучше всего «національная» чувства. Была бы «непримиримость» хотя бы и звѣрная. Были бы звонкія фразы. Былъ бы тамъ, въ глубинѣ старый застоявшійся смрадь, — и шагали бы съ поднятой рукой какіе-нибудь нео-ударники, торжествовало бы «волевое начало», подъ безмятежный звонъ ко всему привыкшихъ православныхъ колоколовъ.

О, да — это надо бы «разложить»! И не только это, въ такой именно формѣ — но и все родственное, какъ бы оно ни называлось, въ искусствѣ, въ культурѣ, въ литературѣ... Но только изъ вѣрности тому, что достойно вѣрности, и какъ сказано гдѣ-то у Рильке, «за мировую нѣжность противъ цѣровой грубости», потому, что въ ней, въ нѣжности — жизнь, все лучшее, «печаль и музыка міра». Разъложеніе — будто снятіе покрововъ, изъ нетерпѣливаго влеченія къ послѣдней прелести, къ послѣдней чистотѣ, по несговорчивости, по страху прелечь.

Въ «Федонѣ», посредникъ діалога, есть такой эпизодъ... Сократъ въ глубокой задумчивости слушаетъ возраженія двухъ учениковъ. Одинъ изъ нихъ предлагаетъ свою «версію» понятія души: не похожа ли душа на гармонию, заяшую въ лирѣ? можно ли однако утверждать, что гармонія неистребима? казалось бы, она дѣйствительно должна пережить разрушеніе матерьяла, изъ котораго лира сдѣлана, — и послѣ распада струнъ и дерева гдѣ-то уцѣлѣть; но нетлѣнное, безплотное исчезаетъ вмѣстѣ съ тлѣннымъ и плотскимъ, — какъ бы мы ни обольщались насчетъ его потусторонняго существованія...

Это одна изъ самыхъ безсмертныхъ (хотя и холодныхъ — въ отличіе отъ евангельскихъ) страницъ, когда-либо написан-

ныхъ человѣкомъ, неизгладимое сіяніе въ памяти. Дальше идутъ строки еще, можетъ быть, больше «головокружительныя» — о томъ, что конецъ души и конецъ тѣла не всегда совпадаютъ, что тѣло можетъ жить и одно, какъ бы по инерціи.

Книгу эту вспоминаешь, какъ послѣдній доводъ, безъ прямой логической связи, просто апеллируя къ ней, въ смутной увѣренности найти оправданіе, глотнуть немного чистаго, чистѣйшаго воздуха. Съ ней возвращаешься къ истинному представленію о «цѣлостяхъ»... Но въ нашихъ-то лирахъ осталась ли еще возможность гармоніи? не надо ли попробовать еще разъ настроить ихъ? не ближе ли къ иѣли тотъ, который будто бы безцѣльно перебираетъ струны, вслушиваясь въ ихъ слабый, дребезжащій звонъ — и мучительно морщится при всякой попыткѣ сыграть бравурно-тріумфальный маршъ, въ расчетъ, что «сойдетъ»?

Георгій Адамовичъ.

Кризисъ исторіи

Девятнадцатый вѣкъ былъ вѣкомъ Исторіи какъ особой области вѣдѣнія. Впервые, за все время существованія человѣчества, исторія заняла, въ Европѣ, свое особое и весьма почетное мѣсто въ ряду наукъ, почитающихся обязательными для общаго образованія; работа надъ изученіемъ прошлаго была исключительно напряженной и необыкновенно плодотворной; наряду съ подробнѣйшимъ и точнѣйшимъ наслѣдованіемъ уцѣлѣвшихъ свидѣтельствъ о прошломъ, открытіемъ множества новыхъ, историки отваживались на возсозданіе всего вѣкового процесса жизни отдѣльныхъ народовъ, культурныхъ круговъ, человѣчества; каждый образованный человѣкъ старался мыслить исторически и имена великихъ историковъ, Маколея и Гизо, Мишле, Буркхардта, Тэна, Момзена, Ранке, были извѣстны каждому. Геній эпохи словно воплощался въ носителяхъ этихъ именъ. Сейчас дѣло обстоитъ уже далеко не такъ. Попробуйте, говорить замѣчательный испанскій мыслитель, Eugenio d'Ors*), предложить любому образованному человѣку, не спеціалисту, назвать имена значительнѣйшихъ современныхъ историковъ, — онъ не назоветъ ни одного. Продолжимъ экспериментъ и предложимъ ему назвать величайшихъ современныхъ композиторовъ: результатъ получится тотъ-же. Исторія — «наука времени» — раздѣлила судьбу музыки — «искусства времени». Онъ вмѣстѣ расцвѣли и вмѣстѣ увяли, считаетъ d'Ors. Сознаніе направлено сейчасъ не на стаповленіе, но на бытіе, не на возникающее и преходящее, но на вѣчное, сущее.

Это и вѣрно и невѣрно. Время въ музыкѣ не одно и то же, что время въ исторіи. Въ 2-хъ-3-хъ тонахъ перваго такта какой-нибудь фуги Баха дана уже вся эта фуга, — какъ въ пеленыхъ аксіомахъ евклидовой геометріи дана вся система ея теор-

*) Въ одной изъ ряда статей въ *Revue des Questions historiques*, 1934, посвященныхъ проблемѣ Кризиса Исторіи

реть. Эти теоремы расположены въ опредѣленномъ, необратимомъ порядкѣ, какъ и такты въ фугѣ, а также — и строчки и строфы въ стихотвореніи. Чтобы вывести изъ аксіомъ Эвклида его геометрію, разыграть сонату или фугу, прочесть стихи, требуется время. Разница между геометріей и поэзіей та, что въ музыкѣ и въ поэзіи есть счетъ времени, чередованіе «сильныхъ» и «слабыхъ» времени, — чего нѣтъ въ геометріи. Но это время музыки и поэзіи — отвлеченное, внѣжизненное, нереальное время. Мы замѣчаемъ ускоренія и замедленія, но какъ долго длится пѣсня, или соната, или элегія, — кому придется въ голову задаться этимъ вопросомъ? Такъ же — какъ и вопросомъ: какъ долго длится пифагорова теорема?

Въ чемъ тутъ дѣло? Возьмемъ для уясненія примѣръ такого музыкальнаго произведенія, жизнь котораго всего ближе подходитъ къ дѣйствительной, исторической: фуги. Общая жизнь, семействъ, народовъ, слагается изъ множества «сцѣпленій», какъ выражался Толстой, сцѣпленій отдѣльныхъ, индивидуальныхъ жизней. Этому соотвѣтствуютъ сцѣпленія отдѣльныхъ голосовъ фуги. Но эти послѣднія сцѣпленія происходятъ съ какой-то необъяснимой, но безспорной необходимостью. Не будь ея, не было бы фуги, былъ бы хаосъ звуковъ, какофонія. Въ жизни не такъ. Кн. Андрей могъ бытъ убитъ подлѣ Аустерлицомъ — и сначала Толстой такъ и хотѣлъ написать: «Война и Миръ» была бы другимъ романомъ, но все-таки романомъ, изображеніемъ подлинной жизни. «Сцѣпленія» въ жизни случайны, въ музыкѣ — необходимы. Второй голосъ долженъ слѣдовать за первымъ на строго опредѣленномъ разстояніи, — иначе все пропадетъ. Есть историки, которые силятся доказать, что и въ жизни ничто не случайно. Наполеонъ появился какъ разъ тогда, когда пришла пора ему явиться. Толстой выпутывается изъ затрудненія иначе: самъ по себѣ Наполеонъ — форменное ничтожество и не болѣе какъ орудіе, пушенное въ холъ «Хозяиномъ» вселенной. Но всякій чувствуетъ натяжку и фальшь этихъ соображеній, въ сущности просто — уловокъ.

Безчисленныя отдѣльныя жизни настолько самостоятельны въ своемъ развитіи, ихъ сцѣпленія между собою, изъ которыхъ слагается исторія, настолько случайны, что историкъ то и дѣло рискуетъ упустить эти сцѣпленія изъ виду. Строжайшій, внимательнѣйшій расчетъ времени, учетъ совпаденій событій, его главная обязанность. Иначе вѣсто настоящей исторіи, исторіи, налагающей событія какъ они происходили на самомъ дѣлѣ (требованіе Ранке), восстанавливающей конкретный историческій процессъ, получится безплотная, тощая, схематическая

«философія історіи», гдѣ богатый, глубокой смыслъ самой жизни подмѣняютъ смысломъ, примышленнымъ историкомъ.

Если такъ, науку історіи лучше сблизить съ еще однимъ «искусствомъ времени», реалистическимъ романомъ. Можно было бы показать, что и хронологически развитіе історіи и развитіе романа совпадаютъ ближе, чѣмъ історіи и музыки. Въ сущности, романъ и історія — одно и то же: фиктивная жизнь, изображаемая въ романѣ, воспринимается вѣдь какъ дѣйствительная. Історія романа извѣстна намъ несравненно основательнѣе, чѣмъ історія історіи, ибо романы имѣли и имѣютъ большій кругъ читателей и больше привлекали вниманіе критики, выражающей и направляющей ихъ вкусы и требованія. Кризисъ романа теперь модная тема. Поэтому, уяснивъ себѣ его, уяснимъ и сущность кризиса історіи.

Продѣлаемъ мысленно съ читателемъ романовъ экспериментъ, предложенный d'Orgs'омъ, нѣсколько лишь видоизмѣнивъ его. Какіе романисты были самыми любимыми и самыми популярными въ старину? Это всѣмъ извѣстно: въ XVIII в. Фильдингъ, Смолеттъ, Ричардсонъ, Руссо, Гете съ его Вертеромъ; въ нач. XIX в. Бальзакъ и Жоржъ-Зандъ (Стендаль писалъ «для немногихъ счастливицевъ», какъ онъ выражался), Дикенсъ и Текерей, за гѣмъ Толстой, Зола, Достоевскій... было бы долго и излишне перечислять всѣхъ. Говоря вообще, наиболѣе извѣстными и цѣнимыми были какъ разъ величайшіе романисты. Наряду съ ними, правда, читались и не менѣе усердно — и Эженъ Сю, и Шпильгагенъ и Чернышевскій съ его «Что дѣлать», и имъ подобные. Весьма важно отмѣтить, что кругъ читателей великихъ и невеликихъ романистовъ былъ одинъ и тотъ-же.

Сейчасъ дѣло обстоитъ не такъ. Сейчасъ на вопросъ о томъ, кто является значительнѣйшимъ современнымъ романистомъ, изъ десятка читателей съ одинаковымъ образовательнымъ цензомъ одинъ или двое назовутъ Моріака, Буннина, остальные — Эдгара Уоллеса. При этомъ окажется, что одни никогда не читали Уоллеса («немногіе счастливицы»), другіе — не слышали и имени Моріака. Раньше была одна повѣствовательная литература, включавшая большихъ, среднихъ и малыхъ писателей. Теперь ихъ двѣ. Какъ и почему произошло это разслоеніе литературы, въ которомъ и состоитъ одна изъ сторонъ кризиса романа?

Кто знакомъ съ исторіей литературы какъ одной изъ формъ соціальной жизни, общенія читателя съ писателемъ, готъ знаетъ, что всегда было два слоя читателей, что они по одному,

другіе по другому читали и понимали Фильдингъ, Бальзака, Толстого, Тургенева. Извѣстна исторія одной лэди, заподозрѣвшей, что Ричардсонъ, романъ котораго (не помню, который) печатался по частямъ, намѣренъ уморить геронню, и забрасывавшей его письмами: онъ обязанъ выиграть голоса челоуѣколюбія и справедливости; его героиня должна остаться въ живыхъ и добить-ся заслуженнаго ею семейнаго счастья. Извѣстно, что издатель Дикенса ставилъ ему условіемъ, чтобы его романы кончались неизмѣнно благополучно. Извѣстно, что подавляющее большинство читателей пропускаетъ въ гѣманахъ длинныя діалоги и описанія солнечныхъ восходовъ и закатовъ и, ознакомясь съ завязкой, заглядываетъ въ послѣднюю страницу, чтобы узнать, «хорошій»-ли будетъ, или «плохой», конецъ.

Современный (XVIII-XIX вв.) романъ восходитъ къ очень древнимъ образцамъ, къ исторіи Юсіфа Прекраснаго, къ «Дафнису и Хлоѣ» и ряду другихъ подобныхъ произведеній. Схема общая: рядъ перипетій, неожиданностей, несчастій, испытаній, выпадающихъ на долю какъ разъ самыхъ симпатичныхъ, самыхъ интересныхъ людей; наконецъ, тучи расходятся, герой соединяется съ героиней, жизнь кончается, начинается жизнь, періодъ дѣлающагося до гробовой доски безмятежнаго счастья, обезпеченнаго благополучіемъ, — того, о чемъ мечтали герой и героиня и чего для нихъ желали читатели. Мало сказать желали: ждали и требовали, считая, что это-то и есть житейская правда, что такой исходъ естественъ, нормаленъ, необходимъ. Такое убѣжденіе раздѣляли и самъ герой романа, добивавшійся благополучія вмѣстѣ со счастьемъ, совмѣщавшій въ себѣ черты эпического богатыря и Ивана-дурака, Чапкаго и Молчалина, Маркиза Позы и Чичикова. Если исходъ не соответствовалъ ожиданіямъ, то въ этомъ виноваты были обстоятельства, социальные условия, дурныя свойства окружающихъ людей — и тогда самъ собою ставился вопросъ, «что дѣлать». Такъ по крайней мѣрѣ воспринимались читателями произведенія писателей-классиковъ.

У исторіи и у романа корни общіе. Она восходитъ къ тѣмъ-же книгамъ; книгамъ о скитаніяхъ Народа божія на путяхъ въ землю Ханаанскую, о скитаніяхъ сына Анхима и Венеры, которому было суждено основать «вѣчный Римъ». Евангельское благоустройство въ леченіе вѣковъ понималось множествомъ людей какъ залогъ того, что рано или поздно, послѣ царствованія Антихриста, настанетъ «тысячелѣтняя суббота Господня», когда, согласно Лактанцію, воцарится полный миръ между челоуѣками, какъ и между скотами, когда скалы будутъ источать

медь и рѣки исполнятся млекою. Геніальный идіотъ Фурье только разивалъ темы отца церкви, когда предсказывалъ, что въ будущемъ природа измѣнитъ свой ликъ, вмѣсто львовъ и китовъ заведутся анти-львы и анти-киты и вода въ океанѣ станетъ прохладительною и вкусною какъ лимонадъ. Отсюда идея смысла исторіи, состояшаго въ неуклонномъ, внутренно-закономѣрномъ, вопреки всяческимъ катастрофамъ, нагроможденію бѣдствій и золь, прогрессѣ, движеніи впередъ, къ конечному осуществленію идеаловъ человѣчества, реализаціи мечты о счастьи всѣхъ и каждого, о невозмутимомъ благоденственномъ и мирномъ житіи, обь о с т а н о в к ѣ исторіи, ибо ея движеніе уже будетъ ненужнымъ.

Въ новое время подъ эту концепцію была подведена основа, считавшаяся научною. Неисповѣдимое Провидѣніе замѣнили «иманентные законы»: законы биологій, обеспечивавшіе поступательное движеніе человѣчества путемъ «эволюціи»; «железные» законы политической экономіи, все рѣшительно какъ-то «опредѣлявшіе» и подготавливавшіе человѣчество къ «скачку изъ царства необходимости въ царство свободы». На почвѣ религій Эриста Геккеля, Спенсера, Маркса объединялись и духовная аристократія и духовный плебсъ. Читатель ждалъ отъ историковъ, чтобы они ему показали, какъ коллективный Иванъ-дуракъ постепенно эволюционировалъ и — сознание опредѣляется бытіемъ! — соответственно умнѣлъ, освобождаясь отъ религиозныхъ предрасудковъ, отъ «оковъ схоластики» и проч., и тѣмъ становился все болѣе и болѣе достойнымъ того, чтобы уже больше не эволюционировать, а просто — жить да поживать, да добра наживать. И исторники типа Олара и Сеньобоса добросовѣстно удовлетворяли этому требованію. Собственно говоря, вся исторія человѣчества представлялась сплошнымъ усиленіемъ исправить какую-то изначальную ошибку, препятствующую осуществить цѣль жизни, какъ ее формулировалъ Хлестаковъ: срывать цвѣты удовольствія.

Не случайно какъ разъ теперь, когда идеи витализма, творческой эволюціи, времени, какъ реального фактора жизни, все болѣе проникаютъ въ сознаніе людей, способныхъ думать, исторія вступила въ состояніе кризиса. Не пониженіе, а напротивъ, обостреніе чувства времени обусловило его, и не въ угасаніи способности мыслить исторически состоитъ его сущность. Жизнь течетъ непрерывнымъ потокомъ, порождая все новыя и новыя цѣнности и обнаруживая свои все новыя и новыя внутреннія противорѣчія. Культурный человѣкъ, въ отличіе отъ средняго человѣка, уже не вѣрится въ золотой вѣкъ, ни въ тотъ, что «впе-

реди насъ», ни въ тотъ, что «за нами». Историки уже не въ состояннн писать увѣсистыхъ «всеобщихъ исторій» по типу англійскаго семейнаго романа, — съ угадываемымъ, общаннымъ, благополучнымъ окончаніемъ; ни такихъ, по образцу идиллн и пасторалей, гдѣ изображалось доброе старое время, когда жизнь была, если не добродѣтельнѣе и счастливѣе, то хоть «красивѣе». Прошла та пора, когда исторія была залогомъ вѣры въ «лучшее, свѣтлое будущее», или тѣмъ прибѣжищемъ, гдѣ искали отдохновенія отъ современной жизни. Культурный человѣкъ нашихъ дней не вѣритъ въ то, что всѣ древніе греки были Аристидами или Аполлонами Бельведерскими, и всѣ гречанки Аспазіями или Венерами Милосскими; или что всѣ средневѣковыя бароны — Амадисами и Роландами; ни въ то, что, благодаря егенику, управляемому хозяйству, народнымъ университетамъ и стерилизаціи «неприспособленныхъ», сказка объ Иванѣ-дураку станетъ былью. Въ большей или въ меньшей степени, съ полной очевидностью, или въ скрытомъ состояннн, элементы романтической или науковѣрческой пошлости были налицо во всѣхъ почти произведеніяхъ исторіографіи XIX в., какъ элементы пошлости житейской въ романахъ даже величайшихъ писателей той же поры. Теперь исторія и художественный романъ отдѣлялись отъ ннхъ. Потому-то они и перестали быть нужны среднему читателю.

Вся европейская культура, всѣ навыки европейскаго мышленія, всѣ схемы, въ которыя европейскій человѣкъ укладываетъ данныя опыта, связаны съ христіанствомъ, наложившимъ на европейское сознаніе неизгладимый отпечатокъ. Связанъ съ нимъ и нынѣшннй переломъ въ сознаннн. По отношенію къ основной проблемѣ христіанства, къ величайшей тайнѣ, возвѣщенной Евангеліемъ, христіанская мысль вѣчно двоилась. Воплощеніе Бога въ человѣка-исуса и поправіе смерти смертію понимались какъ, прежде всего, историческое событіе, совершившееся въ опредѣленный моментъ и въ опредѣленномъ мѣстѣ, освѣтившее собою всю доселѣ бывшую и всю будущую исторію человѣчества. Отсюда — историчность европейскаго міросозерцанія. Но они понимались также и какъ мистерія, вѣчно разыгрывающаяся во внѣ-временномъ, мета-историческомъ планѣ — идея, выраженная въ таинствѣ евхаристіи. Отсюда — стремленіе къ преодолѣнню историческаго жнзнепониманія, къ тому, чтобы исторіи противопоставить м е т а - и с т о р і ю.

Лактанцію съ его прекраснодушной вѣрою въ прогрессъ, въ «золотой вѣкъ» противопоставилъ величайшнй христіанскій мыслитель, бл. Августинъ. Мысль Августина не не-исторична и не

анти-исторична: она мета-исторична. Съ презрѣніемъ духовнаго аристократа отвергаетъ онъ пошлую мечту о «тысячелѣтней Субботѣ Господней». Исторія обоихъ Градовъ прослѣжена у него затѣмъ, чтобы доказать, что Граду Божію, обществу избранныхъ, суждено пребывать на землѣ вѣчно, подобно бездомному скитальцу, среди Града Земного — и только Господь знаетъ, кто изъ исповѣдующихъ Его своими устами, — граждане перваго Града и кто — только втораго. Обособленію же Града Божія суждено исполниться лишь за предѣлами исторіи, въ потустороннемъ планѣ.

Никогда еще, кажется, достовѣрность духовнаго опыта бл. Августина не ощущалась съ такою степенью убѣдительности, какъ сейчасъ, когда массы, охваченныя различными видами энтузіазма, готоваго въ любой моментъ переродиться въ панику, превращающую людское общество въ стадо, рвутся къ интегральному осуществленію всякаго рода благъ; когда онѣ уже чувствуютъ себя на порогѣ «златого вѣка» и грозятъ истребить всѣхъ, кто только можетъ быть заподозрѣвъ въ попыткѣ стать имъ поперекъ дороги. Никогда шаги Исторіи не раздавались столь гулко, ея движеніе не было столь стремительно, ея ритмъ — столь напряженъ. И никогда еще никто не чувствовалъ себя до такой степени вовлеченнымъ въ ея процессъ. И именно теперь ясно, какъ никогда, что смыслъ ея въ томъ, что никакой собственной цѣли ея процессъ не имѣетъ. Какъ невыразимая пошлость ощущаются нами поэтому недавнія разсужденія историковъ, что Лютеръ, хотя и былъ «средневѣковный человекъ», заключилъ въ предрассудкахъ, вѣрнулъ въ чорта, но все же, поспорившись съ Папой, расчистилъ путь свободной мысли и тѣмъ содѣйствовалъ прогрессу.

Это, однако, еще не отказъ отъ исторіи. Исторія не пришла въ упадокъ, не выродилась. Напротивъ: она стала строже, презвѣе, глубже, тоньше, свободнѣе, чѣмъ была въ XIX в. Въ подтвержденіе я могъ бы привести рядъ именъ, — но они ничего не скажутъ среднему читателю. Кризисъ исторіи въ томъ, что она перестала быть основной, верховной наукой; что для историка, способнаго размыслить, она теперь — только путь, подводящій къ мета-исторіи; какъ физика (въ широкомъ смыслѣ), для способнаго размышлять естественнаго ученаго, вновь, носящъ дозлага перерыва, стала слученною, позволяющей къ возрождающейся метафизикѣ.

Какъ именно относится къ исторіи мета-исторія? Надо имѣть въ виду двойственный смыслъ этого термина. Мета-исторія это прежде всего все еще область историческаго видѣнія, гдѣ за-

дача изслѣдователя — выдѣлить въ смѣнѣ событій, направленій, вкусовъ и навыковъ, постоянно дѣйствующихъ въ своемъ чередованіи духовныя тенденціи, въ болѣе или меньшей степени всегда присущія людямъ, тенденціи, которыхъ борьба сводится къ борьбѣ чувства и разума, начала свободы и начала порядка, тяги къ безконечному и способности переживанія вѣчности -- всего того, что подводится подъ понятія романтизма (или барокко) и классицизма *). Такъ понимаетъ мета-исторію самъ d'Ors и — до него — рядъ другихъ теоретиковъ культуры. Это пониманіе не исключаетъ другого. Мета-исторія не только область вѣдѣнія, но и особый планъ бытія, въ которомъ живутъ воплощенныя въ нихъ сознанія и тѣмъ для насъ безсмертныя души тѣхъ людей, которыхъ мы, быть можетъ, никогда не видали, которые могутъ быть отдѣлены отъ насъ тысячелѣтїями, но безъ которыхъ мы самихъ себя, разъ соприкоснувшись съ ними, представить уже не сможемъ; которые, въ этомъ смыслѣ, для насъ реальнѣе иныхъ изъ нашихъ современниковъ и согражданъ, можетъ быть — насъ самихъ. Способствовали-ли или нѣтъ «прогрессу» Лютеръ — это вопросъ, не имѣющій смысла для того, кто преодолѣлъ науковѣдческое пониманіе «прогресса». Лютеръ для насъ близокъ и дорогъ (или чуждъ — это зависитъ отъ степени способности сочувствовать и понимать) самъ по себѣ, какъ конкретная личность съ ея единственныи, неповторимымъ духовнымъ опытомъ, какъ вѣвременноя субстанціи. Приурочить каждаго эмпирическаго носителя подобной субстанціи къ определенной точкѣ въ пространствѣ и времени -- задача собственно историческая -- необходимо для того, чтобы облегчить себѣ другую: усмотрѣть въ немъ, этомъ носителѣ, то, что роднило его съ его средою и его эпохою и тѣмъ самымъ выдѣлить отчуждивъ то, что принадлежитъ ему самому, что есть онъ самъ.

П. Бицилли.

*) В простѣеи обѣ этой ритмикѣ исторіи я коснулся въ ст. 178 «Сазисъ» (Собр. Зал. 56)

Народный вождь

(Къ восьмидесятипятилѣтнiю Т. Г. Масарика).

Пять лѣтъ тому назадъ, на этихъ же страницахъ, редакція «Современныхъ Записокъ» привѣтствовала президента Чехословацкой Республики Т. Г. Масарика по случаю исполнившагося его восьмидесятилѣтнiя, а В. А. Мякотинъ и Е. Д. Кускова напомнили въ своихъ статьяхъ жизнь и дѣятельность челоуѣка, котораго по заслугамъ чтить весь культурный мiръ.

Прошло съ тѣхъ поръ немного времени, но эти годы принесли вмѣстѣ съ печальными перемѣнами въ моральной обстановкѣ Европы немало горькихъ разочарованiй для тѣхъ, кто вѣритъ въ вѣчную правду началъ свободы. На нашихъ глазахъ торжествуетъ въ рядѣ странъ политическая реакція, подъ сомнѣнiе взяты самыя, казалось бы, неизблемыя основы западно-европейской культуры. Но среди немногаго, чего не могъ коснуться мутный потокъ слишкомъ поспѣшной переоцѣнки всѣхъ цѣнностей, — прочно, особнякомъ стоитъ — высокій личный авторитетъ Масарика. Недаромъ въ недавнiе дни теперь уже восьмидесятипятилѣтнiяго его юбилея вновь съ прежней силой со всѣхъ концовъ мiра протянулись къ нему нити неизмѣннаго довѣрiя, глубокаго уваженiя, искренней любви. На безотрадномъ фонѣ международной дѣйствительности юбилей президента демократической Чехословацкой Республики приобретаетъ особую значительность, — это праздникъ всѣхъ, кто и въ годы испытанiй остоится преланъ идеалу правды и права.

Въ чемъ же тайна притягательной силы личности Масарика, гдѣ источникъ его мiрового моральнаго авторитета?

Да, жизнь Масарика сама по себѣ — чудесная легенда, способная своимъ героизмомъ зажигать сердца. Сынъ бѣднаго словацкаго крестьянина, съ ранняго дѣтства испыталъ онъ на собственномъ опытѣ нелегкую долю народныхъ низовъ — горькую нужду, тяжкій трудъ, гнетъ социальнаго и національнаго

безправия. Силой воли, жадой знания, упорствомъ въ работѣ, особымъ моральнымъ закаломъ характера Масарикъ преодолѣлъ всѣ препятствія и достигъ всего, чего только могъ бы пожелать для себя и своего народа человекъ этой эпохи. И въ этапахъ этого медленнаго восхожденія вверхъ были для бѣднаго крестьянскаго юноши не только удовлетвореніе человекъ, обязаннаго успѣхомъ лишь самому себѣ, но и радость идейнаго борца все расширяющимися возможностями служенія своему народу, человечеству, истинѣ и добру. Вотъ онъ — въ университетѣ, затѣмъ самъ — профессоръ, авторъ философскихъ и социологическихъ трудовъ, членъ парламента, вождь чешскаго національнаго движенія. Его научная, литературная и общественно-политическая дѣятельность создаютъ ему почетное положеніе у себя на родинѣ и дѣлаютъ его имя извѣстнымъ далеко за предѣлами ея *). Но вспыхиваетъ мировая война, и Масарикъ, провидя наступленіе рѣшающаго часа для судьбы его народа, ставитъ на карту рѣшительно все, вплоть до собственной жизни: онъ становится во главѣ революціоннаго движенія, чтобы бороться за освобожденіе чеховъ и словаковъ изъ-подъ австрійскаго гнета и за созданіе независимаго Чехословацкаго государства. Наконецъ, — апофеозъ жизненнаго пути: побѣда державъ Союзіа, революція въ Прагѣ — и, призванный своимъ народомъ, Масарикъ становится первымъ, съ тѣхъ поръ безсмѣннымъ президентомъ возрожденной въ значительной мѣрѣ его трудами Чехословакіи.

Но сколь ни поразительны внѣшнія черты біографіи Масарика, не въ нихъ однихъ разгадка его широкой популярности за предѣлами Чехословакіи. Масарикъ — безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей современной намъ эпохи и такимъ его дѣлаетъ своеобразие его внутренняго духовнаго облика, проявляющагося неизмѣнно во всѣхъ выходящихъ ему на доло роляхъ — какъ ученаго, философа учителя жизни, политическаго борца, государственнаго дѣятеля.

Въ этихъ немногихъ строкахъ невозможно говорить о всемъ многообразіи духовной одаренности Масарика. Не можемъ мы и дать здѣсь исчерпывающую характеристику его хотя бы только какъ демократическаго политика. Ограничимся лишь нѣ-

*) Въ томъ числѣ и у насъ въ Россіи Л. Толстой, привѣтствуя въ 1910 г. Масарика по случаю его шестидесятилѣтія, свидѣтельствуетъ о своемъ глубокомъ уваженіи къ его «твердой, горячей и самой разнообразной общественной дѣятельности» и о чувствѣ «искренней любви къ нему, какъ къ человекъ».

сколькими характерными чертами, изъ тѣхъ, что дѣлають для насъ особенно привлекательнымъ и дорогимъ духовный обликъ Масарика и которыя имѣють сейчасъ особое значеніе въ связи съ наблюдающимся почти во всемъ мѣрѣ кризисомъ демократическаго сознанія и разложениемъ демократической политики

Демократическое Чехословацкое государство, несмотря на свою молодость, до сихъ поръ устояло отъ гибельныхъ соблазновъ, оказавшихся роковыми для другихъ. И въ этомъ несомнѣнно сказалось благотворное вліяніе Масарика и плеяды близкихъ ему по духу соратниковъ. Общія причины, вызывающія повсюду ослабленіе демократіи, оказываютъ, конечно, вліяніе и на политическую жизнь въ Чехословакии. Однако здѣсь невозможно тотъ срывъ съ путей свободы, который въ другихъ странахъ привелъ къ установленію режима личной диктатуры, къ самодержавію выдвинутыхъ смутнымъ временемъ «вождей»: въ лицѣ Масарика чехословацкій народъ уже имѣетъ своего подлиннаго испытаннаго вождя, и роднаго въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Непререкаемый его авторитетъ покоится на всеобщемъ къ нему довѣрїи и любви, а смыслъ его водительства заключается не въ покушенїи на свободу, а наоборотъ, какъ разъ въ охранѣ тѣхъ народныхъ правъ, на борьбу за которыя была отдана вся его жизнь.

Полнота сліянія со своимъ народомъ — такова основная черта, характеризующая Масарика-вождя: совпаденіе съ народомъ не въ какомъ-либо случайномъ, временномъ и преходящемъ его состоянїи, а въ томъ лучшемъ и вѣчномъ, въ чемъ выражается творческое его своеобразіе.

Немного можно найти въ исторїи примѣровъ столь полнаго согласія между народомъ и его вождемъ. Мыслиль Масарика и Чехословакію въ раздѣльности — положительно невозможно. Его духовная индивидуальность воплощается въ себѣ лучшія традиціи чешскаго народа. Но и образъ современной Чехословакии не былъ бы завершенъ безъ чертъ, приданныхъ ему творчествомъ Масарика. Во всемъ его обликѣ, интеллектуальномъ и моральномъ, онъ — плоть отъ плоти, душь отъ духа своего народа.

Народолобіе Масарика — особаго рода, оно чуждо ложной идеализаціи, ибо покоится на основательномъ знанїи своего народа, прїобрѣтенномъ въ итогъ огромнаго жизненнаго опыта. Недаромъ будущій національный вождь, выйдя изъ самыхъ низовъ народныхъ, продѣлалъ суровую школу на всѣхъ ступеняхъ соціальной лѣстницы, длительно приходилъ въ тѣсное сопри-

косновение со всеми классами общества и свыше подувка про-
велъ въ повседневной работѣ среди народа на разнообразныхъ
поприщахъ культурной и политической дѣятельности. Въ этомъ
— объясненіе особой почвенности демократизма Масарика, свойственныхъ ему трезвости и реализма въ постановкѣ
практическихъ цѣлей.

Почвенность Масарика однако не въ одной только органиче-
ской его связанности съ жизнью современнаго ему поколѣнія:
не менѣе существенно то, что его «народничество» своими кор-
нями глубоко уходитъ въ историческое прошлое народное. Ве-
ликое дѣло Масарика нельзя мыслить внѣ духовной преемствен-
ности въ отношеніи тѣхъ, кто въ теченіе вѣковъ наиболее полно
выражалъ національный гений чешскаго народа, начиная отъ Яна
Гуса и Хельчицкаго въ XV в., Яна Коменскаго въ XVII в. и
кончая Палацкимъ въ XIX в.

Масарикъ вѣрить, что «часто народами руководятъ силь-
нѣе и лучше вожди невидимые, вожди, которыхъ уже нѣтъ въ
живыхъ». И конечно, вѣрность чеховъ завѣтамъ ихъ духовныхъ
вождей XV-XVII вв. сыграла немалую роль въ чудѣ возрожден-
ія въ государственному бытію народа, въ теченіе трехъ вѣковъ
пробывшаго подъ иноземнымъ гнетомъ. «Мы должны продол-
жать нашъ путь въ духѣ учителей нашего народа въ прошломъ
и перелать факель грядущимъ поколѣніямъ», говоритъ Маса-
рикъ. Въ этомъ сознательномъ утвержденіи культурно
исторической преемственности, связи настоя-
щаго съ прошлымъ въ творческой традиціи — вторая характе-
рная и не менѣе важная черта духовнаго облика Масарика.

Поучительна и тутъ параллель съ иными изъ господствующи-
хъ сейчасъ въ Европѣ «вождей». Если Масарика просто не-
льзя себѣ представить внѣ преемственности чешской культур-
ной традиціи, идущей еще изъ XV в. отъ моравскихъ братьевъ,
то въ нѣмецкомъ «фюрерѣ», наоборотъ, весьма затруднительно
видѣть продолжателя завѣтовъ Лютера, Канта, Гете, Фихте: ес-
ли онъ, надо думать, представляетъ все же какую-то особую
линію въ традиціи нѣмецкаго народа, то очевидно не ту, кото-
рая обезпечила Германии міровое признаніе въ области культу-
ры духа. Нечего уже и говорить о нашемъ отечественномъ «во-
ждѣ». Его интернационалистическая идеологія — принципиально
разрываетъ всякую преемственность СССР отъ исторической
Россіи и отрицаетъ самое понятіе русскаго народа, какъ куль-
турно-историческаго единства.

Но столь сильно выраженная въ духовномъ обликѣ Маса-

рика связь съ народной чешской традиціей менѣе всего даетъ основаніе говорить о національной ограниченности и узости его міросозерцанія. Преимущественная любовь къ своему народу отнюдь не исключаетъ идеала всечеловѣчности, напротивъ того, только въ немъ находитъ она свое послѣднее оправданіе. Духовное своеобразіе, самобытность каждаго народа сами по себѣ — благо. Но лишь поскольку творимыя даннымъ народомъ цѣнности способны обогатить сокровищницу общечеловѣческой культуры, онъ выполняетъ и всечирно-историческое свое назначеніе. Такъ, движеніе гусситовъ выросло на чешской почвѣ и окрашено національно. Но провозглашенныя имъ идеи универсальны по своему значенію, — не случайно Янъ Гусъ явился предтечей и провозвѣстникомъ реформации въ остальной Европѣ.

Этому универсализму чешской морально-религіозной традиции остается вѣренъ и Масарикъ. Его демократизмъ, его національная программа цѣлкомъ вытекаетъ изъ болѣе общихъ моральныхъ и, въ конечномъ счетѣ, религіозныхъ принциповъ. Намъ хотѣлось бы особенно подчеркнуть здѣсь эту третью и наиболѣе важную для характеристики Масарика черту, связывающую въ гармоническое единство отдѣльныя стороны его индивидуальности какъ политика, соціального философа, учителя жизни, наконецъ, просто чело-вѣка.

Система демократіи для Масарика — не политическая дѣятельность только, подлежащая оцѣнкѣ лишь съ точки зрѣнія ея практической цѣлесообразности, а цѣлое міровоззрѣніе, связанное съ общей его философійей и обосновываемое морально. Самые принципы французской революціи — свобода, равенство, братство — у Масарика какъ бы насыщены еще полноцѣнностью религіознаго сознанія моравскихъ братьевъ. Они призваны руководить не только политической дѣятельностью, но и хозяйственной жизнью, опредѣлять общественный бытъ и личныя отношенія между людьми. Сейчасъ, когда можно придти въ отчаяніе оттого, до какой степени политическая жизнь даже въ демократическихъ государствахъ имѣетъ тенденцію вырождаться въ плохо замаскированную борьбу групповыхъ матеріальныхъ интересовъ и низменный карьеризмъ партійныхъ честолюбій, особенно отрадно звучитъ призывъ Масарика къ очищенію моральной атмосферы въ политикѣ. «Невѣрно, — говоритъ онъ, — будто бы политическій дѣятель можетъ быть освобожденъ, якобы въ интересахъ государственныхъ, отъ соблюденія законовъ морали: чело-вѣкъ, который лжетъ и обманы-

васть въ политической жизни, лжетъ и обманываетъ въ жизни частной, и обратно». Политика, общественная дѣятельность должны быть служеніемъ нравственному идеалу въ духъ завіта Гуса — «любить истину, искать истину, защищать истину». И мы знаемъ, что въ этомъ служеніи истинѣ Масарикъ умѣетъ быть непреклоннымъ. Онъ не останавливался даже передъ конфликтомъ съ общественнымъ мнѣніемъ собственного народа, когда велѣніе совѣсти заставляло его выступать противъ вредныхъ иллюзій, какъ въ исторіи съ подлогомъ Краледворскихъ рукописей, или разоблачать темные предрасудки — въ ритуальномъ процессѣ еврея Хильснера. По тѣмъ же нравственнымъ основаніямъ Масарикъ отвергаетъ и марксизмъ въ его крайностяхъ историческаго матеріализма и принципа классовой борьбы.

Идеи демократіи и моральные принципы находятъ у Масарика, какъ мы уже говорили, свое послѣднее основаніе въ религіи. Правда, его личная религіозность — особаго рода. Онъ вѣритъ въ промисель Божій, все его міросозерцаніе проникнуто религіознымъ началомъ, религіозно же онъ относится и къ назначенію человека въ мірѣ. Къ пониманію имъ его собственной роли въ жизни чехословацкаго народа относятся, конечно, его слова: «Настоящій глава государства тотъ, кто служитъ своему народу и чувствуетъ себя при этомъ руководимымъ кѣмъ-то болѣе могущественнымъ, чѣмъ онъ самъ». Но, въ то же время, христіанство въ его глазахъ не есть религія божественнаго откровенія, а только наивысшій по своему духовному подъему отвѣтъ самого человѣчества на обращенный къ нему призывъ Божій. Поэтому, считая себя христіаниномъ, Масарикъ однако стоитъ внѣ существующихъ вѣроисповѣданій, отрицаетъ мистическую природу церкви, ему чужда всякая внѣшняя обрядовая сторона церковной жизни.

Но, въ отличіе отъ многихъ, Масарикъ не склоненъ забывать историческій фактъ происхожденія современной демократіи изъ христіанства, онъ хотѣлъ бы только, чтобы вся наша жизнь, частная и общественная, была полнѣе проникнута подлиннымъ духомъ ученія Христа, чѣмъ это есть въ дѣйствительности. Какъ послѣдовательный демократъ, онъ, естественно, принципиальный противникъ всякаго клерикализма и стоитъ за полное раздѣленіе церкви и государства. Поскольку же ихъ взаимная независимость формально установлена и лояльно соблюдается съ обѣихъ сторонъ, религіозная политика демократическаго государства, какъ справедливо утверждаетъ Ма-

сарикъ, должна опредѣляться не только чувствомъ глубокаго уваженія ко всякому религіозному убѣжденію вообще и широкой вѣротерпимостью, но и положительной оцѣнкой той социальной функціи, которую, при нормальныхъ условіяхъ, призвана выполнять церковь.

Здѣсь Масарикъ вскрываетъ ошибочность или по крайней мѣрѣ двусмысленность извѣстнаго тезиса «религія — частное дѣло каждаго». Воплотить справедливый въ прирѣненіи къ индивидуальнымъ религіознымъ — или безрелигіознымъ и даже антирелигіознымъ — вѣрованіямъ каждаго, этотъ принципъ явно недостаточенъ для оцѣнки религіозной жизни какъ фактора социальнаго. Церковь всѣхъ исповѣданій организуетъ религіозную жизнь миллионныя гражданъ, тѣмъ самымъ оказывая огромное воспитательное вліяніе на народныя массы. Или надо признать это вліяніе вреднымъ, ибо «религія — опіумъ для народа», и тогда активно бороться съ нимъ, — или же признать всякое воспитаніе въ религіозномъ духѣ факторомъ для жизни общества положительнымъ и ему сочувствовать. Масарикъ занимаетъ, конечно, эту вторую позицію, по его мнѣнію «безъ религіозныхъ вѣрованій немислямо существованіе никакого общества, вообще невозможна жизнь».

Реализмъ, вытекающій изъ глубокаго знанія своего народа и органическая близость къ нему, вѣрность національно-культурной традиціи, согласованной съ идеей всечеловѣчности, социальный идеализмъ, освѣщенный нравственнымъ принципомъ и укорененный въ религіозномъ сознаніи — таковы черты, которыя намъ особенно дороги въ народлюбивѣ и гуманистѣ Масарикѣ. Черты, которыя мы, русскіе, оглядываясь на наше прошлое, толжны бы особенно цѣнить. Не столь, впрочемъ, вина нашей русской интеллигенціи, не менѣе народолюбивой и подвижнической, сколь ея бѣда, что силой вѣвшихъ условій она, къ несчастію, всегда оказывалась оторванной отъ общенія съ народомъ и потому безпомощной. За это дорого заплатила Россія.

О Масарикѣ — чловѣкѣ, народномъ вождѣ, учителѣ жизни — написаны уже десятки томовъ и, конечно, еще больше многочисленныя и обширныя изслѣдованія о немъ появятся въ будущемъ. Не намъ въ этихъ заключительныхъ строкахъ пытаться дать синтезъ хотя бы только главныхъ чертъ его благород-

наго, обаятельного облика. Сила воли и мужество, цельность и рыцарская прямота характера? Сочетание проинпательнаго ума, чуткой совѣсти и горячей отзывчивости сердца? Возвышенный идеализмъ, подвигъ жизни, цѣликомъ отданной на служеніе своему народу и благу человечества? Страстная преданность истинѣ и жажда всеобщей справедливости, жизненная мудрость, освѣщенная религіознымъ сознаниемъ?

Да, все это и еще многое другое, столь же драгоценное, что въ гармоническомъ сочеганіи составяетъ подлинное величіе души Масарика. Этимъ величіемъ отмѣчены простыя, но замѣчательныя слова, которыми Масарикъ, оглядываясь по случаю своего восьмидесятипятилѣтія назадъ въ прошлое, подвел итогъ своей многотрудной и героической жизни: «Я гордѣть, что въ качествѣ главы государства не отрелся ни отъ единой вещи, въ которую вѣрилъ будучи бѣднымъ студентомъ. Я счастливъ, что не измѣнилъ своей вѣрѣ въ гуманизмъ и демократію»

Народная любовь и преданность, которыми окруженъ Масарикъ у себя на родинѣ, возвышается до степени культа. И это понятно въ великомъ человѣкѣ, національномъ героѣ, братскій намъ славянскій народъ чинитъ олицетвореніе лучшихъ чертъ его же собственнаго духа. Но и сама чехословацкій народъ въ роковыя тоы борьбы за независимость и теперь въ мирномъ государственномъ строителствѣ, показала себя достойнымъ своего вожая. Слава имъ!

И за пределами Чехословакии имя Масарика провозносится съ любовью и уваженіемъ всѣмъ, кому дороги идеи свободы и права. Сейчасъ, когда эти начала понираются насиліемъ на обширныхъ пространствахъ земного шара, примѣръ Масарика и подвигъ его жизни призываютъ насъ къ мужеству и къ вѣрѣ въ конечное торжество правды. «Истина побѣдитъ!» — гласитъ старый гусситскій девизъ, начертанный на знамени, гордо развѣвающимся надъ президентскимъ замкомъ въ Градчанѣхъ.

В. Рудневъ.

Эдуардъ Бенешъ

III.

Основы чехословацкой иностранной политики.

Все, что было осуществлено Бенешомъ отъ начала войны до созданія временнаго чехословацкаго правительства, дѣлаетъ его, безспорно, наиболее виднымъ сотрудникомъ Масарика въ борьбѣ за чехословацкую независимость. Съ его именемъ и дѣятельностью непосредственно связана значительная часть международныхъ рѣшающихъ событій, подготовившихъ признаніе независимости чехословацкаго государства еще до развала Австро-Венгрии и переворота 28-го октября. Столь важная роль Бенеша во время войны не была, конечно, случайностью. Не только въ силу благоприятнаго стеченія обстоятельствъ молодой доцентъ оказался среди людей, заслуги которыхъ высоко цѣнить чешскій народъ. Самопожертвованіе и отвага, проявленные имъ во время поѣздки за границу въ началѣ войны, показываютъ всю полноту его вѣры и рѣшимости въ работѣ на пользу своего народа. Жизнь вдали отъ собственной семьи, преслѣдуемой за его «предательскую» дѣятельность, жизнь полная труда и личныхъ лишеній, сосредоточенная на осуществленіи единой національной идеи, такова была жизнь Бенеша во время войны. Онъ не зналъ отдыха, не зналъ иныхъ радостей, кромѣ тѣхъ, которыя ему приносили успѣхи его работы. Онъ велъ жизнь, вполне соответствующую духу Масарика.

Мы уже видѣли, что еще перелъ войной Масарикъ сталъ для Бенеша поочному образцомъ во всѣхъ отношеніяхъ; призывомъ къ подражанію ему заканчивается его брошюра о Масарикѣ: «Послѣдствуемъ всѣ его примѣру». Идеализмъ Масарика, его безграничная преданность идеату человечности и народности воодушевляли также и Бенеша. Но при всей преданности Масарикку, какъ учителю и вождю, Бенешъ сумѣлъ сохранить свою индивидуальность. Если его убѣжденія въ конечномъ счетѣ сходились со взглядами Масарика, то это было плодомъ его собственныхъ размышленій. Отношеніе Бенеша къ Маса-

рику характеризуется той преданностью, которую создают полное проникновение идеалами и идеями учителя и вождя, принятыми отъ него, однако, не только въ силу его авторитета, но и выстраданныхъ собственнымъ сердцемъ и разумомъ.

Масарикъ нашелъ въ Бенешѣ сотрудника, который понимать съ полуслова его иногда лаконическую директиву, умѣлъ въ случаѣ надобности ее развить, а то и совершенно самостоятельно работать въ ея духѣ. «Сотрудничество съ докторомъ Бенешомъ, писалъ Масарикъ въ «Мировой Революціи», было легкимъ и плодотворнымъ. Съ нимъ не были нужны долгія объясненія: онъ былъ настолько политически и исторически образованъ, что достаточно было одного слова. Онъ самъ составлялъ и осуществлялъ планы до мельчайшихъ подробностей, весьма скоро онъ началъ съ успѣхомъ дѣйствовать вообще по собственной инициативѣ. Пока я былъ на Западѣ, мы часто выдались и все подробно вмѣстѣ продумывали. Наша корреспонденція при помощи писемъ и телеграммъ была довольно оживленной. Позднѣе, когда я былъ въ Россіи, Японіи и Америкѣ, мнѣ было уже трудно часто писать и телеграфировать. Тогда мы мыслили и дѣйствовали параллельно. Бенешъ росъ вмѣстѣ съ развитіемъ событий; въ рамкахъ заранѣе установленной программы онъ дѣйствовалъ вполне самостоятельно при осуществленіи поставленныхъ задачъ. Онъ обладалъ значительной инициативой и неутомимой трудоспособностью. Для насъ обонялъ было весьма полезно, что мы продѣлали горькій жизненный опытъ; мы оба выбились изъ бѣдности, а это всегда означаетъ, что человѣкъ приобрѣлъ практичность, энергію и отвагу».

Масарикъ былъ наивысшимъ авторитетомъ чешской революціи. Онъ былъ ея вождемъ, къ которому обращались взоры всѣхъ. Вѣра въ успѣхъ борьбы была вѣрой въ Масарика; и, наоборотъ, вѣра въ Масарика была вѣрой въ успѣхъ борьбы. Масарикъ приобрѣлъ этотъ авторитетъ трудами всей жизни, универсальностью своего мышленія, дальновидностью, уравновѣшенностью, связанной съ рѣшительностью, проявляющейся въ наиболѣе критическіе для чешскаго народа моменты, своей успѣшной дѣятельностью во время войны. Масарикъ вполне сознательно перенесъ свой авторитетъ и на Бенеша, по мѣрѣ того, какъ опредѣлялась цѣлесообразность методовъ его работы.

Нельзя одизко говорить о механическомъ только перенесеніи авторитета Масарика на Бенеша. Бенешъ и самъ создавалъ себѣ авторитетъ своей работой. Въ 1915 г. онъ пріѣхалъ во Францію, будучи всрѣченъ лишь кучкой довоенныхъ знако-

мышь, а въ 1916 г. онъ становится уже признаннымъ информаторомъ въ австрійскомъ вопросѣ. Въ 1917 г. его знанія и идеи высоко цѣнятся въ правительственныхъ кругахъ союзниковъ. Въ 1918 г. съ нимъ уже считаются, какъ съ крупнымъ государственнымъ дѣятелемъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ во время войны, особенно съ 1917 г., во время отсутствія Масарика изъ Запада, Бенешъ успѣшно руководилъ чешской политической работой во Франціи, Англии и Италіи, которая вмѣстѣ съ дѣятельностью Масарика въ Англии, Россіи и Соединенныхъ Штатахъ, съ усиліями Штефаника и героизмомъ легионеровъ въ Россіи, подготовила возрожденіе чехословацкаго государства.

Успѣхъ работы Бенеша невозможно себѣ представить безъ его личныхъ качествъ, о которыхъ мы говорили выше. Нельзя ее и понять, не принявъ во вниманіе его взгляды на проблемы, выдвинутыя войной, и его концепцію иностранной политики, которую онъ создавалъ въ духѣ ученія Масарика и его собственныхъ философско-политическихъ взглядовъ, и въ соотвѣтствіи съ особыми географическими и экономическими условіями чехословацкаго государства. Эта концепція лежитъ въ основѣ всей его дальнѣйшей дѣятельности въ качествѣ чехословацкаго министра иностранныхъ дѣлъ.

Исходной мыслью во всѣхъ суженіяхъ Бенеша о міровой войнѣ является національная чехословацкая идея. Любовь къ своему народу, ощущаемая сердцемъ и обоснованная разумомъ, была руководящей нитью всѣхъ его дѣйствій. Бенешъ пріикнукъ къ намъ націонализму сознаниемъ, которое видитъ въ культурѣ своего народа своеобразное проявленіе всечеловѣчности, чуждо шовинизму, и не знаетъ ненависти къ инымъ народамъ, умѣетъ цѣнить и уважать качества чужихъ культуръ, но которое съ тѣмъ большей настойчивостью стремится добиться всѣхъ необходимыхъ условій для наиболѣе полного развитія культуры своего народа.

Основу этой національной концепціи Бенешъ еще до войны выдѣлъ въ идеологию французской революціи, утверждавшей свободу человѣческой личности и, въ качествѣ логическаго слѣдствія, свободу отчужденныхъ народовъ, какъ коллективныхъ личностей. Этотъ взглядъ онъ не измѣнилъ и во время войны; въ 1916 г. онъ писалъ: «Одной изъ движущихъ силъ современной войны является національное чувство. Можетъ быть будетъ время, когда исторія назоветъ эту войну наивысшимъ пунктомъ въ развитіи современной національной идеи. Война должна быть увѣнчана осуществленіемъ національныхъ требованій малыхъ народовъ и въ то же время должна сломить

ларварский и преступный пфенкии национализмъ, нашедшій се-
въ выраженіе въ пангерманизмъ. Французская революція, де-
креировавшая права человѣка и гражданина, установила так-
же право каждой національности на жизнь».

Бенешъ такимъ образомъ сочеталъ національную идею съ идеей демократіи и въ примѣненіи демократическихъ принциповъ въ Европѣ видѣлъ гарантію будущей окончательной побѣды народной чехословацкой идеи. Еще до войны онъ былъ убѣжденъ, что «тотъ, кто хотѣлъ бы рѣшительно подавить ту или иную національность, остановить то или иное народное движеніе, долженъ былъ бы предвзрительно остановить развитіе прогресса», ибо «національная идея является одновременно и теіей свободы и прогресса». Въ 1908 году онъ писалъ, что «народы позволяютъ командовать собой и вести себя лишь до тѣхъ поръ, пока они недостаточно образованы: стоитъ имъ однако развитыя культуру, какъ они уже ни минуты не стерпятъ чужихъ приказаній и сейчасъ же начинаютъ національную борьбу». Изъ этого происходило его убѣжденіе въ необходимости борьбы за чехословацкую свободу, ибо, какъ онъ писалъ въ 1916 г. вь статью «Чешскій народъ и война съ Австро-Венгеріей», «какъ только народъ достигнетъ такого уровня самосознанія, какой мы видимъ у чешскаго, материальнаго благосостоянія, известной степени образованности вообще и въ частности политической сознательности, какъ только онъ создастъ внутри себя криккое и гармоническое цѣ-
тое, выражающееся въ известномъ равновѣсіи классовъ, такъ тотчасъ же становится невозможнымъ его угнетеніе, ибо онъ утверждаетъ себя независимымъ».

Война, такимъ образомъ, ничего не измѣнила въ его концепціи о взаимозависимости демократической и національной идеи. Наоборотъ, она скорѣе подтвердила вѣрность этой концепціи; помощь, которую чешскому народу во время войны оказала внутренняя сила демократической идеи, еще больше укрѣпила Бенеша въ его точкѣ зрѣнія. Міровая война представлялась ему весьма сложнымъ явленіемъ: «это, пишетъ онъ въ 1916 г., война экономическая, имперіалистическая, но это и борьба малыхъ народовъ за право на существованіе, борьба съ милитаризмомъ.. это борьба за свои права всѣхъ поработенныхъ, а слѣдовательно и поработенныхъ народовъ». Отношеніе чешскаго народа къ угнетавшей его Австріи представлялось ему, какъ борьба демократіи съ абсолютизмомъ. Поэтому, еще будучи въ Австріи, въ моменты острыхъ преслѣдованій,

Бенешъ въ своей статьѣ «Война и культура» писалъ: «Посягательство на проявленіе жизни національныхъ коллективовъ является такимъ же грѣхомъ и преступленіемъ, какъ посягательство на жизнь отдѣльной личности. Становится поперекъ пути народнымъ культурамъ, уничтожить ихъ и мѣшать имъ жить, является величайшимъ грѣхомъ, какой только знаетъ человѣческое общество». Уже тогда, рискуя навлечь на себя преслѣдованія, Бенешъ заявлялъ: «Если общепризнано право отдѣльной личности защищаться до послѣдняго предѣла и всѣми возможными средствами въ случаѣ угрожающей ея жизни опасности, то такое же поведеніе допустимо и для индивидуальности національной, т. е. для притѣсняемой народной культуры. Защищать народную культуру значитъ защищать одновременно и человѣческую индивидуальность; отсюда происходитъ для насъ моральное право защищать народную культуру всѣми возможными средствами, въ томъ числѣ и оружіемъ и массовымъ насиліемъ, т. е. войной».

Борьба въ защиту народной индивидуальности, за созданіе новыхъ лучшихъ условий народнаго существованія представлялась Бенешу, такимъ образомъ, въ видѣ проблемы моральной, какъ вопросъ чести для каждаго отдѣльнаго члена народа. Съ перваго момента объявленія войны онъ осозналъ моральный долгъ, выпавшій на долю каждаго чеха и въ своихъ лекціяхъ и статьяхъ не колеблясь повторялъ: «Война, насиліе, революція могутъ имѣть свое оправданіе. Больше того, онѣ являются обязанностью каждаго человѣка, какъ только кто-либо посягаетъ на духовную и физическую культуру егѳ народа». Эти взгляды привели его къ тѣмъ же выводамъ, къ которымъ пришелъ и Масарикъ; для Бенеша стала ясной необходимость борьбы за независимость народа, даже внѣ зависимости отъ того, насколько готовы державы Согласія поддерживать стремленія чешскаго народа и на сколько физически мощиѳе является непріятель. Отсюда же и происхожденіе его чистѳ Масариковскихъ словъ, которыя онъ написалъ въ 1916 г. въ книгѣ «Détruisez l'Autriche - Hongrie»: «Окруженные со всѣхъ сторонъ врагами, преслѣдуемые прусскими войсками, измученные, окровавленные шли мы, повинуясь голосу своего сердца... Европа не давала намъ достаточной гарантіи, что мы будемъ освобождены, а державы Согласія до сихъ поръ не высказались еще открыто, что стоятъ на нашей сторонѣ. Не дожидаясь никакихъ обѣщаній и гарантіи, мы все же стали на сторону державъ Согласія, ибо народъ Яна Гуса, Коменскаго, Котлара и Палашкаго не могъ дѣйствовать иначе. То, что

мы сдѣлали, было нашимъ долгомъ. Мы хотимъ показать на дѣлѣ вѣрность традиціямъ нашего прошлаго, провозгласить цѣли нашей борьбы».

Эти взгляды должны были привлекать симпатіи къ Бенешу въ его журналистской, политической, а позднѣе и дипломатической дѣятельности, равно какъ и методъ его работы, проникнутый духомъ реальности и отвращеніемъ къ какой бы то ни было неправдѣ. Возможно, конечно, что и Бенешу случалось въ теченіе своей інформаціонной и политической работы сослаться на неточное или преувеличенное сообщеніе, однако это никогда не дѣлалось съ умысломъ, изъ желанія ввести въ заблужденіе тѣхъ, кого онъ освѣдомлялъ. Поэтому событія по мѣрѣ ихъ развитія обычно подтверждали правильность того, на что Бенешъ ранѣе указывалъ союзнымъ журналистамъ, политикамъ и государственнымъ дѣятелямъ. Другой особенностью этого метода работы Бенеша была его скромность. Историкамъ будетъ трудно опредѣлить подлинный размѣръ работы Бенеша, ибо онъ охотно уступалъ другимъ матерьяль, добытый иногда съ огромнымъ трудомъ, лишь бы онъ былъ использованъ на благо чешскому народу.

Преданность идеѣ народной свободы и независимости побуждали Бенеша къ непрерывной критикѣ собственной работы. Такъ постепенно, въ сотрудничествѣ и въ полномъ согласіи съ Масарикомъ, вырабатывались основы иностранной политики Бенеша, которую онъ проводилъ во время войны и позднѣе, уже въ независимомъ чехословацкомъ государствѣ. Съ самаго начала Бенешъ сознавалъ, какую революцію означаетъ мировая война. «Весьма возможно, что мы не отдаемъ себѣ въ полной мѣрѣ отчетъ, писалъ онъ въ мартѣ 1916 г., какой важный историческій моментъ мы переживаемъ сейчасъ. Сейчасъ закладываются на рядъ столѣтій основы новой жизни Европы, а благодаря этому въ значительной степени и всего человѣчества; будущій миръ даетъ рядъ слагаемыхъ для новой европейской послѣвоенной культуры».

Еще будучи въ Австріи, Бенешъ, размышляя о моральномъ оправданіи войны, въ статьѣ «Война и культура», давалъ понять, въ чемъ, съ его точки зрѣнія, заключается оправданіе. По своему пріѣздѣ во Францію Бенешъ могъ формулировать проблему совершенно открыто: «Теперь уже нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, пишетъ онъ въ томъ же 1916 году, что подлинный смыслъ этой ужасной войны заключается въ новой организаціи центральной Европы, т. е. Польша, Австро-Венгрія и Балканы. Остальные вопросы, касающіеся хотя

бы Бельгii, Эльзаса-Лотарингii, колонiй и Турции, стоятъ въ извѣстномъ смыслѣ слова уже на второмъ планѣ. Подлинная борьба ведется за этотъ географическiй поясъ; развитiе военныхъ событiй указываетъ на это чѣмъ дальше, тѣмъ больше...»

Такимъ образомъ первымъ пунктомъ новой программы Бенеша было требованiе реорганизации Европы на новыхъ началахъ, на основѣ правъ самоопредѣленiя отдѣльныхъ, ранѣе поработанныхъ народовъ, и ихъ объединенiя. Въ первую очередь Бенешъ обратилъ, конечно, вниманiе на проблему объединенiя чеховъ и словаковъ, на уничтоженiе легенды о венграхъ, которая была препятствiемъ освобожденiя Словакии. Объ этомъ онъ писалъ много разъ, особенно же въ статьяхъ «Къ будущему миру», появившихся въ *Nation Tchèque* и «Чехословацкой Независимости»: «Венгры, писалъ Бенешъ, умѣютъ весьма ловко поддерживать и распространять незаслуженно созданныя о нихъ легенды... такимъ образомъ выставляя себя защитниками на полѣ права, справедливости и цивилизации. За этими кулисами Европа не видѣла, что этотъ, нѣкогда притѣсняемый, народъ давно превратился самъ въ народъ, притѣсняющiй другихъ и еще хуже, чѣмъ это дѣлали или дѣлаютъ нѣмцы. То, что дѣлаютъ венгры со словаками, начиная съ 1867 г., вообще не поддается описанiю...»

Бенешъ ясно сознавалъ, что объединенiе чеховъ и словаковъ необходимо осуществлять по братски. На эту тему онъ писалъ: «При современномъ международномъ положенiи вещей было бы трудно выдвинуть проблему независимой Чехiи безъ Словакии и совершенно невозможно проблему независимой Словакии безъ Чехiи. Иначе говоря, одинъ безъ другого мы не можемъ добиться осуществленiя своего национальнаго идеала. Но ни въ коемъ случаѣ нельзя говорить о первенствѣ того или другого. Тамъ, гдѣ позовешь чеха, пусть тебѣ отзовется одновременно и словакъ, сказали бы мы, парафразируя свободно слова Коллара».

Программа разрушенiя Австрiи была въ пониманiи многихъ дѣятелей державъ Согласiя въ извѣстномъ отношенiи лишь отрицательной. Поэтому наряду съ задачей разрушенiя Австрiи Бенешъ считалъ необходимымъ формулировать и положительную программу новой политической системы центральной Европы, которая служила бы плотной противъ пангерманизма и обеспечивала бы свободное и спокойное развитiе вновь возникающихъ государствъ. Уже во время войны онъ вѣрилъ въ возможность созданiя подобной системы въ центральной Европѣ и видѣлъ основу для нея въ сотрудниче-

ствѣ Чехословакіи, Югославіи и Румыніи; въ мартѣ 1918 года онъ уже прямо писалъ въ *Nation Tchèque*: «Мы всегда указывали на необходимость поставить съ востока Германіи преграду, которая бы задержала германскій *Drang nach Osten*, но мало говорили о конкретныхъ чертахъ этой будущей политической системы въ антигерманской центральной Европѣ, не давали подробностей, которыя бы могли доказать жизнѣнность и крѣпость этой системы. Было бы необходимо, однако, выяснить заранѣе, что связывало бы Чехію, Польшу и Румынію, доказать крѣпость будущаго чешско-румынско-югославянскаго союза и его тѣсную связь съ Италіей. Необходимо дальѣе намѣтить хотя бы основы экономическаго режима этихъ государствъ, систему ихъ будущихъ таможенныхъ взаимоотношеній и способы ихъ борьбы съ нѣмецкой конкуренціей. Наконецъ, необходимо набросать, по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, внутренній строй всѣхъ этихъ государствъ». Бенешъ, конечно, вполне ясно сознавалъ тѣ разногласія, которыя существовали между Югославіей и Италіей, тѣмъ не менѣе онъ всегда вѣрилъ, что существуютъ средства къ преодолѣнію этихъ разногласій и установкѣ дружественныхъ югославянско-итальянскихъ отношеній, чему онъ самъ всячески старался способствовать.

Съ момента начала заграничной работы Бенеша, передъ нимъ всталъ вопросъ о взаимоотношеніяхъ между новымъ чехословацкимъ государствомъ и его сосѣдями. Въ первую очередь онъ размышлялъ о будущей судьбѣ нѣмецко-австрійскихъ земель, особенно же о проблемѣ аншлусса съ Германіей. Въ статьяхъ, опубликованныхъ въ 1916 г. въ *Nation Tchèque* и «Чехословацкой Независимости», онъ посвятилъ этому вопросу много вниманія уже по той причинѣ, что страхъ державъ Согласія передъ аншлуссомъ австро-нѣмецкихъ земель съ Германіей приводилъ ихъ къ защитѣ плана такъ называемой «малой Австріи», во главѣ которой должны были остаться Габсбурги и которая бы состояла изъ трехъ автономныхъ государствъ — австрійскаго, чешскаго и венгерскаго. Онъ энергично противился плану «малой Австріи», намекая вмѣстѣ съ тѣмъ, что чехи при извѣстныхъ условіяхъ предпочтутъ аншлуссъ сохраненію габсбургской монархіи.

Интересовалъ Бенеша и вопросъ отношеній будущей Чехословакіи съ послѣвоенной Германіей. Въ интересахъ этихъ будущихъ взаимоотношеній и мира Европы, онъ указывалъ на неосуществимость нѣкоторыхъ союзническихъ предложеній, имѣвшихъ въ виду расторгненіе единства германской имперіи.

Бенешъ имѣлъ въ виду тѣ затрудненія, съ которыми Европѣ пришлось бы при этомъ считаться.

Въ такой же степени Бенешъ сознавалъ и затрудненія, которыя будутъ у Чехословацкаго государства съ Венгріей; онъ вовсе не закрывалъ глаза и на другія опасности, грозящія съ этой стороны. «...Нельзя забывать, что этотъ народъ, у котораго въ результатъ войны можетъ быть отнято то, что онъ въ теченіе столѣтій стремился построить и что вопреки всѣмъ законамъ справедливости удерживаетъ, — будетъ готовъ пожертвовать всѣмъ, лишь бы вернуть назадъ утраченное. Въ случаѣ, если бы онъ пострадалъ совмѣстно съ тѣми, кто явится его естественными союзниками, съ австрійскими и германскими нѣмцами, ясно, что при первомъ же удобномъ случаѣ онъ снова бы объединился съ ними прогнвъ тѣхъ, кто освобожденъ отъ ихъ притѣсненій. Поставить венгровъ рядомъ съ нѣмцами и дать имъ возможность заключить союзъ для веденія общей политики противъ тѣхъ, кто будетъ теперь освобожденъ отъ ихъ гнета, означаетъ — готовить повтореніе катастрофы».

Основы будущаго мира и безопасности Европы Бенешъ поэтому видѣлъ во взимномъ сотрудничествѣ союзниковъ. «Намъ всѣмъ было ясно, — писалъ онъ въ Nation Теліеке, что каждое изъ нашихъ будущихъ государствъ сможетъ существовать въ центральной Европѣ только въ томъ случаѣ, если будетъ связано съ тѣми, кто теперь воюетъ противъ Австро-Венгрии. Лишь такъ мы сможемъ преодолѣть Германію, что будетъ въ интересахъ Европы, такъ же, какъ и въ нашихъ».

Главнѣйшую основу будущей чехословацкой иностранной политики Бенешъ видѣлъ въ тѣсномъ сотрудничествѣ съ Франціей и Россіей. Сближеніе съ Россіей опредѣлилось для него съ того момента, когда Россія рѣшилась болѣе точно формулировать свою программу объединенной и независимой Польши въ предѣлахъ русской имперіи. Освобожденіе и независимость Польши, горжественно обѣщанныя въ 1917 г. Временнымъ Правительствомъ, точно такъ же, какъ и сотрудничество съ Польшей, Бенешъ считалъ, какъ уже мы говорили, предпосылками будущей независимости Чехословакин. Правда, онъ не скрывалъ опасности извѣстныхъ затрудненій, могущихъ въ первое время возникнуть между Чехословакіей и Польшей изъ-за границъ въ Тешинѣ; съ 1917 года, особенно же въ 1918 г. онъ стремился, къ сожалѣнію, безуспѣшно, устранить опасность возможнаго конфликта по этому поводу.

Бенешъ придавалъ кромѣ того большое значеніе сотрудничеству съ Италіей. Въ меморандумѣ отъ 24-го сентября 1918 г., поданномъ председателю совѣта министровъ Орландо, Бенешъ писалъ между прочимъ: «Отношенія Чехословацкаго государства къ Италіи явятся одной изъ главныхъ заботъ нашей политики въ будущемъ. Между Италіей и Чехіей существуетъ рядъ проблемъ, непосредственно или косвенно затрагивающихъ будущее нашихъ государствъ. Международное положеніе Италіи послѣ войны будетъ повелительно устремлять ее на востокъ, въ центральную Европу и на Балканы, для упроченія тамъ ея вліянія культурнаго и политическаго. Въ ея отношеніяхъ къ Румыніи и Сербіи Италія должна будетъ стремиться парализовать угрозу преобладающаго вліянія нѣмцевъ въ этихъ государствахъ, какъ и вообще на Балканахъ. У насъ, чехословаковъ, тѣ же интересы и потому мы—естественные союзники Италіи. Поэтому же безспорно необходимо соглашеніе Италіи и Югославіи, точно такъ же, какъ и добрыя сосѣдскія отношенія Румыніи и Югославіи. Наши экономическія отношенія съ Сербіей и Румыніей, съ которыми у насъ будутъ общія границы, такъ же, какъ дружественныя отношенія съ Италіей, заставятъ насъ стараться вліять на югославянъ, дабы они вели по отношенію къ своимъ сосѣдямъ мирную и сдержанную политику, подготовляющую окончательный крѣпкій итало-славянскій союзъ. Совмѣстно съ самой Италіей мы должны будемъ, въ тѣсномъ союзѣ съ нею, вести борьбу противъ всякой нѣмецкой экспансіи. Кромѣ того имѣется рядъ общихъ интересовъ экономическаго порядка, которые также опредѣляютъ наши отношенія».

Мы видимъ, такимъ образомъ, что Бенешъ еще во время войны выработалъ концепцію той иностранной политики, которую позднѣе ему пришлось проводить. Картину будущей политической системы центральной Европы онъ провидѣлъ уже въ началѣ 1918 г. «Что касается чешско-польскихъ, чешско-румынско-югославянскихъ и чешско-румынско-итальянскихъ отношеній, то для дружественности или даже вѣжливости серьезныхъ препятствій, писалъ Бенешъ въ томъ же меморандумѣ Орландо. Много разочарованій и неуспѣховъ было вызвано тѣмъ, что мы не договорились о вопросахъ важныхъ для насъ всѣхъ. Наоборотъ, какъ только мы избавились отъ нашихъ несчастныхъ споровъ, какъ только заключимъ подлинный союзъ, основанный на согласіи и искреннемъ демократическомъ сотрудничествѣ, мы можемъ заставить нѣмцевъ считатьъ съ нашимъ мнѣніемъ. Мы представляли бы силу въ 75 милліоновъ.

силу, которая бы могла превысить и 100 миллионъ, если бы съ нами пошли поляки».

Относительно будущаго государственнаго строя Чехословакии, Бенешъ по всей своей идеологiи, точно такъ же, какъ и Масарикъ, склонялся къ демократической республикѣ, однако никакихъ разговоровъ по этому вопросу съ иностранцами онъ не велъ, считая, что его рѣшать будетъ самъ народъ. Лучше всего выражаютъ его взгляды по данному вопросу слова, написанныя по поводу объявленія Чехословацкой республики: «Нашъ народъ, благодаря своему прошлому, культурному развитію и интеллектуальнымъ особенностямъ, вполне созрѣлъ для республиканскаго строя; не можетъ быть никакихъ сомнѣній въ томъ, что всякій иной режимъ вызвалъ бы въ Чехіи рядъ кризисовъ, ибо менѣе отвѣчалъ бы современнымъ условіямъ нашей національной жизни».

Въ то же время Бенешъ сознавалъ трудности предстоящихъ будущему демократическому государству задачъ. Бенешъ никогда не обманывалъ себя и не полагалъ, что съ возникновеніемъ независимости государства все необходимое будетъ уже сдѣлано. Въ дни, когда была одержана побѣда, онъ обращалъ вниманіе на новыя задачи. «Бываетъ часто трудно, писалъ онъ, добиться независимости, но было и будетъ всегда еще труднѣе удержать за собой эту независимость. Если по возвращеніи домой мы останемся такими, какими были передъ лицомъ враговъ на чужбинѣ, то мы можемъ быть увѣрены, что свою свободу удержимъ и достойно выполнимъ задачи, которыя предстоятъ гражданамъ свободной республики».

Отъ каждаго гражданина Чехословацкаго государства Бенешъ поэтому требовалъ того чувства отвѣтственности, которое онъ считалъ прежде всего долгомъ для себя. «Республиканскій режимъ, писалъ Бенешъ при возникновеніи Чехословацкаго государства, является логическимъ завершеніемъ нашего политическаго и государственнаго развитія за послѣднія столѣтія; онъ былъ единодушно принятъ въ чехословацкихъ земляхъ не въ увлеченіи радикализмомъ, охватившимъ теперь весь свѣтъ, а на основаніи разумныхъ размышленій относительно внутренняго и международнаго положенія. Но весь нашъ народъ, особенно же наше войско, должны сознать, что республиканскій строй и съ нимъ связанная демократическая система вызовутъ рядъ трудныхъ организационныхъ проблемъ. Все эти проблемы возможно разрѣшить съ успѣхомъ, лишь тогда, когда народъ обладаетъ развитымъ чувствомъ порядка и организацин, а республиканская система преподастся, какъ необ-

ходимую предпосылку, чувство ответственности каждого, кто выступаетъ въ общественной жизни».

Бенешъ началъ свою работу во время войны, какъ одинъ изъ виднѣйшихъ дѣятелей внутренней революціи. На немъ, въ роли секретаря Маффи, лежала трудная задача поддерживать связь съ границей и организовывать работниковъ для возможной революціи въ Чехіи. Но отъѣздъ за границу онъ не переставалъ интересоваться этой организаціей, такъ какъ видѣлъ въ ней лучшее средство сдерживать политическія движенія, которыя могли бы помѣшать борьбѣ чехословаковъ за границей. Именно этой организаціи онъ посылалъ во время войны свои информанціи. Эти информанціи, нынѣ напечатанныя, служатъ лучшимъ свидѣтельствомъ тому, что думалъ онъ о народѣ дома и о чемъ для него мечталъ. Бенешъ былъ однимъ изъ тѣхъ, благодаря кому убѣжденіе въ необходимости борьбы съ Габсбургами и вѣра въ успѣхъ этой борьбы крѣпли въ народѣ. Какое было въ это время отношеніе народа къ Бенешу, каковы были взаимоотношенія между такъ назыв. заграничной революціей и движеніемъ внутри чешскихъ земель, съ несомнѣнностью показываетъ письмо, переданное Бенешу 31 октября и подписанное за Чехословацкій національный совѣтъ въ Прагѣ его председателемъ Карломъ Крамаржемъ и вице-председателемъ Вацлавомъ Клофачемъ, и за Чешскій совѣтъ депутатовъ — его председателемъ Франтишкомъ Станькомъ, вице-председателемъ Густавомъ Габерманомъ, а также Антониномъ Калиной и докторомъ Шамаломъ.

Роль Бенеша во время войны была такъ исключительна по своему значенію и такъ успѣшна, что послѣ Масарика онъ явился наиболѣе активнымъ строителемъ государства. 14-го ноября 1918 г., когда за его подписью пошло союзнымъ правительствамъ сообщеніе объ организаціи временнаго правительства, въ которомъ онъ былъ назначенъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, особенно же 15 ноября и въ слѣдующіе дни, когда союзническія державы, начиная съ Франціи, признали существованіе временнаго правительства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и будущаго Чехословацкаго государства, Бенешъ могъ съ законной радостью и гордостью оглянуться на уже совершенный трудъ. Этимъ трудомъ начинается также новый этапъ въ жизни Бенеша, періодъ его дѣятельности въ роли министра иностранныхъ дѣлъ, ролю, которую онъ выполняетъ съ немалымъ упорствомъ, трудолюбіемъ, энергіей и успѣхомъ, чѣмъ все предыдущія

IV.

Идеологическія основы дѣятельности Бенеша.

Методъ работы Бенеша не измѣнился и впоследствии. Это все тотъ же аналитическій методъ, базирующій политическую дѣятельность на тщательно изученныхъ фактахъ. Бенешъ не строитъ никогда большихъ политическихъ и социальныхъ плановъ, дающихъ заранее конкретную картину будущаго устройства общества. Онъ остался въ политическихъ, экономическихъ и социальныхъ вопросахъ эмпирикомъ. Руководящей нитью для него въ этой работѣ служить точка зрѣнія современной демократіи, какъ она постепенно выработалась у него во время ученія за границей, но главнымъ образомъ подъ влияніемъ Масарика. Въ основѣ міровоззрѣнія Бенеша лежитъ идея человечества, являющаяся для него наряду съ идеей Бога, «наивысшей цѣнностью, которой міръ обладаетъ». Это міровоззрѣніе дуалистическое, отвергающее абсолютный гезисъ материализма и придающее огромное значеніе силамъ духовнымъ. Съ нимъ неразрывно связанъ у Бенеша философскій оптимизмъ, вѣрящій, что нашъ міръ, если и не является наилучшимъ, то можетъ стать имъ благодаря осознанію цѣнностей человечества и ихъ осуществленію въ частной, національной и мировой жизни. Поэтому Бенешъ придаетъ большее значеніе этикѣ, чѣмъ метафизикѣ, въ которой послѣвоенное поколѣніе, напуганное ужасами войны, часто ищетъ утѣшеніе, стремясь бѣжать отъ дѣйствительности, полной тревогъ, нищеты и страданій, въ міръ надреальный. Придавая такое огромное значеніе человечности, Бенешъ обращается прежде всего къ простому народу, которому тяжелѣе всего достается борьба съ жизненной реальностью.

Такимъ образомъ, міровоззрѣніе Бенеша связано съ вѣрой въ прогрессъ и подтвержденіе для нея онъ находитъ въ наблюденіяхъ надъ эволюціей человечества. Изъ вѣры Бенеша въ духовныя силы человѣка, въ плѣсообразность его труда и возможность для него вліять на развитіе общества, вытекаютъ его непріятіе теорій непреложныхъ и неизмѣнныхъ историческихъ и социологическихъ законовъ, характерной для довоеннаго научнаго социализма и современнѣхъ ленинизма, фашизма и нитлеризма, прихотливыхъ къ культу силы. Высокая идея гуманизма, покоящагося на понятіяхъ братства и равенства, приводитъ Бенеша къ принципиальному отрицанію какихъ бы то ни было теорій о неравноцѣнности расъ, классовъ или личностей. Поэтому онъ особенно борется съ большевистской теоріей

борьбы классовъ. Онъ хорошо сознаетъ стремленіе различныхъ классовъ къ экспанси, но, въ отличіе отъ теоріи марксизма, утверждаетъ, что развитіе общества идетъ не къ ихъ сліянію, а ко все большей ихъ дифференціаціи. Учиывая неравенство, возникающее благодаря различію способностей, образования и пр. условий, Бенешъ защищаетъ равенство не механическое, а такое, которое обезпечиваетъ каждому возможность добиваться того, чего достигаютъ остальные.

Исходя изъ этихъ положеній, Бенешъ формулируетъ свою теорію конструктивнаго социализма, которая должна явиться осуществленіемъ демократіи не только въ политической, но и въ экономической жизни. Это социализмъ не догматическій, считающійся съ дѣйствительностью, исходящій изъ тенденцій общественной эволюціи и стремящійся дать имъ опредѣленное направленіе. Это социализмъ эмпирической, методъ его не связанъ апріорными концепціями, а вѣхами для него являются высшія понятія человѣчности, равенства и братства. Центрѣ тяжести этотъ социализмъ переноситъ съ теоріи на практику, на моральную сторону социалистическаго убѣжденія, справедливо указывая, что сущность лучшей, социалистической организаціи общества заключается не въ созданіи социалистическихъ учреждений, а въ моральномъ, духовномъ перерожденіи людей.

Гуманизмъ для Бенеша не является абстрактнымъ понятіемъ, скрывающимъ подъ собою обезличенное человечество, столь дорогое космополитическому духу. Высоко стояя цѣнность личности, точно такъ же онъ расцѣпляетъ и среду, въ которой дѣйствуетъ каждая личность — народъ, который въ свою очередь особой своей культурой способствуетъ развитію богатства міровой культуры. Поэтому Бенешъ считаетъ національное чувство и народную идею творческими силами человѣческаго развитія; отсюда происходятъ его націонализмъ, его страстная преданность идеѣ национальной культуры. Философіей человѣчности онъ обосновываетъ свой горячій патріотизмъ.

Какъ для Масарика гуманность никогда не сливалась съ толстовской идеей непротівленія злу, такъ же не адекватна ей она и для Бенеша. Бенешъ отвергаетъ теоретическій пацифизмъ. Книга «Война и культура», написанная имъ во время войны, была горячей защитой права народа на войну и революцію, если на карту поставлено его существованіе. Защита народа и государства для него такая же сама собою разумѣющаяся необходимость, какъ и борьба за демократію.

Міровоззрѣніе Бенеша, философски обоснованное, покоящееся на анализѣ дѣйствительности и на учетѣ тенденцій обще-

ственного развитія, не могло быть подорвано происходящимъ сейчасъ въ рядѣ государствъ кризисомъ демократіи. Бенешъ не отрицаетъ, что демократія въ настоящее время переживаетъ кризисъ. Однако, по его мнѣнію, это кризисъ не демократическаго мышленія, а лишь демократическихъ учреждений, происходящій изъ недостаточной политической сознательности массъ и недостатка демократическихъ вождей.

Поэтому Бенешъ ставитъ на первый планъ воспитаніе и школу, воспитаніе какъ массъ, такъ и демократическихъ вождей. Демократія для него означаетъ прежде всего непрерывную повседневную работу, опирающуюся на научное познаніе и осуществляемую при помощи научныхъ методовъ. Такъ какъ наука есть ничто иное, какъ исканіе правды, то она требуетъ и отъ демократіи честности и прямоты. Бенешъ отвергаетъ въ политикѣ макіавеллизмъ. Въ примѣненіи демократическихъ методовъ въ политикѣ заключается наиболѣе разумное лѣченіе кризиса демократіи. Онъ особенно подчеркиваетъ роль демократическихъ вождей, такъ какъ придаетъ огромное значеніе личности, которая своей дѣятельностью можетъ дать извѣстное направленіе развитію общества.

Демократическимъ мировоззрѣніемъ Бенеша опредѣляется его отношеніе ко всѣмъ вопросамъ внутренней политики. Изъ него происходитъ его работа по укрѣпленію истинно братскаго объединенія чеховъ и словаковъ, его взглядъ на положеніе меньшинствъ въ республикѣ, на регулированіе въ духѣ демократіи и социализма экономическихъ отношеній. Онъ стоитъ за націонализацию крупныхъ промышленныхъ предпріятій, за участіе въ нихъ государства, но одновременно и за индивидуальные методы управленія ими. Онъ не вѣритъ, чтобы къ экономической демократіи и социализму можно было дойти путемъ революціи. Революція сама по себѣ не заключаетъ въ себѣ государственно-конструктивнаго духа, если она не подготовлена предшествующимъ развитіемъ и прежде всего революціей духа. Онъ вовсе не противъ революціи, если эти предпосылки выполнены; однако въ виду того, что созданіе предпосылокъ социальной революціи требуетъ гораздо болѣе глубокаго перевоспитанія, чѣмъ для революціи политической, онъ требуетъ надличія образованности и опыта прежде всего отъ тѣхъ, кто стремится создавать новую экономическую систему. Отвергая всякій культъ голой силы и видя въ демократіи систему сотрудничества партій, Бенешъ естественно защищаетъ принципъ національнаго правительства и особенно участіе социалистовъ въ правительствѣ. Принципъ демократической свободы и гуманно-

сти означаетъ для него уваженіе къ чужому мнѣнію и терпимость во всѣхъ отношеніяхъ, особенно же въ области вѣры.

Со взглядомъ Бенеша на методы политической работы и его демократическими взглядами тѣсно связана вся его концепція иностранной политики. И въ ней онъ считается прежде всего съ дѣйствительностью, не забывая при этомъ никогда высокихъ идеаловъ демократіи и человѣчности. Онъ считается при этомъ не только съ географическими и экономическими факторами, но и съ чувствами, съ народной традиціей, каковой у чехословаковъ является прежде всего потребность сердечной связи съ славянскими народами и съ тѣми изъ народовъ, которые содѣйствовали строительству чехословацкаго государства.

Анализъ всѣхъ этихъ элементовъ приводитъ Бенеша къ убѣжденію, что главной опорой чешской иностранной политики была и будетъ всегда Франція; не меньшей опорой, по его мнѣнію, можетъ быть и Россія. Численность и культурная зрѣлость нѣмецкаго народа, борьба и сотрудничество съ нимъ въ прошломъ привели Бенеша къ убѣжденію въ необходимости корректныхъ взаимоотношеній съ Германіей. Не меньшее значеніе придаетъ онъ Англій и Италіи уже въ виду той роли, которую онѣ играли во время войны; что же касается Италіи, то дружественныя отношенія съ нею диктуются еще и общностью политическихъ и экономическихъ интересовъ. Значеніе Польши, которое, по мнѣнію Бенеша, еще возрастетъ, создаетъ у него желаніе, дабы взаимныя отношенія между Чехословакіей и этимъ славянскимъ государствомъ были столь же дружественны, какъ и отношеніе съ югославянами и какъ тѣ, которыя бы онъ хотѣлъ видѣть съ болгарами, чье примиреніе съ югославянами является его самымъ страстнымъ желаніемъ. Практическая необходимость замѣнить дунайскую австро-венгерскую имперію новой политической системой, которая бы обезпечила безопасность малымъ народамъ, живущимъ въ центральной Европѣ, приводитъ Бенеша къ концепціи политической центрально-европейской системы, стержнемъ которой была бы дружба Чехословакіи съ Югославіей и Румыніей. Этотъ союзъ малой Антанты, который былъ вначалѣ скорѣе оборонительнымъ, перешелъ съ теченіемъ времени въ союзъ активной политики во всей центральной Европѣ. Такой взглядъ выразился въ организационномъ статутѣ Малой Антанты, рассчитанномъ въ будущемъ на сотрудничество и иныхъ государствъ. Бенешъ справедливо убѣжденъ, что данная концепція иностранной политики является единственно возможной для Чехословакіи, тогда какъ иная концепція, напримѣръ, такъ называемая славянская,

каталкивается сейчас же на препятствія, коренящіяся въ до сих поръ существующихъ взаимоотношеніяхъ отдѣльныхъ славянскихъ народовъ или въ сопротивленіи остальной Европы, которая, конечно, опасалась бы столь огромнаго фактора, какимъ являлось бы объединенное славянство.

Демократическое мировоззрѣніе, утверждающее сотрудничество національных культуръ и государствъ во имя человечества, приводитъ Бенеша къ признанію цѣнности той международной, которая уважаетъ каждый народъ и его особенно сти. Въмѣстѣ съ Палацкимъ и Масарикомъ онъ вѣрится въ объединеніе человечества, несмотря на теперешнее стремленіе отдѣльныхъ государствъ къ замкнутости и автаркіи, подъ влияніемъ современнаго экономическаго кризиса. Поэтому онъ является рѣшительнымъ приверженцемъ Лиги Націй, этой носительницы демократической международной идеи. Въмѣстѣ съ тѣмъ въ Лигѣ Націй онъ видитъ учрежденіе, которое, по преодолѣніи извѣстныхъ внутреннихъ затрудненій, могло бы стать для Чехословацкаго государства гарантіей безопасности. Развитие идеи интернационализма Бенешъ видитъ не только въ широкомъ общеніи народовъ при помощи различныхъ техническихъ средствъ, но и въ ростѣ стремленія разрѣшить взаимные споры путемъ международнаго третейскаго суда. *

Въ духѣ этой концепціи Бенешъ и работаетъ въ теченіе всего того времени, что онъ состоитъ чехословацкимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. Система, являющаяся гарантіей безопасности Чехословацкаго государства, - - это прежде всего мирные договоры и постановленія конференцій, касающіяся главнымъ образомъ габсбургскаго вопроса; далѣе, это пактъ Лиги Націй, который даетъ по крайней мѣрѣ частичную возможность защиты въ случаѣ нападенія; затѣмъ идутъ весьма важные договоры Малой Антанты 1920-22 года, дополненные организационнымъ статутомъ Малой Антанты (1933 г.), союзный договоръ съ Франціей 1924 г. и гарантійный пактъ, заключенный между Франціей и Чехословакіей въ Локарно въ 1925 г.; далѣе система арбитражныхъ договоровъ, которые Чехословакія заключила со всѣми сосѣдями, за исключеніемъ Венгрии; наконецъ, это договоръ о ненападеніи, подписанный Россіей, Турціей, Румыніей, Югославіей и Чехословакіей въ 1933 г. *).

Ярославъ Папоушекъ.

*) Система этихъ договоровъ недавно, въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года, дополнена договоромъ о взаимной поддержкѣ съ Сов. Россіей
Ред.

Правда демократии

«Свобода, равенство, братство».

Осенью прошлого года в Праге состоялся VIII-ой Международный Философский Конгресс, в программу которого в качестве одной из главных тем стояла проблема кризиса демократии. Вполне понятно, что «группа Д», посвященная этой теме, была особенно многолюдная. Несмотря на злободневность темы, дебаты группы сохранили характер философского спора. Этому в значительной мере способствовало то обстоятельство, что советские философы на конгрессе не прибыли, а члены германской делегации уклонились от участия в «группе Д», так что в качестве критиков демократии выступали исключительно итальянцы (E. Bordini, U. Redano, G. DeI Veschio), подчеркивавшие исторические заслуги демократии и либерализма фашистского государства, тогда как французы (J. Barthélemy, Y. Basch, J. Chevalier, G. Guy-Grand, H. Gouhier, D. Parodi), сплоченной группой выступавшие на стороне демократии, в свою очередь не отказываясь от признания заслуг и интереса фашистского опыта. С другой стороны, в отличие от чехов (E. Benes, J. Kozák), твердо оборонявших позиции демократии, американцы (W. Montague, T. Smith) подчеркивали историческую обусловленность демократических учреждений и ограничивались лишь защитой духа демократии и того, «что осталось от либерализма» в наше время. Не входя здесь в обсуждение этих поучительных дебатов, я рѣшился предложить читателю несколько размышлений, ими вызванных.

1.

Дать отвлеченное понятие демократии, которое охватывало бы все известные до сих пор виды демократического строя и исключало все иные, недемократические порядки, повидимому столь же невозможно, сколь и бесплодно. Как и все историческое, демократия может быть понята только «историческим» же понятием, особенность которого заключается в том, что оно не только конкретно, т. е. направлено на индивидуальные

формы историческаго бытія, но и само въ какой то сугубой мѣрѣ обусловлено злобою того дня, когда высказывается. «Актуальность» есть безспорно одна из категорій историческаго знанія, въ которомъ познаваемое прошлое всегда какой-то живой нитью связано съ познающимъ настоящимъ, такъ что всякій историческій трудъ есть не только повѣствованіе о прошломъ, но одновременно и раскрытіе породившаго его настоящаго. Поэтому и на вопросъ «что такое демократія?» въ разные эпохи давался разный отвѣтъ, и для всякаго, чувствующаго своеобразіе историческаго предмета и историческаго знанія, нѣтъ никакого соблазна въ томъ, что отвѣты эти не покрывали другъ друга, но въ разные періоды исторіи выдвигали тѣ моменты внутри идеи демократіи, которые для ихъ времени освѣщались лучами актуальнаго. Что же актуально сейчасъ въ понятіи демократіи? Какой моментъ идеи демократіи выдвигаетъ наше время?

Если на пражскомъ конгрессѣ и не было выдвинуто опредѣленіе демократіи, которое всѣхъ бы удовлетворило, то все же въ достаточной мѣрѣ выяснилось, что въ настоящее время является въ идеѣ демократіи актуальнымъ въ выше указанномъ смыслѣ слова. Тотчасъ же послѣ войны, когда побѣдоносная демократія, казалось, прочно утвердилась во всемъ мірѣ, въ свѣтѣ актуальности стояло начало народнаго суверенитета, или «воли народа», которой должна была быть передана вся полнота власти, до сихъ поръ дѣлившаяся между народными представителями и монархіей «Божьей милостью». Какъ существенныя слагаемыя демократіи, ея послѣднимъ словомъ почитались всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право, пропорціональная система представительства, подчиненіе исполнительной власти законодательной, отиѣна всякаго рода отличій и привилегій, связанныхъ съ принадлежностью къ опредѣленному сословію, классу, вѣроисповѣданію, національности. Демократія означала также допущеніе возможно большаго количества гражданъ не только къ управленію, но и къ пользованію накопленными культурными благами и народнымъ доходомъ («единая школа», обеспеченный минимумъ заработной платы, рабоче страховаіе). Изъ трехъ слагаемыхъ классической формулы «свобода, равенство и братство», начало равенства стояло безспорно на первомъ мѣстѣ, при чемъ совсѣмъ не случайно авторъ одной изъ наиболѣе послѣдовательныхъ демократическихъ конституцій послѣвоеннаго времени Г. Кельзенъ выдвинулъ въ качествѣ центральнаго момента самой идеи демократіи ея «релятивизмъ», т. е. равенство передъ лицомъ государствен-

ной власти не только всѣхъ гражданъ, но и всѣхъ исповѣдуемыхъ ими вѣръ или идеологій, полную нейтральность государственной власти въ вопросахъ міровоззрѣнія, отказъ ея отъ утверждения какой бы то ни было идеологій какъ истинной, придавая гѣмъ самымъ равенству не только правовой смыслъ, но и духовный, т. е. понимая демократію какъ предѣль характернаго для XIX вѣка процесса лициализованія государства.

Сейчасъ, когда демократія обращена не противъ несуществующаго уже абсолютизма, а противъ «тоталитарнаго» государства, центр тяжести внутри идеи демократіи не могъ не перемѣститься. Вѣдь и въ совѣтскомъ государствѣ такъ же, какъ и въ государствѣ фашистскомъ и националь-соціалистическомъ, власть оправдываетъ себя не «Божьей милостью», а «волей народа». И если взять за основное опредѣленіе демократіи, изъ котораго пытался на пражскомъ съѣздѣ исходить Ж. Бартелеми («демократія есть порядокъ, въ которомъ возможно большее количество членовъ группы участвуетъ возможно болѣе прямымъ способомъ въ руководствѣ общими интересами»), то придется признать, что современные диктатуры, въ которыхъ самая юная молодежь привлечена къ участию въ управленіи, въ большей мѣрѣ отвѣчаютъ этому опредѣленію, чѣмъ многія старыя демократіи. Въ своемъ извѣстномъ памфлетѣ «Staat, Bewegung und Volk», Карль Шмиттъ, одинъ изъ главныхъ теоретиковъ тоталитарнаго государства въ Германіи, справедливо видитъ въ треугольникѣ «государство-движеніе-народъ» (въполнѣ соответствующемъ совѣтскому треугольнику «государство-партія-пролетаріатъ») существо новаго государственнаго строя въ Германіи. Если абсолютизмъ, управляя съ помощью бюрократіи, держалъ народъ возможно дальше отъ государства, то тоталитарное государство, напротивъ, стремится принудительно вогнать народъ въ государство, пользуясь для этого «движеніемъ», т. е. наиболее многочисленной и наиболее активной партіей, выросшей внутри демократическаго государства, но и переросшей рамки многопартійной системы. Это усвоеніе тоталитарнымъ государствомъ начала народнаго суверенитета (какъ его внѣшняго титула такъ и его эмпирической видимости) было особенно подчеркнутаемо въ пражскихъ дебатахъ, и при томъ съ обѣихъ сторонъ, въ особенности Д. Пароди и У. Релано, которые одинаково настаивали на «народномъ характерѣ современныхъ антипарламентарныхъ режимовъ», на томъ, что они продолжаютъ тенденцію демократическаго государства, именно тенденцію «вхожденія народа въ свою всеобщность, въ жизнь государства».

Нельзя говорить и о принципиальномъ возстановленіи въ тоталитарномъ государствѣ бытового неравенства, несмотря на все утверженіе Муссолини іерархическаго начала и на всё ограниченія равенства для подлежащихъ искорененію обитателей СССР и Третьей Имперіи. Общедоступность культурныхъ благъ и доля участія въ народномъ доходѣ широкихъ массъ населенія въ Италіи не уменьшились по сравненію съ предшествовавшимъ періодомъ демократіи, а скорѣе увеличились, сколь бы ни утверждали противнаго тѣ критики фашизма, которые хотятъ видѣть въ немъ непремѣнно одностороннюю «побѣду буржуазіи». Не уменьшались они и въ Германіи, а также и въ СССР, если даже и вѣрно, что сокращеніе народнаго дохода и увеличивающіяся вооруженія уменьшили абсолютный доходъ широкихъ массъ гражданъ. Но съ другой стороны, общій стиль «демократической культуры», становящейся культурой массовой, съ ея общедоступностью школы и послѣшкольнаго образованія, общедоступностью музеевъ, книги и прессы, искусства, путешествій и зрѣлищъ, съ характернымъ для нея уравненіемъ быта, — все это въ связи съ невиданными успѣхами техники и развитіемъ спорта, — въ тоталитарномъ государствѣ не менѣе ярко выражены, чѣмъ въ государствахъ демократическихъ. И Италія и Совѣтская Россія въ этомъ отношеніи сдѣлали не меньшіе успѣхи, чѣмъ Соед. Штаты или Англія. Скорѣе даже напротивъ: демагогическій характеръ власти въ тоталитарномъ государствѣ заставляетъ ее не тормозить, а ускорять темпъ демократизаціи культуры, на немъ какъ бы отыгрываться и утверждать себя самое.

Въ одномъ только пунктѣ тоталитарное государство не продолжаетъ эгалитарной инерціи государства демократическаго. Оно завѣдомо и страстно отрицаетъ равенство вѣры и убѣжденій, или нейтральность государства, безразличіе его къ духовнымъ проблемамъ. Напротивъ, оно требуетъ цѣлостнаго убѣжденія, глобальной вѣры, устанавливаетъ монополию единой идеологіи. Не подтверждаетъ ли это правильности опредѣленія Г. Кельзаномъ демократіи какъ «духовнаго релятивизма»? Чисто формально — да, по существу же и въ этомъ пунктѣ тоталитарное государство есть пороженіе демократіи, вѣрнѣе продуктъ ея уже ранѣе начавшагося вырожденія. Ибо то, что Г. Кельзенъ считаетъ самымъ существомъ демократіи, есть въ дѣйствительности лишь ея срывъ, крошій въ себѣ уже зародыщъ послѣдующей тоталитарности. Отсутствие вѣры, «агностицизмъ» государства по отношенію къ духовнымъ и даже социальнымъ проблемамъ, который однихъ идеологовъ демокра-

тин заставлялъ видѣть въ «компромиссѣ», другихъ въ «политикѣ малыхъ дѣлъ» (Т. Масарикъ) характерный для нея способъ дѣйствія, былъ въ глазахъ фашистовъ, а еще ранѣе въ глазахъ правовѣрныхъ марксистовъ, главнымъ грѣхомъ демократическаго государства, утратившаго въ своемъ формализмѣ всякое собственное положительное содержаніе. Съ этимъ именно главнымъ грѣхомъ демократіи связаны и всѣ остальные симптомы ея оплошенія или опощленія: ея ставка на число, равеніе ея на средняго человѣка, уклонъ ея по линіи наименьшаго сопротивленія, въ силу чего идеаль мира и солидарности слишкомъ часто оборачивался прикрытіемъ для обезпеченной мѣщанской ксности, а свобода выборовъ слишкомъ часто оборачивалась въ «слѣное голосованіе» разъяреннаго или напуганнаго мѣщанина. Неудивительно, что тоталитарное государство, которое опирается именно на этого самаго мѣщанина, явилось въ дѣйствительности не преодолѣніемъ, а лишь завершеніемъ «релятивизма» демократіи, хотя и «діалектически» опрокинувшагося въ немъ въ свою видимую противоположность.

Разумѣется, тоталитарное государство нельзя обвинить въ агностицизмѣ, оно напротивъ исполнено фанатической вѣры, есть и идеократія, утверждающая самодержавіе одной, признанной за непогрѣбимую, идеологии. Но въ чемъ заключается содержаніе этой идеологии? Въ послѣднемъ счетѣ — въ собственномъ самоутвержденіи, въ абсолютированіи государства какъ такового. Безвѣріе государства опрокинулось здѣсь въ вѣру, предметомъ которой является однако само же государство, голое обожествленіе власти. Въ коммунистическомъ государствѣ духовный релятивизмъ демократіи смѣнился активнымъ богоборчествомъ, сопровождаемымъ суевѣрнымъ поклоненіемъ Молоху техники, чудеса которой должны низвести Царствіе небесное на землю. Но когда чисто отрицательный пафосъ богоборчества изсякъ, а техника обнаружила всю свою безплодность безъ управляющей ею человѣческой личности, осталось голое обожествленіе власти какъ таковой, имперіализмъ въ чистомъ его видѣ, го самое лишенное всякаго внутренняго, положительнаго содержанія язычество, противъ котораго въ свое время возсталъ христіанство. Не менѣе языческой является и національ-соціалистическая идеология съ ея абсолютированіемъ природнаго факта расы и ея національнымъ мессіанизмомъ, столь напоминающая даже во внѣшнихъ подробностяхъ своего евгеническаго законодательства идеологию поздняго Юпанзма, отъ котораго уже отзвѣлъ религиозный и вселенскій гудъ пророковъ. По сравненію съ коммунизмомъ и національ-соціализ-

момъ фашизмъ представляется опять-таки умѣреннѣе. Официальный представитель итальянской делегации на пражскомъ съѣздѣ проф. Орестано счелъ даже нужнымъ демонстративно подчеркнуть въ своей привѣтственной рѣчи съѣзду, что «фашистское правительство не имѣетъ никакой официальной философіи, которую оно предписывало бы своимъ гражданамъ». Но если такъ, то что означаетъ отрицаніе фашизмомъ «агностицизма» государства, его требованіе, чтобы государство было проникнуто единой вѣрой? Въ сущности лишь то, чтобы правительство, объединенное общимъ пониманіемъ государства и его задачъ, имѣло широкую программу дѣйствія, твердо знало, чего хочетъ, и сильной рукой проводило эту свою программу въ жизнь. Безспорно, этого нѣтъ въ такъ наз. коалиціонной демократіи, силою вещей вынужденной вмѣсто осуществления великихъ дѣлъ пробавляться очередной законодательной вермишелью, которая только и можетъ пройти черезъ узкія ворота междупартійнаго компромисса. Но связана ли эта слабость исполнительной власти, точнѣе ея косность по отношенію къ великимъ проблемамъ соціальной жизни и духа, съ самымъ существомъ демократіи? Примѣръ Рузвельта говоритъ противъ этого заключенія. И демократическое правительство можетъ имѣть широкую программу великихъ дѣлъ и волю проводить ихъ въ жизнь.

2.

Здѣсь мы касаемся собственно главнаго пункта въ проблемѣ демократіи, наиболѣе актуальнаго нынѣ момента въ ея идее, который составляетъ ея высшее для нашего времени оправданіе и неотъемлемую для нынѣшнихъ ея приверженцевъ лѣнность, но вмѣстѣ съ тѣмъ и той ея внутренней опасностію, которую ей сейчасъ предстоитъ преодолѣть и которая, ставши въ рядъ государствъ дѣйствительностью, пришла здѣсь къ фактическому срыву демократіи. Опасность эта заключается въ томъ, что начало равенства, которое внутри идеи демократіи является лишь однимъ изъ ея моментовъ, сохранившимъ свою жизненность лишь въ своемъ постоянномъ взаимонапряженіи къ другимъ ея моментамъ вытѣснило эти послѣдніе и абсолютировало себя. Въ результатъ и получилось, съ одной стороны, то «господство числа», которое составляетъ главный предметъ критики нынѣшнихъ политическихъ формъ и самаго культурнаго стиля демократіи, а съ другой стороны, та «нейтральность» демократіи и ея «релятивизмъ», который не только не составляетъ

демократии, но, напротив, является последней причиной ее духовного безволия, ведущего ее на наших глазах к самоуничтожению. Потому то и выдвигается ныне самъ собою, как наиболее сейчас актуальный, моментъ свободы, которымъ только демократія и можетъ сейчасъ въ послѣднемъ счетѣ оправдать себя передъ лицомъ новаго своего противника — тоталитарнаго государства.

Нужно ли говорить, что свобода эта не есть абстрактный атомизмъ классическаго либерализма, то статическое самодовлѣніе отдѣльныхъ человѣческихъ единицъ, единственная связь которыхъ другъ съ другомъ дается хозяйственной конкуренціей? Въ идеѣ демократіи, напротивъ, свобода остается только «моментомъ», жизненность и правда котораго утрачивается въ отрывѣ его отъ другихъ моментовъ той же идеи — равенства и братства. Демократическая свобода тѣмъ именно и отличается отъ чисто отрицательной свободы либерализма, что она понимается, какъ творческая сила, потенциально заложенная въ каждомъ человѣкѣ и то расцвѣтающая въ немъ, то отмирающая. Она означаетъ уваженіе къ личности каждаго отдѣльнаго человѣка (предпосылкой тоталитарнаго государства является напротивъ ее игнорированіе, переходящее временами въ прямое и явное къ ней презрѣніе) и, значитъ, такое направленіе всего законодательства и управленія, которое имѣетъ въ виду обезпеченіе каждой личности возможно полнаго развитія заложеннаго въ ней заплата свободы, т. е. ее творческихъ силъ. Въ этомъ и состоитъ положительный характеръ свободы какъ момента внутри идеи демократіи, ее отличіе отъ чисто отрицательной свободы «классическаго» либерализма и вмѣстѣ съ тѣмъ сопряженность ее съ моментомъ социальной солидарности («братство»). Совершенно правильно подчеркнул въ пражскихъ дебатахъ тотъ же Ж. Бартеlemi христианское происхожденіе этого исходнаго, по его мнѣнію, начала демократіи — «уваженія къ человѣку и его достоинству», которое демократія стремится осуществить и въ бытовыхъ отношеніяхъ между людьми и въ государственной жизни и съ затненія котораго въ туманѣ партійной демагогіи началось въ сущности крушеніе демократіи и въ Россіи, и въ Италіи и въ Германіи.

Но именно въ силу этого положительнаго характера демократической свободы не точно звучитъ также утвержденіе Бартеlemi, что «демократія индивидуалистична». Напротивъ, демократія стоитъ за связи между людьми, и ее солитарная свобода есть «связанная» свобода, а не свобода, не ограниченная ничѣмъ, кромѣ какъ оборотомъ элементарной безопасности. Однако и связь

занная свобода должна всегда оставаться свободой, т. е. имѣть въ виду развитіе личности отдѣльнаго человѣка, его инициативы, предприимчивости и ответственности, его творчества, и потому какъ въ духовной области такъ и въ хозяйственной содѣйствовать узамъ, повышающимъ эту положительную свободу человѣка, и рвать всѣ тѣ узы, которые въ современной хозяйственной жизни, нарушая солидарность цѣлаго, вызываютъ отмирание хозяйственной жизни. Такъ наз. несвязанная свобода въ хозяйственной жизни ведетъ необходимо, сама собою, при современномъ строеніи капитализма къ узамъ, и поэтому дилемма нынѣшней хозяйственной жизни заключается не въ томъ, чтобы или вернуться къ несвязанному хозяйству или связать хозяйство планомъ, а въ томъ, чтобы замѣнить узы, препятствующіе хозяйственному творчеству, узамъ, способствующими его росту. Объ этомъ прекрасно говоритъ Рузвельтъ въ своей книгѣ «На нашемъ пути» (1933), въ которой онъ формулируетъ программу своей плановой экономической политики. Та же идея лежитъ въ основѣ извѣстнаго плана Де Мана, принятаго въ 1933 г. бельгійской социалистической партіей. Съ другой стороны, въ своемъ извѣстномъ изложеніи фашизма (въ «Итальянской Энциклопедіи») эту же идею положительной, сопряженной съ солидарностью и потому связанной свободы развивающей и Муссолини, по странному противорѣчію принимая ее однако исключительно для хозяйственной жизни и опредѣленно отвергая ее для жизни духовной, — еще одинъ примѣръ того, что та безспорная конструктивность, которая выдѣляетъ итальянскій фашизмъ среди всѣхъ другихъ формъ тоталитарнаго государства, объясняется наибольшимъ усвоеніемъ имъ идеями наслѣдія демократіи. Но всѣ тѣ аргументы, которыми свобода въ ея положительномъ смыслѣ (т. е. свобода, сопряженная съ братствомъ) обосновывается въ хозяйственной жизни, въ еще большей степени примѣнимы къ жизни духовной, гдѣ монополія государства является еще болѣе гибельной. Хозяйственная и духовная жизнь такъ тѣсно связаны между собою, что свобода въ духовной области неминуемо уничтожается тогда, когда государство объявляетъ себя неограниченнымъ и монопольнымъ собственникомъ на орудія производства, такъ же, какъ и хозяйственная свобода не можетъ быть удержана тамъ, гдѣ государство устанавливаетъ неограниченную монополию опредѣленной идеологіи, т. е. идеократію. Если фашизмъ будетъ последовательно развивать начало положительной свободы въ хозяйственной области, то онъ неминуемо долженъ будетъ прийти къ отказу отъ идеократіи. И обратно, если социа-

лизмъ хочетъ быть усовершеніемъ демократіи, а не ея уничтоженіемъ, онъ неминуемо долженъ будетъ придти къ отказу отъ огосударствленія орудій производства, какъ универсальнаго средства социализаціи, и признанію того, что частная собственность должна быть не уничтожена, а внутренне, органически преобразована.

3.

Однако, не только духовная жизнь, но и политическая находится въ тѣсномъ взаимодействіи съ жизнью хозяйственной, и здѣсь мы подходимъ къ той наиболѣе явной линіи, по которой проходить нинѣ водораздѣлъ между демократическимъ и тоталитарнымъ государствомъ. Наибольшей гарантіей свободы личности является то, что (какъ это съ особенной глубиной показалъ Оріу) личность принадлежитъ сейчасъ одновременно многимъ разнообразнымъ общественнымъ цѣлямъ («союзамъ»), перекрещивающимся между собою и въ личности отдѣльнаго чловѣка скрещивающимся, ни къ кому изъ нихъ однако не принадлежа безраздѣльно. Государство не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. Правда, и для демократическаго пониманія государство есть верховный союзъ, обладающій «монополіей принужденія» (М. Веберъ, Г. Гурвичъ) и въ иныхъ случаяхъ могущій распоряжаться даже жизнью своихъ гражданъ. Но личность не принадлежитъ безраздѣльно государству, она съ нимъ только «сопряжена», такъ же, какъ и «сопряжены» съ государствомъ другіе союзы, изъ которыхъ слагается «общество». Изъ этого плюрализма вытекаетъ начало ограниченности государственной власти, пребывающей не надъ обществомъ и надъ личностью, а въ отношеніи корреляціи къ нимъ, или, точнѣе въ отношеніи интеграціи, особенностью котораго является динамическое отношеніе взаимнаго напряженія, т. е. постоянно сдвигаемаго утверждаемаго равновѣсія между цѣлымъ и частями. Противъ этого плюрализма и направлено всецѣло острѣе тоталитарнаго государства, утверждающаго безусловную неограниченность государственной власти, т. е. безраздѣльную принадлежность личности государству такъ же, какъ и государственную монополію всякой общности. Тоталитарное государство признаетъ только имъ самимъ организованное общественное мнѣніе, независимую же общественность принципиально отвергаетъ.

Здѣсь мы наталкиваемся вновь на то абсолютированіе политическаго начала, обожествленіе государственной власти, кото-

рое нераздѣльно связано съ тоталитарнымъ государствомъ, столь напоминающимъ по стилю своему языческой цезаризмъ древняго Рима. И здѣсь же мы касаемся пункта, почему христіанскія церкви, въ особенности наиболѣе универсальная изъ нихъ, католическая, силою вещей переходятъ нынѣ на позиціи демократіи. Для христіанскаго пониманія, какъ и демократическаго, власть никогда не довлѣетъ себѣ, не есть самоцѣль, но есть голько средство для обезпеченія высшихъ духовныхъ цѣнностей, въ первую очередь цѣнности общественной правды, т. е. права и справедливости. Для тоталитарнаго пониманія высшимъ закономъ государственной власти является, напротивъ, ея самоутвержденіе, расширеніе ея мощи, въ чемъ заключается будто бы и самое существо политическаго («уничтоженіе врага» по формулѣ Карла Шмитта). На самомъ дѣлѣ демократія несовмѣстима не съ «политикой большого стиля» и «широкаго размаха», но съ абсолютированіемъ политическаго, т. е. съ политизированіемъ, которое, будучи недугомъ демократіи, составляетъ самое существо тоталитарнаго государства. Озлоровленіе демократіи дѣйствительно связано съ освобожденіемъ отъ насилія политики какъ въ хозяйствѣ, такъ и въ духовной жизни, съ ихъ деполитизированіемъ и въ этомъ смыслѣ признаніемъ ихъ автономіи.

Менѣ всего слѣдуетъ однако представлять себѣ автономію хозяйства и духовной жизни, а также и плюрализмъ, съ которыми они тѣсно связаны, по образцу «классическаго либерализма», т. е. какъ полную независимость ихъ отъ государства. И въ этомъ отношеніи демократическое пониманіе существенно отличается отъ либеральнаго. Плюрализмъ не означаетъ атомизма и отличается отъ послѣдняго такъ же, какъ положительная свобода отъ отрицательной. Подобно тому, какъ положительная свобода сопряжена съ моментомъ солидарности, такъ и плюрализмъ сопряженъ съ моментомъ иблага, утверждая множественность не внѣ иблага, а внутри него. Плюрализмъ демократическаго государства означаетъ, съ одной стороны, широкую автономію какъ территоріальныхъ, такъ и функциональныхъ образований внутри государства, а съ другой стороны — перестройку унаслѣдованныхъ либеральнымъ государствомъ отъ абсолютизма органовъ (государственной) власти въ направленіи большей независимости ихъ отъ политической власти въ предѣлахъ ихъ компетенціи и тѣмъ самымъ приближенія внутренняго строенія государственной власти къ новому, болѣе органическому строенію общества. Для демократическаго государства характеренъ не только ростъ территоріальнаго самоуправленія,

но и развитие «функциональной децентрализации» отдельных отраслей управления, которые часто, как, напр., школьное дело, стремятся стать столь же независимыми от политической власти, как уже в либеральном государстве независимой от нее была власть судебная. Г. Ласки видит даже предель этого развития в такого рода «плюралистическом государстве», в котором традиционное разделение властей на власти законодательную, исполнительную и судебную будет замещено разделением властей по признаку функциональному, т. е., напр., на власти политическую, судебную, культурную (школьную, хозяйственную). Если разделение властей в государстве может обеспечить положительную свободу индивида, которая, будучи сопряжена с солидарностью, проявляет себя в разнообразных функциональных союзах и организациях и потому есть свобода не индивида только, но всей многогранной общности. Если структура либерального государства, обращенная главным образом во внешнюю охрану внешней безопасности и расширение своей мощи, носила механический и абстрактный характер, чисто внешней образом охватывая общество, в свою очередь внутренне еще слабо расчлененное и мало организованное, то структура демократического государства, будучи обращена преимущественно во внутреннюю, на утверждение социальной справедливости и внутренней солидарности, приобретает все более органический и конкретный характер, стремясь вобрать в себя общество, внутреннее расчленение и организация которого сдвинули за последние полвека совершенно исключительные успехи. Что именно в этом все большем проникновении «общества» в государство (так же, как и в собственности) заключается также и единственно правильный смысл «социализации» (отнаково как государства, так и собственности), — об этом я не буду здесь говорить, ибо это выходит уже за пределы настоящих размышлений да и было показано уже мною подробно в другом месте *).

4.

Отсюда ясным становится внутренне нерасчлененный и механический, как бы массивный характер той целостности, которую только и может осуществить внутри себя тоталитар-

*) См. мои статьи «О правовом социализме» в «Совр. Зн.» (в особ. № № 30-31)

ное государство. Глубоко неправильно противопоставлять цѣлостность тоталитарнаго государства множественности, господствующей въ государствахъ демократическомъ. Начало цѣлостности не чуждо и демократическому государству. Но въ немъ цѣлостность носить конкретный и органическій характеръ. Его плюралистическое строеніе отнюдь не исключаетъ начала единства, которое осуществляется въ немъ какъ единство структуры и всѣ отдѣльныя его части пронизывающей формы на подобіе того, какъ единымъ остается высоко развитой живой организмъ, несмотря на сравнительную автономію отдѣльныхъ своихъ органовъ. Въ своемъ докладѣ на пражскомъ съѣздѣ я какъ разъ старался показать, что слѣдуетъ различать между двумя типами цѣлостности: цѣлостностью органической, т. е. интегральностью, которая осуществляется какъ взаимное, всѣ отдѣльныя части проникающее напряженіе единства и множественности, и цѣлостностью механической, или массивной, т. е. тѣмъ, что принято сейчасъ называть тотальностью, въ которой единство осуществляется не какъ проникающее части начало, а какъ начало, имъ противостоящее и ихъ себѣ насильно подчиняющее. Такая цѣлостность напоминаетъ «душу» витализмовъ, которая по ихъ ученію приводитъ къ разсыпанной на части хранимъ понятого какъ чистый механизмъ тѣла, чтобы оживить ее и объединить въ цѣлостный организмъ. Аналогичный дуализмъ, или, вѣрнѣе, антагонизмъ разсыпанной множественности общества и единой, глобальной идеологіи. Стоить «душѣ» (въ данномъ случаѣ «идеологіи» и воплощающему ее «движенію» или «Партии») ослабѣть, вся массивная цѣлостность тоталитарнаго государства сразу же рушится, распавшаяся на части, ею «униформированная» и только постояннымъ ея давленіемъ сдерживаемая. Тогда какъ тотальная цѣлостность униформируетъ и подчиняетъ, почему связь, ею устанавливаемая, носить отвлеченно-общій характеръ, интегральная цѣлостность напротивъ индивидуализируетъ и сочетаетъ, обезпечивая конкретный и органическій характеръ ею устанавливаемой структуры. Глубоко правъ Г. Гурвичъ, влищій въ интеграціи, т. е. въ діалектическомъ синтезѣ началъ единства и множественности, самое существо структуры демократическаго государства и противопоставляющій интеграцію массивной тотальности, въ которой множественность поглощается отвлеченнымъ единствомъ.

До сихъ поръ я старался охарактеризовать идею демократіи такъ, какъ она вырисовывается въ настоящей исторической ситуациі, въ аспектѣ того ея момента, который выдѣляется сей-

часть какъ наиболѣе актуальный. Выясненіе конкретныхъ формъ учреждений, наиболѣе соответствующихъ въ данный моментъ этой идеѣ, а также и критика существующихъ сейчасъ учреждений не составляетъ предмета настоящей статьи. Не господство большинства, не способъ численного опредѣленія этого большинства, не равеніе по среднему человѣку, не правленіе партій или ихъ коалицій, не «методъ мелкихъ дѣлъ», не нейтральность государства къ социальнымъ и духовнымъ проблемамъ времени, тѣмъ болѣе не «релятивизмъ» составляютъ существо демократіи, подойти къ которому въ настоящее время можно не столько со стороны момента равенства, сколько со стороны положительной, т. е. сопряженной съ братствомъ свободы и связаннымъ съ нею началомъ уваженія къ человѣческой личности, самопроизвольной общественности, того, что мы называли плюрализмомъ государственнаго устройства. Всѣ перечисленныя выше черты демократіи являются вторичными ея чертами, а часто ея недостатками, вытекающими изъ чрезмѣрнаго напряженія момента равенства, оторвавшагося отъ свободы, которая въ свою очередь утратила свою связь съ моментомъ братства, или солидарности.

Моментъ народнаго суверенитета тоже отстываетъ сейчасъ на задній планъ, хотя бы потому, что «общая воля», которой могло бы и должно было принадлежать абсолютное верховенство, ощущается сейчасъ все болѣе и болѣе не какъ головная данность, а какъ предстоящее только политическому творчеству задание, какъ нѣчто, что каждый разъ должно сызнова вырабатываться, выковываться, и укрѣпляться подожгительной творческой работой демократическихъ учреждений. Съ другой стороны, самое начало суверенитета утрачиваетъ въ демократіи свою бытую напряженность, поскольку демократія все болѣе признаетъ ограниченія, налагаемыя на государственную власть во внѣ международнымъ правомъ, а внутри свободой индивида и разнообразныхъ меньшинствъ, имѣющихъ право на творческое проявленіе своего я и участіе въ созиданіи «общей воли». Большинство и меньшинство (въ пропорціональномъ представительствѣ) суть только техническія, не всегда примѣнимыя средства созиданія обобщающей воли, и ни большинству ни меньшинству не можетъ принадлежать абсолютная власть, почему демократія есть не столько самодержавіе народа, сколько отрицаніе всякаго самодержавія. Однако, хотя и всегда только созидаемая и искомая, всегда только сызнова творимая, а никогда не готовая и заранѣе данная, общая воля все же не есть въ демократіи простая фикція, а есть реальный предметъ творчества. Совершен-

ство отдельных демократических учреждений измѣряется ихъ способностью въ данной исторической ситуациіи служить этому созиданію общей воли. Въ этомъ смыслѣ «волевая концентрація» не есть ничто, противорѣчащее идеѣ демократіи, но есть то, что должно бы составлять предметъ ея главныхъ усилій. Тоталитарное государство отличается отъ демократическаго не тѣмъ, что въ немъ есть «волевая концентрація», а въ демократическомъ ея нѣтъ, а тѣмъ, что, въ отличие отъ демократіи, старающейся разрѣшать эту предстоящую ей проблему болѣе сложными средствами духа, оно притязаетъ разрѣшить ту же проблему примитивными средствами демагогіи и тираніи, въ силу чего концентрированная воля утрачиваетъ свою цѣлостность и общность, фальсифицируется, пока не выступитъ уже очевидно и безъ всякаго прикрытія какъ воля захватническаго меньшинства.

Въ рѣшеніи проблемы созиданія общей воли демократія пользуется средствами духа, а не механическими средствами демагогіи и тираніи. Но для этого именно демократіи въ особенности нужна въѣра въ духъ, отнюдь не «нейтральность», «агностицизмъ» или безвѣріе. Что кризисъ демократіи есть въ послѣднемъ счетѣ духовный кризисъ, это съ полной наглядностью было обнаружено на пражскомъ съѣздѣ. Самые интересные доклады съезда были посвящены именно духовному кризису, лежащему въ основѣ кризиса демократіи. Такъ, по справедливому мнѣнію І. Козака, натурализмъ, г. е. утрата въѣры въ реальность и мощь духа и сведеніе всей реальности, въ особенности реальности исторической, къ стихійнымъ силамъ биологической жизни, классовой борьбы, полового инстинкта, соціальной дифференціанціи, борьбы за власть и т. п., встрѣчается не только у марксистовъ, Л. Клагеса, В. Парето, О. Шпенглера, М. Гейдгера и другихъ противниковъ демократіи, но и у самыхъ приверженцевъ демократіи, какъ, напр., Теодоръ Лессингъ, школа Дюркгейма, К. Яспертъ, не говоря уже о социаль-демократахъ и фрейдистахъ. «Въ основѣ правъ человѣка и гражданина, говорить въ томъ же смыслѣ А. Гуйе, лежала философія, утверждающая реальность духа и нѣнность личности. Но оставаясь въ плащѣ природы, можно обрѣсти только обязанность человѣка. Чтобы наголкнутья также и на его права, надо дойти до той тонкой черты, откуда обнаруживается, что природа человѣка коренится въ томъ, что уже не есть природа». Иначе говоря, какъ это прекрасно сформулировалъ Ж. Шевалье, въ основѣ реализма добра и истины, вызывающаго кризисъ демократіи, лежитъ человѣческой абсолютизмъ, т. е. признаніе че-

ловѣка какъ природнаго существа мѣрою всѣхъ вещей. Вмѣсто того, чтобы себя возвеличивать, человѣкъ долженъ осознать свои собственныя границы, подчинить себя Богу, т. е. выйти за предѣлы только человѣческаго, къ Абсолютному.

То, чѣмъ оправдываетъ демократія свой релятивизмъ, т. е. равенство, распространенное и на область духовной жизни, есть «терпимость», въ которой Э. Бенешъ (въ своей рѣчи на пражскомъ съѣздѣ) справедливо видитъ одну изъ основныхъ чертъ демократіи. Но терпимость правительства къ инакомыслящимъ отнюдь не есть релятивизмъ, т. е. признаніе всѣхъ вѣръ и воззрѣній равными. Первая, вытекающая изъ начала свободы совѣсти и подразумеваемая уваженіе ко всякой добросовѣстной попыткѣ исканія истины, даже если она ведетъ къ заблужденію, есть не что иное, какъ утвержденіе достоинства каждой человѣческой личности. Она имѣетъ своимъ послѣднимъ основаніемъ любовь къ ближнему и вѣру въ духовную реальность истины, къ которой человѣкъ приобщается какъ духовное же, т. е. свободное существо. Второй утратилъ напротивъ эту вѣру, означаетъ одинаково какъ отсутствіе убѣжденія такъ и безразличіе къ ближнему. Терпимость есть смиреніе передъ неисчерпаемостью истины, коренящееся въ живомъ ощущеніи ея иррациональной полноты, тогда какъ нейтральность есть сомнѣніе въ духовной ея реальности и готовность удовлетвориться минимумомъ, на которомъ всѣмъ можно было бы кое-какъ согласиться. Въ этомъ смыслѣ нейтральность есть умаленная терпимость, искаженная въ кривомъ зеркалѣ раціоналистическаго натурализма. Полнота, или всеединство Абсолютнаго вырождается въ ней въ свою противоположность, въ минимумъ, могущій быть уже не предметомъ вѣры, а просто только соглашенія. Въ этомъ именно господствѣ раціоналистическаго натурализма, являющагося выраженіемъ изсякновенія въ демократической культурѣ непосредственнаго ощущенія духовнаго бытія, т. е. утраты связи ея съ полнотою или всеединствомъ бытія, коренится въ послѣднемъ счетѣ кризисъ демократіи. Несовершенство демократическихъ учреждений, не обезпечивающихъ возможности волевой концентрации, есть только внѣшнее обнаруженіе этого болѣе глубокаго кризиса. Простая замѣна демократическихъ учреждений механическими средствами диктатуры не излѣчиваетъ основного недуга, а лишь еще болѣе вгоняетъ его внутрь. Глубоко правъ С. Л. Франкъ, показавшій въ своемъ докладѣ на пражскомъ съѣздѣ, что современный духовный кризисъ, а, значитъ, и кризисъ демократіи можетъ быть преодоленъ только восстановленіемъ въ современномъ человѣкѣ ощущенія этого глубин-

наго бытія, этой своей связи съ всеединствомъ, которая, по формулировкѣ С. Франка, открывается какъ мистическое знаніе высшаго порядка, сопряженное одновременно со знаніемъ своего незнанія божественной полноты бытія. Именно только такая *docta ignorantia*, т. е. признание одновременно и реальности и иррациональности абсолютнаго бытія, можетъ предохранить отъ гордыни разума, которая ведетъ къ абсолютированію человѣческаго и оборачивается въ разнаго рода «идеологіяхъ» самой фанатической нетерпимостью. Отказываясь отъ тайны божественнаго въ пользу якобы научно оправданной догмы, идеологія подмѣняетъ живую и личную связь съ Абсолютнымъ подчиненіемъ отвлеченной и безличной, «чугунной», по выраженію Достоевскаго, идеѣ. Будучи созданіемъ человѣческаго разума, идея есть идолъ, поклоняясь которому человѣкъ поклоняется въ сущности самому себѣ, такъ же какъ идеологія есть только суррогатъ подлинной вѣры, почему она и полагается не на силу духа, а на механическое средство принужденія.

Демократія, какъ осуществленіе подлинной, т. е. неизвращенной въ «нейтральность» терпимости, должна вернуться къ своимъ мистическимъ истокамъ, т. е. вновь проникнуться той религиозной вѣрой, которой были исполнены ея основоположники. Это отнюдь не значитъ, что она должна стать «мистической». Мистицизмъ въ обычномъ смыслѣ этого слова есть признание какого-то сверхестественнаго знанія, доступнаго лишь немногимъ избраннымъ и оправдывающаго безусловную власть этихъ избранныхъ надъ массой непосвященныхъ. «Негативная теологія», о которой говоритъ С. Франкъ, напротивъ, есть признание реальной связи каждаго человѣка съ всеединствомъ абсолютнаго бытія и возможности для каждаго оживотворить эту связь, чѣмъ отвергается притязаніе всего только человѣческаго на безусловную власть надъ людьми. Разумъ отнюдь не отвергается «негативной теологіей», такъ же, какъ безъ рациональнаго начала не можетъ обойтись и никакая демократія. Но рациональное въ демократіи (куда относятся всѣ формулированные въ видѣ «законовъ» нормы права, въ томъ числѣ всѣ способы выборовъ, всѣ разграниченія компетенцій отдѣльныхъ властей и автономій внутри усложняющейся ткани плюралистическаго государства) имѣетъ только служебное значеніе, есть только необходимый механизмъ, имѣющій цѣлью своей не обнаруженіе народной воли, но лишь собраніе народа въ единое цѣлое, непрерывное созиданіе народной воли, которая, уже потому, что въ подлинной демократіи она остается всегда только зачатіемъ, въ послѣднемъ своемъ счетѣ иррациональна. Абсо-

лотно раціоналізоване общество, т. е. такое, въ которомъ все совершалось бы по заранѣ установленному плану, какъ въ громадной фабрикѣ съ раціоналізованнымъ производствомъ, въ которомъ не было бы ничего непредвидѣннаго и въ которомъ каждый осуществлялъ бы функцію, для выполнения коей его опредѣлила «наука», есть технократія, а не демократія. Въ такомъ обществѣ не было бы ни свободы, ни уваженія къ личности, ни плюрализма автономій, ни равенства ни солидарности, ибо не было бы любви. Въ демократіи раціональное начало должно всегда оставаться погруженнымъ въ стихію ирраціональнаго, отъ которой оно почерпаетъ свои живительные соки, и чѣмъ болѣе, съ усложненіемъ демократическаго строя, увеличивается въ немъ роль раціональнаго начала, тѣмъ напряженнѣе должна въ немъ ощущаться и реальная связь человѣка съ ирраціональнымъ всеединствомъ бытія. Утрата этой связи въ результатѣ гипертрофіи раціональнаго начала и есть причина безвѣрія демократіи, того ея релятивизма, который есть послѣдній источникъ и ея безволія.

С. І. Гессель.

Культъ героевъ

Высоко въ небѣ, окруженный облаками, вьется аэропланъ. Громадный, мощный. Онъ кружить надъ городомъ, медленно и плавно планируетъ и приземляется. Изъ аппарата выходитъ герой. Онъ приобщается толпѣ. Толпа приветствуетъ героя. Устилаетъ путь цвѣтами. Подростки зрятъ вождя. Кричатъ, поютъ, простираютъ правую длань впередъ и ввысь. Звонятъ колокола, звучатъ фанфары, дефилируютъ передъ героемъ люди, лошади, церкви, мосты, площади...

Сгушающуюся тьму разсвѣиваютъ факелы, тысячи факеловъ Рембрандовской свѣто-тѣнью подчеркнуты контуры и рельефы. Используются до конца и всѣ эффекты звука. Ритмъ марша и марширующихъ. Каденція пѣсни и поющихъ, — смѣна ведущаго голоса и вторящаго ему хора. Все «центрировано» вокругъ одного. Все стремится и простирается къ Фюреру. Его отовсюду видно. «Триумфъ воли» очевиденъ.

— Гайль, люди труда! — восклицаетъ герой.

И тропоподобный возгласъ 52 тысячъ тренированныхъ гла-токъ отвѣтствуетъ, какъ одинъ гигантъ:

— Гайль, мой Фюреръ!..

Колонны смыкаются и размыкаются. Бьютъ барабаны. Играютъ рожки. Льется пѣснь: «Разверните знамена, мы, вѣрные примѣру ландскнехтовъ, пойдемъ на штурмъ»... И коричнево-сѣрые полки ландскнехтовъ XX-го вѣка прорѣзываетъ голосъ присягающаго на вѣрность:

— Мы готовы, мы поведемъ Германію къ новой эрѣ!..

Снова голосъ: — «Товарищъ, ты откуда?» — И со всѣхъ концовъ обширной площади, съ необходимой для съемочнаго аппарата выдержкой и паузой перекликаются имена различныхъ частей и провинцій единаго и недѣлимаго Третьяго Райха.

Снова хоръ: — Мы не жили въ вихрѣ снарядовъ, и все же мы воины...

Руки вскидываются вверхъ. Знамена склоняются внизъ. При-вѣтъ павшимъ въ войнѣ. Хоръ поетъ: — Мы послужимъ себѣ

нашимъ заступникъ, потому что мы войны труда, мы не измѣнимъ никогда...

Гармония свѣта, звуковой ритмъ, плавность движенія вызываютъ «динамизму» отвѣтнаго движенія. «Симпатическая» система дѣйствуетъ одинаково подѣ всѣми долготами и широтами: массовое подражаніе принимаетъ всюду формы экстаза, истеріи, психоза.

И уже не въ Нюрнбергѣ и берлинскомъ кинематографѣ, а въ Москвѣ и въ парижскомъ залѣ Плейель мѣрно шагаютъ стройные и юные, точно сталью налитые, кажушіеся гигантскими благодаря кавалерійскимъ шинелямъ до земли и остроконечнымъ шлемамъ изъ сукна. Съ винтовками на руку, плечомъ къ плечу, движутся какъ по линейкѣ. Ошметнившійся дѣсь штыковъ раздвѣиваетъ чувства зрителей: гордость и радость у однихъ, зависть, горечь и страхъ — у другихъ. А за ними, уже безъ винтовокъ и почти безъ одежды, — спортсмены, юноши и дѣвушки, съ легкой поступью, съ открытыми, милыми, родными лицами.

Свобода движеній и дыханія, впрямость мускуловъ, красота «позицій». Алофеозъ тѣла, стряхнувшіаго съ себя, вмѣстѣ съ покровами, и условные предразсудки. Упражненія заканчиваются парадомъ. Колонны перестраиваются, сходятся и расходятся. Въ финальномъ аккордѣ всѣ разомъ смѣняютъ вертикальное положеніе на горизонтальное. Въ отчетливомъ ритмѣ, въ 2-3 счета, вся масса склоняется долу. Ниже и ниже опускаются корпусы, только носками и кончиками рукъ упираются въ землю.

Лежать неподвижно, почти ничкомъ. Причудливость раскинутыхъ тѣлъ все же имѣетъ смыслъ. Она не только осмыслена, она и символична. Смыслъ легко раскрывается всякому, знающему русскую грамоту. Распростертыя на землѣ фигуры выписываютъ буквенные знаки, — какъ въ былое, царское время цѣлѣбныя насажденія изображали, въ честь высочайшихъ особъ, ихъ вензеля и инициалы. Но сейчасъ уже не бездушныя растенія, а живые люди изображаютъ не Н и А, а С-Т-А-Л-И-Н...

Героя нѣтъ, но онъ присутствуетъ. Его имени воздается оспина, незримо для не властвующихъ русской рѣчью иностранцевъ, наглядно — и постыдно — для совѣтскихъ и не-совѣтскихъ гражданъ, для людей. На римскихъ аренахъ обреченные смерти гладиаторы славили криками геній кесаря. На Красной площади въ Москвѣ обреченные совѣтской жизни въ восточно-рабоблѣнномъ безмолвіи склоняются передъ геніемъ единого и единственнаго.

Не только крови враговъ жаждетъ герой. Ему нужна и лезть

рабовъ. И въ Берлинѣ, какъ въ Москвѣ, казенные одописцы перифразируютъ вирши византійскихъ предшественниковъ:

«Плюй, плюй прямо въ лицо мнѣ, великій кесарь, — вѣрный пестъ, я буду лизать твою августѣйшую слюну»...

Прославленіе кесаря-героя входитъ необходимымъ реквизитомъ въ программу утоленія жажды героя; въ программу насыщенія — зрѣлищами и вѣрой — рабовъ. «Моя воля должна стать для васъ вѣрой», — заявилъ Гитлеръ на первомайскомъ праздникѣ труда. То же дѣлаетъ и Сталинъ безъ того, чтобы говорить о замѣщеніи его волей — вѣры и надежды ему подвластныхъ.

Насыщеніе массъ зрѣлищами и энтузіазмомъ вошли въ систему управленія нашего времени не только какъ способъ отвлеченія вниманія «потенціальныхъ враговъ» отъ того, что должно составлять неприкосновенную и монопольную прерогативу героя. Зрѣлища служатъ средствомъ оглушенія и ослѣпленія массъ въ цѣляхъ болѣе полнаго, «магнетическаго» воздействия на нихъ. Политика театрализируется. Радио, прожекторъ, музыка, кинематографъ призываются на службу власти въ такой же мѣрѣ, какъ полиція и ГПУ или ГЕСТАПО. Героя рекламируютъ, какъ любое патентованное средство, — психическимъ внушеніемъ, механически-однообразнымъ и навойливымъ напоминаніемъ о его несравненныхъ качествахъ и добродѣтеляхъ.

Выработался особый ритуалъ почитанія вождя: поклоненія народа герою и общенія героя съ народомъ, «съ высшимъ благомъ, даннымъ мнѣ Богомъ на землѣ», по формулѣ Гитлера. Вся тяжело-пышная арматура вагнеровскихъ оперныхъ тетралогій и трилогій вошла въ бытъ не только третьяго Райха, но и нынѣшняго Рима, и нашего «соціалистическаго отечества». Берлинъ привнесъ лишь технику и выучку, свою прославленную германскую методику и систематику въ соединенія съ ископнымъ влеченіемъ къ «колоссальному» и «формидабельному». Начало же свое театрализація политики и почитаніе героя ведутъ изъ страны Совѣтовъ.

Генетически нетрудно прослѣдить линію развитія — отъ крайняго отрицанія всякаго личнаго начала, и тѣмъ болѣе, героя въ идеологіи марксизма и до предѣльнаго преклоненія передъ вождемъ и учителемъ въ практикѣ большевизма. Эта линія можетъ казаться — и совершенно основательно — не прямой, а ломанной и противорѣчивой. Тѣмъ не менѣе она неопровержима.



Можно утверждать, что культъ героя никогда не былъ чуждъ большевизму. Въ биографіи Ленина и въ исторіи раскола русскаго марксизма можно указать множество фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что ленинское представленіе о марксизмѣ и роли массъ всегда уживалось съ высокой и даже преувеличенной оцѣнкой личныхъ усилій, руководителей движенія и его вождей: — Ц. К.; Партіи; такъ называемыхъ, «профессиональныхъ революціонеровъ». Свое ученіе о «профессиональныхъ революціонерахъ» марксистъ Ленинъ полностью заимствовалъ у полуанархиста Бланки. Это ни въ малой мѣрѣ не отрицаетъ того печальнаго факта, что признанные сначала лишь на бумагѣ «необходимой предпосылкой успѣха революціи», профессиональные революціонеры Ленина и на дѣлѣ обусловили успѣхъ своего вождя и его Октября.

Конечно, о массахъ Ленинъ не забывалъ. Онъ о нихъ постоянно говорилъ, отъ нихъ аргументировалъ, къ нимъ взывалъ, на нихъ опирался. Но все это имѣло лишь прикладной смыслъ — «использованія» массъ для достиженія главной цѣли — революціи, въ которой вожди и вожди вождей призваны играть не только роль руководящую и направляющую, но и доминирующую и предопредѣляющую самый успѣхъ революціи.

Ленинъ и былъ, и чувствовалъ себя единственнымъ и совершенно несравнимымъ со всѣми тѣми, кого онъ объединилъ вокругъ себя и своихъ взглядовъ. Съ первыхъ же шаговъ своей коллегіальной работы Ленинъ проявилъ необычайную нетерпимость къ чужому мнѣнію. Онъ не терпѣлъ возраженій и не мирился съ существованіемъ рядомъ съ собой яркаго и авторитетнаго оппонента, возможнаго соперника. Не случайно въ партіи Ленина, какъ правило, были и оставались лишь посредственности, мало чѣмъ, кромѣ беззащитности, выдѣлявшіяся. Достаточно сказать, что въ теченіе полутора десятка лѣтъ главными оруженосцами и помощниками Ленина были Зиновьевъ и Каменевъ. Лучшихъ онъ не нашелъ, не могъ найти. Не только люди типа Троцкаго или Григ. Алексинскаго не уживались съ Ленинымъ, но даже такихъ податливыхъ и легко приспособляющихся, какъ Луначарскаго или Горькаго, Ленинъ откинулъ отъ себя, въ большевистскую оппозицію.

Съ перваго же дня существованія большевистской организациі Ленинъ сталъ несмѣняемымъ и безспорнымъ ея лидеромъ и вождемъ. Онъ не переставалъ быть рачительнымъ хозяиномъ

и бюстителемъ интересовъ партіи и ея добра: мертвѣго и живого инвентаря, кассы и партактива. Ленинъ радикально и до конца отрицалъ всякую мораль въ политикѣ и нисколько не смущался тѣмъ, что разошедшіеся съ нимъ единомышленники называли его вторымъ Нечаевымъ*). Рѣшительно ни перестать чѣмъ не останавливаясь въ борьбѣ противъ инвентаря и несогласно съ нимъ дѣйствующихъ, Ленинъ въ то же время былъ отличнымъ и зѣрнымъ товарищемъ въ отношеніи къ «своимъ». Въ отношеніи къ тѣмъ, кто ему послушно внималъ и за нимъ слѣдовалъ, Ленинъ умѣлъ быть задушевнымъ и даже обязательнымъ.

Боясь врага на испугъ, Ленинъ въ своей средѣ оборачивался уютнымъ «Ильичемъ», добродушнымъ и сладчайшимъ. Его не только уважали и цѣнили, но и любили, иногда по-институтски обожали. Его слову повиновались не только въ порядкѣ дисциплины «монолитной» партіи пролетаріата, но и за совѣсть, — поскольку о ней могла идти рѣчь въ партіи Ленина. Въ отношеніи къ Ильичу находили себѣ выраженіе тѣ самыя чувства человѣчности и внѣклассоваго безкорыстія, въ отрицаніи коихъ заключалась одна изъ главныхъ особенностей ученія Ленина. Эти чувства, правда, не выдержали испытанія временемъ.

Съ теченіемъ войны и приближеніемъ февральской революціи, небольшой кружокъ ленинцевъ все больше сузился. Ленинъ оказался изолированнымъ, — покинутымъ почти всѣми своими старыми и, казалось, преданными единомышленниками. Борьба съ міровой бойней империалистовъ все чаще принимала искаженныя формы личной вражды и ненависти по отношенію къ несошедшимся съ Ленинымъ во взглядахъ демократамъ и социалистамъ. Одиночество и явное непризнаніе тяготили и мучили Ленина: онъ измѣнился даже въ лицѣ, — по свидѣтельству его близкихъ.

Съ побѣдой Октября положеніе рѣзко и окончательно измѣнилось. Ленинъ вновь обрѣлъ всѣхъ усумнившихся въ немъ и отошедшихъ отъ него въ годы пораженія. Къ нему пришли и исконные его враги, и тѣ, кто до того не слыхалъ даже о существованіи Ленина. Побѣдителя перестали судить. Успѣхъ плѣнялъ и соблазнялъ. Лыстцы и рабы добровольно и съ энтузиазмомъ впрягались въ колесницу триумфатора. И въ мѣру утвер-

*) Въ бездарной и пропагандистски нулевой и пошлой книгѣ о Сталинѣ, вышедшей только что Анри Барбюсомъ, фальсификація доходитъ до того, что Ленинъ именуется «безгрѣшнымъ сверхъ-моралистомъ» (sur-moraliste impeccable).

ждения побѣды лучи ея славы все отчетливѣе складывались въ форму нимба надъ главою торжествующаго героя.

Большая, подкосившая вождя сразу, въ зенитъ его славы, только увеличила пѣтеть къ «гиганту мысли и воли», неожиданно и безнадежно впавшему въ дѣтство и безпомощно пытавшемуся сбѣгнуть звуки и буквы въ осмысленное слово. Смерть героя потрясла и испугала. Къ чувству скорби по утраченному учителю и другу, къ чувству признательности по отношенію къ нему — къѣмъ были бы они, если бы не было его, — примѣшивалось и чувство сиротливости и растерянности: какъ жить безъ Ильича, всезнающаго и ни передъ чѣмъ не пасующаго?

Всѣ предпосылки для почитанія героя были налицо. Въ коллизіи идеологій и психологій и въ данномъ случаѣ верхъ одержала, конечно, психологія. Въ условіяхъ совѣтскаго быта и прославленіе героя не могло не получить гомерическихъ или «планетарныхъ» размѣровъ. Въ ударномъ порядкѣ создался фронтъ по сохраненію отъ тлѣна бранныхъ останковъ Ильича. Останки набальзамировали и время отъ времени ихъ подправляютъ, подчищаютъ, реставрируютъ. Мозгъ, измѣнившій въ десять дней картину міра, подвергся тщательнѣйшей обработкѣ и изученію по новѣйшему «цитоархитектоническому» методу. Въ срѣзахъ мозга искали и будутъ искать матеріалистическій базисъ, предопредѣлившій геніальныя прозрѣнія героя.

Спеціальная иконографія увѣковѣчила священную память Ильича. Деревянные куклы, серебряныя изваянія, цѣлый мавзолей. Въ деревѣ, камнѣ, металлѣ, краскахъ, на полотнѣ, фотографической пластинкѣ запечатлѣны его физическія черты. На городскихъ площадяхъ и въ особыхъ уголкахъ на заводѣ, въ казармѣ, въ школѣ, въ любомъ присутственномъ мѣстѣ. По буржуазнѣйшимъ и средневѣковымъ образцамъ, переименованы города и улицы, появились Ленинградъ, Ленинскъ, Ульяновскъ. На почтовыхъ маркахъ, календаряхъ, оберткахъ, со стѣнъ совѣтскихъ учреждений, изъ петлищъ коммунистическихъ пиджаковъ, отовсюду глядитъ скуластый ликъ большевистскаго автократа.

Прахъ и трупъ выдаютъ за негнѣнное тѣло. Материализируя свою Галатею, совѣтскіе Пигмалионы селятся сохранить для вѣчности и его духъ и душу.

Переиздаются творенія Ленина и о Ленинѣ. Въ особыхъ изданіяхъ — для массъ и для избранныхъ — воспроизводятся картины его житія. Закрѣпляется слово учителя и преданіе о немъ. Ближайшіе ученики собираютъ и толкуютъ эпистолярное наследство покойнаго, предають тисненію всякій расчеркъ пера

или отмітку на поляхъ книги, на случайномъ клочкѣ бумаги. Стараются законсервировать аромать его ученія. По Ленину изучаютъ прошлое. По нему же предсказываютъ будущее. Канонизация Ленина достигаетъ высшаго своего апогея въ замѣнѣ ученія Маркса — марксизмомъ эпохи империализма, или ленинизмомъ. «Научный социализмъ» провозглашаетъ ленинизмъ наукой. Придумываютъ «общій ленинизмъ» и «ленинизмъ спеціальный». Коммунистическое богословіе создаетъ собственную догматику и патристику, литургику, гимнетику, творенія партійныхъ соборовъ. Средневѣковые схоластики и монахи, іешиты и медресе, — всѣ и все превзойдены коммунистическимъ почитаніемъ первоучителя и героя.

Культь Ленина можетъ выдержать сравненіе съ любимымъ поклоненіемъ идоламъ и почитаніемъ стихій. Отличіе новой формы идолатріи только въ томъ, что «идолъ» одноликъ, «монистиченъ», а самое почитаніе исходитъ отъ отвергающихъ въ принципѣ не только идоловъ, но и всякую религію и вѣру.

Стѣитъ на мѣсто мертваго Ленина поставить живого Сталина; и прославленіе новаго героя вмѣсто канонизированныхъ мошей ушедшаго въ прошлое пріобрѣтетъ значеніе острой злободневности. Россія — фокусъ міра. Москва — столица Россіи; въ центрѣ Москвы, на Красной площади, — мавзолей Ленина, а на вершинѣ мавзолея, надъ Ленинымъ, въ центрѣ центровъ, — его вѣрнѣйшій ученикъ и истолкователь, пришедшій не нарушить законъ учителя, а его исполнить: единственный, чудрый, великій, величайшій, гениальный, гигантскій, «могучій горный орелъ», «герой безсмертной эпохи», «гений человѣчества» и прочая, и прочая, словъ не хватаетъ, — Сталинъ.

«Все кругомъ сходится и расходится симметрически кишащимъ муравейникомъ, то появляющимся на землѣ, то уходящимъ въ землю... Потокъ величайшей въ мірѣ арміи, красноармейскій народъ, разрѣзанный на прямоугольникъ. Тутъ и тамъ отрѣзки движущагося пестраго лѣса: сверканіе шестувющаго забора штыковъ... Это онъ, сердце всего, что сіяетъ на картѣ вокругъ Москвы. Его портретъ — скульптура, живопись, фотографія — всюду на совѣтскомъ континентѣ... Народъ шестой части свѣта, новый народъ, который вы любите или ненавидите, вогъ его голова... Это наиболѣе значительный изъ нашихъ современниковъ. Онъ управляетъ 170 милліонами существъ на 21 милліонѣ квадратныхъ километровъ. Во всю свою высоту онъ поднимается одновременно и надъ Европой, и надъ Азіей, надъ сегодняшнимъ днемъ такъ же, какъ и надъ завтрашнимъ»...

Такъ живописуетъ новаго героя его слуга, Барбюсъ, 15 лѣтъ тому назадъ отдавшій свое перо на службу большевизму.



Культъ Ленина и Сталина поражаетъ не только формой и степенями своего изувѣрскаго раболѣпія. Онъ поражаетъ и внутренней своей несомвѣстимостью съ наукообразной идеологіей ленинскаго и сталинскаго матеріализма. Отсюда и распространенное мнѣніе, что до своего само-обожествленія и преклоненія передъ грѣховнымъ въ человѣкѣ, передъ мнимыми и фальшивыми богами большевики дошли потому, что истиннаго Бога они отвергли. Кумиръ челоѣкобожества явился какъ бы Немезидой и расплатой за невѣріе и отрицаніе богочеловѣчества.

Аналогичное большевистскому, прославленіе героя сѣверо-германскими язычниками какъ будто подкрѣпляетъ этотъ тезисъ: отрицаніе религіи не проходитъ безнаказанно, — вопреки собственной логикѣ люди приходятъ къ признанію сверхъестественнаго и вѣчнаго въ челоѣкѣ, къ его героикѣ. Наци, конечно, такіе же идолопоклонники, что и большевики. Отличіе ихъ только въ фразеологіи и терминологіи. Большевики, исповѣдуя безбожіе, фактически обожествляютъ свой кумиръ, тогда какъ наци, поклоняясь аналогичному кумиру, выдаютъ свое поклоненіе: одни — за новую (германскую) религію, другіе за новое (германское) христіанство, третьи — за новое (германское) язычество. Одно называніе имени Бога, конечно, не исключаетъ идолопоклонства.

Такъ ген. Людендорфъ, еще недавно съ воодушевленіемъ сражавшійся за «нашего стараго и добраго нѣмецкаго Бога», нынѣ убѣждаетъ германскихъ солдатъ «стать язычниками и проникнуться старой германской вѣрой въ Одина». Въ то же время онъ продолжаетъ говорить о «германскомъ созерцаніи Бога» и «божескихъ и наисвященнѣйшихъ законахъ», которые «полираетъ народъ, ограничивающій свои вооруженія». Людендорфъ, его супруга, и весь «Союзъ Танненберга», группирующійся вокругъ этой четы, отвергаютъ христіанство, но по политическимъ соображеніямъ: за то, что оно проповѣдуетъ любовь и «не доощивляетъ глубокаго естества ненависти», за то, что христіанство транспонировали въ міръ еврей, а не германцы. Если германскими солдатами не можетъ командовать еврей, то германскій народъ не можетъ поклоняться и культу Іеговы и Христа.

То же въ значительной мѣрѣ относится и къ взглядамъ Альфреда Розенберга, графа Ревентлова и министра Даррѣ.

Коннозаводческой подходъ къ челоньку и нации, какъ къ жеребцамъ и производителямъ, можетъ казаться дикимъ и нелѣпымъ; съ религіозной точки зрѣнія — кощунственнымъ. Епископъ Мюнстера и его окруженіе могутъ считать «Мифъ 20-го столѣтія» плагиатомъ: завѣдующій «интеллектуальнымъ и идеологическимъ воспитаніемъ партіи» наци списалъ свою книгу у сумасшедшаго Грюнведеля. Но упраздненіе мифовъ отнюдь не составляетъ зачатія Розенберга. Онъ хочетъ лишь мифъ отжившій и вредный, христіанство, замѣнить мифомъ новымъ и полезнымъ, — мифомъ крови. И въ недавнемъ своемъ отиѣтномъ памфлетѣ «Обскурантамъ нашего времени» Розенбергъ возражаетъ: противъ католицизма — за его «интернационализмъ», противъ стараго завіѣта, этого «лечона пустыни», за то, что онъ еврейскаго происхожденія и созданъ для евреевъ; наконецъ, онъ и противъ трехъ первыхъ евангелій, противъ еврейскаго священника апостола Павла и т. д. Но все это для того, чтобы проложить путь къ будущему «пятому» евангелію, которое должно будетъ прилатъ всѣмъ предыдущимъ недостающій имъ «германскій» отиѣнокъ.

Однако, не названные самоучки и дилеттанты въ вопросахъ мірознанія и религіи возглавляютъ нынѣшнее движеніе «германской вѣры» въ III-емъ Райхѣ. Какъ полагается странѣ философовъ и ученыхъ, и это движеніе направляютъ патентованные профессора и специалисты. Въ первую очередь — Вильгельмъ Гауэръ, бывший лютеранскій миссіонеръ въ Индіи, не пріобщившій къ вѣрѣ Лютера, по собственному его признанію, ни одного индуса за всю свою дѣятельность, — нынѣ профессоръ въ Тюбингенѣ; затѣмъ лейпцигскій профессоръ философіи Эрнстъ Бергманъ; теологъ кильскаго университета Германъ Мандель; этнологъ Гюнтеръ; германистъ Виртъ и прочіе.

Хаосъ, царящій среди этихъ идеологовъ, совершенно неопишуемъ. Одни открыто называютъ себя язычниками; другіе съ ужасомъ отталкиваются отъ язычества, почитая себя очистителями христіанства, создателями новой «чистой церкви», не похожей и враждебной папскому католицизму. Одни вѣтять въ Христѣ чистаго сѣверянина, другіе — еврея или, по меньшей мѣрѣ, полчеврея, «по материнской линіи»*) Розенбергъ опирается на Ницше; Бергманъ проповѣдуетъ полигамію и «антро-

*) См. ст. Albert Béguin: «Le Néo-Paganisme allemand». - Revue des Deux Mondes отъ 15 мая 1935

потологию» и опирается на витализмъ; Гауэръ — на законъ естества и «динамизмъ»; и т. д. Общю имъ то, что свое германское происхождение и даже принадлежность къ партіи н.-п. они склонны отождествлять съ началомъ религіознымъ и божественнымъ.

«Свойство нѣмцевъ — религіозное вѣрованіе, потому, что въ немъ выражается наша связанность съ первичными истоками жизни», пишетъ Шель, ученикъ Гауэра, включившій въ программу преподаванія темы: «Вѣчное царство германцевъ», «Религія гаекенрейнера» и т. п. И по Гауэру, существуетъ всего одна добродѣтель — быть нѣмцемъ. Нѣмецъ-христіанинъ, онъ или заблудшійся, или не познавшій себя метисъ. «Богъ естественно соприсутствуетъ въ сѣверной крови и, съ другой стороны, Богъ самъ себя утверждаетъ, на протяженіи исторіи, въ германской душѣ» (Гауэръ). «Германецъ по рожденію своему изъять отъ грѣха» (Мандель).

Еще болѣе характерны сужденія Бергмана. — «По контрасту съ аскетическимъ и враждебнымъ всему мірскому христіанствомъ, германскую религію можно назвать религіей природы и жизни, дѣйствія и воли». «Въ покоѣ природы, въ торжественномъ безмолвіи лѣса или готическаго собора... мы ощущаемъ себя божьями младенцами или Богомъ младенцемъ. Мы чувствуемъ, что мы — самый Святой Духъ». «Мы не хотимъ больше вѣрить въ Христа; мы хотимъ, наконецъ, стать Христомъ, дѣйствовать въ качествѣ Христовъ, — для насъ самихъ, для нашего народа, для человѣчества». Тачъ, въ полустороннемъ мірѣ, Богъ намъ ни къ чему. Нуженъ онъ намъ здѣсь, въ этомъ мірѣ, подлѣ насъ и въ насъ.—Отсюда и совершенно откровенно-прикладной подходъ къ Богу, въ зависимости отъ того, кому онъ на пользу.

«Международный христіанскій Богъ, оказавшійся безсильнымъ помѣшать Версалю», — не германскій Богъ. «Христіанство — религіозная форма социаль-демократіи». Національ-соціалистическая этика противоположна «іудео-христіанскому эгоизму», потому что она взываетъ къ самопожертвованію ради коллектива.

Символомъ германской религіи должно стать, по мнѣнію проф. Бергмана, сочетаніе образовъ Героя и Матери, соотвѣствующихъ двойственности пола. Христіанство оскорбило это начало. «Фигура распятаго не являетъ здоровой и естественной мужественности». «Безчеловѣчному образу» Христа германская религія противопоставляетъ своего героя, бѣлокурога и осіяннаго свѣтомъ. «Слово Фюрера надѣлено мистической силой.

Благодаря ему божественность нашей расы вошла въ насъ, — увѣряетъ нѣкій Германъ Шварцъ. — Рабское чувство грѣховности Адольфъ Гитлеръ замѣстилъ другимъ условіемъ блаженства: чувствомъ крови. Та же идея у Бергмана, когда онъ говоритъ о «символѣ сублимированного человѣческаго духа и Фюрера-героя и спасителя, побѣдоносно шествующаго во главѣ своего народа, въ качествѣ образца морали». «Живыи и болѣзненный образъ Христа» долженъ уступить мѣсто новому герою, и хъ герою — «Христу и е стра да ю щ е м у»...

Третій Райхъ насчитываетъ до двухъ милліоновъ послѣдователей этой новой религіи нестрадающаго Христа. Бывшій миссіонеръ Гауэръ на личномъ опытѣ убѣдился, насколько легче проповѣдывать эту религію среди нынѣшнихъ германцевъ, нежели христіанство индусамъ.



Представители трехъ христіанскихъ религій выпустили только что въ Люцернѣ сборникъ статей подъ заглавіемъ: «Расовое безуміе и преслѣдованіе евреевъ, какъ угроза христіанству». Среди авторовъ: епископы сенъ-галленскій и дребженскій, деканъ собора Св. Павла въ Лондонѣ, Н. А. Бердяевъ, пражскій проф. Эм. Радль и др. Въ статьѣ «Национализмъ и многобожіе» Н. Бердяевъ между прочимъ пишетъ: «Революціи нашего времени стоятъ подъ знакомъ либо избранной расы, либо избраннаго класса. Въ обоихъ случаяхъ развивается острая одержимость и въ обоихъ случаяхъ человѣкъ захватываетъ глубокой процессъ обезчеловѣченія. Ибо человѣку сообщаютъ достоинство не въ силу природной цѣнности расы или соціальной цѣнности класса. Обезчеловѣченіе расовой теоріи проникаетъ въ ткань личнаго бытія глубже, нежели дегуманизация ученія о классовой борьбѣ... Расовая теорія и теорія классовая, представляютъ обѣ многобожіе соціальной жизни. Обѣ онѣ — и расовая теорія въ большей мѣрѣ, нежели классовая — несовмѣстимы съ христіанскимъ ученіемъ и ведутъ къ борьбѣ противъ христіанства. Обѣ теоріи не являются научными гипотезами, а идолопоклонническими мифами въ рамкахъ безбожнаго и лишеннаго вѣры въ Бога міра».

Это сужденіе представляется намъ вѣрнымъ, но оно оставляетъ безъ отвѣта основное сомнѣніе: а подлинная вѣра въ Бога и, скажемъ, христіанство исключаетъ идолопоклоннической мифъ и раболѣпное отношеніе къ герою-кумиру?..

Мы думаемъ, что исключаетъ. Однако, практика и даже теорія отнюдь не подтверждаютъ этого убѣжденія. Не вдаваясь въ теорію, сошлемся лишь на взгляды такого религіознаго писателя, какъ Карлейль, — крупнѣйшаго, можно сказать, авторитета по культу и культивированію героевъ и болѣе другихъ «созвучнаго» пореволюціоннымъ настроеніямъ, нынѣшнимъ и прошлымъ.

«Герои, почитаніе героевъ и героическое въ исторіи» написаны сто лѣтъ тому назадъ, касаются далекаго прошлаго, но кажутся злободневными: многіе изъ нынѣшнихъ новаторовъ только перепѣваютъ и «перепираютъ», часто даже не подозревая о томъ, Карлейля. И Карлейль, которому вся исторія міра представляется «лишь биографіей великихъ людей», полагаетъ, что почитаніе героевъ питаетъ собою всѣ другіе виды почитанія. По его мнѣнію, нѣтъ чувства болѣе благороднаго въ человѣкѣ, чѣмъ удивленіе передъ тѣмъ, что и кто выше него, будь то стихія, элементы природы — горы, солнце, луна, звѣзды, деревья, ручьи, рѣки, громъ, молнія — или ему подобный, человекъ.

Почитаніе героя связано съ религіознымъ отношеніемъ къ міру, съ удивленіемъ и преклоненіемъ передъ высшимъ, страшнымъ, непостижимымъ. И не язычникъ только поклоняется своему идолу, ибо поражается и пугается, теряется и умиляется. И поклоняющійся единому Богу исполненъ тѣхъ же эмоцій. «Почитаніе героя и удивленіе, исходящія изъ самаго сердца и повергающія человека ницъ, безпредѣльная покорность идеально-благородному, богоподобному человѣку, — такова суть самаго христіанства», — утверждаетъ Карлейль, которому ужъ никакъ нельзя отказать ни въ спеціальной освѣдомленности въ предметъ, ни въ піететѣ къ религіи и Христу. «Величайшій изъ всѣхъ героевъ есть Тотъ, Кого мы не станемъ здѣсь называть».

Не будемъ задавать вопроса, какъ соединимо карлейлевское почитаніе героя съ классическимъ запретомъ: не сотвори себѣ кумира, не поклоняйся и не служи ему?! Не будемъ, повторяю, вдаваться въ теоретическія глубины «герологии» у древнихъ грековъ и новѣйшихъ народовъ. Но вотъ реальная жизнь и не въ странахъ личной диктатуры, гдѣ почитаніе героевъ культивируется вмѣстѣ съ официальнымъ безбожіемъ (Сталинъ, Кемаль Ататуркъ) или съ безразличнымъ отношеніемъ къ религіи и ея политическимъ «использованіемъ»: «постольку-поскольку» (режимъ Муссолини, запретившаго только что своимъ должностнымъ лицамъ ссылаться въ рѣчахъ на «волю божью», и Гитлера). Обратимся къ странамъ, не порвавшимъ съ современ-

ной, христіанской культурой, въ которыхъ власть и сейчасъ продолжаетъ осуществляться формально именемъ и милостью божіей.

Вотъ, стоящая подъ знакомъ католицизма, Польша. И прежній текстъ ея конституціи начинался съ традиціоннаго «Именемъ всемогущаго Бога» и съ благодарности «Провидѣнію» за возвращеніе народу свободы послѣ полуторавѣковаго гнета. Нынѣшняя же конституція и формально снимаетъ съ народа отвѣтственность за судьбы страны «передъ Богомъ и исторіей», возлагая ее полностью на главу государства. И при жизни Пилсудскій былъ кумиромъ для пилсудчиковъ, легионеровъ и оставшихся съ нимъ бывшихъ пѣшецовцевъ. Послѣ же смерти маршала въ его прославленіи, какъ героя, единственнаго и незаменимаго, приняли участіе не только вся официальная Польша, армія и церковь, но и громадныя массы населенія. Слѣдованіе тѣла Пилсудскаго изъ Варшавы въ Краковъ для погребенія въ усыпальницѣ бывшихъ польскихъ королей, съ литіями и депутациями на всѣхъ промежуточныхъ станціяхъ, мало чѣмъ отличалось отъ церемоніала, по которому 40 лѣтъ тому назадъ провозились останки врага Пилсудскаго, самодержавнѣйшаго и благочестивѣйшаго императора всея Руси Александра III, изъ Крыма въ С.-Петербургъ, для погребенія въ усыпальницѣ русскихъ вѣнценосцевъ.

И, признаться, въ церемоніаль, которому слѣдовать въ Бозѣ почившій самодержецъ было больше стила и соответствія съ логикой и исторіей, нежели въ церковно-военномъ и народномъ прославленіи былаго повстанца и республиканца. Невоздержанные пилсудчики и при жизни своего кумира не стѣснялись сравнивать его роль въ возсозданіи Польши съ ролью Творца вселенной. Естественно, что послѣ смерти Пилсудскаго они и вовсе потеряли голову и чувство перспективы. Но и польскіе авторы уподобляютъ сейчасъ покойника — божеству, «незримому и вездѣсущему». И даже такой независимый публицистъ, какъ А. И. Изгоевъ, съчелъ умѣстнымъ выразить въ печати увѣренность, что герой «боювки» (боевой организациі польской социалистической партіи), ставшій неисправимымъ ненавистникомъ Россіи, «не можетъ не получить ореола обожевленія», ибо къ нему устремлены: миллионы сердець и головъ со страстью и силой»...

Но что говорить о Польшѣ, когда есть гораздо болѣе разительный примѣръ — добропорядочной и разсудительной, сдержанной и респектабельной Англіи, въ дни и ночи празднованія 25-лѣтняго царствованія короля Георга V.

Милліоны бритовъ и не-бритовъ— въ теченіе часовъ добровольно подвергали себя всякимъ лишеніямъ, порою физической пыткѣ, чтобы только взглянуть или даже, не видя, годко бы прокричать вслѣдъ обожаемому монарху свое привѣтствіе. Доскопочтенные и вовсе не сентиментальные джентельмены умчались и плакали радостными, счастливыми слезами оттого, что «у нашей королевы, дѣйствительно, былъ отличный видъ» и что они сподобились лишній разъ лицезрѣть «главу семьи для всей имперіи» (чѣмъ не тотъ же «царь-батюшка»).

Взгляните на фотографическіе и кинематографическіе снимки. Тамъ мало людей: люди растворились въ утратившей образъ человѣка массѣ, въ стихійно-стадномъ поклоненіи толпы даже не мифу или идеѣ, а природной и случайной комбинаціи изъ обстоятельствъ рожденія, жизни и смерти (старшаго брата Георга V), поставившихъ во главѣ британской имперіи на 25 лѣтъ довольно въ общемъ безвѣстную личность: никто не оспариваетъ, что въ посредственности короля и заключался главный секретъ его политической добродѣтели. Всѣ лица на одинъ манеръ, неотличимы другъ отъ друга, какъ китайцы или малайцы для европейскаго глаза. Всѣ слились въ томъ самомъ «уравнительномъ смѣсительствѣ», въ которомъ такъ любятъ изобличать вольнодумныхъ и вольнолюбивыхъ республиканцевъ ревнишіе о мистической власти, какъ божемъ дарѣ.

Не приходится умалчивать, что среди почитателей и обожателей «природнаго» монарха въ Англии ищется изрядное число и социалистовъ. И не только въ Англии, но и въ Бельгіи и въ скандинавскихъ странахъ, гдѣ какъ разъ за послѣднія десятилѣтія монархіи сумѣла приобрести престижъ не только у политически аморфныхъ массъ или «королевскихъ министровъ», но и среди убѣжденныхъ и стойкихъ демократовъ. Приверженность послѣднихъ къ исторической власти, какъ правило, является функціей отношенія самой власти къ правамъ народа и правиламъ парламентской «игры». И если сейчасъ въ отношеніи къ нынѣшнему королю-спортсмену шведскіе социалисты проявляютъ неописуемый энтузіазмъ по случаю выхода замужъ принцессы Ингридъ, то тѣ же энтузіасты на нашей еще памяти, въ 1905 г., вели очень ожесточенную борьбу съ отцомъ нынѣшняго короля, Оскаромъ II.

Поскольку отъ признанія монархической формы правленія, какъ факта неизбѣжнаго, а при извѣстной исторической обстановкѣ и предпочтительнаго, социалисты переходятъ къ прославленію и преклоненію передъ личностью монарха, въ ихъ восторгѣхъ и экстазѣхъ нельзя не видѣть симптома общественаго нею-

моганія и упадка — завоеванія культомъ героя и непредрасположенныхъ къ тому круговъ. Каждому, глядя на другихъ, захотѣлось имѣть собственнаго героя. И когда героя нѣтъ, — его выдумываютъ или создаютъ.

Въ чѣмъ собственно проявилось геройство Георга V, Пилсудскаго или Сталина? У каждаго изъ нихъ своя душевная и политическая направленность. Но неужели надлежитъ преклониться передъ «нашимъ королемъ» за то, что онъ лояльно соблюдалъ свои обязанности (какъ и его, не удостоившійся преклоненія, отецъ) или за то, что Георгъ V отказался отъ потрѣбленія во время войны вина, когда громадному числу его «дѣтей» пришлось отказаться и отъ своей жизни. И вѣдь не за отвагу и находчивость, проявленные Сталинымъ и Пилсудскимъ во время экспроприации въ Тифлисъ и Безданахъ, возведены они сейчасъ въ санъ героевъ?!

Конечно, британскій — или скандинавскій — вариантъ почитанія героя невинная забава по сравненію съ предметомъ почитанія и, главное, съ формой принудительнаго его почитанія въ странахъ диктатуры. Британскій вариантъ и внутренне свободенъ, и чуждъ языческаго изувѣрства, и политически гораздо менѣе заостренъ. И все же, поскольку не только эстетическая сторона событія, но самая личность носителя верховной власти, одно появленіе короля и его семьи въ экипажѣ ил на балконѣ способны вызвать приступы энтузіазма, граничащаго съ экстазомъ, — британскій вариантъ почитанія героя, можетъ быть, особенно показателенъ.

Пусть и герой заслуживаетъ признанія, и самое признаніе безкорыстно! Но, если даже въ передовой и культурнѣйшей странѣ массы, въ сравнительно благополучный періодъ своей исторіи, ощущаютъ потребность, хотя бы въ кратковременномъ отказѣ отъ своего человѣческаго лика и достоинства, и превращенія въ стадо, въ рой, въ безличный конгломератъ, — болѣе примитивное поклоненіе своему илладу въ странахъ, сотрясаемыхъ политической и соціальной лихорадкой, становится, если не болѣе оправданнымъ, то болѣе понятнымъ и объяснимымъ.

И въ человѣкѣ XX-го вѣка культура не истребила еще до конца ветхаго Адама. И культура прошлаго, взошедшая на религиозной почвѣ, имѣла въ этомъ отношеніи ту же судьбу, что и культура, претендующая быть наиболѣе передовой и культурой будущаго.

*
**

Десять лѣтъ тому назадъ философъ С. Л. Франкъ посвятилъ специальную работу «Крушенію кумировъ». Обнаруживъ «духовную пустоту» кумировъ революціи, политики, культуры, идеи и нравственнаго идеализма, Франкъ отвергъ ихъ всѣ и, для себя лично, нашель выходъ во «встрѣчѣ съ живымъ Богомъ». Не станемъ сейчасъ возвращаться къ тому, что мы писали тогда же («Совр. Зап.», т. 21, стр. 306-7). Отметимъ только, что, по сравненію съ изблеченными и поверженными идеями и кумирами, новѣйшій кумиръ, во плоти и на крови торжествующаго героя, гораздо болѣе «пустъ» и немощенъ.

Взгляните на самодовольно и тупо, во весь ротъ хохочущаго Сталина, ни слова не понимающаго изъ того, что ему говоритъ Лаваль, и, какъ дикарь, только похлопывающаго «собесѣдника» по плечу. Вглядитесь въ квадратно-упрямый профиль съ выдающейся нижней челюстью Муссолини. Прислушайтесь къ капральскимъ выкрикамъ и окрикамъ Гитлера, — по внѣшнему облику героевъ вы получите представленіе и объ ихъ внутреннемъ существѣ.

Современная эпоха отмѣчена возрастающей активностью массъ. Но младенческій уровень культуры, на которомъ онѣ еще находятся, можетъ быть, ни на чемъ не обнаруживается съ такой безспорностью, какъ на герояхъ, почитаемыхъ не только кровно заинтересованными кланами и котеріями, знающими чего они хотятъ, но и широкими массами, часто не вѣдающими, что онѣ творять. По кумиру можно судить и о томъ, кто его создалъ или избралъ. И ничто такъ не свидѣтельствуетъ объ упадкѣ нашей культуры и торжествѣ пошлости и самодовольства, какъ духовный уровень нынѣшнихъ водителей и героевъ, занявшихъ, согласно античному убѣжденію, промежуточное положеніе между людьми и богами и предстательствующихъ передъ богами за свои народы. Современный герой — почитаемый и почитающій себя за «сверхъ-человѣка» — упраздняетъ человѣка, низводитъ человѣческое до уровня животнаго и даже вещнаго.

Героическое въ человѣкѣ — можетъ быть, высшее, что вообще существуетъ въ мірѣ. Но оно не имѣетъ ничего общаго или, точнѣе, является извращеніемъ, искаженіемъ, противоположностью почитанія героя, какъ кумира. Въ героическомъ кульминируетъ духовное начало человѣка. Въ героѣ же аккумуляруются психо-физиологическія энергіи массъ, ихъ страсти

и инстинкты. Героическія рѣшенія принимаютъ и не-герои; рѣшенія же героевъ, какъ правило, чужды героизма.

Героическое предполагаетъ и утверждаетъ принципъ личности и готовность къ самопожертвованію. Самоутвержденіе же героя покинута на отрицаніи достоинства человѣка и на принесеніи другого въ жертву, въ качествѣ настила или трамплина, для возвышенія героя. Не въ силу собственныхъ достоинствъ — «личной годности» — возникаетъ и торжествуетъ герой, а въ силу чужихъ дефектовъ и пороковъ. Героическое рождается съ человѣкомъ, героя-же рождаетъ: имъ становятся даже не столько собственной волею, волею героя, сколько въ силу безволія мячашаго и бездѣйствующаго народа.

Не личность торжествуетъ въ культѣ героя, а рабъ, не героическое и прометево начало, а смердяковское.

М. В. Вишнякъ.

Изъ размышленій о революціи

Въ идеологическомъ и тактическомъ багажѣ тѣхъ демократическихъ и социалистическихъ партій, которыя диктатурой лишены какой бы то ни было возможности легальнаго дѣйствія, хранится неприкосновеннымъ для критическихъ сомнѣній фондомъ мессіанистическое представленіе о всеразрѣшающей революціи. Она придетъ, она не можетъ не прийти... Она во что бы то ни стало должна прийти, потому что послѣвоенныя диктатуры не идутъ даже на самые ничтожные компромиссы даже съ самыми умѣренными оппозиціонными теченіями въ странѣ, потому что онѣ жестоко расправляются даже съ самыми невинными «уклонами» въ средѣ единственной монополярной партіи, стоящей у власти. Революція, «сверженіе» диктаторской власти, совершенно неизбѣжны, потому что кромѣ революціи, кромѣ судороги народнаго возмущенія и гнѣва, кончающагося сверженіемъ ненавистныхъ владыкъ, диктатура не оставляетъ никому, даже самымъ умѣреннымъ своимъ противникамъ, даже принципиальнымъ «реформистамъ» и «соглашателямъ», иного выхода, какъ бы на этотъ счетъ не предавались иллюзіямъ сами эти реформисты и соглашатели. Диктатуру нельзя ни къ чему принудить, кромѣ какъ къ смерти и притомъ только къ смерти безоговорочно насильственной. И поэтому революція стоитъ по ту сторону всякаго рода тактическихъ споровъ о наилучшихъ путяхъ освобожденія, а выступаетъ какъ бы въ видѣ грознаго закона природы, противъ котораго такъ же бесполезно спорить и отъ котораго такъ же бесполезно пытаться отвертѣться, какъ женщинѣ, рожаящей дитя, бесполезно спорить и стараться уйти отъ всего того пикла драматическихъ потрясеній ея тѣла и души, который связанъ съ актомъ рожденія новой жизни.

Если присмотрѣться къ идейному «климату» германской, австрійской, итальянской и — за вычетомъ группы Ф. Дана — русской политической эмиграціи, то можно очень легко увидѣть именно этотъ неприкосновенный фондъ представленій о революціи, какъ единственно возможной формѣ ликвидаціи со-

отвѣтствующихъ диктатуръ. Национальныя особенности каждой изъ этихъ диктатуръ видоизмѣняютъ, конечно, многія детали тактическихъ и стратегическихъ построений отдѣльныхъ партій, но общій фонъ всѣхъ этихъ построений остается тѣмъ же: иныхъ методовъ преодоленія диктатуры, кромѣ революціи, нѣтъ и быть не можетъ.

Сказаннымъ можно пока ограничиться въ характеристикѣ революціонной позиціи эмигрантскихъ политическихъ группировокъ тѣхъ странъ, гдѣ господствуетъ ничѣмъ неограниченная диктатура, классической моделью которой снабдила весь міръ диктатура русскихъ коммунистовъ. Пишущему эти строки приходилось столько разъ въ печати и на собраніяхъ защищать именно эту точку зрѣнія противъ всякаго рода «соглашательства» и мирно-обновленческихъ утопій, что вновь останавливаться на изложеніи ея значило бы повторяться въ мѣрѣ, превышающей уже значительно ту мѣру горькой необходимости повтореній, которая связана съ беспросвѣтнымъ хожденіемъ по мукамъ эмиграціи.

Но именно это многолѣтнее хожденіе по мукамъ россійской эмиграціи и недолгій, но уже богатый опытъ новѣйшихъ политическихъ эмиграцій изъ странъ новонспеченныхъ на большевистскій манеръ иностранныхъ диктатуръ невольно заставляютъ задуматься надъ тѣми сторонами этой революціонной установки, надъ которыми до сихъ поръ мало задумывались мы сами и надъ которыми пока что очень мало задумываются въ кругахъ иностранной политической эмиграціи. И вотъ, если освободиться отъ привычныхъ, въѣвшихся во все наше духовное существо схемъ, и захотѣть провѣрить эти схемы до самаго ихъ корня, то тутъ начинаютъ въ нихъ обнаруживаться такіа логическіе и психологическіе изъяны, которые не могутъ не вызывать весьма сильной тревоги.

И первое, что бросается въ глаза, — это отсутствіе достаточно убѣдительнаго связывающаго звена между системой предпосылокъ и дѣлаемымъ изъ нихъ выводомъ. Революціонная установка въ вопросѣ о преодолѣніи новѣйшихъ диктатуръ чрезвычайно убѣдительна и даже какъ будто непреложна во всемъ томъ, что касается отрицательной стороны вопроса: диктатура непреодолима на путяхъ реформы, компромисса, легальной оппозиціи, «соглашательства»; всѣ подобныя надежды и попытки обречены на неминуемый провалъ по самому существу диктатуры. Но она становится гораздо менѣе увѣренной и убѣдительной въ положительной части своей революціонной формулы, въ своихъ надеждахъ на революцію. Всѣ мы, сторонни-

ки революціонной установки, напоминаемъ въ извѣстномъ смыслѣ такого хирурга, который совершенно точенъ и категориченъ въ отрицаніи возможности вылѣчить больного методами лѣкарственной терапевтики, но который становится далеко не столь точнымъ и категоричнымъ въ утвержденіи возможности вылѣчить больного методами хирургическаго вмѣшательства. Онъ точно знаетъ, какъ больного вылѣчить нельзя. Но онъ гораздо менѣе точно знаетъ, какъ больного вылѣчить можно.

Съ легкой руки Маркса революцію часто называютъ акушеркой, помогающей родамъ новаго общественнаго строя. Сравненіе это во многихъ отношеніяхъ хромаетъ, потому что опытъ революціонной гинекологіи всѣхъ временъ и народовъ даетъ гораздо меньше поводовъ для увѣренности въ благополучномъ исходѣ операціи для матери и имѣющаго появиться на свѣтъ ребенка, чѣмъ опытъ хирургической гинекологіи чисто медицинскаго свойства. Очевидно, что влюбляться въ революціонную акушерку, пѣть ей мадригалы и вздыхать о ней можно было только въ состояніи тяжелой безвкусицы и историческаго безпамятства.

Къ счастью, это состояніе романтическаго оцѣпенѣнія передъ ликомъ революціи въ итогѣ тяжкихъ революціонныхъ переживаній послѣднихъ 18 лѣтъ въ значительной степени испарилось и тутъ-то стало обнаруживаться все явственнѣе это роковое несоотвѣстіе между нашимъ воплѣтъ яснымъ представленіемъ о революціи, какъ единственно возможной формѣ преодоленія современныхъ диктатуръ и нашимъ воплѣтъ неяснымъ представленіемъ о томъ, какъ эта необходимая революція можетъ придти и что она съ собою можетъ принести.

Еще больше: въ самой этой аргументаціи въ пользу *н е о б х о д и м о с т и р е в о л ю ц і и* имѣется немало скрытыхъ элементовъ, способныхъ какъ разъ подорвать увѣренность въ возможности революціи. Въ самомъ дѣлѣ, если современныя диктатуры способны создать такой монолитно-непрошибимый режимъ, при которомъ невозможно возникновеніе сколько-нибудь замѣтныхъ оппозиціонныхъ теченій даже въ средѣ аристократіи монополично господствующей партіи; если она способна и чисто уничтожить всякое общественное мнѣніе, оставляя свободу только для мнѣнія казеннаго; если, пользуясь моднымъ словечкомъ, «тотальность» диктатуры подчиняетъ интересамъ своего самосохраненія всѣ виды индивидуальной и коллективной дѣятельности, имѣющей даже самое отдаленное, а иногда и никакого отношенія къ проблемамъ власти и политики вообще, — то какъ вообще возможна революція, которая вѣдь ни-

когда не возникает «изъ ничего», а всегда является внезапнымъ сгущениемъ наличествующихъ оппозиционныхъ паровъ въ взрывчато-разрушительную смѣсь? Изъ ничего, безъ всякихъ предпосылокъ, кромѣ веселящаго газа подпольно-буштарской кружковщины, можетъ возникнуть и возникали въ исторіи многочисленныя пуги, но они насъ въ данномъ случаѣ не интересуютъ. Широкое же народное революціонное движеніе никогда не возникало безъ разнообразныхъ предварительныхъ формъ того самаго оппозиціоннаго размаха, возможность котораго какъ разъ и отрицается подъ вседавящей пятой новѣйшихъ диктатуръ большевистско-фашистскаго типа, а невозможность котораго какъ разъ и является главнѣйшимъ аргументомъ въ пользу революціоннаго сверженія этихъ диктатуръ. Мы находимся такимъ образомъ какъ бы въ волебномъ кругу: революція послугуируется, какъ единственно целесообразная реакція противъ того типа самоповѣйшихъ диктатуръ, который, въ отличіе отъ диктатуръ довоенныхъ, великолюбно научился предупреждать и подавлять тѣ оппозиціонныя движенія, безъ которыхъ всякая настоящая революція и возникнуть не можетъ. При логическомъ заостреніи этого противорѣчія получается уже политѣйшій парадоксъ: революція необходима, ибо тотъ режимъ, противъ котораго революція необходима, не даетъ никакой возможности силы этой революціи развязаться...

Конечно, ни одинъ политическій режимъ не заботится объ удобствахъ своихъ противниковъ, въ особенности тѣхъ, которые норовягъ устроить противъ него революцію. Но тутъ имѣются разныя степени пренебреженія удобствами своихъ революціонныхъ противниковъ и въ этихъ степеняхъ все дѣло. Такъ меньшевики и с.-р., оказывавшіе черезъ совѣты рабочихъ депутатовъ рѣшительное вліяніе на наше Временное Правительство 1917 года, такъ мало заботились о причиненіи неудобствъ большевикамъ, норовившимъ Временное Правительство свергнуть, что въ широкихъ кругахъ обывательской публики создалось такое впечатлѣніе, будто они прямо заботятся объ удобствахъ этого большевистскаго сверженія. Германская демократическая республика, вышедшая изъ революціи 1918 года, тоже такъ мало заботилась о неудобствахъ реакціонныхъ силъ, норовившихъ ее свергнуть, что въ широкихъ крайнелѣвыхъ кругахъ создалось впечатлѣніе, будто новый демократическій режимъ прямо заботится объ удобствахъ тѣхъ, которые хотягъ его свергнуть. Но тутъ мы имѣемъ дѣло съ крайностями, для насъ въ данномъ случаѣ мало поучительными, такъ какъ здѣсь не демократія свергла реакцію, а реакція свергла демократію. Де-

мократическіе же режимы, вообще говоря, гораздо больше уважаютъ права своихъ противниковъ, чѣмъ реакціонные.

Меньше всего заботь объ удобствахъ своихъ противниковъ проявляли всегда реакціонные режимы. Реакціонныя силы всегда дѣйствовали по іезуитскому правилу, формулированному, кажется, белгійской католической реакціей: «мы требуемъ у васъ всѣхъ правъ на основаніи вашихъ принциповъ и отказываемъ вамъ во всѣхъ правахъ на основаніи нашихъ принциповъ». Такъ дѣйствовала всегда и дѣйствуетъ и понынѣ всякая реакція. И однако до войны ни одинъ реакціонный режимъ при всемъ своемъ зломъ желаніи не могъ такъ закупорить всѣ шели для проникновенія оппозиціонныхъ теченій, суммировавшихся и сгустившихся въ концѣ концовъ въ революцію, какъ это научились дѣлать съ легкой руки большевиковъ всѣ современные «тоталитарныя» диктатуры. Что это такое — гениальность отдѣльныхъ диктаторовъ серии Ленинъ-Гитлеръ, случайная находка одержимыхъ идеей всевластія умовъ? Конечно, нѣтъ.

Случилось то, къ чему демократическое сознаніе 19-го и 20-го вв. было менѣе всего подготовлено. политическая реакція изъ господской, изъ барской, превратилась въ реакцію и ардую, плебейскую. Соціальная демократизация реакціи — вотъ что ей сообщило грандіозный размахъ и дало ей необычайную силу. Въ качествѣ народной эта реакція легко стала впитывать въ себя иѣкторія и идеи соціализма-антикапитализма и тутъ же явственно обнаружилась, какой арварской, губительной для человѣческой индивидуальности силой можетъ стать соціализмъ, изъ котораго выпотрошены идеи и идеалы политической демократіи. Эта непроницаемая въра во всемогущество голаго насилія, эта яростная нетерпимость ко всякому шюмиселію, затрудняющему безумный процессъ повсе шенной умственной жвачки, эта инстинктивная боязнь свободы, какъ фактора, умножающаго число альтернативъ и усложняющаго процессъ выбора одного изъ предоставляющихся рѣшеній — все это пришло не столько сверху, сколько снизу, изъ омерзченныхъ плебейскихъ массъ, влившихся бурными потоками въ русло диктатуры. Онѣ то и сообщили диктатурамъ рѣшимость «тоталитарнаго» подавленія и дали имъ милліоны платныхъ и бесплатныхъ, но однаково ретивыхъ агентовъ для проведенія этого тоталитарнаго подавленія въ жизнь. Национализированная техника умственныхъ и духовныхъ вшшеній дала современнымъ диктатурамъ такія грандіозныя возможности легко и незамѣтно вдраскивать массамъ

«опіумъ для народа», о которыхъ и мечтать не могли техники, организаторы и идеологи довоенныхъ реакцій.

Плебиситарная отвага современныхъ диктатуръ не идетъ ни въ какое сравненіе съ плебиситарной отвагой древнихъ диктаторовъ, опиравшихся на охлосъ, и «маленькаго Наполеона», однажды «поймавшего моментъ». Современныя диктатуры не боятся всеобщаго избирательнаго права и только по трусости Сталину понадобилось нѣсколько плебиситарныхъ опытовъ Гитлера и Муссолини, чтобы наконецъ посулить и русскимъ гражданамъ всеобщее, прямое, равное и закрытое голосованіе, ставшее совершенно безопаснымъ внѣ условій гражданскихъ и политическихъ свободъ.

Такъ вотъ и создались типы реакціоннаго господства, которые и научились такъ абсолютно закрыть всѣ возможности для какой-нибудь оппозиціи, что иначе какъ революціей ихъ ничѣмъ инымъ не проймешь... Да... Но тутъ-то и возникаетъ роковой вопросъ: какъ довести народъ до большой революціи, если его такъ трудно довести даже до маленькой оппозиціи?

**

Къ этому циклу сомнѣній добавляется еще одинъ. Всякая революціонная установка опирается въ своихъ расчетахъ на одну необходимую предпосылку экономически-матеріалистическаго типа: при диктатурѣ не могутъ развиваться производительныя силы страны и, слѣдовательно, должны расти нужда и всяческія матеріальныя тяготы массъ. На этомъ всякая диктатура не можетъ не сломать себѣ шею, такъ какъ голодъ не тетка и массы долго не смогутъ терпѣть, чтобы имъ ихъ морили.

Такъ вотъ, настало время сказать, что эта предпосылка не вѣрна. Собственно говоря, это мы всѣ могли имѣть въ виду уже давно: никогда голодъ самъ по себѣ не являлся не посредственной причиной революцій. Когда имѣются всѣ другія предпосылки революціи, тогда голодъ и матеріальная нужда массъ могутъ придать этой революціи особенно ожесточенный характеръ и втянуть въ нее такія массы, которыя, можетъ быть, въ сытомъ состояніи къ революціи не присоединились бы. Но этотъ особенно ожесточенный максималистскій характеръ революцій не всегда является обстоятельствомъ, способствующимъ успѣху революціи, а иногда онъ революцію прямо и губитъ. Кромѣ того массы, загнанныя въ революцію только голодомъ, являются самыми невѣрными ея спутниками, такъ какъ ни одна революція не въ состояніи сразу и замѣтно увеличить налич-

ные запасы пищевыхъ продуктовъ и непосредственно увеличить матеріальные ресурсы страны. А если мы имѣемъ дѣло съ революціей «ожесточенной», то самый процессъ революціи не повышаетъ, а понижаетъ матеріальный уровеньъ страны въ цѣломъ, за счетъ которой повышенный паекъ получаютъ только ближайшія «ударныя» группы революціоннаго дѣйствія.

Только изъ-за голода революціи не возникаютъ, во всякой революціи ея самымъ сильнымъ двигателемъ является не хлѣбъ, а «воля», понимаемая или предчувствуемая въ каждомъ случаѣ иначе, но всегда являющаяся психологическимъ сплавомъ различного рода, не столько экономическихъ, сколько социальнорасовыхъ и моральныхъ порывовъ широкихъ массъ. Тотъ, кто входитъ въ революцію «не для Исуса, а для ради хлѣба куса», тотъ самый невѣрный ея другъ, легко превращающійся въ опаснаго врага. Именно поэтому ставка на голодъ, какъ на революціонный факторъ, является тройкаго рода ошибкой: во-первыхъ, голодъ никогда не былъ непосредственной причиной революцій, а развѣ только голодныхъ бунтовъ; во-вторыхъ, сама по себѣ революція мало кого можетъ накормить и, въ-третьихъ, революціонеры только изъ-за голода самые опасные друзья революціи.

Но вѣрна ли сама эта предпосылка о невозможности для диктатуры поднять или даже только поддерживать на стабильномъ уровнѣ производительныя силы порабожденной страны? Невозможно ли связана диктатура съ экономическимъ вырожденіемъ страны, съ массовымъ голоданіемъ населенія?

Если взять для начала 13-лѣтній опытъ итальянской диктатуры, то надо признать, что никакихъ массовыхъ голодовокъ, превышающихъ «нормальную» для Италіи мѣру массовой нужды и нищеты, диктатура не породила. Нѣсколько лѣтъ господства Гитлера мало, конечно, показательны. Но все-таки нѣтъ пока никакихъ основаній утверждать, что Гитлеръ ведетъ Германію къ такому обнищанію, при которомъ становится неизбежнымъ взрывъ революціоннаго отчаянія изголодавшихся массъ. Можно сильно сомнѣваться въ рекламируемыхъ гитлеровцами успѣхахъ германскаго народнаго хозяйства подъ эгидой диктатуры. Но отъ сомнѣній въ рекламируемыхъ успѣхахъ до утвержденія о наличности какихъ то непреодолимыхъ экономическихъ катастрофъ — разстояніе настолько значительно, что взять его логическимъ скачкомъ анти-фашистской мысли никакъ невозможно. Во всякомъ случаѣ очень трудно отдѣлать то, что въ тяжеломъ экономическомъ положеніи Германіи связано со специфическими особенностями Гитлеровской диктатуры, отъ того, что связано съ общими условіями міроваго кризиса вообще и съ автаркически-

ми глупостями и преувеличеніями, въ частности, — отъ которыхъ, къ слову сказать, нынѣ не свободны и самыя демократическіе режимы. Современная экономическая мысль во всякомъ случаѣ не обладаетъ еще такими точными и тонкими методами изслѣдованія, чтобы въ анализѣ причинъ, создавшихъ тотъ или иной комплексъ экономического упадка, наглядно отдѣлить причины чисто экономическія отъ причинъ политическихъ, а средъ послѣднихъ провести водораздѣлъ между политической глупостью вообще и политической глупостью и подлостью специфически диктаторіальной.

Яркій примѣръ специфической связи между отчаянной нуждой и голодомъ массъ и мѣропріятіями диктатуры далъ намъ СССР. Здѣсь пятилѣтка и коллективизація явно и непосредственно разорили десятки милліоновъ крестьянъ. Здѣсь ужасающая нищета массъ прямо и непосредственно можетъ быть вмѣнена коммунистической диктатурѣ. Здѣсь диктатура, такъ сказать, поймана съ поличнымъ. Но и отъ этого все-таки еще очень далеко до социологическаго закона, постулирующаго несовмѣстимость всякой диктатуры съ развитіемъ производительныхъ силъ, и обратно: ея нерасторжимую связь съ прогрессирующимъ обнищаніемъ массъ. Муссолини и Гитлеръ въ общемъ осуществили всю политическую, моральную и духовную прелесть коммунистической диктатуры, воздержавшись въ области экономики отъ канкана слона въ посудной давкѣ. «Соціализмъ» въ какой-то мѣрѣ ударилъ въ голову и того и другого. Но въ СССР головы диктаторовъ оказались цѣликомъ нафаршированы сплошнымъ «соціализмомъ» безъ всякаго просвѣта. Вотъ это-то «соціализмъ», а не политическая форма диктатуры, и явился специфической причиной всероссійскаго разоренія.

Однако, даже и для СССР такое разореніе отъ диктатуры не является закономъ на всѣ предбудущія времена. Автомобилисты, изувѣчившій пѣшехода по явной и преступной неосторожности и даже по злему умыслу, обязательно долженъ его изувѣчить во второй разъ послѣ того, какъ онъ оправился отъ первыхъ увѣчій. Загнанная въ колхозы и поднятая на дыбы гипертрофированной индустриализаціей Россія все-таки попытается и попытается уже сейчасъ какъ-то матеріально устроиться на новыхъ началахъ. Изувѣченный пассажиръ начнетъ бѣгать по своимъ дѣламъ на культякѣхъ. Какіе-то протезы дасть ему и сама диктатура. И мѣру своего матеріальнаго благополучія закованный въ цѣпи диктатуры русскій житель будетъ брать не изъ книгъ, которыя ему расскажутъ, какъ жили, какъ ѣли и какъ хозяйствовало «до большевиковъ», а изъ своихъ собствен-

ныхъ воспоминаній періода повального и безпросвѣтнаго голоданія. Въ социальной психологіи массъ дѣйствуетъ не только прямая форма французской поговорки о томъ, что «лучшее врагъ хорошаго», но и обратная форма: «худшее другъ худого». И воспоминанія о худшемъ въ прошломъ способны настолько скрасить худое въ настоящемъ, что это худое можетъ быть воспринято сознаниемъ, какъ и впрямь хорошее.

Нужно прямо сказать и въ этомъ открыто сознаться, что во всѣхъ этихъ спекуляціяхъ на несовмѣстимость диктатуры съ ростомъ производительныхъ силъ и на обязательность прогрессирующаго обвинанія массъ нѣтъ ничего объективно научнаго, но за то есть очень много отъ того неосознаннаго чувства безсилія, которое я бы назвалъ «экономическимъ поражениемъ». Пораженецъ это не только тотъ, кто прямо желаетъ поражения своей странѣ, но и тотъ, кто «объективно» строитъ на пораженіи главные политическіе расчеты. Никто, конечно, развѣ только ужъ самые оголтѣлые люди, въ русской, германской и итальянской эмиграціи не желаетъ своему народу мора и глада. Но если всѣ ихъ надежды на преодоленіе своихъ диктатуръ связаны главнымъ образомъ съ моромъ и гладомъ, тогда въ ихъ нежеланіи глада и мора для своей страны появляется опасная психологическая червоточина. Конфликтъ между нежеланіемъ мора и глада для своей страны и сознаниемъ полезности мора и глада для наступленія революціи-освободительницы разрѣшается такимъ образомъ, что морь и гладъ признаются совершенно неизбѣжными слѣдствіями диктатуры, послѣ чего внутренній конфликтъ «экономическаго поражения» разрѣшается и на мѣстѣ расколотаго сознания появляется нѣкій моральный монолитъ социологической непреложности.

Нетрудно, однако, убѣдиться въ томъ, что вся эта метаморфоза морально стѣснительнаго пораженчества въ морально безупречную объективную «научную» истину является не болѣе какъ продуктомъ инстинктивно-біологической потребности слабыхъ духомъ скрыть отъ самихъ себя свою собственную слабость. Ибо совсѣмъ плохо дѣло того революціонера, который, мечтая о свободѣ, не видитъ, не ощущаетъ массъ, жаждущихъ свободы вмѣстѣ съ нимъ и готовыхъ вмѣстѣ съ нимъ жизнь за нее положить. Тогда то въ немъ просыпается чинимая гордыня мнимой объективности и вмѣсто людей, жаждущихъ свободы и избавленія отъ рабства, онъ начинаетъ видѣть разныя неизбѣжности мора, глада, войны и пораженія, которыя влохнутъ въ кулакъ даже самаго безразличнаго къ свободѣ индивидуума желѣзное расположеніе духа и онъ пойдетъ крушить старый ре-

жимъ со всѣмъ ожесточеніемъ человѣка, которому — «хоть ложись да помирай», а помирать совсѣмъ не хочется. Этотъ одержимый «факторами, «неизбѣжностями», «законами», и всякими прочими «объективностями» революціонеръ, усумнившійся въ свободолюбіи своего народа, становится слѣпымъ и глухимъ ко всему, что свидѣтельствуесть хоть о малѣйшей передышкѣ въ матеріальныхъ лишеніяхъ своей страны.

Несчастье заключается въ томъ, что многіе начинаютъ забывать, что народы получаютъ свободу только тогда, когда имъ до зарѣзу нужна и м е н н о с в о б о д а, а не развитие производительныхъ силъ и прочія почтенныя вещи экономически-матеріалистическаго свойства. Это совершенно не подлежитъ никакому сомнѣнію, что потребности нестѣсняемаго экономическаго развитія были двигательной силой первокласснаго значенія во многихъ революціяхъ. Но эта двигательная сила совершенно не двигалась и лежала инертной глыбой, покуда въ нее не проникъ токъ отъ идей, образовъ и разнообразныхъ духовныхъ эманаций, которыя только и сообщаютъ революціи ея историческій размахъ и великое освободительное значеніе. Нужды, запросы и требованія третьяго сословія, воплощавшіе во Франціи 18-го вѣка интересы экономическаго развитія, давали о себѣ знать задолго до Французской Революціи и иногда даже въ весьма бурныхъ формахъ. Производительныя силы и интересы ихъ дальнѣйшаго развитія были весьма почтенными «объективными факторами» въ теченіе цѣлыхъ поколѣній, представители коихъ весьма непочтительно пресмыкались передъ монархіей и феодално-церковной знатью. И только тогда, когда раздался трубный гласъ свободы, какъ духовнаго идеала, и проникъ въ сердца широкихъ народныхъ массъ, только тогда Великая Французская Революція стала тѣмъ, чѣмъ она была. Только этотъ каскадъ новыхъ идей, образовъ и духовныхъ эманаций высокаго свободолюбиваго напряженія и былъ въ состояніи реализовать ту двигательную силу, которая заключалась въ потребностяхъ экономическаго развитія.

Но не забудемъ все-таки великихъ перемѣнъ, происшедшихъ за почти 150 лѣтъ со времени французской революціи. Тогда на примитивныхъ ступеняхъ капиталистическаго развитія ростъ производительныхъ силъ дѣйствительно не могъ идти впередъ безъ глубокой ломки всей правовой и общественной надстройки. Побѣда новаго экономическаго принципа была тогда немислима безъ побѣды новаго общественно-политическаго принципа. Нынѣ этого далеко нѣтъ и если говорятъ, и правильно говорятъ, о томъ, что промышленная буржуазія раз-

стала съ политическимъ либерализмомъ своей розовой юности, то это вѣдь другими словами и означаетъ, что индустриальное развитіе, какъ и экономическое развитіе вообще, могутъ нынѣ обойтись безъ той свободы, безъ которой капиталистическое хозяйство дѣйствительно не могло обойтись на раннихъ этапахъ своего побѣдоноснаго шествія. И разъ безъ свободы можетъ обойтись капиталистическое бытіе, то безъ свободы очень легко можетъ обойтись и капиталистическое сознаніе.

Грандіозные научные, техническіе и организаціонные успѣхи современной индустріи привели къ тому, что нынѣ могущественные и техническіе комплексы могутъ возникнуть гдѣ угодно, безъ всякихъ мѣстныхъ предпосылокъ культурно-историческаго и общественно-экономическаго значенія. Для этого не нужны, какъ раньше, столѣтія и десятилѣтія, а достаточны всего голько «пятилѣтки». Технические и организаціонные успѣхи индустріи сдѣлали ее такъ сказать «портативной» и при помощи иностранныхъ силъ и матеріаловъ можно получить ультраиндустриальныя ягодки даже и на территоріи ботокудовъ, а самихъ ботокудовъ превратить во множествѣ въ ударниковъ и героевъ труда. Важно только имѣть тамъ диктатора, у котораго, кромѣ глубокой вѣры въ «сѣкимъ-башка», имѣются еще всякаго рода соціальныя и національныя идеяки.

Этотъ обусловленный успѣхами науки и техники разрывъ между свободой и экономикой уничтожилъ и прежнюю неохотимую связь между экономическимъ развитіемъ и свободимъ трудомъ. Принудительный, закабаленный трудъ даетъ теперь не на много худшіе результаты, чѣмъ трудъ свободный, по той простой причинѣ, что самый процессъ производственнаго труда настолько автоматизировался и обезличился, что рабочій все больше превращается въ робота, а роботъ можетъ выполнять свою работу и безъ свободы. Свободный, обладающій нѣкоей хартіей правъ, нѣкоторымъ минимумомъ культуры, любовью къ своему дѣлу, рабочій нуженъ былъ промышленному развитію тогда, когда личныя духовныя и профессиональныя качества играли относительно еще очень большую роль среди суммы условий, опредѣлявшихъ качество продукціи. Непосредственный ручной трудъ занималъ еще очень большое мѣсто въ техническомъ процессѣ производства и личная смекалка, ловкость, выносливость рабочаго пѣнились еще очень высоко предпринимателемъ, что въ свою очередь подымало соціальное самосознаніе самого рабочаго и толкало его на борьбу за свободу.

Но съ тѣхъ поръ произошли коренныя измѣненія во всемъ

строѣ промышленнаго труда. Теперь не рабочий управляетъ машиной, а машина, станокъ, аппаратъ управляютъ рабочимъ. Въ системѣ конвеера эта автоматизація рабочаго, его обезличеніе и его, такъ сказать, духовная дисквалификація нашли свое наиболѣе яркое выраженіе. Такого рабочаго легко превратить и въ раба безъ особаго ущерба для качественныхъ и количественныхъ показателей продукціи. Поэтому деспотическій режимъ, построенный на полномъ удушеніи всякой человѣческой личности и въ томъ числѣ и личности работающаго человѣка, не долженъ въ развитіи производительныхъ силъ встрѣтиться съ препятствіями, вытекающими непосредственно изъ самой его общественно-политической природы, изъ закрѣпощенія труда. Диктатурѣ съ лица пролетаріата не воду пить и она можетъ справиться со своими производственными задачами и при наличности общественно-коряваго пролетаріата, закабаленнаго во всѣхъ смыслахъ и направленіяхъ.

И поэтому революціонное экономическое пораженчество, связанное съ объективно-субъективнымъ предвидѣніемъ-надеждой на то, что диктатура не справится съ экономикой, построено на пескѣ. Тотъ, кто ждетъ, что свобода, изгнанная черезъ политическія двери, вернется черезъ экономическія двери, тотъ свободы никогда не дожидается. Черезъ экономическія двери свободѣ не пройти.

**
*

Но въ духовномъ арсеналѣ революціонной эмиграціи имѣется кромѣ экономическаго пораженчества еще и специфически военное пораженчество, «пораженчество» въ собственномъ смыслѣ этого слова. Основные элементы пораженческой идеологии сводятся примѣрно къ слѣдующему:

Война совершенно неизбежна. Мы не хотимъ войны, но война буд е т ь. Въ этой войнѣ чрезвычайно велика вѣроятность пораженія моей страны, потому что диктатура, даже при самой блестящей военной подготовкѣ, будетъ имѣть противъ себя недобѣріе, презрѣніе и ненависть поработенныхъ ею народныхъ массъ, потому что диктатура не сумѣетъ разбудить въ массахъ тотъ патріотическій порывъ, безъ котораго народъ не въ состояніи вынести тяготы войны. При такихъ условіяхъ падаетъ его сопротивляемость внѣшнему врагу, но зато, обладая оружіемъ, онъ сумѣетъ ополчиться на врага внутренняго, на диктаторское правительство, гипнозъ силы котораго будетъ подо-

рванъ пораженіями и военными неудачами. Вооруженный народъ сброситъ ненавистное правительство и заключитъ съ военнымъ противникомъ болѣе или менѣе сносный миръ.

Я не думаю, чтобы можно было критиковать эту систему пораженчества съ моральной точки зрѣнія. Пораженчество — это ложная точка зрѣнія, но не постыдная. Война до побѣднаго конца съ точки зрѣнія высшей цѣнности человѣческой жизни и святости человѣческой крови морально, пожалуй, еще болѣе предосудительная вещь, чѣмъ война до пораженія и даже для пораженія, потому что капитуляція передъ превосходнымъ противникомъ требуетъ гораздо меньше человѣческихъ жертвъ, чѣмъ война до побѣднаго конца. Пораженчеству нельзя специально вмѣнять въ вину желаніе гибели и раззоренія своихъ соотечественниковъ, потому что война до побѣды и для побѣды принесетъ соотечественникамъ не меньше, а скорѣе всего еще больше потерь людьми и кровью. Никакія контрибуціи и аннексіи въ пользу моей страны не могутъ окупить страданій, связанныхъ съ длительной войной на истощеніе врага до его полной капитуляціи. Никакія матеріальныя выгоды побѣды не могутъ уравновѣсить грѣхъ желаемаго массоваго человѣкоистребительства, одинаково связаннаго какъ съ побѣдой, такъ и съ пораженіемъ. И поэтому порокъ пораженчества не въ ориентации на опредѣленный исходъ изъ войны, а въ самой этой ставкѣ на войну, независимо отъ оцѣнки вѣроятнаго ея исхода. Въ этомъ военномъ пораженствѣ дѣйствуетъ тотъ-же психическій автоматизмъ, та же безотчетная хитрость ума и сердца, что и въ пораженствѣ экономическомъ. Конечно, мы не желаемъ нашему народу ни мора, ни глада и ни войны. Но такъ какъ ни въ нынѣшнемъ, ни въ предвидимомъ арсеналѣ нашихъ средствъ сверженія диктатуры нѣтъ ничего или почти ничего другого, въ чемъ мы бы могли быть вполне увѣренными, что это намъ принесетъ побѣду надъ ненавистнымъ режимомъ, то морь, гладъ и война трансформируются въ ту «неизбѣжность», которая обладаетъ чудесной способностью возмѣстить намъ недостатокъ нашей собственной силы и нашей вѣры въ свободолобіе нашего народа. Экономическіе и военные поражения въ глубинѣ своей души не вѣрятъ въ способность революціонной партіи вновь разбудить въ массахъ жажду свободы, которую эти массы продали за чеченинскую похлебку демагогическихъ посуловъ диктатуры. Но тутъ какъ разъ во время появляются неизбѣжныя морь, гладъ и война, которые и сдѣлаютъ то, чего мы сами сдѣлать не въ состояніи. Все это не столько неизбѣжности «объективнаго хода вещей»,

сколько неизбежности смятенной души революціонера, потерпѣвшаго пораженіе.

Какъ же однако обстоитъ по существу дѣло съ освободительной ролью войны и предполагаемаго въ ней пораженія, если отвлечься отъ психо-аналитическихъ корней этой концепціи? Вѣрны ли, обоснованы ли эти расчеты на войну?

Казалось бы, самое происхожденіе современныхъ диктатуръ должно было бы предостеречь отъ ставокъ на войну, какъ на путь преодоленія диктатуры. Чисто военные корни итальянской, русской, германской, балтійскихъ и польской диктатуръ не подлежать вѣдь никакому сомнѣнію. За однимъ счастливымъ исключеніемъ — Чехословакіи — всѣ демократическіе режимы, возникшіе на военныхъ развалинахъ потерпѣвшихъ пораженіе монархій, въ настоящей моментъ, спустя 17 лѣтъ послѣ окончанія войны, превратились въ развалины, на которыхъ водрузила свои знамена та или иная форма диктатуры. Въ Россіи диктатура воздвиглась на основѣ какъ бы желаннаго пораженія, въ Италиі — на основѣ недостаточно реализованной побѣды, въ Германіи — на основѣ реванша за пораженіе, въ Польшѣ — на основѣ военщины, стяжавшей «неуязвимую славу» на поляхъ исторической мести тремъ ненавидимымъ отечествамъ, въ Австріи — на основѣ побѣды реакціоннаго охвостья войны, милитаристскихъ формаций Геймвера, надъ революціоннымъ охвостьемъ войны, милитаристскихъ формаций Шутцбунда. Всюду, въ основѣ диктатуры мы находимъ тотъ или иной вариантъ въ исходѣ мировой войны. Диктатуру имѣютъ и страны, выигравшія въ войнѣ — правда, всѣ онѣ считаютъ, что при дѣлѣ ихъ обидѣли. Но ужъ тѣ страны, которыя въ войнѣ потерпѣли пораженіе — у тѣхъ диктатура всѣмъ диктатурамъ диктатура.

Таковъ пока что неоспоримый опытъ исторіи: за однимъ исключеніемъ всѣ демократіи, возникшія въ результатѣ войны и пораженія, оказались зданіями, построенными на пескѣ. Мало того, реакціонныя силы, разбуженныя войной и пораженіемъ, сумѣли въ Германіи и въ Австріи съ корнемъ вырвать тѣ, уже значительные, зачатки политической демократіи, которые имѣлись до войны и которые обѣщали богатые всходы при дальнѣйшемъ мирномъ развитіи этихъ странъ. И только въ тѣхъ странахъ — Англія, Франція, Бельгія, — гдѣ демократическое развитіе зашло уже до войны очень далеко, война (замѣтимъ въ скобкахъ: побѣдоносная) не только не остановила роста демократіи, но толкнула ея развитіе далеко впередъ.

Изъ этого, по необходимости краткаго, обзора политическихъ эпилоговъ войны съ ея побѣдами и пораженіями можно,

мнѣ кажется, извлечь достаточно серьезное предупрежденіе противъ всякихъ революціонно-освободительныхъ ставокъ на войну. Въ этомъ отношеніи имѣются только двѣ политическія эмигрантскія группы, которыя въ своей ставкѣ на войну болѣе или менѣе послѣдовательны: это, съ одной стороны, крайнелѣвыя, большевизантствующія теченія въ социалистическомъ интернаціоналѣ, а съ другой — крайне правыя фашиствующія теченія русской эмиграціи. Міросозерцанія и тѣхъ и другихъ укладывается въ одну и ту же формулу: неизбѣжная война, почти неизбѣжное пораженіе, возстаніе вооруженнаго войной народа и вѣнецъ — диктатура... по своему вкусу. А вкусы у нихъ безусловно разные: у первыхъ — ленинскій, у вторыхъ — гитлеровскій. Конечно, ленинизмъ первыхъ связанъ съ мало обоснованной надеждой, что въ томъ диктаторскомъ блюдѣ, которое они поднесутъ «освобожденному» народу, можно будетъ класть гораздо меньше перцу, горчицы и хрѣна, чѣмъ это дѣлалъ Ленинъ. Но и гитлеризмъ вторыхъ тоже связанъ со столь же мало обоснованной надеждой, что въ томъ диктаторскомъ блюдѣ, которое они поднесутъ «освобожденному» народу, тоже будетъ гораздо меньше перцу, горчицы и хрѣна, чѣмъ это было у Гитлера. Можно вполне вѣрить въ искренность этихъ надеждъ и благородныхъ намѣреній: вѣдь ни Ленинъ, ни Гитлеръ сами вначалѣ не думали, что придется такъ круто заправить всѣ блюда этого диктаторскаго меню. А пришлось...

Тотъ, кто обольщенъ идеей диктатуры — «своей» противъ «чужой» — социалистической ли, или національной — тому дѣйствительно есть всѣ основанія уповать на войну. Еще не доказано, чтобы война принесла на своихъ крыльяхъ прочную демократію, но что она можетъ принести на своихъ крыльяхъ прочную диктатуру — это доказано вполне.

Непонятнымъ образомъ въ военно-пораженческое міросозерцаніе неизмѣнно вкрадывается одна наивно-благодущная идея: революція сумѣетъ добиться отъ побѣдившаго военнаго врага заключенія сноснаго и почетнаго мира. Мы настолько уважаемъ трагическій пафосъ революціи, что полагаемъ, что генеральный штабъ и министерство страны-побѣдительницы не смогутъ не сбавить по случаю нашей революціи значительную долю того счета побѣды, который будетъ предъявленъ правительству революціи. То ли ликъ Революціи умилостивитъ побѣдившаго врага, то ли ликъ Революціи его напугаетъ.

Между тѣмъ Версальскій миръ достаточно ясно и даже весьма грубо доказалъ, что ни умилостивить, ни напугать побѣдителя революція не въ состояніи. Наоборотъ, революція входитъ

въ расчеты врага, какъ обстоятельство, способствующее окончательному разложению армии и всего государственнаго аппарата противника. Въ генеральномъ штабѣ врага всегда сидятъ самые отчаянные приверженцы революціи въ той странѣ, которую хотятъ разбить. Хорошо еще, если революціонеры въ странѣ, ведущей или кончающей войну, вполне убѣждены въ томъ, что въ ихъ среду въ качествѣ крайнихъ революціонеровъ не затесались прямыя агенты враждебной державы. Хорошо еще, если они вполне убѣждены въ томъ, что всякія «Окопныя Правды» не издадутся въ конечномъ или въ исходномъ счетѣ на деньги непріятеля.

Германская демократическая республика, возникшая въ результатъ пораженія и извнѣ навязанной революціи, что-то собою мало чувствовала на себѣ благоволеніе Антанты, эту революцію поставившую предварительнымъ условіемъ самыхъ переговоровъ о мирѣ. Что больше всего подрывало морально и матеріально новый демократическій режимъ — это была система репараций и санкций, интенсивно питавшихъ націоналистическія чувства въ самыхъ демократическихъ слояхъ германскаго населенія. Въ исторію гибели германской демократической республики будетъ несомнѣнно вписанъ тотъ фактъ, что лѣвыя правительства побѣдителей не больше щадили побѣжденную Германію, чѣмъ правыя. Даже социалистическій интернаціональ, считаясь съ настроеніями представителей тѣхъ странъ, которыя въ войнѣ выиграли и которыя только въ войнѣ родились, защищалъ систему репараций.

Не подлежитъ сомнѣнію, что въ гибели германской демократической республики значительная доля вины падаетъ именно на тѣ державы-побѣдительницы, которыя вынудили у разбитой Германіи преждевременныя роды этой республики. Въ исторію тѣхъ послабленій и отступленій отъ буквы Версальскаго договора, которыя стали съ теченіемъ времени накапливаться во все большемъ числѣ, нельзя будетъ все-таки не отмѣтить тотъ печальный фактъ, что эти послабленія дѣлались преимущественно реакціоннымъ германскимъ правительствомъ. Когда у власти стояли социалисты, тогда союзники требовали отъ нихъ, какъ отъ порядочныхъ людей, «честнаго соблюденія договоровъ». На не честное ихъ выполненіе соглашались преимущественно тогда, когда у власти стояли продурные и безчестные политики реакціи.

Такъ факты показали, какъ снисходительно и милостиво относятся къ побѣжденному по тому случаю, что у него произошла революція. Представить себѣ теперь, что, скажемъ, Герма-

нія, Японія, Польша сдѣлаютъ въ случаѣ своей побѣды скидку за сверженіе Сталина, а анти-германская коалиція сдѣлаетъ въ случаѣ своей побѣды скидку за сверженіе Гитлера — представить себѣ нѣчто такое можно только въ состояніи какой-то бредовой маниловщины. Всякая революція, которая произойдетъ въ странахъ, проигрывающихъ войну, сдѣлаетъ поражение этихъ странъ не менѣе, а болѣе катастрофичнымъ. Хорошо еще, если можно будетъ остаться при твердомъ убѣжденіи, что поражение вызвало революцію. А что, если придется задуматься надъ тѣмъ, не вызвала ли революція поражение?

**
*

Намъ остается разсмотрѣть еще ту сторону революціоннаго міросозернанія, гдѣ ставка дѣлается не на тотъ прекрасный случай, когда «не бывать бы счастью, да несчастье помогло», а на силу самихъ революціонныхъ кадровъ, на силу самого революціоннаго народа. Здѣсь прежде всего слѣдуетъ остановиться на мифѣ всеобщей стачки.

Преполагалось всегда, что пролетаріатъ обладаетъ специфическимъ магическимъ средствомъ внезапной парализаціи дѣятельности враждебнаго правительства и враждебныхъ классовъ и организацій, отказавшись одновременно повсюду отъ работы, примѣняя такъ назыв. «революцію скрещенныхъ рукъ». Для социалистическихъ партій идея всеобщей стачки имѣла еще тотъ громадный идеологическій соблазнъ, что здѣсь могущественное средство сокрушенія врага выступало въ чисто классовомъ пролетарскомъ одѣяніи. Устарѣлость и практическая безнадѣжность прежнихъ повстанческихъ методовъ революціонной борьбы еще болѣе усиливали притягательность революціи скрещенныхъ рукъ, придавая ей морально-панфиетскій ореолъ «безкровности».

Для успѣха всеобщей стачки требовался рядъ объективныхъ предпосылокъ: 1) Нужно было, чтобы она была дѣйствительно всеобщей, а не частичной. 2) Нужно было, чтобы рынокъ труда въ моментъ забастовки не былъ переполненъ громаднымъ количествомъ безработныхъ, настолько изголодавшихся и отчаявшихся, что они готовы взяться за любую работу на любыхъ не только матеріальныхъ, но и моральныхъ условіяхъ. 3) Нужно было, чтобы руководящія силы рабочаго движенія были болѣе или менѣе едины, а не раздроблены между враждующими партіями, ведущими между собою братоубійственную войну. 4) Нужно было, чтобы неорганизованная, несознательная часть

пролетариата на худой конец была бы и достаточно пассивной, т. е. легко подчиняющейся руководству передовых слоев пролетариата и во всяком случае не норовящей и не умѣющей активно перечеркнуть планы этих передовых слоев. 5) Нужно было, чтобы социалистическій пролетариатъ былъ въ странѣ единственно организованной массовой политической силой, въ то время какъ другіе классы совсѣмъ не имѣютъ массовыхъ народныхъ организацій и довольствуются всякаго рода плохо сколоченными и слабо дисциплинированными представительствующими группами, избирательными комитетами и т. п.

И вотъ, всѣ эти условія нынѣ отсутствуютъ. И относительно однихъ неизвѣстно, когда они вновь не появятся, а относительно другихъ извѣстно уже, что они совсѣмъ вновь не появятся. Рабочій классъ въ цѣломъ раскололъ на работающихъ и безработныхъ и уже экономисты намъ доказываютъ, что и послѣ преодоленія кончающагося видимо кризиса останутся во всѣхъ промышлененныхъ странахъ милліоны и милліоны людей, для которыхъ не будетъ уже мѣста въ индустриі, работающей даже съ полной нагрузкой своего технического оборудования. Расколото безнадежно и рабочее движеніе и не видно конца этому расколу. Во всякомъ случаѣ до тѣхъ поръ, покуда существуетъ российская диктатура, въ этомъ расколѣ активно заинтересованная. Неизвѣстно, какъ и когда будетъ преодоленъ расколъ между прогрессивнымъ и реакціоннымъ рабочимъ движеніемъ, если коммунистическое рабочее движеніе не причислятъ къ реакціонному. Во всякомъ случаѣ послѣ войны подлинная реакція — фашистская и не, или еще не, фашистская реакція — доказала, что она весьма недурно умѣетъ организовать рабочіе батальоны въ строго дисциплинированныя боевыя части и нѣтъ тутъ недостатка даже въ томъ, что до сихъ поръ казалось социалистической мополойей: густо насыщенной идеологическими и міросозерцательными солями «всеобъемлющей» теоріи. Сейчасъ въ массахъ можетъ быть не меньше, а, пожалуй, и больше темноты, невѣжества, умственной косности и «несознательности», чѣмъ до войны. Но вотъ что исчезло совсѣмъ и наврядъ ли когда-нибудь вернется, и это хорошо, что не вернется: пассивныя, «забитыя», косныя массы, пребывавшія до войны въ спасительномъ нейтралитетѣ при столкновеніи организованныхъ и сознательныхъ общественныхъ силъ. Теперь только получило весь свой трагическій смыслъ боевое изреченіе: «кто не съ нами, тотъ противъ насъ». Теперь ничья хата не съ краю и всѣ въ центрѣ самаго общественнаго пожара. Рассчитывать при такихъ условіяхъ, что въ случаѣ объявленія ведущими организаціями рабочаго социализма всеобщей

забастовки неорганизованная часть рабочаго класса сама собою въ нее втянется или будетъ втянута, а всѣ остальные классы населенія сохранять при этомъ враждебный или дружественный нейтралитетъ, такъ что противъ сознательныхъ отрядовъ пролетаріата будетъ стоять только правительственный аппаратъ реакцій — рассчитывать на эту довоенную комбинацію силы и безсилія было бы нынѣ совершеннѣйшимъ безумствомъ.

Какъ на примѣръ воплѣтъ удачной и достигшей своей цѣли всеобщей политической забастовки послѣ войны указываютъ на всеобщую забастовку весною 1920 г. въ Германіи, явившуюся отвѣтомъ на монархическій путчъ Каппа. Примѣръ этотъ, къ сожалѣнію, не доказателенъ или доказателенъ совсѣмъ въ особомъ смыслѣ. Эта забастовка была вызвана не желаніемъ свергнуть реакціонный режимъ, а желаніемъ защитить противъ реакціонныхъ бунтовщиковъ существовавшій демократическій режимъ. Это не было забастовкой противъ правительства, а забастовкой съ благословенія правительства.

Спеціальная доказательность этого примѣра состоитъ въ томъ, что противъ правительства, имѣющаго на своей сторонѣ значительныя народныя массы, всякое революціонное выступленіе, даже очень значительнаго размаха, обречено на тяжкое пораженіе. И поэтому германская социалдемократія не могла и не должна была пытаться отвѣтить на завоеваніе власти Гитлеромъ всеобщей забастовкой, и поэтому такая попытка, предпринятая въ Австріи, провалилась съ самаго же начала, и поэтому такая же попытка, предпринятая въ Испаніи и получившая гораздо большій размахъ, закончилась тѣмъ же пораженіемъ.

И во всѣхъ этихъ новѣйшихъ случаяхъ: въ Германіи, Австріи и Испаніи было съ самаго начала ясно, что совершенно исчезла приманчивая нѣкогда перспектива «мирной революціи», «революціи скрещенныхъ рукъ», и всеобщая забастовка съ перваго же момента перейдетъ неминуемо въ беспощадную кровавую схватку, насыщенную всѣмъ ожесточеніемъ заправской гражданской войны. А въ гражданской войнѣ, гдѣ на одной сторонѣ выступаютъ передовыя свободолюбивыя части организованнаго пролетарскаго населенія, плохо или даже совсѣмъ невооруженныя, а съ другой — могущественный военный и гражданскій аппаратъ современной диктатуры, поддержанный добровольными или полудобровольными милитаризованными организаціями, поддержанный кромѣ того широкими массами населенія, не «холеными», не «холодными», а такими, которые не боятся самой тяжелой и грязной работы, самой изнурительной

службы, — гражданская война въ такихъ условіяхъ современной диктатуры — это вѣрная катастрофа для отрядовъ демократіи, какъ бы ни были величавы и героичны ихъ революціонный порывъ. При всемъ трагическомъ лафосѣ ихъ выступленія — оно все же неизбѣжно приметъ характеръ авантюристическаго путча и такимъ путемъ было австрійское возстаніе февраліа 1934 г., такимъ путемъ было и испанское возстаніе октября того же года.

**

Мы еще когда-нибудь вернемся къ этой темѣ объ урокахъ австрійскаго и испанскаго возстаній для будущей стратегіи и тактики революціонной борьбы. Но сейчасъ у насъ уже имѣется достаточно матеріала для необходимаго вывода изъ этого обзора слабыхъ пунктовъ современнаго революціоннаго, скажемъ точнѣе, эмигрантско-революціоннаго міросозерцанія. Эти всѣ слабые пункты въ концѣ концовъ сводятся къ одному: къ потерѣ вѣры въ возможность возрожденія демократическихъ идеаловъ въ тѣхъ толщахъ своего народа, которыя теперь соблазнены національной и соціальной демагогіей диктатуры. А этотъ скептицизмъ въ отношеніи демократическаго сознанія своего собственного народа непосредственно связанъ съ кризисомъ демократическаго сознанія въ руководящихъ кругахъ соціалистической эмиграціи. А кризисъ ихъ демократическаго сознанія есть результатъ перенесеннаго тяжкаго пораженія, которое необходимо какъ-то внутренне оправдать. А изъ всѣхъ возможныхъ оправданій то наиболѣе цѣлительно для израненной души, которое сваливаетъ вину не на самихъ себя, не на людей, партіи, ихъ политику и ихъ поступки, а на учрежденія и идеи, которыя легко объявляются негодными и неизлѣчимо большими.

А разъ нѣтъ вѣры въ свой собственный народъ и разъ ослаблена эта отвѣтственность за свои собственные поступки, то естественны всѣ эти апелляціи къ вѣншичѣ силамъ, къ мору, гладу, войнѣ, всѣ эти попытки какъ-то обойти единое на потребу: разбудить въ собственномъ народѣ жажду свободы, расколдовать его отъ гипноза диктатуры, привить ему новыя идеи, вызвать въ немъ отвращеніе и презрѣніе къ силѣ и уваженіе къ праву.

Это очень трудная задача подъ режимомъ диктатуры? Да, это очень трудная, неслышанно трудная задача и такой трудности задачи еще никогда не ставились передъ активными силами

демократіи, передъ ея бойцами передовыхъ позицій. Но вѣтъ это единственно реальная задача и только ея рѣшеніе есть дѣйствительное рѣшеніе вопроса о методахъ преодоленія диктатуры. Если передовые отряды демократіи чевъ состояніи рѣшить эту задачу, то напрасно ее подмѣнять болѣе легкими, или мнимо легкими. Только тотъ народъ получаетъ свободу, который ее, именно ее, а не что-нибудь вза-мѣнитъ ея, желаетъ.

Будемъ называть вещи своими собственными именами: революціонная работа въ странахъ тѣхъ диктатуръ, которыя пользуются активной или даже только пассивной поддержкой широкихъ массъ — это прежде всего и больше всего, а въ теченіе вѣроятно еще очень долгаго времени даже исключительно — просвѣтительная работа. Въ этой работѣ напрасно ждать помощи отъ стихійныхъ бѣдствій, матеріальной нищеты и запустѣнія. Это помощники отчаянія, папки, суевѣрія, тьмы и безпросвѣтлости, но не свѣтлаго духа свободы.

И пусть революціонно-соціалистическая эмиграція не обольщается надеждой на то, что народъ, который пока что очень трудно собрать подъ знамена демократіи, удастся легко собрать подъ знамена «настоящаго» соціализма, что народъ, который презрѣлъ завоеванія политической демократіи, можно будетъ подкупить посулами демократіи соціальной. Горе тому соціализму, который воздвигнется на развалинахъ демократіи, хотя бы архитекторы этого соціализма клялись «въ концѣ концовъ» увѣнчать зданіе соціализма куполомъ демократіи. Мы уже имѣемъ достаточно поучительный русскій примѣръ того, что получается, когда народъ отворачивается отъ «дживой» демократіи къ «истинному» соціализму. Изъ этого получилось только истинное рабство. Такое же истинное рабство создастъ всякая, даже исполненная самыхъ лучшихъ намереній соціалистическая партія, если она придетъ къ власти тѣмъ же путемъ отверженія демократіи во имя соціализма.

Нѣтъ, контрабандой свобода не пройдетъ. Она придетъ только подъ своимъ собственнымъ флагомъ, выявляя свое собственное лицо. Тотъ, кто въ это вѣритъ, тотъ, хочеть онъ этого или нѣтъ, станетъ слѣпымъ или зрячимъ агентомъ рабства, хотя бы оно и называлось диктатурой пролетаріата.

Ст. Ивановичъ.

СССР на путяхъ эволюціи

Три революціи съ 1917 года пережила Россія. Всѣ онѣ различны по своему политическому и социальному смыслу. Первая — февральская — это крахъ самодержавія, разстрѣлианно пушками Германіи и, въ то же время, бессильная попытка демократической интеллигенціи управлять государствомъ. Вторая революція — Ленинская — экспроприация буржуазіи и передача земли помѣщикамъ въ распоряженіе крестьянъ. И третья, отнынѣ связанная съ именемъ Сталина, — уничтоженіе частнаго хозяйства крестьянъ, организациа на его мѣстѣ коллективнаго хозяйства, управляемаго государствомъ и молниеносное развертываніе на этой базѣ мощной государственной индустриіи.

Третья революція началась въ 1928 г., а можетъ быть и раньше, когда слагались ея идейные предвѣстники. Кончилась ли она сейчасъ? Еще годъ назадъ было мало оснований объ этомъ говорить. Въ настоящее время множество признаковъ, во всѣхъ областяхъ, свидѣтельствуютъ, что революція кончилась или, выражаясь осторожнѣе, кончается. Основная ея цѣль выполнена. А какая была цѣль?

Во всякой революціи неизбежно присутствіе иллюзій. Иллюзіями была увѣшена первая революція. Ихъ было немало у второй. Великое множество у третьей. И вотъ, если отложить въ сторону всякаго рода иллюзій и всякую «литературу», не трудно будетъ усмотрѣть, что не какая-либо новая «декларациа правъ челоуѣка и гражданина», не возрожденіе «понятія о челоуѣкѣ, о его правахъ, о его личности», о которыхъ говорить «Правда» въ номерѣ отъ 18 апрѣля, были душою третьей революціи, а... блумингъ, тракторъ, автомобиль, металлургическій, химическій заводъ, иначе говоря, созданіе мощной и технически передовой индустриіи. И чтобы достигнуть этой, въ величайшій пафосъ и революціонный энтузіазмъ одѣтой, цѣли, революція пошла на самый большой въ мѣрѣ социальный переворотъ: экспроприацию 100 милліоновъ душъ крестьянскаго на-

седенія. Но общество, какъ и человѣческой организмъ, не можетъ жить вѣчно при 41° температурѣ, неизбежной при большихъ революціяхъ. Когда, поставленныя послѣдними, объективныя цѣли выполнены, жаръ, температура всегда спадаютъ. Наступаетъ моментъ отъ лихорадочнаго состоянія перейти къ нормальному. Отъ жизни на бивуакахъ, въ штурмахъ, нагискахъ, головокруженіи, изнемогающихъ напряженіяхъ, потокахъ крови, перейти просто къ жизни, конечно, въ созданныхъ новыхъ условіяхъ. Какъ всегда въ такихъ случаяхъ съ быстротой мѣняется психологія участниковъ революціи и народной массы. Начинается въ разныхъ формахъ и областяхъ отходъ отъ неосторожно, въ лихорадкѣ и плѣну иллюзій занятыхъ позицій. Начинается циклъ важнѣйшихъ измѣненій и то, что вчера еще объявлялось политически и социальна-недопустимымъ, нынѣ нерѣдко дѣлается закономъ и добродѣтелью. Все это сейчасъ и происходитъ въ СССР. Такъ какъ въ коротенькой статьѣ я не могу задаваться цѣлью охватить весь этотъ сложный комплексъ фактовъ, постараюсь остановиться лишь на важнѣйшихъ экономическихъ измѣненіяхъ, тѣмъ болѣе интересныхъ, что тутъ ключъ отъ всей жизни страны.

Хозяйственная жизнь СССР, въ ея итогахъ и заданіяхъ, отражается въ ежегодно составляемыхъ контрольныхъ цифрахъ, въ планахъ работы. Характеръ плана опредѣляетъ тонусъ жизни страны. Его опубликованіе — моментъ, полный огромной отвѣтственности. Болѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ, народно-хозяйственный планъ на 1935 г. говоритъ о происшедшей въ странѣ эволюціи. Когда сравниваешь его съ планами разгара революціи 1929-1931 гг., составившихся въ бреду, при 41° температурѣ, видишь, что планъ нынѣшняго года составленъ людьми съ «повышенной», но уже идущей къ нормальной температурѣ. Люди 1930 г., охваченные какимъ-то психозомъ, различая, что можно, что нельзя, что достижимо, что нѣтъ, говорили, что черезъ «годь-два мы будемъ вводить мощности ежегодно въ 2-3-4 милліона киловаттовъ». Люди 1935 г., утратившіе въ ходу революціи безсмысленныя иллюзіи, многому научившіеся, — такъ уже не говорятъ. На нынѣшній годъ на новыхъ электростанціяхъ «планируется» установка 747 тысячъ киловаттовъ. Величина очень крупная. Все-же — вдвое меньше, чѣмъ та, которую приказывали установить и, конечно, не установили въ 1931 г. Въ тотъ годъ, грозя беспощадными карами, правительство требовало «умереть», но произвела 70 тысячъ тоннъ мѣди. Заданіе было нелѣпымъ. Планъ на этотъ годъ — 71 тысяча тоннъ. Вдвое меньше, хотя мѣдепла-

вильные заводы, благодаря вложению 2 миллиардов рублей, стали мощнее. В 1929 г. Совфг Труда и Оборона приказывал к концу первой пятилетки произвести 127 тысяч тонн цинка и 100 тысяч тонн свинца. На третьем году второй пятилетки, принося «вредительской» психологией, шефы государства поняли, что их прежние приказы были фантастическими. В шестнадцатом году намечается производство цинка 45 тыс. тонн, свинца 40 тыс. тонн. Меньше в три и два с половиной раза. В 1931 г. правительство требовало поймать в Черном и Каспийском морях, в Тихом океане и Северном 25 миллионов центнеров рыбы. Специалисты робко замечали, что это невозможно. Мы знаем их судьбу. Теперь улов рыбы планируется в 12,3 миллионов центнеров. Ваное меньше, невзирая на то, что рыболовный флот пополнился многими новыми судами и траулерами. И так почти во всех областях.

Значение такой эволюции огромно. Над советским хозяйством, по крайней мере над многими его отраслями, перестают висеть утопические, тяжкие планы. Планы, герия прежний бредовой облик, начинают соответствовать ресурсам и возможностям. В 1931 г. ни на чем не основанный план производства чугуна был выполнен только на 59%, а стали на 60%. В 1934 г. план производства чугуна уже выполнен с превышением, а стали на 97%. Ход производства делается увереннее и спокойнее. Его меньше дергают непосильными заданиями. Не гонясь за недостижимыми в данный момент количествами, заводы получают возможность подумать о качестве. Трудящиеся массы не вынуждаются к завидно бесплодной растрате сил и ресурсов, как то было при раздутых планах полевых яровых (в 1932 г. — 102 миллиона гектаров, в 1935 г. — 93 миллиона). Вследствие того, что ставимые цели делаются более реалистическими, в пропорции с опытом, силами и средствами, меньше приходится прибегать к экстра-ординарным приемам работы, неслышным «штурмам», встречным планам и другим знахарским цинкам для осуществления неосуществимого. В строении отдельных планов явная эволюция и явный прогресс, которые, однако, не так заметны в построении общего народно-хозяйственного плана. Большие прежние дель, ошибочное над всем доминирующее развитие только средств производства при игнорировании интересов потребления, далеко еще не изжито и проявляется в общем плане при распределении средств, назначаемых различным ответственным областям.

Въ совѣтскомъ хозяйствѣ есть и другія большія измѣненія. На протяжении многихъ лѣтъ страна обезкровливалась непосильнымъ экспортомъ. Для экипировки заводонъ-гигантовъ, развертыванія тяжелой индустріи, было импортировано въ первую пятилѣтку на 4 миллиарда золотыхъ рублей машинъ, котловъ, металлово, станковъ и т. д. Кромѣ того, произведены затраты на техническую помощь, на приглашеніе иностранныхъ специалистовъ. Расходы въ громадной долѣ покрывались экспортомъ хлѣба и продовольственныхъ продуктовъ, вывозомъ именно того, что до крайности было нужно населенію самого СССР. Окончаніе строительства серіи заводонъ, не нуждающихся болѣе въ импортѣ оборудованія и начавшихъ его производить, съ другой стороны, невозможность въ виду кризиса сбывать въ большомъ количествѣ продовольственные товары на мировыхъ рынкахъ, привели къ рѣшкому уменьшенію экспорта продовольствія и измѣненію вѣннеторговой политики. Въ сравненіи съ 1931 г. въ истекшемъ году вывезено въ 5 разъ меньше консервовъ, въ 13 разъ меньше янчи, въ 18 разъ меньше битой янчи. Продукты, къ удовольствію населенія, остались дома. Въ 1931 г. при самомъ гяжкомъ неурожаѣ и явномъ голодѣ, правительство все-же вывезло за границу 300 миллионъ пудовъ. Въ 1934 г. при несравнимо лучшемъ урожаѣ, хлѣба вывезено только 36 миллионъ пудовъ; 264 миллионъ лишнихъ пудовъ хлѣба остались въ странѣ для ея потребленія.

Изъ заявленій руководителей совѣтской политики видно, что такое «радикальное уменьшеніе» экспорта продовольственныхъ товаровъ разсматривается ими не какъ мѣропріятіе «конъюнктурнаго» характера, а болѣе глубокое. Они полагаютъ, что теперь можно прекратить форсированный экспортъ продовольствія. Въ доказательство, они ссылаются на то, что страна меньше нуждается сейчасъ въ импортѣ средствъ производства, чѣмъ въ 1929 г. и даже переходить къ экспорту металлово, машинъ, автомобилей, тракторовъ, что покупательная ея способность, вследствие сильно увеличившейся добычи золота, возросла и что очень улучшились въ пользу СССР (примѣръ: новый торговый договоръ съ Германіей) условія полученія заграничныхъ кредитовъ. По словамъ наркома вѣннеторговли, все это даетъ возможность «внести значительныя измѣненія въ структуру совѣтскаго экспорта», т. е. измѣнить характеръ вѣннеторговой политики перной пятилѣтки, базировавшейся на полномъ презрѣніи къ нуждамъ потребленія страны. Такъ-ли это или не такъ, — пока судить трудно, одно только несомнѣнно — очень значительная, невывезенная за границу масса

хлѣба позволила правительству сдѣлать одинъ изъ крупнѣйшихъ шаговъ во внутренней экономической политикѣ, означающей переходъ къ нормальной жизни... Я говорю объ отбѣтѣ карточной системы на хлѣбъ, являющейся не изолированнымъ мѣропріятіемъ, а частью общей политики ликвидаціи вообще «военно-осадной» системы регулированія потребленія, исчезнувшей съ окончаніемъ второй революціи и снова появившейся при третьей. «Мы ввели карточную систему потому, что хотѣли обезпечить осуществленіе политики быстрой индустриализаціи нашей страны», но пришло время «освободиться отъ этой обузы и поставить дѣло по новому» (Молотовъ, рѣчь 25 ноября 1934 г.). Окончательно выродившаяся, полная злоупотребленій и презрѣнія къ потребителю, распределенческая система испускаетъ послѣдній духъ. Плата рабочимъ и служащимъ натурой суживается и скоро совсѣмъ исчезнетъ. Ставится крѣсть надъ попытками установить хозяйственный строй безъ денегъ на основѣ прямого продуктообмѣна, хотя «этой простой истины», какъ заявилъ новый шефъ Ленинграда — Ждановъ, все еще не понимаютъ нѣкоторые несуразные «лѣво-радикальные» элементы, ратующіе за немедленный переходъ къ продуктообмѣну». Роль денегъ грандіозно увеличивается и для новаго этапа совѣтскаго развитія характеренъ призывъ того-же Жданова — «уважать деньги».

Уважать совѣтскій рубль до сихъ поръ было трудно. Его цѣнность улетучилась. Сравнивъ опубликованныя новыя государственныя цѣны съ французскими, можно вычислить, что рубль, при официальной котировкѣ его въ 13 фр., фактически не выше 75 бумажныхъ сантимовъ, т. е. равенъ приблизительно 5 коп. довоеннымъ. Кромѣ того, онъ уже давно сталъ трехличенъ. Онъ имѣлъ одну цѣнность въ закрытыхъ распределителяхъ, гдѣ продукты выдавались по безмѣрно низкимъ цѣнамъ. Другую цѣнность въ государственныхъ коммерческихъ магазинахъ и третью на базарахъ и рынкахъ. Правительство на мѣреваетъ устранить эти разрывы и въ цѣляхъ укрѣпленія, выравниванія, стабилизациі рубля подтянуть цѣны къ нѣкоей средней.

Отбѣна распределенческой системы пайковъ, руководствовавшейся правиломъ «лопай, что даютъ» и бывшей явной преградой къ улучшенію качества продукціи, равно какъ и политика стабилизациі рубля, которая, чтобы не окончиться банкротствомъ, неминуемо потребуетъ отъ правительства много разъ увеличить вниманіе къ производству предметовъ потребленія, — являются актами неизбѣжными и означающими

переходъ къ «нормальнымъ» отношеніямъ. Тѣмъ не менѣе, не трудно усмотрѣть, что прекращеніе почти даровыхъ пайковъ и выдачъ, какъ бы ни мало было выдаваемое, ознаменовывается ухудшеніемъ жизненнаго положенія низкооплачиваемыхъ слоевъ городскихъ трудящихся. За «кашу», за килограммъ пшена они будутъ платить не 27 копѣекъ, какъ раньше, а въ 11 разъ больше — 3 рубля. Килограммъ черного хлѣба они будутъ получать не за 9 коп., какъ по пайку въ революцію 1929-1932 г., а за 1 рубль. При мѣсячной средней заработной платѣ въ 78 руб. за 1930 г. покупка 30 килограммовъ черного хлѣба составила въ бюджетѣ рабочаго около $3\frac{1}{2}\%$. Средняя заработная плата въ 1934 г. — 148 руб. Ее предполагають увеличить на 10%, значить, — въ 1935 г. она будетъ 162 руб. Въ ней ежемѣсячная покупка хлѣба будетъ составлять не $3\frac{1}{2}\%$, а 19% — процентъ огромный! Низкооплачиваемые слои рабочихъ должны теперь понизить потребленіе хлѣба, или сократить свое питаніе въ столовыхъ коллективнаго питанія, брать не два блюда, а одно, такъ какъ и тамъ переоцѣнка продуктовъ вызываетъ повышеніе цѣнъ. Такое предположеніе вполне подтверждается опубликованными цифрами. Въ январѣ и февралѣ 1935 года, немедленно за повышеніемъ цѣнъ, количество блюдъ, отпущенныхъ въ системѣ коллективнаго питанія, въ сравненіи съ тѣми-же мѣсяцами 1934 г., уменьшилось на 28,7%. А цѣна этого уменьшеннаго количества блюдъ увеличилась на 6%. Паденіе цѣнъ на «вольныхъ» базарахъ и рынкахъ, а оно будетъ происходить и дальше, въ какой-го степени компенсируетъ отмену пайковъ и повышеніе государственныхъ цѣнъ, однако, даже въ случаѣ паденія свободныхъ цѣнъ до уровня государственныхъ, положеніе большинства трудящихся СССР останется крайне тяжелымъ. Въѣстѣ съ тѣмъ, углубится и безъ того явно выпирающее наружу неравенство жизни различныхъ группъ и категорій. Опѣните, въ самомъ дѣлѣ, какую долю въ различныхъ заработкахъ составитъ покупка ежедневно не какого-нибудь деликатеса, а, напримѣръ, килограмма (обычная для русскаго рабочаго порція) бѣлаго хлѣба изъ муки 85%, помола, стоющаго въ мѣстностяхъ, отнесенныхъ къ III зонѣ — 2 руб. У первостепеннаго ударника-сталевара съ заработкомъ въ 705 руб (завода «Серпъ и Молотъ») она возьметъ около 9% его платы. У ударника-инженера, зарабатывающаго на Магдебскомъ заводѣ, какъ сообщил Орджоникидзе, отъ 2.000 руб — около 3%. А у рабочаго съ платой въ 162 руб. ежедневная покупка бѣлаго хлѣба отняла-бы 38% бюджета... Процентъ прямо невѣроятный. Французскій рабочій, ниже сред-

него оплачиваемый, затратить на такую-же покупку менее 9%. Ясно, что при 162 рублях претендовать на белый хлеб вдоволь нельзя. И вот, это неравенство, которое ярко иллюстрируется на примере с хлебом, обнаруживается с такой же силой и даже большей и в отношении всех других жизненных благ. Что из этого следует? В № 5/6 «Социалистического Вестника» мы читаем: «При свете этих фактов задача повышения и притом значительного повышения заработной платы приобретает сейчас исключительное значение. К сожалению, о таком повышении нет и речи и, напротив, печатать пестрить сообщения о самых разнообразных попытках заводо-управлений уклониться от проведения в жизнь и той убогой прибавки к заработной плате, которая была обещана при отпуске хлебных карточек».

Увы, вот какого, так сказать, «профессионального» ответа на жгучий вопрос я дать не могу. Вопрос неизмеримо сложнее. Я бы хотел знать, из каких источников может быть сделано «значительное повышение» заработной платы? Не начесть ли бумажек, новых червонцев? Пока существовала буржуазия и тому подобные классы, традиционный ответ имел бы тот смысл, что приглашал выкроить в пользу трудящихся за счет буржуазии больший кусок из «пирога» национального дохода. В Советской России есть «знатные люди», но старой буржуазии нет. По своему социальному положению население СССР, по последним данным ЦУНХУ, состоит из 28,1% служащих, инженерно-технического персонала и рабочих, из 68,4% крестьян-колхозников и единоличников, из 3,4% армии, учащихся и пенсионеров и ...десятой доли процента буржуазии. За счет кого может быть увеличена, — да еще значительно! — заработная плата? Прибавка низкооплачиваемым слезам может быть, допустить, сделана за счет «знатных людей», — ударников, начальников, инженеров и т. д. Мыслимо ли это? Никакая уравнилельная операция не даст ощутительных результатов. Кроме того, она и не мыслима. Опыт 1929-1931 г. показал, что уравнение заработной платы, приближение оплаты инженера к оплате кочегара, начальника треста к оплате простого слесаря, — имело своим результатом разложение производственного процесса. Охраняя интересы производства, производственный порядок и идя против принципа социального равенства, Кремль потому и объявлял отчаянную борьбу «мелкобуржуазной уравниловкой». Можно проклинать человеческую натуру. Можно возмущаться противоречием между эгалитарным духом, охватывающим

народныя массы СССР, и рѣзкимъ антигалитаризмомъ тѣхъ-же массъ, когда рѣчь заходитъ о вопросахъ заработка, — съ фактами закона порядка считаться приходится.

А если не отъ поравнения, какимъ другимъ способомъ можетъ быть сейчасъ «значительно» повышена заработная плата? Такъ какъ ни какихъ въ другихъ источникахъ не указывается, нужно заключить, что дѣло снова идетъ о заимствованіи изъ мужицкаго кармана или, какъ выразился однажды Ленинъ, «изо рта крестьянина». Въ этомъ аспектѣ значительное увеличеніе заработной платы представляется своеобразнымъ «встрѣчнымъ планомъ» къ крестьянству. А между тѣмъ даже совѣтское правительство, не отличающееся, какъ извѣстно, нѣжнымъ отношеніемъ къ деревнѣ, понимаясь, что увеличить намѣкъ на крестьянъ, увеличить изытіе отъ нихъ въ пользу рабочихъ, уже абсолютно невозможно. Въ постановленіи отъ 3-го марта Совнаркомъ и Цека такія попытки именуютъ уголовной. Совѣтскія и партійныя организации или предупреждаются, что «лица виновныя въ дачѣ встрѣчныхъ плановъ по поставкѣ государству хлѣба, риса, подсолнуха будутъ привлекаться къ уголовной ответственности». Словомъ, возможность «значительнаго увеличенія» сейчасъ заработной платы (изъ внутреннихъ источниковъ) — иллюзія. Характерно, что ее различаютъ именно тѣ, кто, критикуя иллюзіи большевизма, считаютъ себя реалистическими политиками. Ни уровень сельскаго хозяйства, ни уровень легкой и пищевой промышленности, ни вся существующая въ странѣ объективная экономическая обстановка не даютъ въ данный моментъ возможности серьезно повысить жизненный уровень широкихъ массъ. При создавшихся условіяхъ это процессъ длительный и весь еще въ будущемъ. Правда, народный доходъ страны, какъ будто, очень великъ. Совѣтскія статистика считаетъ, что за 1929-1934 г. онъ съ 29 миллиардовъ увеличился до 55 миллиардовъ рублей. Но вѣдь главнымъ началомъ «пирога» народного дохода состоитъ изъ металловъ, угля, турбинъ, прокатныхъ становъ, станковъ, т. е. «несъѣдобна». Положеніе трудящихся и города и деревни было — бы, разумѣется, нынѣ, гораздо лучшимъ, если бы индустриализация не велась — бы тѣмъ безумнымъ путемъ, какимъ она шла. Впрочемъ, въ 1935 году указанія на то, чего и не нужно было дѣлать въ значительной степени потеряли свой смыслъ. Дѣло сдѣлано и теперь основной вопросъ въ томъ, какъ его поправить и въ какой мѣрѣ это дѣлается. А чтобы отвѣтить на такой вопросъ, нужно ясно опредѣлить, въ чемъ и

гдѣ самый большой, самый невралгическій пунктъ совѣтскаго хозяйства.

Пока деньги не были главнымъ элементомъ оплаты труда, было достаточно трудно въ точныхъ цифрахъ представить, на какихъ основахъ громадина государственнаго хозяйства СССР. Съ пересчетомъ всего на рубли, туманъ разсѣялся и ситуация въ зеркалѣ государственнаго бюджета на 1935 годъ представляется съ отчетливостью, — можно сказать, замѣчательной. Бюджетъ на 1934 г. составлялъ 49,7 миллиардовъ рублей. Въ 1935, больше всего отъ повышения цѣнъ, онъ сразу взлетаетъ до 65,9 миллиардовъ рублей. Главную часть доходныхъ статей бюджета составляетъ, такъ называемый, налогъ съ оборота, бѣшенная наклейка на поступающую въ государственную торговую сѣть продукцію. Государстѣю, напримѣръ, изымаетъ хлѣбъ у крестьянина и продаетъ его. Въ истекшемъ году на этомъ хлѣбѣ оно съ помощью наклейки, налога — «заработало» 7 миллиардовъ рублей. Въ нынѣшнемъ году, благодаря огромнѣмъ карточекъ и продажѣ хлѣба по повышеннымъ цѣнамъ, оно заработаетъ уже 24 миллиарда рублей, т. е. сразу 33% бюджета. Кромѣ хлѣба, оно беретъ у крестьянъ хлопокъ, сахарную свеклу, ленъ, подсолнухъ, коноплю, рисъ, табакъ, шерсть, кожу, мясо, молоко, овощи. Облагая продукты и издѣлія, переработанные изъ этого сырья пищевой и легкой индустріей, государство на продажѣ ихъ заработаетъ приблизительно еще 23 миллиарда рублей (беру продукцію, имѣющую основой только сельское хозяйство, не учитывая налога съ оборота на другую продукцію широкаго потребленія, въ частности Наркомтяжпрома). Такимъ образомъ, 47 млрд. рублей, свыше 70% доходовъ огромнаго бюджета, слагаясь изъ налога на потребленія (или отъ повышенныхъ цѣнъ, это все равно!), базируются пѣбликомъ на «извитыхъ» у крестьянина пищевыхъ ресурсахъ и сырьѣ. За 100 килограммовъ пшеницы, извлеченной изъ деревни колхознымъ насосомъ, государстѣю платитъ 10 рублей. Это ровно та сумма, за которую оно само въ городахъ продаетъ 5 килограммовъ хлѣба, выпеченнаго изъ этой пшеницы. Во Франціи килограммъ бѣлаго хлѣба стоитъ 1 фр. 65 с. Если-бы французскому крестьянину оплачивали его пшеницу такой же мѣркой, какъ его совѣтскому коллегѣ, онъ долженъ бы получить за кинталь (1 фр. 65 с. \times 5) = 8 фр. 25 с. При катастрофическомъ паденіи цѣнъ, онъ получаетъ за кинталь 75 фр., а отъ интендантства 97 фр. За кинталь овса сов. правительство платитъ крестьянину 5 руб. 50 к. Тотъ-же кинталь правительствомъ продается за 75 рублей. Отъ простаго перехода въ руки прави-

тельства, цѣна овса увеличивается почти въ 25 разъ. Здѣсь все ненормально. Все уродливо. Безмѣрно высоки государственныя цѣны. Безобразно высокъ налогъ. Тягостно невыносимъ процентъ изъятія у крестьянъ ихъ продукцій.

Пока вотъ это положеніе не измѣнится, нельзя говорить, что совѣтское хозяйство выздоровѣло и окончательно укрѣпилось. Легко сказать, измѣнится, а какъ? Уничтожить чудовищный налогъ? А изъ какихъ источниковъ правительство возьметъ въ настоящее время средства, чтобы оплатить заработную плату рабочимъ и служащимъ, уже въ 1934 году составлявшую 42 миллиарда рублей? При отбѣнѣ налога съ оборота, за отсутствіемъ средствъ, придется разсчитаться и бросить въ безработицу десятокъ милліоновъ грудящихся, повѣсить замокъ на много жестивъ только выстроенныхъ заводовъ, которые нужны странѣ и созданіе которыхъ было дорого оплачено народами СССР. Для нѣкоторыхъ людей (см. статью Л. Т. въ «Иосл. Нов.» 24 февраля 1934 г.), полагающихъ, что вообще всѣ созданные совѣтской властью заводы построены «преимущественно на вѣтеръ» и ихъ «надо съомать всѣ и начинать сначала», подобная перспектива, вѣроятно, не страшна. Много-ли народу такъ мыслить?

Другой вопросъ еще острѣе: можетъ-ли правительство заявить крестьянамъ, что вотъ съ сего числа все сразу мѣняется и колхозная помпа перестаетъ свое дѣйствіе? Можетъ оно имъ сказать: всякія обязательныя поставки-реквизиціи прекращаются, вы имѣете право продавать продукты вашего труда государству свободно, не по нивѣшнимъ цѣнамъ, а тѣмъ, что вы считаете справедливыми и вознаграждающими вашъ трудъ. При отсутствіи эквивалентно противостоящей сельскому хозяйству промышленной продукціи, цѣны на сельско-хозяйственные продукты и сырье, выравнявшіяся на свободу, настолько взлетѣли-бы вверхъ, что государство, не идя на новую инфляцію (не рѣшеніе!), не могло-бы ихъ вынести. Если-бы оно купило сырье и продукты по этимъ цѣнамъ, издѣлія, изъ нихъ выдѣланныя, стали-бы такъ дороги, что были-бы абсолютно недоступны горожанамъ. Произошло бы новое паденіе заработной платы, хаосъ, еще большее погруженіе въ нищету, и города, выросшіе въ процессѣ индустриализаціи страны, просто не могли-бы существовать. Это была-бы диктатура деревни надъ умирающимъ городомъ. Невралгическій пунктъ всей ситуаціи, «ея первородный грѣхъ» - нужно же это понять! - - въ томъ и заключается, что съ 1928 г., когда продовольственные отряды были посланы въ деревню реквизиловать хлѣбъ, окончательно нарушил-

ся болѣе или менѣе свободный и нормальный товарообмѣнъ между городомъ и деревней. Съ тѣхъ поръ, создавъ себѣ помилуешь и кормилуешь въ лицѣ колхозовъ, государственное хозяйство такъ привыкло жить за счетъ неоплаченного мужицкаго труда, на этой базѣ выросла такая грандиозная и, нужно сказать, цѣнная надстройка изъ Днѣпростроевъ, Магнитогорсковъ, научныхъ институтовъ и т. д., вообще все дѣло зашло такъ далеко, что немедленное прекращеніе «изыятій» изъ деревни, привело-бы къ зловѣщему потрясенію всѣхъ основъ жизни страны. Размѣры его даже трудно предвидѣть. Смотри на сложившуюся въ странѣ ситуацию возможно болѣе объективно, оцѣнивая ее не глазами моралиста, живущаго внѣ жизни и, еще менѣе, не глазами просто безответственнаго критика, легко увидѣть, что только въ разумно руководимомъ эволюціонномъ процессѣ, въ сознательно вѣдущемся «спускѣ на тормозахъ» можетъ быть наиболѣе безболѣзненно ликвидирована значительная часть тяжелаго наслѣдства предшествующихъ лѣтъ. Выходъ, во всякомъ случаѣ, не въ непосильныхъ требованіяхъ къ хозяйству, въ томъ видѣ, какъ оно есть, а въ другомъ нѣтъ.

До сихъ поръ у правительства Сталина былъ одинъ, въ сущности, отвѣтъ на проклятый вопросъ, какъ выйти изъ тупика: мужикъ спасеть! Пусть крестьяне работаютъ — въ этомъ «наше» спасеніе. Колхозъ, какъ опредѣлилъ Сталинъ, созданъ «для удовлетворенія общественныхъ нуждъ». Чѣмъ усерднѣе, лучше, добросовѣстнѣе въ немъ будутъ работать крестьяне, чѣмъ больше будутъ они повыщать нынѣшнюю низкую урожайность полей, тѣмъ больше будетъ продукція. Тогда съ излишкомъ ея хватитъ и для «нихъ» и «для насъ». Чѣмъ больше будетъ продукція, тѣмъ легче будетъ крестьянамъ разставаться съ той ея частью, что въ видѣ налога (натурой или деньгами) брать и, въ какой-то мѣрѣ, не можетъ не брать государство. Отвлеченно говоря, такое разсужденіе принадлежитъ къ числу неопровержимыхъ. Кто же, на самомъ дѣлѣ, не знаетъ, что только трудъ одинъ можетъ создать необходимыя для общества цѣнности и кто теперь не понимаетъ, что только усиленнымъ трудомъ взросшая и мощно возросшая сельскохозяйственная продукція подложитъ крѣпкія опоры подъ все выстроенное зданіе государственнаго хозяйства. Но, во-первыхъ, нужно спросить, въ какой мѣрѣ правительственная власть сумѣетъ действительно правильно использовать попавшую къ нему увеличившуюся с. х. продукцію? И, во-вторыхъ, какимъ образомъ указаніе на необходимость для крестьянъ интенсифицировать

ихъ трудъ примѣнять въ конкретной действительности. Мы знаемъ, какъ оно примѣняется: вы, крестьяне, усиленно работайте, а мы вами сработанное будемъ усиленно и пока безъ вознагражденія забирать, этого требуютъ «интересы социализма». Въ итогѣ, колхозы, специально созданный для удовлетворенія только общественныхъ нуждъ, становится двойникомъ исконной крѣпостной общины и мужикъ въ немъ работаетъ безъ всякаго интереса, только изъ-подъ палки. Урожайность и качество зерна, хлопка, сахарной свеклы, конопли, табака, подсолнуха и т. т. систематически падаютъ, несмотря на «агротехнику», — введеніе хлопкоуборочныхъ машинъ, свекловичныхъ шестирядныхъ сѣялокъ, культиваторовъ, комбайновъ, тракторовъ. О челѣ въ кѣ забыли!

Что же сдѣлало правительство, чтобы гальванизировать сельскохозяйственный трудъ, такъ какъ не могло же оно не видѣть, что, выпотрошенный отъ личной заинтересованности, онъ становится мертвымъ? Оставляя въ неприкосновенности колхозный насосъ, безъ него государственное хозяйство, какъ сказано, существовать пока не можетъ, оно, прежде всего, разрѣшило колхозную торговлю (въ основныхъ продуктахъ послѣ выполнения государственныхъ нарядовъ). Эта торговля приняла большіе размѣры. Въ истекшемъ году, по подсчетамъ совѣтскихъ статистиковъ (хотя подсчитать ее и сравнить съ другой торговлей трудно, въ виду разнородныхъ денежныхъ измѣреній), она равнялась 14 миллиардамъ рублей, почти 23% всего государственнаго розничнаго оборота. Находясь въ рукахъ начальства колхозовъ, — такая торговля, конечно, принадлежитъ скорѣе къ регулируемой, чѣмъ свободной. Тѣмъ не менѣе, она производится не по цѣнамъ поставокъ государству и является въ какой-то мѣрѣ уже переходомъ къ восстановленію «на гормазахъ» товарообмѣна между городомъ и деревней на основаніи купли и продажи. Еще важнѣе, что крестьянамъ разрѣшено торговать овощами, мясомъ, птицей и зерновыми продуктами, попадающими въ ихъ личное пользованіе послѣ выполнения государственныхъ нарядовъ, уже совершенно свободно, по цѣнамъ, которыя они считаютъ для себя выгодными. Если-бы по этимъ цѣнамъ была сразу пущена на рынокъ вся с.-х. продукция, государственное хозяйство, какъ я сказала, было-бы взорвано. Но свободно пускается ея очень небольшая часть. Какъ-бы она ни была невелика, все-же въ 1932 и 1933 году, она оказала большую помощь голоднымъ городамъ и имѣла то значеніе, что, вводя въ обиходъ околныхъ путей мѣръ «действительныхъ» цѣнъ, далекихъ отъ реквизиціонныхъ цѣнъ поставки,

обязала государство съ нимъ считаться, ихъ учесть при пересѣнкѣ рубля. Далѣе, чтобы создать новые продовольственные ресурсы внѣ колхозовъ и тѣмъ уменьшить тяжесть изъятій изъ деревни (по «контрактаціи» деревня должна поставить въ 1935 году съ лишкомъ 120 миллионovъ пудовъ овощей), правительство обязало рабочихъ организовать индивидуальные огороды. Въ 1934 году количество продуктовъ питанія, поступившихъ съ индивидуальныхъ огородовъ въ рабочія семьи, въ сравненіи съ 1933 г. увеличилось на 52%. Въ нѣкоторыхъ рабочихъ районахъ огороды въ питаніи рабочихъ играютъ крупную роль. Телеграмма Тассъ отъ 12 апрѣля сообщаетъ, что въ Донбассѣ въ этотъ день на работы въ огородахъ вышло «свыше 500 тысячъ рабочихъ и членовъ ихъ семей». Вышли-ли они по собственному почину или принудительно — не разсматриваю, укажу лишь, что при сложившемся положеніи съ продовольствіемъ это — одинъ изъ способовъ его получить «безъ встрѣчнаго плана» къ деревнѣ. Въ тѣхъ-же цѣляхъ созданія въ странѣ дополнительныхъ продовольственныхъ ресурсовъ (зерна, овощей, мяса, кожи, молока) в нѣ колхозовъ, правительство налегло на разные государственные фермы — зерновые и животноводческіе совхозы, — стремясь переложить на нихъ, какъ на ОРС*), и индивидуальные огороды, часть тяжести по снабженію страны, падавшей до сего времени всецѣло на крестьянство. Кроме того, за послѣднее время, ликвидированы въ деревнѣ политотдѣлы, слишкомъ уже подчеркивающіе въ ней «осадное положеніе», уменьшенъ безмѣрно высокій гарцовый сборъ при помоллахъ, уменьшены, но недостаточно, нормы сдачи шерсти, введены нѣкоторыя мѣры поощренія скотчиковъ хлопка, свеклы, подсолнуха, и повышены на 10% цѣны на зерно по зернопоставкѣ и на 20% цѣны на зерно, при закупкахъ его у колхозовъ.

Въ совокупности этихъ мѣръ, однѣ — явно и безспорно положительнаго характера. Другія, какъ повышеніе на 10-20% цѣны на зерно, формально положительны, фактически же, по реальному значенію, ничтожны. А всѣ вмѣстѣ взятыя, хотя и улучшаютъ обстановку, все-же не создаютъ еще главнаго въ колхозѣ — крѣпкую живучую личную заинтересованность, а безъ нея колхозная система мертва. И вотъ теперь въ этомъ направленіи правительство дѣлаетъ шагъ гораздо болѣе рѣшительный. Значеніе его мнѣ представляется очень крупнымъ. Имѣю въ виду утвержденный 17 февраля Совнаркомомъ и ЦК новый уставъ колхозовъ, возобновляющій право крестьячъ

*) ОРС — Отдѣлъ Рабочаго Снабженія.

имѣть скотъ въ личномъ распоряженіи на началахъ частной собственности. Дѣло въ томъ, что послѣ того какъ за періодъ 1929-1933 гг. погибла половина скота, а часть, экспроприированная, попала въ руки государства (совхозы, колхозныя молочныя фермы, ОРС), у крестьянъ-колхозниковъ въ личномъ пользованіи осталось минимальное количество скота. По даннымъ на 1934 г. у 16 милліоновъ крестьянскихъ дворовъ, составляющихъ колхозы и имѣющихъ населеніе въ 77 милліоновъ душъ, въ личномъ пользованіи находилось $9\frac{1}{2}$ милліоновъ коровъ, $7\frac{1}{2}$ милліоновъ головъ молодого рогатаго скота, $17\frac{1}{2}$ милліоновъ овецъ и козъ и $5\frac{1}{2}$ милліоновъ свиней. На дворѣ, въ среднемъ, изъ 5 человекъ, грубо говоря, приходится немного болѣе полкоровы, меньше половины теленка, одна овца и треть свиньи. При такой крайней бѣдности въ скотѣ, ни ѣсть мяса, ни продвѣвать его и молоко на сторону, ни поставлять ихъ въ порядкѣ обязательныхъ нарядовъ государству крестьянство, естественно, не можетъ. Двѣ послѣднихъ «операціи» происходятъ не отъ обилія. Въ истекшемъ году 45,5% колхозныхъ дворовъ, какъ призналъ наркомъ земледѣлія, не имѣли коровъ, а въ 1926 г. — хотя къ тому году животноводство еще не оправилось отъ урона гражданской войны и эпохи голода, — на Украинѣ безкоронныхъ хозяйствъ было 25%, а по РСФСР лишь — 17%.

Новый законъ разрѣшаетъ каждому двору имѣть одну корову, двѣ головы молодого рогатаго скота, свинью-матку съ поросятами и десять овецъ. Это больше того, что имѣлъ раньше иной «кулакъ», но до теоретическаго хотя-бы права на лошадей еще не дошли. При развитіи животноводства въ предѣлахъ «чисель» закона, у всего колхознаго крестьянства будетъ и на законномъ основаніи можетъ быть 48 милліоновъ головъ рогатаго скота, 16 милліоновъ свиней плюсъ поросята, 160 милліоновъ овецъ — 224 милліона головъ скота. Цифры огромныя, выше довоенныхъ! Тутъ капиталъ въ милліардахъ не бумажныхъ, а золотыхъ рублей. И капиталъ тѣмъ болѣе вліятельный, что въ сельскомъ хозяйствѣ во всемъ мірѣ животноводство начинаетъ играть «ведущую» роль. Уже до пятилѣтки продукты животноводства представляли по цѣнности 50% всей с.-х. продукціи, сбываемой на широкой рынокъ. Ни въ три, ни въ пять лѣтъ къ указаннымъ размѣрамъ крестьянское животноводство перейти не въ состояніи. Но поскольку право на скотъ дается и осуществленію его содѣйствуетъ правительство, поскольку въ ходъ пускается — на этотъ разъ, дѣйствительно, пускается! — такой могучій факторъ, какъ личная заинтересованность («моя корова», «моя овца»), можно быть твердо увѣреннымъ, что

крестьяне, съ ихъ стороны, сдѣлають все возможное, чтобы скорѣе возстановить и расширить ихъ животноводство.

Новый законъ открываетъ дорогу, чтобы на фонѣ господствующаго въ странѣ государственнаго, общественнаго хозяйства, въ дополненіе къ нему, появились легально, на этотъ разъ съ благословенія революціи, 16 милліоновъ острововъ съ частнымъ хозяйствомъ. Правда, въ ближайшіе годы 5 милліоновъ дворовъ «единоличниковъ», еще не коллективизированныхъ, будутъ поставлены въ общія рамки, но картина отъ того не измѣняется. Увѣная экономическая необходимость, диктующая скорѣйшее возстановленіе животноводства; нелѣпость и невозможность замыкать его въ предѣлахъ обобществленнаго хозяйства; боязнь войны, повелевающаею толкающая на установку добрососѣдскихъ отношеній съ крестьянствомъ, обязываютъ правительство Сталина въ цѣляхъ «спуска на тормозахъ» искать болѣе гибкихъ общественныхъ формъ и отношеній и пойти на допущеніе существованія и какой-то координаціи колхоза и частнаго «личнаго хозяйства». Вотъ какъ мотивируетъ такое допущеніе Сталинъ: «Если у васъ въ артели нѣтъ еще изобилія продуктовъ и вы не можете дать огдѣльнымъ колхозникамъ, ихъ семьямъ все, что имъ нужно, то лучше допустить прямо, открыто и честно, что у колхознаго двора должно быть свое хозяйство, небольшое, но личное. Лучше исходить изъ того, что есть артельное хозяйство, общественное, большое, крупное и рѣшающее для удовлетворенія общественныхъ нуждъ и есть наряду съ нимъ небольшое личное хозяйство, необходимое для удовлетворенія личныхъ нуждъ колхозника. Коль скоро имѣется семья, дѣти, личные потребности и личные вкусы, то съ этимъ нельзя не считаться».

Обычно рѣчи «Генеральнаго Секретаря ВКП» печатаются медленно и въ самой парадной подачѣ. Приведенныя слова, по своей важности превосходящія рѣчь Сталина въ январѣ 1934 г., появились въ печати съ запозданіемъ на одинъ мѣсяць. Приводятся они не «прямо и открыто», а въ видѣ цитаты-ссылки, дѣлаемой завѣдующимъ с.-х. отдѣломъ Ц. К. Яковлевымъ во время его выступления предъ московскимъ и ленинградскимъ активами. Бываютъ очевидно, моменты, когда разумныя вещи приходится говорить не «прямо, открыто и честно», а дипломатической скороговоркой, заглушеннымъ голосомъ, чтобы не поичеркивать ими глупости, вчера еще провозглашавшіяся непоколебимой истиной. Такъ обстоитъ и въ данномъ случаѣ. Но это неважно. Въ тысячу разъ важнѣе другое: очень грубо подчеркнута, что колхозъ крестьянскій абсолютно не расчитанъ на

удовлетвореніе «личныхъ» нуждъ крестьянъ (это то мы давно знаемъ!), Сталинъ, выѣсгъ съ гѣмъ, выставилъ «новый» принципъ «лучше исходить» изъ того, что рядомъ съ колхозомъ должно существовать пусть небольшое, но личное хозяйство. Произнесеніе такого принципа означаетъ, по существу дѣла, отказъ отъ безумной, повальной, тотальной коллективизаціи предшествующихъ лѣтъ. Такъ, дѣйствительно, будетъ «лучше», производительныя силы деревни будутъ болѣе развиты, а это благотворно отразится и на питаніи крестьянъ, и на реальной заработной платѣ въ городахъ, и на покупательной способности рубля и, вообще, на всемъ. Признаніе личнато хозяйства съ правомъ имѣть скотъ должно, повитимому, отразиться и на колхозахъ, внося въ нихъ живительную энергію. Для скота нуженъ кормъ — овесъ, ячмень, кукуруза, картофель и т. д. Ихъ, какъ и пастбища, крестьянинъ можетъ теперь получить только у колхоза. Въ прѣжнее время (до 1928 года) на прокормъ скота уходило 33% сбора зерновыхъ. Какъ только скотъ у крестьянина исчезъ, исчезъ и интересъ къ тому, есть-ли эти 33% или нѣтъ. Теперь дѣло мѣняется, для своей свиньи и своей коровы крестьянинъ захочетъ, чтобы на колхозныхъ поляхъ лучше уродился картофель и было больше ячменя и овса. На этой почвѣ, т. е. личной заинтересованности, нужно ожидать болѣе активнаго участія крестьянъ въ веденіи дѣлъ колхозовъ. Новый, сильно улучшенный, въ сравненіи съ 1930 г., колхозный уставъ, опубликованный 17 февраля, для такого участія, какъ будто, открываетъ двери. Впрочемъ, не будемъ придавать большого значенія формальной сторонѣ. Уставъ можетъ быть очень хорошъ но, во-первыхъ, онъ можетъ не примѣняться, во-вторыхъ, такъ комментироваться начальствомъ снизу, сбоку и сверху, что отъ хорошаго устава останутся лишь горькія слезы. Какимъ конкретнымъ содержаниемъ наполнится въ жизни примѣненіе новаго устава, зависитъ отъ того, что принято называть весьма попорнымъ словомъ: «самодѣятельность массъ». Думается, что ставящаяся въ СССР обстановка будетъ у крестьянъ пробуждать вогъ эту самодѣятельность.

Итакъ, для меня несомнѣнно, что въ СССР (не говоря уже объ иностранной потнижкѣ), началась эволюція. Называть ее «нэпомъ» не годится, «нео-нэпомъ» возможно. Отдельные элементы ея до сихъ поръ можно было считать случайными и вторичными большого, прочнаго значенія. Но съ 17 февраля, закона о скотоводствѣ, и 12 марта, — завуалированнаго опубликованія права на небольшое, но личное хозяйство съ

пріусадебной землей, въ политикѣ по отношенію къ крестьянству видна уже нѣкоторая «н о в а я» линія, въ разрѣзъ съ линіей и духомъ людей, совершавшихъ въ 1929-1931 г. по заданію Сталина свой натискъ на деревню. «Новая», конечно, въ ковычкахъ, потому что въ основѣ ея весьма старыя положенія, силу которыхъ подтвердилъ Ленинъ въ своей брошюрѣ о «Продовольственномъ Налогѣ» и въ рѣчахъ на X-омъ съѣздѣ Ком. Партіи въ мартѣ 1921 г. Нужно горячо желать, чтобы безуміе навязанной какимъ-нибудь Гитлеромъ и Ко войны не сорвало эту намѣтившуюся въ СССР оздоровительную эволюцію. Знаю, что когда говорятъ объ эволюціи въ СССР, множество людей съ недоумѣніемъ и раздраженіемъ пожимаютъ плечами: — о какой такой эволюціи можетъ идти рѣчь, когда прессъ диктатуры именно сейчасъ завинченъ болѣе, чѣмъ когда-либо?

Да, между проявившейся здоровой экономической эволюціей и «политикой» — явный разрывъ. Какимъ образомъ «политика» не слѣдуетъ за «экономикой», а идетъ чуть ли не въ обратную сторону, что за этимъ скрывается и можетъ ли это продолжаться безконечно? — тема глубоко волнующая. Она, однако, внѣ этой статьи.

Е. Юрьевскій.

Отъ редакціи. - Вопросъ о томъ, возможно ли при существованіи совѣтскаго режима возвращеніе русскаго народнаго хозяйства къ здоровымъ основамъ хозяйственной дѣятельности, безспорно имѣетъ огромное, опредѣляющее значеніе для дальнѣйшихъ судебъ Россіи. Въ интересахъ безпристрастнаго и всесторонняго освѣщенія этой столь важной проблемы, редакція предоставила возможность высказаться по поводу нея съ полной свободой двумъ экономистамъ, представляющимъ въ данномъ вопросѣ существенно отличныя точки зрѣнія. Помѣщая здѣсь статью Е. Юрьевскаго, печатаніе статьи второго автора редакція вынуждена была, по техническимъ причинамъ, отложить до слѣдующей книги. Редакція тогда же будетъ имѣть случай вернуться къ обсужденію защищаемыхъ авторами обѣихъ статей положеній.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Зачѣмъ мы здѣсь? *)

Блаженни изгнани правды ради.

За послѣдніе годы эмиграція живетъ съ очень пониженнымъ самосознаніемъ. Это прежде всего относится къ ея «лѣвому» сектору, который сохранилъ болѣшую трезвость мысли и чувство дѣйствительности. Постоянныя разочарованія подорвали вѣру въ свои силы и даже въ смыслъ своего дѣла. Здѣсь чаще всего говорятъ объ эмиграціи, какъ о «несчастьи». Въ революціонномъ секторѣ несчастье эмиграціи становится уже болѣзнию, иногда грѣхомъ: «эмигрантщина!» Преодолѣвать въ себѣ «эмигрантщину» считается первымъ условіемъ политическаго реализма. Послѣднимъ заранѣе согласиться да, конечно, эмиграція несчастье. Конечно, она несетъ съ собой предрасположеніе къ духовнымъ и душевнымъ заблужденіямъ, связаннымъ съ пребываніемъ въ искусственной средѣ, съ оторванностью отъ родной почвы. Идолы, призраки, тѣни —

*) Помѣщая интересную статью Г. П. Федотова, редакция оставляетъ на отвѣтственности автора даваемыя имъ характеристики отдѣльных группировокъ эмиграции. — Ред.

населяютъ полумракъ, въ которомъ мы живемъ. Борьба съ этими призраками, постоянное бодрствованіе, духовная гигиена — составляютъ первый долгъ и первое условіе здоровой жизни для каждаго изъ насъ. Все это такъ. И однако: только ли болѣзнь, только ли несчастье? Взятый нами эпиграфъ даетъ смѣлость отвѣтить отрицательно. Нѣтъ, не только несчастье, но и «блаженство», не только болѣзнь, но и подвигъ.

Когда-то мы всё повторяли эти слова. Но потомъ они вывѣтривались, утратили смыслъ. Когда мы слышимъ ихъ — чаще всего въ тѣхъ устахъ, которыя меньше всего имѣютъ на нихъ право — они звучатъ фальшиво. Но правда, заключенная въ нихъ, не перестала быть правдой оттого, что она захватана фарисеями. Я вовсе не хочу поощрять эмигрантское самодовольство, котораго у насъ тоже достаточно. Рѣчь идетъ не о насъ, а о нашемъ призваніи. Чѣмъ выше оно, тѣмъ больше приходится краснѣть за себя. Именно оно даетъ мѣрило для суда и самоосужденія. Но безъ него наша жизнь — я говорю объ общей, общественной

жизни въ эмиграціи — теряетъ всякую реальность. Безъ него начинаешь чувствовать себя въ царствѣ тьмы.

Сейчасъ мы вступаемъ въ одинъ изъ рѣшающихъ моментовъ нашей жизни. Многие — особенно молодые — пересматриваютъ сейчасъ заново вопросъ о своемъ самоопредѣленіи. Зачѣмъ мы здѣсь? Почему не на родинѣ, чтобы работать для ея восстановления, чтобы защищать ее отъ гонимой военной грозы?

Скажу заранѣе: для того, кто отказывается отъ нравственнаго критерія, кто ставитъ свою дѣятельность въ зависимость отъ исключительно утилитарныхъ, политическихъ или национальных соображеній, трудно оправдать пребываніе въ эмиграціи. Это пребываніе для большинства означаетъ вынужденное бездѣйствіе, медлительное умираніе. Во имя чего признаются эти жертвы?

Слово «правда» можетъ дать отвѣтъ — для того, кто не совсѣмъ забылъ значеніе этого слова. Правда на пути изгнанія противопоставляется участию въ общей неправдѣ, въ общемъ несправедливомъ дѣлѣ, въ стронательствѣ, въ работѣ, даже въ подвигѣ, въ основу котораго положена коренная неправда. Понять правду изгнанничества нелегко русскому человеку, привыкшему къ круговой поруцѣ, къ общей отвѣтственности. Достоевскій и вся связанная съ нимъ линия русской совѣсти, кажется, прямо призываетъ къ участию въ общемъ грѣхѣ, возлагая на всѣхъ раннюю и общую отвѣтственность. Въ русской совѣсти и въ русскомъ религиозномъ сознаніи есть этотъ болѣзненный уклонъ, который можно

было бы грубо назвать соборностью общаго грѣха.

Оставшіеся въ Россіи только потому и могутъ, какъ ни какъ, жить и работать, что они сняли съ себя личную отвѣтственность — конечно, въ извѣстныхъ, для каждаго особыхъ, предѣлахъ. Кто этого не смогъ и не захотѣлъ сдѣлать, тѣ выбрасываются изъ жизни — въ тюрьмы и ссылку, — идутъ путемъ изгнанія. Ихъ изгнаніе безконечно тяжелѣе нашего: оно приближается къ мученичеству и нѣрѣдко становится имъ. Но въ идеѣ это все тотъ же путь, путь изгнанниковъ за правду: недаромъ существуетъ въ Россіи терминъ «внутренняя эмиграція».

Какой смыслъ имѣть этотъ подвигъ? На этотъ вопросъ отвѣтимъ вопросомъ же: долженъ ли подвигъ имѣть смыслъ? Не является ли послѣдній творческій актъ человека — въ святости, въ подвигѣ, въ жертвѣ — совершенно безкорыстнымъ и немѣющимъ смысла внѣ себя и ниже себя? Религія не столько поднимаетъ его себѣ, сколько уясняетъ его природу, природу абсолютнаго. Вся жизнь человека не имѣетъ другой цѣли и цѣнности, какъ его жертва и способность на жертву. Оправданіе націй — только въ осуществленныхъ ею въ исторіи цѣнностей, и среди нихъ героизмъ, святость, подлинничество имѣютъ, по крайней мѣрѣ, такое же онтологическое значеніе, какъ созданіе художественныхъ памятниковъ или научныхъ системъ. Вѣчный споръ о первенствѣ Ахилла или Гомера не можетъ быть рѣшенъ одностороннимъ выборомъ.

Спускаясь ниже, въ область социальнихъ оцѣнокъ, мы говоримъ:

известные акты спасают честь нации. Исходя из большевистской России миллионы людей, не желавших подчиниться деспотизму Ленина, каковы бы ни были частные и личные мотивы у каждого из них, спасают честь России — в истории. Инымъ теперь кажется, что, оставаясь на родинѣ (и предая свои святыни), можно было принести больше пользы. Но не больше ли душа родины ее сегодняшней пользы? Что останется жить в нѣдрах — и в вѣчности. прибавь культурной продукции или творческой акт, хотя бы в формѣ жертвы?

Вѣчный символъ правды, живущей в нации, несмотря на грѣшность ее исторических путей. «семь тысячъ мужей, которые не преклоняли колѣны передъ Валамомъ» Не преклонить колѣны всего лишь отрицательный жестъ Opportунисты искушъ цѣтовъ, хотя бы и церковные, никогда не поймутъ его смысла. Но эти семь тысячъ спасаютъ народъ, спасаютъ его историю — отъ вѣчнаго забвенія. Это они дѣлаютъ его достойнымъ вѣчной памяти».

Но утверждая правду истинности, можно ли отрывать его отъ правды, ради которой оно принимается? Сколько из нас покинули свою родину просто спасая свою жизнь, просто потому, что не было другого исхода Жизнь вь Россіи такъ ужасна, такъ приближается къ популярному представлению объ адѣ, что о бѣгствѣ изъ нея мечтаютъ не только самые сильные, но и самые слабые людьми Горечь личныхъ обидъ можетъ переходить даже въ ненависть къ своему народу, въ потребность отрѣзать себя отъ него навсегда — въ на-

циональномъ сознаніи, въ реаним. Столько различныхъ биографій покрываются общностью вѣтшей судьбы! Недаромъ приобрѣле право гражданства различіе эмиграціи и близнства

Но если взять даже чистую эмиграцію, стойкую, принципиальную, не сомнѣвающуюся въ своей «правдѣ», дѣйствительно ли ея изгнаніе непременно является «блаженствомъ»? Легко быть изгнаннымъ за правду; но трудно за правду жить вь изгнаніи. Правда — не статуи боговъ, которая можно унести съ собой изъ горящей Трои. Она должна быть постоянно оживляема, запово переживаема въ сердцѣ и сознаніи. Иначе она мертвѣетъ, оставая лишь шепоту старыхъ словъ Даже самая великая и вѣчная слова становятъся дожны въ туманъ и равнодушномъ произношеніи. Родина, свобода, демократія, царь и т. д. — пламенные слова, нѣкогда званишія на воднигъ и приведшія въ изгнаніе Но какъ лотускибли многи изъ нихъ за 15 дѣтъ! То вѣчно-однѣнное, что ощущалось за каждымъ изъ нихъ, трепетное бленіе жизни вь нихъ — отлетаетъ. Это нужно постоянно возвращать и воскрешать, бить можетъ, находить для него новые слова, потому что политическое слово недопонимшо Силою и рядомъ отрицательные инстинкты и страсти оказываются болѣе могучимъ стимуломъ къ дѣйствию Люди думаютъ, что они живутъ любовью къ Россіи, а на дѣлѣ, оказывается, — ненавистью къ большевикамъ. Но ненависть къ злу, даже самая оправданная, не рождаетъ добра. Чаще всего изъ отрицанія зла родится новое зло Вотъ почему «национализмъ за правду» ста-

новится трудѣйшимъ подвигомъ, и немногіе могутъ выдержатъ этотъ искусь — изгнанія.

Признаемся: трудное для политика оказывается болѣе посильнымъ рядовому человѣку, который въ тяжкомъ физическомъ трудѣ зарабатываетъ свой кусокъ хлѣба. Разумѣется, если человѣкъ достаточно силенъ духомъ, не спяся, не идетъ ко дну, что тоже не рѣдкость. Но именно здѣсь, въ низахъ эмиграціи, въ глухой провинціи, на заводахъ и хуторахъ легче всего найти тѣхъ настоящихъ, прямыхъ и чистыхъ русскихъ людей, встрѣча съ которыми порой заставляетъ вспыхнуть ярче въ сердцѣ память о родинѣ. Для нихъ Россія ужь, конечно, не только большевики. Они несутъ на себѣ ея нравственный образъ, отпечатокъ ея скромной и доброй красоты. Въ шумѣ столицъ, встрѣчаясь съ измученными, нервными, озлобленными людьми, и думая о томъ, что въ Россіи жизнь не менѣе калѣчитъ людей, иногда впадаешь въ слабость думать, что русскій человѣкъ, какимъ мы его знали когда-то, исчезъ безвозвратно. Потому такъ и дороги эти встрѣчи съ безымяннымъ подвижничествомъ трудовой эмиграціи. И если были у нихъ — а у большинства, конечно, были — грѣхи передъ Россіей: отрывъ отъ народа, классовое презрѣніе къ «хаму», предразсудки сословія, касты, партій — неужели они не искуплены пятнадцатилѣтней каторгой, которая для многихъ изъ нихъ проходитъ въ условіяхъ не менѣе тяжелыхъ, чѣмъ, напр., для декабристовъ и для многихъ политическихъ каторжанъ стараго времени? Теперь, когда чаша ихъ страданій

переполнена до краевъ, когда ихъ гонятъ изъ страны въ страну, лишая самаго священнаго и неотъемлемаго права человѣка — права на трудъ, т. е. на жизнь, — хочется подольше остановиться мыслью на этихъ труженикахъ, которые ближе всего къ идеалу блаженнаго изгнанничества.

Однако, тѣ изъ насъ, которые принадлежали къ «ордену интеллигенціи» или къ активной Россіи, не могутъ ограничить своего изгнанническаго служенія безмолвнымъ и физическимъ трудомъ. Да и многіе изъ молчаливыхъ не согласны на такое самоограниченіе. Для большинства изгнаніе само по себѣ — не служеніе родинѣ, а лишь условіе для этого служенія. Чѣмъ заполнить быстро катящееся, пустые годы? Что можемъ мы сдѣлать для Россіи, или дать ей отсюда? Законный вопросъ, но который является источникомъ безконечныхъ ошибокъ, блужданій и даже новыхъ преступленій передъ Россіей.

Въ своемъ активномъ самознаніи эмиграція распадается на три группы: военную, политическую и культурную. Каждая изъ нихъ мечтаетъ по-своему содѣлать и строительству новой жизни: войной, политической организаціей, творчествомъ русской культуры.

Сегодня мы взяли за перо, чтобы поговорить объ этой послѣдней формѣ служенія Россіи. Мы считаемъ ее главнымъ, если не единственнымъ оправданіемъ нашего дѣятельнаго бытія. Лишь вскопѣтъ придется коснуться двухъ первыхъ формъ активности, несудача которыхъ лишь подчеркиваетъ основную линію изшлаго призванія.

Ядро эмиграции было составлено из отступившей и прошедшей через Галлиполийское сиденье белой армии Врангеля. Это обстоятельство до сих пор определяет духовную структуру самых активных ее слоев. Они чувствуют себя прежде всего воннами. Армия, разоруженная физически, не разоружилась морально и живет мечтой о военном походе против красной России. Весны за весной несли крушение этих иллюзий, которые однако возрождаются с новой силой. Надежды на интервенцию угасли. Но возродилась надежда на мировую войну, которая в общем пожар и крушении может принести и конец большевизму. Несомненная реальность военной опасности, особенно сгустившаяся за последнее время, поддерживает живучесть воинского духа эмиграции. Это не мешает ему быть одним из главных источников прозрачности нашего бытия. Тысячи людей не желают серьезно отнестись к тем новым трудностям и профессиональным условиям, в которых поставила их жизнь. Не монтер, а поручик, не шофер, а полковник. Сознание приковано к ячейкам старого, давно утонувшего мира. Люди, еще полные сил, живут одним воспоминанием Суворов и поучительный опыт жизни проходит бесследно в сознании. Даже техническая вышка нервно забрасывается все из того же презрения к настоящему. Говорят — и это, кажется, верно, — что крепкая полковая спайка поддерживает людей на извѣстном моральном уровне: дает недостающую социальную дисциплину. Но искупает ли это преимуще-

ство тот основной самообман, на котором строится жизнь? Война может вспыхнуть, большевики могут свалиться, Россия может развалиться тоже — до границ сѣверной Великороссии. Все это в пределах исторических возможностей. Но чтобы была восстановлена старая императорская армия, и чтобы саесаря с 15-лѣтним стажем заняли в ней командные посты, — это выходит из пределов самой смѣлой политической мечты.

Къ тому же химера эта не так уж невинна. Несчастье воинского сознания начинается порой становится грѣхомъ. Спекуляция на всеобщую войну есть одна из типичных форм извращения совѣсти. Въдь, война возможна не под бѣлымъ, освободительнымъ знаменемъ. Для всего мира война, безспорно, означает страшное бѣдствие, может быть, гибель. Расчет на политическую удачу, купленную такой цѣной, есть расчет Ленин! мировая война — прологъ къ революціи. Здѣсь, въ эмиграции, — какъ вездѣ, въ стане побѣжденных и раздавленных, — поднимаются духовные мазмы. «Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше». Это путь обольщенія национальной идеи. Большевистская психология возможна въдь при всякомъ политическомъ содержаніи.

Чѣмъ реальнѣе становится перспектива будущей войны, тѣмъ сомнительнѣе для многих из воиновъ, не утративших нравственного и национального чувства, ихъ участіе въ ней. На чьей стороне сражаться? За большевиковъ или за враговъ России? Самый вопросъ мучителенъ. Уже теперь онъ раскалываетъ воинскую массу на два непримиримыхъ ста-

на. Сражаясь въ арміяхъ объяхъ коалицій, бывшіе галлиполійцы будутъ фактически драться другъ противъ друга. Стоило быности такъ долго корпоративныя традиціи и на оружій ословыватъ свое русское единство, чтобы закончить его въ междоусобіи?

Столь же печальны итоги на политическомъ фронтѣ эмиграціи. Огромныя усилія, воля, страсть, жертвенность были затрачены — съ ничтожными или отрицательными результатами. Ни политическое объединеніе эмиграціи, ни реальная борьба съ большевиками не выходятъ изъ области фразеологіи. Борьба исчерпывается внутреннимъ нервнымъ кипѣніемъ, и не находящая выхода политическая страсти направляются на своихъ собратьевъ по несчастью. Основная причина политическаго безспія эмиграціи — въ пропасти, которая легла между ней и Россіей. Выше искусственныхъ стѣнъ, возведенныхъ цензурой и ГПУ, поднялись психологическія жерггородки, дѣлающія взаимное пониманіе почти невозможнымъ. Съ нашей стороны — долгое время умышленное закрываніе глазъ, подчѣна реального образа Россіи созданной нами грубой схемой, Теперь, когда познаніе Россіи дѣлало большіе успѣхи, остается психологическое непониманіе, моральная невозможность найти общій языкъ съ новой Россіей. Съ той стороны — тоже стѣна джн, но за ней органическая ненависть новыхъ, появившихся классовъ, къ всему, связанному со старой Россіей. Даже представителей старой интеллигенціи, съ которой у насъ могъ бы найтись общій языкъ, отдѣляетъ отъ насъ моральное отчужденіе, проистекающее изъ ре-

ниваго культа своихъ страданій. Тамъ насъ считаютъ не изгнанниками, а дезертирами, уклонившимися отъ общей чаши всенароднаго горя.

Въ этой отчужденности отъ своего народа современная русская эмиграція напоминаетъ французскую временъ великой революціи и глубоко отличается отъ старой русской, польской или ирландской. Причина совершенно ясна. Эмиграція предреволюціонная объединяется съ революціонными слоями націи къ общему дѣлу: болѣе того, она призывается авангардомъ. Она дышитъ и за рубежомъ тѣмъ же революціоннымъ воздухомъ, которымъ дышала на родинѣ. Но социальный катаклизмъ, какимъ является всякая глубокая революція, до такой степени мѣняетъ всѣ условія жизни и сознанія массъ, что у враговъ режима по ту и другую сторону границы уже нѣтъ общаго языка.

За этимъ общимъ коэффициентомъ разноязычія — начинаются своеобразія. Отълекаясь отъ чисто политическаго содержанія, можно было бы раздѣлить эмигрантскія и политическія группировки на три типа, но ихъ структуръ. Къ первому мы отнесли бы тѣ группы, которыя просто продолжаютъ или влзчатъ свое до-революціонное бытіе. При отказѣ съ всякой политической активности они превратились въ клубы ветерановъ—соотвѣствующихъ собраніямъ дворянъ, институтокъ и кадетовъ, столь характернымъ для вечерней программы нашего дня. Ихъ бесполезность искушается лишь нѣкъ безверностью.

Не таковы группы второго типа, которыя, равнодушныя къ по-

лическим программам, объединяются на принцип так наз. «активизма». Их генеалогия восходит не к старым партиям, а к той же белой армии, с ее «непретрушенческой» идеологией и с ее методами непосредственного боевого действия. Естественные на войне, методы эти оказываются сплошь и рядом чистым безумием в политике. До сих пор мы не видели ни одного осмысленного политического акта, вышедшего из этой среды. Неудачи России и желание знать с здесь доходят до геркулесовых столбов. Оттого почти все проявления этой своеобразной активности лишь содействуют укреплению диктатуры и разобщению эмиграции с русским народом. У ПУ нет лучших бесознательных пособников в эмиграции, чем этого сорта активисты.

Третий тип составляют группировки «революционные». В этом секторе эмиграции усердно, хотя и недостаточно критически, изучают современную Россию. Психологические преграды между ними и новыми поколениями в СССР падают. Чувства, большинство пореволюционных группировок страдают духом утопизма, который, при всем антагонизме к отцам, указывает на кровную связь со старой русской интеллигенцией. Этот утопизм иногда сводится к культу так наз. кумиров, которые едва ли смогут найти почитателей в России. Остается вопрос: найдут ли пореволюционеры в себе достаточно трезвости и любви к России, чтобы пожертвовать явно чуждыми России символами, сохранив драгоценный дар жертвенного горения? Если «да», то на-

ступить момент, когда эмигрантская политика сольется с общерусской.

В ожидании лучшего будущего, настоящий итог политической активности не велик. Нет, не здесь заслуга эмиграции. Историк революционной России может пройти мимо этой политической страницы. Во всяком случае, до сих пор она не вывела лавровых ни в чей венок.

Остается третья сфера эмигрантской деятельности — та, которая может похвалиться подлинными достижениями и которая несет в себя достаточное внутреннее оправдание. Это сфера культуры.

Быть может, никогда ни одна эмиграция в истории не получила от нации столь повелительного наказа — нести наследие культуры. Он дается фактом исхода, вольного или невольного, из России значительной части ее активной интеллигенции. Он диктуется и самой природой большевистского насилия над Россией. С самого начала большевизм поставил своей целью перековать народное сознание, создать на новой России, на основе марксизма, совершенно новую «пролетарскую» культуру. В несмысленных разборах был предпринят опыт государственного воспитания нового человека, лишения религии, личной морали и национального сознания, опыта, который дал известные результаты. Обездушение и обезличение новой России — факт несомненный. Творимая в ней, в масштабах грандиозных, техническая, научная и даже художественная культура как будто окончательно оторвалась от великого наследия России.

И вотъ, даже если бы вся эта творческая (или, по крайней мѣрѣ, динамическая) энергія шла непосредственно изъ глубинъ народныхъ и отвѣчала цѣликомъ потребностямъ сегодняшняго поколѣнія, она не исчерпала бы, конечно, всей полноты русской культуры. Но дѣло обстоитъ много хуже (или лучше). Естественное творчество національной культуры перехвачено, подверглось грубой хирургической ампутаци и организовано въ самыхъ жестокихъ формахъ государственнаго принужденія. Не отрицаемъ того, что многое, очень многое изъ культурныхъ проявленій въ Россіи удовлетворяетъ потребностямъ новаго совѣтскаго человѣка. Но сколько его потребностей не могутъ быть удовлетворены! Сколько теченій мысли, сколько мукъ совѣсти, сколько скорбныхъ размышленій безмолвно замираютъ въ шумѣ коллективнаго строительства. И вотъ мы здѣсь, за рубежомъ—для того, чтобы стать голосомъ всѣхъ молчащихъ тамъ, чтобы воззвонить полифоническую цѣлостность русскаго духа. Не притаяя на то, чтобы заглушить своими голосами гулъ революціонной лямки и стройки, мы можемъ сохранить самое глубокое и сокровенное въ опытѣ революціоннаго поколѣнія, чтобы цвѣтять этотъ опытъ будущему, чтобы стать живой связью между вчерашнимъ и завтрашнимъ днемъ Россіи. Въ какой-то, можетъ быть въ очень малой мѣрѣ, но эта задача выношается.

Достаточно просмотрѣть списокъ книгъ, вышедшихъ за рубежомъ, поспѣить книжку выставку, походить по мастерскимъ русскихъ художниковъ, послушать

русскіе концерты, чтобы сказать: да, работа идетъ, люди не сидятъ, сложа руки. Среди литературной продукціи эмиграціи обернется съ десятокъ книгъ, на которыхъ будутъ воспитываться поколѣнія въ Россіи. Эти книги тамъ не могли быть написаны. Онѣ выражаютъ коренной, временно прерванный, потокъ русской мысли. Онѣ способны утолить духовную жажду Россіи, когда эта жажда проснется или получить возможность своего удовлетворенія.

И потому ихъ совѣтъ не такъ мало, этихъ большихъ книгъ, принимая во вниманіе необычайно трудныя условія, при которыхъ удастся здѣсь дистилляція духовной эссенціи. На этихъ условіяхъ хочется остановиться, чтобы еще болѣе подчеркнуть заслугу творческихъ усилій и достижений.

Русская культура за рубежомъ — выше извѣстнаго уровня — живетъ въ безвоздушномъ пространствѣ. Писатель не находитъ ни издателей, ни критиковъ, ни читателей. Книги выходятъ въ порядкѣ чуда, — или жертвы. Пишутся онѣ не для конкретнаго круга читателей, а для Россіи, для міра, для вѣчности. Не получая ничего, хотя бы въ видѣ отраженій отъ окружающей среды, писатель обреченъ слушать съ собственнымъ внутреннимъ голосомъ, и лишь чрезъ него сообщаться съ живымъ, но для него какъ бы подземнымъ потокомъ русской и вселенской культуры. Это одиночество несетъ съ собой неизбѣжную горечь сомнѣнія въ нужности своего дѣла, иногда чувство близкое къ удушью.

Какъ и почему образовалась эта культурная пустота вокругъ носителей русской культуры за рубе-

жомъ? Уже самый социальный состав эмиграции менее всего пригоденъ для создания питающей культуры среды. Въ Россіи серьезный читатель составляетъ изъ учащейся молодежи и учителя, — шире, изъ огромной армии грудовой интеллигенціи. Трудовая интеллигенція, за малымъ исключеніемъ, осталась въ Россіи, при своемъ дѣлѣ. Русское студентство здѣсь, въ большей части, растворяется въ иностранной средѣ, не читая по русски. Остальные, проникнутые практицизмомъ, живутъ профессиональными, можетъ быть, еще политическими интересами. Имъ не до книгъ на вѣчныя темы. Что касается широкой массы эмиграции, то она, какъ потребительница культуры, довольно рѣзко дѣлится на два круга: военный и бѣженскій. Въ бѣженствѣ, хотя бы по своей покупательной способности, культурный спросъ определяютъ буржуазные элементы, ищущіе въ культурѣ легкаго наслажденія. Естественно, что патристическій лубокъ и интернациональный романъ-фельетонъ определяютъ ходкій спросъ литературнаго товара. Иногда оба стіля соединяются подъ обложкой одного журнала или въ «главчествѣ» одного автора. Понятно, почему всесоюзный писатель тоноритъ черезъ головы живыхъ людей — въ простраство и время.

Разумѣется, эти песничестическія оцѣнки не въ одинаковой мѣрѣ относятся къ художественной литературѣ и къ философской и научной мысли. Большой художникъ — хотя далеко не всякій — легче проложитъ себѣ дорогу въ любую социальную среду. Эмиграция вычисляется въ своихъ рядахъ двухъ-трехъ писателей первой ве-

личины, которые здѣсь не увяли, но дали свои самые зрѣлые и совершенные плоды. Конечно, они продолжаютъ до-революционную традицію. Но она была непопла безъ этого послѣдняго штриха. Старый опытъ отстоялся, закалился въ страданіи. Пережитое сообщило старымъ литературнымъ формамъ особую глубину. Это трагическое искусство достойно великой русской трагедіи. Оно будетъ имѣть своихъ читателей и тогда, когда наша революція станетъ далекой исторической сагой.

Совершенно въ другихъ условіяхъ живетъ за рубежомъ русская наука. Здѣсь неумѣсто говорить о трагедіи — развѣ о трагедіи личнаго существованія. Невѣроятно трудны матеріальные условія для однихъ, вполне отсутствуютъ русская читательская среда, зато для многихъ открылись возможности работы въ рамкахъ европейской (или американской) культуры. Наука международна по самой идеѣ. Нелегко отказаться отъ родного языка, но иностранная форма сообщаетъ гораздо большую эффективность русской научной мысли. Вліяніе этой мысли въ міровой наукѣ сильно возросло со времени революціи.

Однако не всякая научная дисциплина легко допускаетъ чужую языковую форму. Труднѣе всего — Geisteswissenschaften — науки о духѣ, прежде всего о своемъ, національномъ духѣ и его откровеніяхъ. Но именно о нихъ думаешь прежде всего, говоря о культурномъ значеніи русской эмиграции. Для насъ рѣчь идетъ прежде всего о русской философіи, отъ которой, съ XX вѣка, неотдѣлимы русское богословіе и

— въ наши дни — историко-философская мысль.

И философская и религиозная русская мысль въ изгнании не переломилась. Онѣ продолжают творчески, развивая и углубляя, традицію, прерванную революціей. Это не линия элитоновъ, а сама «каменная» большая движениа Въ самомъ дѣлѣ, въ первомъ десятилѣтіи нашего вѣка въ Россіи, изъ предпосылокъ нѣмецкаго идеализма и символизма едва начала складываться совершенно оригинальная русская школа философіи, теоретической и религиозной одновременно. Едва намѣчены были вѣхи новаго пути. Революція ничего не отбѣняла въ постановкѣ этихъ проблемъ. Она просто смахнула ихъ, уведя молодя поклѣнныя Россіи въ реакціонную глушь 60-хъ годовъ. Здѣсь, въ изгнании, совершается эта работа, которая призвана утолить духовный голодъ Россіи. Отсюда идутъ пути въ русское будущее. Правда, извѣстныя моральныя и культурно-общественныя предпосылки зачинателей этого движенія XX вѣка теперь чужды молодежи — за рубежомъ и въ Россіи, — воспитанной въ обстановкѣ военного и революціоннаго варварства. Отчужденіе отцовъ и дѣтей на духовномъ фронтѣ такъ же сильно, какъ и на фронтѣ политическомъ. Но самое содержаніе этой мысли выходитъ далеко изъ границъ психологическаго «я» переживанія. Когда пройдетъ революціонный и контръ-революціонный шокъ, вся проблематика русской мысли будетъ стоять попрежнему перель новыми поколѣніями Россіи.

Итакъ, до-революціонная традиція, оказавшаяся бесплодной въ

политикѣ, еще плодотворна въ культурѣ духа. Это не должно насъ удивлять. Политика цѣлкомъ связана съ мѣняющейся обстановкой. Самый фактъ революціи сдѣлалъ невозможными всѣ старыя линии поведения. Развитие духа не знаетъ такихъ перерывовъ. Однако революція поставила и духовную проблему — прежде всего проблему Россіи — которая не стояла передъ довоеннымъ поколѣніемъ. Каковъ итогъ собственно духовной реакціи на революцію? Эта реакція возможна въ двухъ типахъ или въ видѣ прямого отрицанія, духовной контръ-революціи, или въ видѣ того условнаго пріятія реакціи — по крайней мѣрѣ, «я» проблемы, которое у насъ получило нѣсколько странное имя — пореволюціонность.

Два слова о духовной контръ-революціи, или реакціи въ обычномъ смыслѣ слова. А priori мы не склонны отрицать законности такой установки. Прямая борьба въ мірѣ идей, борьба на истребленіе столь же неизбежна, какъ и въ матеріальномъ мірѣ. Опытъ исторіи учитъ, что эпохи реакціи бывали нерѣдко чрезвычайно плодотворны; что изъ глубины отрицанія рождались новыя слова.

Въ сущности, изъ радикальной реакціи противъ французской революціи выросли всѣ живыя силы, которыми движимъ былъ XIX в.: романтизмъ, историзмъ, націонализмъ, даже социализмъ. То же можно было бы сказать о религиозной католической реакціи противъ реформациіи въ XVI вѣкѣ. Революція почти всегда полагаетъ предѣлъ одному кругу идей, до конца пройденному. Новое зачинается съ отрицанія стараго. По-

литическая реакция таким образом соответствует революции духовной.

Нельзя не спрашивать себя о удивительном, почему русская революция не дала своих Де-Мустров. Почему так убого и скудно идейный арсенал нашей Вандеи? Конечно, не по отсутствию талантов в эмиграции и не по недостатку реакционных настроений. Но когда видишь, как плоско становятся и даровитые люди, защищающие — казалось бы, совсем не безнадежное — «правое» дело, то это требует объяснения.

Объяснение это, нам кажется, следует искать в том факте, что реакция на русскую революцию увидела на много ее торжеств. Русская революция растянулась чуть не на полтора столетия, если говорить о времени ее созрвания и идейного наступления. Долго она жила чужим опытом и чужим умом. Не удивительно, что противление русского ума ее напору сказало давно и с большой силой. Достоевский, Леонтьев, Розанов — все это отклик на русскую революцию. Но этот отклик давно уже, хотя и без труда, вошел в русское культурное сознание. Время следило остроу полемического упора. Мы ценим у наших великих «реакционеров» не отрицание их, а глубину положительных начал, пригодных для философского и социального строительства. Словом, они для нас давно уже «пореволюционны». Творческая мысль не может жить повторением найденных, хотя бы и острых формул. Анти-революционные мысли Достоевского теперь могут подновляться

лишь площадной грубостью выражений. Так и в контрреволюции, как в самой революции Октября, Россия живет очень старым запасом. Ведь и большевикам не удалось до сих пор перешагнуть за порог 60-х годов, в которых они духовно пребывают.

Есть и другое обстоятельство, которое чрезвычайно неприятно для духовного творчества реакции: это европейская духовная атмосфера. Нельзя не видеть, что «буржуазный» строй потерял почву под ногами. Все живое в Европе отвернулось от него и на разных путях, ищет выхода из его тупиков. Сейчас возможна принципиальная реабилитация капитализма, как возможна была хотя бы идейная защита абсолютной монархии в начале XIX века. Во всем вся разница эпох. Самые остроумные и талантливые русские экономисты и социологи, которые, отталкиваясь от коммунизма, ищут оправдания погибшего в России хозяйственного строя, оказываются на Западе в духовном одиночестве, — во всяком случае, в очень сомнительном обществе. Это не может не подрывать крыльев.

Иное дело мысль пореволюционная. Представленная главным образом молодым поколением, лишенным школьной выучки и общей культуры, ориентированная практически, она естественно не в силах развить себя своих возможностей. В сущности, лишь ерзание идейно себя осмешивало. Ему мы обязаны оригинальной, хотя и односторонней, постановкой вопроса о судьбе русского исторического процесса.

Поставленная евразийцами тема — Россия между Востокомъ и Западомъ — не перестаетъ будить нашу мысль. Это историческій откликъ на парадоксы русской революции. Въ свѣтъ новыхъ идей пересматривается весь матеріалъ русской культуры. Возможно, что надолго и въ Россіи историко-философскія изслѣдованія, освобожденные отъ плѣна марксизма, будутъ стоять подъ этимъ знакомъ. Но уже сейчасъ нѣсколько книгъ, обновившихъ заброшенную со времени славянофиловъ философію русской культуры, написаны въ эмиграціи. Пореволюціонная исторіософія вмѣстѣ съ дореволюціонной философіей и библіологіемъ — это то, что эмиграція принесетъ въ Россію, какъ живой ферментъ, который подниметъ и заставитъ бродить ея огромныя, но омертвѣвшія культурныя силы. Это не малое честолюбіе для нищихъ, бездомныхъ, гонимыхъ изгнанниковъ. Но это законная наша гордость и утѣшеніе, на которое мы имѣемъ право послѣ горестнаго крушенія нашей политической мечты.

Мы живемъ въ ужасное, но великое время. Историческія событія и катастрофы, помимо своего прямого политическаго и социальнаго смысла, имѣютъ всегда и другой, едва ли не болѣе важный: это вызовъ духу, требованіе отвѣта и потому моментъ въ жизни — національнаго или общечеловѣческаго — духа. Для всего духовнаго бытія Россіи вопросъ первостепенной важности: какова ея внутренняя реакція на знаменія нашей апокалиптической эпохи? Но силы, подобныя стихійнымъ,

сдѣлали невозможнымъ свободное выраженіе русскаго сознанія внутри Россіи. Все, что доносится оттуда, ни въ какой мѣрѣ не стоитъ въ уровень съ запросами грознаго вѣка. Можетъ быть, примириться съ тѣмъ, что наше поколѣніе такъ и не дастъ отвѣта, что лишь со временемъ оныѣвшая Россія обрѣтетъ свой голосъ? Но тогда свѣжесть воспріятія, точность опыта будутъ утрачены, подмѣнятся книжнымъ и деформированнымъ знаніемъ. И вотъ намъ здѣсь, за рубежомъ, выпала высокая честь и бремя подать голосъ Россіи — бросить его, хотя бы въ пространство, въ пустоту (гдѣ ничто не пропадаетъ).

Чтобы этотъ голосъ былъ слышимъ и не обманулъ того, кто черезъ пространство и время его поймаетъ на невѣдомую антенну, нашъ голосъ долженъ быть свободенъ. Свободенъ отъ всякой оглядки на мнимое «общественное мнѣніе», на призрачныя «массы», на несуществующую отвѣтственность.

Сейчасъ, послѣ старой россійской безответственности, мы болѣны совѣстью. Но колесо обернулось на 180°. Наше слово раздастся въ пустотѣ. У насъ нѣтъ отвѣтственности, кромѣ какъ передъ Богомъ и своей совѣстью. Мы не знаемъ, какіе выводы будутъ сдѣланы изъ нашей правды. Не знаемъ и не должны знать. Рѣдко въ исторіи мысль имѣла право на такую свободу: право, завоеванное послѣдней нищетой, бездомностью, изгнаніемъ.

Г. Федотовъ.

Новыя письма Наполеона.

Письма Наполеона къ Маріи-Луизѣ оказались «главной сенсацией книжнаго сезона». Французское правительство заплатило за нихъ на аукционѣ у Сосби огромную сумму, показывались они на особой выставкѣ въ Национальной Библиотекѣ и теперь появились въ печати въ образцовомъ изданіи, съ примѣчаніями Луи Мадлена, одного изъ лучшихъ знатоковъ эпохи.

Сенсация достаточно понятна. Въ историкѣ въ теченіе цѣлаго столѣтія считали эти письма потерянными. Предполагалось, что Марія-Луиза ихъ сожгла. Но необъяснимой случайности, никому изъ изслѣдователей не пришла въ голову искать ихъ тамъ, гдѣ они собственно скорее всего и должны были находиться, у потомковъ императрицы. Какъ извѣстно, Марія-Луиза вскорѣ послѣ отреченія Наполеона сошлась съ австрійскимъ генераломъ, графомъ Адальбертомъ Нейпергомъ (котораго и боышая публика знаетъ по пьесѣ Сарду «Маламъ Санъ-Жень») въ 1821 году она тайно вышла за него замужъ; еще задолго до того у нея родились дѣти, получившія имя и титулъ графовъ Монтенуово Императоръ Францъ-Юсифъ возвелъ ихъ въ княжеское достоинство. Правнукъ Марія-Луизы, князь Фердинандъ Ментенуово и продалъ теперь, при посредствѣ фирмы Сосби, письма Наполеона. Императрица ихъ не сожгла, но, повидному, и не слишкомъ ими интересовалась: въ преносливой сохранности они пролежали 120 лѣтъ въ ящикѣ письменнаго стола Марія-Луизы.

Быть можетъ, князьамъ Монтенуово до сихъ поръ не были нужны деньги; а можетъ быть, они и сами не знали, какая драгоценность находится въ ихъ владѣніи.

Сенсация усугубляется тѣмъ, что собственноручныхъ писемъ Наполеона намъ вообще извѣстно чрезвычайно мало. императоръ неизмѣнно все диктовалъ секретарямъ. Общее число оставленныхъ имъ писемъ превышаетъ 25 000, — вѣроятно, это мировой рекордъ. Но, за рѣдчайшими исключениями, все это письма, писанныя чужой рукою. Подлинна въ нихъ только сокращенія подписи X или Nap. И вдругъ сразу — 318 автографовъ Наполеона! Мудрено ли, что перелопотились и Национальная Библиотека, и Французскій Институтъ, и правительство. Деньги на покупку нашлись даже въ нынѣшнее трудное время.

Для читателей сенсаций, пожалуй, будетъ совершенная безграмотность писемъ Почти въ каждой строчкѣ Наполеонъ допускаетъ грубѣйшія ошибки, — тѣ самыя, которыя во Франціи называются «ошибками консьержей». Это обстоятельство очень интересное. Въ 18-омъ вѣкѣ аристократы, получавшіе обычно домашнее образование, часто были плохо знакомы съ орфографіей. Но Наполеонъ учился въ Бриеннской и въ Парижской военныхъ школахъ, — нельзя допустить, чтобы онъ не зналъ правописанія самыхъ обычныхъ словъ. Онъ пишетъ *hiers*, «un détaille», «mon rhimes», «je suis henrumé», «je spropose» и т. д. Думаю, что психофизиологи съдѣлаютъ изъ этого

надлежащіе выводы. По отдѣльнымъ строкамъ можно предположить, что императоръ пишетъ не глядя на бумагу, погруженный въ мысли, ничѣмъ съ письмомъ не связанныя. Скажу почти съ увѣренностью, что онъ ни одного изъ этихъ 318 писемъ не перечиталъ. И все же повтореніе нѣкоторыхъ ошибокъ вызываетъ странное чувство: Наполеонъ пишетъ какъ иностранецъ. Французъ, занятый другими мыслями въ пору писанія письма, можегъ написать «builtin» (пропускъ буквъ), можетъ написать «tout le monde m'a thrai» (перестановка буквъ, хотъ и странная, если въ подлинникѣ надъ і поставлены двѣ точки). Но онъ не ошибется въ родѣ слова, не скажетъ: «mè est soucia», «tu voisas», «il n'y attend rien» (въ смыслѣ: «ничего не понимаетъ»,—такое выраженіе встречается въ письмахъ часто), не выдумаетъ несуществующаго слова, напоминающаго французское: Наполеонъ, напримѣръ, вмѣсто *amistice* неизменно говоритъ *amistice*. По орфографіи нѣкоторыхъ словъ мы можемъ догадываться и о пронашеніи Наполеона. Въ нѣкоторой, хотъ и очень незначительной мѣрѣ, подлинники его писемъ замѣняютъ намъ граммафонныя пластинки или звуковые фильмы.

При сужденіи о письмахъ по существу, надо твердо помнить, кому они писаны. За исключеніемъ Жозефины, Наполеонъ никогда никого не любилъ, да и Жозефину любилъ очень недолго «Увлеченій» у него было немало (и не очень много), но въ примѣненіи къ нему самое слово это вызываетъ невольную улыбку, — увлекаться въ настоящемъ смыслѣ сло-

ва онъ былъ органически неспособенъ. Многие историки, основываясь на какомъ-то его замѣчаніи, утверждали, что онъ былъ «самолюбленъ» или даже «безумно самолюбленъ» къ Марію-Луизу. Пришлось бы признаться, что онъ въ нее влюбился заочно.

Напомнимъ въ нѣсколькихъ словахъ исторію этого знаменитаго брака. Въ декабрѣ 1809 года Наполеонъ разводится съ Жозефиной, — частью по династическимъ соображеніямъ, частью потому, что она смертельно ему надоѣла, больше всего, быть можетъ, изъ желанія новой авантюры: ему понадобился «бракъ съ дочерью цезарей». Императору идетъ пятый десятокъ: онъ на вершинѣ могущества и славы. Намѣчаются двѣ «партіи» и въ магримональномъ, и въ политическомъ смыслѣ слова. Меттернихъ предлагаетъ 18-лѣтнюю эргерцогиню Марію-Луизу, дочь австрійскаго императора. Первое, преходящее впечатлѣніе Наполеона рѣзко-отрицательное: «Австрійка? Ни за что! Это слишкомъ напоминало бы Марію-Антуанетту!» Другая партія стоитъ за бракъ съ русской великой княжной, сестрой Александра I. Таллейранъ возражаетъ подъ предлогомъ, что династія Романовыхъ недостаточно стара. Все же переговоры ведутся и съ Вѣной, и съ Петербургомъ. Въ Парижѣ продолжается споръ: «La Russie? Non, l'Autrichienne»... Мюратъ, Фуше и Камбасересъ за «русскую»; Таллейранъ, Маре, Евгений Богарнэ за «австрійку». Наконецъ, не встрѣтивъ въ Россіи сочувствія, Наполеонъ окончательно останавливается на Австріи — и «влюбляется» въ Марію-Луизу. Заочно, че-

резь Бертье, онъ дѣлаетъ предложение и заочно женился въ Вѣнѣ. Жениха на брачной церемоніи — *par procuration* — представляеть его старшій боевой противникъ, эрцгерцогъ Карлъ (вѣнскій дворъ особенно оцѣнилъ рыцарскій выборъ заместителя). Брачный договоръ дословно повторяеть договоръ Людовика XVI съ Маріей-Антуанеттой, что, при суевѣрїи императора, не исполнѣ понятно

Тонъ писемъ Наполеона къ Маріи Луизѣ одинъ и тотъ-же: ласковый, заботливый и очень вѣжливый. Пожалуй, наиболѣе вѣжливыя письма императора — первыя, тѣ, въ которыхъ онъ ее еще называетъ то «*Ma Cousine*», то «*Ma Sœur*», то «*Madame ma Sœur*», то просто «*Madame*». Счастливыя женихъ разсыпается въ выраженїяхъ страстной любви къ женщннѣ, которой онъ отроду въ глаза не видѣлъ: отпнѣтъ вся его жизнь будетъ посвящена Маріи-Луизѣ; онъ думаетъ только о ней, любовь къ ней навсегда запечатлѣна въ его сердцѣ; какъ бы онъ хотѣлъ быть на мѣстѣ ея папа, который въ колѣняхъ можетъ засвидѣтельствовать ей свое поклоненїе! (буквально — письмо отъ 24 марта 1810 г.) Новидному, онъ совершенно не думаетъ о томъ, что пишетъ, — не все ли равно? Читателю порою кажется, что Наполеонъ насмѣхнется. Въ одномъ изъ писемъ (отъ 10-го марта) онъ говоритъ 18-лѣтней «*Audrichienne*»: «Вы будете нѣккой матерью для французова. Въ нихъ вы пойдете нѣжно любящихъ васъ дѣтей». Черезъ 3 года, при историческомъ свиданїи съ Меттернихомъ, онъ скажетъ: «И дѣлать большую глупость,

жемившись на австрїйской эрцгерцогинѣ»

Думаю, что о безумной наобленности Наполеона говорить никакъ не приходится. Но, повидимому, онъ относился къ женѣ съ ласковымъ, благодушнымъ чувствомъ, которое можетъ быть, при желанїи, названо любовью. Онъ былъ немолоды, его всегда держалъ семейный бытъ, — по крайней мѣрѣ въ теорїи. Марія-Луиза не отличалась особенной красотой, — во Наполеону принадлежали самыя красивыя женщины міра; онъ не отказывалъ себѣ въ нихъ и постѣ брака. Не бластала она и умомъ, — ужъ это ему было совершенно не нужно: лишь бы умѣла исполнять свои не очень сложныя обязанности императрицы.

Французскїе историки непамятливо вторую жену Наполеона «*cette femme qui* и т. д., — читатель мысленно продолжитъ соотвѣтствующую фразу. Въ дѣйствительности, злобѣйкой и ненадежнѣе ада она никогда не была. У всѣхъ трехъ престоловъ, въ Шенбруннѣ, въ Тюилери и въ Пармскомъ дворцѣ (какъ извѣстно, въ концѣ концовъ она стала герцогиней Пармской и правила своимъ герцогствомъ большіе тридцать лѣтъ), Марія-Луиза оставалась чеховской дѣвчонкой. Ея дѣтскїе годы совпали съ Марією, съ Аустерлицемъ, съ Ваграмомъ; отецъ, родные, министръ говорили, что Наполеонъ Антихристъ, — она этому воплнѣ повѣрила!). Въ 1810 году отецъ

1) Она писала отцу въ 1809 году: «Ахъ, если-бъ Наполеонъ сложилъ себѣ шею! Здѣсь много говорить объ его близкомъ концѣ,

объявилъ ей, что Наполеонъ больше не Антихристъ и что надо за него выйти замужъ, — Марія-Луиза съ полной готовностью подчинилась и, по своему, любила императора; во всякомъ случаѣ была ему преданной и вѣрной женой. Потомъ ей объяснили, что Наполеонъ все-таки Антихристъ и что надо его оставить, — немедленно она исполнила и это. Меньше, чѣмъ черезъ полгода послѣ окончательной разлуки съ Наполеономъ, на водахъ, куда Меттернихъ послалъ ее утѣшаться, представивъ къ ней въ качествѣ утѣшителя графа Нейперга²⁾, она стала — не на годъ и не на два, а на пятнадцать лѣтъ — вѣрной подругой этого покорителя сердецъ: «cette femme qui oubliais dans d'indignes affections» и т. д. Когда же Нейпергъ, горячо ею оплаканный, скончался, ея другомъ сталъ баронъ Бомбелль, и она немедленно забыла о Нейпергѣ съ такой же легкостью, съ какой пятнадцатю годами раньше забыла о своемъ первомъ, болѣе извѣстномъ въ мѣрѣ мужѣ. У этой женщины былъ легкій и пріятный характеръ. Одинъ изъ французскихъ историковъ написалъ о ней книгу подъ названіемъ «Немези-

говорятъ, что это о немъ сказано въ Апокалипсисѣ. Утверждаютъ, что онъ въ этомъ году умретъ въ Кельнѣ въ трактирѣ Краснаго Рака. Я не придаю значенія этимъ предсказаніямъ, но какъ бы я была счастлива, если-бъ они сбылись!» — Черезъ годъ она вышла за него замужъ.

2) Нейпергъ, уѣзжая на воды, говорилъ своей дамѣ: «черезъ полгода она станетъ моею любовницей, а позднѣе — моею женой».

да Наполеона». Какая ужъ она была Немезида! Неверно и то, будто она «забросила» своего сына. Напротивъ, она очень любила герцога Рейхштадскаго. Чуть ли не она и придумала для него это имя, при чемъ въ одномъ письмѣ съ очаровательной наивностью сказала: «Къ сожалѣнію, имя, данное ему при рожденіи, Наполеонъ Бонапартъ, некрасиво». Ей въ голову не приходило, что простодушная фраза эта до скончанія вѣковъ будетъ приводить въ ликую ярость французскихъ историковъ: «Cette femme qui a osé écrire cela!» и т. д.

Но дѣло, разумеется, никакъ не въ Маріи-Луизѣ, а въ авторѣ писемъ. Фредерикъ Массонъ, извѣстный историкъ Наполеона, по словамъ Мадлена, не могъ утѣшиться въ томъ, что эти письма пропали. За нихъ уже готовъ былъ отдать весь Архивъ (что, въ устахъ историка, означаетъ приблизительно: готовъ былъ бы отдать отца и мать). «Подумайте», — говорилъ онъ Мадлену, — «если онъ писалъ ей съ поля Бородинской битвы, передъ горящей Москвой, съ береговъ Березины, съ поля Лютцена, Бацена, Шампобера, Монтеро, изъ Фонтенебъ передъ своей попыткой самоубійства. Ахъ, какая потеря! Какой ужасъ! Она все сожгла!» «Она» не сожгла, оказывается, ничего. Массонъ до нынѣшней поры не дожилъ, но мы съ сожалѣніемъ должны признать, что его отчаяніе было не совсѣмъ основательно.

Наполеонъ дѣйствительно писалъ женѣ съ разныхъ полей сраженія. Но никакихъ откровеній, никакихъ замѣчательныхъ мыслей или хотя бы только замѣчатель-

ных фактических сообщений в его письмах нетъ. Въ большинствѣ они банальны и однообразны на рѣдкость. «Я здоровъ. Погода прекрасная. Разбилъ врага. Поцѣлуй маленькаго короля. Прощай, моя добрая Луиза», — вотъ канва громаднаго большинства писемъ, часто даже не канва, а все содержаніе письма. Въ болѣе длинныхъ письмахъ есть указанія объ этикетѣ, которому должна слѣдовать императрица (онъ заботился объ этикетѣ больше, чѣмъ «дочь Цезарей»); есть порученія къ князя Франсуа и ироническій въ большинствѣ случаевъ поклонъ «Maman Béatrice», женѣ императора Франца, — ее Наполеонъ терпѣть не могъ. Почти неизмѣнно упоминаніе «мои дѣла идутъ хорошо». Намъ важно знать, какъ онъ расцѣнивалъ военно-политическія событія, и потому это упоминаніе могло бы имѣть историческую цѣнность, если-бъ было искренно. Но, къ сожалѣнію, искреннимъ его считать никакъ нельзя: Наполеонъ пишетъ, что его дѣла идутъ хорошо, даже тогда, когда они идутъ завѣдомо плохо. Иначе и быть не могло: онъ отлично зналъ, что новости, которыя онъ сообщаетъ императрицѣ, тотчасъ будутъ известны ея ближайшимъ дамамъ, т. е. всему Парижу, и, вѣроятно, также ея отцу, т. е. Меттерниху. Если-бъ Наполеонъ велъ дневникъ, это былъ бы дѣйствительно историческій документъ исключительнаго значенія. Но Массонъ совершенно напрасно и безъ всякаго основанія думалъ, что императоръ могъ дѣлиться своими переживаниями съ Маріей-Луизой. Онъ достаточно хорошо зналъ свою жену.

Нерѣдко въ письмахъ попадаются краткія, жесткія въ своей обнаженности упоминанія о сраженіяхъ. «Взялъ у русскихъ Смоленскъ, убилъ у нихъ 3.000 чело-вѣкъ и ранилъ больше, чѣмъ вгрозѣ» (онъ такъ всегда и пишетъ: «je leur ai tués», «je leur ai blessés»...) — Въ нашей памяти тотчасъ невольно встаетъ изумительная сцена поѣздки Алпатыча въ гинущій Смоленскъ. Незаконное и безпредметное сопоставленіе со сценами «Войны и Мира» такъ насъ и не покидаетъ при чтеніи писемъ императора изъ Россіи. «Получилъ твое письмо отъ 7 сентября, т. е. въ день битвы подъ Москвой 1), ты уже знаешь объ этомъ великомъ событіи. Здѣсь все идетъ хорошо, жара умѣренная, погода прекрасная, мы разстрѣляли столько поджигателей, что они прекратили поджогъ. Остается лишь четверть города, три четверти сгорѣли, — пишетъ онъ въ сентябрѣ изъ Москвы. Вотъ какъ тамъ, «во дворцѣ московскихъ герцоговъ» 2). (слова

1) Интересная историческая подробность: въ первомъ письмѣ, отъ 8 сентября, онъ называетъ сраженіе Бородинскимъ. Только въ письмѣ отъ 9-го появляется болѣе пышное наименованіе «la bataille de la Moscova», которое и утвердилось во французской исторической литературѣ.

2) То-есть въ Кремль — Когда рѣчь заходитъ о русскихъ дѣлахъ, то даже столь освѣдомленный историкъ, какъ редакторъ писемъ Мадленъ, заегъ долю фантазіи: подъ Калугой Наполеона едва не выдалъ въ плѣнъ «казакская ура» (une horde de cosaques, — стр. 94). Другой ученый историкъ Об-

одного изъ офицеровъ Наполеоновской гвардіи), преломлялось то, что описано въ «Войнѣ и Мирѣ». На слѣдующій день послѣ Бородинскаго сраженія императоръ удѣляетъ этому событію письмо изъ десяти печатныхъ строкъ, — «мое здоровье хорошо, погода немного свѣжая». Еще черезъ день, отдохнувъ, пишетъ девять строкъ: сообщаетъ императрицѣ свое мнѣніе о присланномъ ею портретѣ ихъ сына, говорить о своемъ насморкѣ, — былъ дождь, но его здоровье все же хорошо, — и разрѣшаетъ дать доступъ на маляя придворныя церемоніи Таллейрану, Ремюза, епископу Нантскому Больше ничего, — «Прощай, мой другъ». Точно такъ онъ и въ несчастіи. Наканунѣ переправы черезъ Березину и въ самый день этой ужасной переправы, когда остаткамъ арміи и ему самому грозитъ совершенная катастрофа, онъ пишетъ, что здоровъ, что очень холодно, что онъ очень ее любитъ, и проситъ кланяться разнымъ дьямамъ!

Нѣтъ, ни съ какой неизвѣстной намъ стороны этотъ необыкновенный человѣкъ не проявляетъ себя въ письмахъ къ Маріи-Луизѣ. Я не хочу сказать, что они не имѣютъ исторической цѣнности; но философамъ въ этой книгѣ искать нечего. Наполеонъ не очень цѣнилъ людей, отравившихся съ нимъ на Святую Елену; вѣрнѣе, онъ вовсе ихъ не цѣнилъ. Однако съ Лась-Казомъ, съ Бертрамомъ, съ Гурго онъ еще гово-

ри въ только что вышедшей книгѣ «Святая Елена» (т. II, стр. 298) относить стихи Лермонтова о Наполеонѣ къ царствованію Александра Павловича!

рилъ иногда о предметахъ, называемыхъ философскими. Въ недавно опубликованномъ разговорѣ съ Гурго онъ себя объявилъ «спинозистомъ», подчеркивая впрочемъ особый оттѣнокъ своего спинозизма: «Въ томъ, что нѣтъ воздающаго по заслугамъ Бога, меня убѣждаетъ слѣдующее: честные люди всегда несчастны, а мошенники счастливы. Увидите, что Таллейранъ умретъ въ своей постели. Если-бъ я вѣрилъ, что существуетъ Божья кара, я на войнѣ испытывалъ бы страхъ... Отлично знаю, что смерть — конецъ всему. Какая кара можетъ меня ждать послѣ смерти? Изъ моего гѣла вырастетъ брюква или морковь»... — «Однако Богъ далъ намъ совѣсть, угрызенія совѣсти», — возражаетъ Гурго. — «А вотъ, я не боюсь угрызеній совѣсти», — говоритъ Наполеонъ, — «На войнѣ на моихъ глазахъ внезапно погибали люди, съ которыми я въ ту минуту разговаривалъ. Оставьте, душа ихъ умирала вмѣстѣ съ ними... — Но вѣдь безъ религіи нѣтъ и нравственности, — споритъ Гурго. — На то есть жандармы», — отвѣчаетъ Наполеонъ: «законъ, вотъ что заставляетъ людей быть честными». Приблизительно такія же мысли онъ высказывалъ Бертрану за нѣсколько дней до своей смерти, тщательно раабатывая строго-религіозный церемоніалъ своихъ похоронъ (онъ зналъ, что умираетъ). Въ письмахъ къ Маріи-Луизѣ онъ даетъ ей указанія о церковныхъ службахъ, но не говоритъ никогда ни о Богѣ, ни о вѣрѣ. Мало говоритъ и о людяхъ. Впрочемъ, однажды высказывается о своей собственной семьѣ: «Plains-moi d'avoir une si mauvaise famille,

moi qui les est acablé de bien». Да еще, послѣ отреченья отъ престола, ночью пишетъ женѣ: «Люди такъ мнѣ опротивѣли»..

Какъ и другіе документы, письма эти свидѣтельствуютъ объ его неутомимости, о работоспособности, граничащей съ чудомъ. Даже въ мирное время, онъ то проводитъ весь день верхомъ на конѣ, то безостановочно диктуетъ по три-четыре письма сразу, то, сломя голову, несется съ одного конца Европы въ другой. Путешествовалъ онъ, какъ мы знаемъ изъ воспоминаній его офицеровъ, въ каретѣ особаго устройства; внутри ея были десятки запершихся на ключъ ящиковъ, освѣщалась она сзади огромнымъ фонаремъ, такъ что онъ могъ читать и ночью. Все прочитанное, письма, документы, книги, онъ съ ожесточеніемъ рвалъ на части и выбрасывалъ за окно кареты, — адъютанты и паки собирали коллѣкціи изъ подобранныхъ клочковъ бумаги. Ыль онъ очень мало, но обѣдъ и въ походѣ состоялъ изъ шестнадцати блюдъ, — этого требовалъ церемоніаль; почти ничего не пилъ, но къ столу подавали необыкновенныя дорогія вина, — этого требовалъ церемоніаль. Когда онъ въ дорогѣ выходилъ изъ кареты, гренадеры выстраивались и отдавали честь, — этого требовалъ церемоніаль. При своемъ совершенномъ превращеніи къ двору, къ придворнымъ, къ людямъ вообще, онъ былъ убѣжденъ, что ему необходимъ этнкетъ Людовика XIV: при помощи этихъ пріемовъ и создаютъ мистичку власти. Вотъ только по числу рабочихъ часовъ онъ отступалъ отъ правилъ: ночью просыпался по нѣсколько разъ, бу-

дилъ секретарей и садился за работу; часто будилъ и начальника штаба, Бертъе, который такъ и считалъ себя мученикомъ.

Интересовало его въ дорогѣ все и почти все ему нравилось. Въ каждомъ нѣмецкомъ, голландскомъ, русскомъ городѣ онъ находилъ прелесть 1), о чемъ тотчасъ извѣщалъ жену: «Вильна очень красивый городъ», «Вязьма довольно красивый "городъ"... Онъ страстно любилъ все новое. Послѣ окончательной катастрофы, послѣ Ватерлоо, 28 іюня, читая Гумбольдта, онъ вдругъ рѣшаетъ, что надо начать новую жизнь: довольно политики, войны, власти; въ молодости его интересовали точныя науки, отчего не посвятить имъ остатокъ дней? Онъ говоритъ знаменитому математикку Монжу: «Мнѣ нуженъ спутникъ, который быстро ознакомилъ бы меня съ нынѣшнимъ состояніемъ науки. Мы отирались бы съ нимъ въ далекое путешествіе и изучали бы вмѣстѣ явленія природы». Въ самыя послѣдніе свои годы, на островѣ св. Елены, не всегда уже находясь въ состояніи полной вмѣняемости, онъ еще пороку бьваетъ жанерадостень, бодръ и даже веселъ. За нѣскольکو недѣль до смерти онъ говоритъ врачу: «Eh! non, ce n'est pas faiblesse, c'est la force qui m'étouffe, c'est la vie qui me tue»..

Наше отношеніе къ Наполеону теперь болѣе двойственное, чѣмъ

1) Однако названій ихъ написать не могъ: онъ пишетъ Amsterdamm, Königsberg и даже Rhine (Реймсъ)

когда бы то ни было. Съ одной стороны, ужь очень много разилось маленьких Бонапартовъ, — Бонапартовъ совершенно штатскихъ; побѣды за ними не значится, но всё они, разумѣется, спасли отечество. Въ Мексикѣ новый Наполеонъ появляется регулярно разъ въ годъ. Эти карикатуры насъ естественно расхолаживаютъ, хоть тотъ Наполеонъ, настоящий, никакой ответственности не несетъ ни за скверныя, ни за хорошия поддѣлки.

Есть однако и «другая сторона». Въ Европѣ въ настоящее время понять какъ слѣдуетъ яacobич-

скую революцію могутъ, кажется, лишь люди, пережившіе революцію большевистскую. Мы видѣли своими глазами революціонный хаосъ и убѣдились въ томъ, какъ безгранично трудно съ нимъ справиться. Какъ ни плохъ былъ во многихъ отношеніяхъ порядокъ, который Наполеонъ принесъ Франціи, все же это былъ не хаосъ, а порядокъ. По собственнымъ словамъ Наполеона, онъ «поднялъ свою корону изъ лужи». Намъ легче оцѣнить его историческую заслугу: мы видѣли, какія бывають лужи.

М. Алдановъ.

О современной эмигрантской поэзии.

Литературные споры рѣдко кончаются яснымъ результатомъ, «побѣдой» одной изъ спорящихъ сторонъ. Но они не безплодны, когда спорятъ люди съ опредѣленными и продуманными взглядами, какъ это было въ полемикѣ, которую недавно на страницахъ парижскихъ газетъ вели два извѣстныхъ литературныхъ критика.

Въ спорѣ ихъ тѣсно сплелась нѣсколько лемъ: обоснована ли претензія парижской группы поэтовъ на духовную «столичность», по сравненію съ «провинциальными» поэтами Рима, Праги, Шанхая? существуетъ ли глубокой критикъ поэзіи и можно ли продолжать писать стихи попрежнему? Или для современного поэта осталась одна тема — предѣльное отчаяніе и одинъ способъ его выраженія — прямое, безыскусственное высказываніе своей боли, безъ условной лжи округленныхъ стихотворныхъ формъ? Если по-

слѣднее вѣрно, то шаржскіе поэты, хотяже порвать со старыми темами и формами, тѣмъ самымъ ужь проявляютъ свою «столичность» и превосходство надъ своими провинціальными собратьями. Въ ихъ стихахъ меньше «искусства» въ кавычкахъ, но зато больше «человѣчности», по любимому выраженію одного изъ спорящихъ, Г. Адамовича.

О кризисѣ поэзии Адамовичъ писалъ часто и убѣдительно. Не отрицаетъ его и В. Ходасевичъ. И хотя можно отмѣтить курьезныя ошибки въ обычныхъ жалобахъ критики на «упадокъ» литературы (такъ въ годы оубликованія «Войны и Мира» и «Анны Карениной» критики писали о безвременьи, а наканунѣ появленія символистовъ критикъ Андреевскій говорилъ о «вырожденіи рифмы»), — но на этотъ разъ кризисъ очевиденъ. Достаточно обозрѣть не только русскую, но и главныя изъ иностранныхъ ли-

тературь, чтобы въ этомъ убѣдиться. Поэзія играетъ въ нихъ все меньшую роль, старыя поэты умираютъ, а новыя не появляются. Въ Германіи умерли Рильке и Георгіе, а среди плеяды талантливыхъ молодыхъ писателей нѣтъ ни одного крупнаго поэта. Во Франціи живущіе выдающіеся поэты — осколки прежняго поколѣнія—Клодель, Анри де Ренье, Валери. Мало того, даровитые поэты переходятъ на прозу, словно имъ легче и естественнѣе выражать себя не въ стихахъ. Владиславъ Ходасевичъ замолкъ, какъ поэтъ, думается намъ, не случайно.

Тотъ или иной характеръ одаренности писателей въ одной странѣ еще могъ бы объясняться игрой случая, неравномѣрно распредѣляющаго дарованья. Но распространенность во всѣхъ литературахъ этого оскудѣнія поэтическихъ дарованій — показываетъ, что тутъ — не случайность. Найти причины этого погребовало бы длиннаго изслѣдованія. Бѣгло можно лишь констатировать, что поэзія «несозвучна» нашему времени, что *inter arma silent musae*, а мы вѣдь живемъ въ эпоху войны и переворотовъ. Вѣроятно, временно оскудѣваетъ самый источникъ поэзіи, какъ искусства, — поэтическая «стихія» человѣческой души. Эта стихія, разумѣется, не исчезла совершенно, но подпочвенныя поэтическія воды струятся все слабѣе и не даютъ достаточно влаги, чтобы питать литературу. Для рожденія поэзіи, вѣроятно, нужна «атмосфера». Она накапливается въ тишинѣ душевной въ спокойствіи прочнаго бытія. Поэзія рождается словно въ дымкѣ, въ облачности, въ туманѣ этой поэтической атмосферы,

а теперь все оголено, обнажено, обезпложено въ трагическихъ конфликтахъ.

Но если самый фактъ кризиса безспоренъ для обонихъ критиковъ, то выводы дѣлаютъ они разные. Одинъ (Ходасевичъ), занимаясь своей критической работой, какъ бы забываетъ о кризисѣ. У англичанъ во время войны былъ распространенъ лозунгъ *business as usual*, что можно перевести такъ: «занимайтесь дѣломъ какъ обыкновенно». Въ этомъ была большая мудрость: или нужно во время войны оставить мирныя занятія, или, если необходимо работать, то лучше работать спокойно и добросовѣстно, такъ, какъ если бы войны вовсе не было. Если поэты, несмотря на кризисъ и поэзіи и культуры, все же пишутъ стихи, то пусть они дѣлаютъ это «какъ обыкновенно» съ предѣльно доступнымъ имъ мастерствомъ, по велѣніямъ строгой художественной совѣсти. И Ходасевичъ тщательно взвѣшиваетъ достижения отдѣльныхъ поэтовъ и даже качество отдѣльныхъ «писесть», какъ онъ выражается и надѣясь иронизируетъ Адамовичъ, который характеризуетъ его критическую работу какъ совѣтъ молодымъ поэтамъ: «пишите, господа, хорошіе стихи — звучные, ясные, съ тематическимъ развитіемъ, съ отраженіемъ разнообразныхъ чувствъ». Думается, что этотъ «совѣтъ» нѣсколько стилизованъ и что правильно сформулирована только первая фраза: «пишите хорошіе стихи!» Критическая «установка» Адамовича (если перевести этимъ неуклюжимъ словомъ французское выраженіе *attitude*) совсѣмъ иная. Не все въ ней логически правильно и Ходасевичъ

чу нетрудно удрекнуть его за противорѣчьяхъ. Но у Адамовича есть свое «мироощущеніе», целый комплекс мыслей и настроеній своеобразныхъ, любопытныхъ и талантливо выраженныхъ.

Мы вѣрѣдно наблюдаемъ въ литературѣ движеніе винтообразное, когда новые взгляды и настроенія странно напоминаютъ другіе, давно отошедшіе. Но это не повтореніе, а параллельная ступень винтообразной лѣстницы. Все развитіе русской критики шло подъ знакомъ «человѣчности», которую называли впрочемъ гражданственностью и гуманностью, и во имя ея въ литературѣ отрицалась форма, стиль, бездушное искусство для искусства. Критики подчеркивали «героическій» характеръ русской литературы. Искусство должно было быть гуманитарнымъ, служить народу, бороться за личность. «Поэтомъ можешь ты не быть, провозглашалъ Некрасовъ, но гражданиномъ быть обязанъ». До какихъ абсурдовъ доходила въ своемъ формоборчествѣ русская критика, всѣмъ еще памятно. Противъ этого настроенія упорно боролись эстетизы, декаденты, символисты. И вотъ человекъ изъ другого лагеря, вдругъ заговорилъ о «человѣчности», сталъ отрицать значеніе всякихъ формальныхъ исканій, отрицательно относиться ко всякому техническому блеску и т. п.

Разумѣется, сходство со старыми мотивами русской критики тутъ въ значительной мѣрѣ только гнѣвное. Старое звучитъ очень осложненно, оно отравлено какими-то ядами. Да, Адамовичъ зоветъ къ «отраженію въ поэзій духовнаго міра человѣка», къ «человѣчности». Но что такое этотъ ду-

ховный міръ? Что произошло съ человекомъ за эти десятилѣтія? — спрашиваетъ Адамовичъ.— Мало-малыски пристальное вглядыванье въ европейскую культуру, ...убѣждаетъ въ глубокой болѣзни личности, въ мучительномъ ея распадѣ и разложеніи. Такимъ образомъ оказывается, что самое «человѣчное» искусство будетъ въ наше время наиболѣе «декадентскимъ», отразитъ наиболѣе полно этотъ распадъ и разложеніе личности.

Мы не хотимъ здѣсь давать характеристику Адамовича, какъ критика, а только отмѣтить его вліяніе на молодыхъ поэтовъ, такъ какъ оно въ значительной степени ихъ сформировало, окрасило «обою «Числа» и другіе органы парижской литературной молодежи. Адамовичъ требуетъ отъ поэзии одного: предѣльно правдиваго, самоуглубленнаго отраженія кризиса и распада культуры и личности, притомъ отраженія прямого, непосредственнаго, чуждаго всякаго «округленія», всякой «красивости». Все громкое, яркое, увѣренное въ себѣ, можетъ быть, даже все здоровое (вѣдь здоровье въ сущности тоже лживая «форма», прикрывающая распадъ, какъ хорошіе стихи парнаскаго типа), — Адамовичу не нравится, вызываетъ его отталкиваніе. Понятно, было бы преувеличеніемъ всѣ типично «парижскія» поэтическія настроенія свести къ «дурному вліянію». Адамовичъ только отмѣтилъ уже существующимъ настроеніямъ. Не забудьте, что онъ обращался къ эмигрантамъ, людямъ по существу бездомнымъ и лишеннымъ твердой почвы и пристанища и только какъ бы сублимировалъ эту «бездомность»,

переведа ее в духовную, метафизическую плоскость. Шутка Ходасевича о маленьких прометейях, прикованных к столбикам монпарнасских кафе, гоминиых скукой -- остроумна, но по существу несправедлива. Эмигрантской поэтической молодежи не трудно было воспринять как единственную тему для стихов чувство пустоты, смерти, распада, все то, что хорошо охарактеризовал Бицилли. «содержание, смысл здесь сводится к своего рода внутренне противоречивому «утверждению ничего». Но именно это своеобразное утверждение: «есть ничего» и является... переживанием нѣкоей мучительной тайны, источником душевной тревоги, порождающей «лирическое волнение». Вот эту тему «есть ничего» и задали молодым «парижинам» их духовные вожди. Это призыв к самоограничению, к своеобразному аскетизму в формах и содержаниях поэзии. Разумеется, Ходасевич слишком культурен и осторожен, чтобы проповедывать презрѣние к формѣ. И однако вся его «установка» тянет молодежь именно в этом направлении. Он понимает, что на одной человечности искусства не сдѣлаешь, волчуются одни человеческие документы» и однако часто он отдает предпочтение именно лирическому дню, лишнему той или хотя бы условности, которая неизбежна в искусствѣ.

Вопрос о «столичности» парижских поэтов -- вопрос второстепенный. Ходасевич думает, что молодая парижская поэзия потому стала разрабатывать свою тему «есть ничего», что живет

в мировой столицѣ. Ходасевич сбится надъ претензіями парижанъ на гегемонію, на «столичность», но и его противники, Адамовичъ, соглашается, что «сами по себѣ» парижане не могутъ претендовать на какое-либо превосходство надъ ревельцами или шанхайцами, но что гегемонія все же есть и что она возникла потому, что «столицѣ міровой духовной цивилизаціи русскіе осколки вошли въ тѣсное ежедневное соприкосновение съ драмой этой цивилизаціи въ ея остромъ, горячемъ состояніи, какъ бы при сорокаградусной температурѣ», т. е. парижане раньше другихъ заразились болѣзнію европейской культуры. Иронизируя надъ «столитными» настроеніями, называя ихъ «униформой», носить которую обязательно въ хорошемъ обществѣ, Ходасевичъ пробуетъ смягчить жало своей ироніи, говоря, что она относится только къ «безликой парижской массѣ», а что наиболѣе талантливые изъ поэтовъ «униформы» чуждаются. Но, кажется, эта «безликая масса» только фикція нужная, чтобы никого не обидѣть. Парижская «униформа» распространена широко.



Но оставимъ крикивъ и обратимся къ поэтамъ. Дѣлая это, мы спустимся на другую ступень: большинство разбираемыхъ нами книгъ принадлежать начинающимъ, такъ что приходится говорить болѣе о надеждахъ, чѣмъ о достиженияхъ.

Ходасевичъ хочетъ противопоставить болѣе талантливыхъ изъ парижскихъ поэтовъ самымъ характернымъ дѣйствительно эти

два качества далеко не всегда совпадают. Но лежащий передь нами сборникъ *), очень характерный для парижанъ, словно нарочно написанный для иллюстраціи ихъ канона, вмѣстѣ съ тѣмъ и одинъ изъ лучшихъ сборниковъ стиховъ вышедшихъ за послѣднее время. Впрочемъ, одаренности молодой поэтессы Ходасевичъ не отрицаетъ. «Приближеніямъ» — сознательно придана форма почти дневника, тетради отрывочныхъ лирическихъ записей. Стихи ея хотятъ быть не музыкой, а шопотомъ, вздохомъ, едва ли не молчаніемъ:

То, что около слезъ. То, что
около словъ,
То, что между любовью и стра-
хомъ конца.
То, что всѣми съ такимъ равно-
душьемъ гонимо
И что прячется въ смутной
правдивости сновъ,
Исчезаетъ въ знакомомъ ова-
лѣ лица,
И мелькаетъ во взглядѣ — на-
мѣренно мимо.
Вотъ объ этомъ... —

хочетъ она говорить

Для нея характерны такіа стро-
ки:

«Я не имѣю для себя отвѣта,
Я не имѣю правды для дру-
гихъ..»

недоумѣнные вопросы:

Гдѣ мы? куда? Никуда и ни-
гдѣ..

растерянныя, даже синтаксически
бесвязныя восклицанія, — почти
лепеть:

*) Лидія Червинская. «Прибли-
женія».

«Все не о томъ. Помолчи, по-
дожди.

Мѣсяцы, память, потери..»

И кажется, что всѣ эти недо-
умѣнія, сиротство, растерянность
происходятъ, выражаясь ея сло-
вами:

«Оъ пустоты, парижской пу-
стоты».

Но маленькая книжка стиховъ
Червинской не пуста. Въ своей
тонкой, тихой женственности она
благородна и привлекательна. Сре-
ди столькихъ появляющихся не-
нужныхъ сборниковъ стиховъ она
оправдана и своей крайней «ха-
рактерностью» и своимъ лириче-
скимъ содержаніемъ.

Хотя Ранса Блохъ *) — членъ
Берлинскаго Кружка поэтовъ, но
«парижане» легко могли бы при-
нять ее въ свой кругъ. Позиція ея
— чистая лирика и держится на
прямомъ и открытомъ выраженіи
чувства. Даръ сильнаго и сосре-
доточеннаго чувства это рѣдкій
даръ и умѣніе самоуглубляться —
чуть ли не половина поэтическа-
го подвига. Плохіе поэты пред-
почитаютъ «литературщину», по-
дражательное выраженіе чужихъ
чувствъ. Ранса Блохъ говоритъ
всегда о своемъ. Но она ищетъ не
лучшаго, а наиболѣе правдиваго
выраженія. Она умѣетъ опускать
свой поэтический лотъ въ глубину,
туда, гдѣ царитъ «тишина»

О, тишина, тишина,
Ты, что всегда слышна,
Ты, чей не молкнетъ зовъ
Въ грохотѣ городовъ.

Прекрасные стихи! Но поэтесса

*) Ранса Блохъ. «Тишина». Изд.
«Петропольсь», 1935

не всегда может донести на поверхность то, что она слышала в этой тишине. Ее стихи порой чрезувычайно дробны:

Я люблю тебя, как бабушка
внученка,
За любовь свою не требуя награды.

И не всегда они звучат таким чистым звуком, как в этом шестистишии:

В гулкой части предутренних
молений
Опустись тихонько на колени,
Не зови, не жди, не прекословь.

Помолись, чтобы тебя забыли,
Как забыли тех, что прежде
были,
Как забудут всех, кто
будет вновь.

Раиса Блох замкнута в своем внутреннем мире. О стихах другого члена Берлинского Кружка поэтов, Софии Прегель *) можно сказать, что для нее «существует внешний мир». У нее зоркий глаз, и «Разговор с Памятью» для нее — разговор с памятью преимущественно зрительной. Она обладает даром лирического воспоминания. Вместе с нею мы видим, как в ее детстве

..пылью фикусы цвели
И как неслышно, в синей части
заката
На лампах оправляли фитили.

видим:

Большой знаящий пятак
В коричневой и маленькой ладони.

*) София Прегель. «Разговоры с памятью». Париж, 1935.

Порою одна, мѣтко наблюдавшая черта сразу воскрешает передь нами недавний, но уже отошедший быт:

В те времена лѣкарства из
аптеки
Бумажные носили колпачки.

Рѣже удаются ей такія же мѣткія, конденсированныя формулы лирических переживаний:

В ту ночь я погребокъ казакскій
Глотками выпила до дна.

Как художники фламандской школы, она любит «натюр мортъ», умѣетъ передать живописные отбѣнки разныхъ явствъ. В ее стихахъ встрѣтимъ мы и «сливовые арбузы» и «нѣжную рыбу северюгу», и «попелки безкровные лимоны» и «золотой, мерцающей медь». У нея есть данныя, которыя позволили бы съ интересомъ ждать ее прозы...

В книгѣ И. Голенищева-Кутузова *) воплотилось все, что отрицаютъ въ поэзіи «парижанск». Если бы на ее обложкѣ стояла дата 1907 годъ и марка «Muscageta» или «Оръ», книжка никого бы не удивила. Теперь она кажется стилизаціей. Словарь и ритмика, даже самыя рифмы напоминаютъ поэтовъ символистовъ того времени. Къ тому же, словно чтобы усилить иллюзію, сборнику предисшествуетъ интересное предисловіе Вячеслава Иванова, чье имя давно уже не появлялось въ печати. Предисловіе знаменитаго поэта написано съ свойственной ему ст-

*) Илья Голенищевъ-Кутузовъ. «Память». Изд. «Парабола», 1935.

ромодной преувеличенной комплиментарностью. Изъ естественнаго духа противорѣчи одиень рецензентъ назвалъ «Память» «стихъ-ми». Это явно несправедливо. Далеко не все въ этой книгѣ только воскрешеніе символистической реторики. Во многихъ стихотвореніяхъ можно отмѣтить неподдѣльное дарованіе. Какъ видншь каждую черту его римскаго «оформта»:

Тамъ подъ аркою, купцы иль
маги?
Сухощавый, юный кардиналь
Въ раззолоченной, тяжелой ко-
лымагѣ
По булыжникамъ прогрохоталъ.

Тонкорунныя пасутся козы
И глядятъ глазами злыхъ хи-
меръ.

Цѣпкия колеблетъ вѣтеръ лозы.
На обломкахъ плитъ S. P. Q. R.

Хорошъ весь циклъ «Римъ», хороши лирическія «О, какъ обширенъ міръ», «Засыпаю съ болью о тебѣ». Правильнѣе судить молодого поэта не по худшимъ его вѣшамъ, а по лучшимъ, которыя всегда могутъ оказаться исходнымъ пунктомъ новаго подъема, новымъ «разбѣгомъ» для поэтического восхожденія.

Третья книга Ю. Манделштама *) лучше двухъ прежнихъ. Въ стихѣ меньше расплывчатости, онъ болѣе сжатъ и энергиченъ. До сихъ поръ его стихи портили то, что онъ не могъ очистить ихъ отъ конкретнаго переживанья ихъ вызвавшего. Но заданіе его — лирика трагической нераздѣленной лю-

бви — очень трудна. Пафосъ его искрененъ, боль подлинна, человѣчески ему вѣришь. Но пафосъ его часто не заражаетъ, и боль не ранитъ.

Промерзало любовью сердце,
Но и любви больше нѣтъ...
...любви и вдохновенья больше
нѣтъ
Остались только пристальность
и честность, —

говорить поэтъ. Это не совсѣмъ такъ. Любви и вдохновенья въ книгѣ Манделштама сколько угодно. Есть и честность, т. е. искренность переживаній. Но художнической «пристальности», тщательно провереннаго мастерства еще нѣтъ. Все же умѣнье работать и отдѣлываться отъ прежнихъ недостатковъ позволяетъ надѣяться на будущее поэта.

На стихахъ С. Барта *) еще явнѣе, чѣмъ на примѣрѣ Ю. Манделштама можно показать несомнѣнное «человѣческой» и художественной цѣнности. Есть «поэты въ жизни», лишенные словеснаго поэтического дара, какъ можно представить себѣ существованіе людей, обладающихъ словесной стихотворной виртуозностью, не будучи поэтами. С. Бартъ вызываетъ невольную симпатію своимъ человѣческимъ обликомъ какъ онъ рисуется въ его стихахъ. Ему вѣришь, когда онъ восклицаетъ:

Привѣтъ отверженнымъ и чум-
нымъ
И нелюбимымъ никогда.

Онъ пишетъ странные стихи, гдѣ нѣтъ до конца выдержанной, безупречной не только строфы, но, кажется, даже строчки, и гдѣ

*) Юрій Манделштамъ. «Третій Часъ» Изд. «Парабола», 1935.

*) С. Бартъ. «Камни . Гниль... Варшава.

все же есть какое-то подлинное вдохновение.

Стихи Екатерины Тауберъ*) обнаруживают въ авторѣ искреннее чувство и извѣстную поэтическую культуру.

Одиночество каждой души,
Кто охватитъ тебя и измѣритъ?
День за днемъ, пролетая, спѣ-
шать
Въ чемъ нибудь навсегда разу-
вѣрить...

этимъ строками начинается сборникъ. Тяжесть стихъ разувѣренной славилла душу поэтессы.

Дологъ день на холодной землѣ,
Страшенъ день на безумье по-
хожий.

Она жалуется на

Глубокой обморокъ души,
Недѣли скуки, мертвой лѣны.

«Отъ счастья стиховъ не пишуть», — говоритъ поэтесса. Къ сожалѣнію, и «духъ унынія», столь естественный въ эмиграціи, одѣвая все сѣрымъ флеромъ тоже вредитъ поэзіи. Не оны ли мѣшаютъ ярче выразиться лирическому дарованію поэтессы?

Еще одинъ женскій сборникъ стиховъ «Полюсь» Маріи Вега — полная противоположность Е. Тауберъ, начиная отъ слишкомъ красиваго псевдонима до слишкомъ звучныхъ рифмъ. У г-жи Вега есть рѣкая въ наши дни полнокровность, темпераментъ. Эти стихи написаны до всякаго кризиса поэзіи. Г-жа Вега добросовѣстно и съ увлеченіемъ пишетъ какой-нибудь «Вѣнокъ Сонетовъ», не

считаясь ни съ еще непосильной для нея трудностью этой формы, ни съ ея «немодностью». Однако если посмотреть на даты подъ стихами Маріи Вега, то и въ нихъ можно найти слѣды парижской атмосферы: свойственный ей мажорный тонъ, отравленный эмигрантской «полюсью», уступаетъ модному минору, ея стихи становятся притушенными. Слово поэта не стѣсняется отступить отъ общепринятаго хорошаго тона. И все же лучшія вещи сборника тѣ, гдѣ она, оставаясь сама собой, пишетъ условные, иногда немногосалонные, стихи, не боясь срывовъ и порою, дѣйствительно, срываясь.

Не только изъ европейскихъ странъ доходятъ къ намъ книги стиховъ, неумолчно идетъ эмигрантская «перелючка поетовъ». То тамъ, то здѣсь завязываются узлы литературной жизни. Харбинскій сборникъ «Излучины» обнаруживаетъ у его участниковъ серьезность и вкусъ. Наибольше индивидуаленъ редакторъ его Валерій Перелѣшинъ. Горько ироническій тонъ его стиховъ звучитъ по своему и запоминается.

Подъ шляпы — отъ свѣта,
Въ подушки — отъ шума,
Отъ вѣтра и ночи —
Подъ воротники

Небездарна поэтесса Наталия Рѣзникова, да и всѣ участники сборника подають надежды. Пусть только не обольщаются они своей кажущейся литературной зрѣлостью. Въ сборникъ все же много еще ученическаго.

*) Екатерина Тауберъ «Одиночество». Изд. «Парабола», 1935

Въ заключеніе нашего обзора мы должны отмѣтить сборникъ

пражской поэтессы, несомнѣнно талантливой, вѣроятно, даже наиболѣе одаренной изъ начинающихъ *). Въ различныхъ центрахъ эмигрантской литературы сложилась своя жизнь со своими особенностями, вкусами и пристрастиями. Почему-то пражскіе поэты весьма отличны отъ парижскихъ и ихъ тенденціи очень несхожи. Вѣроятно въ этомъ много случайнаго; болѣе яркая индивидуальность какого-нибудь поэта или критика накладываетъ свой отпечатокъ на цѣлую группу, потомъ создается уже какая-то мѣстная традиція, своеобразный социальный заказъ. (То, въ чемъ Ходасевичъ упрекалъ «парижанъ», можетъ быть приложимо и къ поетамъ пражскимъ). Не оттого ли можно отмѣтить нѣчто общее въ такихъ, въ сущности противоположныхъ пражскихъ поэтахъ, какъ мало печатающийся теперь Вяч. Лебедевъ и Алла Головина. Это общее можно было бы назвать «имажинизмомъ». Но, перегружая свои стихи «образами», молодая поэтесса дѣлаетъ это легко и свободно. Вотъ ея Брюгге (казалось бы избитая, сугубо «поэтическая» тема):

Чинно звѣзды сторонятся въ небѣ,
И туманы, подколовъ вуали,
Насъ ведутъ туда, гдѣ черныи лебедь,
Поля мостомъ вдыхаетъ на каналѣ.
Городъ спитъ въ неотзвѣтчившихъ звонахъ,
Въ мѣдныхъ звукахъ — горестныхъ и чистыхъ —

*) Алла Головина «Лебединая Карусель». «Петрополисъ» 1935.

Темный городъ брошенныхъ влюбленныхъ
И съ маршрута сбившихся туристовъ...

Образы ея свѣжи и убѣдительны. Но есть въ такомъ «имажинизмѣ» въ сведеніи поэзии къ «образамъ», въ желаніи украсить міръ ихъ обиліемъ, невѣріе въ метафизическую реальность и жизни и искусства. Не потому ли такая поэзія немного театральна? Въ противоположность «парижанамъ» Алла Головина можорна по тону, мнѣе эгоцентрична, повернута «лицомъ къ міру», къ его богатству и разнообразію. Казалось бы при ея одаренности, книга должна была бы получиться цѣнная, радующая читателя. По плодамъ познается древо, но надо сказать, что «парижскіе» поэтические плоды, довольно блѣдые, чаше, порой тронутые червоточиной все же болѣе живые, неподдѣльные плоды, чѣмъ пражскіе. При всей яркой раскраскѣ стиховъ Аллы Головиной часто кажется, что это сусальное золото, театральныи румянецъ. Не есть ли это оправданіе критическаго «древа» Адамовича?

Въ сущности разница между взглядами Адамовича и Ходасевича (а также другихъ, отрицательно относящихся къ «парижскимъ» поэтическимъ настроеніямъ, критиковъ, напр., пражскаго проф. А. Бема) не столь велика. Разумѣется, Ходасевичъ не отрицаетъ ни значенія «человѣчности», ни оправданности въ поэзии темы смерти и распада. Разумѣется, и Адамовичъ не отрицаетъ необходимости поэтической «культуры». Разница, и существенная, только въ оттѣнкахъ, въ акцентѣ, падающемъ на то или другое. Акцентъ

Адамовича, эгоцентрической, зовущий к правдивости и самоуглублению, кажется оправданием, плодотворите в настоящую минуту поэзии, чѣмъ противоположный, зовущий к бодрости, разнообразію, повернутости лицомъ к міру и т. д. Какъ прозу, когда ей грозитъ опасность заблудиться въ хѣсу символовъ, обезкровиться въ отвлеченностяхъ, можетъ иногда спасти возвратъ къ быту, къ реальности, какъ для поэзии можетъ стать живительнымъ возвратъ къ внутренней реальности человѣческой души, пусть даже раздробленной, упадочной, «декадентской». Не потому ли въ отрывочныхъ жалобахъ, въ «нытьѣ» парижанъ больше «онтологичности», ощущения основныхъ сущностей жизни, чѣмъ въ талантливой и яркой книгѣ Головиной?

Въ послѣднюю минуту къ намъ

дошелъ третій выпускъ пражскаго сборника «Смитъ», выходящаго подъ общей редакціей А. Л. Бема. Въ сборникѣ 2 новыхъ имени: Евгений Гессенъ и Тамара Тукалевская. Полны искренняго чувства стихи Татьяны Ратгаузъ, хороши «Стихи о Гулливерѣ» Эмили Чергинцевой, особенно первое. Но наиболее интересны 3 стихотворенія Аллы Головиной. Всѣ три касаются темы смерти. Она разрабатываетъ ихъ въ своей обычной манерѣ. Но чѣмъ-то, въ напряженномъ стремленіи проникнуть въ потустороннее, найти для него образы — неожиданно напоминаетъ Рильке. Не все удалось ей въ ея трудномъ заданіи, но и неудачи въ этихъ стихотвореніяхъ цѣнятся ея прежнихъ удачъ и позволяютъ ждать отъ нея многого.

Мих. Цетлинъ.

Механизация безсознательнаго.

Среди многочисленныхъ пытокъ, какимъ подвергается художникъ въ современномъ мірѣ, едва ли не самая тяжкая — попытка съѣтомъ: мучимый ею подобенъ заключенному, у котораго въ камерѣ всю ночь горитъ непереносимо яркая электрическая лампочка. Директоръ парижской обсерваторіи недавно заявилъ, что не навидитъ поэзію, потому что она летитъ, и ему, человѣку науки, нельзя мириться съ поэтическою ложью. Пусть научное и художественное творчество вовсе и не должны враждовать между собой, но мировоззрѣніе художника и въ самомъ дѣлѣ трудно примирить съ мировоззрѣніемъ, осно-

ваннымъ на требованіяхъ одной науки. Таблица логарифмовъ столь восхитительно свѣтла, что потрясенный звѣздочетъ въ своей башнѣ подъ круглымъ колпакомъ уже анафематствуетъ мракобѣсовъ Гете и Шекспира. Цифропоклонникъ этотъ вовсе не одинокъ, очень только откровеннѣе и честнѣе другихъ, точно также считающихъ искусство плутовствомъ и поэзію шарлатанскою выдумкой. Новый Моисей спускается съ Синая и за его скрижаляхъ начертаны четыре правила. Правосудіе его немилосердно: дважды два и для художника — не три, не пять, но съ этой истиной, отвергающей другія истины ему дѣлать нечего, и

некуда от нея спастись. Остается призывание тьмы, — той тьмы, где уже не горит надъ тюремной койкой лампочка въ тысячу свѣчей, где вычислять нечего, где мѣрять нечѣмъ, где потухаетъ дневной, проникаемый для разсудка мѣръ и падаеъ плѣнный духъ въ довременный обморокъ сна, безумія, пола, жизни, ночи.

Путь это — старый, заново и всего глубже онъ намѣченъ не меньше полудорога лѣтъ тому назадъ когда и начинается по настоящему «наше время». Нѣмецкіе романтики неотступно всматривались въ ночное лицо міра, и его противоположеніе дню стало главной темой поэзии Тютчева. Молодого Гете Гердѣр научилъ познать міръ осязая, темной угадкой чувства, и еще во второй части «Фауста» зоркій Линкей слагаетъ свой гимнъ видному міру гудбойкой ночью. Вся литература, все искусство 19-го вѣка пронизаны этимъ мотивомъ ухода вглубь, въ область недоступную сознанию и потому неподвластную расчленяющему и взвѣшивающему разсудку. Опыты такого рода могли быть удачны или нѣтъ въ отношеніи индивидуальныхъ творческихъ возможностей, но вопросъ весь въ томъ, повторимы-ли они теперь, открытъ ли еще этотъ трудный подземный путь или, какъ столько другихъ, уже и онъ для художника заказанъ? Вѣдь и въ этотъ ночной міръ начинаютъ проникать силы, враждебныя искусству, вѣдь и въ немъ, чѣмъ дальше, тѣмъ болыше заставляютъ насъ усматривать готовые, необходимые установленные, механизмы, неизмѣнное дѣйствіе одинаковыхъ причинъ. Психоанализъ есть наиболѣе широко задуман-

ная и систематически проведенная попытка къ механическимъ функциямъ свести все «подсознательное» и все связанное съ нимъ: сподвижныя, любовь, неподчиненную разсудку душевную жизнь, мифотвореніе, художественное творчество. Психоанализъ всего послѣдовательнѣе выражаетъ стремленіе усматривать въ самомъ тайномъ маховыхъ колеса и передаточные ремни, распространяющееся все болыше въ современномъ искусствѣ и литературѣ. Художникъ принимаетъ снотворнаго, погружается во тьму, но и на самомъ днѣ своего сна онъ видитъ себя роботомъ и міръ — машиной.

Теорія Фрейда, гениальнаго психолога и психіатра, но посредственнаго философа, приобрѣли во всемъ свѣтѣ еще болѣе широкую славу, чѣмъ въ свое время френология Галля или физиогномика Лафатера. Многимъ писателямъ въ разныхъ странахъ показалось, что теорія эти чуть ли не впервые открываютъ имъ доступъ въ новый міръ, въ огромную область «подсознанія». На самомъ дѣлѣ этого, конечно, не случилось; искусство всегда имѣло доступъ въ этотъ міръ или, вѣрнѣе, всегда именно изъ этого міра исходило; случилось скорѣе обратное: безсознательное психоанализомъ было не открыто, а, такъ сказать, закрыто, то-есть прибрано къ рукамъ, подчинено разсудку и сознанию, — не на дѣлѣ, конечно, но по крайней мѣрѣ въ теоріи и въ тенденціи. Фрейдъ — послѣдній великій ученый всецѣло воспитанный въ научномъ мировоззрѣніи девятнадцатаго вѣка, и философъ его мысли, источникъ его вдохновенія всегда заключался въ томъ, чтобы принципъ детерми-

низма распространять на «подсознание» и далее уже причинностью, исходящей из этого подсознания, объяснить всю остальную человеческую жизнь. По сравнению с этим основным замыслом психоанализа, уже не так важно, какой именно рычаг пускает в ход причинно-следственную машину, похоть-ли власти, как у Адлера, или власть похоти, как у самого Фрейда и оставшихся ему верными учеников (особенно же и в этом пункте стоит один Юнг); важно не содержание понятия *Libido*, не панэротизм, сам по себе чуждый Фрейду, а лишь безошибочно-механическое действие безличной первопричины. Цель психоанализа одна: механизация бессознательного.

Характерно, что те литературные направления, которые не поняли, что именно открыл психоанализ и передали культу бессознательного, опираясь на фрейдово учение о нем — главное из них, французский «сверхреализм» — на собственном опыте, в своих писаниях осуществили то, чего добивается в более общем виде любезная нам теория. Бессознательное становится механическим, как только его пытаются использовать в широком виде, искусственно уклоняясь от той очеловечивающей, персонализирующей работы, какую совершает над ним нормальное сознание, и особенно сознание художника. Для «сверхреалистов» творчество — не акт: единственное усилие, ожидаемое от художника, от поэта — поддержание от всякого усилия, от всего, что он хотел бы от своего имени внести в свои сти-

хи. Стихотворение (которое, поэтому, предпочтительно писать прозой) должно быть лишь возможно более точной записью чего-то, что и так, само собой протекает, происходит в подсознании. Если мы с должным вниманием запишем сон или, еще лучше, отметая всякую мысль, ту смѣну образов, тот поток слов, что никогда не изсякает в нас, мы совершим все, требующее от поэта. В этом и заключается метод «автоматического письма», рожденный, как это признал главный теоретик сверхреализма Андрэ Бретон, произвольной исповяди пациентов Фрейда. Поэзия — в нас; надо позаботиться лишь о безрепятственном ее выделении. Когда сверхреалист берется за перо, он только дает исход нормальной функции подсознания и естественному отращиванию организма. Одним словом, как по другому поводу сказал Барресс: «Il fait des vers comme on fait de l'albumine».

Нет надобности здесь перечислять все недомыслия этого учения. Практически, главное недомыслие в том, что сверхреалист предполагает свое подсознание и поток слов, возникающий на его пороге, невротическими, действительными, свободными от всякой литературы, тогда как у любого литератора они, наоборот, полны реминисценций и заимствований. Вместо творчества получается у него сопоставление готовых материалов, оригинальное лишь тем, что материалы эти никак не организованы, не упорядочены и значить попросту не усвоены. Принципиально еще важнее другая ошибка. отрицание

наличія во всякомъ искусствѣ цѣлеустремленности, плана, замысла, измѣняющихся или даже исчезающихъ, быть можетъ, въ процесѣ осуществления, но безъ которыхъ осуществлять было бы нечего и оказался бы недостижимъ конечный результатъ. Одинаково невѣрно считать художественное творчество пассивной записью внушений, идущихъ изъ подсознанія, изъ интуиціи (какъ у Кроче), изъ вдохновенія (какъ во многихъ романтическихъ теоріяхъ) и разсматривать его, какъ произвольную игру автономнаго, самосозерцающаго разсудка. Оба заблужденія внутренне однозначны, оба въ наше время почти одинаково распространены, и оба находятъ себѣ опору въ мировоззрѣніи психоанализа, для котораго только и есть, что темныя воды подсознанія и на нихъ поллавки надѣленныхъ разсудкомъ «я», а для представлений о творческомъ актѣ, какъ о сотрудничествѣ личности съ до-личными или надличными силами, уже не остается никакого мѣста.

Въ самомъ дѣлѣ, что же видятъ психоанализъ въ литературѣ? Только то, что не составляетъ творческаго ея ядра, котораго какъ разъ и невозможно разсматривать, пользуясь методами психоанализа. Изъ «Эдипа Царя» Фрейдъ вычиталъ свое ученіе о «комплексѣ Эдипа», но независимо отъ оцѣнки этого ученія можно смѣло сказать, что если бы Эдипъ о немъ зналъ, онъ не былъ бы трагическимъ героемъ и Софоклъ не могъ бы написать трагедіи. Исходя изъ теоріи комплексовъ, можно развѣ лишь сочинить нѣчто вродѣ новой Орестейи американскаго драматурга О'Нила,

гдѣ всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ надлежало бы поухать полѣвиться въ Вѣну, но гдѣ трагедіи нѣтъ, потому что нѣтъ личности, нѣтъ грѣха, нѣтъ очищающаго ужаса и высокаго страданія. Художественное произведеніе, согласно психоанализу, существуетъ для того, чтобы въ скрытой формѣ дать выходы тайнымъ желаніямъ автора, отождествляющаго себя со своимъ героемъ; изслѣдователю остается героя и автора разоблачить, показать истинную пружину, пускающую въ ходъ обоихъ и въ конечномъ счетѣ общую для всѣхъ. Но въ томъ то и дѣло, что на составныя части такого рода разлагается безъ остатка лишь мнимое художественное произведеніе. Одинъ нѣмецкій критикъ весьма остроумно указалъ, что изъ психоанализа, при умѣломъ употребленіи, можно было бы сдѣлать отличное средство для распознаванія плохой литературы. Та литература именно и плоха, гдѣ авторъ всего лишь осуществляетъ въ вымыслѣ то, что въ жизни ему не дано осуществить и тѣмъ же самымъ позволяетъ заняться своему читателю; такъ построены бульварные романы, пользующіеся успѣхомъ фильмы; настоящая литература строится не такъ. Въ ней дѣйствительность качественно измѣнена, передвинута въ другое измѣненіе, а не просто украшена, подслащена и перепродана намъ за умѣренную плату. Объяснить то, что происходитъ въ настоящей литературѣ, психоанализъ не можетъ; изъ понятій, которыми онъ располагаетъ, развѣ лишь «сублимация» пригодилась бы для этого, но и сублимация означаетъ у Фрейда лишь обманчивое повышение ранга, украшающее пере-

именование — похоть называется любовью, но отъ этого не перестаетъ быть похотью — т. е. по просту камуфляжъ, тогда какъ вѣдь требуется понятие вродѣ преображенія, пресуществленія — похоть, ставшая любовью уже не похоть, — а такого понятія у психоанализа нѣтъ и не можетъ быть.

Фрейдъ сказалъ ясно: «у насъ нѣтъ другого способа поборотъ наши инстинкты, кромѣ нашего разсудка»; какое же мѣсто ослѣдится тутъ для такой противоразсудочной вещи, какъ преображеніе? Однако безъ преображенія искусства нѣтъ, и его не создать одними инстинктами или разсудкомъ. Потемки инстинкта, разсудочное «просвѣщеніе», только это видѣть и Толстой, когда писалъ «Власть тьмы», но художественный его гений подсказалъ ему все же подконецъ неразумное, хоть и не инстинктивное покаяніе Никиты. Искусство живетъ въ мѣрѣ совѣсти, скорбе, чѣмъ сознанія; этотъ мѣрѣ для психоанализа закрытъ. Психоанализъ только и знаетъ, что охотиться за инстинктами, нащупывать во тьмѣ подсознанія все тотъ же универсальный механизмъ. Основное занятіе его — «срывать всѣхъ и всяческихъ масокъ», но это не дѣло искусства и Ленинъ напрасно приписывать его Толстому, хотя и понятно, почему правилось оно Ленину. Художникъ не обязанъ всякую маску уважать, но онъ не можетъ все, кромѣ разсудка и инстинкта, объявить маской. Въ одной изъ недавнихъ своихъ работъ Фрейдъ не только приписалъ Достоевскому желаніе отцеубійства, осуществленное черезъ посредство Смердякова и Ивана Карамазова, но и земной поклонъ

старца Зосимы Федору Павловичу объяснить какъ бессознательный обманъ, какъ злобу, прикинувшуюся смиреніемъ. Изъ этихъ двухъ «разоблаченій», первое во всякомъ случаѣ не объясняетъ ничего въ замыслахъ Достоевскаго, какъ художника, второе обличаетъ полное непониманіе поступка и всего образа старца Зосимы. Психоанализъ безсиленъ противъ «Братъевъ Карамазовыхъ». Горе искусству, расправа съ которымъ оказалась бы для него легка.



Нельзя отрицать: современная литература, современное искусство приблизились къ требованіямъ психоанализа. Давно уже они дышатъ тѣмъ для всякаго творчества ядовитымъ воздухомъ, въ которомъ онъ только и можетъ процвѣтать. Вольный вымыселъ замѣняется все чаще или менѣе искусно камуфлированной дѣйствительностью. Отказъ отъ преображенія міра дѣлаетъ искусство пронцаемымъ для разсудка и пригоднымъ для психоаналитическаго разъятія. Но главное сходство сказывается въ пониманіи чловѣка, не какъ цѣльной личности, а какъ случайнаго агрегата тѣхъ или иныхъ ли откуда не выросшихъ, ни къ какому стержню не прикрѣпленныхъ свойствъ. Для психоанализа нѣтъ личности, потому что нѣтъ выбора и свободы воли, потому что ядро чловѣческой особи — безличная снта, дѣйствующая во всемъ чловѣческомъ родѣ и даже во всякомъ живомъ существѣ, потрму, наконецъ, что безличны и единственны антагонистъ этой силы, чловѣческой разсудокъ. Такому пони-

маню шаловѣна отвѣчаютъ въ литературѣ и въ искусствѣ механически построенныя дѣйствующія лида, механически воссозданный, а не человѣческой душою отраженный миръ. Всѣми силами художники стремятся вырваться изъ такого мира, но чѣмъ дальше, тѣмъ ему оно становится труднѣй, даже если они отворачиваются отъ всего внешнего и смотрятъ только внутрь себя. Даже если они отвергаютъ день ради ночи и ночи.

Воображеніе такихъ живописцевъ, какъ Чурлянистъ, Руо или Шагалъ, еще нинушаетъ имъ видѣнія, неподсудная трибуналу ежатаематики и естественныхъ наукъ, какъ и психологін, чернающей изъ того же источника свои закѣпы; но воображеніе новѣйшихъ «сверхреалистовъ» — Кирико, Микса Эрнста, Сальвадора Дали — не подсказываетъ имъ ничего, кромѣ матеріаловъ такъ или иначе использованныхъ уже воспитанниками на психоанализѣ разсудкомъ: оттого ихъ сны и оборачиваются кошмаромъ, что въ какіе бы темные углы они ни забрались, вездѣ въ ту же минуту зажигается опять ненавистная электрическая лампочка. О нихъ, въ противоположность формулѣ сенсуализма, можно сказать, что зѣ ихъ чувства нѣтъ ничего, чего бы раньше не было въ разсудкѣ; въ ихъ рисункахъ и картинахъ, какъ въ стихахъ поэтовъ, примыкающихъ къ нимъ, — не избыточный хаосъ, способный родить жизнь и свѣтъ, а сумбуръ разрушеннаго города или разорваннаго снарядомъ тѣла. Даже у такого глубоко одареннаго (съ теоріей сверхреализма не связаннаго) волшебника и сновидца,

какъ Марсель Жуандо, чувствуется что-то марочитое, насильственное и застывшее: окаменѣлая судорога, подавленный крикъ; разсудочный умыселъ превратилъ въ соляные столбы его людей съ вычурными именами, и вездѣ въ его «визитахъ» — все тѣ же гальванизированные неживыя существа — священные изваянія и восковыя куклы, — какъ тѣ манекены, что выставлены въ окнѣ на площади, въ городкѣ Шаминадурѣ, у старой торговли Прюдансъ Отшомъ. Но всего разительнѣй, пожалуй, перемѣны, о которыхъ идетъ рѣчь, сказались въ творчествѣ и судьбѣ Лауренса. Пансексуализмъ Розанова (котораго Лауренсъ не звалъ, и котораго, если-бы звалъ, онъ можетъ быть не понималъ) былъ погруженіемъ въ утробную язву чадороднаго, добраго, всепоглощающаго, но и всеогрѣвующаго пола. Пансексуализмъ Лауренса бытъ можетъ хотѣлъ бы быть тѣмъ же, или во всякомъ случаѣ — благословеніемъ жизни, обожествленіемъ начала, возвращающаго человѣку природную цѣлостность, утраченную имъ; ю этимъ онъ стать не сумѣлъ; тригическая неудача «Любовника эдди Чаттерлей», послѣдней и любимой книги Лауренса, переписанной имъ наново три раза, заключается въ томъ, что славословіе искони единой, нераздѣльно тѣлесной и душевной человеческой любви само собой, помимо воли автора подмѣняется тутъ предписаніями на предметъ нормальнаго функционирования полового механизма.

Какъ это бываетъ часто, тѣ же самыя разрушительныя силы, что только отразились на искусствѣ многихъ, будучи ему помѣхой, ис-

назвие его направление и смысл, все же выразилось в искусстве одного: из трагедий творчества стали трагедией, выраженной в творчестве. В области расплывчатой личности и разложения романа, зототь один — Марсель Прусть; в области механизации безсознательного его зовут Франц Кафка. Этогь нѣмецкїй еврей изъ Прии умерь сорока одного года десять лѣтъ тому назадъ. Писанїя свои, кромѣ немногихъ, изданныхъ при жизни, онъ передъ смертью просилъ сжечь, но его душеприказчикъ и лучшїй другъ, извѣстный романистъ Максъ Бродъ, просьбу эту исполнить не рѣшился. Годъ за годомъ стали печатиться странная, ни на что другое не похожая книги и въ совокупности составили одно изъ самыхъ изумительныхъ явленїй современной литературы. Въ Германинıи шлобдились лѣтъ ихъ предписано замалчивать; въ Европѣ ихъ еще только начинаютъ узнавать. Оцѣнить ихъ въ переводѣ будетъ трудно, такъ какъ первое ихъ качество — необыкновенно четкїй, прозрачный, музыкальный, классически спокойный, мастерски отточенный языкъ, съ помощью котораго только и можно было передать все то никогда еще не выраженное, безнадежно — темно и конечно непередаваемое до конца, что заключено, какъ ночная тьма въ хрустальный сосудъ, въ необыкновенныя эти книги. Будь онѣ написаны въ сколько-нибудь романтическомъ, украшенномъ, риторически взволнованномъ стилѣ, ихъ просто нельзя было бы читать. Простота и ясность вышнннго покрова здѣсь только и дѣлаютъ допустимой, но зато и подчеркиваютъ вдвойнѣ ни съ чѣмъ

не сравнимую внутреннюю странность.

Странность эта происходитъ не изъ какой-нибудь предвзятой манеры, не изъ суетнаго исканїя оригинальности, а изъ особаго воспрїятїя мїра, свойственнаго Кафкѣ, до конца сросшагося съ самымъ его существомъ. Издатель одного изъ его трехъ неоконченныхъ романовъ, которому Бродъ далъ заглавїе «Америка», такъ излагаетъ его содержание: «Юный школьникъ Карлъ долженъ вследствие неприятности, стращающей съ нимъ, покинуть родительскїй домъ и Европу. Безпомощный, ни за кого не могущїй положиться, кромѣ себя, онъ узнаетъ богатый и пролетарскїй Нью-Йоркъ, бродягетя лифтбоємъ въ большой госпїницѣ, затѣмъ слугою сомнительныхъ господъ и наконецъ выбирается на прямую дорогу благодаря неизмѣнной своей порядочности». Объ этомъ резюме слѣдуетъ сказать, что оно одновременно и вполне точно, и совершенно ложно. Вышнне все происходитъ именно такъ, какъ въ немъ указано, но внутреннее существо книги самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчитъ вышнннму ея содержанию. Всѣ отнюдь не фантастическїя событїя, о которыхъ такъ спокойно и ясно рассказываетъ Кафка, на самомъ дѣлѣ призрачны, обладаютъ непозной реальностью сновидѣнїй; имъ всегда чего-то не хватаетъ, чтобы напоминать жизнь, какигь то простѣйшихъ чувственныхъ качествъ: то кажется, что мы присутствуемъ на концертѣ, гдѣ слышннтся какъ ни въ чемъ не бывало трель на нѣмой клавиатурѣ, то мы слышимъ разговоръ, но губн

собесѣдниковъ неподвижны и вѣсто глазъ у нихъ провааты въ тѣмъ. Всѣ люди, столь казалось бы обыкновенные, такъ просто обрисованные, мы чувствуемъ, что они не отбрасываютъ тѣней, что они могутъ пройти сквозь стѣну или растаять въ лучѣ солнца. Чѣмъ дальше мы продвигаемся въ чтеніи романа — это впечатлѣніе достигаетъ почти невыносимой силы въ послѣдней главѣ «Америки» — тѣмъ больше убѣждаемся, что передъ нами развертывается сложная аллегорія, которой вотъ, вотъ, мы угадаемъ смыслъ. Этотъ смыслъ, онъ намъ нуженъ, мы его ждемъ, ожиданіе это нарастаетъ съ каждою страницей, книга становится похожей на кошмаръ за минуту передъ пробужденіемъ, — но пробужденія такъ и не будетъ ко конца. Мы обречены на безмыслицу, на безвыходность, непробудную путаницу жизни; и въ мгновенномъ озареніи вдругъ мы понимаемъ: только это Кафка и хотѣлъ сказать.

Жизнь — кромѣшная тѣма; и опять, еще рѣшительнѣй, чѣмъ у кого-либо, не тѣма рожденія, пола, творческаго хлоса, а тѣма обреченности и смерти. Кафка ушелъ въ безсознательное до границъ безумія и тамъ увидѣлъ одно: вѣчный приговоръ. Герой «Америки» приговоренъ къ одиночеству и бездомности, герой «Замка» къ неумѣнно выразиться, найтись, сказаться, герой «Процесса» къ безсходному страху суда и наказанія. Съ еще болѣе потрясающей силой, чѣмъ въ трехъ романахъ, это выражено въ нѣкоторыхъ изъ отрывковъ, собранныхъ подъ заглавіемъ «На постройкѣ китайской стѣны», особенно въ «Размысленіяхъ собла-

ки», гдѣ раскрыта тиета мысли и безпредметность знанія и въ страшномъ разказѣ «Постройка», ведущемся въ первомъ лицѣ отъ имени невѣдомаго животного, спасающагося въ хитроумномъ лабиринтѣ вырытой имъ норы отъ смертельной опасности, которая все равно его достигнетъ. Всѣ книги, всѣ замыслы Кафки сводятся къ одному: показать одновременно безмысленность и неизбежность тяготящаго надъ человѣческимъ бытіемъ закона. Человѣкъ, по страшному его слову, гщетно бьется абомъ—о собственннй лобъ. Спасенія нѣтъ. Ощущеніе приближающагося удущья, какъ у заживо погребеннаго, проснуващагося въ гробу, никогда еще не было передано съ такой силой, какъ въ этихъ прохладно написанныхъ, вѣжливыхъ, аккуратныхъ книгахъ. Самое искусство только для того и существуетъ, чтобы открыть западню существованія. Оно не лжетъ; оно иносказаніями говоритъ о тайнѣ міра, и это тайна не свободы, а необходимости. «Наше искусство, — сказалъ Кафка, — ослѣпленность истинной: только свѣтъ на отшатнувшемся перекошенномъ лицѣ — правда; больше ничто».

Художественный даръ Кафки былъ таковъ, что онъ позволялъ ему воплотить въ искусствѣ до конца его нечеловѣчески односторонній и глубокий опытъ. Но изъ какого отчаянія родилось это искусство и какое грозное заключение въ немъ предостереженіе! Глубже, чѣмъ кто-либо погрузился Кафка въ ночной міръ и не творческую свободу онъ тамъ ищетъ, а тотъ же самый механически непреложный, математически расчисленный законъ, отъ кото-

раго искусство нашего времени съ такимъ упорствомъ и съ такимъ трудомъ давно уже ищетъ извѣленія. Отчего это случилось? Не оттого-ли, что механическая причинность такую власть получила не только надъ умомъ, но и надъ самимъ воображеніемъ художника; что ее одну онъ только и обреченъ отнынѣ видѣть, даже въ безсознательномъ, даже въ царствѣ сновидѣній и ночи. Кафка, благодаря полубезумному своему гению, только яснѣй другихъ намъ показалъ то, что тяготѣетъ и надъ этими другими. Онъ подчинился одному своему, въ извѣстномъ направленіи безошибочному инстинкту; другіе захотѣли дѣйствовать «принципиально», исходя изъ такъ или иначе обработанной (большей частью психоанализомъ) идеи того, что для Кафки было непосредственно даннымъ, глубоко пережитымъ, — и оттого получили у нихъ, въ результатъ ме-

ханизации безсознательнаго, уже не искусство гибели, а гибель самаго искусства. Иррационализмъ, возведенный въ абстрактный принципъ, можетъ оказаться худшей формой рационалистическаго заблужденія. Искусство задыхается въ мѣрѣ, подвластномъ упрощенно - научному, арифметическому мышленію, но никакого притока воздуха не получить оно отъ того, что эта арифметика будетъ примѣняться къ иррациональнымъ даннымъ, вмѣсто рациональныхъ. Символь современной цивилизаціи не только машина, но и прикрѣпленный къ этой машинѣ дикарскій или ребяческій фетишь. Если отъ слишкомъ сильной электрической лампочки у художника начинаютъ болѣть глаза, это не значитъ, что ее нужно разбить, это значитъ, что изъ тюремной камеры надо искать выхода къ солнечному свѣту.

В. Вейдле.

Профессоръ Г. Вернеръ.

Начало нашихъ отношеній было скорѣе мало благоприятнымъ. «Подвижникъ», посвятившій себя сохраненію нашей зарубежной молодежи въ національномъ духѣ, поручилъ мнѣ, если не ошибаюсь, въ 1925 г., выхлопотать для бѣженцевъ двѣ стипендіи въ Женевскомъ университетѣ. Я отправился къ ректору, профессору государственнаго права Г. Вернеру, съ которымъ до того не было знакомъ.

Онъ принялъ меня, несомнѣнно какъ всѣхъ, весьма предупредительно; пожалѣлъ о томъ, что просьбу мою не можетъ испол-

нить, за отсутствіемъ у университета на то средствъ; если бы они были, то слѣдовало бы отдать предпочтеніе молодымъ швейцарцамъ, вернувшимся раззоренными изъ Россіи. На этомъ мы разошлись и я ушелъ, не испытывая горечи по поводу неудачи моей миссіи. На меня даже произвелъ отрадное впечатлѣніе человекъ, имѣвшій мужество нелицемѣрно, хотя и вѣжливо, отказать въ просьбѣ.

Послѣ такого, казалось бы, мало удачнаго начала знакомства, наши встрѣчи участились. Вернеръ заинтересовать меня, я

стаждъ приспѣвать и прислушиваться къ нему ближе. Въ немъ не было и тѣни сурового, научнаго кальвинизма; онъ производилъ впечатлѣніе скорѣе молодого, жизнерадостнаго, лодваго юмора, студента. Месяцъ порадила секунда, которымъ онъ горѣлъ къ каждому нуждающемуся; то была не туманная чувствительность ко всему отвлеченному человечеству, а непреодолимая потребность помочь каждому данному лицу, и чѣмъ слабѣе и беззащитнѣе былъ обездоленный, тѣмъ сильнѣе было это желаніе.

Не располагая крупнымъ состояніемъ, онъ отдавалъ, однако, все свое время самымъ разнообразнымъ учрежденіямъ, въ которыхъ всюду не только былъ на высотѣ положенія, но и вносилъ новую струю, оживляя дѣло. Кромѣ того, не было сложнаго юридическаго и политическаго вопроса зъ кантонъ и даже въ странѣ, относительно коего не было запрошено его мнѣніе, его совѣтъ.

Не моя задача перечислять всѣ области дѣятельности, которымъ онъ безвозмездно удѣлялъ свое время и силы. Русскому читателю болѣе цѣнно знать владѣе, впечатлѣніи Вернеромъ въ роли предсѣдателя административнаго совѣта международнаго имени Нансена Присутствія по бѣженскимъ дѣламъ, въ удовлетвореніе нуждъ. Его предшественники, пользовавшіеся міровою славой, держались уже въ силу географическихъ условий пребыванія довольно далеко отъ насъ и давали направленіе дѣлу, преимущественно основываясь на докладахъ управляющаго дѣлами Вернеръ, проливая въ самой Женевѣ,

въ, сразу принимая непосредственное участіе въ руководствѣ дѣломъ. Онъ ввелъ совѣстные доклады заботливыхъ отдѣльными отраслями, на которыхъ они излагали свое мнѣніе по поводу каждаго изъ затронутыхъ вопросовъ. Бѣженцы всегда имѣли доступъ къ проф. Вернеру и уходили неизвѣнно очарованные и ободренные. Они чувствовали, что имѣли дѣло съ человекомъ, близко принимавшимъ къ сердцу горькую ихъ судьбу. На засѣданіяхъ правленія и финансовой коммисіи онъ зачастую былъ «адвокатомъ» просителей. Эта исключительная способность входить въ положеніе человека объяснилась любвеобильнымъ его сердцемъ и чуткимъ умомъ, не уступающимъ сердцу въ проникательности. Всегда готовый всюду придти на помощь, онъ старался предварительно ознакомиться съ положеніемъ и убѣдиться въ томъ, что было бы целесообразнѣе предпринять. Такъ, усмѣленно по назначеніи Вернеръ отправленъ въ Сирію осмотрѣть на мѣстѣ размѣщеніе на землѣ армянскихъ бѣженцевъ Русское Общество Краснаго Креста сохраненіемъ правъ юридическаго лица обязано его изобрѣтательности, прибавкою къ наименованію двухъ словъ «старая организація»

Сдѣла, оставленный Вернеромъ въ сердцахъ бѣженцевъ, доказываетъ ишинъ разъ, что самое главное въ человекѣ, это то, что онъ есть — его характеръ. Именно потому оказались такъ много тѣхъ, кто искренне омыкнають преждевременный уходъ Вернера, подлиннаго праведника

К. Гулькевичъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Собрание сочинений И. А. Бунина, т. IV. Изд. Петрополисъ. Берлинъ. 1935.

Въ этихъ двухъ, вышедшихъ послѣдними, томахъ находятся произведенія всѣмъ хорошо извѣстныя, признанныя, относящіяся къ тому дореволюціонному моменту дѣятельности Бунина, когда его мастерство уже приближалось къ высшей точкѣ своего развитія (Господинъ изъ Санъ-Франциско, Легкое Дыханіе и др.), наряду съ болѣе ранними. Читая ихъ вмѣстѣ, убѣждаешься, до какой степени неуклоненъ и ровенъ была творческой путь Бунина; въ свѣтъ позднѣйшихъ вещей все же видна художественная основа раннихъ; становится очевиднымъ гематическое единство всего, что онъ писалъ. Всѣ его вещи — и тѣ, что казались когда-то «бытовыми очерками», и нынѣшнія, подлинныя поэмы въ прозѣ, — въ сущности, вариации на одну, толстовскую, сказалъ бы я, тему, — жизни и смерти. Въ V-омъ томѣ есть двѣ вещи, стоящія, какъ можетъ показаться на первый взглядъ, особнякомъ: Старуха и Отто Штейнъ. Если не ошибаюсь, въ свое время (1916 г.) онѣ, коротенькія, «безсюжетныя», не обратили на себя вниманія. Но онѣ поразительны меткостью, безошибочностью, достигаемыми путемъ словеснаго вышениія, по силѣ и совершенству равными гоголевскому, изображенію совсѣмъ особаго, не-«гоголевскаго», вида пошлости: пошлости не обывательской, убогой, автоматической, животной жизни, а, такъ сказать, «культурной»; пошлости того, что почитается возвышающимся надъ «быданствомъ». Въ этомъ отношеніи съ обѣими бунинскими зарисовками можно сопоставить только нѣкоторыя мѣста изъ «Что такое искусство» оперный спектакль, перечень «поэтическихъ» темъ и словъ Лишнее доказательство духовнаго сродства Толстого и Бунина: одинаковая зоркость, непогрѣшимое чутье всякой фальши, условности, вѣдшей красоты и одинаковая сила ненависти и отвращенія ко всему этому. У обоихъ это связано съ идеейной темой ихъ раздумій, тѣмъ таинственнымъ, невыразимымъ, что составляетъ настоящую, неподвластную Смерти, основу жизни, ея суть и ея правду. Толстой эти раздумья привели къ руссоистскому культу «простоты» и къ безрелигиозному морализму — и онъ старался увѣрить себя, что въ этомъ состоитъ приносящая успокоеніе мудрость. Бунинъ въ этомъ требовательнѣе и, следовательно, метафизически, правдивѣе Толстого

П. Биццлли.

Донъ Аминадо. Нескучный Садъ. Изд. «Домъ Книги». Парижъ, 1935.

Всякая книга, книга стиховъ въ особенности, часть жизни и души человѣка, ее создавшаго. Напоминаю объ этой банальной истинѣ, чтобы подчеркнуть: никакая критика невозможна, если смотрѣть только на страницы книги, на слова и сочетанія словъ или даже на мысли, ими выраженные; необходимо все время вглядываться въ лицо человѣка, за словами и мыслями стоящаго, сквозь нихъ догадываться о немъ, пытаясь понять, почему и отчего онъ написалъ тѣ или другія строки. Только при этомъ можно съ нѣкоторой увѣренностью опредѣлить, какія строки и страницы болѣе удачны, какія менѣе; и... не судить книгу, ибо критика не есть судъ (это очень важно, что она не судъ!), а сказать о ней, что она такое. Эта человѣко-литературная критика одна интересна. О той-же литературѣ, за которой не живить живой образъ, лучше не писать совѣтъ, подождать.

Читатели тоже, хотя бессознательно, ищутъ цѣльный обликъ писателя. Но часто создаютъ себѣ невѣрный. Кажется, это случилось съ поэтомъ Донъ-Аминадо. Эмиграція привыкла, за 15 лѣтъ, встрѣчать, развертывая газету, его остроумныя стихотворныя строки; и не напрасно считаетъ, что онъ, какъ юмористъ, незамѣнимъ. Но... кто онъ, по существу? Юмористъ-ли только? Я отвѣчаю — нѣтъ; но почему-же его сущность такъ мало проявляется въ его писаніяхъ, и какъ ее опредѣлить? Поэтическая лирика, лирическая сатира? Все не точно, лучше примѣромъ. У насъ тѣма кандидатовъ въ современные Лермонтовы, еще больше въ Феты; кандидатовъ въ современные Некрасовы — ни одного. Донъ-Аминадо былъ когда-то «задуманъ» (если можно такъ выразиться) — какъ поэтъ некрасовскаго типа. Трудно сказать, исполнилъ ли бы онъ себя «задуманнаго» при другихъ условіяхъ, или все-таки нѣтъ; во всякомъ случаѣ, при данныхъ, не исполнить. Пожалуй, онъ и самъ это знаетъ. Поэтому, у него, въ тѣхъ строкахъ, гдѣ онъ вдругъ забываетъ, или, отъ усталости, не хочетъ «смѣшнить», слышится особая, вѣчно-человѣческая грусть, — «грусть-тоска», какъ поется въ русской пѣснѣ. Читатели ничего этого не видятъ, да и не заботятся. Да, можетъ быть, и правы, не заботясь: они получаютъ отъ Донъ-Аминадо все, чего ждутъ и что привыкли получать. Къ тому-же и самъ поэтъ какъ будто хочетъ быть обращеннымъ къ читателямъ именно данной стороною своею, заботливо прикрывая другое въ себѣ. Дѣлаетъ онъ это намѣренно, или, теперь, уже невольно? Не знаю. При малѣйшемъ вниманіи многое можно открыть въ стихотвореніяхъ «Нескучнаго Сада», даже въ самомъ заглавіи книги. О какомъ садѣ рѣчь? О не скучномъ, о веселомъ садѣ, сборникѣ забытыхъ стиховъ? Или о садѣ въ той волшебной странѣ, гдѣ живетъ сердце поэта, гдѣ... — но какъ рассказать это? —

И снѣжный пралъ, и блескъ слюды,
И паркъ Петровско-Разумовскій,
И Патриаршіе Пруды,
И на облупленныхъ карнизахъ,
На тускломъ золотѣ церквей,

Зобастыхъ сѣрыхъ, бѣлыхъ, сизыхъ
 Семья арбатскихъ голубей.

Или еще, о той же странѣ. Снова: «какъ рассказать?» но поэтъ все-таки кое-что рассказываетъ:

...Апрѣльскій холодъ. Сѣрость. Облака
 И комъ земли, изъ-подъ копытъ летящій,
 И этотъ темный взглядъ коренника
 Испуганный, и влажный, и косящій...
 О помню, помню! Рывкнулъ паровозъ,
 Занало дятлой, копотью и дымомъ,
 Тѣмъ запахомъ, волнующимъ до слезъ,
 Единственнымъ, роднымъ, неповторимымъ..

Стихотвореніе это, «Уздная сирень», одно изъ очень выдержанныхъ въ тонѣ. Другія зачастую обрываются неожиданнымъ, прозаичнымъ «смѣшнымъ» словомъ, не всегда и удачнымъ. Боюсь, что теперь этотъ штемпель «смѣшного слова» кладется уже невольно, по привычкѣ, по какому-то бессознательно-воспринятому долгу. Обстоятельства!

Обстоятельства — серьезная вещь, не будемъ къ ней легко относиться. Только зеленая юность, не понимающая реальности, можетъ еще крикнуть: «не къ обстоятельствамъ приспособляться, а обстоятельства къ себѣ приспособлять» И только во снѣ можетъ возникнуть дерзкій вопросъ: а что если съ ними не считается? На яву-же мы всѣ склоняемъ голову передъ силой обстоятельствъ. А сила ихъ, сегодня, для русскихъ эмигрантовъ, особенно велика. Гдѣ ужъ гдѣ разбираться, какъ изъ насъ кто «задуманъ»? Счастливы сумѣвшій остаться хоть приблизительно въ своемъ ремеслѣ. Донъ-Аминадо изъ этихъ рѣдкихъ счастливицевъ. Ему даже повезло, и своего «везенія» онъ вполне достоинъ. Онъ оказался нужнымъ, т. е. вотъ эта его сторона, злободневный юморъ, или потка сантиментальности, отъбѣгающая настроеніямъ, блестящее, лорю, остроуміе, при способности къ стихосложенію удивительной. Въ стихахъ его чувствуется даже мастерство, что, пожалуй, ужъ роскошь, которую не всѣ могутъ иметь. Способность-же писать стихи легко и быстро дала ему возможность исполнять вѣчные условія задачи, — писать постоянно, писать каждый день. Чутко понялъ стихотворецъ и внутреннія условія этой принятой на себя задачи. его юморъ нигдѣ не переходитъ въ сатиру; онъ остороженъ и никого не ранитъ. Какъ далеко онъ отъ длинныхъ, гяелотонскихъ, часто неуклюжихъ, но сильныхъ обличеній Некрасова, или отъ Гоголевскаго: «горькимъ смѣхомъ монмъ посмѣюсь!»

Обстоятельства? Повторяю: утверждать, что и при другихъ обстоятельствахъ Донъ-Аминадо не былъ бы на томъ-же амплудъ въ какой-нибудь «Рѣчн» — я не могу съ полной увѣренностью. Это лишь моя догадка, что онъ не вмѣщается въ то, что сейчасъ дѣлаетъ. А если такъ, если «обстоятельства» принуждаютъ его все время какъ бы

затемнять или отстранять главную сущность свою и своего таланта, — то скажу прямо: это даромъ не проходитъ. Какъ бы ни легко писались стихи, и ни легко доставался благодушный, невинный юморъ, — длительная непрерывность такой работы перерождаетъ писателя. Отъ себя «задуманнаго», отъ собственныхъ возможностей, онъ все дальше, и возвратъ нѣтъ.

Это, по моей догадкѣ, Донъ-Аминадо тоже знаетъ. Отсюда, вѣдь, и «грусть-тоска», слишкомъ помятая.

Донъ-Аминадо не одиакъ. Кто же встрѣчалъ того или другого человека-писателя, даже изъ молодыхъ, очень серьезно «задуманнаго», съ блестящими данными, и —, по нашимъ обстоятельствамъ, ищущаго утвердиться на «холодномъ» ампула? Найдя, онъ его добросовѣстно выполняетъ и незамѣтно перерождается.

Не только упрекать нельзя такихъ людей-писателей, ихъ и жалѣть нельзя: некому жалѣть, все мы такіе же, все подъ обстоятельствами. Позавидовать, развѣ, тѣмъ, къ кому они, какъ къ Донъ-Аминадо, милостивѣе. все-таки своимъ ремесломъ заняты.

Но, конечно, бываютъ минуты: «посмотришь съ холоднымъ вниманіемъ вокругъ», и подымеся что-то вродѣ досады, досадливой тревоги: и за Донъ-Аминадо, и за другихъ; за все цѣнное, зря пропадающее. И куда оно, и зачѣмъ пропадаетъ?

Антонъ Крайній.

Мих. Осоргинъ. Книга о концахъ. Романъ. Изд. «Петрополисъ», 1935.

Новый романъ Осоргина является продолженіемъ его же «Свидѣтеля Исторіи». Это — романъ-хроника, рядъ эпизодовъ изъ жизни революционеровъ послѣ неудачи движенія 1905-6 гг. Изъ отдѣльныхъ, вѣдше почти несвязанныхъ главокъ, былъ составленъ и первый, до сихъ поръ остающийся лучшимъ изъ романовъ Осоргина, — «Сивцевъ Вражекъ».

Въ этомъ жанрѣ есть внутренне присущія ему слабыя стороны, трудно устранимыя. Какъ сочетать пестроту жизни съ цѣльностью, необходимой для художественнаго произведенія? Какъ свести къ стройному единству нестройное многообразие? Какъ обойтись безъ стержня одного развивающагося сюжета или хотя бы душевнаго единства, присущаго герою психологическаго романа? Задача можетъ быть разрѣшена только если въ романѣ есть объединяющая центральная идея, или если его пронизываетъ одно сильное чувство, или хотя бы если онъ написанъ на строго и четко очерченную тему. Если же ничего этого нѣтъ, то приходится выводить въ романъ-хронику объединяющее ея эпизоды центральное лицо, которое виднѣтъ, переживаетъ, и описываетъ событія.

Осоргинъ, какъ сознательный художникъ, пробуетъ ись эти методы. Единство и цѣльность его «Сивцеву Вражку» придавала трагическая тема — начало большевистской революціи, и чувство сдержаннаго негодованія, одушевлявшее все ея краткіе и сильные эпизоды. Въ «Свидѣтелѣ Исторіи» было уже меньше цѣльности, хотя и тамъ все

проникало одно чувство: преклонение передъ тѣми, кто жертвуетъ своей жизнью. Кроме того объединили эпизоды романа и двѣ центральныхъ фигуры — террористки Наташи Калымовой и священника о. Якова, самого «Свидѣтеля Исторіи». Обѣ эти фигуры остались, если можно такъ выразиться, на прежнихъ роляхъ и въ «Книгѣ о Концахъ». Художественно онѣ не равноцѣнны и страдаютъ противоположными дефектами. Калымова списана съ натуры съ большой точностью, такъ что знающимъ революціонное прошлое нетрудно назвать оригиналъ (авторомъ сохранены даже имя и отчество ея, а въ фамиліи измѣнены двѣ буквы). О. Яковъ, наоборотъ, представляется несомнѣнно и подлинно выдуманымъ. Выдуманъ онъ очень умѣло, съ любовью. Фигура незлобиваго, человѣколюбиваго батюшки-бродяги съ огромнымъ любопытствомъ къ жизни, съ его постоянной поговоркой «лю-бо-пы-тно», умѣющимъ цѣнить даже въ террористахъ ихъ почти религіозную жертвенность, очень эффектна и удобна въ романѣ-хроникѣ изъ жизни революціонеровъ. Но именно это удобство и эффектность подозрительно напоминаютъ то, какъ по такимъ же удобнымъ и эффектнымъ рецептамъ фабрикуются киномагграфические герои. Но и этихъ двухъ центральныхъ фигуръ еще недостаточно для приданія цѣльности многочисленнымъ эпизодамъ романа. Въ нихъ живо и занимательно рассказаны приключенія революціоннаго подполья, воспоминанія объ известной итальянской видѣлѣ каторжницъ и ея обитателяхъ. Убоятно, удовольствіе вспоминать о прошломъ было главнымъ мотивомъ написанія этой книги. Но чтобы прибавить ей цѣльности, вѣскости, авторъ захотѣлъ придать ей характеръ, котораго у нея нѣтъ, — тричесскій характеръ. Правда, время, о которомъ рассказываетъ Осорнинъ, было временемъ «концовъ»: разложенія разбитыхъ революціонныхъ партій, всевозможныхъ предательствъ. Къ тому же въ книгѣ описаны многочисленные смерти, умираетъ отъ испанки Калымова, тонетъ Николай Ивановичъ, умираетъ самъ о. Яковъ. Наконецъ, авторъ касается и лично изъ всѣхъ «концовъ», — большевистскаго предательства революціи. Его замѣчанія по этому поводу порою сильны и остроумны, но постоянно углубленія темы книги все же не получилось. Она занимательна, мѣстами ярка и вышукла, но и только. Многимъ въ теперешней эмиграціи покажется ненужной и устарѣлой самая тема этого романа. Фаланга террористовъ, вызвавшая въ свое время преклоненіе и вѣрованіе, теперь забыта. Пришла пора, когда, по словамъ Осорнина, «борьбы за свободу стали палачами, бывшіе палачи тоскуютъ по чистотѣ». Революція побѣдила подъ руководствомъ людей преданныхъ ей идеи и для которыхъ память о прежнихъ соратникахъ-идеалистахъ можетъ быть только досаднымъ укоромъ. Побѣжденные сѣшиваются воедино всѣхъ противниковъ. Осорнину многое не по душе нѣ революціонномъ прошломъ. Онъ съ раздраженной проноіей говорить о партійныхъ догматахъ и доктринахъ, о всей партійной официальнойности. Но для него нѣтъ ничего на свѣтѣ выше той самоотверженности и жертвенности, которая дается людьми, готовыми идти на смерть и убивать. Объ одномъ изъ нихъ готовъ на Страшномъ

Судѣ произнести защитительную рѣчь незлобивый «свидѣтель исторіи», о. Яковъ: «сей человекъ зналъ мало радостей, жилъ не для тѣла и не для себя... Если онъ уклонился по незнанію или по ошибкѣ, если выше заповѣдей Твоихъ поставилъ человѣческую волю, — тогда же Ты, Судія Праведный, открывъ ему очи на все зло міра, не научилъ его смиренію и не удержалъ занесенную имъ руку?»

М. Цетлингъ.

Ю. Терапіано. Безсонница. Стихи. Изд. Параболо. Берлинъ, 1935 г.

Первый сборникъ стиховъ Юрія Терапіано «Лучшій звукъ» вышелъ въ 1926 году. Молодой поэтъ воспѣвалъ пестрый мусульманскій востокъ, пустыни, караваны на пути въ Мекку, воинственныхъ шейховъ, татуированныхъ контрабандистовъ, эзотерическую мудрость Египта, тайное знаніе Каббалы. Онъ «испилъ отъ сладкихъ водъ Востока» — и стихи его были полны темнаго вдохновенія маговъ и звѣздочетовъ, нарядной пышности Леванта. Эстетика, экзотика, гностика держали въ плѣну его душу. Сквозь напѣвы-заклинанія и теософическія поэмы личный голосъ автора долеталъ издалека, заглушенный. Прошло девять лѣтъ, и поэзія Терапіано раскрылась въ новомъ — и, думается, подлинномъ — своемъ обликѣ. Великолѣпіе внѣшняго міра поблекло, упали «золотоканнныя покровы» и обнажилась сущность; краски и формы изобразительности отступили подъ напоромъ лирической стихіи; Тайны (съ большой буквы) посвященныхъ разсѣялись какъ дымъ передъ лицомъ простой и бездонной тайны жизни. Стихи сдѣлались простыми, крѣпкими, ясными; по нимъ можно прослѣдить духовное развитіе автора: мучительную борьбу съ сомнѣніями, искушеніями, отчаяньемъ, освобожденіе отъ соблазновъ красоты и мастерства, углубленіе въ собственную душу, упрямое стремленіе къ совершенству и чистотѣ, напряженное исканіе Бога.

«Кто понялъ, что стихи не мастерство,
Тотъ пишетъ съ ненавистью, не съ любовью.

Это откровеніе — моментъ рожденія поэта. Съ этого дня вдохновеніе перестаетъ быть для него лишь темнымъ волненіемъ крови, поэзія не кажется ему болѣе даромъ напраснымъ и случайнымъ. Нужно коснуться дна пропасти, пережить предѣльное отчаянье и гибель, почувствовать себя «проклятымъ навсегда» — чтобы обрѣсти нездѣшную радость и «новую свободу».

Въ часъ, трудный часъ изнеможенья,
Мнѣ въ сердце хлынетъ тишина —
И грознымъ свѣтомъ вдохновенья
Душа на мигъ озарена.

Стихи Терапіано — объ одиночествѣ души современнаго человѣка, о ея затерянности въ страшномъ и темномъ мірѣ, богооставленности и безысходной мукъ.

Миръ гибнетъ безъ любви, миръ задыхается въ пустотѣ безвѣрія и безразличія.

И въ тоскѣ неясной, что знакома
 Всѣмъ, кто тѣнью вѣчности тревожимъ,
 Какъ безутный сынъ у двери дома,
 Плачу я, что мы любить не можемъ.

Въ безпощадно - ясные часы безсонницы, поэтъ, «раненный со-
 вѣстью», видитъ немощность своей души. И въ этомъ покаянномъ
 обращеніи къ самому себѣ, къ своей душѣ, происходитъ чудо рели-
 гиознаго просвѣтленія.

«Безсонница» начинается и кончается молитвой. На первой стра-
 ницѣ:

Молился о томъ, кто въ тьмѣ ночной
 Клянетъ себя, клянетъ свой трудъ дневной.

а на послѣдней:

Милость ниспослаи свою святую,
 Молніей къ душѣ моей прійди,
 Подними и оправдай такую,
 Падшую — спаси и пощади!

Этимъ молитвеннымъ строемъ опредѣляется поэтический тонъ все-
 го сборника.

К. Мочульскій.

Лѣсникъ. Лесной шумъ. Изд. Писателей в Ленинградѣ. 1935.

Замѣчательная книга: 420 страницъ не о людяхъ. Книга для тѣхъ,
 чей миръ не ограниченъ отношеніями съ себѣ подобными, не без-
 смысленно узокъ, а охватываетъ все живущее, отъ лося до клопа, не
 какъ курьезъ и предметъ случайнаго любопытства, а какъ равное по
 значенію бытію нашему, только малопонятное, неизученное и тѣмъ
 болѣе важное и занимательное.

По содержанію — рассказы охотника, лѣсника, рыболова, любя-
 ника природы. Много замѣчательныхъ наблюденій и очень художе-
 ственныхъ догадокъ. Одинъ недостатокъ — яркое очеловѣченіе жи-
 вотныхъ и птицъ, напрасное имъ приписыванье качествъ нашей поро-
 ды: глупости, злости, даже пошлости. Человѣкъ можетъ быть «глупъ,
 какъ тетеревъ», но тетеревъ, если и глупъ, то иначе, чѣмъ человѣкъ.
 Прекраснѣйшія страницы отведены психологически очень намъ близ-
 кому животному — собакѣ, пріобрѣтшему отъ постоянного сожитія
 съ нами немало человѣческихъ достоинствъ и недостатковъ. Вспо-
 минаются страницы Пришвина о собакахъ — новый авторъ ему не
 уступаетъ. Но онъ столь же близокъ съ селезенемъ, глухаремъ, мел-
 кими пташками, волками, лисицами, крупнымъ звѣремъ, лягушками,
 палицами, даже насѣкомыми. Книга, которую дѣти и взрослые долж-
 ны вырывать другъ у друга изъ рукъ или же читать вмѣстѣ съ оди-
 наковымъ интересомъ.

Природа преимущественно сѣверная — Сибирь, Архангельскъ, ермь. Но и рыбная Клязьма, и никому невѣдомыя рѣчущки или сѣвья средней Россіи. Нѣтъ возможности перечислить темы разсказовъ этой замѣчательной книги. Лѣсной пожаръ. Тетеревиный сонъ. Стающие цвѣты (бабочки). Семья разбойниковъ (ястребы). Знакомыя собаки. Смерть слона. Лебединая судьба. Разсказовъ свыше ста — всѣ проникнуты настоящей любовью къ природѣ и способностью даваться ея очарованію со страстью и безалаберностью охотника и обознательностью пытливаго ума. Поэтому разсказы, столь разнообразные, сливаются какъ бы въ одну поэму — въ подлинный «лѣсной шумъ». Это не очень ясно, но право же иначе объ этой книгѣ не скажешь.

Мих. Ос.

. **Бакунина.** Любовь къ шестерымъ. Романъ. Парижъ, 1935.

Разсказъ ведетъ пожилая дама. У нея мужъ, трое взрослыхъ дѣтей, любовникъ, старый еврей, и какой-то еще горбунъ неизвестнаго значенія. Это и есть «любовь къ шестерымъ». О любви, впрочемъ, приходится говорить; физиологическія ощущенія, которыя испытываетъ дама, врядъ ли можно отнести къ этому понятію. Если у автора было намѣреніе вскрыть «тайну женскаго» (Вл. Соловьевъ, Вейнгеръ), то способъ надо признать безнадежнымъ. «Женское» остается женскимъ, пока молчать. Начиная же само говорить о себѣ, превращается въ «бабье». И дѣлается въ высшей степени неинтереснымъ. Засужденія бакунинской дамы — общія мѣста; люди, которыхъ она пытается описывать, — мужъ, сыновья, дочери, старый еврей-любовникъ — въ особенности горбунъ, — отнюдь не тѣни, а скорѣе соломою нанятая кукла; да, впрочемъ, о нихъ дама и не заботится, настаивая, главнымъ образомъ, на разнообразіи собственныхъ физиологическихъ ощущеній къ шестерымъ, и входя тутъ въ самыя интимныя подробности извѣстнаго свойства. Къ литературѣ все это отношенія, конечно, не имѣетъ, но боюсь, что даже на охотниковъ до такихъ подробностей онѣ не произведутъ впечатлѣній: слишкомъ не соблазнительно преподносятся дамой-героиней. Сколько-бы она ни старалась углубиться въ свои возбужденія, ни шестидесятилѣтній любовникъ, ни другіе ея партнеры, ни она сама, не могутъ вызвать не только интереса но даже нездороваго любопытства.

Меня сожальительно удивляетъ: зачѣмъ Бакунина, писательница сомнѣнно способная, избрала такой неблагодарный путь? Откуда эти упорныя попытки втиснуть въ литературу то, что въ нее не входитъ и никогда не войдетъ? Быть можетъ, это вліяніе Лауренса? Гранное вліяніе: у Лауренса была своя идея, пусть ошибочная; въ романѣ же Бакуниной личега нѣтъ, все незначительно. И ничѣмъ не оправдано. Да у Лауренса «Женское» и не говоритъ само о себѣ, а лишь говоритъ о немъ (когда говоритъ) — человѣческими словами. Полезно, поэтому, проводить параллели между этими книгами. Почему, пристрастіе Бакуниной къ «жено-бабству» уже замѣчалось

въ первомъ романѣ ея (говардо, все-таки, лучшемъ). Быть можетъ, это главное убѣжденіе, что о «жизскомъ» легко узнать, если раздѣть женскія тѣlesa и аккуратно прослѣдить ихъ половыя функции? Да, и это возможно. Но невозможно не пожелать Бакуниной поскорѣе отдѣлаться отъ наявности и заняться дѣйствительно литературой. Для этого — повторяю — у нея много данныхъ.

3. Гиппюсъ.

Мод. Гофманъ. Египетскія Ночи. Съ полнымъ текстомъ импровизаціи, съ новой, четвертой главой — по рукописямъ Пушкина. Издаеъ Сергѣй Лифарь Парижъ 1935.

«Египетскія Ночи» — одинъ изъ поразительныхъ художественныхъ замысловъ Пушкина. Въ собраніяхъ сочиненій Пушкина онѣ состоятъ изъ двухъ частей: одна — прозаическая — представляетъ собою начало повѣсти изъ современной жизни, другая — стихотворная — связана съ древнимъ міромъ. Первая написана въ 1825 г., вторая въ 1825. Произведеніе, какъ извѣстно, осталось незаконченнымъ. До насъ дошли только три главы. Третья заключается словами: «Музыка умолкла... Импровизація началась». Дальше редакторы сочиненій Пушкина помѣщали предполагаемую импровизацію. Текстомъ ея служила числовая, редакція стихотворенія «Клеопатра» 1825 г., начинающаяся словами «Чертогъ сиялъ и кончающаяся стихомъ «Лавра състланицевъ отыадеетъ». Къ этому присоединили подходящий по смыслу черновой набросокъ того же стихотворенія, состоящій изъ 12 стиховъ (первый стихъ: «И вотъ уже сокрылся день», послѣдній: «Блнстаетъ ложе золотое»).

Таковъ традиціонный текстъ «Египетскихъ Ночей». Конечно, никакъ нельзя утверждать, что Пушкинъ оставилъ бы въ качествѣ импровизаціи итальянца стихотвореніе, написанное въ 1825 г. По всей вѣроятности, онъ подвергъ бы его нѣкоторой переработкѣ. Но, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что основа его осталась бы

Незаконченность «Египетскихъ Ночей» вызвала съ одной стороны рядъ догадокъ относительно «идеи» этого произведенія, съ другой попытки закончить его. Валерій Брюсовъ думалъ, что Пушкинъ хотѣлъ въ немъ сопоставить міръ древній и міръ современный, что это сопоставленіе уже чувствуется въ описаніи обстановки, въ которой проходятъ сцены древняго міра и современной жизни, въ чертахъ нѣжности и силы у Клеопатры и у всѣхъ второстепенныхъ лицъ, въ характеристикѣ античнаго міросозерцанія, какъ культа плоти. Другіе предполагали, что Пушкинъ хотѣлъ въ «Египетскихъ Ночахъ» коснуться вопросовъ о тайнѣ поэтическаго творчества, о независимости писателя отъ толпы и т. д.

Подобныя догадки, если бы даже онѣ оказались ошибочными, вполне законны. Но всякія попытки закончить по-своему произведеніе Пушкина, дописать за него, представляются уже своего рода литературнымъ святотатствомъ. Кромѣ того, онѣ свидѣлствуютъ о величайшей нескромности Брюсовъ дополниль импровизацію итальянца, прислравивши ее въ цѣлую поэму. Правда, онъ сейчасъ же понегъ

жестокое наказаніе: всё почувствовали скромные размѣры его поэтического дарованія, которое до того нѣсколько преувеличивали. Поэмка его оказалась неудачной, безвкусной, жалкой. Составляясь съ Пушкинымъ, пыталась стать съ нимъ въ одну версту — дѣло безнадежное.

Г. Мод. Гофманъ идетъ въ томъ же направленіи, но только въ прозаической части «Египетскихъ Ночей». Къ тремъ главамъ онъ сочинилъ еще двѣ. Одну, четвертую, онъ главнымъ образомъ составилъ по черновому наброску Пушкина 1831-1832 гг., начинающемуся словами «Гости съѣзжались на дачу». Г. Гофманъ его отчасти сократилъ, отчасти дополнилъ, отчасти измѣнилъ. Пятую же главу онъ написалъ исключительно по собственнымъ измышлениямъ.

Откровенно говоря, это такая же ненужная, пустая и немощная попытка, какъ и попытка Брюсова. Она только доказываетъ, что можно быть отличнымъ пушкинистомъ и все-таки неумѣть писать пушкинской прозой, не чувствовать особенностей ея. Пушкинъ, какъ извѣстно, проводилъ опредѣленную грань между прозой и стихами: «Точность и опрятность — вотъ первая достоинства прозы. Она требуетъ мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни къ чему не служатъ; стихи — дѣло другое». А вотъ что сдѣлалъ съ пушкинскимъ текстомъ г. Гофманъ. У Пушкина: «Въ сіе время двери въ залу отворились, и Вольская вошла. Она была въ первомъ цвѣтѣ молодости. Правильныя черты, большіе черные глаза, живость, самая странность наряда — все поневолю привлекало вниманіе. Мушоны встрѣтили ее съ какою-то шутливой пріятливостью. Дамы съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ...» У г. Гофмана: «Въ сіе время двери въ залу отворились, и красавица, вынуждая жребій, вошла. Она была въ первомъ цвѣтѣ молодости и блистала красотой и нарядомъ. Голова ея горѣла въ алмазахъ, плечи блистали холоднымъ мраморомъ, прозрачная сѣть кружевъ позволяли (sic!) видѣть прекрасныя волнующія перси, на розовыхъ ногахъ узорной паутиной сквозилъ шелкъ. Правильныя черты... и т. д. Да развѣ когда-нибудь, а не только въ полномъ расцвѣтѣ таланта, Пушкинъ могъ допустить въ свою прозу всю эту безвкусицу?

Какъ бы то ни было, надо быть признательнымъ г. Лифарю за то, что онъ издалъ «Египетскія Ночи». Тексту предпослана интересная статья г. Гофмана о работѣ Пушкина надъ этимъ произведеніемъ. Остается только пожалѣть, что г. Гофманъ не остался, можетъ быть, въ скромныхъ, но почетныхъ рамкахъ хорошаго изслѣдователя и не решился въ ту область, гдѣ изслѣдователь, самъ того, вѣроятно, не замѣчая, попадаетъ въ нѣсколько странное положеніе. Впрочемъ, она за это такъ же наказанъ, какъ и Брюсовъ. Въдъ, scripta manent.

Н. Кульманъ.

Н. Метнеръ. Муза и Мода. Изд. «Танръ». Парижъ, 1935.

Музыка по своей природѣ самое чистое изъ всѣхъ искусствъ, всецѣло относящееся къ «четвертому измѣренію», къ «другому плану» бытія. Она ничего не показываетъ и ни о чемъ не рассказываетъ Ея

материалъ и ея средства выраженія (ея языкъ) совпадаютъ. Отсюда ея загадочность. Книга Метнера — одна изъ самыхъ замѣчательныхъ попытокъ подвести къ уразумѣнью тайнъ музыки — по проникновенности, напряженности, остротѣ выстраданной (это сразу чувствуется) мысли — только выстраданная мысль нибѣтъ философскую цѣнность, — и по обусловленной этимъ захватывающей страстности и вмѣстѣ исключительной четкости изложенія. Проблема музыки въ сущности и есть проблема «четвертаго измѣренія», «инобытія», проблема тайны жизни. Музыка есть **откровеніе**, непосредственное, творческое раскрытіе абсолютнаго смысла жизни. Огромное достоинство книги Н. Метнера въ томъ, что авторъ — самъ очень большой, и по размѣрамъ дарованія и по значительности духовнаго опыта, определяющаго его творчество, музыкантъ — понять, какъ немногіе, что философская проблема Музыки и проблема музыкальнаго языка, его специфической структуры, его законовъ, — **одна и та же**. Идя путемъ тончайшаго и поразительнаго по углубленности анализа логики и грамматики музыкальнаго языка *) и изслѣдуя его видоизмѣненія въ нашъ вѣкъ, авторъ тѣмъ самымъ обосновываетъ свое утвержденіе о нынѣшнемъ **обесмысленіи** музыки. Легко понять, что эта проблема тѣснѣйшимъ образомъ связана съ всею проблемой современной культуры, проблемой современнаго Человѣка. Приговоръ, выносимый Н. Метнеромъ нынѣшней музыкѣ, приговоръ убійственный, — есть приговоръ всей нашей культурѣ. Культура — величина страшно сложная и никакая односторонняя оцѣнка ея не можетъ быть признана исчерпывающей и абсолютно вѣрной. Я позволю себѣ выдвинуть противъ положеній автора два возраженія, другъ съ другомъ тѣсно связанные. Одно — результатъ моего собственнаго впечатлѣнія отъ нѣкоторыхъ произведеній новѣйшей музыки. Въдѣ всѣ наши разсужденія на впечатлѣніяхъ, а не на чемъ другомъ. Все дѣло, конечно, въ томъ, какова цѣна каждому такому впечатлѣнію. Осмѣливаюсь сказать, что цѣна моего — какъ разъ въ томъ, что это впечатлѣніе профанъ, «средняго» слушателя музыки, и притомъ — это особенно важно въ данномъ случаѣ, — такого, для котораго самые близкіе и самые любимые композиторы именно тѣ, которыхъ Н. Метнеръ считаетъ величайшими и совершеннѣйшими. И вотъ, когда я услышалъ въ первый разъ «Петрушку» и «Жаръ-птицу», — не имѣя предварительно никакого представленія о теоретическихъ основахъ творчества Стравинскаго, значить, безъ всякой предубѣжденности, и не воспринимая этой музыки какъ безмыслицу, какъ хаосъ, какъ какофонію, какъ «анти-музыку». Это — не тотъ музыкальный языкъ, какимъ съ нами говорятъ Моцартъ, Бетховенъ и Шуманъ, — но это все-же языкъ и именно музыкальный, а не какой другой, имѣющей свою логику и свою траматяку. Одинъ примѣръ. Въ этомъ новомъ языкѣ нѣтъ каденцій,

*) Напр. то, что онъ говоритъ о **темахъ** на примѣрѣ Шумановскаго «Я не сердусь» (стр. 58) или о гармоническихъ вольностяхъ Баха (стр. 81, 82).

нѣтъ обязательнаго въ языкѣ музыкантовъ до XX в. конечного возврата къ тоникѣ. Съ точки зрѣнія П. Метнера это равносильно отказу отъ того, что составляетъ истинную сущность музыки, — отъ **ритма**. Финальный диссонансъ у модернистовъ разрѣшается, **молчаніемъ**, срывомъ въ Ничто. Но вѣдь это — тоже **разрѣшеніе**: «Остальное — молчаніе», — послѣднія слова Гамлета Авторъ самъ признаетъ, что нашъ (до XX в.) музыкальный языкъ не есть **единственный**; онъ только думаетъ, что онъ единственный возможный **для насъ**, европейцевъ. Стравинскій, Прокофьевъ, Дебюсси, каждый по своему, самымъ фактомъ своего творчества, доказали, что другой языкъ возможенъ. Какъ объяснить его появленіе? Откуда, зачѣмъ онъ взялся? Заглавіе книги Н. Метнера кроетъ въ себѣ его отвѣтъ. Но что такое **мода**? Какъ она создается? Почему навязываетъ свое господство? Это приводитъ ко второму моему возраженію, которое я сдѣлаю уже какъ историкъ. «Мода» никогда не просто дурь, блажь; выдумкой, шарлатанствомъ, снобизмомъ, витраніемъ очковъ и легковѣріемъ черниа, — ея объяснить исчерпывающе никакъ нельзя. Она всегда связана съ какими-то — пусть въ концѣ концовъ счетѣ порочными, — но чѣмъ-то діалектикою Духа обусловленными, значить, — по гегелевски «разумнымъ», «существенными», духовными тенденціями. Подойти къ разумѣнію каждой данной моды возможно, слѣдовательно, только однимъ методомъ — **какъ разъ тѣмъ, который отвергаетъ авторъ**: «Съ одной стороны нельзя не сознаться, съ другой — нельзя не признаться». Такъ и поступаетъ другой философъ культуры, гениальный испанскій мыслитель, Х. Ортега-и-Гассетъ Эстетической — и метафизической — проблемѣ тѣхъ же самыхъ явленій — онъ зоветъ ихъ не «обезсмысленіемъ», а «обезчеловѣченіемъ» музыки *), — Ортега-и-Гассетъ даетъ историческое истолкованіе, котораго нѣтъ у Н. Метнера. Здѣсь не мѣсто говорить о томъ, что Ортега-и-Гассетъ разумеетъ подъ «обезчеловѣченіемъ» музыки и искусства вообще, ни — какъ онъ объясняетъ это съ точки зрѣнія исторіи. Къ этому я еще надѣюсь вернуться. Сейчасъ скажу только, что, хотя Н. Метнеръ историко-культурную сторону вопроса и обходитъ, ограничиваясь простымъ указаніемъ на «моду», однако, книга его для каждаго, видящаго трагизмъ современнаго состоянія культуры и способнаго задуматься надъ этимъ, совершенно необходима: въ исторіи ничего нельзя понять, если не вдуматься въ **мета-историческій** смыслъ культуры, т. е. жизни духа и въ свойства присущихъ этой жизни средствъ и формъ выраженія и ихъ закономерностей. А это, повторяю, авторъ увидѣлъ съ необычайной прозорливостью и выразилъ съ рѣдкой остротой и силой.

П. Бицилли.

*) См. J. Ortega y Gasset, Deshumanización del arte (Obras, 1932).

Boris Unbegaun. La langue russe au XVI^e siècle (1500-1550). I. La flexion des noms. Paris, 1935. X+480.

Эта книга — докторская диссертация, которую автор блестяще защитил недавно во Сорбоннѣ. Г. Унбегаунъ — молодой ученый, русский по происхожденію, высшее образование получая во Франціи. Официальные оппоненты, его французскіе учителя, въ очень лестныхъ выраженіяхъ охарактеризовали его трудъ; намъ, русскимъ, значеніе его книги, пожалуй, еще виднѣе.

Въ русской научной литературѣ не было недостатка ни въ общихъ трудахъ по исторіи языка, ни въ изслѣдованіяхъ по отдѣльнымъ вопросамъ ея. Но, съ одной стороны, общіе труды не рассматривали исторіи языка шагъ за шагомъ, по эпохамъ, съ другой — изслѣдователи частностей обращали преимущественное вниманіе на фонетику, удѣляя крайне мало вниманія морфологій. Книга г. Унбегауна является, можно сказать, **первымъ** опытомъ систематическаго обзора именныхъ флексій въ опредѣленную эпоху, и въ этомъ заключается ея огромное методологическое значеніе.

Г. Унбегаунъ выбралъ для своего изслѣдованія 16-ый вѣкъ. Сдѣлалъ это онъ, конечно, не только потому, что научная работа надъ исторіей русскаго языка въ Парижѣ ограничена извѣстнымъ матеріаломъ, но и потому, что языкъ 16-го вѣка представляетъ особый интересъ. Единства онъ, какъ и раньше, не имѣлъ: разговорнымъ языкомъ былъ русскій, письменнымъ — церковно-славянскій. Кроме того, письменный языкъ Московской Руси былъ двухъ родовъ: однимъ чисто-литературнымъ, другой — канцелярскій, приказный. Литературный старался, не всегда успѣшно, оторваться отъ народнаго вліянія. Канцелярскій былъ тѣснѣйшимъ образомъ связанъ съ живымъ русскимъ языкомъ, хотя и носилъ на себѣ иногда слѣды вліянія церковно-славянскаго языка. Поэтому г. Унбегаунъ сдѣлалъ правильный выводъ, что для исторіи живого русскаго языка славянскіе тексты имѣютъ относительное значеніе, а богатѣйшимъ источникомъ служить **приказный языкъ**.

16-ый вѣкъ интересенъ и въ другомъ отношеніи. Москва къ этому времени стала центромъ государственной территоріи великорусской народности. Объединенное государство нуждалось въ единомъ официальномъ языкѣ, и роль его стала мало-по-малу играть московскій приказный языкъ. Впрочемъ, г. Унбегаунъ не упускаетъ изъ виду, что мѣстные особенности не могли исчезнуть сразу, и не столько фонетическія, сколько словарныя. Такъ, германизмы *шкиперъ*, *ласть*, *берковескъ* (*берковецъ*) и т. п. встрѣчаются только въ новгородскихъ текстахъ, слова татарскаго происхожденія *алтынъ*, *армякъ*, *нафтанъ* и т. п. только въ московскихъ, и т. д. Любопытно отмѣтить, что морфологія имѣла общую систему.

Наконецъ, выборъ г. Унбегауномъ темы оправдывается еще и тѣмъ, что въ нашей научной литературѣ до сихъ поръ не было описанія морфологій этой эпохи, если не считать отдѣльных замѣчаній, разбросанныхъ въ курсахъ Соболевскаго, Дурново, Шахматова.

Многочисленные источники, которые г. Унбегаунъ подвергъ изученію, двоякаго рода: съ одной стороны, акты юридическіе, съ другой — дипломатическая переписка. Юридическіе акты не только свѣтскіе, но и духовные, вышедшіе изъ епархіальныхъ управленій. Не упустилъ онъ изъ виду, правда, не обильную, частную переписку.

На основаніи этого многочисленнаго и разнообразнаго матеріала г. Унбегаунъ далъ полный и тщательный обзоръ склоненій именъ существительныхъ, прилагательныхъ, мѣстоименій и числительныхъ въ 16-омъ вѣкѣ. Если все это вообще представляетъ большую научную цѣнность, то особенно нужно отмѣтить обширную главу, посвященную именамъ числительнымъ. Исторія числительныхъ еще совсѣмъ не затронута нашими специалистами, и наблюденія г. Унбегауна весьма цѣнны.

Тщательность анализа отдѣльныхъ явленій, обиліе наблюденій, осторожность въ выводахъ, постоянное сравненіе съ современнымъ состояніемъ языка — характеризуютъ трудъ молодого ученаго. Безъ книги г. Унбегауна теперь не обойдется ни одинъ историкъ русскаго языка, а для будущихъ изслѣдователей она можетъ служить въ разныхъ отношеніяхъ образцомъ.

Воздержимся, за недостаткомъ мѣста, отъ мелкихъ критическихъ замѣчаній, имѣющихъ узко-спеціальное значеніе, которыя мы могли бы сдѣлать: всѣ они нисколько не умаляютъ замѣчательнаго труда г. Унбегауна, такъ блестяще открывшаго имъ свою ученую карьеру. Нельзя не пожелать, чтобы возможно скорѣе онъ написалъ продолженіе, которое позволило бы судить объ исторіи русскаго языка 16-го вѣка въ полномъ ея объемѣ.

Н. Кульманъ.

Д. М. Одинецъ. Возникновеніе государственнаго строя у восточныхъ славянъ. Изд. «Современныхъ Записокъ». Парижъ, 1935.

Русскіе историки давно уже перестали начинать исторію Россіи съ призванія Рюрика. Но, отказавшись отъ даты 862 г., они до сихъ поръ не могли остановиться на какой-нибудь предшествующей твердой датѣ. Ученому воображенію и патриотической страсти представляется самый широкий просторъ для догадокъ, — тѣмъ болѣе, что вспомогательныя дисциплины, лингвистика, археологія, еще не успѣли подготовить достаточно прочныхъ точекъ опоры для освѣщенія доисторическаго прошлаго русской равнины. Въ этой пустотѣ можно было безпрепятственно начинать исторію славянъ въ любое время и въ любомъ мѣстѣ Европы и Азіи. Догадки Иловайскаго, Забѣлина, Самоковцова — чтобы говорить только о русскіихъ ученыхъ — остаются начальнымъ памятникомъ этой промежуточной стадіи изученія. За періодомъ излишней смѣлости послѣдовала стадія чрезмѣрной осторожности. Въ настоящее время, послѣ новыхъ достиженій археологіи и лингвистики, мы присутствуемъ при болѣе обоснованныхъ попыткахъ отодвинуть исторію русской государственности въ отдаленное прошлое. Книга Д. М. Одинца является выраженіемъ этой послѣдней ста-

дин, на которой ученая осторожность ищет компромисса с законными требованиями исторического знания.

Надо сразу сказать, что автор разбираемой книги не владеет всеми материалами, необходимым для того, чтобы дойти до действительного начала изучаемого им процесса древнейших социальных разслоений и политических построений на территории России. Поэтому, между прочим, он напрасно затрагивает вопрос о славянской «прародине», который не может быть разрешен в хронологических рамках, избранных автором. Точно так же, и социально-политические процессы, им изучаемые, восходят к периодам, для него недоступным. Он, впрочем, вполне ясно сознает эту проблему, часто говорит о нем, хотя и не всегда считается с границами доступных ему утверждений. Отчасти от этого добровольного сокращения исторической перспективы зависят, как увидим, и особенности его общей конструкции, сдержанно, но явно выраженной во второй половине его книги. Зато в доступных ему пределах Д. М. Одинец очень полно подобрал литературу предмета, трудно доступную в условиях эмигрантской работы, и, в общем верно, наметил путь для решения доисторических вопросов, оставшихся нерешенными в настоящем его изследовании. В частности в упомянутой проблеме прародины, чрезвычайно трудной и сложной, он избирает правильный путь. Следуя за польскими археологами он намечает территорию «прародины» несколько западнее, нежели считалось общепринятым прежними русскими изследователями.

Исходной датой для истории создания государственного строя у восточных славян Д. М. Одинец избирает шестой и начало седьмого века по Р. Х. Творцом этой ранней попытки восточно-славянской государственности автор признает «самое сильное» племя «антов», которому удалось объединить около себя племена юга России, отчасти и неславянские, под властью династии военного происхождения. Роль антов освящена автором, главным образом, по показаниям византийских и арабских писателей. Незнакомство с новейшими достижениями доисторической археологии мешает Д. М. Одицу вскрыть прецеденты изучаемого процесса. Между прочим, он не высказывается по поводу отождествления имени антов с вендами, которое сделал еще Гильфердинг и которое, по моему мнению, как раз указывает путь к раскрытию доисторического прошлого славянских антов. Во всяком случае, восстановление исторического значения антского военного союза является одной из самых интересных глав книги.

В двух следующих главах, трактующих о «социальных (и политических) последствиях антской эпохи и о значении причерноморских культурных традиций» а также о создании отдельной от деревни и от родового быта «городской области», автор вступает на почву, полвека освещенную письменными источниками и в то же время вызвавшую многочисленные споры между прежними русскими изследователями. Установленная уже точка зрения на «антские» пе-

риодъ даетъ ему возможность выбрать удачную позицію при разборѣ этихъ разнообразныхъ мнѣній. Онъ совершенно правъ, что «восточные славяне, разселяясь послѣ распаденія антскаго союза на сѣверъ, востокъ и сѣверо-востокъ, попадали далеко не на дѣятельную почву. Онъ былъ-бы не менѣе правъ, если бы отнесъ это утверждение и къ періоду, предшествовавшему образованію антскаго союза Д. М. Одинецъ вполнѣ основательно присоединяется и къ мнѣнію В. Готье, что «археологическіе памятники учатъ насъ, что городъ и деревня разошлись очень далеко и что это расхождение должно было начаться ранѣе, чѣмъ возникло первое государство». Значеніе этого утверждения Готье даже шире, чѣмъ думаетъ Одинецъ. Правъ авторъ и въ своемъ возраженіи противъ мнѣнія Ключевского, что городскія «экономическія связи становились основаніемъ политическихъ», и въ своемъ подчеркиваніи военного характера изначальной городской власти. Конечно, жизнь въ такомъ городѣ «явно не укладывается въ рамки родового быта». Но утвержденіе, что «городовая область (даже съ оговоркой: «по крайней мѣрѣ у значительной части восточныхъ славянъ») до появления норманскихъ князей была вполнѣ сложившимся политическимъ организмомъ» идетъ, несомнѣнно, уже слишкомъ далеко. Авторъ тутъ вступаетъ въ нѣкоторое противорѣчіе съ самими собой. Онъ правильно указываетъ, съ одной стороны, на примитивность тогдашней обстановки, но преувеличиваетъ, съ другой стороны, социальныя и политическія достиженія до-норманскаго города. Такъ, онъ совершенно основательно утверждаетъ, что не только «княжескіе мужи», но и «старшіе градскіе» «принадлежали къ средѣ княжеской, а не земской». Но въ то же время онъ говоритъ объ «организованной волѣ горожанъ», представленныхъ своими собственными «храбрыми мужами», опытными военными специалистами. Такъ незамѣтно создается почва для представленія о сравнительно высокой городской культурѣ до появления норманскихъ князей.

Если уже тутъ замѣчается возможность несогласія съ окончательными выводами Д. М. Одиноца, то въ послѣдней главѣ о «появленіи варяговъ» спорность ихъ становится очевидной. Исходная точка автора и тутъ выбрана совершенно правильно. Онъ слѣдуетъ тогдашнимъ взглядамъ (Арне, П. Смирновъ и др.), по которымъ торговый путь изъ Прибалтики къ Каспійскому и Черному морямъ черезъ Волгу былъ древнѣе днѣпровскаго пути «изъ варягъ въ греки». Весьма вѣроятно и принимаемая авторомъ гипотеза о существованіи особой военной «агаганата» на средней или верхней Волгѣ, представлявшаго «организованную по военному, занимающуюся грабежомъ и торговлей разбойничью колонию въ сѣверно-русской землѣ». Въ высшей степени интересны и правдоподобны наблюденія надъ постепеннымъ ослабленіемъ поселившихся здѣсь до славянской колонизаціи норманновъ — подъ вліяніемъ усилившагося притока славянскихъ поселенцевъ. Наконецъ, совершенно правильны утвержденія, что первые князья рюриковичи «ощущали себя въ известной мѣрѣ чужероднымъ гѣломъ въ отношеніи коренного населенія», «открыто ставили интересы, нередко весьма корыстные, окружавшей ихъ вольницы выше интере-

совъ земли и о своей дружинѣ заботились неизмѣрно больше, чѣмъ о корениномъ населеніи своего княженія». Но опять-таки, черезчуръ рискованно утвержденіе, явно тенденціозное и подготовленное отъчужденнымъ уже невѣрнымъ выводомъ о донорманнскомъ городской культурѣ, — что «сѣверные пришельцы были менѣе культурны по сравненію съ восточными славянами, успѣвшими наладить у себя и устойчивій бытъ, и прочный государственнй строй». Быть быль очень близко къ завоевателямъ, а прочность славянскій государственности достаточно отвергается легкостью скандинавскаго завоеванія. Обобщеніе, будто культурному влиянію, которое, постепенно усиливаясь, шло съ юга на сѣверъ, скандинавы противопоставили волну варваризаціи, шедшую въ обратномъ направленіи — съ сѣвера на югъ», очень красиво и соблазнительно. Но, конечно, оно далеко отъ истины. Въ дѣйствительности, именно норманнское завоеваніе и походы на Византію впервые открыли путь культурному византійскому влиянію на Дѣлврѣ, а современные походы викинговъ по вѣсѣмъ берегамъ Западной Европы расширили кругозоръ кievскихъ династій. Напротивъ, слабость культуры восточныхъ славянъ до этого завоеванія доказывается крайней бѣдностью и скудостью археологическихъ находокъ въ бесспорно славянскихъ могилахъ. Авторъ заявляетъ, что у него «почти закончена работа», въ которой его парадоксъ «найдетъ болѣе полное развитіе». Съ большимъ интересомъ мы будемъ ждать появленія этой работы, но очень совѣтовали бы Д. М. Одину подвергнуть свой тезисъ серьезному пересмотру, прежде чѣмъ рѣшиться на попытку его публичнаго доказательства.

Какъ бы то ни было, появившаяся теперь въ печати работа Д. М. Одина несомнѣнно представляетъ живую струю въ нѣсколько пренебреженномъ въ послѣдніе годы изученіи начала русскаго государства. Изъ личной литературы авторъ выбираетъ наиболѣе правдоподобное и интересное, въ общемъ правильно ориентуруется среди теорій прежнихъ авторитетовъ и, походя даже къ доисторической эпохѣ, ему неизвѣстной, приблизительно вѣрно намѣчаетъ тѣ выводы, которые должны получиться въ результатъ болѣе подробнаго изученія. Его увлеченія объясняются, повидимому, вѣрностью традиціи той южной школы русскихъ историковъ, изъ которой онъ вышелъ. Было бы, конечно, желательно, чтобы въ дальнѣйшихъ своихъ работахъ онъ внесъ въ эту традицію надлежащія критическія поправки.

П. Милюковъ.

С. М. Дубновъ. «Книга Жизни» — Воспоминанія и размышленія. Рига Т. I, 1934 и Т. II, 1935.

Авторъ «Книги Жизни» не только известный ученый, написавшій многоотомную «Всемирную исторію еврейскаго народа», «Всеобщую исторію евреевъ», «Исторію евреевъ въ Польшѣ, Россіи, Литвѣ и т. д. Онъ, употребляя старомодное выраженіе, и «властитель думъ» или «учитель жизни» цѣлаго поколѣнія русско-еврейской интеллигенціи

«Письма о старомъ и новомъ еврействѣ» Дубнова составили не только литературное событіе, но и общественно-политическое. Написанныя въ течение рѣшающаго десятилѣтія новѣйшей политической исторіи Россіи, въ 1897-1907 гг., когда возникали и складывались общерусскія и національныя, въ частности, еврейскія партіи и группировки: с.-д., с.-р., к.-д., Бундъ, герцлевскій сіонизмъ и др., — «Письма» Дубнова сохранили въ значительной мѣрѣ и по сей день своей идеологически-злободневный интересъ. Многие изъ вопросовъ, поставленныхъ тридцать съ лишкомъ лѣтъ тому назадъ, стоятъ и сейчасъ. И нѣкоторыя изъ рѣшеній, предлагавшихся тогда С. М. Дубновымъ, остаются, на нашъ взглядъ, по прежнему единственно возможными и приемлемыми.

Послѣ того какъ появились «заграничныя», заокеанскіе и лимитрофныя, немцы, чехи, поляки, итальянцы и т. д., и представители каждаго «разсѣянія» стали регулярно собираться на особые конгрессы въ Варшавѣ, Прагѣ, Римѣ и т. д., — проблема еврейства и евреевъ, по крайней мѣрѣ въ одномъ своемъ разрѣзѣ, утратила свою исключительность и специфичность. Сейчасъ уже рѣдко кто станетъ отрицать наличность, по крайней мѣрѣ, двойной связи — съ «націей политической», гражданною или поданнымъ коей человѣкъ является, и съ «націей духовной», съ которой онъ связанъ по крови, языку, культурѣ, судьбѣ, иногда и по религіи.

Свой «синтезъ стараго и новаго еврейства» С. Дубновъ искалъ на путяхъ исторіи такъ же, какъ и въ политикѣ. Если ассимиляторы всѣхъ странъ видѣли и видятъ въ еврействѣ только націю прошлаго, если политическіе сіонисты склонны усматривать въ немъ только націю будущаго, «духовные националисты», съ Дубновымъ во главѣ, считаютъ еврейство и націей настоящаго. Поэтому Дубновъ одинаково отталкивался и отъ «тезиса» — «сервиллизма ассимиляторовъ», и отъ «антитезиса» — «язычниковъ національной идеи», еврейскихъ националистовъ-максималистовъ, сводившихъ и сводящихъ проблему къ альтернативѣ: если не ассимиляція, то «экзодъ» изъ страны разсѣянія!

Свой «національно-гуманистическій» синтезъ для еврейства и евреевъ авторъ нашель, перефразировавъ формулу Владимира Содолева: «Люби всѣ народности, какъ свою собственную». Эту возвышенную, но маложизненную, максимумъ «христіанскаго гуманиста», Дубновъ замѣнилъ болѣе скромнымъ требованіемъ: «Уважай національную личность всякаго человѣка, какъ свою собственную». Онъ не забываетъ при этомъ провести различіе между національнымъ эгоизмомъ и національнымъ индивидуализмомъ, между духовностью инквизитора и духовностью апостола, между Торквемадой сжигающимъ и Гуссомъ сожженнымъ, и проч.

Еще въ 1898 г. Дубновъ сталъ доказывать внутреннюю связность общегражданскаго равноправія съ спеціальнымъ признаніемъ правъ на, такъ называемую, національно-культурную автономію за меньшинствами. Тогда его построеніе многимъ казалось искусственнымъ и доктринерскимъ. Но уже въ 1905 г. формула Дубнова, къ которой онъ пришелъ самостоятельно, не вѣдая объ идеѣ «персональ-

ной автономии Шпрингера-Реннера, — была включена в программу Союза для достижения полноправия евреев в России; а в 1919 г. аналогичный тезис получил международное признание на Версальской конференции мира и был включен уже в ряд специальных договоров, конвенций и т. п.

Дубнов не признавал никакого монизма: ни в философии, ни в истории, ни в политике. Когда Макс Нордау и другие заявляли, что «еврейство будеть сионистским или его вовсе не будеть», — Дубнов защищал «фактический дуализм»: наличие Палестины и, количественно с ней несравнимой, Диаспоры. Когда гебраисты отстаивали древне-еврейский язык, как единственный язык школы и культуры, а идишисты защищали монополию «народного языка», — Дубнов противопоставлял тем и другим «плюрализм»: «трехединство» обоих еврейских языков и русского, ставшаго языком обихода и культуры для громаднаго числа евреев. Утверждению о томъ, что народъ духовно единъ, несмотря на фактическое свое раздѣленіе, должно соответствовать, по мнѣнію Дубнова, и утверженіе о единствѣ его культуры при фактическомъ разноразчїи.

В своих двух томахъ автобіографіи Дубновъ вспоминаетъ обстановку и душевное состояніе, вызванія и сопутствовавшія его научному творчеству и общественно-политической озабоченности. Благодаря случайности ему, одному изъ очень немногихъ, удалось вывести изъ совѣтской Россіи не только научныя рукописи, но и записки, которыя онъ дѣлалъ изо дня въ день, по свѣжимъ слѣдамъ пережитого и передуманнаго. Во второй половинѣ второго тома, начиная съ мировой войны, записки изъ «Дневника», воспроизводимы авторомъ, рѣшительно вытѣсняюгъ его воспоминанія и размышленія post factum.

Мы не имѣемъ возможности даже вкратцѣ передать содержаніе патетическихъ, иногда гнѣвныхъ и обличающихъ, всегда пропитанныхъ болью и горечью за родной ему народъ и за Россію, страницъ Дневника Дубнова не только документъ эпохи, онъ и челоуѣческой документъ. Наблюденія и переживанія профессиональнаго историка въ одну изъ самыхъ критическихъ эпохъ всемірной исторіи не могутъ не представлять огромной цѣнности для всякаго интересующагося межнациональными отношеніями въ Россіи и вообще Россіи послѣднихъ 55 лѣтъ. Отсылая читателя къ «Книгѣ Жизни», мы остановимся здѣсь лишь на одномъ злободневномъ вопросѣ, — какъ одинъ изъ виднѣйшихъ идеологовъ русскаго еврейства отнесся къ большевизму? Увидѣлъ ли и онъ въ совѣтскомъ социализмѣ новый видъ или форму эмансипаціи, какъ и по сей день склонны думать и утверждать многіе профессиональные защитники интересовъ евреевъ и еврейства?

Дубновъ, покинувшій Россію въ апрѣлѣ 22 года, воспринялъ и сохранилъ свое «воспріятіе октябрьскаго переворота, какъ контр-революціи слѣва», какъ «новаго потопа», «чудовищнаго всероссійскаго погрома», «красной инквизиціи», «гнуснѣйшей изъ всѣхъ когда-либо бывшихъ деспотій» и т. д.

10 мая 1918 г. Дубновъ заноситъ въ дневникъ: «Мы гибнемъ factum

большевиковъ и погибнемъ за нихъ... — Онъ привѣтствуетъ «самотверженнаго юношу» (Канетгсера) и «словую Шарлотту Кордэ» и «дѣву-Эмениду» (Капланъ) — : «хорошо, что именно евреи совершили этотъ подвигъ: это — искупленіе страшной вины участія евреевъ въ большевизмѣ». — 10 апрѣля 19 г. онъ записываетъ: «Пророчество Достоевскаго «Евреи погубятъ Россію» станетъ лозунгомъ мести. Не подумаютъ о томъ, что большевистская Россія уже погубила евреевъ... — Онъ констатируетъ «страшный ростъ антисемитизма въ Европѣ, на почвѣ большевизма». — «Русскіе люди могутъ, должны вѣрить (въ спасеніе Россіи), но мы, евреи, не можемъ: для насъ гибель шестимилліоннаго нашего центра — непреложный фактъ.. «Еврейской Россіи, кажется, не воскреснуть, даже послѣ возрожденія страны»...

Безысходность и исключительность еврейской трагедіи въ томъ, что еврей мечется между бѣлыми и красными, между специально еврейскимъ погромомъ и всероссійскимъ. И все благородство и гуманизмъ Дубнова, какъ и его дальновидность, сказались въ томъ, что онъ не пріялъ красныхъ мучителей даже тогда, когда они оказывались въ роли спасителей евреевъ отъ мучителей бѣлыхъ. Дубновъ не поддался искусу, соблазнившему многихъ: ради своего народа онъ не отрекся — и внутренне не предалъ — своей родины, страны своего рожденія, творчества и мукъ. Онъ одинаково отвергъ и «всероссійскій погромъ», и «погромъ специально еврейскій».

Когда въ наши дни демократъ-еврей рискуетъ утверждать, что онъ одинаково отвергаетъ и Сталина, и Гитлера, — его одновременно заподозриваютъ въ противоположномъ. «Арійцамъ» (даже демократамъ) въ приравненіи Гитлера къ Сталину слышится голосъ «не-арійской» крови, стихійно заставляющей преувеличивать размѣры «специально еврейскаго погрома», соответственно преуменьшая «погромъ всероссійскій». А на другой сторонѣ, «не-арійцамъ» (и даже не-финатикамъ націонализма) въ приравненіи Сталина къ Гитлеру видится явный дефектъ національнаго сознанія и воли. Въ этомъ послѣднемъ Дубнова уже во всякомъ случаѣ никто не посмѣетъ заподозрить. И если и печальникъ о горѣ еврейскомъ, заслуженный патріархъ еврейской историографіи и исторіософіи, приравниваетъ «специально еврейскій погромъ» къ «погрому всероссійскому», — отъ этого не отблещешься реликвой: «какой же онъ еврей!».

И въ этомъ — политическое значеніе «Книги Жизни».

М. Вишнякъ.

Виктор Чернов. Рожденіе революціонной Россіи (Февральская революція). Изд. юбилейнаго комитета по изданію трудовъ В. М. Чернова. Париж, 1935.

Изъ предисловія издательскаго комитета видно, что выпущенная имъ обьемистая книга (ок. 450 стр.) — лишь первая въ серіи подготовляемыхъ къ печати четырехъ томовъ подъ общимъ заглавіемъ «Великая Русская Революція». Передъ нами, такимъ образомъ,

только начало задуманного обилия труда. Издатели ставят его в один ряд с известными работами Миллюкова, Деникина и, почему то, Троцкого. Они рекомендуют книгу Чернова вниманию публики — как «необходимую всякому мыслящему читателю» для «углубленного понимания всех загадок революции» и призванную заполнить «зияющий пробел» в историографии русской революции — отсутствие в ней труда, освещающего события с точки зрения революционной демократии.

Эту лестную рекомендацию надо признать, до выхода в свет всех объявленных томов, по крайней мере преждевременной. Выпущенный первый том труда Чернова особой глубиной авторского проникновения в «загадки» (?) революции не поражает. Не правы издатели и в утверждении, будто специфическая точка зрения так называемой «революционной демократии» до сих пор не нашла себе выражения в исторической литературе: стоит назвать хотя бы семитомный «Записки о революции» Н. Суханова-Гиммера — автора, кстати, очень близкого по духу Чернову и последним как раз довольно широко использованного в его книге. Это, разумеется, не довод против новой попытки другого видного представителя левого лагеря по своему осмыслить русскую революцию. А личность автора, бывшего лидера партии с-р и министра Вр. Правительства, могла бы, при известных условиях, сделать эту попытку весьма интересной и поучительной.

«Рождение революционной России» — не история, конечно, хотя рассуждения автора и следуют хронологическому ходу событий, доведенному в этом томе до апрельского кризиса власти. Но это и не мемуары — к сожаленью: Чернов, игравший в революции семнадцатого года в России достаточно ответственную роль, имел возможность многое видеть и знать. О себе самом, о собственных настроениях того времени и деятельности автор не говорит почти ничего. В этом томе, по крайней мере, мы находим лишь несколько штрихов автобиографического характера. Из них мы узнаем, что Чернов в свое время все отлично понимал, ни в чем не ошибался и только не был понят окружающими. Ему было чуждо честолюбие, во Вр. Правительство он пошел против своего желанья, оставив более подходящий ему «советский» пост. Впрочем, и не будучи у власти, он оказывал Вр. Правительству ценные услуги. Так, во время апрельского кризиса это он подкачал остроумную идею предложить Миллюкову пост министра народного просвещения, зная наврное что тот его и уйдет из правительства; Чернову же принадлежит авторство письма к газетам, опубликованного в эти дни от своего имени Керенским.

Книга Чернова по существу — ряд публицистических очерков, написанных à thèse и должностующих доказать правоту и принципиальность их автора. Часть очерков, такие как «Что такое революция» или «Параллели и контрасты», вообще слабо связаны с основной темой книги. Надо, однако, отдать и должно автору, талантливому, хотя и не всегда оригинальному публицисту: отдельные

главы, при несомненной тенденциозности всей книги, написаны отячено и прочтутся съ интересомъ и противниками точки зрѣнія Черновъ. Въ нихъ авторъ прекрасно использовалъ не только эмигрантскую мемуарную литературу, но и мало доступную для широкихъ круговъ литературу совѣтскую. Къ такимъ болѣе удачнымъ главамъ слѣдуетъ въ частности отнести очерки «Соціальная база абсолютизма», «Распутница и сепаратный миръ», «Трагедія русской арміи». Кстати, по поводу этой послѣдней главы. Несомнѣнно, русская армія начала разлагаться еще задолго до наступленія революціи, — Черновъ приводитъ тому рядъ убѣдительныхъ доказательствъ, основанныхъ на свидѣтельствахъ самихъ руководителей арміи и официальныхъ донесеніяхъ. Революція лишь довершила начавшійся ранѣе процессъ распада. Но непонятно все же, почему Черновъ, перечисляя причины, способствовавшія разложенію дореволюціонной арміи, совсѣмъ не упоминаетъ о такомъ факторѣ, какъ пораженческая пропаганда. А между тѣмъ, казалось бы, по этому вопросу Черновъ могъ бы свидѣтельствовать со всѣмъ знаніемъ дѣла и его воспоминанія о собственной его и группы его единомышленниковъ пасифистской дѣятельности въ Швейцаріи въ 1915-1916 гг. могли бы имѣть значеніе весьма цѣннаго первоисточника.

Въ своей критикѣ Вр. Правительства перваго состава Черновъ нападаетъ на него, конечно, слѣва, — обвиняя его въ недостатокъ революціоннаго дерзанія, излишней оглядкѣ на «цензурныя» группы и пр. Въ такой критикѣ, формулированной, кстати, раньше Чернова и другими, въ томъ числѣ отнюдь не лѣвыми авторами (напр., французскимъ писателемъ Ф. Гренаромъ въ его недавней книгѣ о русской революціи), — не все несправедливо. Извѣстно, напр., что арестованный въ моментъ революціи б. царскій министръ — и умѣйшій монархистъ — А. В. Кривошеинъ пришелъ въ ужасъ, когда ему сообщили о составѣ Вр. Правительства, «слишкомъ правомъ», по его мнѣнію. «Два мѣсяца тому назадъ оно удовлетворило бы всѣхъ, спасло бы положеніе. Теперь оно слишкомъ умѣренное, въ этомъ его слабость». Заднимъ числомъ, въ свѣтѣ послѣдовавшихъ событій, даже самые вѣрные сторонники Вр. Правительства не могли не признавать въ его дѣятельности извѣстныхъ ошибокъ въ темпѣ, роковыхъ въ революціонной эпохѣ. Такой явной ошибкой, напр., было промедленіе съ выборами въ мѣстныя самоуправленія и тѣмъ самымъ съ созывомъ Учр. Собранія, — несомнѣнно, въ угоду доктринерству или политическимъ расчетамъ извѣстныхъ круговъ. Однако надо помнить, что такимъ именно, а не инымъ, болѣе лѣвымъ по составу первое Временное Правительство стало исключительно въ виду малодушія этой самой пресловутой «революціонной демократіи», отказавшейся, изъ боязни ответственности, дать въ него своихъ представителей.

Но не странно ли, что та же критика Вр. Правительства слѣва, поскольку мы слышимъ ее изъ устъ Чернова, звучитъ для насъ какою то фальшью, — даже когда она по существу основательна. Почему? Думается, потому, что судить хотя бы и сурово дѣятельности Вр. Правительства возможно лишь оставаясь на одной съ нимъ поч-

въ національной, общенародной революціи, какой несомнѣнно была въ первые мѣсяцы по своему духу «февральская» революція. Но статья искренне и до конца на эту почву наши интернаціоналисты, вчерашние цинимервальдовцы, по совѣсти никакъ не могли, не предавая окончательно своихъ принциповъ. Поэтому собственная позиція Черновыхъ и Сухановыхъ въ семнадцатомъ году оказалась такой внутренне противорѣчивой, политически безплодной. Нападая на Вр. Правительство за его «правизну» и нерѣшительность, интернаціоналисты никогда не могли противопоставить ему свою положительную политику, болѣе революціонную, но не менѣе національную. И Чернову, лидеру самой многочисленной изъ дѣйствовавшихъ въ революціи партій, не случайно въ самые трагические для страны моменты оставалось одно — «воздерживаться» отъ какихъ-либо отвѣтственныхъ рѣшеній. Винить, впрочемъ, за такое парадоксальное положеніе приходится не одного только «лидера», но и всю партію въ цѣломъ.

Найдетъ ли Черновъ въ себѣ достаточно мужества, чтобы критически отнестись и къ собственной своей политикѣ въ семнадцатомъ году? Общанный выхлѣдъ второго тома его работы, «Отъ Февраля къ Октябрю», долженъ намъ это показать.

В. Рудневъ.

B. Iaxa-Ronkier. The red Executioner Dzerzinski. — D. Archer Ed. London, 1935.

Дзержинскій — одна изъ наиболѣе зловѣщихъ и загадочныхъ фигуръ большевистской старой гвардіи. Фигура трагическая: революціонеръ по убѣжденію, палачъ по призванію и, по всей вѣроятности, человекъ психически ненормальный, въ концѣ концовъ. Быть можетъ вполнѣдствіи усердные докторанты будутъ писать на основаніи его біографіи диссертациі на тему о психопатологіи русской революціи.

Огромный томъ, прекрасно изданный по англійски и богато иллюстрированный, посвященъ біографіи Дзержинскаго, написанной его соотечественникомъ, полякомъ, графомъ Роникеромъ. Русскій читатель съ понятнымъ интересомъ откроетъ книгу. Предупреждаемъ, ожиданія его будутъ обмануты. Это даже не *biographie romanesque* въ обычномъ смыслѣ слова: пусть авторъ не пожалѣлъ красокъ — въ воображеніи — чтобы достойно изобразить «краснаго палача», — трагическій сюжетъ онъ ухитрился использовать только въ качествѣ канвы для пошлаго бульварнаго романа. Съ трудомъ вѣрится утвержденію автора о личномъ его знакомствѣ съ Дзержинскимъ. Незнакомство съ предметомъ видно и въ обрисовкѣ историческаго фона — русской революціи.

Подлинная и полная правда о Дзержинскомъ-палачѣ — дѣло будущаго историка. А пока, надолго еще, — просторъ для легенды о «золотомъ сердцѣ» Феликса.

В. Р.

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

- И. А. Бунинъ. Собр. сочиненій т. IV-V. Изд. Петрополисъ. Берлинъ. 1935.
- Борисъ Зайцевъ. Домъ въ Пасси. Романъ. Изд. Парабола Берлинъ. 1935.
- Мих. Осоргинъ. Книга о концахъ. Романъ. Изд. Петрополисъ Берлинъ. 1935.
- П. Соколовскій. Авениръ Ивановъ Романъ. Изд. Петрополисъ. Берлинъ, 1935.
- В. Корсакъ. Юра Романъ Изд. Парабола. Берлинъ, 1935
- Донъ-Аминадо. Нескучный садъ Изд. Домъ Книги Парижъ, 1935
- В. Янковская. Это было въ Корей. Романъ Новинъ (Корея). 1935
- П. Лапикенъ. Четыре города Харбинъ, 1935
- А. Стояновъ. Потерянная земля. Софія, 1935.
- Ю. Терапано. Безсонница. Стихи Изд. Парабола. Берлинъ, 1935
- Ю. Мандельштамъ. Третій часть. Стихи. Изд. Парабола. Берлинъ, 1935.
- Л. Гомолицкій. Варшава Поэма В ршава, 1934
- С. Прегель. Разговоръ съ памятью. Стихи. Парижъ, 1935
- Излучины. Сборникъ стиховъ Харбинъ, 1935.
- Ю. Шумовъ. Внѣ. Стихи. Отга, 1935
- Скитъ. Сборникъ стиховъ III Прага, 1935.
- Часовой № № 141-147 Парижъ, 1935.
- Наше Слово № 4. Орган РДО Парижъ, 1935
- Полярная Звѣзда № 1. Парижъ, 1935.
- Путь № 46. Изд. Ред.-Фил. Академіи. Парижъ, 1935.
- Завтра. Ежемѣсячникъ утвержденцевъ. № 7. Парижъ, 1935.
- Законъ и Судъ. № № 2-4. Рига, 1935.
- Врата, тп. 2. Шанхай, 1935
- Бюлетень Экон. Каб. проф. Прокоповича. № № 120, 121 Прага, 1935.
- Свобода № 2. Изд. партіи с-р. Парижъ, 1935.
- Соціалистическій Вѣстникъ № № 2-11 Изд. РСДРП. Парижъ, 1935.
- С. М. Дубновъ. Книга жизни. Воспоминанія т II Рига, 1935.
- Д. М. Одинецъ. Возникновеніе госуд строя у вост. славянъ. Изд. «Совр Зап.». Парижъ, 1935.
- М. Л. Гофманъ. Пушкинъ — Донъ Жуанъ. Изд. С. Лифаря. Парижъ. 1935.
- Сергій Лифаръ. Страдные Годы Парижъ, 1935

- Н. Метнеръ.** Муза и Мода. Изд. Тавиръ. Парижъ, 1935.
Иеромонахъ Юаннъ. Жизнь. Изд. «За Церковь». Парижъ, 1935.
Переселение душъ. Проблема безсмертія въ оккультизмѣ и христіанствѣ. Сб. статей. УМСА Press. Парижъ, 1935.
Свящ. А. Елчаниновъ. Записи. УМСА Press. Парижъ, 1935.
Памяти о. А. Елчанинова. Сборникъ статей. УМСА Press. Парижъ, 1935.
Проф. И. И. Гапановичъ. Россія въ Сѣверо-Восточн. Азии и П. Пекинъ. Вл. Лебедевъ. Въ странѣ розъ и крови. Изд. Проблемы. Парижъ, 1935.
Проблемы, кн. 2. Защита страны. Парижъ, 1935.
Викторъ Черновъ. Рожденіе революціонной Россіи. Изд. Юбил. Комитета. Парижъ, 1934.
Столѣтіе Кіевскаго Университета. Сборникъ статей. Бѣградъ, 1935.
П. А. Остроуховъ. Всероссійскій товарообмѣнъ въ Нижн.-Новгородѣ. Прага, 1934.
А. Mandelstam. La politique russe d'accès à la Méditerranée. Paris, 1935.
A. N. Mandelstam. Protection internationale des droits de l'homme. Paris, 1934.
Boris Unbegaun. La langue russe au XVI^e siècle (1500-1550). I. Paris, 1935.
Michaguine-Skrydloff. Russie blanche et Russie rouge. Ed. Plon. Paris, 1935.
V. Lazarevsky. La Russie sous l'uniforme bolchevique.
K. N. Toerskoï. The Transport System of the USSR. New Sov. Library. London, 1935.
Prof. A. Pinkevitch. Science and Education in the USSR. N. S. L. London, 1935.
Karl Stählin. Geschichte Russlands. II Band. Ost-Eur. Verl. Berlin, 1935.
F. Grenard. Gengis-Khan. Libr. Armand Colin. Paris, 1935.
Ch. Baron. Au pays de l'or noir. Lib. Polytechnique. Paris, 1935.
B. Jaxa-Ronkier. The red executor Dzierzinski. Ed. Archer. London, 1935.
Ch. Benoist. Machiavel. Ed. Plon. Paris, 1935.
Collectivist Economic Planning. Critical studios. Ed. Von Hayek. London, 1935.
Irenikon N° 6. Prieuré d'Amay-sur-Meuse. Belgique, 1934.
CJLLAC, Revue anticommuniste N° 2. Bruxelles, 1935.
Hippocrate N° 5. Paris, 1935.
Le courrier d'Epidaure N° 6. Paris, 1935.
Grandqovisier N° 3. Paris, 1935.
Moldeva noua N° 1. Jasi, 1935.

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гуковскимъ (+), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: М. Алданова, Л. Андреева, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенщикова, Юр. Данилова, Г. Евангулова, Е. Замятина, Л. Зурова, Б. Зайцева, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мережковского, С. Минцлова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, Н. Рошнина, В. Сирина, Д. Скобцова, И. Соколова-Микитова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темиряева, Гр. А. Толстого, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волошина, А. Герцыкъ, И. Голенщикова-Кутузова, А. Головиной, Вяч. Иванова, Георгія Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладинскаго, С. Маковского, Ю. Мандельштама, Н. Оцула, Б. Поплавскаго, Г. Раевского, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Соллогуба, Ю. Софьева, Ю. Терапиано, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Л. Червинской и др. — Дневники и воспоминанія: И. Билибина, Е. Брешковской, О. Грузенберга, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцовой, В. Зезинова, А. Керенскаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Ф. Шаляпина, Н. Шкляевой и др. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философіи, политики, экономическимъ и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Бицилли, М. Брайкевича, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдже, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. Волконскаго, В. Войтинскаго, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гефдингга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковского (А. Сѣврова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюссо, В. Ельшиевича, С. Загорскаго, С. Завадскаго, К. Зайцева, В. Зѣльковскаго, Ст. Ивановича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Карцевскаго, К. Качаровскаго, А. Керенскаго, А. Кизветтера, С. Кобякова, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайнего, М. Кроля, К. Крофты, Н. Кульмана, Е. Кусковой, А. Левинсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловикаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, Н. Мельниковой-Папоушекъ, С. Метальникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, В. Миркина-Гешевича, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, В. Мякотина, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, П. Одицца, М. Осоргина, Я. Папоушекъ, А. Петрищева, П. Пильскаго, С. Полякова-Литовцева, А. Пѣлехонова, Ф. Родичева, В. Рябушинскаго, М. Ростовичева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополкъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цвѣтаевой, М. Цеглина, Т. Чернавиной, Б. Шалякова, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шлеера, Е. Юрьевскаго и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelins 48-87

Из-во „Современныя Записки“

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.
И. А. Бунинъ: Божье древо.
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).
Гал. Кузнецова: Прологъ.
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).
Г. И. Полиеръ: Толстой и его жена.
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Іова.
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).
Ст. Ивановичъ: Красная армія.
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.
Н. Лосскій: Типы міровоззрѣній.
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминанія.
М. В. Вишнякъ: Всероссийское Учредительное Собраніе.
М. О. Петлинь: Декабристы.
З. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ).
Т. Ф. Зуровъ: Древній путь.
Д. М. Одынецъ: Возникновеніе госуд. строя у восточн. славянъ.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

- П. Н. Милуковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I.
Заказы принимаются въ конторѣ издательства.